Д.Н. МАМИН СИБИРЯК

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ*

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК

ТОМ ПЕРВЫЙ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

1881 ~ 1883

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1953

Подготовка текста и примечания
Б. А. ПИСКУН

Д. Н МАМИН-СИБИРЯК

90-е годы. Фото

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Странной и своенравной была судьба многих писателей в прошлом. Одних с первых же шагов литературной деятельности сопровождали успехи, слава, других преследовало равнодушие или враждебное замалчивание, а то и травля. Одни быстро становились любимцами публики, о них неустанно шумела критика. Другие всю свою жизнь, несмотря на их упорный труд, оставались в тени, их отвергали, хотя и не отрицали их дарований.

Вспомним 80-е годы. Кто из писателей привлекал тогда особое внимание интеллигенции? Златовратский с его иконописными мужичками, с его утопическими общинными «устоями», Гл. Успенский с его поисками несуществующей благодетельной общины, вместо которой он находит дьявольский «купон», Короленко с его мягким и грустным лиризмом и, наконец, в годы крушения народнических идеалов — Надсон и Гаршин.

В эти годы и пришел в литературу, претерпев большие трудности, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Ему особенно «не везло» на этом пути: двери редакций больших журналов долго перед ним не открывались, хотя он настойчиво стучался в них. Его страшные повествования о кровавом пире чудовищного хищника — российского «желтого дьявола», который разрушал все старые устои, насаждал всюду свои порядки и с безумным разгулом разбойника грабил и обрекал на голод и вымирание массы трудового народа, — пугали народнических пророков и тогдашнюю интеллигенцию. Но капитализм, утверждая свое господство, опрокидывал всех народнических богов и втаптывал в грязь все их мечты и иллюзии. Это была грубая действительность, от которой нельзя уже было отмахнуться, однако фанатики от народничества

все-таки упорно отрицали эту действительность и продолжали жить своими сентиментальными иллюзиями. Мамин-Сибиряк явился не ко времени, хотя и во-время. Он не мог не явиться, потому что его выдвинула сама действительность, сама историческая необходимость. Беспощадная правда его потрясающих эпопей была неотразимой, но она противоречила «творимым легендам» Златовратских, Михайловских, Юзовых и целой плеяды группировавшихся около них благовестников народнических откровений. Гл. Успенский видел это капиталистическое страшилище, — и не только в городе, но и в деревне, — и мы помним, как на него ополчился Златовратский с его паствой.

Даже после того как Мамин-Сибиряк пробил себе дорогу в литературу, критика старалась не замечать его. И только впоследствии беллетрист Альбов и критик Скабичевский вынуждены были признать бесспорное значение Мамина-Сибиряка как своеобразного художника, но рассматривали его творчество как творчество областного, преимущественно уральского бытописателя. Отдавая должное исключительному таланту писателя, литературовед Е. А. Соловьев-Андреевич и критик М. П. Неведомский не находили в его творчестве ничего жизнеутверждающего.

Буржуазная печать не уделяла Мамину-Сибиряку своего внимания. И это понятно: такой обличитель разбоя, злодеяний и безумного авантюризма капиталистов не мог вызвать сочувствия у либеральных торгашей.

Досадно, что советское литературоведение еще до сих пор не сказало о Мамине-Сибиряке своего авторитетного слова, что у нас нет еще о нем серьезных монографий. А между тем творчество Мамина-Сибиряка полностью принадлежит нам, и только наши литературоведы могут глубоко и всесторонне вскрыть и исследовать богатое наследие этого большого и проникновенного художника и помочь советскому читателю по справедливости оценить его величие. А ведь его значимость в литературе отметил еще в давние времена В. И. Ленин.

Мамин-Сибиряк родился (6 ноября н. с. 1852 г.) и рос на Висимо-Шайтанском горнорудном заводе в Нижне-Тагильском заводском районе. Это был один из многих старинных заводов, принадлежавших промышленной династии Демидовых. Уральские заводы славны были рабочими восстаниями против рабства, против свирепой эксплуатации труда, против крепостной зависимости. Знаменитое восстание крестьян Далматовского Успенского монастыря 1762—1764 годов, известное под названием «дубинщины»,

не прошло мимо крепостных рабочих уральских заводов. Уральские рабочие боролись в первых рядах войск Пугачева, захватывали заводы, сами управляли ими, лили пушки и делали ядра и оружие для восставших.

Волнения среди крепостных рабочих и крестьян происходили непрерывно, начиная с XVIII века. После так называемого «освобождения крестьян» 1861 года волнения эти значительно усилились: царская «реформа» лишила крестьян земли, привела их к обнищанию и пролетаризации, а среди рабочих образовалась многочисленная армия безработных. На Урале капиталистическая эксплуатация приняла особые формы: «...самые непосредственные остатки дореформенных порядков, — писал В. И. Ленин в своей книге «Развитие капитализма в России», — сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения времени — такова общая картина Урала»[1]. Эти варварские полуфеодальные условия, в которых находилась уральская промышленность, существовали вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции.

В 90-х годах волнения и забастовки рабочих на уральских заводах значительно усилились и отличались уже более наступательным характером: рабочие предъявляли требования об увеличении заработной платы и нередко добивались победы. Но правильного, организованного руководства рабочим движением не было: возникший в середине 90-х годов «Уральский рабочий союз» был по существу аморфной организацией из народников и экономистов и, конечно, не мог быть авангардом рабочего класса. По словам В. И. Ленина, между террористами и экономистами «есть не случайная, а необходимая внутренняя связь... *преклонение пред стихийностью...»*[2] И, конечно, этот беспочвенный союз прекратил свое существование. Революционная история организованного рабочего движения на Урале начинается только с создания искровского комитета партии в 1903 году.

Необузданный разбой, безумный авантюризм, сплошные кровавые оргии алчных охотников наживы, страшные эпидемии

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 427.
[2] Там же, т. 5, стр. 388.

спекуляций, баснословные обогащения и катастрофические крахи, и с другой стороны — непрекращающийся мощный протест бесправных рабочих и крестьян, — вот атмосфера, в которой рос будущий летописец Урала, певец его красот и грозный обвинитель капиталистических людоедов. В своих талантливых произведениях он разоблачает грязь и пошлость капиталистического мира, становится беспощадным судьей рабовладельцев и работорговцев и страстным защитником угнетенных и обездоленных тружеников.

С развитием капиталистического производства, писал Маркс в «Капитале», «общественное мнение Европы освободилось от последних остатков стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она являлась средством для накопления капитала» [1]. И дальше: «...ужасная и трудная экспроприация народной массы образует пролог истории капитала... Экспроприация непосредственных производителей производится с самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных, самых мелочных и самых бешеных страстей» [2].

Вот этих экспроприаторов народной массы, этих вандалов, пораженных бешенством самых подлых, грязных, преступных страстей, талантливо изображает в своих произведениях Мамин-Сибиряк.

В отличие от многих литераторов его времени Мамин-Сибиряк всегда был в самой гуще живой жизни. Может быть, рядом с ним стоял только Глеб Успенский. Он был самый страшный и грозный свидетель тех преступлений, злодейств и безумия русской буржуазии, которые с дьявольской дикостью проявлялись особенно на Урале.

Заводы при крепостном режиме владели огромными земельными пространствами и эксплуатировали труд сотен тысяч крестьян, прикрепленных к этим заводам. Это были своеобразные промышленные княжества, которым поссессионное право обеспечивало даровой рабский труд. Владельцы этих промышленных латифундий, магнаты железа и золота, вроде Демидовых, Строгановых, были неограниченными монополистами. Жили они не на Урале, а в столице или жуировали за границей, заводы же со множеством рабов управлялись доверенными их лицами, которые, как

[1] К. Маркс, Капитал, т. I, 1951, стр. 762.
[2] Там же, стр. 765.

воеводы, хозяйничали в этих грандиозных владениях. Заводчики платили копейки голодным людям и загребали сказочные прибыли.

Очень ярко и типично изображено это в таких романах, как «Горное гнездо», «Приваловские миллионы», «Три конца», «Золото». Никто до Мамина-Сибиряка не рисовал таких типических фигур, как грабители, авантюристы, наглые дельцы, готовые на всякие гнусные жестокости, на разбой, на обман, на интриги, чтобы захватить власть, богатство и деспотически распоряжаться целым краем. Вот львица, Раиса Павловна («Горное гнездо»), прозванная «царицей», жена главного управляющего, которая завладела магнатом Лаптевым и все забрала в свои руки; вот верный ее подручный — опричник, палач рабочих и крестьян — Родион Сахаров; вот Прейн — алчный разбойник, буквально истребляющий трудовое население ради личной наживы. Тут всё и все служат золотому дьяволу: все продажно — и честь, и совесть, и любовь, и жизнь. Один из раздавленных железной пятой капитала, Прозоров, плачет пьяными слезами и жалуется в отчаянии: «Господи, какое время, какие люди, какая глупость и какая безграничная подлость!.. Посмотрите, какой разврат царит на заводах, какая масса совершенно специфических преступлений, созданных специально заводской жизнью... Наука, святая наука и та пошла в кабалу к золотому тельцу!»

«Желтая лихорадка» заражает всех, разрушает патриархальную жизнь, все устои, разлагает души. Это основная тема писателя. В романе «Дикое счастье» она с потрясающей силой воплощена в судьбе семьи Брагиных.

В романе «Хлеб» Мамин-Сибиряк изобразил трагедию крестьянской массы. Капитал ворвался в мужицкий мир. Бешеные спекуляции хлебом, банковские мошеннические операции, творимые наглыми, жадными авантюристами, вконец разорили крестьянский край и пустили по миру землепашцев.

Победоносное шествие капитала, его разнузданный пир приводит в ужас даже одного из магнатов — рыхлого, безвольного Привалова. Он захвачен оргией всех этих торжествующих и обожравшихся спекулянтов и приходит к убеждению, что эти разбойники — диктаторы жизни, что человек — жертва, что ничего святого не существует для этих людоедов. И Привалов сам оказывается обреченным на гибель.

В те годы, когда народники упрямо и одержимо отрицали наличие у нас капитализма и развивали утопии о мужицком идилли-

ческом царстве, Мамин-Сибиряк обнажил беспощадную правду. Это была новая литература, которая давала новых героев, пугавших тогдашних буржуазных читателей и критиков, как кошмарные видения.

Да, произведения Мамина-Сибиряка — его многотомная эпопея — не литература Боборыкина, рисовавшего московское «европеизированное» купечество, прятавшее под приличным сюртуком и приятными манерами свои волчьи аппетиты.

Все симпатии, вся любовь Мамина-Сибиряка обращены к русскому трудовому народу. Труд делает человека красавцем, богатырем, героем. Только в труде человек становится человеком, только в трудовой борьбе проявляются в нем и сила, и находчивость, и воля, и незаурядный ум, и крепкая товарищеская спайка. Вот Савоська из «Бойцов», сплавщик барок по реке Чусовой, выдерживающий страшную борьбу со свирепой рекой в теснинах грозных утесов. Выброшенный из разоренной деревни будто полубосяк и пьянчужка, он на барке, на бурной реке, где грозит ему ежеминутная гибель, преображается в богатыря, во властного вожака своей артели, ему верят безоговорочно, и все подчиняются его воле. Таких Савосек у Мамина-Сибиряка много. Это его любимые герои. До него никто из писателей не изображал таких людей: он первый увидел их и первый воплотил их в живые художественные образы, как типические характеры. И не потому он любовно писал их, что обнаружил их только на Урале, среди суровой природы, а потому, что эти трудолюбцы, мужественные, одаренные люди были всюду — во всех уголках необъятной России.

Вот охотник Савка («На Шихане») — убийца, острожник, тоже полубосяк, выброшенный из жизни Ляховскими, «царицами» Раисами и Родьками. Савка — родной брат Савоськи по характеру. Он любит животных, он среди уральских дебрей — у себя дома. Он ненавидит жестокость и насилие. «Зверь лютует от голода, — говорит он, — ему есть хочется, а человек и сытый, пожалуй, лютее зверя. Зверь это знает, и потому больше всего страшится человека». Эту правду Савка выстрадал сам: несправедливость и жестокость он переносил на собственной шкуре. Управляющий завода застрелил свою собаку за непослушание. Савка в гневе бросился на управляющего и вцепился ему в горло. Савка пьянствует потому, что мучается от постоянной неправды, от истязания человека человеком, от насилия сытых над голодными. Это гнев трудового человека против угнетателей, эксплуататоров,

Это вновь преображенный Савоська, богатырь, удалец, бесстрашный атаман артели в часы смертной борьбы с бурной рекой.

Мамин-Сибиряк постоянно встречает такие характеры и в среде «старателей», и среди заводских рабочих, и даже среди преданных слуг капиталистов. Замечательна фигура старика Бахарева («Приваловские миллионы»): это сильный, умный, кряжистый человек, с огромной волей, влюбленный в заводское дело, превосходный организатор, честная, прямая и властная натура. В убийственном мире варварского капитализма такие люди обречены были на рабство, на уродство или на гибель.

Есть одна особенность в творчестве Мамина-Сибиряка — это идея стихийной силы, задавленной, скованной в трудовом человеке, но рвущейся освободиться в моменты острых коллизий. Эта же сила у «хозяев золота», у охотников за богатством, у «дельцов» превращается в преступную страсть власти над людьми, взаимного пожирания, неуемного грабежа и алчного обогащения.

Превосходно выписаны у Мамина-Сибиряка чудесные русские женщины. Чистые, полные любви, самоотверженные девушки — Луша, Нюрочка, Нюша — одни из самых чудесных образов в русской литературе. Но и среди этих кротких, мечтающих о счастье и светлой жизни женщин Мамин-Сибиряк любовался мужественными, деятельными старообрядческими «старицами»: «скитское житье» делало их независимыми и давало простор их своенравным боевым натурам.

Своими многочисленными повестями и романами писатель как бы внушал читателю: вот этим труженикам, этим сильным и честным людям принадлежит будущее, в них, в этих закабаленных, удалых и искусных работниках, хранится и не умрет никогда любовь к труду и мятежная сила.

Очень своеобразны произведения Мамина-Сибиряка, посвященные историческим событиям на Урале. Эти повествования волнуют героической романтикой, изумительной цельностью богатырских характеров русских тружеников в их самоотверженной, беспощадной борьбе за свободу. Такие повести, как «Охонины брови», или страницы о пугачевской эпопее — классические создания Мамина-Сибиряка. Такие поэмы мог создать только художник, который жил общей жизнью с народом, глубоко верил в его могучие силы, в его талантливость, в его неистребимое стремление к правде и справедливости.

И великой скорбью и гневом дышит такое его произведение, как «Братья Гордеевы». По капризу магната одного из гор-

нозаводских округов два брата — дети заводского крепостного рабочего — были посланы за границу, где они получили высокое техническое образование. Культурные, даровитые молодые люди, мечтавшие о творческом труде, сразу же узнают ужасную правду: они — рабы, крепостными оказываются и их европейские жены. Невежественный, озверевший управляющий Лука Назарыч, сам крепостной раб, попавший «из грязи в князи», возненавидел этих образованных людей и за то, что они оказались «избранниками», и за то, что они стали учеными, и за то, что они явились одетыми «по-заграничному». Он раздавил их своей звериной лапой, бросил их на самую черную работу, травил их, подвергал телесному наказанию и в конце концов свел их в могилу. Но удивительно то, что, несмотря на трагизм этой истории, на гнетущие мрачные картины, чувствуешь, что автор не подавлен отчаянием и пессимизмом, а верит в грозную силу народа, в торжество правды, в светлое будущее.

Критики прошлого, неправильно трактуя творчество Мамина-Сибиряка, утверждали, что он — поэт стихийности, писатель «безытоговый» и безнадежный пессимист, который ничего не видит в действительности, кроме звериной борьбы за существование, и ссылались на его высказывания по этому поводу. Но они совсем не поняли смысла его раздумий. Вот что писал Дмитрий Наркисович о самом себе: «Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье». Эти слова не мог написать пессимист. Так горячо говорить мог только большой жизнелюбец. Его неудержимо влекла к себе живая жизнь и трудовое движение, и он всегда переживал радость от общения с сильными, смелыми, разудалыми людьми и создавал о них незабываемые поэмы. Воля к труду, тоска по труду, как свободному проявлению всех человеческих даров, — главный мотив его произведений о рабочих людях. И, конечно, неправы указанные критики, упрекающие Мамина-Сибиряка в том, что он не видел ничего положительного в жизни. А не он ли писал в своем автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко»: «Несовершенство нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, и дышать, и думать». И он искал это положительное, хотя и останавливался перед «роковыми росстанями», выбирал же верные «пути-дороженьки» и находил это положительное в простом трудовом народе,

в котором и таились таинственные для многих родники. Находил он эти родники и в детях, в их целомудренных душах. Его повести и рассказы о детях и для детей — одни из самых замечательных в русской литературе.

Мамин-Сибиряк прежде всего — демократ, гражданин, воспитанный на учении Чернышевского и Добролюбова. Правда, он не свободен от некоторых народнических иллюзий, его еще пленяют утопические мечты о патриархальных временах несуществовавшего крестьянского благоденствия, но он уже смотрит трезво на современную действительность.

Скабичевский называл Мамина-Сибиряка русским Золя. Но уподобляя Мамина-Сибиряка Золя и подчеркивая эмпиризм в творчестве этого выдающегося французского писателя, Скабичевский, при молчаливом сочувствии тогдашнего мещанского «общественного мнения», пытался свести по сути дела творчество своего соотечественника, правда с оговорками, к натурализму. Впрочем, этот критик не раз менял свое отношение к писателю, который вспоминал об этом с негодующим сарказмом.

Аналогия между Золя и Маминым-Сибиряком не выдерживает критики. Правда, Дмитрий Наркисович мечтал о том, чтобы создать многотомную эпопею, подобную истории Ругон-Маккаров, и по охвату многих сторон жизни современной ему эпохи и по обрисовке типических представителей русского капитализма и трудящихся масс. Но критический реализм Мамина-Сибиряка существенно отличен от творческого метода Золя. Для Золя человек, кроме социальных условий, находится еще во власти наследственности, он проклят, он раб инстинктов.

Изображая события и сложнейшие коллизии, вскрывая характеры героев этих событий — денежных воротил, промышленных хищников, авантюристов и, в противоположность им, — обреченных на страдание, на рабство, часто на гибель простых, чистых сердцем, людей — и крестьян и рабочих, — Мамин-Сибиряк в каждой строке своих произведений пламенно, страстно выражает свой гнев и непримиримую свою ненависть к угнетателям и разбойникам и глубокое сострадание к жертвам этих свирепых «хозяев жизни», этих кошмарных Мидасов, обращавших в золото слезы, муки и кровь подневольных тружеников. С какой любовью к этим труженикам, с каким горячим участием к их трагической судьбе пишет он каждую страницу, и как любуется он силой, мужеством, героизмом этих людей в часы их невероятной борьбы с бурной стихией или богатырских трудовых подвигов. В каждом своем

романе Мамин-Сибиряк — участник всех событий, и всегда он — на стороне угнетенных, обездоленных, раздавленных страшной лавиной капитала.

Жизнь во всех ее проявлениях — в борьбе, в любви, в горе и радости, в кипении толп, в игре солнечных красок, в удали и разливной песне, в дремучей красоте природы — вот к чему стремилась душа писателя. Его уральские пейзажи — классическая живопись. Только он, этот большой художник, впервые показал нам уральские дебри, нарядно убранные лесами горы, первобытные утесы и нагромождение разноцветных каменных глыб и широкие зеркальные пруды, давным-давно созданные руками умельцев. Любопытно его признание: «За очень немногими исключениями настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная — у Лермонтова. Эти два автора остались для меня недосягаемыми образцами». И Мамин-Сибиряк так глубоко раскрыл дремучие глубины и необъятные предгорные просторы, что они волнуют, как раздольные русские песни.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи. Доказывать это нет необходимости: стоит прочесть любую из его книг, чтобы убедиться в этом. Даже в самых «страшных» его романах и повестях на каждой странице чувствуется радостное любование жизнью. И тем более важно отметить, что он как художник развернулся в годы распада народничества, в самую тяжелую эпоху реакции, разочарований, растерянности, в эпоху «безвременья». Марксизм только еще нарождался в России, рабочий класс был еще не организован. Отлив народнических настроений и верований еще не сменился приливом новой, пролетарской идеологии. И это обстоятельство, конечно, отразилось на мировоззрении писателя: оно было в известной мере противоречиво. Мамин-Сибиряк до некоторой степени знаком был с марксизмом, но основной сути этого учения понять не смог. В этом была беда художника, это ограничивало художественное его зрение и ослабляло идейную значимость его повествований. И, несмотря на народность его творчества, на демократические его настроения и взгляды, он не мог еще видеть путей развития пролетарского движения, хотя, повторяю, и чувствовал могучую силу, скрытую в

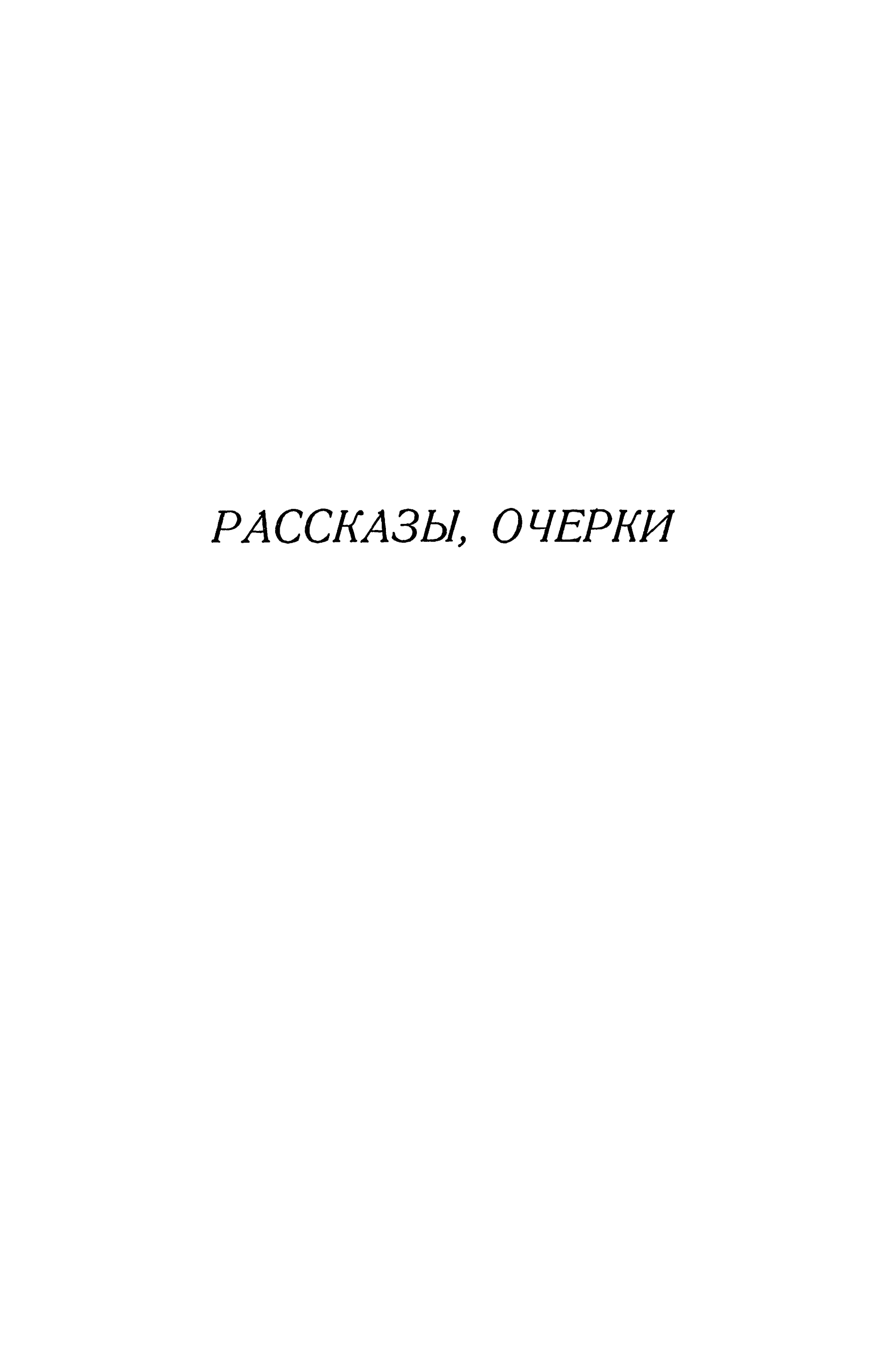
массе трудового народа. Но книги его, как беспощадный обвинительный акт против разбойничьего русского капитализма, служили наглядным материалом в научных исследованиях марксистов.

Литературная плодовитость Мамина-Сибиряка была изумительной. Создается впечатление, что он все время торопился воплотить в образах весь огромный запас своих наблюдений и боялся, что не успеет высказаться до конца. Но эти запасы жизненного опыта не только не истощались, а пополнялись постоянно и не давали ему покоя. Торопливость эта и нетерпеливое стремление освободиться от тяжелого груза впечатлений и раздумий отразились и на его стиле: подчас многословие, излишние подробности, иногда неряшливость в изложении и неразборчивость в пользовании словом — существенный недостаток его языка. Но превосходное знание народной речи, уменье распоряжаться ее складом во многом искупает эти недостатки.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк умер 15 ноября (н. с.) 1912 года.

Для нас, советских людей, творчество Мамина-Сибиряка свежо и близко. Мы по-новому открываем его как писателя, который играл немалую роль в революционной борьбе рабочего класса, а теперь помогает нам глубже познать прошлое и воспитывает в наших людях безмерную любовь и преданность своей социалистической родине. Книги Мамина-Сибиряка помогают нам глубже осознать, какой сложный, трудный путь прошел советский народ, чтобы разгромить кровавый деспотизм, сбросить гнетущее ярмо помещиков и капиталистов и взять власть в свои руки. Книги этого писателя укрепляют в нас гордость творцов нового, коммунистического мира, во имя счастья всего человечества. Книги его показывают, какая бездна отделяет великую социалистическую страну от кошмарного варварства старого времени. Внуки и правнуки воспетых им трудолюбцев, как хозяева и вдохновенные работники и высокие мастера, творят новую культуру, как всеобщее благо. Они, как и все новаторы нашей социалистической отчизны, прославляют себя доблестными делами и подвигами на весь мир и в борьбе за мир во всем мире идут впереди всего прогрессивного человечества.

ФЕДОР ГЛАДКОВ



РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

СЕСТРЫ

Очерк из жизни Среднего Урала

I

Во время моей службы в ...ском земстве меня командировали в Пеньковский завод со специальной целью собрать некоторые материалы по статистике; срок для моей поездки не был определен с точностью, и, смотря по обстоятельствам, я мог растянуть его в несколько недель, особенно если бы пожелал для собирания статистического материала к Пеньковскому заводу присоединить все заводы Кайгородова. Эти заводы — числом десять — занимают собой площадь в шестьсот тысяч десятин и принадлежат своему владельцу на поссессионном праве; Кайгородов сам никогда не жил в своих заводах и даже едва ли бывал в них, но это не мешает ему получать с заводов миллион годового дохода и проживать по разным теплым уголкам «заграницы» с царской роскошью, удивляя иностранцев самой безумной благотворительностью и всеми причудами широкой русской натуры, так что он стяжал себе громкую известность русского Креза. После Строгановских заводов заводам Кайгородова на Урале принадлежит первое место как по богатству железных и медных руд, так особенно по обилию лесов, в которых другие уральские заводы начинают чувствовать самую вопиющую нужду, и, как выразился автор какого-то проекта по вопросу о снабже-

нии заводов горючим материалом, для них единственная надежда остается в «уловлении газов», точно такое «уловление» может заменить собою ту поистине безумную систему хищнического истребления лесов, какую заводчики практиковали на Урале в течение двух веков. Обеспечение горючими материалами выдвигает заводы Кайгородова на первый план, хотя уже начинали ходить упорные слухи, что лесное хозяйство в этих заводах сильно пошатнулось за последние годы благодаря какой-то кучке немцев, стоявшей во главе управления; эти слухи продолжали упорно держаться, тем более что они были тесно связаны с какими-то другими злоупотреблениями, безгласно совершавшимися на этих заводах. Судьба этих заводов была вопросом жизни и смерти для населения в пятьдесят тысяч, а в мире промышленности выражалась громкой цифрой производительности в два с половиной миллиона пудов чугуна, стали, железа и меди; для земства заводы Кайгородова имели громадную важность, потому что доставляли ежегодно земских сборов до сорока тысяч рублей, что в бюджете ...ского земства составляло очень заметную величину. Цель моей командировки заключалась главным образом в том, чтобы выяснить те новые условия, которые в заводском хозяйстве заменили порядки крепостного права, и затем проследить, как отозвалась в жизни рабочего населения заводов новая пора, наступившая после 19 февраля, какие потребности, нужды и вопросы были выдвинуты ею на первый план и, наконец, какие темные и светлые стороны были созданы реформами последних лет в экономическом положении рабочего люда, в его образе жизни, образовании, потребностях, нравственном и физическом благосостоянии.

Конечно, это была очень широкая программа, хотя она и должна была осуществиться в бесконечных рядах цифр, и чем больше я обдумывал предстоящую работу, тем сильнее приходил к убеждению в необходимости построить все на сравнении крепостного порядка с настоящим, а для этого нужно было на несколько недель похоронить себя в пыли заводских архивов. Специально Пеньковский завод был выбран в тех видах, что хотя он и не был самым большим из заводов Кайгородова, но

сумма его годовой производительности доказывала самым красноречивым образом, что именно этот завод служит главным экономическим центром и поэтому с него следовало начать кропотливую работу статистического исследования.

Май месяц стоял в последних числах, следовательно, было самое лучшее время года для поездки вглубь Уральских гор, куда был заброшен Пеньковский завод; от губернского города Прикамска мне предстояло сделать на земских верст двести с лишком по самому плохому из русских трактов — Гороблагодатскому, потому что Уральская горнозаводская железная дорога тогда еще только строилась — это было в конце семидесятых годов. Через три дня пути, перевалив через Уральские горы, я уже подъезжал на земской паре к месту своего назначения, и Пеньковский завод весело выглянул рядами своих крепких, крытых тесом домиков из-за большой кедровой рощи, стоявшей у самого въезда в завод; присутствие сибирского кедра, как известно, есть самый верный признак глубокого севера и мест «не столь отдаленных», с которых начинается настоящая «немшоная» Сибирь.

Вид Пеньковского завода был очень красив, хотя завод был расположен не в горах, как я предполагал, судя по карте, а в плоской низменности, образовавшейся между двумя восточными отрогами Среднего Урала; главная масса горного кряжа осталась назади и едва синела волнистой, точно придавленной линией на западе. Небольшая горная речка Пеньковка образовала большой заводский пруд, по берегам которого и сгруппировались в длинные правильные улицы заводские домики, сопровождая реку далеко по ее течению вниз; прежде всего в глаза бросались две хороших каменных церкви, черневшие издали здания заводской фабрики и еще несколько больших каменных домов, построенных в городском вкусе. Издали Пеньковский завод походил больше на небольшой уездный городок, чем на завод, если бы не громадная дровяная площадь, уставленная бесконечными поленницами, и несколько длинных угольных валов, около которых, как муравьи, копошились группы заводских рабочих. Мой экипаж прокатился по широ-

кой, мощенной доменным шлаком улице, миновал небольшую квадратную площадь, занятую деревянным рынком, и с треском остановился пред небольшим новеньким домиком, на воротах которого издали виднелась полинявшая вывеска с надписью: «Земская станция». Так как мне предстояло пробыть в Пеньковском заводе довольно долго, то я еще дорогой решил, что не буду останавливаться на земской станции, а только узнаю там, где мне найти подходящую квартиру недели на две, на три. На звон колокольчика в воротах показался небольшого роста седой старик, в красной кумачовой рубахе, без шапки; на мой вопрос, где найти квартиру, старик, почесывая затылок, лениво проговорил:

— Не больно у нас в Пеньковке-то фатер припасено, разе к Фатевне толкнешься... У Фатевны хоша есть жилец, а она пущает, кто ежели чужестранный. Фатевна пустит и на фатеру.

— А где живет эта Фатевна? — спрашивал я.

— Да тут от господского дома рукой подать, на самый пруд, у церквы.

Нам оставалось только повернуть и ехать опять к рыночной площади; после нескольких расспросов и бестолковых объяснений мы, наконец, добрались до одноэтажного старого дома, который стоял на небольшом пригорке, у самого пруда. У ворот стояла низенькая толстая старушка и, заслонив от солнца глаза рукой, внимательно смотрела на меня.

— Здесь живет Фатевна? — спрашивал я.

— А тебе на што ее? — отвечала вопросом старушка.

— Да вот мне нужно квартиру...

— Фатеру? Ну так я Фатевна и есть, милости просим, — весело ответила старушка, и, пока я добрался до ее «фатеры», она закидала меня вопросами: откуда? кто такой? по какому делу?

Одета была Фатевна в ситцевый темный сарафан с глазками и ситцевую розовую рубашку, на голове был надет коричневый платок с зелеными разводами; лицо Фатевны, морщинистое и желтое, сильно попорченное оспой, с ястребиным носом и серыми ястребиными гла-

зами, принадлежало к тому типу, который можно встретить в каждом городе, где-нибудь в «обжорных рядах», где разбитные мещанки торгуют хлебом и квасом с таким азартом, точно они делят наследство или продают золото. Ходила Фатевна быстрым развалистым шагом, скорее плавала, чем ходила, и имела привычку необыкновенно быстро повертываться, так что ее ястребиные глазки видели, кажется, решительно все, что происходило вокруг нее.

— У меня тут живет жилец один, — говорила Фатевна, отворяя передо мной тяжелую, обитую кошмой дверь, — ну, да он так, не велик барин и потеснится немного...

— Как же это так? Это неудобно будет... — протестовал я, — я никого не хочу стеснять...

— Ишь ты: не хочу стеснять... Да здесь город, што ли, для тебя? А по-моему, вдвоем-то даже веселее...

Мои вещи были внесены в большую светлую комнату, выходившую большими окнами прямо на пруд; эта комната, оклеенная дешевенькими обоями, выглядела очень убого и по своей обстановке, и по тому беспорядку, какой в ней царил. Белый некрашеный пол, пожелтевший потолок, неуклюжий старинный диван у одной стены, пред ним раскинутый ломберный стол с остывшим самоваром, крошками белого хлеба и недопитым стаканом чаю, в котором плавали окурки папирос; в углу небольшая железная кровать с засаленной подушкой и какой-то сермягой вместо одеяла, несколько сборных дешевых стульев и длинный белый сосновый стол у окна. На этом столе лежали грудой книги, планы, бумаги, стоял отличный микроскоп, рядом с ним, в оловянной чашке с водой, копошилось и плавало что-то черное: мышь не мышь, таракан не таракан; окурки, рассыпанный табак, пустые гильзы и вата дополняли эту картину.

— Вот все пол собираюсь выкрасить, — трещала Фатевна, успевшая десять раз выйти и войти, пока я осматривал комнату. — Да жилец-то мой не стоит этого: хоша ему крась, хоша не крась, не может он этого чувствовать и все равно табачищем своим запакостит... А тебе самовар, небось, подогреть? — бойко спрашивала

Фатевна и, выходя с самоваром за двери, прибавила: — Не раздеретесь, чай... Да вот и сам хозяин со своей службы идет, легок на помине!..

Я посмотрел в окно: улицу пересекал невысокого роста господин, одетый в черную поддевку и шаровары, с сильно порыжевшей коричневой шляпой на голове; он что-то насвистывал и в такт помахивал маленькой палочкой. Его худощавое бледное лицо с козлиной бородкой, громадными карими глазами и блуждающей улыбкой показалось мне знакомым, но где я видел это лицо? когда? В уме так и вертелась какая-то знакомая фамилия, которая сама просилась на язык...

— Да ведь это он... это Епинет Мухоедов! — вскричал я, когда жилец Фатевны с кем-то весело заговорил на дворе.

— Какой там черт приехал? — ворчал Мухоедов, отворяя тяжелую дверь. — Ба-батюшки, светы мои... да какими это судьбами занесло в мою берлогу?!.

— Именно судьбами... — проговорил я, и мы не только обнялись, но и перецеловались, как это и прилично старым университетским товарищам, когда-то жившим очень долго на одной квартире, а потом, как это часто случается с русским человеком, совсем потерявшим друг друга из виду.

— Вот эк-ту лучше будет, — говорила Фатевна, останавливаясь в дверях с самоваром и любуясь встречей старых товарищей. — Феша, Фешка, подь сюда... Ли-ко, девонька, ли-ко, што у нас сделалось! — звонким голосом кричала старуха; на пороге показалась рябая курносая девка, глупо ухмылявшаяся в нашу сторону. — Фешка, ли-ко, ли-ко!..

— А вы что тут рот-то разинули! — закричал Мухоедов на баб. — Ах вы, вороны, вороны... Водки, Фатевна! Чувствуй: водки!.. Фешинька, голубушка, принеси водочки...

— Что я вам за голубушка... — ворчала долговязая и толстая девица, оставаясь попрежнему в дверях. — Вот мамынька велит, так и принесу...

— Фатевна, водки, варенья, печенья! — неистовствовал Мухоедов, снова заключая меня в свои объятия.

— Варенья-то еще не наварили про вас, — огрызалась Фатевна, ставя самовар на стол, — в лесу еще растет ваше-то варенье, Епинет Петрович.

Феша прыснула себе в руку и начала делать какие-то особенные знаки по направлению к окнам, в одном из которых торчала голова в платке, прильнув побелевшим концом носа к стеклу; совершенно круглое лицо с детским выражением напряженно старалось рассмотреть меня маленькими серыми глазками, а когда я обернулся, это лицо с смущенной улыбкой спряталось за косяк, откуда виднелся только кончик круглого, как пуговица, носа, все еще белого от сильного давления о стекло.

— Да что это в самом деле, зверинец здесь какой?!. — с азартом накинулся Мухоедов на своих баб; заметив прятавшуюся за косяком голову, он совершенно добродушно прибавил: — А, это наш Пушкин...

Кое-как выпроводив баб из комнаты и усадив меня на диван, он торопливо, точно роняя слова, заговорил:

— Ну, что: доктор? инженер? адвокат?

— Нет.

— Учитель греческого языка? железнодорожник?

— Нет.

— Тьфу!.. Кто же ты, наконец, откройся?

— Служу отечеству...

— Вижу, вижу, по носу вижу, что статистикой приехал заниматься... Ах, провал вас возьми, что это за мода глупая пошла!.. Недавно становой приезжал: подавай статистику! два доктора: статистику...

— Я ни с кого ничего требовать не буду, — объяснял я, — мне нужны только некоторые сведения от причта да позволение порыться в заводском архиве.

— Не верю я в вашу статистику, вот на эстолько не верю. — Мухоедов показал самую маленькую частичку своего мизинца.

— И не верь, тебя никто не заставляет.

Я с любопытством рассматривал Мухоедова, пока он хлопотал около самовара; он очень мало изменился за последние десять лет, как мы не видались, только на высоком суживавшемся кверху лбу собрались тонкие морщины, которых раньше не было, да близорукие

глаза щурились и мигали чаще прежнего. Под поддевкой Мухоедова виднелась ситцевая рубашка-косоворотка, мягкие русые волоса были спутаны, и в них белело несколько клочков пуху. Ходил Мухоедов необыкновенно быстро, вечно торопился куда-то, без всякой цели вскакивал с места и садился, часто задумывался о чем-то и совершенно неожиданно улыбался самой безобидной улыбкой — словом, это был тип старого студента, беззаботного, как птица, вечно веселого, любившего побеседовать «с хорошим человеком», выпить при случае, а потом по горло закопаться в университетские записки и просиживать за ними ночи напролет, чтобы с грехом пополам сдать курсовый экзамен; этот тип уже вывелся в русских университетах, уступив место другому, более соответствующему требованиям и условиям нового времени.

— А почему я не верю? — заговорил Мухоедов, складывая на диване ножки калачиком. — Очень просто. Ты вот приехал теперь сведения собирать, положим, о числе браков, рождений, смертей, но ведь количество — это сухая цифра и больше ничего, и ты должен будешь раскрасить ее качеством, вот и пойдет писать губерния. Первым делом ты пойдешь к попу, так и так, позвольте метрики, а поп призовет дьячка Асклипиодота и предварительно настегает его, дескать, не ударь в грязь лицом, а Асклипиодот свое дело тонко знает: у него в метрике такая графа есть, где записываются причины смерти, конечно, эта графа всегда остается белой, а как ты потребуешь метрику, поп подмигнет, Асклипиодот в одну ночь и нарисует в метрике такую картину, что только руками разведешь. Недавно наш доктор жаловался на этого Асклипиодота, что у него один шестимесячный младенец умер от запоя, а Асклипиодот и говорит доктору, что «вы, ваше благородие, с земства-то получаете в год три с половиной тысячи, а я шестьдесят три рубля с полтиной, так какой вы с меня еще статистики захотели...» По-моему, Асклипиодот совершенно прав, потому что дьячки не обязаны отдуваться за губернские статистические комитеты, которые за свои тысячи едва разродятся жиденькой книжонкой, набитой фразами: «По собранным нами сведениям,

закон смертности выхватывает свои жертвы в Пеньковском заводе согласно колебаниям годовой температуры и находится в зависимости от изменения суточной амплитуды, климатических, изотермических и изоклинических условий, и т. д.» А в сущности все это нарисовал Асклипиодот и то под пьяную руку, как бог на душу положит.

— В твоих словах, может быть, и много правды, — отвечал я, — но ведь все, что ты сказал, показывает только то, что необходимо изменить самую систему собирания статистического материала, а земская статистика, то есть желание земства знать текущий счет своим платежным силам, колебания в приросте и убыли населения, экономические условия быта, — самое законное желание. Вот ты бы и помог земству, собирал от нечего делать необходимые материалы.

— Да ну вас к черту, вместе и со статистикой вашей! — довольно энергично проговорил Мухоедов, быстро соскакивая со своего дивана. — Вот нам и водку несут...

Действительно, в дверях показалась высокая бледная девушка, с черными волосами и большими серыми глазами; она была одета в розовое ситцевое платье, а не в сарафан, как Фатевна и Феша. Поставив на стол железный поднос, на котором стоял графин с водкой и какая-то закуска, девушка, опустив глаза, неслышными шагами, как тень, вышла из комнаты; Мухоедов послал ей воздушный поцелуй, но девушка не обратила никакого внимания на эту любезность и только хлопнула дверью.

— Еще дщерь Фатевны, — проговорил Мухоедов, выпивая рюмку водки. — Только она сегодня не в ударе...

— А что?

— Да мамынька за косы потаскала утром, так вот ей и невесело. Ухо-девка... примется плясать, петь, а то накинет на себя образ смирения, в монастырь начнет проситься. Ну, пей, статистика, водка, брат, отличная... Помнишь, как в Казани, братику, жили? Ведь отлично было, черт возьми!.. Иногда этак, под вечер осени ненастной, раздумаешься про свое пакостное житьишко,

ажно тоска заберет, известно — сердце не камень, лишнюю рюмочку и пропустишь.

— А сюда-то ты как попал? — спрашивал я, выпивая рюмку довольно скверной водки.

— Самая, братику, обыкновенная история, которую и рассказывать не стоит, — заговорил, махнув рукой, Мухоедов, — ведь я тогда кончил в Казани кандидатом естественных наук, даже золотую медаль получил вон за того зверя. — Мухоедов показал в сторону оловянной чашки, в которой плавал таракан. — Кончил университет и поступил учителем в некоторое реальное училище, под начало некоторого директора из братьев-поляков; брат-поляк любил поклоны, я не умел кланяться, и кончилось тем, что я должен был оставить службу. А тут попался хороший человек, нахвалил службу в частных заводах, я и поступил сюда, да вот теперь шестой год и служу Кайгородову. И ничего, доволен, только жалованьишко маловато...

— Сколько ты получаешь?

— Тридцать семь рублев с полтиною.

— И говоришь: доволен?

Мухоедов выпил рюмку, пожевал сухую корочку хлеба, круто посыпанную солью, и со своей безобидной улыбкой проговорил:

— И здесь, братику, не без препятствий... Есть здесь некоторый немец управитель, мы его зовем Слава-богу, потому что он так называет Ивана Богослова... Так вот этот самый Слава-богу и держит меня в черном теле шестой год, на сиротском положении, потому что опять я кланяться не умею, ну, значит, и не могу никак перелезть через этого пархатого немца. Видал, как на палке тянутся, так и мы с немцем: он думает, что «дойму я тебя, будешь мне кланяться», а я говорю: «Врешь, Мухоедов не будет колбасе кланяться...» Раз я стою у заводской конторы, Слава-богу идет мимо, по дороге, я и кричу ему, чтобы он дошел до меня, а он мне: «Клэб за брюху не будит пошел...» Везде эти проклятые поклоны нужны, вот я и остался здесь, по крайней мере, думаю, нет этого формализма, да и народ здесь славный, привык я, вот и копчу вместе с другими небо-то... Я тебя завтра сведу к Гавриле, нашему механику, вот,

батенька, голова так голова, и характер, железный характер. До всего своим умом дошел, по-сибирски это называют самородком, а душа... да вот сам увидишь. Вечером у него будет спевка, кстати послушаем наших певчих, порядочно поют. Я у Гаврилы живмя живу, свой человек; жена у него умная барынька и тоже золотая душа. — Мухоедов выпил еще рюмку. — Так вот, сравнишь себя с таким самородком и совестно: ведь пробил же себе человек дорогу, единственно своим лбом пробил и без поклонов, а я ведь с кандидатским дипломом сижу у моря и жду погоды... Усилие нужно сделать, говорит какая-то дама в одном романе Диккенса, вот я и проделываю это усилие шестой год. Изживем же мы когда-нибудь нашу колбасу...

— Одну колбасу изживете, вышлют другую.

— Может быть, тогда опять будем отсиживаться, ведь на этом вся наша русская история выстроена, ничем не сморишь.

Против моего ожидания, Фатевна «расступилась», как выразился Мухоедов, и угостила нас пельменями, этим специально сибирским кушаньем; она, впрочем, вознаградила себя за труды тем, что довольно прозрачно напросилась на рюмку водки, которую и выпила с завидным аппетитом.

— В кои-то веки и мы гостя дождались, — говорила Фатевна, утирая губы горстью и показывая свои мелкие гнилые зубы, — а то, статошное ли дело, живет шестой год жилец, и гостей не бывало ни единого разу, только одни письмы да письмы, а што в них толку-то? Жалованье-то Епинет Петрович получит, — уже обращаясь ко мне, толковала Фатевна, — сейчас двадцать рублей отсылает, а на семнадцать с полтиной сам и жует месяц-то... А какие это деньги по нонешнему времю?

— Чего ты брешешь на ветер-то, Фатевна? — угрюмо заговорил Мухоедов. — Никаких денег я не посылаю...

— А вот и врешь... Мне писарь волостной сказывал: «Какой у тебя, говорит, жилец обстоятельный, кажинный, говорит, месяц двадцать рублев для своих родителев посылает».

Повернувшись «стопочкой», Фатевна выплыла в

двери; Мухоедов после нескольких рюмок водки начал заметно хмелеть, делаясь все тише и тише. Водка на него всегда действовала каким-то успокаивающим образом, и он, когда мы жили вместе в Казани, иногда ни с того ни с сего на сон грядущий выпивал стакан водки и сейчас же засыпал мертвым сном. Пока я рассказывал Мухоедову свою историю, он все время дремал и оживился только тогда, когда речь зашла о нынешней молодежи, по отношению к которой мы были уже «отцами», потому что учились в университете в горячую пору начала шестидесятых годов.

— Знаешь, что я иногда думаю, — говорил Мухоедов, улыбаясь немного печальной улыбкой, — мне кажется, что мы *отстали,* нас обошло другое поколение... Да... Назначили нам с год назад в Пеньковку нового доктора из Петербурга; приезжает, парень еще молодой и женат тоже на докторе, жена и значок золотой имеет: «Женщина-врач». Хорошо. Познакомились как-то — ничего, ребята славные и начитанные, особенно врачиха, по всяким наукам настегалась, так учеными терминами и сыплет. Мы с Гаврилой обрадовались им, как христову дню, и сейчас всю душу принялись выворачивать, исповедались, что вот после многих препятствий и даже неудач сподобились открыть ссудо-сберегательное товарищество и намерены устроить ремесленную школу и всякое прочее. Он, врач-то, все слушает и все поддакивает: «Да, да, говорит, хорошо, очень хорошо, очень хорошо», как малым ребятам, а врачиха-то не вытерпела, вздернула своей мордочкой да как отрежет нам с Гаврилой: «Все это паллиативы...» И он тоже: «Это, говорит, действительно паллиативы», а врачиха и давай нас обстригать с Гаврилой, так отделала, что небу жарко, а в заключение улыбнулась и прибавила: «Большие вы идеалисты, господа!» Я и рот растворил, а Гаврила мой справился и говорит: «Ничего, мы останемся идеалистами...» Так мы и остались с Гаврилой и совсем разошлись с современным поколением: они сами по себе, а мы сами по себе. Только проходит некоторое время; влетает ко мне Фатевна и начинает меня костерить всяческим манером, главное за то, что я живу у ней шестой год, а расколотого гроша не накопил. Главное, даже в амби-

цию вломилась, потому могут подумать на нее, что она мои деньги ворует... «Белены объелась баба, — думаю про себя, — что ей за дело до моих денег», а она так и наступает, потом, конечно, и проболталась. Видишь, она пронюхала, что наши врачи где-то купили пять билетов внутреннего с выигрышем займа, вот ей это и показалось обидно, что не успели люди прожить без году неделю, а уж и билетами обзаводятся, а у ней жилец служит шестой год и ни одного билета не купил. Рассердился я тогда на старуху, крепко обругал и даже выгнал, это у нас входит в наш modus vivendi [1] и в строку не ставится; а самому так-то горько-горько сделалось, вот, мол, где не паллиативы-то, раздуй вас горой... Грешный человек, не люблю про ближнего худое слово говорить, а тут не стерпел... Процентные бумаги!.. Тьфу! К чему было и огород городить, коли на то пошло...

В комнате было страшно накурено, дым волнами стоял до самого потолка; от выпитого вина и пропитанного табачным дымом воздуха голова у меня начинала кружиться, а Мухоедов с побледневшим лицом попрежнему сидел на диване, то принимаясь что-нибудь рассказывать с лихорадочной поспешностью, то опять смолкал и совершенно неподвижно смотрел куда-нибудь в одну точку. Сальный огарок в позеленевшем, давно нечищенном подсвечнике освещал комнату тусклым красноватым светом; я растворил окно на пруд, и мы сели к нему, я на стул, Мухоедов на подоконнике. Майская чудная ночь смотрела в окно своим мягким душистым сумраком и тысячью тысяч своих звезд отражалась в расстилавшейся перед нашими глазами, точно застывшей поверхности небольшого заводского пруда; где-то далеко-далеко лаяла собака, обрывками доносилась далекая песня, слышался глухой гул со стороны заводской фабрики, точно там шевелилось какое-то скованное по рукам и ногам чудовище, — все эти неясные отрывистые звуки чутко отзывались в дремлющем воздухе и ползли в нашу комнату вместе с холодной струей ночного воздуха, веявшего на нас со стороны пруда. В даль-

---

[1] образ жизни (*лат.*)

нем конце пруда чуть виднелась темная линия далекого леса, зубчатой стеной встававшего из белого тумана, который волнами ползал около берегов; полный месяц стоял посредине неба и озарял всю картину серебристым светом, ложившимся по воде длинными блестящими полосами. Несколько доменных печей, которые стояли у самой плотины, время от времени выбрасывали длинные языки красного пламени и целые снопы ярких искр, рассыпавшихся кругом золотым дождем; несколько черных высоких труб выпускали густые клубы черного дыма, тихо подымавшегося кверху, точно это курились какие-то гигантские сигары. Мы с Мухоедовым долго и совершенно безмолвно любовались этой оригинальной картиной, в которой свет и тени создавали причудливые образы и нагоняли в душу целый рой полузабытых воспоминаний, знакомых лиц, давно пережитых желаний и юношеских грез; Мухоедов сидел с опущенной головой, длинные волосы падали ему на лоб, папироса давно потухла, но он точно боялся пошевелиться, чтобы не нарушить обаяния весенней ночи.

— А ведь врачиха-то, пожалуй, правду сказала, что мы идеалисты, — заговорил, наконец, Мухоедов, не поднимая головы, — идеалисты мы и есть, никаких у нас хватательных и приобретательных инстинктов не оказалось на роскошном пиру действительности... Помнишь, как мы увлекались *тогда* естественными науками, женским вопросом, просвещением народа с высоты нашего тогдашнего величия? Помнишь, как мы читали Белинского, Добролюбова, как встречали освобождение от крепостной зависимости и чего ждали от новых судов и земских учреждений... Вот теперь все это пришло, и мы оказались за штатом... Эта врачиха-то что проповедует: не нам, говорит, учить народ, а нам учиться у него... Как это тебе нравится? А мы-то мечтали просветить это темное царство, а теперь оказывается, что нам приходится искать просвещения в этом царстве... Tempora mutantur... [1] Теперь, братику, и сам Базаров мальчишкой оказывается. Помнишь, как он выразился про Николая Петровича Кирсанова, что его песенка спета,

[1] Времена меняются... *(лат.)*

теперь про нас тоже говорят... Эх, давай выпьем горилки, сердцу легче станет!

Мы выпили, Мухоедов продолжал в каком-то раздумье:

— А ведь, знаешь, что я иногда думаю: ведь все это, чем мы жили, была одна иллюзия, прекрасный сон... По крайней мере, оглянешься кругом, ни одной живой души не видишь: все преклонилось пред золотым тельцом... А что эти крикуны, которые тогда в аудиториях да в кружках со слезами на глазах святые истины проповедовали, все теперь черту служат, большие оклады получают и в чины лезут. Я и газеты поэтому давно не читаю, чтобы не видать этой гадости, а все-таки вспомнишь про университет, про свое студенчество — так сердце кровью и обольется.... Э-эх, золотое было времечко!.. А нет-нет, точно палкой по голове и ударит... Недавно приезжал сюда следователь, может, помнишь, на курсе у нас хохол был, Цыбуля по фамилии: свинья-свиньей, тошно смотреть и еще, подлец, жалуется, что среда заела, а сам получает даром две тысячи в год да все время пьет горькую чашу... Двух докторов тоже встретил как-то, те уж прямые мошенники, только о процентных бумагах и думают; об юристах и говорить нечего, как сыр в масле катаются... Был я раз в городе, так один из них чуть меня рысаком не задавил... Может, помнишь Ваньку Белоносова, вот он самый и есть, тоже на среду жалуется и прожигает жизнь... Ну, да всех этих подлецов не перечтешь...

Мы проговорили до самого утра и улеглись спать только тогда, когда солнце начало подниматься из-за горизонта багровым шаром; пьяный Мухоедов скоро заснул на диване, а я долго ворочался на его жесткой постели.

Странный был человек Епинет Мухоедов, студент Казанского университета, с которым я в одной комнате прожил несколько лет и за всем тем не знал его хорошенько; всегда беспечный, одинаково беззаботный и вечно веселый, он был из числа тех студентов, которых сразу не заметишь в аудитории и которые ничего общего не имеют с студентами-генералами, шумящими на сходках и руководящими каждым выдающимся движением

студенческой жизни. Мухоедов принимал живое участие в этих движениях, но больше своим присутствием, а не словом; он изображал из себя «народ», как говорят о статистах на театральной сцене, предоставляя роль вожаков более красноречивым и более умным, как он думал в простоте своего доброго сердца. Жили мы с Мухоедовым где-то в самом глухом переулке, занимая пятирублевую комнатку, через день обедая и переживая с лихорадочным жаром то счастливое настроение, которое безраздельно овладело всей тогдашней молодежью; мы не замечали той вопиющей бедности, которая окружала нас, и жили отлично, как можно жить только в двадцать лет. В это горячее время было пережито, может быть, слишком много счастливых молодым счастьем часов; воспоминанием об этом времени остались такие люди, как Мухоедов, этот идеалист с ног до головы, с каким-то особенным тайничком в глубине души, где у него жило то нечто, что делало его вечно довольным и беззаботным. Мне особенно было интересно проследить, что произошло с его тайничком за последние десять лет, в которые русское общество пережило, передумало и перечувствовало так много, а он, Мухоедов, с головой окунулся в глубину житейского моря.

Из разговоров с Мухоедовым я убедился в том, что он остался вечным студентом и ревниво охранял свой заветный тайничок, хотя беспредельная вера в содержимое этого тайничка подвергалась сильным искушениям и даже требовала поддержки какого-то Гаврилы, пред которым Мухоедов преклонялся со свойственным ему самоотвержением, как он раньше преклонялся пред Базаровым. Мухоедов, кажется, сильно отстал от века, может быть, забросил свою любимую науку, не читал новых книжек и все глубже и глубже уходил в свою скорлупу, но никакие силы не в состоянии были сдвинуть его с заветной точки, тут он оказал страшный отпор и остался Мухоедовым, который плюнул на все, что его смущало; мне жаль было разбивать его старые надежды и розовые упования, которыми он еще продолжал жить в Пеньковке, но которые за пределами этой Пеньковки заменены были уже более новыми идеями, стремлениями и упованиями. В лице Гаврилы явился

тот «хороший человек», с которым Мухоедов отводил душу в минуту жизни трудную, на столе стоял микроскоп, с которым он работал, грудой были навалены немецкие руководства, которые Мухоедов выписывал на последние гроши, и вот в этой обстановке Мухоедов день за днем отсиживается от какого-то Слава-богу и даже не мечтает изменять своей обстановки, потому что пред его воображением сейчас же проносится неизбежная тень директора реального училища, Ваньки Белоносова, катающегося на рысаках, этих врачей, сбивающих круглые капитальцы, и той суеты-сует, от которой Мухоедов отказался, предпочитая оставаться неисправимым идеалистом. Жизнь его обогнала, выдвинув новые идеалы, и он продолжал с каким-то Гаврилой переживать старое, что было вынесено еще с университетской скамейки.

II

На другой день меня разбудил скрип двери, какой-то шепот и сдержанный смех; когда я открыл глаза, в дверях моей комнаты мелькнули улыбавшиеся лица дочерей Фатевны. Девушки толкали друг друга, хихикали и производили за дверями страшную возню.

— Что вы тут ржете, кобылы! — послышался суровый крик Фатевны, и девки с громким топотом скрылись.

Когда я встал и оделся, в дверях показалась девушка, которая была вчера «не в ударе»; улыбнувшись, она нерешительно проговорила:

— Вам, может быть, самоварчик понадобится?

— Да, если можно...

Глаша — так звали эту юнейшую отрасль Фатевны — скрылась и через минуту внесла в комнату ожесточенно кипевший самовар; это была высокая стройная девушка с смелым красивым лицом, бойкими движениями и вызывающим взглядом больших серых глаз. Она с намерением долго возилась с двумя стаканами, мыла и терла их, взглядывая на меня исподлобья; выходя из комнаты, она остановилась на полдороге и, опустив глаза, спросила:

— А вы вместе учились с Епинетом Петровичем?

— Да, вместе...

— Глашка, Глашка... ужо тебя мамынька-то!— слышался из-за дверей змеиный сип Фешки, которая, очевидно, занимала сторожевой пост.

Пока я пил чай, растворив окно на пруд, до меня из слова в слово доносилась отборная ругань, которой Фатевна угощала сначала какого-то старика, одетого в синюю пестрядевую рубаху и очень ветхие порты; старик накладывал на телегу железными вилами навоз и все время молчал, равнодушно поплевывал на руки и с кряхтеньем бросал на телегу одну ношу за другой. Одно окно выходило на двор, и мне отлично было видно всю сцену: Фатевна, уперев руки в бока, фертом ходила около старика и в такт своей ругани покачивала головой. Когда старик на сивой лошади выехал со двора, Фатевна несколько времени ходила по двору, ругаясь в пространство и подбирая какие-то щепы, которыми был завален целый угол; в это время показалась из крохотного флигелька высокая сгорбленная женщина, лет сорока пяти, с такой маленькой головкой, точно это была совсем детская. Когда она повернула в мою сторону свое круглое маленькое лицо с серыми любопытными глазками и крошечным носом пуговкой, я сразу узнал в ней вчерашнего Пушкина, который заглядывал на меня в окно и прятался за косяк.

— Ровно бы тебе и перестать надо, Фатевна, — заговорил Пушкин, закрывая нижнюю часть лица своей широкой костлявой ладонью. — Недаром говорят, что бабье сердце, все равно что худой горшок...

— Ах, ты... — завопила Фатевна, становясь в боевую позицию и упирая руки в бока. — Не тебе бы говорить, не мне бы тебя слушать, живая боль...

— А ты — сухая мозоль, — храбро ответила женщина с маленьким лицом. — Я тебе правду говорю... вон и барин сидит: ведь он все это слышит. Ты бы, Фатевна, хоть постыдилась чужих-то людей... Ведь приезжий барин все видит, все...

Эта перестрелка быстро перешла в крупную брань и кончилась тем, что Пушкин с громкими причитаниями удалился с поля битвы, но не ушел в свой флигель, а сел на приступочке у входных дверей и отсюда отстрели-

вался от наступавшего неприятеля. На крыльце появились Феша и Глаша и громко хохотали над каждой выходкой воинственной мамаши, Пушкин не вынес такого глумления и довольно ядовито прошелся относительно поведения девиц:

— Ты бы лучше своей Глашке указывала, чтобы она к мужчинам-то поменьше лезла, когда они спят... Это не прилично девушке-невесте. Я своими глазами видела, как Глашка давеча к барину ходила... Да, своими глазами видела. Вон он сидит, спросите у него!

Я поскорее ушел в противоположный конец комнаты, чтобы не попасть в эту кашу в качестве свидетеля; через минуту Пушкин, сидя на своем приступочке и сильно раскачиваясь из стороны в сторону, причитал на целую улицу:

— Сирота я горемышная... Нету у меня ни роду, ни племени, родного батюшки-заступничка... Некому заступить за меня сироту горемышную!

Это причитанье вызвало громкий смех девушек и отчаянную ругань Фатевны; я отошел к окну, выходившему на пруд, чтобы не слышать этого воя, смеха и ругани. Из окна открывался отличный вид на заводский пруд, несколько широких улиц, тянувшихся по берегу, заводскую плотину, под которой глухо покряхтывала заводская фабрика и дымили высокие трубы; а там, в конце плотины, стоял отличный господский дом, выстроенный в русском вкусе, в форме громадной русской избы с высокой крышей, крытой толем шахматной доской, широким русским крыльцом и тенистым старым садом, упиравшимся в пруд.

Было часов десять утра; легкая рябь чешуей вспыхивала на блестящей поверхности пруда и быстро исчезала, и в воде снова целиком отражалось высокое, бледноголубое небо с разбросанными по нему грядами перистых облачков; в глубине пруда виднелась зеленая стена леса, несколько пашен и небольшой пароход, который с величайшим трудом тащил на буксире три барки, нагруженные дровами. На плотине несколько пильщиков, как живые машины, мерно качались вверх и вниз всем туловищем; у почерневшей деревянной будки сидел седой старик; несколько мальчишек удили рыбу

с плотины, какая-то старушка дама, как часовой, несколько раз прошла по плотине, а затем скрылась в щегольской купальне, стоявшей у господского дома. На самой средине пруда белела чета гусей, оставляя за собой длинный след, тянувшийся за ними двумя расходившимися полосами.

— Ты уж встал, — говорил Мухоедов, появляясь в дверях и с ожесточением бросая свою шляпу на стол.

— Да, встал.

— И чаю напился?

— Да.

— Ну, и отлично... А я нарочно тебя предупредить пришел: ты теперь в завод не ходи, там Слава-богу шатается, еще, пожалуй, придерется, а ты ступай теперь к попу Егору, он тебе все метрики покажет; пока ты пробудешь у попа, Слава-богу уйдет из заводу кофе свой лопать, ты и придешь. Я тебе и всю нашу огненную работу покажу и в архив сведу. Понял?

Заметив тихо хныкавшего на своем приступочке Пушкина, Мухоедов проговорил:

— Сражение было?

— Да.

— Ну, сие тоже входит в наш modus vivendi и служит нам для очищения застоявшихся кровей... Эй, Галактионовна! — закричал Мухоедов, высовываясь в окно на двор, — перестань выть; хочешь водки?

— У вас незнакомый мущина... — застенчиво отозвалась Галактионовна, — я ведь не пойду в комнату постороннего мущины, как бесстыжая Глашка...

— А, теперь понимаю, — улыбнувшись, проговорил добродушно Мухоедов, — наша Глафира сегодня в ударе... А у меня со вчерашних разговоров сегодня главизна зело трещит.

Мухоедов выпил рюмку водки, и мы вышли. Мухоедов побрел в завод, я вдоль по улице, к небольшому двухэтажному дому, где жил отец Егор. Отворив маленькую калитку, я очутился во дворе, по которому ходил молодой священник, разговаривая с каким-то мужиком; мужик был без шапки и самым убедительным образом упрашивал батюшку сбавить цену за венчание сына.

— Я тебе говорю, друг мой, — мягко объяснял батюшка, — что я не могу, никак не могу... Если я сбавлю тебе, должен буду сбавить и другим, понял?

— Андроник дешевле венчает, — говорил «друг мой», почесывая затылок.

— Ты, друг мой, и ступай к отцу Андронику; я буду рад, если он тебе дешевле обвенчает, а я не могу... Нет, я не могу. Эту неделю я служу, а ты подожди следующей...

— Отец Егор, развяжи ты мне руки, ради Христа! — взмолился мужик. — Ведь страда наступает, до смерти сына надо женить; ведь время-то теперь какое... а?

— Не могу, друг мой...

Заметив меня, батюшка сказал мужику, чтобы он приходил к нему в другой раз, а сам пытливо посмотрел на меня своими иззелена-серыми, широко раскрытыми глазами и проговорил самым любезным тоном, протягивая мне свою длинную холодную руку:

— С кем имею честь говорить?

Я назвал себя и в коротких словах объяснил цель моего посещения.

— А, очень рад, очень рад, — торопливо заговорил батюшка, крепко пожимая мою руку. — Буду совершенно счастлив, если могу быть вам чем-нибудь полезен.. Пойдемте в мою хату, там и побеседуем. Пожалуйте.

Батюшка пошел вперед меня, это был еще совсем юноша, лет двадцати двух, с бледным лицом и небольшой русой бородкой. Белый пикейный подрясник облегал его длинную худощавую фигуру самым благообразным образом, так что о. Егор меньше всего походил на русского попа, а скорее на католического патера; мягкий певучий голос и плавные движения делали это сходство поразительно близким, только в неподвижном выражении бледного лица, в неестественно ласковой улыбке и в холодном взгляде больших глаз чувствовалось что-то ложное и неприятное. Забежав немного вперед, батюшка с предупредительностью отворил мне дверь в небольшую темную переднюю, а оттуда провел в светлый уютный кабинет, убранный мягкою мебелью; у окна стоял хорошенький письменный столик, завален-

ный книгами и бумагами, несколько мягких кресел, мягкий ковер на полу, — все было мило, прилично и совсем не по-поповски, за исключением неизбежных премий из «Нивы», которые висели на стене, да еще нескольких архиереев, сумрачно глядевших из золотых рам.

Батюшка позвонил в колокольчик, явилась молоденькая, очень прилично одетая горничная и молча остановилась в дверях; батюшка объяснил ей что-то вполголоса, а потом прибавил громко:

— Пусть он придет сюда.

Мы остались вдвоем; батюшка оказался очень образованным человеком, который интересовался всем и умел говорить довольно складно. Оказалось, что он несколько знаком с статистикой и даже некоторое время занимался ей специально, но за разными житейскими недосугами и своими специальными обязанностями пастыря принужден был оставить эти занятия.

— Ведь вы войдите в положение русского священника, — говорил батюшка, придвигая ко мне свое кресло. — Вот хоть возьмите эту сцену, свидетелем которой вы были сейчас... Поставьте себя на мое место... Да, очень грустное положение, которое вызывает на нас часто не совсем справедливые нарекания. Конечно, виновато в этом и само наше духовенство отсутствием серьезного образования, недостатком начитанности... Но ведь, помилуйте, войдите вы в положение человека, который от души желает быть полезным обществу и на первых же шагах должен встретиться с этой прозой жизни в виде разных сборов, платы за требы и прочими дрязгами нашего быта.

— Homo sum, nihil humanum mihi alienum est [1], — с улыбкой прибавил батюшка. — Есть известные потребности, в удовлетворении которых не хочется отказать себе; подрастают дети, которым хочется дать приличное образование, чтобы из них впоследствии вышли полезные члены общества, — вот вам и целый circulus vitiosus [2], из которого не можешь никак вырваться

[1] Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, *(лат.)*
[2] порочный круг, *(лат.)*

и который с каждым годом затягивает все сильней и сильней.

Эта мерная, как журчащий ручеек, речь о. Егора была прервана легким скрипом двери, в которой появилась длинная и тощая фигура, одетая в какой-то необыкновенный порыжевший драповый подрясник цвета Bismark-furioso; я догадался, что это и был тот самый дьячок Асклипиодот, о котором вчера говорил мне Мухоедов. Асклипиодот почтительно остановился в дверях, одной рукой пряча за спиной растрепанную шапку, а другой целомудренно придерживая расходившиеся полки своего подрясника; яйцеобразная голова, украшенная жидкими прядями спутанных волос цвета того же Bismark-furioso, небольшие карие глазки, смотревшие почтительно и вместе дерзко, испитое смуглое лицо с жиденькой растительностью на подбородке и верхней губе, длинный нос и широкие губы — все это, вместе взятое с протяженно-сложенностью Асклипиодота, полным отсутствием живота, глубоко ввалившейся грудью и длинными корявыми руками, производило тяжелое впечатление, особенно рядом с чистенькой и опрятной фигуркой о. Егора, скромно охорашивавшегося в своем кресле.

— Вы, отец Георгий, присылали за мной служанку... — нерешительно заговорил Асклипиодот приятным баритоном.

— Да, Асклипиодот, ты к завтрашнему дню приготовишь метрики и передашь их вот им, — проговорил о. Егор, показывая движением глаз на меня.

— А я, отец Георгий, думал... мы собрались рыбы побродить с отцом Андроником, так я хотел... уволиться у вас.

— Ах, какой ты странный, Асклипиодот, — с небольшим раздражением в голосе заговорил батюшка, ломая свои длинные тонкие пальцы. — Если я тебя прошу... Неужели ты не понимаешь?

Асклипиодот сильно засопел носом и смолк; только пальцы руки, придерживавшей полки, усиленно перебирали измызганные края их, и Асклипиодот после некоторой паузы улыбнулся мрачной улыбкой, дескать, «вот тебе, о. Андроник, набродили мы с тобой рыбки...»

Поблагодарив батюшку за его любезную готовность быть мне полезным, я оставил его уютный кабинет; в передней опрятная «служанка» не без ловкости помогла мне надеть верхнее пальто, а за воротами меня догнал Асклипиодот, который находился в большом волнении и сильно размахивал руками.

— А мы с Андроником собрались было рыбу бродить... — говорил Асклипиодот, сильно шаркая своими громадными сапогами и по пути раскуривая крючок злейшей солдатской махорки.

— Мне не нужно метрик сейчас, — объяснял я Асклипиодоту, — вы можете отправляться, куда угодно, а я подожду.

— А вы слышали, что *он* сказал? Да-с... Когда он скажет: «если я вас прошу», значит — кончено, вынь да положь, а то оштрафует или на поклоны поставит в алтаре... *Он* у нас мягко стелет, да жестко спать.

— Право, я не знаю, как быть с этим делом... Мне совсем не хочется лишать вас ни удовольствия, ни рыбы.

— Устроимте маленькую сделочку... у меня искра блеснула, — проговорил Асклипиодот. — *Он* вас непременно спросит после, когда вы получили от меня метрику, а вы и скажете, что сегодня.

— С удовольствием.

— Покорно вас благодарю... — проговорил Асклипиодот и, схватив мою руку, неожиданно поцеловал ее.

Асклипиодот быстро перешел на другую сторону улицы и прямо перелез через забор в чей-то огород, а я пошел по направлению к заводской фабрике, раздумывая дорогой об о. Егоре, его слащавых речах, утонченной вежливости и полном отсутствии любопытства, столь свойственного всякому сельскому попу; о. Егор не полюбопытствовал даже о том, когда я приехал в Пеньковку, где остановился и долго ли думаю пробыть в сих палестинах. Это отсутствие любопытства в о. Егоре впоследствии совершенно объяснилось, батюшка через некоторых соглядатаев знал решительно все, что делалось в его приходе, и, как оказалось, его «служанка» ранним утром под каким-то благовидным предлогом завертывала к Фатевне и по пути заполучила

все нужные сведения относительно того, кто, зачем и надолго ли приехал к Мухоедову; «искра», блеснувшая в голове Асклипиодота, и его благодарственный поцелуй моей руки были только аксессуарами, вытенявшими истинный характер просвещенного батюшки, этого homo novus[1] нашего белого духовенства. Занятый своими мыслями, я незаметно спустился по улице под гору и очутился пред самой фабрикой, в недра которой меня не только без всяких препятствий, но и даже с поклоном впустил низенький старичок караульщик; пройдя маленькую калитку, я очутился в пределах громадной площади, с одной стороны отделенной высокой плотиной, а с трех других — зданием заводской конторы, длинными амбарами, механической и дровосушными печами. Вся площадь течением реки Пеньковки была разделена на две половины: в одной, налево от меня, высились три громадных доменных печи и механическая фабрика, направо помещались три длинных корпуса, занятых пудлинговыми печами, листокатальной, рельсокатальной и печью Сименса с громадной трубой. На площади, там и сям, виднелись кучки песку, шлаков, громадные горновые камни, сломанные катальные валы и красивые ряды только что приготовленных рельсов, сложенных правильными квадратами. Несколько рабочих в синих пестрядевых рубахах, в войлочных шляпах и больших кожаных передниках прошли мимо меня; они как-то особенно мягко ступали в своих «пряденикax»; у входа в катальную, на низенькой деревянной скамейке, сидела кучка рабочих, вероятно только что кончивших свою смену: раскрытые ворота рубашек, покрытые потом и раскрасневшиеся лица, низко опущенные жилистые руки, — все говорило, что они сейчас только вышли из «огненной работы».

Вдали, в грудах беспорядочно наваленных дров, мелькала пестрая, покрытая сажей толпа «дровосушек» и поденщиц, вызывавшая со стороны проходивших рабочих двусмысленные улыбки, совсем недвусмысленные шутки и остроты, и не менее откровенные ответы, и громкий девичий смех, как-то мало гармонировавший с

---

[1] нового человека *(лат.)*

окружающей обстановкой усталых лиц, железа, угля и глухого грохота, прерываемого только резким свистом и окриком рабочих. Я отыскал Мухоедова в глубине рельсовой катальной; он сидел на обрубке дерева и что-то записывал в свою записную книжку; молодой рабочий с красным от огня лицом светил ему, держа в руке целый пук зажженной лучины; я долго не мог оглядеться в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, темные закоптелые стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями. В глубине корпуса, около ряда низеньких печей с маленькими отверстиями, испускавшими ослепительный белый свет, каким светит только добела накаленное железо, двигались какие-то человеческие фигуры, мешавшие в печах длинными железными клюками; где-то капала вода, сквозной ветер тянул со стороны водяного ларя, с подавленным визгом где-то вертелось колесо, заставляя дрожать даже чугунные плиты, которыми был вымощен весь пол.

— Сейчас будут прокатывать рельс, — предупредил меня Мухоедов, когда по фабрике пронесся пронзительный свист, и в разных ее углах метнулись темные человеческие фигуры.

Скоро в глубине фабрики показался яркий свет, который быстро приближался; это оказалась рельсовая болванка, имевшая форму вяземского пряника и состоявшая из нескольких отдельных, «сваренных» между собой пластинок. Нагнувшийся рабочий быстро катил высокую железную тележку, на платформах которой лежал раскаленный кусок железа, осветивший всю фабрику ослепительным светом; другой рабочий поднял около нас какой-то шест, тяжело загудела вода, и с глухим ропотом грузно повернулось водяное колесо, заставив вздрогнуть всю фабрику и повернутьвалы катальной машины. Сначала можно было различить движение этих валов, но потом все слилось в мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, точно вот-вот, еще один поворот водяного колеса, двигавшегося за деревянной перегородкой, как какое-то чудовище, и вся эта масса вертящегося чугуна, стали и железа разлетится вдре-

безги. Двое рабочих в кожаных передниках, с тяжелыми железными клещами в руках, встали на противоположных концах катальной машины, тележка с болванкой подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое между катальными валами отверстие и вылез из-под валов длинной полосой, которая гнулась под собственной тяжестью; рабочие ловко подхватывали эту красную все удлинявшуюся полосу железа, и она, как игрушка, мелькала в их руках, так что не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах от нее сильно жгло и палило лицо.

— Ну что, видел огненную работу? — спрашивал меня Мухоедов, когда совсем готовый двенадцатипудовый рельс был брошен с машины на пол. — Пойдем, я тебе покажу по порядку наше пекло.

Мы прошли в то отделение, где с страшной силой вертелось громадное маховое колесо, или по-заводски «маховик»; вода была остановлена, но маховик продолжал еще работать, подымая своим движением ветер.

Светлый деревянный корпус, где мы были, представлял резкий контраст с фабрикой; молодой человек машинист, одетый в замазанную машинным салом блузу, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки жир в медную подушку маховика; около окна стоял плотный, приземистый старик с «правилом» в руке.

— Это наш плотинный, Авдей Михайлыч, — шепнул мне Мухоедов.

Плотинный подошел к нам, вежливо поздоровался со мной и велел машинисту дать полный ход маховику, чтобы показать весь эффект его могучего движения; мы полюбовались вертевшимся в полторы тысячи пудов чудовищем и побрели в следующий корпус, где производилась прокатка листового железа. Плотинный пошел вместе с нами, и я невольно полюбовался плотно сколоченной фигурой и умным серьезным лицом с небольшими серыми глазами, широким носом, густыми бровями и небольшой, едва тронутой сединой бородкой. Одет он был в синее суконное полукафтанье и подпоясан красной шерстяной опояской; обыкновенная войлочная шляпа, какую носили все рабочие, пестрядевая

рубаха, ворот которой выставлялся из-под воротника кафтана, и черные кожаные перчатки дополняли костюм Авдея Михайлыча; судя по поклонам попадавшихся навстречу рабочих, плотинный играл видную роль на фабрике.

— Вот этот молодец вместе с Слава-богу, — говорил Мухоедов, показывая на удалявшегося Авдея Михайлыча, — совсем погубили одного машиниста, который работал у маховика... Были какие-то переделки в помещении маховика, загородку около него убрали, один рабочий шел мимо, его и завертело в маховике, только клочья мяса остались; конечно, сейчас следователь явился, притянули на суд Слава-богу и Авдея Михайлыча, а они всю вину и свалили на машиниста, когда сами кругом были виноваты. Ведь ушел машинист-то из-за них на поселенье, а им дали на суде только легкий выговор. Вот тебе и гласное судопроизводство... Эксперты — свой брат, такого туману напустили, что у присяжных ум за разум зашел.

В катальной листового железа происходила та же процедура приблизительно, что и при прокатке рельс, с той разницей, что все здесь было в меньших размерах, а железная крица весила всего несколько фунтов; в печах мартена, в небольшое отверстие, я долго любовался расплавленным железом, которое при нас же отлили в чугунные формы. Последняя операция совершалась очень несложно, только страшный жар от расплавленного железа и удушливая атмосфера делали ее исполнение очень затруднительным для рабочих, которые печи Мартена окрестили Мартыном. Те же высокие костлявые фигуры рабочих, пряденики на ногах, кожаные передники, синие пестрядевые рубахи и истомленные запеченные лица мы встречали везде, где совершалась тяжелая огненная работа.

Когда мы вышли из фабрики, нас встретил небольшого роста мужик, в лохмотьях и без шапки; он сильно размахивал длинной палкой и, обратившись к нам, с детскою улыбкою забормотал:

— Здорово, Иваныч... Иваныч, здорово... убили... сорок восемь серебром убили... Да. Я приказал попу... я велел молебен, Иваныч...

— Это Яша-дурачок, — объяснил Мухоедов, — помешался на том, что он управитель завода.

— Иваныч... часы... купи часы... — бормотал Яша, вынимая из-за пазухи деревянный ящичек.

— Покажи, Яша.

— Часы, Иваныч... и ночью ходят, Иваныч...

Яша с блаженной улыбкой открыл крышку деревянного ящичка, на дне которого бойко совался из угла в угол таракан-прусак; спрятав свои часы за пазуху, Яша взмахнул палкой и какой-то особенной бессмысленной походкой, какой ходят только одни сумасшедшие, побрел в здание фабрики, продолжая бормотать свою прежнюю фразу:

— Убили... сорок восемь серебром... Иваныч, убили!

— Яша всех зовет Иванычами, — объяснял Мухоедов.

После грохота, мрака и удушливой атмосферы фабрики было вдвое приятнее очутиться на свежем воздухе, и глаз с особенным удовольствием отдыхал в беспредельной лазури неба, где таяли, точно клочья серебряной пены, легкие перистые облачка; фабрика казалась входом в подземное царство, где совершается вечная работа каких-то гномов, осужденных самой судьбой на «огненное дело», как называют сами рабочие свою работу. Едва ли где-нибудь в другом месте съедался кусок в большем поте лица, как это обещал бог первому человеку и как это происходило именно здесь, на этом каторжном труде, на котором быстро сгорает самый богатый запас рабочей силы.

— А вон *Ястребок* наш прогуливается, — говорил Мухоедов, указывая на очень приличного и очень красивого господина с румяным полным лицом, окладистой бородкой и мягким взглядом красивых карих глаз. — Это наш надзиратель, Павел Григорьич Рукавицын; я у него под началом состою... Ужаснейшая бестия, берет с рабочих, как говорится, вареным и жареным, а если кто не приходит с поклоном — и с работы долой. А возле него стоит уставщик огненных работ, Прохор Пантелеич, тоже немаловажная птица в нашей иерархии; уставщик да плотинный — это два сапога — пара, теп-

лые ребята и ловко обделывают свои делишки, а Ястребок видит — не видит, потому рука руку моет.

Уставщик огненных работ сильно походил всей своей фигурой на плотинного и был одет точно так же, только полукафтанье у него было темнозеленого цвета да шляпа немного пониже; он держал в руках такое же «правило» и ходил таким же медленным тяжелым шагом, как это делал плотинный. Рукавицын подошел к нам, крепко пожал мою руку и на вопрос, можно ли воспользоваться заводским архивом, отвечал, что спросит об этом управителя и с своей стороны постарается и т. д. Я, конечно, поблагодарил его; эта мирная сцена была неожиданно прервана страшным нечеловеческим криком, донесшимся из рельсовой фабрики, откуда выскочил рабочий и пробежал было мимо нас, но Рукавицын остановил его и спросил, что случилось.

— Пал Григорич... крицей ногу отсадило, — равнодушно проговорил он, точно это было самым обыкновенным делом, — Степку Ватрушкина задавило...

— А... хорошо, я сейчас иду, — отвечал Рукавицын таким тоном, как будто одного его появления было совершенно достаточно, чтобы раздавленная нога какого-то Степана Ватрушкина сейчас же получила бы свой прежний вид.

Мы торопливо прошли в катальную; толпа рабочих с равнодушным выражением на лицах молча обступила у самой катальной машины лежавшего на полу молодого парня, который страшно стонал и ползал по чугунному полу, волоча за собой изуродованную ногу, перебитую упавшим рельсом в голени. Кровь сильно сочилась из пестрядевых портов, образуя около пряденика, где были намотаны онучи, целый мешок; раненый с обезумевшим взглядом обращался ко всем, точно отыскивая себе поддержки, участия, облегчения. Его молодое, искаженное страхом лицо было бледно как полотно, волоса прилипли ко лбу тонкими прядями, глаза округлились и вращались в своих орбитах с выражением оцепенелого ужаса, как у смертельно раненной птицы; мне в первый раз пришлось видеть раздавленного человека, и едва ли есть что-нибудь тяжелее этой потрясающей душу картины.

— Ба-атюшки!.. бра-атцы!.. Ааааа!.. Восподи Исусе!.. ой, смерть моя, братцы!.. — стонал раздавленный раздирающим душу голосом.

— Степан, что это с тобой случилось? — спрашивал Рукавицын, наклоняясь над Ватрушкиным.

— Пал Григор!.. отец!.. о-ох! родимой мой!.. прости меня, Христа ради!.. аааааа!!! Крицей ногу отрезало... Пал Григор... о!!!

— Доктора!.. — кричал Рукавицын, стараясь поддержать раненого в полусидячем положении. — Не пугайся, Степан, ничего... Бог даст, пройдет...

Какой-то господин с красным лицом, ястребиным носом, серыми вытаращенными глазами и взъерошенными волосами вбежал в катальную и, ожесточенно махая руками, издали кричал:

— А, шерт взял!.. а сукина сына!.. а швин!.. а канайль!.. Кто раздавиль?!. Где раздавиль?!. А шерт меня возьми!!!

По вежливо расступившимся рабочим я догадался, что это и был сам Слава-богу; он наклонился к Ватрушкину, продолжая страшно ругаться.

— А ничего, шерт возьми... Пустяки!.. — Немец выпустил целую серию самых непечатных выражений и продолжал кричать какую-то тарабарщину, в которой можно было разобрать слова: «швин», «канайль» и «бэстия».

— Карл Иваныч... ой, смерть моя пришла!.. — как-то глухо застонал Ватрушкин, совсем распускаясь на поддерживавших его руках.

— Дохтур... пустите дохтура! — опять заколыхалась толпа, пропуская небольшого роста женщину, почти девушку, которая бежала с полотенцем в руках.

Я не мог выносить дальше этой сцены и вышел скорее на свежий воздух; моя голова начинала тихо кружиться, и нужно было выпить несколько глотков холодной воды, чтобы прийти в себя. Машинально я прошел в дальний конец завода, где стояли домны, и опустился на низенькую скамеечку, приставленную к кирпичной стене какого-то здания; вид раздавленного человека подействовал на нервы самым угнетающим образом. Из оцепенения вывел меня тихий разговор двух рабочих,

которых мне было не видно и которые, очевидно, разговаривали из-за какой-то работы.

— Степку-то ладно как д396ануло, — говорил совсем молодой голос, сильно растягивая слова.

— У нас, почитай, каждую неделю кого-нибудь срежет у машины, — равнодушно отвечал немного хриплый басок. — Мы уже привыкли... оно только сперво-началу страшно, поджилки затрясутся, а потом ничего. Двух смертей не будет, одной не миновать.

— Но-но-но?!

— Верно тебе говорю.

Молчание; легкое посвистыванье, а затем опять разговор вполголоса.

— Это кому утюги-то отливать будут?

— Известно, кому: Ястребку.

Опять молчание; потом стук от чего-то тяжелого, брошенного в землю.

— А как-то намеднись, — продолжал второй голос, — я устроил какую штуку... Эдак же приготовил две формы да потихоньку и отлил два утюжка, а сам и похаживаю, как ни в чем не бывало. Совсем остыли, стал я из песку их лучиночкой откапывать... Сижу эдак на корточках, мурлыкаю про себя, а сам копаю. Только, как на грех, шасть в формовальную *«сестра»* и прямо ко мне... «Чего делаешь?» — «А вот, говорю, под форму место выбираю...» Так нет, лесной его задави, точно меделянский пес, по духу узнал, где мои утюги, откопал их, показывает перстом и говорит: «Это што?» — «Утюги», — говорю... А потом в ноги... «Прохор Пантелеич, не сказывай надзирателю; ей-богу, в первый и последний раз...» Он-таки заставил меня в песке-то поваляться, а простил и утюги мои взял да к караульщику в будку и поставил; я поглядел это, и так мне стало жаль этих утюгов, так жаль... ну, просто тоска инда напала, и порешил я, что непременно я сдую эти утюги у «сестры». А «сестра» взять-то взяла у меня утюги, да и забыла про них, а я каждый день к караульщику наведываюсь, хоть издали полюбуюсь на них, а они, утюжки-то, стоят на полочке кверху носочками и, точно чирочки, выглядывают на меня... Дня три эту муку я примал, а потом караульщик отвернулся из

будки, я утюги за пазуху да прямо к целовальнику, двугривенный без слова отдал... Во как!

— Ловко!..

— Уж так вышло ловко, что и не придумаешь. После «сестра»-то хватилась утюгов, прибежала к караульщику, а их и след простыл... «Сестра» ко мне: «Твоих рук дело, Елизарка?»

— Н-но-о?

— Верно... «Окромя тебя, говорит, некому такой пакости сделать...» Ну, да с меня взятки гладки, с голого, что со святого, немного возьмешь. Шшш!..

Послышалось предостерегавшее шипение, а затем осторожный шепот и сдержанный смех:

— Елизарка, ли-ко, ли-ко: «сестры»-то...

— Ах, родимые мои, сколь они хороши, сердешные!

Я оглянулся, в мою сторону приближался плотинный и уставщик, это и были те «сестры», о которых рассказывал плутоватый Елизарка своему товарищу; трудно было подобрать более подходящее название для этой оригинальной пары, заменявшей Слава-богу уши и очи. Когда я выходил из завода, в воротах мне попался Яша, который сильно размахивал своей палкой и громко кричал:

— Убили... Иваныча убили... сорок восемь серебром... убили... приказываю... спасибо, Иваныч, начальство уважаете! Иваныч, убили...

III

Мухоедов вернулся очень поздно из завода; он был бледен, расстроен и страшно ругался, бегая по своей комнате из угла в угол.

— Ведь ты только пойми: семья, один работник и теперь ему отнимут ногу! — горячился Мухоедов. — И ведь это обыкновенная история... Впереди бедность и нищета, голодные ребятишки... а наше заводоуправление хоть бы палец разогнуло в пользу этих калек! Этот Слава-богу до того был отвратителен давеча, что, право, с удовольствием бы сотворил ему заушение... Ах, подлецы, подлецы! Вот ты составь-ка статистику этим

калекам по милости Слава-богу и тем грошовым пособиям, которые выдаются им единовременно в размере двух-трех рублей!.. Это два рубля получить за целую ногу, за рабочую силу, которая вынесет пятнадцать лет огненной работы?!!

Вечером мы отправились к Гавриле Степанычу. Мухоедов всю дорогу не переставал говорить о «самородке», припоминая из его жизни один эпизод за другим.

— Ты представь себе хоть такую картину, — ораторствовал мой приятель, шагая рядом со мной. — К тридцати годам Гаврило Степаныч выбился из черного тела, его определили механиком на завод... У него была знакомая девушка, которую он очень любил и которая в свою очередь отвечала ему тем же, — и что же? Ты думаешь, он женился?.. Ничуть не бывало... Да не в этом сила, что он не женится, а в том, из-за чего не женится. У него, видишь ли, был какой-то брат, этот брат умер и оставил после себя большую семью без гроша денег, и вот Гаврило Степаныч сказал себе, что не женится, пока не выведет в люди своих племянников и племянниц... Сказал и сделал. Восемь лет убил на них, выучил и определил на места, невеста все ждала, а потом они соединились узами брака и теперь живут, яко два голубка. Я давеча из завода посылал ему сказать, что тебя приведу.

Мы подошли к небольшому домику в пять окон, до нас донеслись звуки рояля и певший что-то мужской приятный голос; потом послышался очень сильный кашель, продолжавшийся все время, пока мы поднимались по небольшой лесенке в сени и раздевались.

— Ну, есть ли у тебя хоть капля здравого смысла?! — заговорил Мухоедов, врываясь в небольшую гостиную, где из-за рояля навстречу нам поднялся сам Гаврило Степаныч, длинный и худой господин, с тонкой шеей, впалыми щеками и небольшими черными глазами. — Что тебе доктор сказал... а? Ведь тебе давно сказано, что подохнешь, если будешь продолжать свое пение...

— Нельзя, сегодня у нас спевка, — мягко отвечал Гаврило Степаныч, здороваясь со мной.

— Что же, ты, вероятно, будешь кашлять по нотам? Вот рассуди, пожалуйста, — обратился Мухоедов ко мне, тыча Гаврила Степаныча рукой в грудь. — Вот человек одной ногой в могиле стоит, на ладан дышит и продолжает себя губить какими-то спевками... Не есть-ли это крайняя степень безумия?..

— Ты можешь успокоиться, — говорил Гаврило Степаныч, усаживая нас около круглого стола, — я на днях переезжаю на Половинку и проживу там до осени... Можешь рассчитывать смело, что я переживу тебя. Ах, да расскажи, пожалуйста, что это произошло в заводе? Я сегодня посажен доктором на целый день в комнату и слышал только мельком, что Ватрушкину ногу рельсом отрезало. Как дело было?

— Как дело было?.. Отрезало ногу и вся недолга... Ну да не стоит об этом говорить, словами тут не поможешь, самое проклятое дело, а вот ты, братику, переезжай скорее на Половинку, мы к тебе в гости будем ездить. Ах, Александра Васильевна, здравствуйте, голубушка; вот я вам статистику привел головой!..

Среднего роста белокурая дама с бледным, спокойным и выразительным лицом протянула мне руку, улыбнулась своей спокойной улыбкой и проговорила, обращаясь к Мухоедову:

— Скажите, Епинет Петрович, что было в заводе?

— Ах, не спрашивайте: раздавило живого человека настолько, что он еще может прожить нищим до ста лет... Слава-богу обругал нас всех, Ястребок тоже дуется на кого-то — словом, самая обыкновенная история.

Небольшая гостиная, в которой стоял рояль, была почти совсем без мебели, за исключением небольшого диванчика, круглого столика пред ним и нескольких венских стульев; на стенах, оклеенных голубенькими дешевыми обоями, висело несколько олеографий. Неровный пол был когда-то покрыт желтой краской, а теперь остались только кой-где следы этой краски; воздух был пропитан, как в больнице, запахом каких-то лекарств и тяжело действовал на свежего человека. Из передней небольшая дверь вела в кабинет хозяина, маленькую комнату, выходившую двумя светлыми окнами на двор;

в кабинете стоял большой стол, заваленный бумагами, около стен стояли два больших шкафа с книгами. И гостиная и кабинет отличались вообще большой простотой обстановки, близко граничившей с бедностью.

Александра Васильевна спросила самовар, и сама принялась угощать нас чаем; после некоторой неловкости, которую неизбежно вносит с собой каждый новый человек, мы разговорились, как старые знакомые.

— У меня просто на совести этот Ватрушкин, — говорил Гаврило Степаныч, — из отличного работника в одну секунду превратиться в нищего и пустить по миру целую семью за собой... Ведь это такая несправедливость, тем более что она из года в год совершается под носом заводоуправления; вот и мы с тобой, Епинет, служим Кайгородову, так что известная доля ответственности падает и на нас...

Гаврило Степаныч говорил с тяжелой одышкой, постоянно вытягивая длинную шею, точно его что-то душило; его длинные костлявые руки с широкими холодными ладонями бессильно лежали на коленях какими-то палками. Синие, сильно вздутые жилы на лбу, висках, шее и на руках, серовато-бледная кожа, с той матовой прозрачностью, какая замечается у больных в последнем периоде чахотки, — все это были самые верные признаки, что Гаврило Степаныч не жилец на белом свете, и я только удивлялся, как Мухоедов не замечал всего этого...

— Самый крепкий рабочий израбатывается в пятнадцать лет на огненной работе, — продолжал Гаврило Степаныч, отпивая несколько глотков из своего стакана. — И все-таки живет он изо дня в день, в будущем у него ровно ничего, а в случае несчастия — нищета. Да чего лучше, я расскажу вам такой случай. Есть у меня знакомый углепоставщик, мужик зажиточный, лет десять исполняет исправно подряд; заготовка дров, обжигание угля, вывоз угля в завод — вот это стоит огненной работы, и, кроме того, это очень сложная операция, растянутая на целый год, и вдобавок деньги начинают выдавать только вместе с вывозом угля, так что только зажиточный двуконный рабочий может приняться за ее выполнение. И что же, падет лошадь, сго-

рит кученок — мужик разорился. Я стал вам рассказывать про своего знакомого углепоставщика: приходит ко мне осенью, когда пал первый снег, и в ноги... Что такое? Так и так, настрадовал летом большой зарод сена, приехал по первопутку за сеном, а вместо зарода одни стожары стоят... Нужно вывозить уголь, пора самая спешная, а кормить лошадей нечем и сена купить не на что; а время идет, каждый час дорог, мужик сунулся к нашим «сестрам»... Это рабочие так плотинного и уставщика у нас зовут. Одна «сестра» запросила рубль на рубль, другая полтораста процентов, вот мужик и прибежал ко мне, плачет — или продавай лошадей и уголь на месте за бесценок, или ступай в кабалу к «сестрам». Ведь положение безвыходное, а это самый справный мужик, отличный работник. Вы видите, как немного нужно рабочему, чтобы сделаться нищим, а между тем, судя по заработкам, нужно бы всем жить зажиточно; вся суть в том, что рабочий не умеет рассчитывать своих маленьких средств, не обеспечивает себя на случай несчастия и постоянно зарывается, а как зарвался — одна дорога к «сестрам», те последнюю шкуру спустят.

Гаврило Степаныч подробно и с большим азартом рассказал историю основания пеньковского ссудо-сберегательного товарищества, которое прошло через целый ряд мытарств: сначала тормозили дело «сестры», потом каким-то образом вмешались Ястребок и Славабогу, наконец, после всех этих передряг, посланный министру финансов устав товарищества утвержден, и товарищество открыто. Мухоедов не преминул ввернуть в разговор «паллиативы врачихи».

— По-моему, врачиха с своей точки зрения права,— говорил Гаврило Степаныч, — она смотрит с точки зрения той теории, которая говорит, что чем хуже, тем лучше, и предпочитает оставаться в величественном ожидании погоды, а по-моему, самое маленькое дело лучше самого великого безделья. Странно только одно: почему люди, получившие даже высшее образование, так отвертываются от наших небольших предприятий; пословица говорит — и Москва не вдруг строилась: нельзя же прямо из-под правила «сестер», да фалансте-

рию устраивать... Все нужно вдруг, разом, — вот наша беда; а где приходится тянуть из года в год, даже целую жизнь, сейчас и на попятный двор: спрятался за умное слово, все, мол, это паллиативы и вы-де, господа, идеалисты...

— Вот это отлично сказано, — восхищался Мухоедов. — Именно: спрятался...

— Конечно, есть у нашего товарищества свои слабые места, — продолжал Гаврило Степаныч. — Мы пока не можем выдавать больших ссуд и, следовательно, не можем вырвать рабочего из крепких рук «сестер»; затем, товарищество не пользуется настоящим кредитом в глазах рабочих, которые смотрят на него, как на пустую затею. А главное — товарищество в самом себе несет зародыш своей гибели, потому что его появление и существование связано с нашей жизнью: не стало нас, и товарищество распадется... Я не закрываю глаз на все эти недостатки и даже, может быть, преувеличиваю их; но ведь это товарищество — первый шаг. Имеет громадную важность самая форма, она приучает рабочего к мысли, что единственное его спасение в артели. От ссудо-сберегательного товарищества мы перейдем к обществу потребителей; может быть, и удастся вырвать рабочего не только из рук «сестер», но и из рук прасолов, которым рабочий теперь переплачивает на каждой тряпке, на каждом фунте муки. Главное: пусть сначала привыкнут к самой форме артели и не смотрят на дело, как на медведя, а содержание явится... Да.

Все это высказывалось порывисто, прерывалось страшным судорожным кашлем, после которого Гаврило Степаныч должен был отдыхать и пить какие-то успокоительные капли; Александра Васильевна мало принимала участия в этом разговоре, предоставляя мужу полную свободу высказать все, что у него накипело на душе. По ее ласково смотревшим, встревоженным глазам можно было читать, как по книге, насколько сильно она любит этого больного кашляющего человека; она, вероятно, тысячу раз уже слышала эти разговоры, но опять слушала их с таким вниманием, как будто все это ей приходилось слышать в первый

раз. Так умеют слушать только глубоко любящие, честные натуры, которые не отделяют себя от любимого человека.

— Много ли вас, не надо ли нас? — послышалось неожиданно из передней, где происходила какая-то тяжелая возня и сильный топот, точно закладывали лошадь.

— А, это вы, отче? — заговорил Гаврило Степаныч, вставая навстречу входившему в комнату невысокого роста старику священнику, который, весело улыбаясь, поздоровался со всеми, а меня, как незнакомого человека, даже благословил, чего молодые батюшки, как известно, уже не делают даже в самой глухой провинции, как, например, о. Георгий, который просто пожал мою руку.

— А мне говорил о вас Асклипиодот, — добродушно басил о. Андроник — это был он, — поглаживая свою седую бороду. — Вы совсем было нас без рыбы оставили... А каких мы окуней набродили с ним, вò! — Отец Андроник отмерил на своей пухлой, покрытой волосами руке с пол-аршина. — Ей-богу, так... А метрику Асклипиодот вам завтра же доставит, только вы уж Егору-то ничего не говорите, а то он сейчас архирею ляпнет на нас, ни с чем пирог.

— Кто это «ни с чем пирог»? — спрашивал Мухоедов.

— А Егорка-то наш злемудрствующий!.. Он и есть «ни с чем пирог».

Асклипиодот смиренно стоял в дверях в своем неизмеримом подряснике цвета Bismark-furioso, нерешительно улыбался и попрежнему целомудренно придерживал расходившиеся полки; Александра Васильевна предложила ему стул. Асклипиодот неловкой походкой перешел через комнату, точно он шел по льду, и поместился на самом кончике стула, продолжая придерживать одной рукой полы. Отец Андроник был среднего роста, некрасиво скроен, но плотно сшит; его добродушное широкое лицо, с сильно выдавшимися скулами и до самых глаз обросшее густой бородой, так и дышало беспредельным добродушием и какой-то особенной старческой веселостью, а в больших темных глазах так

и светились искорки, особенно когда он улыбался. Одет о. Андроник в зеленый подрясник, широкий гарусный пояс, каких молодые батюшки не носят, поверх подрясника была надета отцветшая ряска небесного цвета, полки которой на круглом, как арбуз, животе о. Андроника совсем расходились; говорил о. Андроник страшным басом, любил громко хохотать, время от времени извлекал откуда-то из глубины своих карманов небольшую серебряную табакерку и громогласно набивал свой большой, обросший волосами нос нюхательным табаком, который он называл «антихристовым порошком». В фигуре и в привычках о. Андроника природа все пустила в больших размерах, не затруднив себя особенно тщательной отделкой деталей.

— А ведь у меня хина-то на вторые яйца села, Александра Васильевна! — торжественно объявил о. Андроник, принимая от хозяйки второй стакан чаю. — Вот спросите у Асклипиодота, он вам все расскажет...

— В самом деле?! Ваша хина — удивительная курица, — отозвалась Александра Васильевна, для которой все хозяйственные вопросы и раритеты были необыкновенно близки к сердцу.

— Да-с... Хина третий год по три раза на яйца садится, — объяснял Асклипиодот, обжигая пальцы горячим чаем. — Она с первого февраля начинает нести каждый день и в половине апреля садится на первые яйца; в мае выводит цыплят, опять несет яйца, а в средине июня садится на вторые яйца. Когда выведет вторых цыплят и нанесет яиц, в конце июля садится на третьи яйца. Очень плодородная курица...

— Она мне больше сорока цыплят каждый год выводит, — с гордостью заявлял о. Андроник. — У меня Егорка, «ни с чем пирог», припрашивал было одну молодку, только я ему перышка куриного не дам, не то что курицы; я вам, Александра Васильевна, с Асклипиодотом пошлю завтра парочку молодок и петушка. Спасибо скажете старику: яйца несут по кулаку...

— Мне совестно, отец Андроник, — заговорила Александра Васильевна, которой хотелось иметь молодок и не хотелось брать их даром. — Я у вас покупала, да вы тогда не продали мне...

— И теперь не продам, потому это не порядок: за деньги молодки нестись не будут, не такое это дело, чтобы за деньги его можно было купить. Да. А что вам совестно от меня молодок в подарок, так это пустое: дело житейское, как-нибудь сочтемся... Поповские глаза завидущие, чего-нибудь припрошу — вот и квиты.

— Вам бы, отец Андроник, вашу хину куда-нибудь на сельскохозяйственную выставку послать, — предлагал Мухоедов. — Выдали бы диплом или медаль...

— Кому?

— Вашей хине, конечно.

— О, ха! ха!.. — разразился о. Андроник таким смехом, что стекла в окнах зазвенели. — Моей хине медаль... О, ха! ха! ха!.. Как чиновнику... Ха! ха!.. У Егорки диплом, и у хины диплом; у Егорки медали нет, а у хины медаль... О, ха! ха!.. Сморил ты меня, старика, Епинет Петрович... Асклипиодот: курице — медаль... ммеда-ааль... а?..

Долго хохотал о. Андроник, надрываясь всем своим существом, Асклипиодот вторил ему немного подобострастным хихиканьем, постоянно закрывая рот широкой корявой ладонью; этот смех прекратился только с появлением закуски и водки; о. Андроник выпил первую рюмку, после всех осмелился выпить Асклипиодот; последний долго не мог поймать вилкой маринованный рыжик, даже вспотел от этой неудачи и кончил тем, что взял увертливый рыжик с тарелки прямо рукой.

— А ведь Галактионовна на меня стихи написала, — заявлял о. Андроник после второй рюмки. — Вот Асклипиодот слышал... Все описала, скрипка этакая!

— А я знаю эти стихи, отец Андроник, — говорил Мухоедов. — Хотите — прочитаю?..

— Н-но?

— Вы не обидитесь?

— Я?.. Да ведь мне все равно; я знаю, кто Галактионовну науськивает на меня: это Егорка... Читай, братчик, я послушаю.

Мухоедов откашлялся и прочел длинное стихотворение, начинавшееся словами:

Днесь пеньковская страна прославляется,
Отец Андроник в сметане валяется...

Мы хохотали, как сумасшедшие, а громче всех хохотал сам о. Андроник; когда Мухоедов кончил, он проговорил:

— Может быть, а врет... Никогда я в сметане не валялся: все врет!.. Это ее Егорка научил... Только я, братчик, когда-нибудь доберусь до него!..

После закуски происходила самая спевка, Александра Васильевна села за рояль, а Гаврило Степаныч, о. Андроник и Асклипиодот исполнили трио несколько пьес Бортнянского и Львова с таким искусством, что у меня от этой приятной неожиданности по спине мурашки заползали, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что каждый истинно русский человек чувствует непреодолимое влечение к «духовному», а трехголосная херувимская приводит не только в восторг, но даже в состоянии исторгнуть слезы умиления. Гаврило Степаныч владел довольно сильным тенором, о. Андроник «давил октавой», Асклипиодот пел баритоном; мне особенно нравился последний. Он встал в уголок позади рояля, по обыкновению захватив одной рукой полки своего подрясника, а другой прикрыл рот, но из его шершавой глотки полились такие бархатные, тягучие, таявшие ноты, что октава о. Андроника и тенор Гаврилы Степановича служили только дополнением этому богатейшему голосу, который то спускался низкими мягкими нотами прямо в душу, то с силой поднимался вверх, как туго натянутая струна. Особенно эффектно были исполнены «Симановская» — херувимская Бортнянского, «Хвалите имя господне», его же, и, наконец, как chef-d'oeuvre, совсем незнакомая мне херувимская «Раззоренная».

— Право, стоит жить, чтобы слушать эти мотивы, — шептал Мухоедов, совсем съежившись в углу дивана.

Это пение было прервано страшным кашлем Гаврилы Степаныча, с которым сделалось даже что-то вроде припадка, — хлынула кровь горлом, и он начал задыхаться.

— Ничего, ничего... Не беспокойся, Саша, — успокаивал он жену. — Ведь это со мной бывает... пройдет...

— Ведь говорил я тебе, говорил... — корил Мухоедов своего приятеля, который только печально улыб-

нулся и, махнув рукой, низко наклонил свое побледневшее лицо.

— Уеду я скоро... поправлюсь, — с улыбкой говорил Гаврило Степаныч, прощаясь с нами. — Спасибо, господа... Саша, проводи их... Спасибо, Асклипиодот... Славный, братец, у тебя голос... разжалобил ты меня ..

— А Галактионовна, братчик, соврала насчет сметаны-то: не валялся!.. Нет, совсем не валялся! — говорил дорогой о. Андроник, который со мной обращался уже на «ты».

— А я, отец Андроник, сконфузил ее недавно, — вмешался Асклипиодот, забегая вперед.

— Расскажи, братчик...

— Видите ли, отец Андроник... Хорошо!.. Как я услыхал, что она вас в стихах описала, пошел к ней. Хорошо! Так и так, все ей объяснил, как она не хорошо поступает, а потом и говорю: ты, Галактионовна, того гляди, помрешь, а кто тебя отпевать будет? «Отец Егор». — Хорошо, говорю, а если, говорю, отец Георгий уехал с требой, или захворал, или, говорю, не его неделя, кто, говорю, тебя отпевать будет? Хорошо. А Галактионовна мне: «Кто-нибудь отпоет, ведь во мне не песья, а христианская душа; ты же, говорит, с Андроником будешь отпевать...» Хорошо, говорю, мы тебя будем с отцом Андроником отпевать, только с вершка... Очень она сконфузилась от моих слов, отец Андроник.

— Отлично, братчик, умница!.. С вершка отпевать?! О, ха! ха! Кто это тебя научил, Асклипиодот?

— Сам придумал... от собственного чрева! Хе-хе!..

Мы посмеялись и разошлись; вечером, когда мы лежали уже в своих постелях, Мухоедов проговорил в темноте:

— Ну что, каков самородок?

— Отличный человек.

— Это еще что, он это еще только начал, — задумчиво говорил Мухоедов, — он тебе еще не успел ничего рассказать о производительных артелях, о ремесленных школах, а главное — он не сказал тебе, какую мы мину под «сестер» подвели... Вот так штуку придумал Гаврило! Андроник понравился тебе? Я его очень люблю, не

чета этому прилизанному иезуиту Егору... А как пел Асклипиодот? А?

В эту минуту в нашей улице послышалось страшное пение: кто-то так затянул «вечная память», что на пять кварталов было слышно.

— Это Асклипиодот отпевает Галактионовну, — равнодушно проговорил Мухоедов, закутываясь в свою сермяжку. — Когда выпьют с Андроником, непременно устроят что-нибудь. Это они ей за стихи отплачивают.

IV

В Петербурге можно жить несколько лет с кем-нибудь на одной лестнице и не знать своих соседей даже в лицо, но в провинции, в каком-нибудь Пеньковском заводе, в неделю знаешь всех не только в лицо, а, nolens volens [1], совершенно незаметно узнаешь всю подноготную, решительно все, что только можно знать, даже немного более того, потому что вообще засидевшийся в провинции русский человек чувствует непреодолимую слабость к красному словцу, особенно когда дело касается своего ближнего.

Так называемых тайн для провинции не существует, здесь все известно, все живут на виду и потихоньку злословят друг друга; прожив в Пеньковке какую-нибудь неделю, я вошел в этот круг всеведения и знал не только прошлое и настоящее моих новых знакомых, но отчасти даже их будущее. Например, встанешь рано утром, чтобы успеть до жару кое-что разобрать из собранных материалов, и вперед знаешь, что сейчас же услышишь бесконечную ругань Фатевны сначала на мужа (старик в пестрядевой рубахе, который вывозил навоз, оказался мужем Фатевны), затем с Галактионовной, а потом начинается бесконечная расправа с Фешкой и Глашкой; после этого Фатевна отправляется на рынок, где она торговала мукой, солью, крупами, овсом, сбруей, мылом и дегтем. Фатевна была тем, что в Пеньковке называют «шило-баба», и обладала действительно замечательным

[1] волей-неволей, *(лат.)*

проворством, неутомимостью и энергией; кроме своей торговлишки, она занималась покупкой лошадей, собственноручно их объезжала, а затем сбывала с рук самыми разнообразными способами: продавала, меняла, пускала на заводскую поденщину и даже брала подряды на извоз. Не успеешь оглянуться, а у Фатевны опять новая лошадь, и она едет на ней с шиком завзятого наездника, который умеет показать товар лицом. Муж Фатевны находился в полнейшем загоне, постоянно вывозил навоз, точно у Фатевны были авгиевы стойла, и жил в какой-то конурке на заднем дворе, рядом с цепной собакой, такой же злой, как сама хозяйка.

После того как Фатевна удалялась на рынок, на сцене появлялась Галактионовна; она скромно садилась на крылечко своего флигелька и ковыряла какую-нибудь работишку до обеда, перебрасываясь острым словечком с Фешкой и Глашкой, которые, после ухода мамыньки, ходили на головах. Чем жила Галактионовна — трудно сказать; но она жила в своей собственной избушке, и ей оставалось заработать на хлеб, чего она достигала при помощи швейной машины, стучавшей в ее избушке по вечерам; если не было работы, Галактионовна посвящала свои досуги поэзии, и в ее стихах из года в год проходили события и лица Пеньковского завода. Когда-то, вероятно очень давно, отец Галактионовны служил управителем на одном из заводов Кайгородова, затем он умер, и Галактионовна осталась христовой невестой отчасти по своему безобразию, отчасти по бесчисленным физическим немощам, которые ее одолевали; дом Фатевны принадлежал Галактионовне, последняя продала его Фатевне с условием жить ей, Галактионовне, в своем флигельке по смерть. Фатевна, вероятно, рассчитывала на скорую смерть Галактионовны, принимая во внимание ее немощи, но последняя продолжала жить год за годом и, кажется, совсем не думала умирать: это обстоятельство вызывало самые горячие сцены, причем противные стороны высказывались вполне откровенно.

— Пропасти на тебя нет, моль этакая! Ведь ты моль... моль!.. — выступая фертом пред Галактионовной,

кричала Фатевна. — Чужой век заживаешь... На том свете тебя давно с фонарем ищут!

— Не избывай постылого, приберет бог милого, — огрызалась Галактионовна, закрывая по обыкновению рот рукой, что она делала в тех видах, чтобы не показывать единственного гнилого зуба, отшельником торчавшего в ее верхней челюсти, — бог даст, тебя еще похороню. Лихое споро, не избудешь скоро; нас с Гаврилой Степанычем еще в ступе не утолчешь... Скрипучее-то дерево два века живет!

— Не скули! — отрезывала Фатевна.

Когда не с кем было спорить и ссориться, Галактионовна любила думать вслух: в эти моменты она действительно сильно походила на скрипучее дерево.

— Ей ладно, зазнаваться-то, — говорила Галактионовна каким-то совершенно особенным тоном, точно ручеек журчит: *она* в разговорах Галактионовны означало Фатевну: — Она купит по осени, как снег выпадет, возов пятьдесят муки по тридцать пять копеек [1] за пуд, а весной да летом продает пуд по семьдесят копеек. В каждом возу будет пудов двадцать пять, всего выходит тысячу двести пятьдесят пудов; с каждого пуда она наживет тридцать пять копеек, а со всей муки пятьсот рубликов и положит в карман... Овса тысячу пудов купит по тридцати копеек, тоже рубль на рубль возьмет, глядишь, опять триста рубликов в карман. Ох, хо-хо!.. А вот наша сестра и во сне таких денег не видывала... Купишь пудик мучки-то, да и перебиваешься с ним, как церковная мышь!.. Только, по-моему, она неверно поступает, что такие деньги с нас дерет...

— Не пойдут ей эти деньги впрок. Погляди-ко, как рабочие-то в огненной работе маются, чтобы ей на хлебе-то переплачивать... Вот хоть взять ее девис: за материны грехи бог счастья-то и не посылает, женихов-то мы еще не видывали, а девисы на возрасте, — у них что на уме? Когда мущина спит — они к нему в комнату норовят зайти... Тьфу!.. Ведь девису-то, как муку, не за-

---

[1] Эти цены стояли до проведения Уральской железной дороги, а теперь в Пеньковке пуд ржаной муки стоит 1 р. 30 к. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

вяжешь в мешок да не вывезешь на базар продавать: купите, мол, дешево отдам. За девисой-то, ой, какие глаза надо, все равно как за водой: прорвало плотину и кончено...

«Девисы» Фатевны представляли замечательное явление в своем роде: насколько сама Фатевна служила воплощением энергии и «разрывалась по всем частям», как выражалась о ней Галактионовна, настолько ее «девисы» жили исключительно растительной жизнью и специально занимались «нагуливанием жира». Фешка имела поразительное сходство и по образу жизни, и по привычкам, и по характеру с телкой, откармливаемой на убой; Глашка тоже находилась под гнетом инерции, но иногда на нее находили минуты просветления, и она начинала «жировать», то есть лежит, например, по целым часам на солнце, как разваренная рыба, а потом вскочит, опрометью бросится в комнату или на двор, затеет отчаянную возню с Фешкой, или визгливым голосом затянет удалую песню. Явится ночью в комнату, когда в ней спят «мущины», устроит купанье в пруду прямо под нашими окнами, — все это Глашке было нипочем; Мухоедов был не прочь подурачиться, когда Глашка была в ударе, и тогда весь дом оглашался отчаянными взвизгиваньями Глашки, полновесными ударами и самыми откровенными шутками. Мухоедов дурачился, как школьник, и в простоте своей души даже не подозревал, что это взвизгиванье, полновесные удары и «лошадиные нежности» могли привести к чему-нибудь серьезному, хотя Глашка после такой игры подолгу отлеживалась где-нибудь на холодке и изнашивала большие синяки.

Тема о «девисах» принадлежала к числу бесконечных, и Галактионовна целые часы могла говорить на нее, только другая тема, предметом которой была сама Галактионовна, лежала еще ближе к ее сердцу. — Схватило меня как-то раз сердцем, — рассуждает она вслух, — послала за доктуром. Приехал доктур, увидал у меня швейную машину и говорит: «Это твоя смерть стоит...» А я ему: «Нет, господин доктур, это мой хлеб, только машиной и кормлюсь...» — «Умрешь», — говорит. «А бог-то?» — говорю. Рассмеялся доктур и уехал,

а я третий год на машине работаю после того и живехонька...

Галактионовна долго смеется незлобивым детским смехом, крестит рот и зевает.

— Прошлой осенью вздумали мы с Фатевной сходить в Верхотурье, к мощам Симеона, угодника божия, она по обещанию, а я за компанию. «По первопутку-то, говорит Фатевна, живой ногой отхватаем полтораста верст». Пошли. Только отошли верст двадцать, и сделайся оттепель: ни тебе снег, ни тебе грязь, так по колено в снегу и бредем, а доктур строго-настрого заказал пуще всего ноги беречь: «Простудишь, говорит, сейчас попа зови и гроб заказывай». Девять ден брели мы с Фатевной до Верхотурья: и плутали по малым дорогам, и ночевать нас в избу мужики не пускали, и волки-то в стороне выли, и голодом-то двое суток мучались... Идем это, я и говорю Фатевне: «Точно мы с тобой в пустыне Синайской бредем, только там жар, а у нас распутица». На десятый день пришли в Верхотурье, отслужили угоднику молебень, выняли просвиру за здравие да в обратный путь; опять семь ден шли, только тут ударил на нас холод, я и смеюсь Фатевне: «Это за твои грехи угодник нас казнит холодом...» Она меня всю дорогу за это костерила... И вернулись мы здравы и невредимы, я нарочно пошла к доктуру, принесла ему просвирку заздравную из Верхотурья и объявилась, что жива, мол. Он только ручками схлопал да головой покачал. «Ты, говорит, надо полагать, бессмертная...»

Мухоедов являлся из завода только к обеду, а после обеда уходил еще часа на три, так что свободным от занятий он был только вечером; а только сядем мы за самовар, смотришь, кто-нибудь в двери, чаще других приходили о. Андроник и Асклипиодот. Я с первого раза полюбил оригинального попа, громкая речь которого всегда была приправлена крупной солью и таким необыкновенно заливистым смехом, начинавшимся с высочайшего тенора, что невольно на душе делалось светлее, и мы каждый раз от души хохотали вместе с о. Андроником. От природы это был очень сильный и, главное, вполне оригинальный ум; по-своему о. Андроник был хитер, скуп, добр и простодушен — как в

истинно русском человеке, достоинства и недостатки в нем представляли самую пеструю картину, но он и не выставлял напоказ первых и не прятал последних, а всегда был нараспашку.

— Не-ет, братчик, я люблю деньгу, — добродушно говорил он. — Я не попущусь своему, мне подай мое. Вот приехал к нам поп Егор и давай новые порядки заводить: «Не хочу осеннего собирать...» Не хочешь, так как хочешь, а я буду собирать, потому мне отдай мое. Я приду к бабе и вижу, что она мнется, не хочет попу сметаны или масла давать, а я ей сейчас: «А ведь ты, такая-сякая, помолодела ровно... Вон какая гладкая стала». Баба и расступится, лишнюю ложку сметаны и отвалит. Ха-ха-ха!.. Если баба на это не сдается, я ей сейчас: «Ой, баба, баба, умрешь, все останется, а кто тебя отпевать будет?» Пред этим, братчик, ни одна баба устоять не может, хоть самое ее в бурак клади. Егорка, тот осеннее не любит собирать, ему подавай деньгами, — деньги тоже любит, а брать не умеет. Придумал цену набавлять за требы, а мужики на дыбы, артачатся.

Отец Андроник был вдов и жил как старый холостяк, окружив себя всевозможными животными: индейками, курами, овцами, собаками, лошадьми; за хозяйством у него присматривала какая-то таинственная дальняя родственница, довольно молодая бабенка Евгеша, ходившая в темных платьях и в темных платочках, как монастырская послушница. Когда кто-нибудь бывал у о. Андроника, Евгеша не показывалась, а сам о. Андроник не любил говорить о ней; молва гласила, что эта таинственная Евгеша сильно зашибала водкой и ходила вечно в синяках, происхождение которых объясняли различно.

Если кто-нибудь, с намерением уязвить о. Андроника, заводил речь о Евгеше, он сильно хмурился, а потом с азартом возражал:

— Она у меня за козлухами ходит... Сам, что ли, я козлух доить буду? А куриц кто будет щупать?

Жил о. Андроник очень плотно в своем собственном домике, выстроенном в купеческом вкусе; три небольших комнатки зимой и летом были натоплены, как в бане, и сам хозяин обыкновенно разгуливал по дому и

по двору в одном жилете, что представляло оригинальную картину. Мебель в комнатках о. Андроника была сборная: на окнах стояли какие-то полузасохшие «петухи» герани и красный перец, который особенно любят отставные солдаты, потому что и дешево и сердито; гостей угощал о. Андроник одной водкой и чаем, весело рассказывал пикантные истории и хохотал над ними своим заливистым хохотом больше всех. В минуту одушевления он снимал со стены довольно ветхую гитару и не без чувства изображал какой-то «Плач Наполеона» и даже польку Трамблям. Вся эта видимая бедность обстановки о. Андроника и скромные привычки вполне выкупались блаженной мыслью о некоторой крупной сумме, лежавшей частью в каком-то банке, а частью у какого-то знакомого купца, — в ссудо-сберегательное товарищество Гаврилы Степаныча о. Андроник не верил ни на волос и ни под каким видом не соглашался отдать даже нескольких рублей на сохранение товарищества.

— Не-ет, братчик, — говорил он, — и мы не в угол рожей-то: отдай им денежки-то, а потом и заглядывай, как лиса в кувшин...

Асклипиодот был полнейшей противоположностью о. Андроника во всех отношениях и, вероятно, в силу такой противоположности своего ума и характера был привязан к о. Андронику, как собака, и всюду ходил за ним по следам; это была широкая русская натура, одаренная известной поэтической складкой, что, взятое вместе с самой широчайшей бесхарактерностью и непреодолимой страстью к водке, сделало Асклипиодота неудачником и вечным дьячком. По своему уму и особенно по своему богатейшему голосу он смело мог рассчитывать на дьяконское место, но это заветное желание оказалось решительно неосуществимым, потому что нет-нет Асклипиодот в чем-нибудь и попадет: подерется в пьяном виде, сгрубит попу, поколотит жену — словом, устроит что-нибудь самое неудобосказуемое, что начальство мотает себе на ус, а Асклипиодот сидит себе да сидит в дьячках. Жил он в маленькой, сильно покосившейся набок избушке, у которой одно окно было закрыто ставнем, а половина другого была заклеена частью синей сахарной бумагой, частью пузырем; из-

дали эта избушка сильно походила на физиономию пьяницы, которую с жестокого похмелья повело набок, один глаз залеплен пластырем, другой сильно подбит. В этой избушке было «полное отсутствие всякого присутствия», — точно кто переехал с квартиры, да так все и осталось: в одном углу позабыли трехногий стул, в другом скелет дивана, на стене несколько разорванных картин — правая половина какого-то генерала, половина архирея и т. д. Мы уже сказали, что Асклипиодот был очень «слаб к вину», с двух рюмок он уже начинал пьянеть, раскисал и к каждому слову начинал прибавлять «хорошо»; более сильная степень опьянения выражалась в нем непременным желанием кого-нибудь «сконфузить», причем он обнаруживал необыкновенную изобретательность. Раз к нему ночью хотели забраться воры. Асклипиодот был навеселе и, отворив форточку, объяснил «злоумышленникам», что он и сам ничего не может найти у себя, а что они лучше сделают, если пойдут к попу Андронику, у которого денег куры не клюют: воры действительно отправились к о. Андронику, а утром Асклипиодот пришел проведать своего друга и пространно объяснил, как он «сконфузил татей». Вообще о. Андроник и Асклипиодот были неразлучные друзья и являлись всегда вместе; самые интересные сцены происходили тогда, когда являлась Галактионовна, которая в совершенстве владела искусством поджаривать этих друзей на медленном огне. Обыкновенно она являлась к нам только в те моменты, когда у ней в запасе была какая-нибудь каверза против Андроника или Асклипиодота; завидев скромно входившую в комнату Галактионовну, Андроник обыкновенно ворчал:

— Опять несет эту ворону: видно, завтра ненастье будет. Вороны всегда к ненастью каркают.

Галактионовна делала вид, что ничего не слыхала, садится где-нибудь в уголок, закрывает рот рукой и каким-нибудь самым невинным вопросом или замечанием открывала свою убийственную атаку; Мухоедов по опыту знает, что Галактионовна пришла неспроста и всеми силами старается навести ее на суть дела.

— У вас, отец Андроник, говорят, лошадка-то в шарфе ходит? — начинала Галактионовна, улыбаясь своей детской улыбкой в руку.

— А ты, скрипка, заведи свою да хоть штаны на нее надевай, — пробует огрызаться о. Андроник, выкатывая глаза.

— Нет, я так спросила: значит, чтобы не простудилась? А я как-то иду по улице, ваш работник и едет на вашей лошадке; смотрю, точно совсем другая лошадь стала... Какие-то рабочие идут мимо и говорят: «Вот попово-то прясло едет, ему лошадь-то заместо куриного седала отвечает, цыплят на нее садит... Медведь, говорят, давно прошение об ней губернатору подал».

— Хорошо... Ты говоришь, что лошадь отца Андроника в шарфе ходит, — вступался Асклипиодот с искренним желанием непременно сконфузить ядовитую бабу. — Хорошо... А в писании что сказано: блажен, иже и скоты милует...

— Отлично, братчик! — одобрял о. Андроник своего заступника. — Что взяла, скрипка... а?..

Галактионовна хихикает в руку, а потом опять начнет своим тихим голосом:

— Какой народ нечистосердечной в Пеньковке живет... На паске, рассказывают, что отец Андроник приехал с Асклипиодотом к Фильке с крестом...

— К какому Фильке?

— К лесообъездчику Фильке... Ну, которого Гаврило Степаныч на прошлой неделе с бревном поймал... Вот он самый. У Асклипиодота в одном кармане была бутылка с водкой, а в другом бутылка со святой водой; когда стали ко кресту-то подходить, Асклипиодот и ошибился в бутылках, а отец Андроник кропилкой в водку да водкой и давай кропить.

— Хорошо... А ты была у меня в кармане? — спрашивал Асклипиодот, задетый за живое.

— Я-то не была, а Филька сказывает, что вместо святой воды отец Андроник водкой его кропил.

— Может быть, а врет! — отрезывал о. Андроник.

Галактионовна не возражает на это львиное рыкание, а только рассыплется мелким, как бисер, смехом, с каким-то детским всхлипываньем.

Галактионовне ничего не стоило придумать, что у Андрониковой курицы хины зубы болят или что-нибудь в этом роде; однажды о. Андроник вышел совсем из себя, но на этот раз причиной послужило истинное происшествие, а не вымысел Галактионовны. Мы пили чай; о. Андроник и Асклипиодот были слегка навеселе, на первом взводе; Галактионовна сидела в своем углу и точно про себя уронила фразу:

— Фатевна очень умной женщиной оказала себя...

— Что-то не слыхать, — иронизировал о. Андроник.

— А я так своими глазами видела...

— Н-но-о?

— Верно. Вы свою лошадку, отец Андроник, продали Фатевне?

— Продал, а тебе какое горе?

— Да так, к слову пришлось... Она вам пятьдесят рублей заплатила за лошадку-то?

— Ну, положим, что пятьдесят.

— Сижу это я третьего дня в своей избушке, вижу доктур к нам на двор идет, а больных никого нет... Вышла я на крылечко, увидал меня: «Ты, говорит, все еще жива?» А я ему: «Вашими, мол, молитвами, как шестами, подпираемся; скрипим помаленьку...» — «Мне бы, говорит, Фатевну увидать». Я вызвала Фатевну, а доктур давай у ней вашу лошадку торговать, понравилась, вишь, она ему больно, как Фатевна на ней по Пеньковке гоняет. То-се, Фатевна вывела лошадь, зубы показывает доктуру, под брюхо пролезла раз пять, значит, смирная совсем лошадь, а потом вскочила на лошадь верхом да без седла и давай по двору гонять, как цыган. У доктура так глазки и горят на лошадь, стали о цене торговаться: доктур сто рубликов и заплатил Фатевне.

— Вре-ешь?!

— Чего мне врать: на свои глаза свидетелей не надо. При мне доктур вынял толстый-претолстый бумажник и отдал Фатевне четыре четвертных бумажки. После пришел доктуров кучер, увел лошадь, а доктурова жена захотела попробовать лошадку... Сели оба доктура в дрожки, проехали улицу, а лошадь как увидит овечку, да как бросится в сторону, через канаву — и понесла, и

понесла. Оглобли изломала, дрожки изломала, а доктура лежат в канаве и кричат караул.

— Ах она, шельма?!. — рычал о. Андроник.

— Да еще что, отец Андроник, — продолжала Галактионовна, — после сама же Фатевна и смеется: «Как, говорит, просты, ах, как просты образованные-то люди... Только, говорит, жалованье они действительно большое получают, а настоящего ума в них нет: необразованной, говорит, бабе выбросили пятьдесят рублей, а мне на голодные-то зубы и ладно. Особенно, говорит, жаль мне попа Андроника, деньги, говорит, он любит, а лошадь не умеет продать!..»

— Ах она, шельма! — кричал о. Андроник, бегая по комнате. — Да ведь это дневной грабеж... Пятьдесят рублей?! Ах, шельма... Ведь пятьдесят-то рублей на полу не подымешь, их надо горбом добывать, деньги-то!

— Простота-то, говорят хуже воровства, отец Андроник! — язвила Галактионовна.

Выходя от нас, о. Андроник во дворе встретился лицом к лицу с Фатевной; эта почтенная женщина встала в боевую позицию и с улыбкой выслушала обильный поток упреков и ругани, которыми разразился расходившийся старик, и, прищурив один глаз, проговорила совершенно спокойно:

— А ты, поп, не храпай... Я сказала бы тебе одно словечко, да уж промолчу, чин на тебе не такой.

— А, не храпай... не храпай! — горячился о. Андроник, ударяя по земле своей поповской длинной тростью. — Не храпай... Я бы подвязал тебе хвост куфтой, да мой сан этого не позволяет, — понимаешь? Вот ты придешь ко мне на исповедь, тогда что?

— Грешны, да божьи, — бойко огрызалась Фатевна; у ней так и чесался язык отчистить попа на все корки.

Асклипиодот попробовал было заступиться за своего патрона, но был встречен такой отчаянной руганью, что поспешил подобру-поздорову спрятаться за широкую спину о. Андроника, Галактионовна мефистофельски хихикала в руку над этой сценой, в окне «ржали девисы», и друзьям ничего не оставалось, как только отступить в положении того французского короля, который из плена писал своему двору, что все потеряно, кроме чести.

Впрочем, к чести наших героев, нужно сказать, что это печальное недоразумение, в котором Галактионовна принимала такое деятельное участие, скоро разрешилось полным примирением Фатевны с о. Андроником; это замечательное событие произошло на именинах Мухоедова. Отец Андроник в присутствии многочисленной публики совсем расчувствовался и даже облобызал свою духовную дщерь и совсем дружелюбно проговорил ей:

— Ты, братчик, хоть и надула своего отца духовного, а я не сержусь... Нет, не сержусь!..

— И я, дева, не сержусь, — говорила Фатевна, закатывая глаза.

Под веселую руку о. Андроник называл Фатевну «братчиком», а она в свою очередь называла его «девой», впрочем без всякого умысла, а так сам язык выговаривал в виде любезности.

На именинах Мухоедова собрались почти все заводские служащие, кроме Слава-богу, докторов и о. Егора, которые на правах аристократии относились свысока к таким именинам; в числе гостей был Ястребок и «сестры». Гаврило Степаныч не был, потому что переехал уже на Половинку. Начало этого мирного торжества шло довольно вяло, все нерешительно потирали руки, косились на закуски, пили водку только после самых настойчивых просьб, но, как это всегда случается в таких случаях, водка сделала свое дело, развязала языки, раскрыла души и сердца, и произошло примирение о. Андроника с Фатевной, приветствуемое общим одобрением. «Сестры» присели куда-то в дальний уголок и, приложив руку к щеке, затянули проголосную песню, какую русский человек любит спеть под пьяную руку; Асклипиодот, успевший порядком клюкнуть, таинственно вынял из-под полы скрипку, которую он называл «актрисой» и на которой с замечательным искусством откалывал «барыню» и «камаринского». Пение «сестер», пиликанье Асклипиодота, вскрики и глухой гул пьяных голосов слились в такую музыку, которую невозможно передать словами; общее одушевление публики разразилось самой отчаянной пляской, в которой принимали участие почти все: сельский учитель плясал

с фельдшером, Мухоедов с Ястребком и т. д. Асклипиодот усердствовал и показывал на своей «актрисе» чудеса искусства, такие пиччикато и стаккато, от которых даже сам о. Андроник только кряхтел, очевидно негодуя на свой сан, не дозволявший ему пуститься вместе с другими вприсядку; когда посторонней публики поубавилось и остались только свои, настоящий фурор произвела Фатевна; она с неподражаемым шиком семенила и притопывала ногами, томно склоняла голову то на один, то на другой бок, плыла лебедью, помахивая платочком, и, подперев руку в бок, лихо вскрикивала тонким голосом. Эта пляска Фатевны привела о. Андроника в какое-то исступление, он в такт хлопал ладонями и временами неистово вскрикивал, вскакивая с своего места:

— Чище, чище, чище!.. Чище, шельма! Чище, каналья!.. О-го-го!!.

Галактионовна принуждена была дернуть о. Андроника за рукав рясы, чтобы умерить его шумный восторг; когда Фатевна кончила пляску, появилась на ее смену Глаша, одетая в пестрый кумачный сарафан и кисейную рубашку. Мухоедов на правах хозяина и именинника работал ногами до седьмого пота; он вообще плясал русскую отлично, а когда вышла Глаша и, пикантно шевельнув полными плечами и опустив глаза, переступью поплыла по комнате, Мухоедов превзошел самого себя и принялся выделывать чудеса искусства. Фатевна, освежив себя несколькими рюмками водки, не вытерпела соперничества дочери и снова пустилась в пляс, но на этот раз ноги уже плохо слушались ее, и она несколько раз теряла такт.

— Настоящая Иродиада, пляшущая пред Иродом, — объясняла мне Галактионовна, указывая на Фатевну и о. Андроника.

— Хорошо... Фатевна пляшет отлично... Хорошо! — заявлял заплетавшимся языком Асклипиодот. — Хорошо... А я могу ее сконфузить!..

— Где тебе, глиста ты этакая, сконфузить меня! — кричала Фатевна. — Ты посмотри на меня, дева: какая я женщина, ведь я, дева, как верба...

— Хорошо!.. могу сконфузить, — продолжал утверждать Асклипиодот.

Он передал скрипку учителю и, подобрав полы своего подрясника, пустился вприсядку; плясал он плохо, скорее скакал, чем плясал, но кончил действительно вполне эффектно: уже не поддерживая пол своего подрясника, он пошел по всей комнате колесом, что вышло не совсем грациозно, но привело публику в полный восторг.

— Сконфузил, братчик, совсем сконфузил! — провозгласил о. Андроник. — Ну-ко, Фатевна, валяй колесом... О-ха-ха-ха!!.

На именинах Мухоедова я познакомился с «сестрами», и в один прекрасный вечер мы с Мухоедовым отправились к Прохору Пантелеичу, который усиленно приглашал «заглянуть в его избушку»; мне очень хотелось посмотреть, как жили «сестры» у себя дома. Избушка Прохора Пантелеича стояла в той же улице, где и дом Фатевны; это была новенькая светлая изба, обшитая тесом, с зелеными ставнями, крепкими воротами и темным громадным двором. Изба темными сенями делилась на две половины — переднюю и заднюю; в передней жил сам Прохор Пантелеич с младшим сыном Константином, в задней жил его старший сын, лесообъездчик Филька. Филька был мужик лет тридцати пяти, среднего роста, с бойким плутоватым лицом и русой кудрявой бородкой; это был разбитной заводский человек, на все руки, как говорили в Пеньковке, с неизменно улыбавшимся лицом и с какой-нибудь прибауткой на языке. Константин был полной противоположностью старшего брата: высокий, худой, с угрюмым лицом, он выглядывал волком, был молчалив и, кажется, никогда не улыбался. Братья были женаты; у Фильки были свои дети, поэтому отец и отделил его в заднюю избу. Входя в темный двор Прохора Пантелеича, невольно чувствовалось, что все здесь крепко, тепло, сыто и как то особенно уютно каждый гвоздь был вбит с расчетом и красноречиво говорил за себя. Притом это довольство было наше, настоящее исконное русское довольство, как, быть может, жили богатые мужики еще при Аскольде и Дире, при Гостомысле, за великими московскими князьями: количество потребностей оставалось

то же самое, как ими владел и самый бедный мужик, вся разница была в качестве их удовлетворения. Немец завел бы дрожки, оранжерею, штиблеты — «сестры» ездили в простых телегах, но зато это была такая телега, в которой от колеса до последнего винта все подавляло высоким достоинством своего качества; любители заморского удивляются чистоте немецких домиков, но войдите в избу разбогатевшего русского мужика, особенно из раскольников — не знаю, какой еще чистоты можно требовать от места, в котором живут, а не удивляют своей чистотой. Конечно, тут не встретите изящных палисадников пред окнами, цветников, драпировок из плюща или винограда, но зато уж если сделано крыльцо, так это именно крыльцо, которое простоит сто лет и ни одна половица не покосится; если это лавка, то она тоже отслужит свою службу. Вообще русский человек, как это можно заметить в любом зажиточном доме, чувствует большую слабость к чистоте и выкрасит непременно все, что только можно выкрасить: и красиво с известной точки зрения, и прочно, и относительно чистоты самое подходящее дело. Это чувство тугого довольства провожало меня от ворот, через крыльцо, сени и до широкой лавки, на которую усадил нас Прохор Пантелеич, выглядывавший дома настоящим патриархом: глядя на его плотную фигуру, серьезное умное лицо, неторопливые движения, вся эта обстановка получала какой-то особенный смысл в глазах постороннего человека, она была так же обстоятельна, серьезна и полна смысла, как сам Прохор Пантелеич. Передняя светлая изба была устроена внутри, как, вероятно, устроены все русские избы от Балтийского моря до берегов Великого океана: налево от дверей широкая русская печь, над самыми дверями навешаны широкие полати, около стен широкие лавки, в переднем углу небольшой стол, и только. Стены были выструганы гладко, и, вероятно, их часто мыли с песком; лавки и полати были выкрашены синей краской, пол желтой охрой; в переднем углу висело несколько потемневших образов и медный складень с засохшей вербой за ним.

— Милости просим, гости дорогие, — говорил Прохор Пантелеич, усаживая за стол.

— А тебе, Прохор Пантелеич, стыдно жить в такой избе, — говорил Мухоедов, — ведь денег у тебя куры не клюют... Вот взял да и построил двухэтажный каменный дом, как в городах у купцов.

— В городах-то, Капинет Петрович, пословица говорится, толсто звонят, да тонко живут, — отвечал старик с умной улыбкой, — где нам за ними гоняться.

— Куда ты с деньгами-то?

— С деньгами... Деньгам место найдется. Кому их надо, так не брезгуют и моей избушкой; из больших-то домов приходят тоже и в мою избушку.

Две молодых бабенки, одетых совершенно одинаково, как две сестры, в простенькие ситцевые сарафаны и в розовые платочки, подали самовар, чайную посуду и кренделей; они держали себя чрезвычайно скромно и, подходя к столу, опускали глаза. Они искоса взглядывали на свекра и, как собаки, ловили каждое его движение; заметно было, что Прохор Пантелеич держал снох в ежовых рукавицах и не давал им воли. Филька и Константин скоро пришли в избу и почтительно поместились на дальнем конце лавки; Прохор Пантелеич не предложил им ни чаю, ни водки. Не успели мы выпить по стакану, как пришел Авдей Михайлыч, снял свои кожаные перчатки, поставил в угол правило, помолился и, поздоровавшись со всеми, присел к нашему столу.

— Ну что, Авдей Михайлыч, как дела? — спрашивал Мухоедов.

— Что, Капинет Петрович, — заговорил Авдей Михайлыч, — наши дела, как сажа бела... Вот Гаврило Степаныч обезживотил нас; а только напрасно он нас обижает.

— Чем это?

— А заведенья отнял...

— Да ведь это не его дело, а дело общества.

— Опчество... Какое у нас опчество! — угрюмо заговорил Авдей Михайлыч. — Наше опчество, одно слово, бараны, и конец... Своей пользы ежели не понимают.

— Мне одно невдомек, — заговорил Прохор Пантелеич, — какая корысть Гавриле Степанычу?.. Отнял у

нас кабаки и передал Чубарову. Ежели бы он за себя их перевел...

— Вот то-то и есть, — объяснял Мухоедов, — ежели бы он их у вас отнял, так не отдал бы другому.

— Ну, это ты пустое говоришь! — отрезал Авдей Михайлыч. — Ежели бы насчет благодарности... да разе мы бы постояли?.. Так ведь Гаврило-то Степаныч такую тебе благодарность задаст...

— У меня Коскентин в лесообъездчиках служил, — говорил Прохор Пантелеич, — а я его в кабак посадил... Вот он теперь на бобах и остался.

— А ты обратись к Гавриле Степанычу, он место Константину даст, — объяснял Мухоедов. — Лошадей у тебя до десяти есть, подряды будешь брать...

— Да это все так, Капинет Петрович, без хлеба, слава богу, еще не сиживали, только расскажите мне: Гавриле-то Степанычу какая корысть была кабаки у нас отнимать? Ведь мы ему не мешали...

— Народ ноне малодушен больно стал в Пеньковке, — проговорил Авдей Михайлыч, — прежде крепче жили... Заработки большие, едят сладко, чай этот пошел — вот народ и портится. Посмотришь, молодые парнишки что делают: еще на рыле материно молоко не обсохло, а он водку хлещет... Или тоже вот наши заводские девки: больно много воли забрали, балуются, а котора послабее — и совсем потеряет себя.

Когда мы выходили от Прохора Пантелеича, во дворе какая-то молодая женщина с двумя детьми бросилась в ноги хозяину и громко запричитала:

— Батюшка... Прохор Пантелеич... второй день без хлеба ребятишки сидят!

— Ладно, ладно... дай проводить гостей-то, чего ревешь! — внушительно проговорил Прохор Пантелеич и равнодушно прибавил: — Степана Ватрушкина хозяйка... Третий день шляется, все лошадь продает, а мне куда с ней, с лошадью-то: возьми ее да и трави сено. Скотина, как пила, день и ночь пилит...

Мы вышли. Мухоедов молчал всю дорогу и только, когда мы подходили к дому, проговорил:

— Собственно говоря, «сестры» отличные мужики, если взять их самих по себе, безотносительно.

— Крепко живут.

— И в заводе свое дело тонко знают, любо смотреть, а вот поди-ты, деньги губят... Уж, видно, так устроен русский человек, что каждый лишний рубль на какую-нибудь пакость подталкивает. Видел жену Ватрушкина? В ногах третий день бабенка валяется, чтобы за бесценок взяли у ней лошадь... Что будешь делать! Поломаются «сестры» и возьмут, да еще в благодетели запишутся... Это, черт знает, что такое!.. Помнишь я тебе про механику-то говорил, какую мы с Гаврилой под «сестер» подвели, — это и есть те кабаки, о которых сегодня говорили. Не бей мужика дубьем, а бей рублем... Доняли мы «сестриц»! Авдей-то Михайлыч как притворяется: ничего, слышь, не понимаю, а сам отлично знает, что Чубаров заплатил обществу за кабаки десять тысяч. Деньги, то есть половина на школу пойдет, а другая на недоимки... Ведь отличную штуку Гаврило придумал? Не удалось «сестрам» слопать десять тысяч, вот и сердятся. Раньше им общество кабаки сдавало за здорово живешь...

V

Мне пришлось за некоторыми объяснениями обратиться к самому Слава-богу, который принял меня очень вежливо, но, несмотря на самое искреннее желание быть мне полезным, ничего не мог мне объяснить по той простой причине, что сам ровно ничего не знал; сам по себе Слава-богу был совсем пустой немец, по фамилии Муфель; он в своем фатерлянде пропал бы, вероятно, с голоду, а в России, в которую явился, по собственному признанию, зная только одно русское слово «швин», в России этот нищий духом ухитрился ухватить большой кус, хотя и сделал это из-за какой-то широкой немецкой спины, женившись на какой-то дальней родственнице какого-то значительного немца. Сделавшись управителем Пеньковского завода, Муфель быстро освоился на новой почве и в совершенстве овладел целым лексиконом отборнейших российских ругательств, но говорить по-русски не мог выучиться и говорил: «кланяй-

тесь из менэ», «благодарим к вам», «я буду приходить по вас», «сигун» вместо чугун и т. д., словом, это была совсем старая история, известная всякому. Муфель представил меня своей жене, очень молодой белокурой даме; эта бесцветная немочка вечно страдала зубной болью, и мимо нее, как говорил Мухоедов, стоило только пройти мужчине, чтобы она на другой же день почувствовала себя беременной; почтенная и немного чопорная и опрятная, как кошка, старушка, которую я видел каждый день гулявшей по плотине, оказалась мамашей Муфеля. В уютном, отлично меблированном управительском доме мне пришлось встретиться с о. Егором и молодыми врачами; о. Егор держал себя совсем comme il faut [1], скромно и с достоинством, и даже не без ловкости умел сказать несколько комплиментов дамам. Доктор и «докторица», фамилия которых была Торчиковы, произвели на меня неопределенное впечатление; говорили они только о серьезных материях и очень внимательно слушали один другого; доктор небольшого роста, сутуловатый и очень плотный господин, держал себя с меньшей развязностью, чем о. Егор, смущался своими руками и любил смотреть в угол, но в его некрасивом лице, с небольшими серыми, часто мигавшими глазками и каким-то вопросительно-встревоженным выражением, просвечивало что-то хорошее и немного упрямое. Жена доктора, совсем маленькая и очень бойкая дама, с маленьким, правильным капризным лицом, держала себя неприступно и строго и, кажется, всего больше заботилась о том, чтобы сказать что-нибудь остроумное или по крайней мере умное; это новое явление нашей жизни мне понравилось меньше, чем сам доктор, особенно когда я мысленно сравнил с ней простую и симпатичную Александру Васильевну.

Муфель, большой скандалист и еще больший кутила, держал себя дома, как добрый семьянин и самый радушный хозяин, который не знал, чем нас угостить; между прочим, он показал нам свою великолепную оранжерею, где росли даже ананасы, но главным образом он налег на вина и отличный обед, где каждое

---

[1] как порядочный, *(франц.)*

блюдо было некоторым образом chef-d'oevre'ом кулинарного искусства.

Взглядывая на эту взъерошенную, красную от выпитого пива фигуру Муфеля, одетого в охотничью куртку, цветной галстук, серые штаны и высокие охотничьи сапоги, я думал о Мухоедове, который никак не мог перелезть через этого ненавистного ему немца и отсиживался от него шесть лет в черном теле; чем больше пил Муфель, хвастовство и нахальство росло в нем, и он кончил тем, что велел привести трех своих маленьких сыновей, одетых тоже в серые куртки и короткие штаны, и, указывая на них, проговорил:

— Вот, шерт возьми, будущая Россия...

Отец Егор приласкал детей и не без ловкости уронил какой-то комплимент, относившийся к счастливым родителям «будущей России»; мать Муфеля говорила по-русски лучше сына и за обедом, между прочим, сильно жаловалась на о. Андроника.

— Представьте себе, — говорила старушка, высоко поднимая свои седые брови, — я член Красного Креста, раз захожу с кружкой к этому ужасному попу... На крыльце меня встречает пьяный дьячок, вхожу в комнату, и представьте — этот Андроник сидит на диване в одном жилете и играет на гитаре. Мне сделалось дурно, и я плохо помню, как выбралась на улицу... Согласитесь, что это ужасно, ужасно!!.

— Подобные люди бросают тень на целое сословие, — немного вычурно заговорил о. Егор, ежась на своем месте и заглядывая в глаза жаловавшейся старушке. — По моему мнению, это зависит от недостатка образования, Амалия Карловна... В Германии, вероятно, вы не встретите таких священников? Да, печальное явление, очень печальное, но, можно надеяться, русское духовенство скоро совсем избавится от него.

— А мне, отец Егор, отец Андроник очень нравится, — отозвалась докторша, вскидывая на нос pince-nez. — В нем есть какая-то хорошая простота и чисто русское остроумие.

— Относительно простоты и остроумия отца Андроника я совершенно согласен с вами, — мягко соглашался о. Егор, наливая себе стакан воды.— Но согласи-

тесь, известная специальность, вернее — профессия, налагает на каждого человека известные обязанности и приличия, тем более сан священника... Вот вы врач, а чтобы вы сказали о другом враче-женщине, которая явилась бы к своему пациенту не в своем виде, что с отцом Андроником случается нередко. Я не осуждаю старика и знаю, что ему немного поздно ломать свою натуру, но все-таки, согласитесь...

Когда мы вышли из-за стола, я спросил докторшу об участи раздавленного Ватрушкина; женщина-врач точно обрадовалась моему вопросу и с торопливой улыбкой проговорила:

— Ему лучше... Он скоро поправится.

— Неужели?

— О, да... — самоуверенно проговорила маленькая женщина. — Ампутация обошлась самым счастливым образом, и бедняк так благодарил меня, даже руки мне целовал и все называл хорошей барышней.

— Значит, вы...

— Вы хотите сказать, как я решилась отнять ногу? — предупредила меня докторша, машинально поправляя одной рукой какую-то складку на своем изящном сером платье. — Моя специальность — хирургия, и я уже сделала несколько удачных операций... Мои пациенты единогласно подтверждают, что у меня легкая рука, — с улыбкой прибавила она.

Я внимательно посмотрел на маленькую женщину, почти девушку, на ее небольшие желтые руки, и в душе подивился ее смелости; мне на память пришел случай, когда однажды я должен был вынять большую занозу из ноги одного шалуна, и как эта мудреная операция бросила меня в холодный пот, и я готов был бежать, чтобы избавиться только от своей трудной роли; докторша, кажется, угадала истинный ход моих мыслей и с прежней улыбкой проговорила:

— Ведь тут и мудреного ничего нет... Издали оно кажется гораздо страшнее, чем на самом деле; а затем является привычка.

— Так она плох? — спрашивал Муфель доктора, провожая нас в переднюю.

— Да, очень плох.

— Никакой надежды?

— Надежда есть, но очень сомнительная, — уклончиво отвечал доктор, повертывая в руках шляпу.

— Шаль, очэнь шаль... Какая хорош человек!..

— Это вы о Гавриле Степаныче? — вмешалась докторша и, получив утвердительный ответ, прибавила: — А по-моему, он поправится, в нем слишком много энергии... В такого сорта болезнях хороший характер прежде всего.

Гаврило Степаныч не был на именинах Мухоедова, потому что к этому времени уже переехал на Половинку; в одно из ближайших воскресений мы с Мухоедовым взяли лошадь у Фатевны и отправились проведать нашего друга. До Половинки было верст двадцать. Мы выехали рано утром, до «солновсхода»; накануне был небольшой дождь, и трава зеленела особенно ярко, точно она умылась; когда солнце поднялось выше и начало подбирать росу, наша тюменская телега бойко катилась мимо красивых покосов, пестревших незавидными цветочками. Кой-где виднелись небольшие избушки, в которых жили рабочие во время страды; попалось несколько обугленных мест с остатками обгорелых пней и сучков; особенно хороши были березовые пролески, светлые, как транспарант, прохладные и шелестевшие каждым листочком. По небу весело бежали далекие облачка; солнце точно смеялось и все кругом топило своим животворящим светом, заставлявшим подниматься кверху каждую былинку; Мухоедов целую дорогу был необыкновенно весел: пел, рассказывал анекдоты, в лицах изображал Муфеля, «сестер», Фатевну — словом, дурачился, как школьник, убежавший из школы.

Наслаждение летним днем, солнечным светом омрачалось мыслью о бедном Гавриле Степаныче, которому, по словам доктора, оставалось недолго жить; среди этого моря зелени, волн тепла и света, ароматного запаха травы и цветов мысль о смерти являлась таким же грубым диссонансом, как зимний снег; какое-то внутреннее человеческое чувство горячо протестовало против этого позорного уничтожения. Я ничего не говорил

Мухоедову об опасном положении Гаврилы Степаныча, раз, потому что не хотел огорчать прежде времени этого доброго человека, а второе, — я боялся, что он не сумеет себя держать и выдаст себя и меня Гаврилу Степанычу головой; больные вообще обладают большей проницательностью, чем здоровые, и отлично умеют читать по физиономиям своих друзей.

— Кажется, тысячу лет прожил бы! — говорил Мухоедов, когда наша телега, миновав покосы, покатилась, как по длинному узкому коридору, среди смешанного леса из сосен, елей и берез, где нас обдало приятной прохладой и чудным смолистым запахом. — Право, много ли нужно человеку: вот этакий день — и счастлив, как птица. По моему мнению, нет другого животного, которое так умело бы пользоваться жизнью, как птица; это моя собственная философия, которая иногда утешает меня, если уж придется круто. Я стараюсь походить на птицу... Стряхнешь с себя все эти предрассудки, которыми опутывает нас жизнь, и, право, так делается весело, точно вчера родился и не видал еще ни одного паршивого немца...

В этих разговорах и самой беззаботной болтовне мы незаметно подъехали к Половинке, которая представляла из себя такую картину: на берегу небольшой речки, наполовину в лесу, стояла довольно просторная русская изба и только, никакого другого жилья, даже не было служб, которые были заменены просто широким навесом, устроенным между четырьмя массивными елями; под навесом издали виднелась рыжая лошадь, лежавшая корова и коза, которые спасались в тени от наступавшего жара и овода. Половинка была когда-то рудником; какой-то предприниматель зарыл здесь довольно крупный капитал, а затем, разорившись, все бросил; остатками бывшего рудника служили изба, в которой теперь жил Гаврило Степаныч, да несколько полузаросших травой и березняком валов перемытого песку, обвалившихся и затянутых сочной осокой канав, да еще остатки небольшого прудка и целый ряд глубоких шахт, походивших издали на могилы. Общий вид Половинки был очень хорош, хотя его главную прелесть и составлял лес, который со всех сторон, как рать вели-

канов, окружал небольшое свободное пространство бывшего рудника и подступал все ближе и ближе к одинокой избе; главное достоинство этого леса заключалось в том, что это был не сплошной ельник, а смешанный лес, где развесистые березы, рябина и черемуха мешались с елями и соснами, приятно для глаза смягчая своей светлой веселой зеленью траурный характер хвойного леса.

Пред избой был разбит небольшой цветник, а за ним виднелось несколько гряд только что вскопанного огорода.

— Эй, хозяева, принимайте гостей! — громко кричал Мухоедов, привязывая лошадь под навесом, но из избы никто не откликался, и Мухоедов решил: — Спят, видно, наши господа... Эк их взяло! Нашли время.

Я с удовольствием взошел на широкое русское крыльцо, где было прохладно и солнце не резало глаз своим ослепительным блеском, а расстилавшаяся пред глазами картина небольшой речки, оставленного рудника и густого леса казалась отсюда еще лучше; над крышей избушки перекликались какие-то безыменные птички, со стороны леса тянуло прохладной пахучей струей смолистого воздуха — словом, не вышел бы из этого мирного уголка, заброшенного вглубь сибирского леса. Дальше Половинки не было и дороги, а начиналась знаменитая сибирская тайга, раскинувшаяся вплоть до Великого океана. Небольшой стол помещался в углу крыльца; на нем лежала позабытая женская работа — несколько полос полотна, катушка с нитками и маленькие стальные ножницы; вместо стульев служили небольшие скамьи, сделанные прямо из сырого дерева с неправильно обтесанными досками.

— Что, братику, хорошо здесь? — говорил Мухоедов, входя на крыльцо и утирая лицо платком.

— Да, недурно.

— Чистое, братику, состояние первых человеков. А где же, однако, мы хозяев добывать будем? Вот работишка Александры Васильевны, значит они дома...

Мухоедов попробовал низенькую дверь, которая с крыльца вела в темные сени, — она оказалась незапертой; походив по сеням и несколько раз окликнув

хозяев, Мухоедов вошел сначала в переднюю избу, а потом в заднюю — везде было пусто, и Мухоедов решил, что хозяева, вероятно, ушли в лес.

— Ну, это не совсем вежливо с их стороны, — ворчал мой приятель, появляясь на пороге с самоваром, — я до смерти хочу пить, живым манером запалю сию машину, а ты подожди. Если хочешь, ступай в избу; церемоний не полагается.

Мухоедов, захватив на пути железный ковш, отправился с самоваром на берег речки, где налил его водой, и действительно «запалил», так что из «машины» густой дым повалил густыми клубами; развалившись на траве, Мухоедов с ожесточением раздувал самовар, время от времени поворачивая ко мне раскрасневшееся счастливое лицо. Я тем временем успел рассмотреть переднюю избу, которая была убрана с поразительной чистотой и как-то особенно уютно, как это умеют делать только одни женские руки; эта изба была гостиной и рабочим кабинетом, в ней стоял рояль и письменный стол, в углу устроено было несколько полок для книг; большая русская печь была замаскирована ситцевыми занавесками, а стены оклеены дешевенькими обоями с голубыми и розовыми цветочками по белому полю. Пол везде был сильно попорчен, даже было выбито несколько ям; небольшие окна, с только что вставленными новыми рамами, были отворены настежь, на подоконниках стояли горшки цветов, плющ маскировал почерневшие косяки, а снаружи, по натянутым веревочкам, зеленой стеной подымался молодой хмель, забираясь отдельными корнями под самую крышу. Задняя комната представляла из себя одной половиной кухню, другой спальню; обе комнатки выходили окнами прямо в лес, который рос в двух шагах.

— Вот где хорошо... — подумал я вслух.

— Идиллия, братику, сущая идиллия! — отозвался Мухоедов, не без торжества появляясь на крыльце с кипевшим самоваром; он поставил его на стол, а затем откуда-то из глубины кухни натащил чайной посуды, хлеба и даже ухитрился слазить в какую-то яму за молоком. — Соловья баснями не кормят, а голод-то не

тетка... Пока они там разгуливают, мы успеем заморить червячка.

Распахнув свою поддевку и сняв шляпу, Мухоедов с особенным торжеством приступил к церемонии чаепитья; он болтал без умолку, пот крупными каплями катился по его высокому лбу, он его вытирал мимоходом рукавом поддевки и снова наклонял свое лицо над блюдечком, которое держал на пальцах по-купечески. Чем больше я узнавал Мухоедова, тем больше начинал любить эту простую, глубоко честную душу; но, живя в Пеньковке уже вторую неделю, я начинал убеждаться все сильней и сильней в том, что Мухоедов был совсем бесхарактерный человек в некоторых отношениях, особенно если вблизи не было около него какой-нибудь сильной руки, которая время от времени поддерживала бы его и не позволяла зарываться. Такие люди незаменимы, как кабинетные ученые, но в практической жизни они безвозвратно тонут в волнах житейского моря, если счастливая случайность не привяжет их к какому-нибудь хорошему делу или хорошему человеку; по отношению к Мухоедову во мне боролись два противоположных чувства — я любил его и по воспоминаниям молодости, и как простую честную душу, а с другой стороны, мне делалось больно и обидно за него, когда я раздумывал на тему об его характере. И теперь, глядя на его счастливое молодое лицо, я находился под влиянием этого двойного чувства, мне хотелось высказать ему мучившие меня сомнения, и вместе с тем я совсем не желал портить его счастливого «птичьего» настроения.

— А вот и наши Филемон и Бавкида бредут, — заговорил Мухоедов, когда на опушке леса показалась сначала стройная фигура Александры Васильевны, а за ней длинная, слегка сгорбленная «остеология» Гаврилы Степаныча, как его называл Мухоедов; издали он сильно походил на журавля и как-то забавно шагал по густой траве, вытягивая вперед длинную шею и высоко поднимая ноги, точно он шел по воде. — А мы тут без вас чайком балуемся, — заявлял Мухоедов, здороваясь с Александрой Васильевной. — Вы, голубчик, совсем поправились здесь, вон и румянец, и цвет лица в некотором роде... Хе-хе!..

— А как вы находите Гаврилу Степаныча? — обратилась ко мне Александра Васильевна. — Не правда ли, ведь он заметно поправляется... на глазах.

— Ну, Саша, уж и заметно, — с улыбкой протестовал Гаврило Степаныч, опускаясь с заметным усилием на скамью. — Конечно, я чувствую себя бодрее и к осени отлично поправлюсь, но нельзя же вдруг, разом...

— Все-таки и доктор тоже нашел тебя лучше, когда был в последний раз.

— Доктор?.. Ах да, доктор; доктор очень хороший человек, очень... — Гаврило Степаныч не договорил и страшно закашлял; на шее и на лбу выступили толстые жилы, лицо покрылось яркой краской. — Я ведь живуч... только вот не могу еще долго ходить по лесу, утомляюсь скоро и голова кружится от чистого воздуха... не могу к воздуху-то привыкнуть.

— Тебе только не следует волноваться, — говорила Александра Васильевна, снимая шляпу и поправляя спутавшиеся на лбу пряди белокурых, мягких, как шелк, волос. — Не будешь волноваться и поправишься...

— Да, да, именно так: нужно жить, Гаврило, как птицы живут, — подтвердил Мухоедов и довольно подробно принялся развивать свою оригинальную философию равновесия элементов. — Я давно тебе это твержу: живи, яко птица, и кончено!..

— Милый человек, советы гораздо лучше давать, чем исполнить их, — в раздумье проговорил Гаврило Степаныч. — Вон Слава-богу советовал Ватрушкину сделать усилие, тоже недурно сказано.

— Ах, остеология, остеология! С кем ты сравнил меня? — возмущался Мухоедов, наливая всем стаканы. — А тебе, остеология, налить стаканчик?

— Нет, спасибо... доктор посадил меня на молочко.

— А ты его не слушай: за компанию жид удавился!

Мы отлично провели этот день, ходили в лес, несколько раз принимались пить чай, а вечером, когда солнце стояло багровым шаром над самым лесом, старик караульщик, который один жил на Половинке в качестве прислуги, заменяя кучера, горничную и повара, развел на берегу речки громадный костер; мы долго сидели около огня, болтая о разных разностях и любуясь

душистой летней ночью, которая в лесу была особенно хороша. Мириады звезд фосфорическими искрами усеяли голубое небо; лес молчал, от деревьев тянулись по траве длинные тени; где-то глухо и печально куковала кукушка.

— Вы не боитесь здесь жить? — спрашивал я Александру Васильевну, кутавшуюся в теплую шаль.

— Нет... Мы ведь не одни: с нами живет Евстигней; мы даже ничего не затворяем здесь.

— Да ваш Евстигней спит, как сурок, — вмешался Мухоедов. — Его с головой завяжи в мешок, он и того не услышит.

— А вот и нет, Капинет Петрович, — отозвался Евстигней, очень ветхий старик, с каким-то восковым, точно выцветшим лицом. — Я в карауле на фабрике тридцать пять лет выслужил, волоса не прокараулил...

— А ты расскажи лучше, как ты самовар приказчику ставил? — заговорил Мухоедов.

— Чего самовар? Разе его мудрено наставить...

— Нет, ты по порядку-то расскажи, как дело было.

Евстигней оправил небольшую бородку клином и заговорил неопределенным, тоже как будто выцветшим голосом, точно это говорил не он, а кто-нибудь другой, спрятавшийся за его спиной:

— Это было годов с сорок, когда мы за барином жили. Меня определили на рудник; приехал приказчик и заставил меня самовар наставить... А тогда этого заведенья, почитай, совсем не было, чтобы самовары пить. Теперь в Пеньковке много самоваров, а тогда и званья не было. Я ходил-ходил около самовару-то, и не знаю, что с ним сделать, а ставить надо, потому приказчик придет с руднику, спросит. Открыл крышку, вижу — в одном месте вода, в другом уголь, сейчас долил и углей свежих прибавил. Сам сел и караулю, а как приказчик пришел с рудника, я и подал самовар. Только приказчик заварил чай, налил стакан, а как попробовал, так и выплюнул... Сейчас за мной: «Сказывай, чего наклал в самовар?» Испужался я до смерти, а все-таки говорю, что ничего не клал. «Врешь, кричит приказчик, ты, говорит, меня отравить хочешь... Давай, пей сам!» Посадил меня за стол, налил мне стакан и заставил его весь

выпить; не поглянулся мне этот чай его, а делать нечего, пью, потому не своя воля. «Ну, что, говорит приказчик, скусно?» — «Скусно», — говорю. «А зачем, говорит, вода в самоваре соленая?» — «Я, говорю, посолил, потому хотел угодить вам...» Смотрел-смотрел на самовар, как он кипит, а сам думаю: «Надо посолить; пожалуй, приказчик ругать будет, если не посолю». Ну и посолил, потому у нас бабы каждое варево солят.

Старик заключил свой рассказ самой добродушной улыбкой и, поплевав на руки, бросил несколько полен в огонь; мы посмеялись над его рассказом и отправились в комнаты, потому что падала роса и Гаврилу Степанычу было вредно оставаться на мокрой траве. Александра Васильевна сыграла несколько любимых пьес на рояле, но Гаврило Степаныч слушал их, печально опустив голову, потому что доктор строго-настрого запретил ему петь; меня удивило, что Гаврило Степаныч не заводил совсем речи ни о «сестрах», ни о ссудо-сберегательном товариществе, но это объяснилось опять запрещением доктора.

— А вы, право, погостили бы у нас? — говорил мне Гаврило Степаныч, когда мы прощались вечером. — Мухоедов пусть едет, а вам в Пеньковке или здесь просматривать бумаги все равно... Право, оставайтесь? Мы вам отдадим переднюю избу, и живите себе: Епинет Петрович будет навещать нас, и заживем отлично. Мы с Сашей люди простые, не помешаем вам.

— В самом деле оставайся, какого тебе рожна делать в Пеньковке?! — уговаривал меня Мухоедов, перебрасываясь с Александрой Васильевной каким-то телеграфическим знаком. — Я ведь завтра рано укачу отсюда, потому к шести часам утра нужно быть в заводе, а ты спи себе, как младенец, я и бумаги тебе все вышлю, считайте здесь с Гаврилой свою статистику.

Когда мы остались одни, Мухоедов, раздеваясь, говорил мне:

— Нет, ты в самом деле оставайся здесь, спасибо скажешь. Малина — не житье, да и Гавриле веселее, а то он с одной скуки помереть может; человек привык работать за троих, а тут и думать ничего не смей, зани-

майся обменом веществ. Ты его раскопай-ко, Гаврилу-то, он ведь хоть сейчас в министры, и все тебе как на ладони покажет; только здоровьишко его подлое совсем, а то рубаха-парень. Мне давеча и Александра Васильевна шепнула, чтобы я уговаривал тебя; тебе ведь все равно, а Гавриле веселее, когда живой человек под боком.

Рано утром, когда я спал, Мухоедов уехал в Пеньковку один; я проснулся очень поздно и долго не мог сообразить, где я лежу. Солнечные лучи яркими пятнами играли на задней стене; окна были открыты; легкий ветерок врывался в них, шелестел в листьях плюща и доносил до меня веселый говор леса, в котором время от времени раздавались удары топора; я оделся и вышел на крыльцо, где уже кипел на столе самовар.

— Десять часов утра, — послышался мне голос Александры Васильевны, которая скоро показалась из кухни с красным лицом, одетая в ситцевую простенькую блузу.

— Я позабыл попросить Евстигнея, чтобы он разбудил меня, — пробовал я оправдаться, здороваясь с Александрой Васильевной.

— Значит, совесть немного-таки мучит вас?

— Да, проспать такое утро просто бессовестно. А Гаврило Степаныч, вероятно, гуляет?

— Да, он теперь в лесу, а я в кухне... Вы, я думаю, испугались меня?

— Нет, пока ничего, а только я вам должен категорически заметить, что, если вы из-за меня хоть пять минут лишних пробудете в кухне, я сейчас же исчезаю. Согласны?

— Успокойтесь, пожалуйста, ведь мы и без вас что-нибудь едим; женской прислуги я не взяла с собой, потому что люблю иногда поработать, как кухарка. Гаврило Степаныч ворчит на меня за это, но, видите ли, мне необходимо готовить самой обед, потому что только я знаю, что любит муж и как ему угодить, а полнейшее спокойствие для него теперь лучшее лекарство. — Переменив тон, она прибавила: — А пока он придет, вы, во-первых, сходите умыться прямо в речке, а потом я вас напою чаем; вот вам мыло и полотенце.

Защитив глаза от солнечного света, я с наслажденьем брел прямо по густой траве к речке; как городской житель, я долго затруднялся выполнением такой замысловатой операции, как умыванье прямо из речки, и только тогда достиг своей цели, когда после очень неудачных попыток догадался, наконец, положить около воды большой камень, опустился на него коленями и таким образом долго и с особенным наслаждением обливал себе голову, шею и руки холодной водой, черпая ее сложенными пригоршнями. Когда я вернулся на крыльцо, Александра Васильевна ждала меня уже за самоваром; на столе появились густые сливки, тарелка земляники, белый хлеб и какое-то сдобное печенье.

— Я нарочно послала вас умыться в речке, чтобы вы хоть раз в жизни испытали это удовольствие, — говорила мне Александра Васильевна, подавая стакан чаю.

Мы весело болтали все время чая; Александра Васильевна держала себя непринужденно и просто, как сестра, но по ее лицу я заметил, что она хотела что-то сказать мне и не решалась; я вывел ее из этого затруднения предложением не стесняться со мною.

— Мне хотелось поговорить с вами об Епинете Петровиче, — заговорила Александра Васильевна. — Вы учились вместе с ним?

— Да.

— Мы с мужем так его любим, он свой человек в нашем доме, но в нем есть одна странность, которая так всегда огорчает моего мужа...

— Бесхарактерность?

— Да, какое-то отсутствие воли; мне кажется, это зависит от его семейной обстановки... Это одиночество, бесконечная доброта... Ведь он такой умный и необыкновенно честный человек, поэтому как-то вдвойне обидно делается за него. Я буду откровенна с вами: Епинет Петрович живет у Фатевны... у ней, вы, вероятно, видели, есть дочь, Глаша, очень красивая и оригинальная девушка, но, к сожалению, совсем пустая и вдобавок очень легкомысленная... Я боюсь, что Епинет Петрович может увлечься ей, Фатевна способна на все, и может случиться так, что поправлять дело будет поздно.

Мне, как женщине, неловко высказать ему это прямо в глаза, а вы, на правах друга, можете это сделать. Право, мне делается страшно от одной мысли, что такой отличный человек, как Епинет Петрович, может жениться на Глаше. Я не люблю говорить дурно о людях, особенно о молодых, из которых может выйти и добро и зло с одинаковой вероятностью, но есть такие натуры, которые неисправимы. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я пристрастно смотрю на Глашу, но в каждом есть такие предубеждения против некоторых людей, и они иногда оправдываются.

Я обещал Александре Васильевне сделать все, как она желает, и вместе с тем высказал ей, что, насколько мне удалось заметить, такой опасности пока не существует для Мухоедова, хотя поручиться за него в будущем и невозможно; я откровенно высказал ей, что бесхарактерность Мухоедова огорчает и меня, но что это такой недостаток, который не поддается никакому лечению, особенно в известном возрасте. Александра Васильевна внимательно выслушала меня, а потом в раздумье проговорила:

— А он такой славный... Все рабочие так любят его, хоть и называют Казинетом. А вот и муж с Евстигнеем возвращаются, — весело прибавила Александра Васильевна, кивнув головой в сторону леса, где виднелись две мужских фигуры.

Когда они были уже недалеко, Александра Васильевна проговорила с озабоченным лицом:

— У меня к вам есть еще одна маленькая просьба: пожалуйста, не заводите этих разговоров, которые могут волновать мужа... Ваше присутствие здесь будет для него лучшим лекарством и без них; он так интересуется вашей работой и вчера долго толковал со мной, чем и как помочь вам.

Несколько недель, проведенных мною на Половинке в обществе Гаврилы Степаныча, Александры Васильевны, Евстигнея и изредка посещавшего нас Мухоедова, принадлежат к счастливейшему времени моей жизни, по крайней мере никогда мне не случалось проводить

время с такой пользой и вместе с таким удовольствием; моя работа быстро подвигалась вперед, Гаврило Степаныч принимал в ней самое живое участие, помогал мне словом и делом и с лихорадочным нетерпением следил за прибывавшим числом исписанных листов, которые он имел ангельское терпение перечитывать по десять раз, делал замечания, помогал в вычислениях, так что в результате моя работа настолько же принадлежала мне, как и ему. К моему удивлению, Гаврило Степаныч порядочно знал политическую экономию, читал Адама Смита, Милля, Маркса и постоянно жалел только о том, что, не зная новых языков, он не может пользоваться богатой европейской литературой по разным экономическим вопросам из первых рук, а не дожидаясь переводов на русский язык; в статистике Гаврило Степаныч был как у себя дома, читал Кетле и Кольба, а работы русского профессора Янсона он знал почти наизусть. Вообще трудно было сказать, чего только не знал и чего не читал Гаврило Степаныч, и главное все это делалось только в свободное время от его специальных занятий в заводе и делалось исключительно по своему собственному выбору, вне всяких посторонних влияний. Мне всего больше в Гавриле Степаныче нравилась необыкновенная энергия его мысли и какая-то восторженная любовь к знанию; здесь он являлся жрецом чистого искусства, и, по моему мнению, эта сила любви поддерживала его растительный организм лучше всяких лекарств. У него была своя очень порядочная библиотека, составленная очень удачно; кроме того, он выписывал «Вестник Европы» и «Отечественные записки», и каждая новая книжка журнала для него была праздником.

В промежутки между работой мы делали длинные прогулки, большею частью вдвоем с Гаврилой Степанычем, потому что Александра Васильевна была завалена работой по хозяйству; мы отлично изучили местность верст на десять кругом и особенно облюбовали небольшой борок, гривой покрывавший холмистую возвышенность. Здесь мы отдыхали в жаркие летние дни, по целым часам лежа на мягкой траве и чутко прислушиваясь к вечному шепоту высоких столетних сосен; чтение и разговоры как-то особенно хорошо удавались

в этом бору, и, как я ни старался, дело не обошлось без таких тем, которые волновали больного. Гаврило Степаныч понял мои усилия и однажды в минуту откровенности проговорил:

— Это вас Саша научила?

Мне оставалось только сознаться в заговоре; Гаврило Степаныч улыбнулся больной улыбкой и заговорил дрогнувшим голосом:

— Саша славная... Это ангел, а не человек. Вы не знаете ее хорошенько... Мы, мужчины, вообще очень дурно относимся к женщинам; это историческая несправедливость и наш эгоизм, а между тем, подумайте, чем были бы мы, если бы около каждого из нас не было заботливой любящей руки... Я молюсь на мою Сашу и, право, не знаю за ней ни одного недостатка; а сколько ей, бедняжке, приходится выносить из-за меня... Возиться с больным мужем, выносить его капризы, стоять над каждым его желанием ангелом хранителем, — ведь это такая жертва, которая приносится каждый день и на которую не имеешь никакого права, а между тем я часто бываю несправедлив к ней, мучаю ее капризами, придираюсь к пустякам. После опомнишься и сделается так стыдно, что даже извиняться совестно... Да когда я и здоров был, разве я был бы тем, чем есть, если бы не Саша; она моей невестой лет восемь была, и как мы славно жили, как работали. Она была сельской учительницей, а я работал в заводе, учился и служил. Всеми своими знаниями, любовью к упорному систематическому труду, выработкой характера — ведь всем я обязан моей Саше... И какая скромность в ней!.. Вот теперь хотим открывать ремесленную школу, то есть это хочет ее открывать Саша, а мы с Мухоедовым только помогать ей будем. И ведь ни слова никому!.. Вот я, грешный человек, болтлив: и про хорошее скажу, и про дурное. Что поделаешь, уж такой характер, а Саша не то: крепкий человек...

Голос Гаврилы Степаныча дрожал, глаза блестели; он с трудом дышал и, переведя дух, продолжал с прежним одушевлением:

— Я думал заплатить ей счастливой и спокойной жизнью за все, а тут болезнь... А как она за мной

ухаживает!.. Обед сама готовит и еще уверяет, что ей это нравится, а дело просто в том, что она не доверяет ни одной кухарке такого важного дела; доктор натолковал ей о важности питания, вот она и бьется, как рыба об лед... А как вы думаете, поправлюсь я или нет? — неожиданно спросил меня Гаврило Степаныч.

— Помилуйте, конечно поправитесь, — поспешил я ответить.

— Зачем вы так торопитесь высказать то, чему и сами не верите, — с легким упреком в голосе заговорил Гаврило Степаныч. — Доктор давно смотрит на меня такими глазами, точно я уже препарат для его ножа; вы тоже сомнительно поглядываете на меня, только Саша да Мухоедов, как дети, слепо верят в мое выздоровление, и, представьте себе, они вернее отгадали то, чего наука еще не видит. Вы и доктор, например, смотрите на меня и думаете: «Куда ему поправиться, когда в нем места нет живого», а я вот возьму да и поправлюсь, поправлюсь именно потому, что во мне места нет живого. Да, это совершенно верно. Вы посмотрите на Евстигнея, в нем, кажется, двух капель крови нет, а живет себе, на восьмой десяток перевалило, зубы все целы, волосы недавно начали седеть и наверное доживет до ста лет. Дело просто: с молодости, когда организм формируется и растет каждой клеточкой, его силы надорвут непосильной работой, вытянут, а в сорок лет человек полный калека, как загнанная лошадь; тут человек уже неспособен на настоящий труд, а в состоянии сидеть только в карауле, как Евстигней, хоть сто лет. Вот вам наш портрет с Евстигнеем: он вытянулся на крепостном помещичьем труде, я тоже свою крепостную службу вынес, и, главное, в нас обоих остался такой маленький запас сил, что для их поддержки требуется minimum тех условий, при которых может существовать живой человек. Поэтому моя болезнь, например, в два месяца скрутит какой угодно организм, а я скриплю с ней пятый год и не думаю умирать, а надеюсь скоро совсем поправиться. Да, это ясно как день, и я чувствую, что останусь жив, хотя иногда приходится очень жутко и выносишь страшную пытку, чтобы не выдать своих страданий Саше... Бедная без того скружилась со мной!

— Таких, как мы с Евстигнеем, вы найдете в Пеньковке сотни, — продолжал Гаврило Степаныч, — это все жертвы бывшего крепостного права или жертвы нынешней огненной работы... И представьте себе, как это ни странно, на заводах Кайгородова, в том числе и в Пеньковке, рабочим жилось в материальном отношении гораздо лучше за помещиком, чем теперь; причина заключается в том, что помещик, как-никак, а все-таки кормил калек, стариков и сирот, а теперь они брошены на произвол судьбы... Выиграли только те рабочие, которые в полной силе; им действительно хорошо, и живут они отлично, но это счастливое состояние продолжается пятнадцать — двадцать лет, человек израбатывается и поступает на содержание к детям, если они есть. Девки в счет нейдут при этом, а только парни, которые при больших заработках привыкают к известной роскоши, а затем к водке, так что положение заводского рабочего никак нельзя сравнить ни в материальном, ни в нравственном отношении с положением крестьянина.

Гаврило Степаныч очень подробно развивал каждый раз при таких разговорах план перехода от ссудо-сберегательного товарищества к обществу потребителей, а от него к производительным артелям, которые в далеком будущем должны окончательно вырвать заводского рабочего из рук «сестер», Фатевны и целой стаи подрядчиков, кулаков и прасолов; страховые артели на случай несчастия, сиротства, старости, увечья и прочих невзгод, среди которых проходит жизнь рабочего, должны были венчать это будущее здание. Профессиональные школы, музей прикладных знаний, публичные чтения, театр, библиотека — все это должно было явиться само собой, как только установятся прочно начала экономического благосостояния рабочего.

— Нам не нужно революций, — прибавлял Гаврило Степаныч, — мы только не желаем переплачивать кулакам процент на процент на предметах первой необходимости, на пище и одежде; хотим обеспечить себе производительный труд, вырвав его из рук подрядчиков; стремимся застраховать себя на случай несчастия и дать

детям такое воспитание, которое вместе с ремеслом вселило бы в них любовь к знанию. У меня, знаете, давно в голове бродит некоторая идея... Потребительные, ссудо-сберегательные и производительные артели рабочие должны устроить сами, дело крупных предпринимателей только не мешать им, это все понятно и логично, а вот, что касается страховых артелей, — вот здесь, по-моему, уж дело заводчиков застраховать жизнь и здоровье работника. Ведь инвалиды рабочие имеют на это полное право, потому что хозяйские машины ломают им руки и ноги. Хочу составить проект по этому вопросу...

Это счастливое, возбужденное настроение часто переходило у Гаврилы Степаныча в минорный тон, он съеживался, смолкал и несколько раз говорил с печальной улыбкой:

— Иногда какое-то отчаяние нападает... является какая-то проклятая неуверенность. Иногда работаешь, бьешься, а тут как палкой по голове: «Все, дескать, это некоторое сражение с ветряными мельницами и добродетельное удерживание бури зонтиком...» Ну, а потом опять этакая светлая вера является, надеждишки разные — где наше не пропадало.

В одно из посещений Мухоедова, когда мы далеко ушли с ним вдвоем, я, желая исполнить свое обещание Александре Васильевне, издалека завел с ним речь о разных случайностях жизни и свел все на возможность увлечения, например, такой девушкой, которая может испортить порядочному человеку целую жизнь; вся эта мораль была высказана мной с остановками, перерывами, примерами и пояснениями, причем я чувствовал себя не совсем хорошо, хотя и пользовался всеми правами друга. Мухоедов слушал мою проповедь с признаками нетерпения, грыз ногти, а потом спросил, как Гаврило Степаныч:

— Тебя Александра Васильевна научила?

— Будто я уж сам и не могу додуматься до такой простой вещи, — проговорил я, стараясь обидеться. — Причем тут Александра Васильевна? Я... думаю, что поступаю как твой лучший друг.

Мухоедов покатился от душившего его смеха по траве, а его «лучший друг» стоял, вытаращив глаза; когда пароксизм смеха прошел, Мухоедов сел рядом со мной, помолчал и заговорил глухим голосом:

— Ты не отпирайся, у меня свои глаза есть, и я отплачу тебе откровенностью за твою хитрость. На Глашке — дело идет о ней, если я не ошибаюсь, — я никогда не женюсь, не потому что это пустая девчонка, а потому... как это тебе сказать?.. Ну, словом, нет у меня этих семейных инстинктов, нет умонаклонения к семейному очагу и баста. Да и жить, может, уж недолго осталось, дотяну как-нибудь попрежнему вольной птицей.

VI

В начале июля жизнь нашего мирного уголка была встревожена вторжением Муфеля, который, проездом на какую-то охоту, в сопровождении довольно многочисленной свиты, состоявшей из лесничих, «сестер» и нескольких лесообъездчиков, счел своим долгом посетить Гаврилу Степаныча и, встретив меня здесь, выразил нечто вроде удовольствия; любезность этого немца зашла настолько далеко, что он даже предложил мне принять участие в его охоте, но я отказался от этого удовольствия, в чем после не имел повода раскаиваться, потому что такие охоты Муфеля были только предлогом для некоторых таинственных оргий, устраиваемых для него «сестрами» и лесничими. В этих оргиях главная роль принадлежала женщинам, а в настоящем случае приманкой служила какая-то пикантная «штучка», которой подчиненные угощали своего повелителя; эти периодические экскурсии были в порядке вещей, и Муфель отдыхал в них от своих трудов и забот по управлению заводом. Орда, сопровождавшая его, представляла из себя самую оригинальную картину: «сестры» были в своих неизменных полукафтаньях, верхом на отличных лошадях, с какими-то лядунками, развешанными на груди и неловко болтавшимися при каждом движении; они крепко сидели на высоких пастушьих седлах, как люди, привыкшие ездить верхом; у каждого под седлом,

вдоль лошади, были привязаны кремневые «турки», вероятно на всякий случай.

Муфель и двое лесничих были одеты в серые охотничьи куртки с зелеными аксельбантами, высокие охотничьи сапоги и тоже были украшены лядунками и двустволками; один лесничий был старик немец с умным красным лицом и длинными седыми усами, говорил мало и резко; другой помоложе, из братьев поляков, с дерзким лицом, украшенным небольшой эспаньолкой, с усиками, закрученными шильцем. В эту же компанию замешался толстый подрядчик, который мешком сидел на лошади, тяжело вздыхал и был без всякого оружия, кроме небольшой березовой ветки, которой он не без ловкости отгонял овод с лошади Муфеля. Пять человек лесообъездчиков, одетых в серые куртки из толстого фабричного сукна, были подобраны молодец к молодцу и предупреждали малейшее желание Муфеля: садили и снимали его с седла, подавали ему фляги с водкой, сигары, причем каждый раз быстро снимали с себя мерлушчатые круглые шапки с зеленым верхом; из них выделялись более других сыновья Прохора Пантелеича. «Коскентин» был, как всегда, угрюм и выглядывал травленым волком; Филька, как всегда, был весел и смотрел кругом своими улыбавшимися хитрыми карими глазками самым беззаботным образом, весело встряхивал подстриженными в скобу русыми волосами и забавно крутил своей кудрявой бородкой.

Вся эта орда перевернула вверх дном решительно все в нашей избушке: старик лесничий барабанил на рояле арии из m-me Angot, молодой поляк делал глазки Александре Васильевне, выпячивал и надувал грудь, закручивал молодецки усы; бедная женщина краснела и не знала, куда ей деваться от такого любезного кавалера. Лесничий попробовал даже забраться в кухню и предложил свои услуги хлопотавшей хозяйке помочь ей у печки, но и это было отвергнуто, и оставалось только крутить усы, выпячивать грудь и прохаживаться по крыльцу индейским петухом.

— О, ви слюшайсь мэнэ, — ораторствовал Муфель, хлопая Гаврилу Степаныча своей могучей рукой по плечу.

— Кушай Bier...[1] бифштекс с кровь... Вот как я, молодец мущин!..

— Коньяк тоже во многих болезнях отлично помогает, — говорил лесничий из-за рояля, — со мной раз был случай...

— И коньяк хорошо... мой любит коньяк.

Поляк что-то шепнул Муфелю, кивнув головой в сторону проходившей мимо Александры Васильевны; Муфель взъерошил свои волоса и громко захохотал.

— И мой хочет хворать, — кричал он, обращаясь к Гавриле Степанычу, — если бы у мэнэ был такой красивой жон, — мой тоже болен... Ха-ха!.. Тут всякий болен... О, какой миленький дам!..

Муфель был в некотором подпитии и нес самый невозможный вздор, от которого бедный Гаврило Степаныч весь позеленел; я не мог дольше выносить этой сцены и вышел на крыльцо. «Сестры», подрядчик и лесообъездчики расположились в тени навеса, где солнце не так жгло; лошади были привязаны в лесу, и для них был устроен небольшой костер из гнилых пней и свежей травы, дававший густую струю белого едкого дыма. «Сестры» сидели в уголке и о чем-то тихо разговаривали между собой вполголоса; лесообъездчики окружили толстого подрядчика, который лежал брюхом прямо на земле, болтая толстыми ногами, заключенными в смазные сапоги. В руках у подрядчика была бутылка, которая служила предметом общего разговора и вызвала несколько шуток.

— Куда ты нянчишься с ней, Никитич? — спрашивал Филька, ласково заглядывая на бутылку.

— Куда?! Место найдем, — флегматически отвечал подрядчик, движением головы сдвигая картуз на ухо, — ты думаешь, это простой коньяк. Не-ет, брат, это называется финшалпал; восемь рублев отдал за бутылку. Понял?

— Еще, пожалуй, меньше... — острил Филька, с любопытством трогая бутылку указательным пальцем. — Ах, Никитич, Никитич, хоть бы ты нам понюхать дал...

— Рылом не вышел еще; не хочешь...

---

[1] пиво... *(немецк.)*

— А я этого финшалпалу пивал страсть сколько, — заговорил Филька. — Вот-те ну бог, пивал...

— По которому гуси плавают?

— Нет, настоящий; как рюмочку хватишь, так и вдарит по голове, точно поленом.

— Што-нибудь да не так, — сомневался подрядчик, играя соломинкой, которую он держал в зубах. — Это вино только господа пьют... Вот приедем на место, я сейчас Слава-богу супрыз и сделаю; с самой Пеньковки везу эту бутылку за пазухой, а ты: «пивал!..» Рожа!

— Ей-богу, пивал! Сейчас провалиться: пивал! — клялся Филька, встряхивая русыми волосами.

— Говорят тебе, несуразный ты человек, господа пьют финшалпал, а ты восьми-то рублей сроду не видывал...

— И я с господами пил, — продолжал утверждать Филька.

— Филька... а, Филька! Расскажи, Филька, — пристали к нему другие лесообъездчики. — Только не ври; больно уж ты врать-то лют...

— Врать... Я — врать?!. — обиделся было Филька, но сейчас же улыбнулся и, почесав за ухом, заговорил: — Как-то в позапрошлой зиме ездили мы с Слава-богу в Косачи, а там Ястребок уж все устроил: и женский пол, и всякое прочее. По пути наловили в реке тальменей и заварили важнеющую уху; давай есть. Мировой судья с нами был, он живо натюкался и с копыльев долой; мы его так в уголок и прибрали, чтобы под ногами не мешался, а Слава-богу с Ястребком крепки на вино; пьют да только краснеют, да все на девок наступают, а девок полна изба, сидим все равно как в малине. Все хорошо. Заставили меня на губах камаринского играть, учали плясать; Ястребок на руках давай ходить, всех девок перепужал до смерти, а Слава-богу песни задувает и все по-своему лопочет, как лесной... Нас, лесообъездчиков, со смеху уморили и все водкой накачивают, все водкой: пей — не хочу! До самого утра этаким манером гарцевали, а потом наши господа отобрали себе по принцессе и нас из избы по шеям; я порядки эти ихние в тонкости знаю, а когда

играл на губах, одну бутылочку с финшалпалом в пазуху спрятал. Ушли мы все на сарай и этот финшалпал весь выпили, а тут только заснули, слышим в избе кричат: «Караул! умер!..» И по-немецкому Слава-богу лопочет совсем несуразное, точно его колют... Прибежали мы в избу: темно; а Слава-богу пуще того не своим голосом: «Караул! умер!..» Вздули огня: Слава-богу завалился под лавку да там и орет во все горло, мы его оттедова добыли, опамятовался и благодарить стал... Девки, которые с ними были в избе, залезли на печку и тоже воют не своим голосом; Ястребок свернулся клубочком, спит, так и разбудить его не могли. А мировой сидит у поганой кадки, в которую бабы помои коровам выливают, и ковшом помои эти самые пьет... Вот где было смеху: в жисть свою не припомню, чтобы этак когда вышло!

— А Слава-богу зачем кричал? — спрашивал подрядчик, болтая ногами.

— Слава-богу лег на пол спать с своей принцессой, да во сне под лавку и закатись, а тут проснулся, испить захотел, кругом темень, он рукой пошевелил — с одной стороны стена, повел кверху — опять стена, на другую сторону раскинул рукой — опять стена (в крестьянах к лавкам этакие доски набивают с краю, для красы), вот ему и покажись, что он в гробу и что его похоронили. Вот он и давай кричать... Ну, разутешили они нас тогда!

Этот рассказ вызвал взрыв общего хохота: подрядчик, лежа попрежнему на брюхе, уткнул свое лицо в траву и только дрыгал ногами, лесообъездчики надрывались от смеха и хватались за бока, сам Филька хохотал больше всех и от удовольствия катался по траве, даже «сестры» и те потихоньку хихикали в своем углу, как две совы; из всей этой компании один Коскентин оставался попрежнему в угрюмом настроении. Когда подрядчик немного пришел в себя, он поднял свое мягкое, как подушка, лицо и спрашивал Фильку, захлебываясь от смеха:

— О, чтоб те разорвало... Так ты говоришь: Слава-богу кричит: «умер», а мировой ковшом из поганой кадки помои пьет? О-ха-ха-ааа!

— Мировой проснулся ночью-то, — объяснял Филька, — в избе темень, душа горит, вот он пополз по полу-то, да и нашел ковш... думает — вода и давай пить! После его рвало-рвало с помоев-то, а Ястребок катается, хохочет над ним.

— А ты бы, Филька, рассказал лучше Никитичу, как тебя Гаврило Степаныч с бревном поймал, — угрюмо заговорил Коскентин.

— Что с бревном... с бревном не ускочишь, — с недовольством в голосе отозвался Филька, — только ему мое бревно в прок не пойдет. Он теперь уж высох весь, кикимора...

— Это он твоим бревном подавился, Филька, оттого и сохнет, — говорил Никитич.

— Я его и то собираюсь из-за полена углом шарахнуть... Верно!.. Не в свое дело суется: разе это его дело, коли я бревно везу?.. Сейчас к лесничему меня вместе с бревном, а наш Карла покричал на меня для видимости, а когда Гаврило Степаныч ушел, он и говорит: «Вот, говорит, два дурака навязались — один бревна не умеет украсть, а другой дурак ловит...» Ей-богу! Карла у нас порядок любит, а главное не беспокой его... Разе когда под сердитую руку подзатыльника даст. Как-то устроили они охоту на медведя; нас лесообъездчиков человек десять было; по первому снежку и видно, как он бродил, мы и идем прямо по сакме. Впереди идет Слава-богу, за ним наш Карла, мы издальки идем; завел этот след нас в разгустой-густой лес, а я по следам вижу, что матерый медведь ходил, пожалуй, покажет такую страсть, что небо с овчинку... Только вдруг слышим — взревел медведь, значит объявился, что хозяин дома, пожалуйте в гости; наш Карла обробел, побелел весь, руки так и трясутся... Пустили мы вперед лесообъездчика Анику, он с рогатиной хоть на черта; Аника живо обработал медведя, а тут Карла его из левольверта пристрелил, а сам все трясется, как осина. Убили мы таким манером медведя, хватились Слава-богу, а его нет; Карла говорит, что беспременно задавил его медведь и посылает нас по лесу его мертвого искать. Разбрелись мы по лесу, а я пошел назад, потому знаю, что Слава-богу от медведя

без оглядки домой задул, и след его скоро нашел, а потом и вижу, как он под кустом спрятался и ружье бросил.

— Подхожу я к нему потихоньку, а он думает, что это медведь, да как бросится от меня бежать — шапку даже потерял, так без шапки и летит, как поповский жеребец; кое-как я догнал его и привел к Карле, а он сидит на мертвом медведе да пред лесообъездчиками храбрость свою рассказывает. Я подошел к нему и говорю: «Слышал, мол, я, Карла Карлыч, как вы воркунов-то спущали...»

— Ну?..

— Верно!

— Поди, врешь?

— Чего мне врать... не подряд взял врать-то! Карла ничего, не осердился, потому на охоте говори ему, что хошь, порядок у него такой. Вот лесоворов ловить, так супротив Карлы никому не сделать; он по духу слышит, где дерево рубят, и сейчас к мировому, а потом на высидку, потому у него везде порядок.

— Без порядку невозможно, — флегматически соглашался Никитич.

Гости, против моего ожидания, остались на Половинке до самого вечера и совсем испортили нам целый день; все страшно пили, кричали, старик немец барабанил вальсы, Муфель был красен, как вареный рак, и вздумал угостить почтенную публику целым представлением. Принесли длинную жердь, «сестры» положили ее себе на плечи, и Муфель принялся выделывать на ней гимнастические упражнения: вертелся на брюхе, вертелся на локтях, вертелся на согнутых коленках — словом, показывал чудеса своего искусства; «сестры» только кряхтели и сильно пошатывались, когда Муфель выделывал разные salto mortale; лесообъездчики ахали, Никитич стоял в немом восторге с растворенным ртом. Наконец и это кончилось, и вся орда скрылась в лесу, а мы все остались такими измученными и несчастными, что тяжело было смотреть друг на друга; Гаврило Степаныч повесил голову и только вытягивал шею, точно его что душило. Вечером он не вытерпел и, когда мы сидели за чаем, заговорил:

— Не могу я видеть эту шайку воров... Ведь все до одного воры... Это ужасно...

— Гаврило Степаныч, ты опять... — попробовала было остановить мужа Александра Васильевна. — Помнишь, как доктор строго запретил тебе волноваться...

— Ах, Саша, Саша... — каким-то ребячьим шепотом заговорил Гаврило Степаныч, а на впалых щеках так и заиграл яркий румянец. — Разве доктор был у меня на душе? А если я не могу видеть этой мерзости, этих разбойников... Мне легче будет, если я выскажусь...

Обратившись ко мне, Гаврило Степаныч заговорил с такою поспешностью, точно боялся умереть прежде, чем успеет высказать все, что лежало у него на душе.

— Пеньковка и еще девять заводов принадлежат, как вы знаете, Кайгородову, который живет постоянно за границей и был на заводах всего только раз в своей жизни, лет пятнадцать тому назад; пробыл недели две и уехал. Впрочем, от его визитов только лишний расход, а пользы немного; он требует свои восемьсот тысяч ежегодно и больше знать ничего не хочет. Кутило и мот губит такие отличные заводы на Урале, а сам шатается по Европе да удивляет всех своими безобразиями. В Париже, в Вене, в Италии понастроил дворцов своим любовницам, а мы сохнем для него здесь на работе. Да сам Кайгородов еще ничего, плохо то, что немцы его совсем обошли: целая лестница из немцев... А у них известный порядок, как клопы: один появился, и целое гнездо сейчас заведется. Главный управляющий у нас немец, управители на заводах немцы, лесничие — немцы, плюнуть некуда; вот они и обрабатывают Кайгородова. Вы подумайте, что заводы Кайгородова ежегодно выплавляют до трех миллионов пудов металлов: чугуна, железа, стали, меди; одних дров ежегодно выходит до трехсот тысяч кубических сажен да столько же идет лесу на выделку угля — ведь подумать страшно... Есть около чего похозяйничать. Ну, и хозяйничают... Прибавьте к этому еще то, что заводы принадлежат Кайгородову на поссессионном праве, значит он имеет только право на пользование — вот мы и пользуемся!.. Да что им, этим немцам, и жалеть нас, дураков: выжгут все, набьют себе карманы и уедут, а мы

останемся, как рак на мели. Вот вам пример нашего заводского хозяйства: из десяти заводов первое место принадлежит Нижне-Угловскому заводу, леса кругом него давно выжжены, строят Пеньковку, потому что кругом Пеньковки лесу пропасть, значит нужно пустить его в ход. Руду везут к нам из Нижне-Угловского завода, мы ее переплавляем в чугун, превращаем в железо или сталь и везем обратно в Нижне-Угловский завод, чтобы там переделать в рельсовую болванку; своего чугуна нам недостает, нам везут его из других заводов, мы его переделываем в железо и отправляем опять в Нижне-Угловский завод. Другая чугунная болванка прогуляется таким образом раз шесть; да рельсы прокатим раза два от Пеньковки в Нижне-Угловский завод.

— По-моему, проще было бы возить в Нижне-Угловский завод прямо дрова и уголь; тогда вместо шести концов приходится сделать всего один, — проговорил я.

— Вот в том-то и дело, что в этом весь наш расчет заключается, чтобы перевозить с места на место руду и чугун. Вы представьте себе, что мы украдем по полтиннику с каждой сажени дров, да еще столько же сдерем с подрядчиков, которые живут нашей перевозкой: им выгодно и нам выгодно, а Кайгородов рукой на все махнул, хоть трава не расти. Вы видели сегодня Муфеля и лесничих, вот у них рука руку и моет, живут душа в душу, а около них наживаются «сестры», лесообъездчики, целая шайка подрядчиков... Так как заводы принадлежат Кайгородову на поссессионном праве, то от горного департамента существует горный исправник, который столько же может сделать, как Евстигней: видит все, своими глазами все видит, а взять не с кого. Пеньковка жрет дрова; а что против этого поделаешь? Чтобы отвести глаза исправнику, лесничие придумали какую штуку: всем лесообъездчикам заказано строго-настрого преследовать лесоворов, вот они и усердствуют, завалили мировых судей делами о лесных кражах, а им это на руку, потому что они сами воруют в десять раз больше и продают лес тем же рабочим. Везет мужик жердь, бревно, осьмушку дров —

сейчас к мировому, а мировые судьи пляшут по дудке немцев и преследуют лесоворов высидкой и штрафами. Настоящие-то лесоворы остаются в стороне и капиталы наживают, а мужик отдувается за все: и в кутузке сидит за каждое полено, и штрафы с него мировые судьи дерут, да еще он же должен ворованный лес втридорога покупать все у тех же лесообъездчиков. Эта штука очень ловкая: исправник спокоен, потому что знает, куда лес идет, — лесоворы воруют; лесничие и лесообъездчики набивают себе карман отчасти собственным воровством леса, а отчасти от подрядчиков, которые поставляют дрова и уголь; Муфель тоже не в накладе, у него в руках вся перевозка и от лесничих перепадет... Помните басню Крылова о том мельнике, у которого вода размыла плотину, а он все свалил на куриц; у нас роль этих куриц играют лесоворы. Ведь это ужасно, ужасно...

Гаврило Степаныч сильно увлекся своей темой; Александра Васильевна потихоньку несколько раз дергала его за рукав, но этот невинный маневр не привел к желаемой цели, а еще больше сердил Гаврилу Степаныча, и он с горечью проговорил:

— Саша, голубчик... Ведь я служу Кайгородову; жизнь свою положил на его заводах, поэтому имею полное право и обязан называть вещи их именами. Ведь сегодня эта саранча всю душу из меня вытянула... Ах, Саша, Саша, нельзя же все думать только о себе!

Посещение Муфеля уложило Гаврилу Степаныча на несколько дней в постель.

В конце июля моя работа была совсем почти кончена, оставалось еще собрать несколько сведений в пеньковском архиве, а затем съездить в Нижне-Угловский завод, чтобы там проверить кой-какие цифры, которые вошли в мою работу; благодаря указаниям и помощи Гаврилы Степаныча мой труд представлял из себя очень интересную картину экономической жизни Пеньковского завода, главная роль в которой принадлежала ужасающей цифре смертности во всех возрастах, стоявшей, повидимому, в таком противоречии с наружным благосостоянием Пеньковки. Эти роковые цифры смертности, как ртуть в термометре, разобла-

чали ту жалкую правду, о которой так горячо всегда говорил Гаврило Степаныч и которую с первого взгляда так трудно было заметить; вообще я как нельзя больше был доволен результатами своего труда и отлично проведенным летом. Я от души полюбил Гаврилу Степаныча и Александру Васильевну, и мне тем печальней казалась необходимость расставаться с Половинкой и этими милыми людьми, с которыми было связано столько отрадных воспоминаний. Мне нужно было уезжать, но я день за днем за разными предлогами откладывал свой отъезд, не имея сил расстаться с своими новыми друзьями; в последних числах июля я, наконец, объявил, что уезжаю. Гаврило Степаныч не удерживал меня, Александра Васильевна обиделась и промолчала. Вышла тяжелая сцена, которая неизбежно испытывается при разлуке близких людей, но она разрешилась хотя и тяжелым, но самым трогательным образом.

— Нельзя же, Саша, ему жить с нами, — уговаривал жену Гаврило Степаныч, — прожили лето отлично, может еще когда встретимся; чего же еще нужно?

Рано утром серого ненастного дня пред избушкой стояла телега, запряженная рыжей лошадью, и мы в последний раз пили чай на русском крыльце; Александра Васильевна больше молчала, зато Гаврило Степаныч не переставал говорить и выстраивал один за другим самые несбыточные планы наших будущих свиданий, и сам же смеялся над их несбыточностью, прибавляя каждый раз:

— А кто знает, может быть и увидимся... Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится; будем письма писать.

Я обещал еще раз приехать в Половинку, если позволят обстоятельства, но Александра Васильевна только качала головой и с недоверчивой улыбкой говорила:

— Это так, одни слова... Вон Мухоедов обещал чуть не каждый день ездить, а как переехали в Половинку, так по целым неделям и глаз не кажет.

Напутствуемый всякими пожеланиями и горячими пожатиями рук, я, наконец, уселся в телегу вместе с Евстигнеем; Гаврило Степаныч сбежал с крыльца, мы

обнялись и по русскому обычаю расцеловались трижды, что заставило Александру Васильевну улыбнуться.

— Я не знала, что мужчины способны на такие телячьи нежности, — говорила она, держась одной рукой за притолоку крыльца.

— Ну, прощайте, голубчик, — говорил Гаврило Степаныч, укутывая мои ноги пледом с неизвестной целью, точно я мог их познобить в июле. — Хотел я проводить вас, голубчик, да день-то вон какой; ноги, пожалуй, промочу и опять слягу... Я скоро совсем поправлюсь.

— Дальние проводы — лишние слезы, — отвечал я.

Евстигней задергал вожжами, телега тронулась, оставляя глубокий след на мокрой земле и безжалостно прижимая пожелтевшую траву; Гаврило Степаныч стоял на крыльце и махал шляпой, Александра Васильевна стояла на прежнем месте, и ее красивое лицо казалось по мере нашего удаления все меньше и меньше. Я в последний раз махнул своей шляпой, когда наша телега въезжала в лес, и Половинка скрылась из моих глаз за мелькавшей сеткой деревьев.

VII

В Пеньковке я нашел большие перемены, начиная с того, что Фатевна почему-то находила нужным «взбуривать» на меня; встречаясь со мной, она каждый раз ядовито улыбалась и еще более ядовито подбирала свои губы и смотрела на меня своими ястребиными глазами с полным презрением. Несколько раз я думал переговорить о всем этом с Мухоедовым, но и он совсем как-то переменился со мной и даже как будто старался избегать меня; о прежних откровенных разговорах не было и помину. Я терялся в догадках о том, какая кошка могла пробежать между нами, особенно между мной и Мухоедовым. Даже Глаша и та находила нужным почему-то фукать на меня, как кошка, а когда случайно встречалась со мной, не успев скрыться, как молния, она опускала глаза и делала сердитое лицо; в течение лета девушка совсем сформировалась и выглядела почти красавицей, если бы не резкие, углова-

тые движения, которые все еще отзывались детским возрастом. Одна Фешка была неизмеримо глупа попрежнему; попрежнему стучала своими громадными ногами и улыбалась той блаженной улыбкой, какой могут смеяться только безнадежно глупые люди. Галактионовна попрежнему, вероятно, выходила бы на крылечко позлословить на всю улицу, но этому мешало стоявшее ненастье; раз она думала было незаметным образом пробраться в мою комнату и, вероятно, разоблачила бы все, но ее положительно не допустили ко мне. Фатевна встретила ее таким градом ругательств, что бедный поэт, «живот спасая», заблагорассудил удалиться на свое пепелище самым поспешным образом. Я видел из своего окна, как ее длинная нескладная фигура шлепала по двору под проливным дождем, и она отмахивалась своей костлявой рукой от ругани Фатевны, как от комаров.

Отец Андроник с Асклипиодотом раза два наведывались к нам, посидели, выпили, но Мухоедов так упорно отмалчивался все время их визита, а я настолько не умел поддержать разговора, что они, кажется, поняли, наконец, печальную истину, переглянулись между собой и, вероятно, решили про себя, что у нас что-нибудь «не ладно», поэтому благоразумно воздержались от новых посещений. Уходя от нас в последний раз, о. Андроник с добродушной улыбкой проговорил:

— Заходите как-нибудь ко мне, братчики... У меня, может, веселее, чем у вас. Ох, уж это мне ненастье: поясницу так и ломит... Старость не радость, не красные дни! О-хо-хо!.. У меня вон хина и та с седала не сходит; растопырилась, как купчиха, и сидит.

Ввиду всех этих обстоятельств я положительно тосковал о Половинке и поторопился уехать в Нижне-Угловский завод, где и пробыл дней десять; когда я вернулся в Пеньковку, то нашел все в том же положении, в каком оставил, только Мухоедов был совсем неузнаваем — был скучен, печален и проводил почти все свое время в заводе. Однажды я совсем было решился объясниться с Мухоедовым начистоту, чтобы разом покончить со всей этой проклятой неизвестностью, но

он сделал такое жалкое лицо и таким умоляющим взглядом посмотрел на меня, что у меня просто рука не поднялась нанести ему решительный удар.

— После... мне нужно с тобой будет переговорить, — глухо прошептал однажды вечером Мухоедов, завертываясь в одеяло. — Только, пожалуйста, теперь ни о чем не спрашивай меня.

Август был в половине, и стояла какая-то совсем отчаянная погода — дождь, дождь и дождь, мелкий и беспощадный, настоящий осенний дождь, который «зарядил» на целый месяц; провернулось, правда, несколько солнечных дней, но солнце светило таким печальным светом, и кругом было все так безнадежно серо, что на душе щемило от этих печальных картин еще сильней, точно не было конца этим серым низким тучам, которые ползли по небу расплывающимися мутными пятнами, с поспешностью перебираясь на юго-запад. Улица, на которую выходили окна моей комнаты, имела теперь самый печальный вид: ряды домиков, очень красивых в хорошую погоду, теперь выглядели мрачно, а непролазная грязь посредине улицы представляла самое отвратительное зрелище, точно целая река грязи, по которой плыли телеги с дровами, коробья с углем, маленькие тележки с рудой и осторожно пробирались пешеходы возле самых домов по кое-как набросанным, скользким от дождя жердочкам, камням и жалким остаткам недавно зеленой «полянки».

Пруд, который еще так недавно представлял ряд отличных картин, теперь совсем почернел и наводил уныние своей безжизненной мутной водой; только одна заводская фабрика сильно выиграла осенью, особенно длинными темными ночами, когда среди мрака бодро раздавался ее гул, а из труб валили снопы искр, и время от времени вырывались длинные языки красного пламени, на минуту побеждавшие окружавшую тьму и освещавшие всю фабрику и ближайшие дома кровавым отблеском. Вообще трудно представить себе что-нибудь скучнее русской осени, но осень в Пеньковке была положительно из рук вон и нагоняла страшную тоску. Моя работа была кончена, через несколько дней я ду-

мал совсем распрощаться с Пеньковкой и ее обитателями; но мне хотелось пред отъездом еще раз побывать в Половинке, и я пережидал только, когда дождь немного стихнет.

Ночь на 12 августа была особенно неприветлива; дождь лил как из ведра, ветер со стоном и воем метался по улице, завывал в трубе и рвал с петель ставни у окон; где-то скрипели доски, выла мокрая собака, и глухо шумела вода в пруде, разбивая о каменистый берег ряды мутных пенившихся волн. Мухоедов находился в особенно мрачном настроении, курил безостановочно одну папиросу за другой, и мы кончили тем, что улеглись спать раньше обыкновенного; я скоро заснул под шумок завывавшего ветра и однообразное тиканье стенных часов, но в эту бурную ночь нам не суждено было спать. Часа в два утра, в момент самого крепкого сна, послышался сильный стук в двери и громкие голоса; мы быстро вскочили с постелей, отворили дверь, и пред нами показалась Фатевна с фонарем в руках, за ней вошел в комнату Евстигней. Старик был в одной рубахе, без шляпы и, как говорится, на нем нитки сухой не было, точно он сейчас вылез из воды; он несколько секунд не мог ничего выговорить, сухие губы шевелились без всякого звука, и он как-то судорожно дергал руками, напрасно что-то стараясь объяснить.

— Да что с тобой, Евстигней? — спрашивал Мухоедов. — Откуда ты?

— Да он совсем очунел: слова от него нельзя добиться! — тараторила Фатевна; из-за ее спины выглядывали заспанные лица Фешки, Глаши и Галактионовны.

— Казинет Петрович... родимой мой... убили!.. — трясясь всем телом, проговорил, наконец, Евстигней.

— Кого убили?!. — вскричал Мухоедов, побледнев как полотно.

— Гаврилу Степаныча застрелили...

— Кто?.. Когда?.. Где?..

— Да на Половинке... легли мы спать... как *он* запалит... я вскочил... барыня без ума ко мне... а в спальне Гаврило Степаныч лежит... кровь из него так и хлещет... из боку... как запалит!..

— Сам, что ли, он выстрелил в себя?

— Какое сам... из лесу... в окошко... как запалит!

Мы несколько секунд стояли, как пораженные громом; первым опомнился Мухоедов и подробно принялся расспрашивать старика, но последний ничего не мог сказать больше того, что сказал, и прибавил только, что барыня послала сказать ему. Старик плакал, крестился и шептал:

— Господи Сусе... Пресвятая троица... Как запалит, а кровь из боку так и хлещет!

Мухоедов, закусив губу и опустив глаза, стоял несколько минут, а потом, хлопнув себя по лбу, торопливо заговорил, обращаясь ко мне:

— Ты сейчас садись на лошадь Евстигнея и валяй на Половинку, что есть мочи... Лошадь старая, дорогу знает; ты только понужай. Евстигней останется здесь и повезет доктора... Фатевна, седлай всех своих лошадей... Мне нужно остаться пока здесь, а потом я приеду.

Мне оставалось только согласиться; мы вышли на двор, дождь лил попрежнему, ветер выл, как сумасшедший; старый Рыжко, понурив голову, стоял не привязанный у ворот и тяжело дышал. Седла не было, но дело было настолько спешное, что о нем и думать было некогда. Мухоедов помог мне взобраться на лошадь и по пути шепнул:

— Это дело «сестер»; мне нужно сейчас же, по горячему следу, накрыть их и сделать обыски...

Бабы, как угорелые, метались по двору, кричали и выли; я надвинул крепче шляпу на голову, ударил Рыжка поводом по дымившимся бокам, и мы пустились на всех рысях в далекий путь. Я плохо помню эту роковую дорогу; как сквозь сон помню только, что меня страшно трясло, и я напрягал все силы, чтобы не свалиться с лошади; рука, которой я держался за гриву лошади, совсем оцепенела, шляпа где-то свалилась, и я не чувствовал, что дождь на двух верстах промочил меня до костей. Кругом стояла египетская тьма, в двух шагах решительно ничего не было видно, и я во всем положился на инстинкт моего коня; не помню, сколько времени я ехал, но, наконец, вдали мелькнул слабый

огонек, Рыжко прибавил шагу, огонек приближался, вот и речка, верный конь прыгнул через нее с несвойственной его летам энергией. Вбегаю на крыльцо... ни одного звука. В спальне на полу лежит что-то белое, и над этим белым на коленях стоит Александра Васильевна; она не слыхала, как я вошел, и только мой голос вывел ее из оцепенения; она не плакала, казалась спокойной, но какая-то бесконечная мука светилась в ее добрых серых глазах! Я никогда не забуду этого покорного выражения, которое красноречивее всяких обмороков, истерик, криков и воплей.

— *Они* убили его... — прошептала Александра Васильевна, не поднимаясь с колен.

Из ее бессвязного рассказа я понял следующее: часов в одиннадцать вечера, когда Гаврило Степаныч натирал грудь какой-то мазью, она была в кухне; послышался страшный треск, и она в первую минуту подумала, что это валится потолок или молния разбила дерево. Вбежав в спальню, она увидела, что Гаврило Степаныч плавал в крови на полу; он имел еще настолько силы, что рукой указал на окно и прошептал:

— Саша... они меня убили... прощай!

Я подробно осмотрел сделанное пулей отверстие в стекле; окно было завешано двумя белыми занавесками, которые не сходились плотно и образовали широкую щель, вот в эту щель и был сделан выстрел. Пуля вошла в левый бок, немного позади сердца, рана была безусловно смертельна; Гаврило Степаныч лежал на правом боку, одна рука была откинута в сторону, другая придерживала рану; лицо покойного было сине, зубы стиснуты, глаза полузакрыты. Достав фонарь, я пошел осмотреть избу кругом — никаких следов, только один лес глухо шумел под напором ветра, да где-то дико вскрикивал филин; вернувшись в комнату, я нашел Александру Васильевну в передней избе, она стояла у письменного стола и, обернувшись ко мне, указала рукой на листик почтовой бумаги, на котором было начато письмо.

— Это *он* вам... вчера... писал... — прошептала Александра Васильевна, и только теперь глухой стон

вырвался у ней из груди, и она зарыдала, схватившись за голову.

Это письмо — первая вещь, которая привела ее немного в себя и к сознанию той пустоты, которая окружила ее так внезапно; я усадил ее на диван, принес холодной воды, просил успокоиться, но какое значение имеют слова утешения, когда сердце разрывается на части. Я отлично сознавал полную бесполезность моих утешений, но продолжал высказывать их; Александра Васильевна прислушивалась только к звуку моих слов, их содержание было недоступно ее подавленному мозгу.

— Нет... нет его больше... — шептала она, ломая руки. — А как он любил всех!.. Сколько добра желал всем... а они убили его... как дикого зверя убили!.. Зачем не убили меня вместе с ним?!. Нет больше моего счастья... Мы вчера еще говорили о вас... он писал вам вечером это письмо... Убили, убили!..

Послышался грохот подъехавшего экипажа и голос Евстигнея, который говорил кому-то: «Пожалуйте сюды, вот в эту дверь!» Это были пеньковские доктора. Я провел их в комнату, где лежал убитый, и по дороге старался объяснить им, что Гаврило Степаныч не нуждается в их помощи, а что им нужно для составления протокола подождать приезда следователя, за которым в Нижне-Угловский завод послан нарочный. Александра Васильевна вошла за нами и молча остановилась в дверях; доктор наклонился над убитым, открыл простыню, которой он был прикрыт, и внимательно принялся рассматривать запекшееся черное отверстие.

— Наташа, посмотри! — вскрикнул доктор, поднимая голову. — Скорее...

— Он жив... он жив?! — вскричала Александра Васильевна.

— Ах, нет, рана безусловно смертельна, и он давно умер, — успокаивающим тоном проговорил доктор. — Наташа, посмотри, какое направление приняла пуля: скользнула по краю ребра и прошла по задней стенке сердца...

Александра Васильевна поняла, что от любимого человека остался только предмет для анатомических

исследований, но все чувства заговорили в ней против этого, она своим телом заслонила убитого и прошептала:

— Господа, оставьте... прошу вас...

— Мы хотели исследовать рану...

— Оставьте... Вы не поймете теперь меня... после... Нет, не то... оставьте!..

Я отвел врачей в сторону и уговорил их подождать следователя; врачи не понимали поведения Александры Васильевны и, повидимому, были обижены им.

— Я не понимаю, почему она не хочет, чтобы исследовали рану, — говорил доктор, — ведь он умер, он ничего не чувствует... труп.

— Он умер, но пожалейте ее, — объяснял я, — для нее он еще не умер... дайте ей прийти в себя, она не знает, что делает.

— Странно! — пожимая плечами, говорил врач.

— Стоило ехать за этим двадцать верст, — зевая, ворчала женщина-врач. — Предрассудки!..

Часов в девять утра прискакали две телеги, конвоируемые Фатевной, которая приехала верхом без седла; первой телегой правил Мухоедов, в ней спал мертвым сном Цыбуля, судебный следователь. Вторая телега была набита понятыми и полицией. С Цыбулей пришлось отваживаться при помощи нашатырного спирта и холодной воды, потом выпоить ему целый графин водки, и он только после этих довольно длинных операций настолько пришел в себя, что мог начать производство судебного следствия; по наружности это был представитель хохлацкого типа — шести футов роста, очень толстый, с громадной, как пивной котел, головой и умным, то есть скорее хитрым лицом, сильно помятым с жестокого похмелья. Он двигался крайне медленно и равнодушно смотрел кругом своими узкими ленивыми глазами, совсем опухшими от беспросыпного пьянства. Меня он совсем не узнал, хотя мы учились с ним на одном курсе и имели когда-то шапочное знакомство. Мухоедов выходил из себя, пока совершалось приведение в нормальное состояние Цыбули; он без церемоний ругал его, а потом, отведя меня в сторону, таинственно сообщил:

— Цыбуля хотя и пьян, лыка не вяжет, а хитер, как легион бесов... Мы напали на след; вот он с радости и нахлестался дорогой!

— А что «сестры»?

Мухоедов почесал затылок и с недовольной миной проговорил:

— Вот в том-то и секрет, что «сестры» пока еще ничего; мы были у них, застали спящими, никуда не выходили с вечера. Ну, да это пустяки, Цыбуля доберется и до них.

— Какой же вы след нашли?

— Какой след? А вот какой: когда мы сделали обыск у «сестер» и ничего не нашли, мы сейчас в заднюю избу к Прохору Пантелеичу, к Коскентину и Фильке... Помнишь?.. А их, голубчиков, и дома нет; положим, что это по их должности очень естественно, но штука в том, что мы только что хотели ехать сюда, Филька и приезжает домой, мы его и сцарапали. С первых слов видно, что это его рук дело: побелел весь, начал путаться в показаниях, а главное — приехал без ружья. «Где ружье?» — «В починке...» Ну, знаем мы эту починку, сейчас к мастеру, на которого он сослался, а у мастера этого ружья, конечно, не оказалось, — словом, запутался совсем и в ногах валяется, а виновным себя не признает. Засадили его в темную, а сами сюда.

Мухоедов долго не решался войти в комнату, где лежал убитый и где сидела Александра Васильевна все время, пока мы отваживались с Цыбулей; увидав входившего Мухоедова, Александра Васильевна тихо заплакала. Бедный Мухоедов зашатался на ногах при виде убитого, крупные слезы так и покатились из его глаз; он закрыл лицо руками и убежал на крыльцо, где долго рыдал, присев на ступеньку. Наступила тяжелая сцена судебного следствия и составления протокола; Цыбуля, врачи и понятые битых два часа ходили по избе и около нее и, конечно, ничего не могли найти. Фатевна принимала самое деятельное участие в этой церемонии и вместе с Цыбулей ползала на коленях по мокрой траве и обнюхивала каждую щель. Цыбуля очень долго исследовал место, с которого был сделан выстрел, но все было тщетно, — ни одного следа, кроме

помятой травы, ни одного намека. После осмотра и медицинского свидетельства раны был сделан допрос свидетелей, которых было всего двое — Александра Васильевна и Евстигней. После этого Цыбуля опять ходил по избе и около нее, мерял, высчитывал, записывал что-то в записную книжку и кончил тем, что, обратившись с озабоченным лицом к Александре Васильевне, серьезно заговорил:

— Преступление несомненно, но нет ли у вас, Александра Ивановна...

— Александра Васильевна, — поправил я его.

— Да, да, виноват: Александра Васильевна, действительно Александра Васильевна... Помню, да, помню. Извините... Следы преступления скрыты с замечательным искусством, но не теряйте надежды, Александра Ива... то бишь: Александра Васильевна! Нет ли у вас... гм!.. Нет ли у вас...

— Вы хотите сказать, господин следователь, нет ли у меня каких-нибудь подозрений на кого? — помогала Александра Васильевна затруднявшемуся Цыбуле.

— Нет, не то...

— Других свидетелей?

— Нет... Нет ли у вас водки, Александра Васильевна?

Эта сцена была так неожиданна и так вышла забавна, что заставила улыбнуться даже Александру Васильевну; водка нашлась, Цыбуля обратил на нее такое усердное внимание, что опять потерял всякую способность сосредоточить его на каком-нибудь другом предмете. Народ прибывал, избушка была битком набита людьми; часов в одиннадцать прискакал Муфель в сопровождении Ястребка и других заводских служащих.

— А шерт возьми!.. Швин... канайль! — ругался он, продираясь сквозь густую толпу в избу; в сенях он встретился с Александрой Васильевной и крепко пожал ей руку. — Это ушасно... Мой все разберет!... Ви не проливай слес...

Что-то вроде участия слышалось в этих бессвязных словах, и Муфель на минуту превратился в порядочного человека, — может быть, сказалась в нем добрая немец-

кая натура или уж в известные критические моменты и в дураке пробивается искра человеческого чувства.

Последними приплелись о. Андроник и Асклипиодот, оба верхами на самых жалких клячах; о. Андроник ехал с своей длинной поповской палкой в руке, Асклипиодот держал в руках большой узел с ризой, кадилом и свечами. Отец Андроник тяжело слез с лошади, вытер грязные сапоги самым тщательным образом о траву и вошел в избу с строгим выражением на лице, какого я никогда не замечал у него; он благословил Александру Васильевну широким крестом и сказал ей несколько слов в утешение. Из всего, что слышала бедная женщина в течение этого несчастного утра, это утешение о. Андроника пришлось ей больше всего по душе, и она в каком-то детском порыве прильнула лицом к его громадной, покрытой волосами руке, на которую так и посыпались из ее глаз крупные слезы.

— Не плачьте, днем раньше, днем позже все там будем... Бог все видит: и нашу правду, и нашу неправду... Будем молиться о душе Гаврилы Степаныча... Хороший он был человек! — со слезами в голосе глухо заговорил о. Андроник и сморгнул с глаза непрошенную слезу. Меня поразила эта перемена в о. Андронике и то невольное уважение, с которым все относились теперь к нему; он ни разу не улыбнулся, был задумчив и как-то по-детски ласков, так что хотелось обнять этого добрейшего и милого старика.

— Батюшка... я думала, что умру... сойду с ума! — шептала Александра Васильевна.

— Александра Васильевна, нужно уметь принимать и горе от того, кто посылает нам радости, — продолжал о. Андроник. — Вспомните, что сказал Иов: «Господь даде, господь отъя — не возропщи, душа моя».

Через полчаса в передней избе, на своем письменном столе, одетый в черный сюртук, лежал Гаврило Степаныч; его небольшая голова с посиневшим лицом лежала на белой подушке, усыпанной живыми цветами; о. Андроник стоял в черной ризе с кадилом в руке, Асклипиодот прижался в угол. Началась лития.

— О блаже-еннн-ом успении новопредставленного раба твоего.... и сотво-ори-и ему ве-е-ечную па-амять! —

речитативом затянул о. Андроник немного дрогнувшей октавой.

— Ве-е-ечная память... — пел своим удивительным баритоном Асклипиодот, совсем спрятавшись в угол.

Восковые свечи горели тусклым красным пламенем; дым ладана густыми волнами тянул в открытые окна, унося с собой торжественно грустный мотив заупокойного пения, замиравший в глухом шелесте ближнего леса... Фатевна, как единственная женщина, бывшая теперь на Половинке, стояла около Александры Васильевны, поддерживала ее одной рукой и что-то шептала на ухо, а потом с ожесточением начинала класть широкие кресты и усердно отбивала земные поклоны; убитый бледный Мухоедов стоял в углу, рядом с Асклипиодотом, торопливо и с растерянным видом крестился и дрожавшим голосом подхватывал «вечную память». Врачи с любопытством заглядывали в двери, но в избу войти не решались; Цыбуля и Слава-богу сидели в кухне, пили водку и шепотом рассказывали друг другу какие-то, вероятно, очень пикантные анекдоты, потому что хохотали до упаду. В сенях и на крыльце толпились понятые и какие-то неизвестные мужики, таинственным шепотом что-то передававшие друг другу и пальцами указывавшие на Александру Васильевну.

— В самое сердце запалил, — говорил какой-то обдерганный мужик. — Из турки, надо полагать, двинул...

— Наскрось пуля-то прошла, — отвечал другой.

Это гнусное убийство из-за угла произвело на меня вместе с бессонной ночью какое-то неопределенное чувство тупой боли и необыкновенной раздражительности. Я не мог молиться, не мог ни на чем сосредоточить мысли, в душе было только одно определенное желание — выгнать из избы весь этот народ, набившийся в нее из грубого и обидного любопытства. Меня раздражала эта общая бестолковая толкотня и общее желание непременно что-нибудь сделать, когда самым лучшим было оставить Половинку с ее тяжелым горем, которое не требовало утешений, оставить того, который теперь меньше всего нуждался в человеческом участии и лежал на своем рабочем столе, пригвожденный к нему мерт-

вым спокойствием. Нить жизни, еще теплившаяся в этом высохшем от работы, изможденном теле, была прервана, и детски чистая, полная святой любви к ближнему и незлобия душа отлетела... вон оно, это сухое, вытянувшееся тело, выступающее из-под савана тощими линиями и острыми углами... вон эти костлявые руки, подъявшие столько труда... вон это посиневшее, обезображенное страданиями лицо, которое уж больше не ответит своей честной улыбкой всякому честному делу, не потемнеет от людской несправедливости и не будет плакать святыми слезами над человеческими несчастиями!..

«О, люди-звери, люди-звери! — думал я. — Зачем вы заставили молчать это сердце, которое билось святой любовью к вам? Неужели еще нужна была кровь этого страдальца, чтобы он искупил ей свою любовь к людям...»

Пред моими глазами быстро сменялись картины тихого недавнего счастья, свидетелем которого невольно сделался я... Сколько напомнила мне эта комната, в которой теперь лежал покойник, волнами ходил дым ладана, тускло горели восковые свечи и тянуло за душу похоронное пение! Как живая стояла предо мной сцена нашего прощанья... «Скоро увидимся...» Да, мы увиделись. И за что? Кто убийца? Неужели этот Филька? Я вспомнил историю с бревном, но не мог же Филька из-за этого бревна убить человека. «Сестры» подвели... но уж если они захотели бы подвести, то, наверно, не обратились бы к Фильке, который не вытерпит и разболтает. Словом — все было неясно, сбивчиво, темно и вдобавок ко всему этот пьяный Цыбуля с Муфелем, это назойливое любопытство... Только одни о. Андроник и Асклипиодот были хороши, первый своим величавым спокойствием, второй скромностью, да еще Мухоедов, весь подавленный своим безмолвным горем; Александра Васильевна больше не плакала, она стояла с восковым лицом и машинально делала то, что делали другие: крестилась, кланялась в землю, поправляла оплывавшую свечку, которая слегка тряслась в ее маленькой руке.

В течение трех дней я и Мухоедов не выезжали из Половинки. Асклипиодот читал над покойником, когда он уставал, мы сменяли его; о. Андроник ежедневно приезжал служить литию, беседовал отечески с Александрой Васильевной и сообщал нам последние известия о ходе судебного следствия. Оказалось, что Филька решительно ни в чем не виноват, а просто со страху переврал; его ружье действительно оказалось в починке, только у другого мастера, фамилию которого он перепутал; все соседи подтвердили последнее показание, и Филька был выпущен на свободу. Мухоедов совсем был уничтожен этим известием и, кажется, начинал сильно сомневаться в талантах Цыбули, который хотя и поклялся ожесточенным образом открыть убийцу, но пока без просыпу пьянствовал с Муфелем.

К довершению всех бед на Половинку явились три племянника и две племянницы Гаврилы Степаныча, которые были встречены Александрой Васильевной с большой радостью, но, в ответ на ее любезность, они держали себя самым двусмысленным образом, постоянно шептались между собой и вообще вели себя по отношению к Александре Васильевне просто неприлично. Мухоедов был возмущен до глубины души их поведением и пришел в полное бешенство, когда открылись истинные причины приезда родственников, и особенно их образ действия. Он таинственно отвел меня в сторону и с дрожавшей нижней челюстью и побелевшими губами сообщил мне:

— Представь себе: *они* явились за наследством и намерены пустить Александру Васильевну по миру... Как это тебе понравится? Это в благодарность за то, что Гаврило вывел их в люди десятилетним трудом... О подлецы, подлецы! Да это еще ничего, они требуют непременно сейчас же произвести опись всего движимого имущества... Это какие-то разбойники, а не люди!..

Мне и Мухоедову стоило большого труда уговорить молодых людей отложить опись имущества до похорон; племянники, очень приличные молодые люди, долго не сдавались на наши просьбы и все упирали на то, что имущество может потеряться. Особенно крепко держался старший племянник, и Мухоедов до крови кусал

губы, чтобы удержаться и не наговорить этому господину дерзостей, чем он мог испортить все дело.

— Ведь Гаврило Степаныч воспитывал вас всех, — усовещал Мухоедов наследников. — Александра Васильевна теперь в таком положении... ведь она не чужая вам, пожалейте вы ее!.. Неужели так трудно подождать несколько дней?.. Всего несколько дней!.. Имейте же совесть, господа!

— Мы не без совести, — объяснял старший племянник, — мы очень любили дяденьку и всегда чувствуем к ним благодарность, а так как у них не осталось завещания, поэтому мы в своем праве... Да-с. Тетенька сами по себе, мы сами по себе; они свою четвертую часть получат сполна-с... Нам даже очень жаль дяденьку, а как они без завещания померли, мы в своем праве.

После долгих ломаний и увещаний племянники согласились, наконец, отложить опись до похорон; Александра Васильевна поняла сразу и цель их приезда, и цель наших таинственных совещаний. Однажды, когда в комнате не было племянников, зорко следивших за каждым движением тетеньки, она обратилась ко мне:

— Передайте, пожалуйста, наследникам, что я не утаю ничего... Даже отказываюсь от своей четвертой части... Бог с ними! Я любила Гаврилу Степаныча слишком сильно, чтобы тревожить его память этими грязными расчетами... Я думала взять книги и рояль, но... как это мне ни трудно, я отказываюсь от всего наследства, какое мне следует по закону.

— Вот это так женщина! — в раздумье говорил Мухоедов, когда я передал ему решение Александры Васильевны. — Это, брат, человек...

Три тяжелых и мучительных дня, наконец, прошли; на Половинку привезли черный гроб, явился о. Андроник в сопровождении нескольких любопытных, в том числе Яши, который имел обыкновение провожать всех покойников.

Было светлое осеннее утро, когда мы вынесли черный гроб из избы и поставили на телегу; Рыжку предстояло в последний раз везти своего хозяина в далекий путь. Яша в рваном полушубке и с босыми ногами, без шапки, с блуждающими добрыми глазами и длинной

палкой в руке, суетился, кажется, больше всех: помогал выносить гроб, несколько раз пробовал, крепко ли он стоит на телеге, и постоянно бормотал:

— Убили... Иваныча убили!.. Сорок восемь серебром... убили... Я приказываю... Иваныча посадили в тюрьму... Иваныч стрелял...

Когда печальная процессия двинулась по дороге, Яша шел далеко впереди, сильно размахивал руками и громко пел «вечную память»; мы с о. Андроником и Асклипиодотом несколько верст шли за гробом пешком; пение «Святый боже...» далеко разносилось по лесу, и было что-то неизъяснимо торжественное в этом светлом осеннем дне, который своим прощальным светом освещал наше печальное шествие. Лес осенью был еще красивее, чем летом: темная зелень елей и пихт блестела особенной свежестью; трепетная осина, вся осыпанная желтыми и красными листьями, стояла точно во сне и тихо-тихо шелестела умиравшею листвой, в которой червонным золотом играли лучи осеннего солнца; какие-то птички весело перекликались по сторонам дороги; шальной заяц выскакивал из-за кустов, вставал на задние лапы и без оглядки летел к ближайшему лесу. Этот покой природы, мягкий свет осеннего солнца и мирные проявления жизни обитателей леса освежали расшатанные нервы, успокаивали наболевший мозг и как-то невольно наталкивали мысль на идею о вечности, с одной стороны, и бренности человеческого существования, с другой.

Церемония отпевания в церкви, затем картина кладбища и тихо опускавшегося в могилу гроба производила на нервы прежнее тупое чувство, которое оживилось только тогда, когда о крышку гроба загремела брошенная нами земля... Все было кончено, больше «не нужно ни песен, ни слез», как сказал поэт; от человека, который хотел зонтиком удержать бурю, осталась небольшая кучка земли да венок из живых цветов, положенный на могилу рукой любимой женщины.

Александра Васильевна сдержала слово и отказалась от своей части наследства, хотя мы с Мухоедовым и отговаривали ее от этого, потому что она оставалась

без гроша денег, в одном платье, которое ей из милости оставили почтительные родственники.

— Мне немного нужно, — говорила Александра Васильевна, когда я прощался с ней. — Поступлю опять учительницей куда-нибудь; обзаведусь помаленьку...

Когда я уезжал из Пеньковки, дело о розысках убийцы было в прежнем положении: никаких следов, ни малейшей «нити»; я простился с своими друзьями и с самым тяжелым чувством оставил, наконец, Пеньковку, в которой пережил столько хорошего и печального. Мухоедов попрежнему держал себя самым странным образом, но я не имел желания разъяснять наши отношения.

VIII

Моя работа по статистике Пеньковского завода затронула несколько таких вопросов, для изучения которых нужно было опять отправляться в заводы Кайгородова, но теперь целью моей поездки был Нижне-Угловский завод, в который ехать приходилось через Пеньковку. Ровно через год, опять в конце мая месяца, я подъезжал к Пеньковскому заводу. Был солнечный день. Заводские домики, как старые знакомые, смотрели приветливо; вдали чернела фабрика; над ней точно висела в воздухе белая церковь, — все было по-старому, «как мать поставила»; мой экипаж прокатился по широкой улице, миновал господский дом, в котором благоденствовал Муфель с «будущей Россией», и начал тихо подниматься мимо церкви в гору, к домику Фатевны. Мне собственно не хотелось останавливаться у ней, но деваться было некуда; «не больно у нас фатер-то припасено», как говорил мне в прошлый раз старик на земской станции, значит все равно не миновать; домик Фатевны не изменился за год ни на одну иоту, и сама Фатевна встретила меня у ворот, как в прошлый раз, так же заслонила ручкой глаза от солнца и так же улыбнулась, дескать, милости просим.

— А ты опять к нам? — звонко заговорила Фатевна, взвалив на плечо мой чемодан. — А и то давеча кошка сидит на окне да лапкой умывается, я и говорю: «Знать,

дева, гостей намывает...» У Галактионовны после спрашивала, — «верно», говорит.

— А Галактионовна жива?

— Скулит...

Мы поднялись на крыльцо, прошли темные сени и очутились в передней; в отворенную дверь в комнате Мухоедова я заметил какую-то даму, которая лежала с папиросой в руке на диване. Когда я вошел в комнату, она лениво поднялась с дивана и с ленивой улыбкой посмотрела на меня: это была Глашка, только уже не прежняя Глашка, бегавшая по двору в ситцевых платьях и босиком, а целая Глафира Митревна, одетая в зеленое шерстяное платье; густо напомаженные волоса были собраны, по заводскому обычаю, под атласный бабий «шлык», значит Глашка была теперь дамой.

— Штой-то, Глафира Митревна, вы все по диванам валяетесь, — с легким укором, но любовно заговорила Фатевна. — Вот гостя кошка давеча намывала... полно, дева, бочонки-то катать.

— Ужасти, мамынька, как ко сну клонит, — жаловалась Глафира Митревна, — а ты, мамынька, скажи Фешке насчет самовару...

— Ну, самовар-то я сама уж, дева...

— Капинет Петрович в заводе; я за ним сейчас пошлю, — лениво говорила Глафира Митревна, обращаясь уже ко мне.

— Он все в этой комнате живет?

— Да-с...

Глафира Митревна вышла. Она очень пополнела и, как кажется, спала даже на ходу. Обращение с ней Фатевны, зеленое шерстяное платье, несмотря на летнюю пору, желание держать себя непременно «дамой», — все ясно показывало, что Глашка была теперь m-me Мухоедовой. Микроскоп стоял не на столе, как раньше, а на окне и был покрыт толстым слоем пыли; книги в беспорядке валялись в углу. На столе лежало несколько детских игрушек: деревянный солдатик с отломленной головой, бесхвостая лошадка, несколько измятых картинок из детской книжки. Значит...

— А мы тебя тут поминали, — заголосила Фатевна, появляясь в дверях с ребенком в руках. — Посмотри-ко,

дева, чей это будет патрет? — проговорила она, подставляя мне к самому лицу хорошенького полугодового ребенка с большими карими глазами. — Весь в отца вышел; такой же глазастый из себя будет...

Ребенок был только что из колыбели и с любопытством смотрел на меня своими заспанными глазками; он действительно походил на Мухоедова, как две капли воды, — такой же белый высокий лоб и на самой макушке хохолок из мягких, как пух, желтоватых волосиков, какими бывают покрыты только что вылупившиеся из яйца утята.

— Узнал, Гаврюшка, барина? — спрашивала Фатевна, высоко подбрасывая ребенка кверху.

Фешка, краснея от натуги и того особенного волнения, которое неизменно овладевало ей в присутствии всякого постороннего «мущины», подала самовар и бегом бросилась к двери, причем одним плечом попала в косяк; явилась Глафира Митревна, и мы по-семейному уселись вокруг стола.

— А ты, дева, слышал про «сестер»-то? — спрашивала меня Фатевна, пестуя внука. — В Сибирь сослали, дева, в Сибирь...

— Как так?

— А за Гаврилу-то Степаныча... да, в Сибирь, дева!

— Да ведь тогда Филька в подозрении был?

— Филька ни при чем, — заговорила Фатевна, обрадованная тем, что я ничего не знал об этом деле. — Филька тогда же выправился, а потом пьяный и проболтался, что стрелял ружьем в Гаврилу Степаныча Коскентин. Сейчас следователь пригнал, Коскентина в суд, а на суде Коскентин и повинился, что действительно он ружьем стрелял.

— А как же «сестер» в Сибирь сослали?

— А ты слушай... Когда на суде Коскентин повинился, ему и прочитали бумагу, что в каторгу. Коскентин стоит за решеткой, бледный такой, помутнел весь из лица-то, потом и спрашивает: «Значит, мне конец?» — «Конец», — говорят. Коскентин как заплачет, а когда его солдаты повели, он и сказал, что он не сам стрелял ружьем, а его подговорили «сестры», значит отец с Авдей Михайлычем. Ну, сейчас опять другой суд над

«сестрами»; те заперлись во всем, знать ничего не знаем, ведать не ведаем, слышь, понапрасну обнес их Коскентин... Так и не повинились, а Коскентин все и рассказал, как дело было, ну, «сестер» по бумаге в Сибирь и назначили.

— А Филька?

— Филька живет в Пеньковке, барин барином, потому ему после отца-то все и досталось. Теперь в кабаке вином торгует; только больно, говорят, пировать стал... С Асклипиодотом связался, водой не разольешь. Жену бьет, страсть; а жена-то Коскентина в стряпках у Асклипиодота жила. Только тут у них одно дело вышло про между собой, Филька оттаскал Асклипиодота за длинные-то волосы, судились у мирового судьи...

— С приездом честь имею поздравить... — закрывая рот рукой, заговорила своим тихим голосом появившаяся в дверях Галактионовна. — Вот, Фатевна, кошка-то намывала давеча гостей?.. Здравствуйте, Глафира Митревна!.. Как вы из себя-то похорошели... как бы только не сглазить.

Галактионовна осторожно поместилась в уголок и вопросительно посмотрела на меня своими детскими улыбавшимися глазками; она не изменилась в течение года ни на волос, хотя перенесла опять какую-то очень мудреную болезнь, о которой и спешила рассказать.

— А мы без вас здесь свадебку сыграли, — как бы между прочим прибавила Галактионовна, — патрет с Капинета Петровича сняли, а к зиме, даст бог, другой поспеет...

Галактионовна скромно хихикнула своим мелким смешком в руку и мотнула головой в сторону Гаврюши.

— Экой язык у тебя, дева! — окрысилась Фатевна.

— А вот отцу Андронику с Асклипиодотом конец пришел, — не обращая внимания на восклицание Фатевны, заговорила Галактионовна, — отец Егор неприятность им большую сделал.

— Какую неприятность?

— А оченно просто: взял бумагу да на бумаге и описал все, да в консисторию и послал... Евгешка-то у отца Андроника совсем разума решилась; напилась

как-то, надела на себя рясу, скуфью да по улице и пошла...

В это время в дверях показался Мухоедов, он остановился и по близорукости сначала не узнал меня; он сильно изменился, похудел, на лбу легло несколько мелких складок, и глаза смотрели с тревожным выражением. Узнав меня, он очень обрадовался, крепко пожал мою руку и, схватив сына на руки, с каким-то торжеством проговорил:

— Обрати внимание на сие произведение природы... А? Великий человек будет in spe...[1] В честь покойного Гаврилы и имя дал.

— Леванидом моднее назвать, — лениво отозвалась Глафира Митревна. — Ах, мамынька, как меня ко сну клонит... Так клонит, ужасти! Капинет Петрович не могут этого понять, они даже на смех подымают, а я не могу...

— Вам бы, Глафира Митревна, променад сделать? — предлагала Галактионовна, желая щегольнуть иностранным словцом. — Или вот тоже в капустный лист голову завернуть — помогает...

Мухоедов кое-как выпроводил баб из комнаты, несколько времени смотрел в окно, а потом с виноватой улыбкой проговорил:

— Finita la commedia[2], братику... Неженивыйся печется о господе, а женивыйся печется о жене своей. Да, братику, шел, шел, а потом как в яму оступился. Хотел тебе написать, да, думаю, к чему добрых людей расстраивать... Испиваю теперь чашу даже до дна и обтачиваю терпение, но не жалуюсь, ибо всяк человек есть цифра в арифметике природы, которая распоряжается с ними по-своему.

— Как это вышло? — спрашивал я.

— А вышло это, братику, очень просто, как нельзя проще... Летом, когда вы жили с Гаврилой на Половинке, я как-то выпил с о. Андроником и выпил так, сущую малость; пришел домой, лег было спать, а тут Глашка под пьяную руку подвернулась... Эх, тошно тебе

---

[1] можно надеяться... *(лат.)*

[2] Представление окончено, *(итал.)*

рассказывать! Может, помнишь тогда, как я волком ходил... ну, вот тогда все сие и происходило. Даже некоторое колебание мыслей происходило... только душа не поднялась. Зачем, думаю, девку буду губить, видно уж судьба моя такая. А тут Гаврюшка родился, я ожил... Родительские чувства объявились; воспитанием, думаю, заняться... Иногда тоска нападет, науку забросил, а как начинаю тонуть, — сейчас к Александре Васильевне. Золотая душа...

— Как она устроилась?

— Учительствует... школу открыла. Ты ступай к ней сейчас же... или я с тобой пойду... — Мухоедов замялся и покраснел. — Глафира Митревна изволят ревновать меня, посему мне каждое посещение Александры Васильевны приходится покупать довольно дорого... И, заметь, я начинаю привязываться к жене. Конечно, глупа она свыше меры и зла, а взгляну на Гаврюшку, так сердце и упадет. Ну, пойдем, что ли. Мы к отцу Андронику завернем, — объяснял Мухоедов, когда вошедшая Глафира Митревна посмотрела на него вопросительно. — А ты тем временем проснись...

— Мимо не пройдите отца Андроника-то... — ядовито проговорила Глафира Митревна нам вслед.

Мы пошли вдоль улицы, на которую выходили домики «сестер»; один стоял с закрытыми ставнями, а в другом был открыт кабак.

— Вот что осталось от «сестер», — проговорил Мухоедов, указывая рукой на кабак. — Ты уж слышал всю историю?

— Мельком слышал от Фатевны.

— Да... Преказусная материя было вышла; целых полгода ни слуху ни духу, а тут Филька сболтнул, явился следователь — Цыбули уж давно нет — и все на свежую воду вывели. Константин сначала все принял на себя, а как объявили ему приговор, не вытерпел, заплакал и объяснил все начистоту. «Сестры», те из всего дерева сделаны, ни в чем себя виновными не признали... Крепкий был народ! Так и на каторгу ушли... На всякого, видно, мудреца довольно простоты!

Мы подошли к небольшому домику в три окна; небольшая полинявшая вывеска гласила, что здесь

«Народная школа». В передней нас встретил Евстигней, который сосредоточенно ковырял кочедыком лапоть; старик узнал меня и заковылял в небольшую комнату, откуда показалась Александра Васильевна. Увидев меня, она улыбнулась и на мгновение отвернулась в сторону, чтобы вытереть набежавшую слезу.

— Как я рада... как рада, — шептала Александра Васильевна, не зная, как усадить нас в своей крохотной комнатке.

Это была маленькая комнатка, выходившая своим единственным окном на улицу; в углу, у самой двери, стояла небольшая железная кровать, пред окном помещался большой стол, около него два старых деревянных стула — и только. На стене висел отцветший портрет Гаврилы Степаныча.

— А я отлично устроилась здесь, — оживленно говорила Александра Васильевна. — Двадцать пять рублей жалованья нам с Евстигнеем за глаза... отлично живем. Школа идет порядочно, ученики, кажется, любят меня...

Евстигней подал самовар, и мы долго проговорили под его добродушный шумок, вспоминая Гаврилу Степаныча, его планы, жизнь на Половинке; эти воспоминания несколько раз вызывали слезы на глаза Александры Васильевны, но она перемогала себя и глотала их.

— Конь в езде, друг в нужде, — говорила Александра Васильевна. — Я так испытала на себе смысл этой пословицы... Сначала мне хотелось умереть, так было темно кругом, а потом ничего, привыкла. И знаете, кто мой лучший друг? Отец Андроник... Да; это такой удивительный старик, добрейшая душа. Он просто на ноги меня поднял, и если бы не он, я, кажется, с ума сошла бы от горя. А тут думаю: прошлого не воротишь, смерть не приходит, буду трудиться в память мужа, чтобы хоть частичку выполнить из его планов.

Как ни хорошо устроилась Александра Васильевна, а все-таки, сидя в ее маленькой комнатке, трудно было освободиться от тяжелого и гнетущего чувства; одна мысль, что человеку во цвете лет приходится жить воспоминаниями прошлого счастья и впереди не оставалось ровно ничего, кроме занятий с детьми, — одна эта

мысль заставляла сердце сжиматься. Точно угадывая мои мысли, Александра Васильевна с своей хорошей улыбкой проговорила:

— Пословица правду говорит, что вдова, как дом без крыши... Иногда жутко приходится. А ведь и мы не без планов: вот подрастет у Епинета Петровича Гаврюша, мы специально займемся его воспитанием. Только разве мамаша Гаврюши не захочет...

— Вздор! — отрезал Мухоедов. — Это не ее рук дело...

Мы долго просидели в комнатке Александры Васильевны, самовар давно остыл, мы начали прощаться с хозяйкой.

— Куда вы торопитесь, господа! Впрочем, вам, может быть, нужно идти куда-нибудь, — грустно проговорила Александра Васильевна.

Я объяснил ей, что остановился в Пеньковке только проездом и завтра рано утром выеду в Нижне-Угловский завод; когда мы вышли от Александры Васильевны, Мухоедов отправился домой, а я пошел проведать о. Андроника, которого мне очень хотелось видеть. Его домик был в двух шагах от школы Александры Васильевны; подходя к нему, я издали слышал оглушительный лай собаки, рвавшейся на цепи. В небольшую щель, образовавшуюся в тыну, мне отлично была видна такая картина: на лесенке крыльца сидел в одном жилете сам о. Андроник, он был немного навеселе и улыбался своей широчайшей и добродушнейшей улыбкой; по средине двора нетвердыми шагами ходил Асклипиодот, сильно заплетаясь в своем бесконечном подряснике цвета Bismark-furioso.

— Хорошо... хорошо... а я могу укротить вашу собачку, отец Андроник, — говорил Асклипиодот.

— Врешь, братчик... А ну, попробуй?

— Могу, отец Андроник.

Асклипиодот со смелостью вполне пьяного человека пошел к громадной желтой собаке, которая дико металась у своей конуры на длинной цепи; собака на мгновение было притихла, но в следующую минуту, когда Асклипиодот хотел ее погладить, она сначала схватила его за руку, а потом за полы подрясника. Асклипиодот

не удержался на ногах, упал, собака, как бешеная, принялась его рвать; о. Андроник вскочил с своего крылечка, подбежал к самому месту действия и за ноги оттащил своего друга от вывшей собаки. Когда я отворил калитку, Асклипиодот, как ни в чем не бывало, поднимался с земли и, показывая укушенную руку, говорил:

— Перст укусила ваша собачка, отец Андроник... перст...

— Ты — чистый дурак, братчик! — гудел о. Андроник.

— Хорошо... хорошо... ваша собачка меня укусила... хорошо, а я могу ее укротить, отец Андроник.

— Она тебя, как петуха, загрызет...

— Здравствуйте, отец Андроник! — проговорил я.

Старик оглянулся и как-то радостно вздохнул, причем под жилетом у него что-то заволновалось, точно там под ситцевой розовой рубашкой была налита вода; он благословил меня своей десницей и облобызал.

— Отец Андроник, благословите... — лепетал Асклипиодот, просовывая свою яйцеобразную голову между нами и складывая руки пригоршнями, точно он хотел умываться.

— На хорошее бог тебя благословит, а на худое сам догадаешься...

Мы прошли в маленькие комнатки о. Андроника; вдали мелькнула какая-то женская фигура, вероятно это была Евгеша, сам о. Андроник на минутку удалился в какую-то темную комнатку, откуда он вернулся уже в казинетовом подряснике, с графином водки в одной руке и с бутылкой в другой. Асклипиодот даже крякнул при виде этой посудины и далеко вытянул свою тонкую шею; он все время был занят своим перстом, укушенным собачкой о. Андроника.

— Плохие времена, братчик, — с тяжелым вздохом проговорил о. Андроник, принимая от какой-то невидимой руки тарелки с «сухоястием», сиречь закуской.

— Что так, отец Андроник?

— А так, братчик... Егорка, «ни с чем пирог», механику подвел под нас с Асклипиодотом, — немного печально заговорил старик, наливая рюмки, — вкусимте, братие, по единой...

Когда мы выпили по рюмке водки, о. Андроник, хлопнув меня по плечу, заговорил:

— Ведь Егорка-то все описал... Ей-богу!

— Поссорились?

— Была маленькая причина... да, была! — с тяжелым вздохом заговорил старик. — Я-таки добрался до него... Да. Как-то на именинах у Павла Григорьича собрались мы все... выпили, калякаем. Приходит Егорка; понюхал носом какого-то заморского вина, а сам меня наблюдает, в каком я градусе. Обидно это мне показалось, братчик... «Ах ты, думаю, Иуда Искариотский». А сам подошел к нему да как лизну его по уху, он так и покатился по полу... Не помню, братчик, как это и вышло... совсем не помню! А Егорка сейчас в консисторию и настрочил... все описал, шельма: и как я его в ухо лизнул, и как у меня Евгеша за козлухами ходит, и как я водкой кропил, и стихи Галактионовны, которыми она меня описала, к прошению приложил... Плохо, братчик! И Асклипиодота приплел.

— А вас за что? — спросил я улыбавшегося дьячка.

— Напрасно... — заявил Асклипиодот.

— Оно, братчик, не совсем напрасно... — подмигивая левым глазом, басил о. Андроник. — У тебя тоже, братчик, рыльце в пушку...

— Хорошо, отец Андроник... Вы говорите, что у меня рыльце в пушку... Хорошо! А отец Георгий напрасно...

— И про Фильку напрасно?

— Хорошо, отец Андроник... Действительно, я отпевал Галактионовну и вечную память ей пел... Это все верно отец Георгий описал... Хорошо! Видите ли, — заговорил Асклипиодот, обращаясь уже ко мне, — когда Коскентина присудили в каторгу, его супруга некоторое время жила у меня в качестве служанки... Хорошо! Раз я возвращаюсь от отца Андроника... Хорошо!.. Попадается Филька и прямо меня по уху... Хорошо! «Зачем, говорит, ты Коскентиновой жене хвост куфтой подвязал?» То есть он намекнул, что я поступил со своей служанкой, как Авраам с Агарью... Хорошо!.. Что она у меня живет, яко наложница... Хорошо! Я к мировому судье; мировой судья засадил Фильку на две недели в темную, а отец Георгий все это описали и донесли в кон-

систорию, чтобы сконфузить меня... Хорошо! Правильно отец Георгий поступили со мной?..

— А вперед наука, братчик... Может, ты и в самом деле хотел шилом патоки... О-ха-ха-ха!.. Егорка нам теперь и смажет салазки-то... Ну, да мне наплевать, братчик, пора костям и на покой... С голоду не умру: домишко свой есть, деньжонок малая толика в кубышке лежит — чего мне больше, старику.

— Ну, а мы тут без вас окрутили Епинета-то Петровича, — заговорил о. Андроник, переменяя разговор. — Только жена-то у него того... как моя хина: есть да на яицах сидеть. Теперь уж дела не поправишь, а жаль... Глупа уж больно Глафира-то Митревна, свыше меры глупа, а Епинет Петрович свыше меры прост. Да и Фатевна... Эх, немного бы погодить надо было!

— А что?

— Да как вам сказать... Конечно, на все воля божия, ни единый влас главы нашей не упадет без его воли, а все как раскинешь умом... У Епинета Петровича еще летом делишко склеилось, а кабы до осени обождать — тогда, может, и другое что образовалось. На все воля божия...

— Что другое-то, отец Андроник?

— Как тебе сказать-то это?.. Гаврило Степаныч, конечно, был хороший человек, и пострадал он невинно... Только, братчик, все мы люди — человеки.

Я решительно ничего не понимал в этом наборе слов; о. Андроник не решался высказать свою мысль прямо, и я спросил его, что он хотел сказать.

Отец Андроник повернул ко мне свое широкое скуластое лицо, красное и лоснившееся от выпитой водки, нервно расправил бороду и улыбнулся. Так как я и теперь ничего не понял, он заговорил совсем изменившимся голосом:

— Вы были у Александры Васильевны?

— Да, был.

— Гм... Женщина молодая, в соку, а житьишко ее самое плохое, хоть она и утешается своей школой. Школа школой, братчик, а человек человеком... Придешь к ней, посмотришь на нее, так слеза и прошибет другой раз. Чего она так-то будет жить: ни богу свеча,

ни черту кочерга... Бабенка еще молодая, а впереди ничего. Скажешь ей ласковое слово, так она молиться на тебя готова, а то не думает, что мне это ласковое слово ничего не стоит. Вот я приду к ней в каморку-то, ведь кошки за хвост повернуть негде, а я с брюхом своим едва продерусь в дверь-то... сяду и, грешный человек, всякий раз думаю, чтобы Епинету-то Петровичу жениться на ней!.. Ведь золотая душа, не чета Глашке-то! Я вот сам женился двадцати двух лет, через год овдовел, а теперь мне шестьдесят четвертый пошел — трудно, братчик, прожить век одному. И птица, и зверь, и козявка всякая...

Отец Андроник неожиданно замолк, отвернулся и кулаком вытер слезу.

— Мое-то уж все пережито, так по себе-то и другого жаль... Гаврилу Степаныча уж не поднять из могилы... Вон про меня что пишет Егорка-то: Андроник пьяница, Андроник козлух держит, а он был у меня на душе... а? Ведь в двадцать-то лет из меня четверых Егорок можно сделать... а водка, она все-таки, если в меру, разламывает человека, легче с ней. Вот я и пью; мне легче, когда она с меня силу снимает... Эх, да не стоит об этом говорить!.. Претерпех до конца и слякохся.

Поговорив с расчувствовавшимся стариком еще с полчаса, я оставил его домик; Асклипиодот, покачиваясь на стуле, пел своим могучим баритоном: «Волною морскою скрывшего древле, гонителя-мучителя фараона...» Меня далеко проводили звуки этого пения, пока я не завернул за угол к пруду.

Еще издали, как я подходил к домику Фатевны, до меня долетал какой-то шум голосов и женский крик. Когда я вошел в комнату Мухоедова, мне представилась такая картина: сам Мухоедов, бледный и взволнованный, бегал по комнате, Глафира Митревна и Фатевна стояли в противоположных концах комнаты и кричали в два голоса. Заметив меня, Глафира Митревна с заплаканными глазами и сердитым лицом ушла в другую комнату, но Фатевна не думала оставлять поле сражения и голосила на три улицы; в одном окне я заметил побелевший нос Галактионовны, которая занимала наблюдательный пост.

— Статошное ли дело, — кричала Фатевна, размахивая руками. — Разе это порядок? Женатый человек и таскается по чужим женам... разе это порядок?.. я мать?!.

— Умолкни, несчастная!.. — шептал Мухоедов, хватаясь за голову.

— Ты там прохлаждаешься у *той,* а Глафира Митревна прибежала ко мне и говорит: «Мамынька, я сейчас в воду...» Разе это порядок? Теперь взять дохтуров... Обстоятельные люди, как есть; намедни опять десять билетов купили, а билет-то ноне двести рубликов стоит. Вот это порядок, а не то что мы!.. У тебя дите... о нем теперь должен заботиться. Семой год теперь служишь на тридцати рублях, а мне писарь сказывал, что все оттого, что гордость свою соблюдаешь... Пошел бы к Муфелю да в правую ногу, глядишь, дева, жалованья-то и прибавили, а то бы в емназию учителем поступал. Писарь говорит, по две тыщи жалованья платят в емназии-то...

Мухоедов схватил Фатевну за плечи, вытолкнул из комнаты и дверь затворил на крючок; он несколько минут бегал по комнате, как зверь в клетке, а потом, остановившись, проговорил с конвульсивной улыбкой:

— Видел?

— Видел...

— И это каждый день... Это какая-то тридцатилетняя война! Просто с ума, кажется, сойду.

— Отчего ты не уедешь отсюда?

— Куда?

— Поступил куда-нибудь на службу — и конец. Жену увез с собой, а Фатевна пусть себе живет здесь.

— Нет, не могу...

Мы сели к отворенному окну, у которого сидели год назад, и несколько времени молчали.

— Не могу, — еще раз проговорил Мухоедов.

— Почему?

— А видишь, в чем дело... Теперь моя песенка спета, влетел по уши, так я решил про себя, что уж если не умел устроить собственную жизнь, так буду жить для других. Помнишь Гаврилу? Вот и пойду по его дорожке... Святое дело. Ведь живет же Александра

Васильевна, а я проживу и подавно... Наше товарищество, кажется, укрепилось, «сестер» нет — теперь хорошая минута, чтобы открыть потребительную артель, и мы уж открыли ее неофициальным образом. Потом мне хотелось бы школу Александры Васильевны поворотить в ремесленное училище, составить на первый раз при ней библиотечку, музеишко, лабораторию... Понимаешь? Ведь это живое дело... Эх, жаль, что Гаврилы нет!.. А что касается моей семейной обстановки, то, право, мне кажется, и к аду можно привыкнуть. У моей достойной половины есть свои достоинства: она ленива, как черепаха, и ей скоро надоест сражаться со мною, а с Фатевной я приму меры строгости, задам ей как-нибудь перцу во вкусе Кита Китыча...

Мухоедов даже сам рассмеялся над своими словами и, повернув ко мне голову, проговорил:

— Ну что отец Андроник?

— Удивительный старик.

— А он не говорил тебе ничего о деньгах, которые на школу Александре Васильевне дает?

— Нет.

— И не скажет... не такой человек. Ведь сам предложил, а если разговор зайдет о школе, на смех подымет, пустяками зовет.

К окну, у которого мы сидели, подошел Яша, улыбнулся, махнул палкой и забормотал:

— Здорово, Иваныч... сорок восемь серебром... Я кабак на пруду выстрою... Приказал... Иваныч будет водку пить...

— И этого дух века заедает, — с печальной улыбкой проговорил Мухоедов.

— Жалованье, Иваныч... буду получать... Четыре недели на месяц, Иваныч... пятую спать!

«ВСЕ МЫ ХЛЕБ ЕДИМ...»

Из жизни на Урале

I

— Эх, отлично было бы закатить теперь в Шатрово, — говорил мой приятель Павел Иваныч Сарафанов, отдувая пар со своего блюдечка. — То есть, я вам наивно доложу, после спасибо скажете!.. Ведь теперь какое время... а? Каждый день дорог, а мы с вами сидим здесь в N*, — пыль, духота, жар... Вы посмотрите, утра-то какие стоят — так вот за душу и тянет куда-нибудь в болотину за дупелями. У меня и собачка есть на примете: лягашик, стойку держит и всякое прочее. Ей-богу! На левую ногу немного припадает, да это пустяки, со стороны даже и незаметно, а как пойдет по осоке... Ей-богу, поедемте в Шатрово?! Остановимся у попа; важнеющий поп, на всю губернию первый. Об отце Михее, может, слыхивали? Нет? Как же вы это так... Богатеющий поп, я у него по неделям гащивал. Кстати, у меня дельце есть в Шатрове, да еще не одно... Нет, завтра же поедем!

— Я с большим бы удовольствием, только на чем мы с вами поедем?..

— На чем?!. Да вы только скажите одно слово: завтра, в три часа утра, я подъеду к вам на своей лошади, а вы только садитесь.

— Да ведь у вас нет своей лошади.

— Сегодня нет, а завтра будет.

— И экипажа нет.

— И экипаж будет... У меня ход на сарае лежит, а коробок есть на примете.

— И лошадь, и коробок, и лягашик — все на примете; когда же вы успеете все это собрать?

— Ах, господи, господи, да вам-то какая забота: вы только садитесь, и конец делу. Ружье есть? Больше ничего не надо... Ружье да ноги, и шабаш. Да и без ног можно: раз я с одним чиновником на охоту ходил, — такой же жиденький из себя, как вроде вас, — так он у меня так развинтился на обратном пути, что я его верст пять на своей спине тащил. Ей-богу! А мы отлично погостим у отца Михея... Я уж знаю, чем старику угодить: парочку свеженьких дупельков привезу — да он меня расцелует.

Сарафанов был замечательный человек, начиная с своей наружности. Среднего роста, коренастый и плотный, он был некрасиво скроен, да крепко сшит; в глаза издали бросалось его несоразмерно длинное туловище, поставленное на вывороченных коротких ногах с широчайшими ступнями. Небольшая голова была крепко посажена на могучей, короткой, всегда красной шее; длинные руки соответствовали остальному. Широкое лицо Сарафанова, обрамленное небольшой бородкой песочного цвета, всегда дышало добродушным спокойствием; маленькие, светлокарие глазки смотрели улыбающимся пытливым взглядом, как у только что проснувшегося ребенка. На вид ему можно было дать лет сорок, в крайнем случае — сорок пять, а в действительности было шестьдесят с хвостиком. И ни одного седого волоска на голове; держался бодро, в ходьбе был неутомим, и во всех движениях замечалась гибкость и та упругая энергия, которая свойственна только юношескому возрасту. Одевался Сарафанов неизменно в длинный черного сукна сюртук и глухой, сильно потертый атласный жилет; туго накрахмаленные воротнички всегда упирались в подбородок, шея, несмотря ни на какой жар, была туго затянута шелковой черной косынкой, в манжетах красовались большие малахитовые запонки в серебряной оправе. Вообще костюм Павла

Иваныча не блистал свежестью, но всегда был чист, опрятен и с некоторыми претензиями на солидность.

Глядя на свежую, полную сил фигуру Сарафанова, трудно было помириться с мыслью, что перед вами стоит, ни больше ни меньше, как приказная строка блаженной памяти уездного суда. А между тем это было так: Сарафанов отслужил в суде тридцать лет, с пятнадцати до сорока пяти, и теперь около пятнадцати лет состоял в разночинцах, занимаясь «делами», как он скромно выражался о своей деятельности. В своей сущности деятельность Сарафанова отличалась замечательной разносторонностью: он был в одно и то же время ходатаем по делам, комиссионером, столяром, охотником, поставщиком драгоценных камней, мыловаром и т. д. Он имел скверную привычку разом браться за десять дел и поэтому терпел постоянные неудачи, которые поглощали последние крохи его скудного бюджета. Чем неосуществимее было предприятие, тем сильнее к нему привязывался Сарафанов. Неудачи только воодушевляли его, и он с каким-то болезненным напряжением энергии переходил от одной спекуляции к другой: то начнет скупать старообрядческие старинные книги, то по пути прихватит партию рябчиков и замаринует их, то несколько месяцев устраивает какой-то ночлежный дом и т. д. Может быть, при других условиях Сарафанов сделался бы великим изобретателем и обогатил бы себя и других, но в тесных рамках захолустной провинциальной жизни он мог только задыхаться под наплывом жажды деятельности. Когда-то у него были свой домик, небольшое хозяйство, даже маленькая ферма, а теперь оставался только, где-то за городом, клочок земли, на котором он сеял какую-то мудреную американскую репу. Жил он на краю города, в крошечной избушке, старым холостяком и был беден, как церковная мышь, но никогда не терял душевного равновесия, вечно находился в самом оживленном настроении и, как мне кажется, был очень счастлив. Для других Сарафанов был золотой человек, потому что через него можно было достать решительно все на свете, — весь город ему был знаком и все было на примете: нужно вам козу — через час Сарафанов ведет ее за рога, нужна скрипка —

и скрипка к вашим услугам. Для меня лично Сарафанов имел интерес, как живая история и география N-ского уезда: он знал всех наперечет и пешком, с ружьем за плечами, исходил его вдоль и поперек. Иногда он привирал для красного словца, но самая ложь у него выходила такой безобидной, — он сам верил ей первый. Даже в несчастной привычке употреблять иностранные слова, которым Сарафанов придавал свое собственное значение, не имевшее ничего общего с их действительным смыслом, он являлся только с комической стороны, и скоро можно было привыкнуть к его не особенно разнообразному лексикону. «Наивно» — в переводе значило «серьезно»; в этом же значении он употреблял слово «сентиментально»; «хаос» надлежало переводить — «глупость» и т. д. Только к двум словам, которые Сарафанов особенно часто употреблял, я никак не мог привыкнуть и часто принужден был отгадывать их смысл по аналогии, — эти слова были «грация» и «цивилизация». Значение этих слов постоянно менялось, и вдобавок они часто ставились одно вместо другого. Приблизительно, слово «грация» можно было перевести словом «ловкость», иногда — «смелость», реже — «ум»; «цивилизация» попеременно обозначала то образование, то comme il faut. Когда Сарафанов начинал сердиться, эти слова означали даже «мошенничество».

II

Мои надежды на то, что Сарафанов не успеет управиться в один вечер с довольно сложной операцией покупки лошади, коробка и сбруи, не оправдались: ровно в три часа утра Сарафанов ворвался в мою комнату и заставил меня оставить постель. Он был в своем обыкновенном костюме, только на ноги надел длинные охотничьи сапоги да поверх сюртука набросил татарский азям.

— Посмотрите-ка, какого рысака я завоевал, — говорил он, помогая мне одеваться. — Ах, батюшки, у вас и папиросы не набиты... Как же это? Ну да ничего, давайте-ка мне в сумку табак и гильзы, после набьем.

Сарафанов сложил табак и гильзы вместе с чаем и сахаром в свой «саквояжик», перекинутый на ремне через плечо, и еще раз проговорил:

— Нет, вы лошадь-то посмотрите...

Действительно, у ворот стояла поджарая киргизская лошадь с поротыми ушами и горбатой спиной; в новеньком с иголочки коробке сидел хромой лягашик, на дрогах, впереди и сзади коробка, были привязаны веревками какие-то сундуки. Сарафанов любил все устраивать хозяйственно, и без разных дополнений, вроде ящиков, узелков, сундуков, он был немыслим.

— Конь в езде, друг в нужде, — уклончиво отвечал я, осматривая лошадь.

— В две пряжки до Шатрова доедем.

— Сто верст в две пряжки, на одной лошади?..

— А вот увидите... Мы тут свернем с тракту в одном месте; оно проселком-то на двадцать верст ближе.

Через десять минут мы уже выезжали из города.

— Как N*-то наш обстраивается, — говорил Сарафанов, когда наш коробок, как по ковру, мягко катился в стороне от тракта, среди соснового бора. — Истинно можно сказать, что город с цивилизацией... И раньше некоторые светло жили, а как подвели эту железную дорогу — все точно на ноги встали. Ей-богу! Откуда что пошло: адвокаты, инженеры, немцы, жиды... очень грациозно!.. Прежде только бывало и свету в окне, что заводчики да золотопромышленники... Ну, горные инженеры, которые поумнее, нечего сказать, светленько поживали. Только все это было вроде того, как в темноте: один скачет, а тысяча плачут. Теперь взять хоть богачей, — страшенные богачи были, а как жили: мужики мужиками, а захочет развернуться — глупость его мужицкая и объявится. Наивно вам говорю... То церкви устраивают, моленные, австрицких архиреев выписывают, то начнут шампанским дорогу поливать и гостей женским полом угощать. Всячины было, а настоящей цивилизации не было. Можно сказать, была одна темнота и хаос. Теперь и то взять: заведутся у кого деньги, они уж так из роду в род и переходят. Туго жили, всех богачей по пальцам пересчитаешь, а вновь никого.

— А нынче?

— Нынче залежных денег ни у кого нет, — сегодня беден, завтра богат... Богатство-то, как вода, так из рук в руки и переливается. Успевай ловить... Вчера в портерной сидел, пивом торговал, а сегодня едет: пара наотлет, на голове цилиндр, на носу пенсне. Вчера своими глазами видел такого хвата: иду от вас, а кто-то едет на паре и кланяется... А потом и вспомнил: Пиньджаков, в портерной пивом торговал, а теперь золото моет. Вот какие дела-с! А пришел этот Пиньджаков откуда-то из Казани, извините, в одних портах. Наивно вам говорю! Одним словом, все поднялись на ноги, точно свет увидали, и свою дикость совсем оставили. Таких уж, пожалуй, и не найдешь, чтобы завелось лишних сто рублей, а он их в кубышку да в землю, да по двугривенному через год прибавлять, как ленивый раб; нет, нынче везде тонкость пошла: другому вся цена, ей-богу, полтина на ассигнации, а, глядишь, он водкой занялся, торговые бани открыл, номера с арфистками... Нет, не прежние времена!.. Прежде только и свету в окне, что горные инженеры, а нынче — шалишь, пороху супротив других не хватает. Теперь взять адвокатов или докторов: так на пáрах и зажаривают; или взять карты — ведь пустяки и даже грешно-с, а сколько у нас в N * этими картами живут... Очень малодушен нынче народ стал, особливо адвокаты: что сорвал, то и продал. Богачи-то, как пузыри после дождя: вскочет, покружится и лопнет.

А июньское утро вышло на славу: солнце не светило, а точно смеялось в голубом небе, где, как стада лебедей, бродили легкие серебристые облачка. Местность, по которой пылившей лентой вилась дорога, была слегка холмиста; по сторонам дороги давно тянулись бесконечные нивы, поля и луга вперемежку с светлыми, как транспарант, березовыми пролесками и кой-где еще сохранившимися гривками молодого сосняку. Озими колосились; яровые были еще зелены. Из густой зелени то и дело взлетали жаворонки; они несколько минут держались в струившемся благовонном воздухе на одной высоте, рассыпаясь звеневшими, как серебряные колокольчики, трелями, и камнем опять падали в траву. Попало несколько

обратных почтовых троек; в стороне дороги, по утоптанным тропинкам, тянулись вереницы богомолок, спешивших в Екатеринбург к Тихвинской. Что-то невыразимо патриархальное чувствовалось в этой картине: мелькали загорелые истощенные лица, повязанные темными платками головы, котомки за плечами и длинные палки, но на этих испеченных солнцем грубых лицах лежала печать такого глубокого душевного спокойствия, глаза смотрели таким сосредоточенным, одухотворенным взглядом... Даже этот низкий поклон каждому встречному говорил сам за себя. Какие все славные, русские лица!

— Ишь, как лопочут, — любовно говорил Сарафанов, раскланиваясь с богомолками. — По обещанию больше идет низменный народ, а кто побогаче, те на ярмарку или в гости. Монастырь в Екатеринбурге важнеющий, и игуменья молодца.

Часов в восемь утра мы сделали небольшой привал у одного болота, где Сарафанов, пока лошадь щипала траву, успел убить штук пять дупелей. Стрелял он без промаха, но лягашик оказался плох, — не выдерживал стойки и горячился. Убитых дупелей Сарафанов, не ощипывая пера, как-то особенно искусно завернул в широкие листья болотной травы и зажарил в золе. Это охотничье кушанье оказалось великолепным, и мы с большим аппетитом разделили его в тени молодых липок.

— Грешный человек, — говорил Сарафанов, кладя широкий крест на свою могучую грудь, — ни в среду, ни в пятницу, ни в пост скоромного в рот не возьму, а в поле не могу... И в грех себе этого не ставлю. Вы как насчет этого думаете?

Сарафанов отличался вообще большой воздержанностью, в рот не брал вина и не курил.

Дожидаясь, пока лошадь отдохнет, мы от нечего делать болтали; лягашик свернулся клубочком под коробком и дремал самым мирным образом. Овод начинал одолевать нашего киргиза, и он старался держаться под прикрытием едкой струи дыма от огня. Над болотом столбом играли комары, что служило самым верным признаком установившегося надолго ведра; пахло све-

жей травой, где-то звонко ковал кузнечик, и изредка начинал скрипеть в ближайшей осоке коростель, заставляя собаку вздрагивать и поднимать голову.

— Вот мы теперь едем с вами в Шатрово, — говорил Сарафанов, — а что такое Шатрово? Деревня, и больше ничего. Прежде самый, можно сказать, несмятый народ жил, совсем озерный, а теперь в Шатрове, — вы чего думаете, — тоже цивилизацией пахнет. Везде проснулся народ. А про заводы и говорить нечего: там голову-то, как гайку, отвинтят! Я замечаю про себя так, как эти самовары пошли по деревням, — ведь кажется, пустяки: самовар! — кончено, всю эту простоту, как рукой снимет. А как наладят чугунку на Тюмень, тут держись... Нам в N * эта самая чугунка много слез привезла, и, можно сказать, вышел чистый хаос: прежде все первый сорт крупчатку употребляли, а как она взыграла с шести рубликов за мешок на одиннадцать, — шабаш, даже попы — и те на второй сорт перешли. Некоторым чиновникам приходится совсем грациозно: жалованья в месяц двенадцать рубликов, семьища... Ох, не смотрели бы глаза!..

К вечеру, когда солнце уже заметно начало клониться к западу и дневной жар спал, мы действительно подъезжали к Шатрову, которое стояло немного в стороне от тракта.

— Так мы, значит, к попу махнем, — говорил Сарафанов, поощряя кнутиком своего киргиза.

— Нет, лучше у кого-нибудь другого остановимся.

— А зачем отца-то Михея обижать?

— Чем?

— Да он мне проходу не даст, потому как человек самый гостеприимный, хлебосол... Вроде того, как Авраам под дубом маврийским. Наивно вам говорю. Богатенный поп: свой конский завод, хлеба тысячи три пудов лежит и угостить любит. А насчет разговору: как труба, так и режет, так и режет. Живет князь князем. На сто верст кругом все знают шатровского попа.

Несмотря на всю убедительность этих доводов, я все-таки настоял на своем.

— Вон оно, Шатрово-то, точно на блюдечке раскинулось! — проговорил Сарафанов, заслоняя от солнца глаза ладонью.

Всякий, кто видал бесконечные равнины, тощие поля, болотины и убогие деревеньки средней России, взглянув на Шатрово с высоты, на которой теперь был наш коробок, вздохнул бы свободнее и подумал: «Вот где она, Сибирь — золотое дно!» Это была красивая картина: необозримая ширь полей волнами уходила на восток и тонула где-то далеко-далеко в синеватой дымке горизонта; на западе замыкали картину ряды холмов, покрытых лесом. По извилистому течению Шатровки можно было насчитать до пяти деревень; в одном месте виднелась какая-то фабрика с высокими кирпичными трубами. Самое село рассыпало свои домики по обоим берегам реки по крайней мере на расстоянии трех верст; большая каменная церковь стояла, как мать среди детей, в самом центре села.

Наш коробок мягко катился по узкой дорожке, минуя огороженные поля и спускаясь к реке. Вот и первые избы, и широкая улица, и целая стая собак. Судя по наружному виду крестьянских построек, можно было вперед сказать, что народ живет здесь, как у Христа за пазухой, конечно не без исключений, в виде одиноких избушек, вынесенных к самой околице, где, вероятно, жили старики да солдатки-бобылки. Наш экипаж прокатился чуть не чрез все село, мимо каменной церкви, одноэтажного домика о. Михея, мимо волости и нескольких питейных; он остановился у старой покосившейся избы, у ворот которой стояла высокая красивая девка в красном платке.

— Шептун дома? — спрашивал Сарафанов, с легким покряхтываньем вылезая из коробка.

— Дома.

— А что, Аннушка, как Шептун-то, здоров?

— Что ему делается... Не бойсь, не издохнет!

Анна была, что называется, девка кровь с молоком, с полными румяными щеками, крепкой загорелой шеей и могучей грудью; немного косой разрез карих глаз придавал ее лицу недружелюбное выражение, но оно смягчалось, когда она улыбалась, выставляя два ряда

точно выточенных из слоновой кости зубов. Громадные красные руки и грязные босые ноги дополняли портрет этой деревенской красавицы, одетой в старенький ситцевый сарафан и розовую, тоже ситцевую, рубашку. На шее были надеты зеленые стеклянные бусы.

— А-ах, кошка тебя залягай... гладкая ты, а?!. — бормотал Сарафанов, заглядывая на Анну. — А ты как Шептуну-то приходишься, умница?

— Никак я ему не прихожусь... Чего пристал, как сера горючая?

— А ты, Аннушка, не тово...

В это время в воротах показался сгорбленный седой старик в ветхой пестрядевой рубахе; он из-под руки посмотрел на Сарафанова, и по его выцветшим сухим губам проползло что-то вроде улыбки.

— Это ты, Павел Иваныч? — медленно проговорил старик, не отнимая руки от глаз.

— Давай отворяй ворота да принимай гостей, — распоряжался Сарафанов, здороваясь со стариком. — А ты, умница, наставь самоварчик поскорее. До смерти заморились. Чистый хаос, Аннушка!

— Ишь, как лошадь-то пересобачили, — говорил старик, отворяя с тяжелым кряхтеньем ворота. — Никак, прямо из городу?

— На обыденку, Шептун.

Пока Сарафанов переносил наш багаж куда-то в заднюю избу, хозяин с каким-то шепотом медленно распрягал лошадь. Я только теперь хорошенько рассмотрел его. Он был гораздо сильнее, чем казался с первого раза, хотя ему, видимо, перевалило уже на восьмой десяток. Старческое лицо, совсем серого цвета, с большим носом и жиденькой бородкой, производило неприятное впечатление, особенно когда он медленно останавливал на одной точке болезненно пристальный взгляд своих ястребиных серых глаз и начинал беззвучно шевелить губами. В руках у Шептуна была длинная черемуховая палка, на которую он должен был опираться, потому что ноги сильно ему изменяли.

— Ишь, как его нашептывает, — говорил Сарафанов, кивая головой на старика. — От этого самого и Шептуном прозвали.

Широкий крестьянский двор был окружен низенькими бревенчатыми постройками: «стайки» (хлевы) для скота, амбары, сеновал; небольшая перегородка открывала вид на задний двор, где ходила хромая лошадь, и на длинный огород с низенькой совсем черной баней в глубине. Все пристройки и самая изба были крыты по-крестьянски драницами, а не тесом. Широкое грязное крыльцо, крытое соломой, сильно покосилось и немного отстало от корпуса избы; под ним что-то живое визжало и хрюкало. На всем кругом лежала печать разлагающейся старости, и видно было, что некому приколотить отставшую доску и поправить покосившийся столб.

— А тебе кто будет Анна-то? — спрашивал Сарафанов, когда старик подошел к нам.

— Анна-то... А тебе на что?

— Да так я спросил. Раньше не видал, ровно, у тебя никого из баб-то...

— Анка работница мне будет. Хлебом кормлю, а она, стерва, за воротами все стоит...

— Та-ак... Такие ее годы, твоей Анки, что ей стоять, видно, за воротами!

III

Нам была отведена задняя изба, куда мы и прошли.

— А это у тебя что? — спрашивал Сарафанов, указывая старику на валявшиеся по столу и по лавкам книги, на висевшее на стенке ружье, чей-то сильно подержанный казинетовый сюртук и старый патронташ.

— Это... А это Лекандра живет у меня, так его муниция, — равнодушно объяснил Шептун, остановившись у порога.

— Какой Лекандра?

— Да учитель наш, Лекандра... Отцу Михею сын приходится.

— А, помню... Из лица немножко шадрив?

— Он самый... Лекандра ничего, он на сарай уйдет, пока вы тут поживете.

— А почему он у отца не живет, ваш учитель?

— Кто его знает, пошто он у отца-то не живет...

Видно, у меня глянется лучше, — с улыбкой прибавил старик. — Ноне ведь все это мудрено пошло, не разберешь никак.

Постояв немного в дверях, старик вышел из избы. Через несколько минут донесся его ворчливый голос:

— Анка, Анка, куда ты запропастилась?!. Собирай скорее чай господам...

— Чай, не рассохнутся твои господа: подождут, — откуда-то из глубины двора донесся голос Анки.

Когда мы через полчаса сидели уже за самоваром, в комнату вошел сам Лекандра. Это был небольшого роста господин, в парусинном пальто, казинетовых широких панталонах, заправленных в сапоги, и в розовой ситцевой рубашке-косоворотке. Он был действительно «шадрив», то есть его круглое добродушное лицо с небольшими близорукими голубыми глазками было сильно попорчено оспой. Пряди белокурых волос, мягких, как лен, выбивались из-под сдвинутой на затылок кожаной фуражки и падали на лоб; пушистая с красноватым оттенком бородка придавала физиономии Лекандры самый добродушный вид. Когда он улыбался, что-то неуловимо детское светилось в этом круглом лице, и в голове невольно шевелилась мысль: «А ведь я где-то видал этого Лекандру».

— А, Никандра Михеич, сколько лет, сколько зим не видались! — приветствовал Сарафанов учителя. — Здоровенько ли поживаете?

— Прыгаем помаленьку, — с улыбкой отвечал учитель, снимая фуражку.

— А отец Михей каково здравствует?

— У отца Михея чахотка, еле дышит...

— Ах, уж вы только и скажете... Ей-богу! А мамынька ваша?

— А вот пойдешь к ней, так сам и увидишь.

— Конечно, пойду... Ежели обходить этаких почтенных людей, да тогда и жить незачем. С нами чайком побаловаться, Никандра Михеич?

Учитель не заставил себя просить и сел за стол, рядом с Шептуном. Сарафанов познакомил нас и сейчас же распространился о чудесах N-ской цивилизации, о людях с «грацией» и о всеобщем «хаосе». Мне очень по-

нравился учитель. Он держал себя как-то особенно просто и с тем неуловимым оттенком собственного достоинства, когда человек настолько доволен и собой и своим общественным положением, что не имел нужды ни прибавлять, ни убавлять ни одного вершка собственного роста.

— А я, Павел Иваныч, женюсь, — добродушно говорил учитель, раскуривая папиросу.

— Поди, на какой учительше? У вас ведь все это поученому делается...

— Нет, не на учительше, а на Анке. Вот та самая, которая самовар вам подавала.

Сарафанов даже раскрыл рот от удивления.

— Спроси хоть Шептуна, — продолжал учитель.

— Чего тут спрашивать, — ворчал старик. — Только ты, Лекандра, еще рылом не вышел, чтобы тебе на Анке жениться.

— Это уж не твоя забота.

— А то чья же? Не по себе дерево выбрал... Какой ты есть человек, ежели тебя разобрать: ни ты барин, ни ты мужик. Сегодня ты здесь чай вот с нами пьешь, а завтра тебя и след простыл... У мужика изба своя, обзаведенье, земля, скотина, а у тебя что? Куда тебе, такому, на Анке жениться...

— Вы все шутите, Никандра Михеич, — сказал Сарафанов, пытливо и в недоумении поглядывая на учителя.

— Нет, серьезно, женюсь. Осенью свадьба.

— Не может быть... — уже слабо протестовал Сарафанов, все еще не веря своим ушам. — Как же отец-то Михей будет? Один сын доктор и три тысячи жалованья получает, другой — прокурор и тоже три тысячи, три сына в университете... Чистый хаос! Нет, уж ты, Никандра Михеич, пожалуйста, оставь эту задачу. Наивно тебе говорю. У Анки свой предел, а у тебя свой... Я тебе вот что скажу: есть у меня на примете одна поповна, — ну, отдай все, да и мало! Всем взяла: вроде как вишня или малина.

— Вот ты и женись на ней, — предложил Лекандра.

— Ах, господи, господи... Вы все шутите, а как тятенька с мамынькой, ежели вы им этакой камуфлект

подстроите? Ведь это, можно сказать, всей вашей природе будет одно поношение-с... Вы только то подумайте: один брат доктор, другой прокурор, три в университете... Люди все с грацией, образование... Да вы шутите?

— Нет, право, не шучу. Приезжайте на свадьбу.

Когда после чая вопрос зашел о том, как мы расположимся, учитель предложил мне спать на сарае, потому что в избе было и душно и «насекомисто», как он выразился. Сарафанов остался в избе и даже забрался на полати.

Стояла душистая летняя ночь последних чисел июня. Мы с большим комфортом расположились на свежем сене, только что снятом с огорода. Делалось даже неловко от одуряющего запаха душистых трав. Где-то лаяла собака; неугомонные петухи перекликались через всю деревню; простучала на улице телега. Сеновал был покрыт полусгнившими драницами; между ними сквозило синими полосками ночное небо. В одном месте заглядывала искристым фосфорическим светом мигавшая звездочка, точно любопытный детский глазок. Я думал о Лекандре, который, свернувшись клубочком, лежал в двух шагах от меня.

— Анка, Анка... чтобы тебя разорвало, окаянную! — доносился откуда-то сдержанный голос Шептуна.

Опять тихо. Где-то далеко-далеко встает обрывок песни, и опять мертвая тишина, прерываемая смутным, неясным шепотом ночи... Ночная ли птица шарахнет крылом оземь, ветер ли набежит — трудно разобрать. Стараешься остановиться на мысли, что кругом тебя деревня, настоящая русская деревня, деревенский здоровый воздух льется освежающей струей над этими полями, рекой, лесом, самый месяц освещает не многоэтажные каменные дома, не дремлющих у ворот дворников, не каланчу полицейской части, а бревенчатые русские избы. Отдохнуть каждой каплей крови, каждой нервной клеточкой — вот единственное желание, которое теперь выражает желание большинства русских людей, не сеющих и не собирающих в житницы, не продающих и не покупающих. Да, отдохнуть...

— Вы не спите? — спрашивает Лекандра.

— Нет.

Небольшая пауза.

— Зачем Шептун так бранит эту Анку? — спросил я, прислушиваясь к долетающим со двора звукам.

— Обыкновенная история: он стар, она молода.

— Этого еще мало.

— Они живут гражданским браком. Девку кровь душит, а старичонко еле на ногах держится. Вот и вздорят...

— Как же вы...

— Вы хотите сказать, как я решаюсь жениться на Анке? Это я подшутил над Сарафановым. Пусть его поломает голову... Ха-ха!.. Анка еще не пойдет за меня. У ней от женихов отбоя нет.

— Ведь вы говорите, что она живет гражданским браком с Шептуном?

— Это по нашим нравам вздор. Мы ведь еще живем «образом звериньским, схождахуся межи сел». Мы смотрим на женщину глазами Сарафанова, чтобы она была «вроде как малина или вишня», а крестьянину нужна работница, нужна будущая мать. Венец все прикроет. Вы посмотрите, как целую жизнь работает деревенская баба, — именно как рыба о лед колотится... Все эти ошибки молодости не могут иметь здесь особенного значения.

Молчание. Учитель раскуривает папиросу.

— Скверно теперь у вас в городе?

— Как всегда.

— Одного не могу понять: зачем это люди лезут в эти города. Ей-богу! Скажите, пожалуйста: например, наш брат из семи кож вылезет, а все-таки добьется своего, то есть его допустят где-нибудь в суде или в какой палате нажить геморой. Обыкновенно говорят про какие-то удобства цивилизованной жизни, про общественную жизнь, про удовольствия... Ведь врут, все врут до последнего слова! Какой-нибудь чиновник замурует себя в гнилую квартиру и пьет здесь горькую чашу, пока господь не приберет грешную душу. Деньжонки завелись, — «винтит» ночи напролет. Тьфу!..

— Что же в деревне делать?

— В деревне... Во-первых, деревня деревне рознь. Если взять наше Шатрово, здесь еще жить можно.

— Именно?

— Да вот хоть я: землю пашу. Отличная статья. Я, право, так рад, что развязался со всей этой «цивилизацией» Сарафанова. Свет увидал, а то такая мерзость на душе стояла — хоть в воду. Видите ли, был я в университете... По слухам, уж очень хорошо там, значит и нам туда же надо. Своего ума нет, так чужим живешь. Ну, и мода на образованного человека, и диплом, и этакой приличный оклад в некоторой туманной дали — все это имеет свою прелесть. Потолкался я на людях, дошел до третьего курса медицины, а потом все и похерил...

— Почему так?

— Плутовство одно, это наше образование самое, и больше ничего. Кричат про кулаков, что они такие-сякие, а я больше уважаю такого кулака, чем какого-нибудь доктора или учителя гимназии. Кулак собственным лбом по крайней мере дорогу прошиб, а доктор или учитель доплывет до своего диплома на ту же земскую стипендию. Тьфу!.. А какая была мода на этих докторов с легкой руки наших маститых беллетристов: каждый так и смотрит героем... Насмотрелся я на них, теперь — шалишь, знаем, чем подбиты эти все герои. И главное, заметьте, из тысячи человек один занимается, а остальные с грехом пополам только перелезают из курса в курс. Вот вам и все его геройство. По-моему, нужно поставить науку, как она в Англии или в Америке, а не тянуть за уши. Идут за дипломом, а не за наукой... Вот я, когда перелез на третий курс, и начал думать: к медицине я никакого влечения не имею, да она и сама существует только как искусство для искусства.

— Именно?

— Возьмите доктора, что он делает? Ведь он шарлатанит из ста случаев в девяносто девяти... Одна только хирургия и вывозит, а остальное все гиль и чепуха! Морочат только богатых купцов да нервных барынь. Например, приезжает доктор к больному... Если больной — человек состоятельный, — он и без него поправится, если он бедняк — еще скорее помрет, потому что последние гроши снесет в аптеку. Один умирает оттого, что спился с кругу, ожирел или нажил какую-нибудь благородную болезнь; другой оттого, что вытянулся на

работе, с холоду, с горя, с голоду... И в том и в другом случае доктор решительно бесполезен. А что эти гигиенические советы ихние, так это и без них давно известно. Вы войдите в избу к богатому мужику, особенно к раскольнику: да всем этим немцам, которые придумывали гигиену, и во сне не снилось ничего подобного — такая чистота заведена, словно языком все вылизано. И посмотрите, какой здоровый народ. Вы можете считать мое мнение за абсурд, а между тем оно совершенно справедливо. Когда этих докторов не было, разве люди не жили? Вся эта медицина выеденного яйца не стоит на практике. Да-с!..

Учитель заметно раздражился и говорил с таким выражением в голосе, точно ему кто-нибудь не верил.

— Все это хорошо и, может быть, в ваших словах много правды, — проговорил я, желая навести учителя на прежнюю тему, — но интересно, как вы дошли до мысли, что остается только землю пахать.

— Опять-таки не своим умом дошел, не беспокойтесь. У нас свой-то ум с семи лет отшибают... Был у меня один товарищ. В семинарии мы с ним вместе учились. Дело было в философии. Крепкий был человек. Понимаете: сама натура. Учился, учился да однажды в классе профессору и начал отчитывать: «Чему вы нас учите? Вот я девятый год давлю парту, а ни аза в глаза не знаю... Мне на ваших классиков наплевать!» Взбесился человек совсем, а потом бросил все да в мужики и ушел, землю пахать. Мы его уговаривать, перспективы там разные ему рисовать, а он нам: «Дураки вы, дураки... Ничего-то вы не понимаете и не понять вам ничего. Я буду мужиком в сто раз счастливее вас...» Вот, когда я был на третьем курсе, на меня это самое раздумье и напади... Тут я и вспомнил про товарища, написал ему горячее письмо и жду ответа. Пишет: «Приезжай, сам увидишь. Твой Африкан Неопалимов». Кое-как дождался я лета, а потом к Неопалимову, в деревню. Отыскал его. Живет как мужик, и все тут. «Брось-ко, говорит, свою ученую дурь да ступай в мужики, если добра хочешь». Пожил я у него лето, присмотрелся... Ничего, действительно хорошо. Неопалимов давно был женат на крестьянской девке, детишки были — отлично живут.

Вернулся я в Шатрово и свою медицину по боку: совестно стало чужой хлеб заедать. Только сразу проститься, как Неопалимов, у меня пороху не хватило. Придумал я, видите ли, поступить учителем и составить такую компанию, чтобы летом, когда у нас, учителей, нет занятий, сельским хозяйством заняться. Собралось нас человек шесть. Землю у башкир арендовали, обзаведеньишко сделали и всякое прочее...

Лекандра замолчал и сердито сплюнул на сторону.

— Ну, и что же? — спрашивал я.

— Все прахом пошло.

— А теперь вы совсем упростились?

— Ну, этого еще сказать нельзя... Извольте-ка сразу расстаться со всей этой глупостью, которая наросла с золотых дней детства, — нет, это не вдруг. Опять и то смущает: упростишься, а потом не вынесешь. Вот исподволь и упрощаюсь. Теперь состою учителем и землю у родителя арендую. Третий год свое хозяйство веду...

— Где же оно у вас?

— Верстах в семи отсюда. Там у меня и избенка огорожена, и прочее такое. Вот поживете здесь, забредете как-нибудь.

Наступило молчание. Упрощавшийся человек тяжело вздыхал. Очевидно, ему хотелось высказать еще что-то.

— Что же мешает окончательному упрощению? — спросил я.

— Вы не догадываетесь?

— Нет...

— Вот то-то и есть, а дело самое простое: разве мужицкое хозяйство можно поставить без бабы... Теперь поняли? Интеллигентный человек амуры да идеалы разводит и видит в жене... Ну, да черт с ним со всем, что он видит! Упроститься-то я, пожалуй, совсем упростился, а когда дошло дело до бабы, — вот тут вся эта дрянь, которая накопилась в душе, и дает себя чувствовать. И себя загубить можно, и другого человека... Ну, возьмешь деревенскую девку, а потом вдруг скучно покажется с ней век коротать, — все-таки большая разница. А может быть, она будет счастливее за настоящим мужиком... Гм... это я вам скажу... Кажется, светает?..

IV

— Пойдемте купаться, — будил меня учитель ранним утром, когда солнце стояло еще в золотистом тумане. — Утро-то какое... а?..

Учитель лежал на животе, положив свою белокурую голову в широкие ладони. Мне ужасно не хотелось вставать, но желание с этого же дня начать настоящую деревенскую жизнь, наконец, превозмогло, и я быстро поднялся с своей импровизированной постели. Мы осторожно спустились с сеновала по ветхой, дрожавшей под нашими шагами, лесенке. Так и хотелось вернуться обратно и додернуть часок. Во дворе мы встретили Анну. Она, с высоко заткнутым подолом, выгоняла подоенных коров.

— Анка, зачем ты на сарай к Лекандре лезешь? — доносился из избы голос Шептуна. — Вот я возьму кол да колом тебя, стерву!.. Анка!..

— Отвяжись, старый пес, — ворчала девка, храбро шагая с хворостиной в руке.

Мы вышли через задний двор, где прыгала хромая лошадь, в огород. В двух шагах, теперь покрытая густым белым туманом, тихо катилась Шатровка, наклоняя прибрежные вербы и стоявшую в воде осоку. Где-то под берегом гоготали гуси. Учитель быстро разделся в ближайших кустах, и только глухой всплеск воды, распахнувшейся под его телом вспененной волной, показывал место, где он бросился прямо с берега. Несколько мгновений он не появлялся на поверхности, а потом только по фырканью и кряхтенью можно было определить, где он плыл в тумане. Я попробовал последовать его примеру, но после пяти минут, проведенных в холодной воде, у меня зуб с зубом не сходился. Оставалось вылезти из воды и одеться.

— Что, замерзли? — доносился голос учителя из тумана.

Он плавал еще с полчаса и вылез из воды только тогда, когда все тело покраснело от холода, и зубы стучали как в лихорадке. Прикрывшись рукой, на манер Венеры Медичейской, Лекандра скрылся в кустах, откуда все время его туалета доносилось какое-то забав-

ное фуканье носом и кряканье. Солнце светило ярче и ярче. Туман начал ходить по реке белыми волнами, а потом белоснежной пеленой тихо поднялся кверху, открыв реку во всей ее красоте, — с живописными берегами, выложенными яркозеленой осокой и кудрявой вербой, с тихо скользившей водой, отражавшей в себе и небо и плававшие на небе облачка.

— На нашем солнышке греетесь... — под самым моим ухом произнес чей-то приятный басок.

Когда я оглянулся, то чуть ли не стукнулся лбом с высоким священником, облеченным в белоснежный пикейный подрясник и с широчайшей панамой на голове. Он с добродушной улыбкой протянул мне свою пухлую, как подушку, десницу и тем же баском проговорил:

— Честь имею рекомендоваться: шатровский поп Михей... Чай, слыхивали про такого зверя?

— А... это ты, родитель? — отозвался Лекандра из-за кустов. — Купаться вышел?

— Да, немного нужно освежить свою грешную плоть...

Грешная плоть о. Михея представляла нечто совершенно особенное, вроде тех наливных яблок, которые вот-вот расколются, только пошевели пальцем. Его высокая фигура была необыкновенно развита в ширину, так что спина была выгнута совсем желобом, как у закормленной купеческой лошади. Плечи и грудь представляли какую-то вздутую массу, которая выпирала из-под пикейного подрясника, точно там были нарывы. Круглое обрюзгшее лицо было серого геморроидального цвета; около небольшого носа луковицей, как в масле, плавали два узких серых глаза. Щеки, походившие на подушки, обросли тощей бородкой. Из-под панамы выбивались две крошечных косички.

Заметив мой пристальный взгляд, о. Михей с неизменной добродушной улыбкой проговорил:

— Угадайте-ка, сколько мне лет?.. Нет, не угадать. Шестьдесят лет дней странствия моего в юдоли плача, а еще, кажется, ничего...

В подтверждение своих слов, о. Михей молодцевато повернул сначала один бок, потом другой. После этой

выходки он опустился на травку рядом со мной и заговорил таким тоном, точно мы вчера с ним расстались:

— Вот что, батенька, вы завертывайте ко мне чайку напиться... У нас попросту, без чинов. Мой нигилист вас проведет. Познакомились с ним? Ха-ха... Парень ничего, только немного дыра в голове... Так отсюда прямо ко мне. Я уж послал за Павлом Иванычем.

Я поблагодарил за приглашение и попробовал было отказаться под предлогом раннего утра.

— Да у нас город, что ли? У меня старуха давно уж скрипит по всему дому... Слышите, заходите. Покалякаем, побалагурим, а ежели меня рассердите — хуже будет.

— Мы действительно отправимтесь к родителю, — говорил учитель, появляясь из-за кустов.

— А... нигилист, будущий Анкин муж, — встретил сына о. Михей и, обращаясь ко мне, проговорил: — вот рассудите нас: один сын у меня доктором (о. Михей степенно отогнул на шуйце указательный палец, пухлый, как у новорожденного), второй — товарищ прокурора (о. Михей отогнул средний палец), три сына довершают свое образование в университете, а шестой сынок вздумал в податное состояние обратиться... А-а, вот тебя, дружище, и нужно! — закричал зычно о. Михей, завидев поспешно приближавшегося Сарафанова. — Иди, иди сюда, мы дадим тебе суд и расправу... На кого ты меня променял, Павел Иваныч? Не ожидал я от тебя этого, нет, не ожидал!..

— Наивно вам говорю, отец Михей, это все вот они, — оправдывался Сарафанов, указывая на меня. — Уж я знал, что мне попадет за это... Повинную голову и меч не сечет, отец Михей!

— Хорошо, хорошо: у Федорки везде отговорки, — добродушно гудел о. Михей, подхватывая Сарафанова под руку. — Пойдем купаться. Мне одному скучно... А слышал, мой-то нигилист женится...

— Хаотический человек, отец Михей, — проговорил Сарафанов, разводя руками. — Чистая грация!.. А только купаться не пойду, отец Михей: натура у меня не принимает. Я лучше на бережке посижу.

— Нет, вре-ошь, Павел Иваныч! — увлекая Сарафанова, гудел о. Михей. — Ты уж меня раз надул...

— Наивно вам говорю: ревматизм в ногах...

— Шалишь.

Пикейный подрясник и панама о. Михея скрылись за кустами. Мы с Лекандрой побрели к избушке о. Михея, которая стояла как раз против церкви и так приветливо издали глядела своими небольшими окошечками с белыми ставешками. Это был прелестный сельский домик с низкой зеленой крышей. Широкий двор был усыпан мелким песочком и делился на части изгородями. В этих загородках бродило несколько лошадей, помесь кровных киргизов с заводскими. Отец Михей был великий любитель и знаток лошадей; его конский завод пользовался большой известностью. В глубине двора виднелись — целый ряд конюшен, несколько амбаров, громадный сеновал и баня. Вид домика со двора был еще лучше, потому что он низенькой террасой, затянутой маркизой, выходил прямо в цветник. Эту мирную картину довершало кудахтанье голенастых кохинхинских куриц, бродивших по двору под предводительством горластого рыжего петуха. Из окна кухни выставлялась голова сотника Рассказа, который дружелюбно мигал в нашу сторону своим единственным оком.

— Рассказ — отличный наездник, — объяснял Лекандра, — всех лошадей выезжает у родителя. А вон и мамынька чаи разводит...

На террасе, около большого стола, накрытого белой камчатной скатертью и уставленного чашками и печеньями на маленьких фаянсовых тарелочках, суетилась небольшого роста дама с папироской в зубах. При нашем приближении она прищурила серые выцветшие глаза. Летнее из сурового полотна платье, какая-то накидка на плечах и шелковая сетка на голове показывали, что матушка не хотела быть деревенской попадьей и держала себя на городскую ногу. До этого времени мне ни разу не случалось видеть матушек с папиросами, и я с удивлением посмотрел на сморщенное желтое лицо улыбавшейся дамы.

— Вот гостя привел, мамынька, — рекомендовал меня Лекандра. — А, да тут целый капитан еще сидит... Наше вам, Гордей Федорыч!

— Здравствуйте, господин нигилист, — отозвался сгорбленный, седенький старичок в кителе.

Я только теперь мог рассмотреть его съежившуюся фигурку из-за большого томпакового самовара, сильно походившего на о. Михея по своей тучности.

— Вы к нам погулять приехали? — спрашивала меня матушка.

— Отдохнуть...

— И хорошо сделали: у нас вон какие отличные места... Отец Михей, когда кончил курс в семинарии, был тоньше соломинки, а года три послужил в Шатрове и раздобрел. У нас здесь воздух очень хорош.

Мне оставалось только согласиться, потому что уж какого же еще можно было ожидать воздуха, когда о. Михей из соломинки мог превратиться в настоящий свой вид. По правде сказать, мое воображение совсем отказывалось представить себе о. Михея, когда он только что кончил курс в семинарии. Капитан опять съежился на своем стуле и наблюдал меня мигающим, слезившимся взглядом. Это был совсем выдохшийся старец, с седыми нависшими бровями и щетинистыми, порыжевшими от табачного дыма усами, которые ужасно походили на старую зубочистку. Он имел такой вид, как будто долго где-то лежал в затхлом и сыром месте и теперь вынули его проветриться.

— А что ваша Тонечка? — спрашивала матушка, подавая капитану стакан крепкого чаю. — Я что-то давненько ее не видала...

— Нездоровится ей, нездоровится, Калерия Валерьяновна, — отозвался капитан, шамкая и пришепетывая. — Девичье дело, девичье... Хе-хе. Не побережется, не побережется, а теперь жалуется... жалуется, что голова болит... Молодость!.. Да!..

Самый голос у капитана был какой-то выцветший, с сухими безжизненными нотами, точно скрипело сухое дерево. Лекандра низко наклонил свое розовое лицо над самым стаканом и, кажется, был исключительно занят процессом глотания душистого напитка. Мне пока-

залось, что Лекандра с намерением избегал встречи с прищуренными глазками своей «мамыньки» и как-то странно поднял кверху свои белобрысые брови, когда она заговорила о Тонечке.

— Мир вам, и мы к вам, — загудел о. Михей, вваливаясь на террасу. — Посмотрите, как я выкупал Павла Иваныча. Ха-ха! Вот тебе и ревматизм...

— Чуть не утопили-с, ей-богу! Наивно вам говорю, — уверял Сарафанов, стараясь вылить воду из уха. — Ах, Калерия Валерьяновна... Здравствуйте!.. Сократите, пожалуйста, отца Михея, а то они меня совсем было того... уж захлебываться стал.

— Как это ты в самом деле неосторожно все делаешь! — проговорила матушка, покачивая кругленькой головкой, как детская фарфоровая куколка.

— Пошутил... Эка важность! Он меня тоже надул: на Шептуна променял. И следовало утопить, только до другого раза оставил.

— А... старичку, Гордею Федорычу, наше почтение! — говорил Сарафанов. — А я, право, даже не заметил вас с первого раза... Хе-хе!..

— Да где его заметишь... Ишь, какой карманный образ ему природа-то дала! — добродушно басил о. Михей, пока Сарафанов держал в своей лапище сухую, желтую ручку капитана.

Лицо о. Михея было теперь мертвенно бледно и скоро покрылось крупными каплями пота. Выпив залпом стакан чаю, он проговорил, обращаясь ко мне:

— Послушайте, батенька, не знаете ли вы какого-нибудь средства против гемороя?.. Совсем замучил, проклятый!

— Ах, отец Михей, ведь мы, кажется, чай пьем... — жеманно вступилась матушка, как-то забавно встрепенувшись своими коротенькими ручками. — Ты всегда...

— Что всегда: что есть, то и говорю!.. У кого что болит...

— Пожалуйста, перестань... Вон Тонечка идет... Ах, здравствуйте, Тонечка, легки на помине, — мы только что о вас сейчас говорили...

Тонечка была белокурая, грациозная девушка лет восемнадцати. Ее небольшое правильное лицо, с боль-

шими умными темными глазами, было красиво оттенено широкой соломенной шляпой с букетом незабудок на отогнутом поле. Она короткими шажками, едва прикасаясь к земле, вошла на террасу и спокойно поздоровалась со всеми. Сарафанов, как галантный кавалер, приложился мокрыми губами к ее миниатюрной ручке с просвечивавшими синими жилками, выгнув свою широкую спину, как это делают бильярдные игроки. Ситцевое простенькое платье красиво сидело на маленькой фигурке девушки и целомудренно собралось около ее белой шейки широкой розеткой.

— А я пришла к вам, Калерия Валерьяновна, за хиной, — проговорила девушка.

— И вы верите в эту латынскую кухню, Антонина Гордеевна? — вступился о. Михей.

— А то как же? Против лихорадки отлично помогает...

— Пустяки! Это только так кажется. Вот у меня...

— Ах, отец Михей, пожалуйста! — взмолилась матушка.

— Ну, ну, не буду. Я пошутил... Ха-ха!.. Спроси вон у капитана, он испытал. Как заберет, — места не найдешь... Не буду больше, не буду. Вот мы с Павлом Иванычем относительно цивилизации побеседуем.

Тонечка просидела недолго. Она все время потирала свои маленькие ручки, как это делают с холоду, и ежила худенькими плечиками. Лекандра несколько раз с улыбкой посматривал на девушку и, наконец, проговорил про себя:

— Нервы...

— Вы этим что хотите сказать? — смело спросила Тонечка.

— А то и хочу сказать, что у всех барынь одна болезнь: нервы. Глаза этак закатит (Лекандра изобразил, как барыни закатывают глаза): «Ах, у меня нервы»...

— Вы, Антонина Гордеевна, не слушайте его, — вступился опять о. Михей. — Я вам дам отличный совет: ешьте сырое мясо, пейте сырые яйца... Вот я, — я был хуже вас!.. А теперь, кажется, слава богу, только вот... Ну, да это вас не касается. А вы слышали нашу послед-

нюю новость: Никандр Михеич женятся. Да-с. И знаете, на ком?

— На даме женюсь, — отозвался Лекандра. — Она будет в оборках да в бантах ходить, а я ее хлебом буду кормить.

— Нет, в самом деле женится... На работнице Шептуна. Может быть, видали?

Все засмеялись. Сарафанов дергал капитана за рукав и рассыпался своим дребезжащим нерешительным смехом, откидывая голову назад. По лицу капитана проползло что-то тоже вроде улыбки, от которой вся кожа покрылась мельчайшими морщинками, и зашевелились под желтыми усами синие губы.

— Уж только и отец Михей, — умиленно шептал Сарафанов, — слово скажут — одна грация...

Девушка вопросительно вскинула свои темносерые глаза на Лекандру и улыбнулась болезненной, умной улыбкой. Скоро она ушла своими короткими шажками.

— Вы не смотрите на него, что он карманный, — говорил о. Михей, обращаясь ко мне и тыкая капитана своим перстом в высохшую грудь, — у него в голове-то такие узоры наведены, что нам и во сне не снилось.

— Какие там узоры, какие узоры, — шептал капитан, отмахиваясь от слов о. Михея, как от комаров.

— Вы спросите-ка Шептуна... Будут они помнить Гордея Федорыча.

— Чего помнить... нечего помнить. Дело полюбовное, по закону дело... Все по закону.

— Вот они и чешут в затылках-то от ваших законов. Видите ли, капитану, до освобождения крестьян, принадлежала половина Шатрова. Хорошо... Когда стали составлять уставную грамоту, капитан и уговорил своих бывших крестьян принять от него даровой надел по осьмине на душу. Те с большого-то ума и согласись. А теперь у капитана же и должны арендовать землю по десяти рубликов за десятинку... Как это вам понравится? У нас землю-то продают по семи рублей за десятину.

— Зачем же они арендуют землю у Гордея Федорыча, если могут купить в собственность дешевле? — спрашивал я.

— Вот тут-то и есть корень вещей: земли-то покупные далеко, надо переселяться на них, а капитанова земля под боком. У капитана всякое лыко идет в строку: он за выгоды берет отдельно, за потравы отдельно, за лес отдельно. То есть, я вам скажу, настоящий художник! Видели лес? Это все капитанов лес: мы ему за каждую жердочку платим дикую пошлину. А фабрику заметили? Ха-ха... Этакую штуку и самому Бисмарку не придумать; стоит здание, понимаете, одно здание — и больше ничего, а капитан ежегодно двадцать тысяч себе в карман да в карман. Вот как добрые люди живут, а не то, что мы грешные: по грошикам да по копеечкам.

Сарафанов умиленными глазами смотрел на капитана, как жаждущий на источник живой воды. Он преклонялся пред гением капитана.

— Я не принуждаю никого, не принуждаю... По добровольному соглашению, да, соглашению, — говорил капитан, совсем исчезая в облаках дыма.

— Хорошо соглашение, — ворчал учитель. — Тысячу человек пустил по миру, — вот и все соглашение.

— Что же я, по-вашему, по-вашему, фаланстерии буду устраивать на своей земле? — спрашивал капитан.

V

Прожив всего несколько дней в Шатрове, я как-то сразу сросся с его интересами, злобами дня и разными более или менее проклятыми вопросами. Да и невозможно было с головой не погрузиться в этот маленький мирок, который задыхался под веяниями времени. Рознь шла сверху донизу. Мечты о деревенском воздухе, о наслаждении природой, о равновесии элементов так и остались мечтами. Той идеальной деревни, описание которой мы когда-то читали у наших любимых беллетристов, не было и помину: современная деревня представляет арену ожесточенной борьбы, на которой сталкиваются самые противоположные элементы, стремления и инстинкты. Перестройка этой, если позволено так выразиться, классической деревни, с семейным патриархатом во главе и с общинным устройством в основании, совершается на

наших глазах, так что можно проследить во всей последовательности это брожение взбаламученных рядом реформ элементов, нарождение новых комбинаций и постепенное наслоение новых форм жизни. Нынешняя деревня это — химическая лаборатория, в которой идет самая горячая, спешная работа. Центр тяжести, искусственно привязанный нашей историей к жизни городов, сам собой переместился в деревню.

— Ну, что, Америку открываете? — спрашивал меня о. Михей каждый раз, когда мы встречались. — Не-ет, батенька, не те времена, чтобы лежать на боку да плевать в потолок. Перестраиваемся, голубчик, перестраиваемся... Послушайте-ка, что мужички-то калякают. Павел Иваныч ведь правду врет про самовары-то да цивилизацию. Умственный мужик пошел. Все сам хочет знать: как и что на свете делается. Газеты выписывает... Да и кулаки эти уж просвещают их на все бока: поневоле задумаешься.

Отец Михей был начитанный человек и следил за журналами. Голова у него была крепкая, только на все кругом себя он смотрел как-то не то сверху, не то со стороны. И, главное, все ему смешно. Где он набрался этого добродушия — бог его ведает. Самой хорошей чертой в нем было то, что он и на себя смотрел тоже как-то со стороны, с подковыром.

— Вы возьмите-ка нашего брата, попов, — ораторствовал он, похаживая по комнате такими шагами, что половицы только гнулись и поскрипывали. — Прежде поп был притча во языцех, последняя спица в колеснице, а нынче и мы себе цену узнали, и мужика простецом считали, а вы пощупайте-ка хоть Шептуна!.. Это, батенька, министр...

Шептун и Рассказ были закадычными приятелями, вероятно потому, что трудно было подыскать двух таких противоположных людей. Шептун был крепкий старик и играл выдающуюся роль на сходах. Он не проговорит слово даром, и все у него выходило как-то особенно складно. Находчивость в ответах, живость, убийственная острота — вот чем он брал, и часто нужно было много подумать, чтобы добраться до истинного значения его речей. Главным образом, он в совершен-

стве владел искусством запутывать свою мысль, как заяц путает свои следы. Сравнения, прибаутки, шуточки так и сыпались с его посинелых губ. «Шептун сказал», — говорили часто вместо ответа, или: «Спроси у Шептуна, он те скажет».

— Ну что, Шептун, как у вас с капитаном дело?

— Это от антиллерии-то? А ничего, милый, капитаном мы довольны... Бога за него благодарим. Да. Капитан у нас славный. Даровой осьмухой нас благословил. У нас и поп Михей тоже ничего. Супротив капитана ему не сделать, а славный поп. Вишь, как ему весело... В соху бы запречь, так, пожалуй, смеху-то убыло бы.

Рассказ был увлекающаяся, поэтическая натура, растворявшаяся в настоящем. Все, что он ни делал, было результатом порывистого желания немедленно осуществить свою мысль. Как истинный поэт, он был беднее Шептуна и часто выслушивал от него очень горькие истины относительно своего бесшабашного житья. К людям он относился доверчиво и с первого разу любил или ненавидел. Вообще рядом с Шептуном это был настоящий ребенок. Поэтическая точка воззрения на весь мир заслоняла пред ним те пружины и внутренние мотивы, которые заставляли этот мир радоваться и плакать, мучиться и наслаждаться. Как все слабохарактерные люди, он слепо преклонялся пред успехом и удачей, забывал неудачи и оскорбления и постоянно нуждался в руководителе.

Интересно было наблюдать, когда Шептун и Рассказ выйдут вечерком за ворота и, сидя на завалинке, калякают между собой.

— Ну, чего ты слоны-то продаешь?! — корит Шептун своего благоприятеля. — Выездишь ты пятерых жеребцов у попа, а он тебе двугривенный в зубы... Эх ты, рухлядь!

— Ты умен, — пробует иронизировать Рассказ.

— С твое-то будет ума... Не пойду к попу за двугривенный-то лоб парить да вертеться, как бес перед заутреней.

— Ладно, рассказывай. Знаем... Тоже вот тогда, как от антиллерии-то...

Это обыкновенный исход всех подобных разговоров, потому что капитан был единственное слабое место, в которое можно было уязвить Шептуна. При составлении уставной грамоты Шептун один из первых поддался на удочку капитану и теперь нес на себе кару за этот промах. Как это вышло, что Шептун опростоволосился, я долго не мог себе представить.

— Што капитан? Ну, што ты говоришь мне: капитан? Разе я у него был в те поры на уме? Чужая душа — потемки, известное дело. Да кабы знатье... то есть вот пополам перекусить его, прохиря, и весь разговор!

— Намеднись я иду мимо Прошкина кабака, — уже спокойно продолжает Рассказ, совершенно довольный, что уязвил Шептуна. — Попадаются моховики... [1] Грудно этак идут, артелкой. Афонька Спиридонихин, Микешка Гущин, Естюшка... Ну, идут, калякают промежду себя, а на дворе уж темнается. Я эдак маненичко притулился за угол и думаю: пусть, мол, пройдут своей дорогой. По разговору, значит, слышу, что они маненько тово, заложили за ухо-то... Еще, пожалуй, с пьяных-то глаз в загривок накладут. Стою эдаким манером за углом и слушаю. «Этих бы сивых чертей, — говорить Естюшка, — взять, говорить, за бороды да оземь, потому самому, што они нас на веки вечные времена в раззор привели...» Это, выходит, они про нас так-ту разговоры разговаривают. А Микешка Гущин на это: «Тут дело не просто; подкупил их тогда этот самый капитан либо напоил, вот они и продали... Осьмуху-то немного укусишь! Вон у шаблинских али у болтинских — все по-божескому сделано. Только мы не в людях люди! Надо, слышь, этих стариков встряхануть когда ни-на-есть: они заварили кашу, они и расхлебывай?»

— Ах, псы эдакие! — ругается Шептун. — По загольям-то их много, а доведись до дела — так и нет никого... Естюшка и то было раз сцапал меня за бороду в кабаке у Прошки.

---

[1] Из деревни Моховой. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Н-но!

— Верно. «Ты, говорит, такой-сякой, нас по миру пустил». Ей-богу! Тогда чуть меня отняли... Парень могутный, поднесет раз — и дух вон. Кабы помоложе был, я бы ему завязал язык-от. Тогда на сходе учали муторить — што не што до поленьев дело не дошло.

— А ты слышал, что посредственник к нам едет?

— Это насчет кого?

— Кулумбаевских да ирнабаевских башкир будут межевать. Верно тебе говорю. Поп Михей сказывал.

— Врет, поди?

— Чего ему врать. Сказано: едет, — значит, взаболь [1] едет.

— Лонись [2] тоже приезжал посредственник-то, да што из этого толку вышло?

— А ежели у него бумага вышла из Питенбурха? Соберет сход, бумагу заставит читать — тут, парень, слушай. Михей сказывает, кулумбаевским плохо придется: замежуют их. К заводам всю землю отведут, потому у них бумага.

Так сидят старики и балагурят. Невеселые разговоры у них, и всегда имя капитана появляется на первом плане. Капитан действительно пустил с сумой половину Шатрова. Приняв даровой надел, крестьяне сидели в руках капитана, по выражению Шептуна, «все одно как рыба в неводу». Нищенский даровой надел приходился им теперь солоно. Арендную цену на свою землю капитан поднял на неслыханную высоту и, кроме того, измором морил на каждом шагу. Только необыкновенно плодородная земля спасала их еще от конечного разорения, а впереди предвиделось самое худшее. С нарастанием населения на душу приходилось меньше осьминника. Молодые мужики, которых о. Михей называл умственными, не давали старикам проходу за даровой надел.

---

[1] Взаболь — действительно, в самом деле. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Лонись — в прошлом году. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

VI

Каждый день исправно я отправлялся в поле и всегда заходил к Лекандре, в его хутор. Этот хутор был верстах в пяти от Шатрова, сейчас за капитанским лесом. Земли у Лекандры было десятин восемь. Теперь она представляла волнистый ковер доспевавшей пшеницы, ржи и овса. Небольшая избушка была прилеплена к самому лесу, и с ее порога открывался чудный вид на реку Шатровку, красивым извивом тонувшую среди бесконечных нив и поемных лугов. По ее отлогим берегам рассажались неправильными кучками изб деревушки Моховая, Болтина, Шаблино и т. д. Глядя издали на Шатровку, казалось, что все эти бревенчатые избы точно были насыпаны какой-то исполинской рукой по речному берегу или сейчас только, как стадо утят, выползли из воды и греются в лучах летнего солнышка. Эту картину портило только полное отсутствие садиков и деревьев: хоть бы одно дерево на все это громадное пространство, которое охватывал глаз. Приятным исключением на этой оголенной равнине, когда-то славившейся дремучими сосновыми борами, была красивая капитанская роща. Она была разбита на несколько участков, и в ней велось правильное лесное хозяйство.

Изба Лекандры была устроена как все русские избы и состояла всего из одной комнаты, половину которой занимала громадная русская печь. Простой стол, деревянные лавки и старый сундук составляли всю обстановку. Обед готовил себе Лекандра на керосиновой кухне, а хлеб привозил из Шатрова. Сбоку избы было прилеплено небольшое крылечко, выходившее прямо на двор, то есть просто в загородку, где ходила пара лошадей, стояли крестьянская телега, плуг, бороны и разные другие принадлежности сельского хозяйства. Пара лохматых собак оберегали хуторок вместе с глухим стариком, который попеременно спал то на печи, то на завалинке. По вечерам часто приезжал сюда о. Михей напиться чайку на «благорастворенных воздусях» или забродил с охоты Сарафанов.

— Зачем же у вас еще квартира у Шептуна? — спрашивал я Лекандру.

— А зимой где я буду жить? Отсюда в школу далеко, да и так, мало ли.

Об этом «мало ли» я начинал уже смутно догадываться, отчасти из подмигиваний о. Михея, отчасти по тяжелым вздохам матушки. Мне казалось, что я даже знал причину, мешавшую Лекандре окончательно упроститься, как это сделал Африкан Неопалимов. «Где женщина?» — спрашивал какой-то французский адвокат в каждом процессе; мои догадки сводились к этому же щекотливому вопросу. Были некоторые, правда очень слабые, но все-таки заметные признаки существования такой женщины. В избушке Лекандры мне несколько раз попадались на глаза полевые цветы, искусной рукой собранные в маленькие букеты, пуговка от дамской ботинки и даже целая фильдекосовая перчатка. Это была совсем маленькая перчатка, почти с детской руки. Если присутствие цветов можно было объяснить нежностью матушки, то присутствие пуговок и перчатки решительно нечем было объяснить.

Однажды после долгой прогулки по капитанскому лесу я направился к избушке Лекандры. Я брел по заросшей меже, между стенами пшеницы, которая стояла тын-тыном и глухо шумела под напором набегавшего ветерка. Чудно хорош этот летний ветер, который так и обдавал теплой пахучей струей, разбегался по нивам лоснившейся, как переливы атласа, волной и весело гудел в капитанском лесу. В стороне пестрели в траве полевые цветочки, и любопытными детскими глазками выглядывали из пшеницы васильки. Где-то звенел жаворонок, в траве дергал коростель и звонко ковали кузнечики. Я любил бродить по этим нивам, полям и лугам. Чувствуешь, как оживляют эти солнечные лучи, это дыхание матери-земли, эта кипучая жизнь, разлитая в воздухе, на земле и в земле. Каждая былинка вытягивалась из последних сил, чтобы раньше других втянуть в себя первую капельку дождя, солнечную теплоту, ночную росу. А в этой густой зеленой траве, которая издали казалась бархатным ковром, — какая кипучая жизнь совершалась в ней!

Мне оставалось сделать до избушки Лекандры шагов двести. Когда я посмотрел в ее сторону, первое, что

бросилось мне в глаза, было белое платье... Да, настоящее белое платье, которое стояло ко мне спиной и нервно помахивало коротким зонтиком. Я сразу узнал Тонечку. Но что она могла делать у Лекандры? Я искал глазами капитана, но его не было. Итак, мне приходилось сделаться невольным свидетелем и разрушителем tête-à-tête. Воротиться назад я не мог, потому что Лекандра уже заметил меня.

— А... здравствуйте, — как сквозь сон протянула девушка, подавая мне свою крошечную ручку.

Тонечку нисколько не смутило мое неожиданное появление, и она, кажется, не думала прибегать к объяснениям того обстоятельства, как попала она сюда. Лекандра был с ней груб и суров сегодня особенно. Меня это удивляло, потому что уж совсем не гармонировало с его добродушием. Из разговора оказалось, что девушка была помощницей в школе Лекандры. Это было для меня новостью.

— Вас, кажется, это удивляет? — спрашивала девушка, улыбаясь своей спокойной улыбкой.

— Да, отчасти...

— Ведь мой отец такой богач, и вы, вероятно, в первый раз имеете удовольствие слышать, что помощницей учителя в Шатрове *дама,* то есть известная комбинация оборок, бантов и... нервов. Да?..

Тонечка громко смеялась своей шутке, а Лекандра кусал губы и смотрел куда-то в сторону.

Мы очень весело провели несколько часов в обществе этой девушки, присутствие которой было именно тем, чего недоставало избушке Лекандры. Учитель вынес на траву свою керосиновую кухню, и Тонечка принялась готовить чай своими белыми детскими ручками.

— И вы пьете из этой гадости? — спрашивала она, заглядывая с ужасом в глубину медного проржавевшего чайника. — Вы когда-нибудь отравитесь...

— Нас не скоро отравишь, — грубил Лекандра. — Это если...

— Хорошо, хорошо. Вы, кажется, сегодня достаточно наговорили мне грубостей, — прервала учителя Тонечка, напрасно стараясь снять кипевший чайник с кухни. — Послушайте, в прошлый раз я оставила у вас

перчатку? — обратилась она к Лекандре. — Ручка у чайника расколота, жжет голую руку...

Лекандра был уничтожен и растерялся, как пойманный школьник. Но девушка, кажется, ничего не хотела замечать и все время держала себя непринужденно и просто, как сестра. Причина, мешавшая Лекандре окончательно упроститься, была теперь налицо и, право, была так мила и грациозна, что стыдиться ее решительно не было никакого основания. Лицо Тонечки на свежем воздухе разгорелось слабым румянцем, и на щеках, когда она смеялась, забавно дрожали маленькие ямочки. В темносерых глазах так и вспыхивали искорки. Вся ее фигурка, с легкими грациозными движениями, была сегодня необыкновенно хороша, а подобранные юбочки открывали хорошо сложенную ногу в крошечном прюнелевом ботинке.

— Я, кажется, сегодня очень много наглупила, — с милой простотой проговорила Тонечка, надевая на свои белокурые волосы шляпу. — Отчего вы не забредете к нам как-нибудь? — обратилась ко мне девушка, протягивая на прощанье руку.

Я поблагодарил за это любезное приглашение и обещал воспользоваться им при первом удобном случае.

— А вас не смею приглашать, — с улыбкой проговорила Тонечка, поворачивая свою головку к Лекандре. — Вы ведь тоже не приглашаете меня...

— Как не приглашаю: ходите почаще мимо-то, без вас веселее, — отрезал Лекандра, окидывая «оборки» Тонечки уничтожающим взглядом.

Заметив мое намерение провожать ее, Тонечка с улыбкой проговорила:

— Нет, уж вы, пожалуйста, останьтесь при одном вашем намерении... Я настолько ценю его, что освобождаю вас от скучной обязанности тащиться с *дамой* по такому жару. Я привыкла везде ходить одна.

Скоро Тонечка своими короткими шажками быстро начала удаляться от нашей избушки. Она шла по меже и казалась издали с своим распущенным зонтиком каким-то белым цветком. Мы несколько времени молча курили. Лекандра лежал на траве, что его приводило в некоторое созерцательное настроение, в котором он

мог оставаться в одной позе по нескольку часов. Солнце палило. Не слышно было щебетанья птиц, которые теперь сладко дремали в пахучей тени капитанского леса. Над полями раскаленный воздух тихо струился, как нагретая вода. Вдали изредка вставали над нивами легкие желтые облачка и долго тянулись в воздухе желтыми полосами. Это пылила проселочная дорога, по которой проезжали крестьянские телеги.

— А что этот капитан? — спрашивал я, чтобы хоть чем-нибудь нарушить созерцательное настроение Лекандры.

— Скотина!

— То есть?

— Ограбил крестьян, дерет с них за все, а деньги посылает в Петербург сынку гусару.

— А что, эта Тонечка, должно быть, умная девушка? — спрашивал я Лекандру, впадавшего опять в летаргию.

— Ничего... порядочная дура. С моей мамынькой ей ладно бобы-то разводить. И за каким лешим сюда таскается?!.

Лекандра окончательно «замкнулся в свое я», как выражаются семинарские записки по философии. Разговорчивость и мрачное настроение находили на него полосой, ни с того ни с сего. Так и теперь. Полежав несколько времени в безмолвии, Лекандра вдруг расхохотался.

— Над чем вы смеетесь?

— Как над чем? Да вы разве не замечаете, что любезная мамынька задалась целью женить меня непременно на Тонечке. Ха-ха!.. Вот вышла бы примерная пара!.. Хоть сейчас картину рисуй: зять капитана от артиллерии. Ох-хо-хо-о!..

— Не знаю, по-моему, это не так смешно...

— Да? Отчего же... у всякого барона своя фантазия. Только, по-моему, жениться на Тонечке, это — завести себе лазарет по конец жизни: смотреть на нее, как на красивую куколку — это еще я могу понимать, но представить ее во образе дражайшей половины... Только недостает, чтобы она начала курить папиросы, как моя родительница...

— А все-таки, Тонечка нравится вам?

— Пожалуй... Некоторое время даже питал к ней душевное и сердечное расслабление, а теперь ничего, прошло.

— Упрощаетесь?

— Да, упрощаюсь. Вы подумайте: я из-за сохи влезу в избу, как трубочист, а тут этакая Маргарита в качестве жены. Что же я с ней буду делать? Смотреть? Нет, уж боже избави от такой церемонии. Раньше я еще иногда допускал мысль, что из нее может выйти что-нибудь вроде женщины.

— Бабы?

— Да, если хотите: бабы. Совершенно верно. Ведь нужно и корову подоить, и лошадь иногда прибрать, и порты починить, а тут одни перья да банты.

— Тонечка в школе занимается, получает жалованье, следовательно она может себя заменить другими руками.

— Ну, да... конечно, можно и заменить. Только опять это совершенно особенная музыка... Ну, да не стоит говорить о пустяках. Вон посмотрите, никак цивилизация к нам катит... Да, она самая. Рассказ приклеился к новому де́льцу, — вон волокет какой кузов. Ах, проказники, проказники!

— Вы про какое новое дельце говорите?

— А вот про то самое, зачем Сарафанов приехал в Шатрово.

Я слышал от Павла Иваныча о «дельце», которое у него было в Шатрове, но до сих пор как-то не интересовался им. Раза два Сарафанов пытался вытащить меня на охоту в болото, но я откладывал это удовольствие под предлогом, что до Петрова дня нехорошо стрелять дичь.

VII

Сарафанов шел, с перекинутой за плечами двухстволкой, своим твердым, развалистым шагом, точно возвращался с прогулки, а не после двенадцатичасовой охоты. Издали он сильно смахивал на медведя, который умел ходить на задних лапах. Лягашик, прихрамывая,

плелся назади. Рассказ, сильно вытягивая жилистую шею, тащил на спине чуть не целый воз из мешков и лубочных коробков. Все лицо у него было покрыто потом и волосы на лбу прилипали к коже мокрыми прядями.

— Одначе здорово парит, — проговорил Сарафанов, прислоняя ружье к углу избы.

— Что, устал, Павел Иваныч? — спрашивал Лекандра.

— Нет, не устал... Только поясница немножко тово... Должно быть, к ненастью ноет.

— А чаишку хочешь пошвыркать?

— Ежели такая ваша милость будет... А где у меня Личарда?

Рассказ растянулся в избе и не подавал голоса. Он успел выпить не один ковш самой холодной воды и теперь едва дышал, закрыв единственное око.

— Какое у тебя дельце, Павел Иванович? — спрашивал я, пока Лекандра хлопотал около своей кухни.

— Дельце? А вот... — Он развязал один из коробков и достал несколько жестяных банок из-под монпансье. Крышки банок были плотно припаяны к стенкам. — Вот, изволите видеть, банка, а в этой банке двенадцать дупелей... Сто лет пролежат и хоть бы что!

— Консервы!

— Да, вроде как консервы, только получше.

— Как вы их приготовляете?

— А вот как: выберем болото, Личарда разведет на берегу огонь, приготовит паяльник, коробки и всякое прочее. Потом я иду в болото и начинаю крошить дупельков... Только успевай мигать. Десяток в полчаса погублю и сейчас их к Личарде. Он их ощиплет, сложит в коробки, зальет свежим салом и сейчас припаяет крышечку. Вот и готово-с. А у меня уж опять десяток готов... Наивно вам говорю. Этого дупеля по здешним местам видимо-невидимо. Без полусотни штук мы еще не вылезали из болота.

— Куда же вы потом с этими консервами?

— Как куда: продавать... Помилуйте, да с руками оторвут, если на охотника. Первый отец Михей, — ну,

ему, конечно, я даром презентую, — капитан, становой, доктор... Всем будет любопытно. Вы заметьте — это будет вроде только объявления: один попробует, пятерых угостит да десятку похвалит. Вот у меня целых пятнадцать заказчиков. Если считать за банку, значит за десяток дупелей, — ну, рубль — и то составит пять рубликов я зашибу в день. Поняли? Очень грациозно-с... Это я только пробу делаю, а на будущий год настоящим делом займусь. Тысячу банок приготовлю в лето!.. Это у меня в кармане останется семьсот рубликов. А если буду посылать в Петербург да в Москву — это опять другой разговор пойдет.

— Вы, кажется, посылали уж маринованных рябчиков?

— Ах, то опять особь статья. Там меня в одном магазине подвели: послал им на пробу несколько банок, высылают требование на целую сотню. Послал сотню... Они, черти, эту сотню слопали или продали, а денег не выслали. Наивно вам говорю: хаос! Теперь уж не проведут. Своего комиссионера заведу. Недавно в газетах объявление такое прочитал.

Чай был готов, и мы напились с Лекандрой во второй раз, ибо пар костей не ломит.

— Ты, Павел Иваныч, компанию на акциях устрой лучше, — советовал Лекандра, — вот как железные дороги строят... Слыхал?

— Как не слыхать: и мы не левой ногой сморкаемся. Хе-хе!.. Только ведь это я так, между делами: и удовольствие получишь, и сам не в убытке.

— Может, опять какое-нибудь дельце затеваешь?

— А то как же: волка ноги кормят. И еще какое дельце-то: каламбур, пальчики оближешь.

— Именно?

Сарафанов огляделся по сторонам и заговорил вполголоса, точно боялся, что его может подслушать даже трава.

— Третьева дни иду это я по Шатрову от капитана, — чай у них пил, как вот сейчас с вами, — иду, а навстречу едет башкир из Кулумбаевки, Урмугуз. «А, знаком, селям малику»... Ну, то-се, разговорились...

— Это ты, значит, хочешь взяться за дело ирнабаевских и кулумбаевских башкир с Локтевскими заводами?

— Даже всенепременно-с... Послезавтра поеду с Рассказом в Кулумбаевку, а потом в Ирнабаевку. По пути возьмем Иртяшское болото, — слыхали? В ширину семь верст да в длину двенадцать... Тут настоящий момент дупелей!

— Какое это дело у башкир с заводами? — спрашивал я.

— Один хаос и больше ничего! Наивно вам говорю: хаос, — отвечал Сарафанов, отдувая пар с своего блюдечка. — Локтевские заводы принадлежат Бухвостову, то есть принадлежали. Сам-то Бухвостов умер сто лет назад. Так-с. После его смерти его супруга в тысяча семьсот девяносто втором году предъявляет в земский суд купчую крепость, будто бы написанную еще в тысяча семьсот семьдесят шестом году. А по этой купчей кулумбаевские башкиры продали заводам двадцать тысяч десятин. Понимаете? Почему же сам Бухвостов не явил эту купчую и не просил о вводе во владение?.. Это раз. Второе: прошло шестнадцать лет, значит земская давность. Третье: часть якобы проданных кулумбаевскими башкирами земель принадлежит ирнабаевским. Все-таки, несмотря на все это, земский суд утвердил эту купчую.

— Да ведь тут надо знать все законы, как пять пальцев, — говорил Лекандра.

— Хорошо-с, дойдем и до законов. Подождите. Через десять лет, значит в тысяча восемьсот втором году, приезжает для проверки межей правительственный землемер. Хорошо. Башкиры ему жалобу, а Бухвостова заявила в оренбургскую межевую контору, что по спорным землям устроила с башкирами мировую сделку. Межевая контора посылает другого землемера: башкиры ему жалобу, а он их бунтовщиками обозвал. Приехал третий землемер; только этот совсем не стал разговаривать с азиятами, а взял да ночью замежевал лучшие угодья и земли да, кроме того, внутри межи оставил целую деревню Ирнабаевку. Башкиры опять жаловаться. Тогда Бухвостова предъявила свою полю-

бовную сказку, дескать так и так, обмежеванную землю башкиры уступили ей, Бухвостовой, а что-де касается замежеванной деревни, так у нас есть условие, по которому ирнабаевские башкиры обязываются оставить свою деревню, когда это нам будет угодно. Башкиры объявили и полюбовную сказку и условие подложными.

Сарафанов допил чашку, вытер рот платком и, пожав руки Лекандры, продолжал:

— Ну-с, таким манером дело это уж дошло до Гражданской палаты, которая признала, что Бухвостова владеет кулумбаевскими землями правильно, а ирнабаевскими неправильно. Бухвостова давно уж умерла, а дело вели наследники. Хорошо. Они не унялись и пошли хлопотать дальше: жаль было, вишь, уступить ирнабаевские-то земли. В тысяча восемьсот пятьдесят шестом году это дело попало в московскую межевую канцелярию, которая и вырешила: замежеванные у ирнабаевских башкир две тысячи десятин оставить за заводами, а вместо них отмежевать у кулумбаевских башкир эти две тысячи десятин и передать их ирнабаевским.

— Да ты выучил это дело наизусть, Павел Иваныч?

— По бумажке учил, как «верую». Ну-с, теперь рассуждение должно быть такое: во-первых, московская межевая канцелярия не имела права отводить заочно способные земли; потом, наследники в течение целых пятнадцати лет не приводили его в исполнение, значит оно опять потеряло силу за давностью. Так? Хорошо. Это самое дельце и выплыло на днях: едет мировой посредник уговаривать ирнабаевских башкир уступить заводам эти две тысячи десятин. Вот я услыхал это от Урмугуза и спрашиваю, что они хотят делать. «А не будем, говорит, отдавать, и кончено». — «Да ведь вас, говорю, азиятов этаких, засудят...»

— Отчего же они не обратятся к кому-нибудь из присяжных поверенных или опытных адвокатов?

— Обращались, голубчик, не один, не два раза: адвокат сдерет с них дикую пошлину, а дельце лежит. Потому одно слово: азияты. Всякий ладит с них сорвать, что можно. Не любят, где плохо лежит. Да-с.

— И ты туда же?

— Ах, господи, господи! Ведь я не обязан даром за них хлопотать... Все мы хлеб едим!

— Смотри, Павел Иваныч, тово...

— Чего: тово...

— А понимаете: возьмут этак за хвост да в окошко.

— Ну, это еще старуха-то надвое сказала. Это еще мы посмотрим. Ежели за мной ничего нет, да я чист перед богом... Ах, господи, неужели уж и суда праведного не найдем?!. Вы, может, думаете, что заводы смазали колеса кому следует; ну, и пусть их. Мы пойдем напрямик.

— Где ваше не пропадало!

— Хоть бы и так... Я даже пострадать готов. Наивно вам говорю.

Сарафанов действительно, по своему обыкновению, горячо взялся за новое дельце и уехал к башкирам. Мне нужно было пробираться уже восвояси, хотя было немного и жаль расставаться с Шатровым.

— Мне Тонечка говорила, что вы обещали зайти к ним, — проговорила однажды матушка, когда мы с Лекандрой ели у нее какие-то пирожки.

— Это еще что за китайские церемонии, — окрысился Лекандра, но потом стих и даже отправился вместе со мной к капитану. — Ведь вот, подумаешь, какова сила инерции, — резонировал он дорогой, стуча палкой по заборам, — спросите меня, зачем я иду...

— Ведь вы обещали, — уговаривал я.

— Что же из того, что обещал: велика важность!

Домик капитана стоял на пригорке. Это был обломок доброго старого времени: с мезонином, с какой-то колоннадой, с широким подъездом. Время изрядно поработало над этим произведением помещичьего вкуса, и везде проглядывала мерзость запустения: колонны покосились, крыша прогнила, мезонин стоял с выбитыми стеклами.

— По Сеньке и шапка, — говорил Лекандра, поднимаясь по шатавшимся ступенькам развалившегося крыльца.

В пустой передней пахло сыростью, и на всем лежал толстый слой пыли. В гостиной нас встретил сам капи-

тан, путавшийся в длинном халате и с длиннейшей трубкой в руках.

— А, господа, очень рад, очень рад... — прошамкал он, усаживая нас в старинные кресла с выгнутыми спинками и удивительно тоненькими ножками.

Гостиная представляла лавку старых вещей: мебель, картины, часы, какие-то мудреные предметы, назначение которых трудно было угадать, — все это точно было нарочно подобрано. На одной стене висели неизбежные пастух и пастушка, вышитые по канве шелками; нос у пастуха походил на лестницу, нога пастушки на пилу, какой пилят дрова. Скоро показалась Тонечка.

— Не ожидала от вас такой любезности, — чистосердечно и просто проговорила она.

— У нас редко кто бывает, — шамкал капитан. — Разве отец Михей когда заглянет.

Подан был неизбежный чай. Капитан вытащил откуда-то заплесневевшие бутылки с какими-то мудреными старинными винами, даже завел баульчик с музыкой — вообще хлопотал ужасно, чтобы угодить своим гостям, то есть, вернее, своей Тонечке.

— Зачем вы тревожите так свой «восемнадцатый век»? — шутил учитель. Он сегодня, к моему удивлению, уже не грубил, а даже с ловкостью ручного медведя старался помочь хозяйке в ее хлопотах. Результатом этих благородных усилий было два разбитых чайных блюдечка и отломленная ручка у кресла.

— Ничего, это ему полезно, — отвечала Тонечка, кивая головой в сторону отца.

Девушка была сегодня в ударе. Она рассказывала о своих занятиях в школе, о том, как она сначала трусила, а потом понемногу привыкла. Разговор зашел о будущем. Тонечке хотелось со временем открыть вечерние классы, чтобы учить девочек рукодельям. Когда вопрос зашел о профессиональных школах, она проговорила:

— У Никандра Михеича был отличный план относительно добавочных ремесленных классов... Не знаю, в каком положении он теперь.

— На точке замерзания, — отвечал Лекандра.

— Потом мы думали устроить образцовую ферму, — продолжала девушка уже во множественном числе, что немного передернуло учителя. — Только это еще в проекте...

— Образцовая ферма имеет для крестьян такое же значение, как школа плавания для щук, — сгрубил Лекандра.

Капитан все время ходил в своем халате по комнате и, отмахиваясь маленькой ручкой, повторял: «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания!.. Пожалуйста, не обращайте!» Он пускал густые облака дыма из своей трубки и по временам улыбался. Несколько раз он подходил к нам, наводил ухо и с улыбкой говорил:

— Вот и отлично!..

Что было «отлично» — я никак не мог понять, только капитан являлся для меня совсем в новом свете. Глядя на его высохшую маленькую фигурку, никто бы не подумал, что капитан способен был пустить по миру сотни людей. Теперь это был чадолюбивый отец, счастливый тем, что его дочь весело говорила и щебетала как птичка. Этот громкий говор и смех представлял такой контраст со всей окружавшей нас обстановкой почтенной старины: сердитые генералы очень сурово смотрели на нас из своих старинных рам, а шелковые красавицы делали совсем томные глазки своим пастушка̀м.

— Главное, что обидно, — ораторствовала Тонечка, — за какое вы дело ни возьметесь, вы встретите прежде всего глухой отпор даже со стороны людей, на которых, кажется, можно было рассчитывать. Потом, это отношение свысока ко всему, это желание... как бы вам сказать?.. желание быть маленьким оракулом.

— Если это в мой огород камни летят, то совершенно напрасно, — с улыбкой говорил Лекандра. — Все мы люди, все человеки...

— Ну, вот и всегда так: скажет человек жалкую фразу, и доволен.

Тонечка рассердилась, хотя никто и не думал ей возражать. Видно было, что у ней давно что-то накипело на душе и теперь выливалось порывистыми горя-

чими фразами. Капитан заботливо моргал глазами и не говорил больше своего «отлично».

— Как жаль, что вы так скоро уезжаете, — говорила мне Тонечка, когда вышла провожать нас в переднюю.

— В самом деле, останьтесь, — упрашивал капитан. Ей-богу, останьтесь! Мы устроим отличное катанье на реке... Понимаете, этакая луна, звезды...

— Ай да «восемнадцатый век», как он разошелся сегодня, — говорил доро́гой Лекандра. — И ведь странная вещь, как это иногда случается... Просто, черт его знает!.. Этакое дворянское гнездо в некотором роде, и вдруг в нем вырастает какая-нибудь Тонечка. Ведь посмотреть не на что, а в голове уж и вопросы разные и этакая чуткость... Она, пожалуй, и славная бы девка, только вот эти фалборки да банты... А у меня в голове шумит. Этот «восемнадцатый век» нам подсунул чего-то самого анафемского...

На другой день я уехал из Шатрова. Матушка успела сунуть в мой экипаж какую-то коробку с пирожками, о. Михей долго пожимал мою руку и самым добродушным образом говорил:

— А ведь, право, остались бы еще погостить... Ну вас там, с вашим городом. Вот скоро грибы поспеют, наливки будем скоро пробовать...

Когда мой экипаж — простая деревенская телега — тронулся в путь, он еще раз остановил меня:

— Послушайте, батенька, если вам где-нибудь в газетах попадется этакое средствие от геморроя... Настрочите как-нибудь цидулочку! Просто, понимаете, как сядешь на диван или на стул... Хе-хе!.. Ну, прощайте. Дальние проводы, лишние слезы.

— Ну, омморошная, — крикнул Шептун, дергая вожжами; он взялся отвезти меня до ближайшей станции.

Я возвращался один, потому что Сарафанов уехал в Кулумбаевку. Наша телега бойко покатилась по мягкой дороге, и Шатрово скоро осталось назади. Опять кругом потянулись пашни, поля и нивы, а вдали серебряной чешуей отливала на солнце река Шатровка.

— А это все пашни нашего змея, — проговорил Шептун, указывая кнутиком на желтевшие поля пшеницы.

— Какого змея?

— А от антиллерии-то...

VIII

Вернувшись в город, я несколько времени находился в самом странном расположении духа. Стараешься делать все так же, как раньше, напрягаешь все усилия, чтобы войти в прежнюю колею, а нет-нет и унесешься мыслью в избушку Лекандры, в лес капитана. Несколько раз мне казалось, что в передней слышатся шаги о. Михея, но это было иллюзией. Мысль об упрощении представлялась в самых радужных красках. Так прошло месяца три. Начались осенние дожди, и наш N * потонул совсем в непролазной грязи, но все-таки осенью город несравненно лучше самой красивой деревни. Я с нетерпением поджидал появления Сарафанова, но он точно в воду канул. Перебирая всевозможные догадки относительно причин его исчезновения, я просто не знал, что думать о нем.

Проходил уже и сентябрь. В воздухе изредка появлялись «белые комары», то есть снежинки. Добрые люди начинали думать о теплых шубах, двойных рамах, дровах и дружбе. Известно, что холод заставляет собираться в одну стаю даже и волков. Раз, сижу за самоваром и пробегаю большую столичную газету, как вдруг слышу в передней осторожное покашливание... Я даже вздрогнул: это был Сарафанов. Да, это был он...

— Здравствуйте!..

— Очень рад. Не хотите ли чаю?

— Даже с большим удовольствием.

Сарафанов осторожно раздвинул фалды своего сюртука и сел на стул. Мне показалось, что во всей его фигуре было что-то особенное, а маленькие глазки смотрели уныло и покорно. «Уж не схватил ли он куш?» — мелькнуло у меня в голове, но начать разговор прямо с этого было, конечно, неловко.

— Что вас давно не видать, Павел Иваныч?

— Как вам сказать...

— Да вы давно ли сюда-то приехали?

Павел Иваныч поднял брови и сказал:

— Я-с... я уж больше двух недель здесь.

— Что же вы ко мне-то не зашли? Были нездоровы?

— Нет, ничего...

— Да говорите толком, пожалуйста: ну, что вас задержало?

— Я... я, видите ли, сидел в заключении.

Если бы раздался удар грома, — и то не удивило бы меня в такой степени, как последние слова Сарафанова. Я даже не знал, о чем его спрашивать.

— Да-с, высидел две недельки... Наивно вам говорю!

— Да как вы туда попали?

— Привезли-с... Под конвоем привезли и подвергли заключению.

— А где же у вас лошадь? консервы? лягашик?

Сарафанов только махнул рукой и многозначительно улыбнулся, как это делают драматические актеры.

— Нужно вам рассказать это дело с самого начала, — заговорил он, вытирая лицо платком. — Ах да, была где-то вам записочка...

Сарафанов начал рыться в своих карманах и показал молча вырванную подкладку своего сюртука. Я ничего не понимал.

— Вам Тонечка посылала со мной писулечку, и Никандра Михеич... они, того, в законе-с... Да, благодарение создателю!..

— Этого можно было ожидать.

— По нынешним-то временам?!. — При последних словах Сарафанов сделал такой жест, как будто кого-нибудь отталкивал от себя обеими руками. — Что вы!!. Что вы!!. Да нынче... Последние времена и хаос! Нынче не то что неопытную, невинную девушку, этакой бутончик вроде Тонечки, обмануть — это что: можно сказать, людей закаленных истязают и подвергают муке... Чистая грация!.. Неблагодарность и зверство!..

От волнения Сарафанов несколько времени не мог говорить. Мне было жаль старика.

— Я уж сначала вам расскажу, — заговорил он после небольшой паузы. — Помните, как я уехал тогда в Кулумбаевку с Рассказом? Хорошо. Приезжаем, а там уж все на ногах, и посредника ждут с часу на час. Хорошо. Поговорил я кое с кем; Урмугуз, Урукайка и другие — все в ногах валяются. «Павел Иваныч, заставь вечно бога молить и не оставь нас, дураков. Посредник едет, он нас замежует». — «Хорошо, говорю, ребята, только, чур, делать по-моему. Согласны?» — «Согласны, согласны...» Хорошо. «Первое дело, говорю, не подписывайте у посредника никакой бумаги». Ну, это я так, для острастки, потому они всякой бумаги боятся хуже черта, потому обучены, значит. «Второе, говорю, если он вас будет приводить в соглашение или склонять на мировую сделку, скажите, что «подумаем». А там мы все разжуем и дадим ответ». Все согласны. Отлично. Приезжает посредник. И что же бы вы думали? Дворянин, получил высшее образование, человек с грацией вполне — и вдруг начинает склонять кулумбаевцев на мировую сделку с Локтевскими заводами... Да разве это честно? Он должен, как посредник, беспристрастно отнестись к делу и даже защитить башкир, потому темнота, хаос... Башкиры на дыбы, шум, гвалт, столарня!..

Сарафанов не мог больше сидеть и забегал по комнате.

— Так башкиры и не пошли на мировую, хоть ты что хошь. А посредник живет, и я живу. Думаю, какую еще он мину будет подводить. И действительно, подвел... Собрал сход и на сходе предлагает кулумбаевцам объявить ирнабаевцев припущенниками. Башкиры-вотчинники имеют надел на тридцать десятин на душу, а припущенники всего пятнадцать. Вот посредник и говорит кулумбаевцам: «Объявите ирнабаевцев припущенниками, значит, с каждой души отойдет по пятнадцать десятин, мы из них выделим две тысячи десятин заводам, а остальная земля достанется вам». Понимаете? А на сходе целых пять волостей, — тут можно и крупы, и муки намолоть. Посредник сейчас вытащил лист: «Подписывайтесь!» Ни одна живая душа не подошла... Хе-хе... Как бараны, так и пятятся, даром

что азияты. Только посредник и этим не унялся, а вечером пошел по избам и давай стращать, что если-де не подпишут листа, то всех в остроге сгноят и землю отымут. Башкиры осатанели и сейчас ко мне. Я говорю им: «Врет посредник, ничего вам не будет, — закона такого нет, чтобы силой заставить подписывать мировую сделку». Ведь правильно я рассуждал?.. Хорошо. А посреднику уж донесли, что башкиры бегают ко мне. Он послал за мной. Прихожу. «Вы кто такой? Поверенный от башкир кулумбаевской волости... Ага, мы с вами еще увидимся. До свидания!..» Уехал. Я пожил денька два и тоже поехал. Думаю про себя, нужно еще с отцом Михеем посоветоваться.

— Ну что, отец Михей здоров?

— Ничего, кланяется... Заложил Рассказ мою лошадку, — помните, киргиз, на левой лопатке тавро, одно ухо короткое; выехали мы этак к вечерку, чтобы по холодку-то доехать до иртяшского болота и взять там утро. Ружье у меня было с собой, лягашик тоже, коробки, припай, сало, — ну весь снаряд, как следует. Приехали, разбили стан, закусили, легли вздремнуть. Лошадь стреноженная ходит в двух шагах, лягашик под телегой спит. Лежу это я, и такой сон меня одолел, такой сон, что вот словно кто железной доской придавил: не могу пошевелить ни рукой, ни ногой... А тут сквозь сон и слышу, что лягашик как залает. Я вскочил, бросился к лошади, а там Рассказ ухватился за какого-то человека, да так по траве мешком и тащится. Я тоже сгребся за него, а он, извините меня, весь голый и притом салом намазан. Ведь вырвался... Так лошадь и угнали, а лягашик мой лежит кверху ножками, и мордочка вся в крови. Вы думаете, кто это угнал лошадь? Башкиры... кулумбаевские башкиры... Я за них поехал в город хлопотать, а они у меня лошадь украли. Это уж у них такая воровская замашка: вымажется салом, подползет, — только и видел. Ведь я его в руках держал, — нет, выкрутился, как живой налим.

— Что же вы и Рассказ стали делать?

— Что стали делать... — в раздумье повторял мои слова Сарафанов, проводя рукой по лбу, точно смахивая что-то, мешавшее ему припомнить обстоятельства

дела. — Мы пешком пошли в Кулумбаевку и прямо к Урмугузу. Я вошел в избу, он дома. Рассказал ему, что так и так, — удивляется, азият, и чуть не плачет от жалости. А я знаю ихнюю натуру и попросил Рассказа пошарить по двору. Урмугуз начал угощать меня маханиной, это, значит, жареной кобылятиной, — мне это просто к сердцу пришло: думаю, да что это я дурака-то с азиятами разыгрываю, ведь на мне крест. Только это я собираюсь обругать Урмугуза за его угощение поганое, Рассказ шасть в избу и тащит за собой кожу с моего киргиза. Еще свеженькая... Ах, аспиды! Урмугуз угнал мою лошадь, заколол да ее же мясом меня и угощает! Как это вам понравится? У них уж обычай такой: украдет у соседа лошадь, да ей же и угощает. Даже не сердятся... Ну, народец! Поругался я, поругался да с тем и уехал в Шатрово.

Мне было жаль Сарафанова, но эта история с «рысачком» заставила меня хохотать до слез. Сарафанов и сам хохотал вместе со мной.

— Ведь чистый хаос вышел, — говорил он, вытирая слезы. — Чего с них, азиятов, возьмешь? У меня собака лучше живет, чем они. Наивно вам говорю... Натрескаются своего кумысу да маханины и спят всей деревней. Хоть трава не расти!. А уж если украсть, — кожу с живого сдерут да тебе же ее продадут.

— Ну, а дальше?

— Дальше-то... Приезжаю это я в Шатрово, отец Михей чуть на руках не ходит: «Нигилист женится...» — «Да на ком?» — говорю. «Ах, говорит, какой ты непонятный человек: на Тонечке». Ну, я даже перекрестился, потому что, помните, какие слова Никандр Михеич выговорил касательно Анки.

— А что Шептун?

— Шепчет да Анку ругает. Ведь умный старичонко, а вот, поди ты, какую слабость в себе имеет. Да-с. Так вот-с, мы этаким манером, честным пирком да и за свадебку. Отец Михей меня не пустил. «Кожу, говорит, с тебя сниму, как башкиры с твоего киргиза... Освежую!» Большие шутники отец Михей. Ну, горе-то у меня свое, да и обидеть не хотелось — я и прохлаждаюсь на свадьбе. А нужно вам сказать, что Никандр

Михеич очень грациозно сделали: «Никакого мне, говорит, вашего приданого, ни денег за женой, чтобы ни боже мой...» А капитану это и на руку: в одной юбочке отпустил Тонечку-то. Это дочь-то родную, да еще какую дочь: и умненькая-то, и хорошенькая-то, и добренькая... Сюперфлю!.. Никандр-то Михеич хотел было и свадьбу сыграть по-нонешнему: обвенчаться между первым и вторым стаканом чаю, да не тут-то было, — отец Михей и думать не велел. Ну, хороводимся этаким манером на девишниках да на столованье, а тут мировой посредник со становым да с урядником — шасть на свадьбу. Отец Михей радехонек: ему бы только человеческое обличье было да пить мог — вот и дорогой гость. Я сижу этак в уголке, а посредник, как увидал меня, сейчас становому: «Шу-шу-шу...» А я опять сижу да еще этак про себя думаю: «Видно, мол, солоно я тебе пришелся». Наивно вам говорю: сижу это и думаю... Потом, знаете, при всей честной компании взяли меня, раба божия, под ручки, — прямо меня в повозку. Отец Михей и капитан заступились было за меня: куда тебе — и приступу нет! Ну, думаю, пришло мое докончание; а все-таки я прав и готов пострадать. Ничего не дали даже захватить с собой, так и волокут в город. По деревне едешь — даже совестно, все пальцами указывают... Наивно вам говорю! И сижу я таким манером за решеткой и слушаю себе всякое поношение. Кто говорит, что поджигателя поймали, кто нигилиста... Всякий, значит, свое мелет. А я жду только одного, скоро ли меня к прокурору... И что бы думали: отсидел я две недели, потом ведут меня к полицмейстеру... Читал, читал он мне, а потом этак пальцем погрозил и говорит: «Ты у меня смотри, художник... Я тебе пропишу таких дупелей, что позабудешь дорогу к своей избушке, не то что к башкирам!» Ну-с, вышел я... Значит, опять вольная птица. Дождичек этак моросит, где-то к обедням перезванивают, люди бегут по своим делам... И так мне это тошно стало, так тошно. Думаю, хоть бы умереть. Вот к вам и пришел...

— А консервы ваши где?

— Казачки скушали... Грация!

«В ХУДЫХ ДУШАХ...»

Рассказ

I

— Вот тебе и Шерама́... — проговорил мой возница, тыкая кнутовищем по направлению блеснувшей из-за пригорка степной речки Уразаевки. — Как на ладонке...

Шерама́, село дворов в полтораста, красиво облепило бревенчатыми избами холмистый берег Уразаевки. Издали можно было залюбоваться им. Таких сел в Зауралье попадается очень много. Одно только портило картину: насколько хватал глаз, ковром расстилались все поля и поля, и нигде не было даже клочка леса. А прежде, лет полтораста назад, судя по преданиям, вдоль берегов Уразаевки красовались вековые бора, — и аборигены Шерамы, башкиры, откочевывали на летние тебеневки далеко, в Ишимскую степь. Даже пней не осталось от этих боров, все выжгли уральские заводчики, им усердно помогали и сами крестьяне. Русский человек ценит лес только тогда, когда его изведет до последнего дерева. Впрочем, шераминские мужики не особенно тужат об исчезнувших лесах, потому что на месте этих лесов теперь зеленеют бесконечные хлебные поля, сенокосы, и только часть остается под пустошами, куда выгоняют скот. История этих исчезнувших в Зауралье лесов живо напоминает историю прежних обитателей этого благословенного края, башкир; последние

давно уже вытеснены из лучших мест русским населением. От башкир остались во многих местах только одни названия. Так, речка Уразаевка и село Шера́ма — несомненно, названия башкирские, хотя в Шераме не найдете ни одного башкира, как и по всему течению Уразаевки. Здесь плотно и крепко осело русское население, и между бывшими башкирскими деревнями рассажались чисто русские села: Шляпово, Новоселы, Полома и так далее.

Но зауральский мужик совсем не того типа, к какому привык глаз в великорусских губерниях. Здесь живет народ «естевой», то есть зажиточный (вероятно, от слова: есть), «народ-богатей», если сравнить с «Расеей». Матушка Сибирь вспоила, вскормила его и на ноги поставила. На привольных местах окреп тот же самый народ, раздобрел. Недаром славятся сибиряки своей смышленостью и промышленным характером. Под боком киргизская степь, Обь с своими притоками; позади стеной подымается Урал — было где поучиться зауральскому мужику уму-разуму.

От деревни Шляповой до Шерамы вез меня какой-то дядя Евмен и всю дорогу весело балагурил на своем облучке. При виде Шерамы даже Евмен пришел в некоторый восторг, потому, вероятно, что она раскинулась, «как на ладонке».

— Важное село, — говорил, любуясь, Евмен, когда наша телега начала осторожно спускаться по крутому косогору прямо к реке. — А вон дом попа Якова... Естевый поп. Тебе к нему?

— Да.

— Ну, ты, ма-ахонькая! — прикрикнул на свою лошадь Евмен, прыгая на облучке; его рубаха из изгребного холста надулась парусом, показывая свои кумачные ластовицы. — Попадья Руфина пирогом попотчует, — прибавил Евмен, поворачивая ко мне свое широкое улыбавшееся лицо с оскаленными зубами и загорелым румянцем.

— Любите попа Якова? — спросил я.

— Якова-то? Пошто его не любить — любим... Он у нас как мохом оброс. Теперь, надо полагать, на пятый десяток перевалило, как он поступил к нам в Шераму.

Нет, ничего, любим Якова... у него десятин сорок, поди, посеяно — да скотины сколько... всякой всячины — дивно! Яков-то все у нас сам доспиет [1], своими руками, оттого мы его и любим. Примется пахать, так куды мужику, не угнаться... Могутный из себя, навалится на сабан, так лошадь-то только-только не закряхтит, едва выворотит полосу-то. Важно пашет... А примется косить или сено метать, или молотить — только успевай глядеть. А вот жать — нет, не может, — с улыбкой прибавил Евмен, поглаживая свою бороду мочального цвета: — брюхо не позволяет... Как нагнется, глядишь — и сел. Ей-богу!.. Да и то сказать, старо место, на седьмой десяток перевалило, где уж за молодыми угнаться...

После короткой паузы Евмен тряхнул своей головой и, поправив шляпу на один бок, проговорил задумчиво:

— А ведь у попа-то Якова ноне не ладно в дому...

— Что так?

— Да так... — коротко ответил Евмен таким тоном, который делал дальнейшие расспросы совершенно излишними.

Мы въезжали в самое село. Широкая улица, обставленная рядами красивых изб, вела прямо к каменной белой церковке, красиво прятавшейся в густой зелени черемух, лип и берез. Наше появление, конечно, прежде всего обратило на себя внимание деревенских собак, которые с азартным лаем настоящих провинциалов провожали нас до самого дома о. Якова. Я очень люблю этот домик, выстроенный о. Яковом из старинного кондового леса; он так добродушно поглядывает из-под своей порыжелой тесовой крыши узкими окошечками с белыми ставнями, точно вот-вот сейчас хочет улыбнуться. Лет десять не бывал я в этом доме, но он не изменился ни на волос, только как будто глубже врос в землю да плотнее надвинул свою крышу прямо на глаза, как старую разносившуюся шляпу.

— А вот и попадья Руфина!.. — проговорил Евмен, когда наша телега мягко подкатилась по зеленой полянке к воротам, точно по ковру.

---

[1] Доспиет — поспеет. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

У ворот стояла низенькая толстая старушка в полинялом темненьком ситцевом платье и, заслонив черные узкие глаза короткой пухлой ручкой, внимательно всматривалась в меня. Ей было под шестьдесят, хотя на вид она казалась бодрой еще не по летам. Круглое добродушное лицо было покрыто мелкими морщинами; они собрались около глаз и рта лучами, разбегавшимися по всему лицу при каждой улыбке.

II

— Здравствуйте, Руфина Анемподистовна, — здоровался я, слезая с телеги. — Не узнали меня?

— Да где тебя сразу-то узнаешь, — отозвалась добродушно старушка, видимо еще сомневаясь в твердости своей памяти.

— Ах, батюшки... да ведь это ты... — встрепенулась старушка, называя меня по имени.— А уж я-то не чаяла тебя и в живых видеть... Никак, лет десять будет, как ты не бывал у нас?

— Около того.

Старушка обняла меня и расцеловала, а потом, схватив за рукав пальто, бойко потащила в «горницу». Пока мы шли от ворот к старому крылечку, она несколько раз оглядывалась на меня, как будто стараясь убедиться в том, что имеет дело не с призраком, а с живым человеком. Конечно, при таком благоприятном случае старушка не преминула всплакнуть и сквозь слезы с каким-то детским всхлипываньем шептала:

— Из себя-то уж ты больно тово... в чем душенька!.. Все, небойсь, учился? Ох-хо-хо... Учитесь вы до седого волоса, а когда жить-то будете...

— Как отец Яков здравствует?

— Здоров, ничего... Что ему сделается?..

Дворик у о. Якова был устроен на крестьянскую руку. Службы были заняты «ста́йками» для скотины, амбарами, сусеками и громадным сеновалом. На задней половине двора помещалось отделение живности; из-за перегородки весело смотрела мохнатая голова годовалого жеребенка; несколько овец лежало в тени амбара,

вытянув по земле шеи. Из самой глубины двора выглядывала маленьким окошечком крошечная банька; в ней о. Яков любил отдохнуть летом после обеда часок-другой и «позолотить хлеб-соль», то есть покурить из большой деревянной трубки. Посреди двора стояла тюменская телега, на которой только что приехали с поля; на колесах оставались следы вчерашней грязи, а из кузова лезла во все стороны не успевшая еще подсохнуть недавно скошенная трава. Под навесом у погреба были сложены бороны.

— Милости просим... — говорила матушка Руфина, с легким перевальцем утицей забегая по настланным дощечкам в темные сени; она распахнула дверь в кухню и любовно смотрела на меня своими черными глазками.

Если во дворе было царство о. Якова, то за порогом сеней начинались уже владения матушки Руфины. Я всегда с некоторым благоговением переступал через этот порог; за ним каждая вещь говорила о неустанном, вечном труде. Налево от входных дверей, за косяком, стоял обыкновенно посошок о. Якова; если посошок дома — и хозяин дома, посошка нет — и хозяина нет. Теперь посошок отсутствовал. Направо в углу стояла крашеная деревянная кадка с водой, а потом целый арсенал сундуков, ящиков, ящичков, коробушек, плетенок и тому подобного «хлама», как называл о. Яков весь этот хозяйственный скарб. От самого порога сеней вела в горницу белая, как снег, тропинка из домашнего холста.

Ход в горницы шел через кухню, и другого не полагалось. «Что я, разве губернатор какой, чтобы парадное крыльцо строить, — говаривал поп Яков. — Я, брат, своими руками дом-то строил... Тут не много разгуляешься. Было бы тепло!» Впрочем, незнакомый человек не скоро бы и догадался, что он в кухне. Русская печь скромно пряталась за ситцевой занавеской, посуда была всегда прибрана, и, может быть, только один пузатый самовар, всегда стоявший на залавке, мог навести некоторое сомнение своим присутствием.

— Снимай балахон-от свой, — говорила матушка, помогая мне снять верхнее пальто. — Гость будешь, да

еще какой гость-то.. Вот ужо поп придет, так он как обрадуется...

Прямо из кухни одна дверь вела в горницу самого о. Якова; эта горница выходила тремя окнами на улицу и была перегорожена низенькой ширмой пополам. За ширмой стояла широкая двуспальная кровать. Вторая дверь вела из кухни в горницу матушки Руфины, крошечную комнатку, выходившую одним окошечком на двор. Нужно сказать, что в домике о. Якова всегда стоял совершенно особенный воздух, весь пропитанный каким-то специфическим ароматом. Не то росным ладаном пахло, не то старой вишневой наливкой или геранью — не разберешь хорошенько.

— А это у вас что за оружие? — спросил я, рассматривая полицейскую шашку, которая висела на ширме вместе с белым кителем.

— Да ведь Прошку-то помнишь? Ну, еще из училища его тогда исключили! Это его муниция... Он у нас урядником служит в Шераме. Как же, чин получил недавно... Теперь где-то в Полому уехал, ловит кого-то.

— Кого?

— Да в Поломе-то попом отец Ксенофонт, а у него сын... Ну, там где-то в Москве обучался. Только это так... он совсем ничего, а это Прошка придумал.

На маленьком столике, который стоял в углу комнаты, были разложены книги и стопкой лежали подобранные номера газеты. На одном переплете я прочитал «Das Kapital, von Marx» [1].

— Это Кинтильяновы книги, — предупредила мой вопрос старушка. — Ты его не помнишь, поди? Нет, где помнить. Он еще в училище тогда учился, когда ты был у нас в последний-то раз.

— Ведь у вас еще два сына?

— Да, как же... Митрей-то Яковлич попом теперь в Зюзиной служит, а Никаша — дохтуром земским. Четверо их у меня.

— А дочь? Ведь у вас была девочка, Аня.

---

[1] Маркс — «Капитал» *(немецк.)*.

Старушка только махнула рукой.

— Замуж вышла?

— Нет...

— Умерла?

— Хуже... — прошептала со слезами на глазах бедная старушка и, осторожно оглядевшись кругом, таинственно проговорила: — Ужо расскажу тебе вечером, когда уберусь. Да вон и поп с Кинтильяном идут... Обедать сейчас будем.

III

Поп Яков вошел в это время уже в кухню и, заметив меня, проговорил своим густым баском:

— Да это никак...

Он назвал меня по имени и, заключив в свои могучие объятия, облобызал. Высокого роста, с могучей грудью, поп Яков смотрел настоящим русским богатырем, а благообразная седина придавала его фигуре нечто патриархальное. Когда, мальчуганом, я учил историю ветхозаветных патриархов, поп Яков для меня служил живым и наглядным примером; я отлично представлял себе фигуру библейского патриарха Иакова — стоило только закрыть глаза и припомнить попа Якова. Десять лет, в течение которых я не видал его, почти не изменили его наружности, за исключением разве того, что косматая окладистая борода из седой превратилась в желтую, да на высоком лбу легло несколько глубоких морщин. И костюм на о. Якове остался тот же, то есть нанковый синий подрясник с высоким стоячим воротником, каких нынешние модные батюшки уже совсем не носят: из-под подрясника выглядывала ситцевая рубашка-косоворотка, перехваченная тоненьким гарусным пояском чуть не под самыми мышками. Этот поясок мне всегда казался особенно забавным, потому что без подрясника, в одной рубашке, как частенько ходил дома о. Яков, он походил на колоссального ребенка. Старик любил в таком виде работать во дворе или в огороде, а на пашне это было даже ему необходимо, потому что подрясник только заплетал ноги и мешал работать.

Широкое русское лицо попа Якова глядело своими большими серыми глазами строго и внушительно; губы всегда были плотно сжаты и очень редко распускались в улыбку. И в фигуре, и в движениях, и в выражении лица сказывался человек, который «в поте лица снискивал» свой хлеб. Я всегда любил эту спокойную уверенность попа Якова, его медленную речь, веселую умную улыбку, которою все лицо точно освещалось.

На этот раз меня неприятно поразила только одна перемена в о. Якове; он оставался прежним попом Яковом, — но это по наружности. Глаза же смотрели как-то неестественно пытливо, и он несколько раз тревожно поглядывал в окно; улыбался он тоже не попрежнему — какой-то натянутой, не своей улыбкой. Вообще во всем — в движениях, в голосе, во взгляде и в улыбке — чувствовалось то «неладное», о чем мне говорил доро́гой Евмен.

— Ну, мать, соловья баснями не кормят, — заметил о. Яков, когда мы успели обменяться первыми вопросами, какие неизбежны между старыми знакомыми после долгой разлуки.

Кинтильян, сын, только издали поклонился мне и даже не вошел в горницу. Он был одет в коротенькое казинетовое пальто; казинетовые брюки были заправлены за сапоги. Такая же ситцевая рубашка, как у о. Якова, была точно так же подпоясана гарусным пояском и выпущена поверх брюк, на мещанский манер. На вид ему можно было дать лет двадцать пять; русая пушистая бородка красиво обрамляла его бледное, изнеможенное лицо и придавала ему какую-то преждевременную серьезность. Вообще и ростом и лицом Кинтильян походил на мать; отцовского в нем оставались только одни глаза — серые, большие, строгие, с темными густыми ресницами.

— Милости просим... — приглашала матушка, появляясь в дверях. — Только уж ты, гостенек, не обессудь нас на нашей простоте... Нечем тебя угощать-то, потому приехал к самому обеду, а печка у меня уж простыла.

— Ничего, вечером пельмени сделаешь, — успокоил о. Яков старушку. — А теперь пусть отведает нашего

мужицкого кушанья... Ешь просто, проживешь лет со сто! — пошутил батюшка.

Мы уселись в кухне за маленький деревянный столик, накрытый синей изгребной скатертью. Тарелок не полагалось. Ели из одной чашки деревянными ложками. Кушаньев было собственно два — щи и гречневая каша. Зато щи матушки Руфины стоили целого обеда. Таких щей никто не умел делать, и старушка гордилась своим искусством.

— Давно ли попал в наши палестины? — спрашивал о. Яков между первой и второй чашкой щей. — Там ведь, в вашем-то Петербурге иль в Москве, все бедовый народ живет.

— Ну уж, пошел... — с неудовольствием заметила матушка.

— Чего пошел?! Я дело говорю... Вон благочинных запретили выбирать... Везде суд, да доносы, да подозрения, — говорил как-то отрывисто о. Яков и вдруг спросил: — А где у нас Прошка, мать?

— Сам знаешь где, — неохотно ответила матушка.

— Это он в Полому забрался? Да не пес ли... не за столом будь сказано... Да Ксенофонт-то разорвет его, как дохлую кошку... Ну и народец только нынче пошел!..

Отец Яков все время сильно волновался и несколько раз принимался бранить то Петербург, то Прошку. Кинтильян хранил самое упорное молчание и не проронил ни одного словечка. После обеда о. Яков увел меня в горницу, закурил свою деревянную трубку и опять навел разговор о Петербурге. Несколько раз он среди своей речи бросал трубку, рылся в газетах и вынимал какой-нибудь номер, где карандашом было отмечено все достойное примечания.

— Нет, он нам вот где, ваш Петербург-то, — говорил старик, указывая на свой могучий затылок. — Ой, как солоно он приходится... Да! Хорош Питер, да бока повытер... Кажется, живешь себе в таком месте, что и ворон костей не заносит, а глядишь — не тут-то было. Да!.. Прежде я этих самых газет и в руки никогда не брал, разве про войну прочитаешь, а нынче не-ет...

Ждешь не дождешься номера-то, как Христова дня. Не прежние времена... Вон мужики — и те как газеты любят читать. Недаром, видно, пословица сложилась, что в городе дрова рубят, а в деревню щепки летят...

Вечером матушка Руфина приготовила пельмени, а когда мы уже сидели за столом, явился и Прошка — из Поломы. Он был верхом и едва мог спуститься с седла. Пошатываясь, вошел он в кухню и красными, воспаленными глазами посмотрел на всех. Плотный, коренастый Прошка цвел завидным здоровьем.

— Ну, что, не отколотил тебя Ксенофонт? — спросил о. Яков.

— Н-нет... мы помирились, — заплетавшимся языком ответил Прошка, стараясь сохранить равновесие, а потом покрутил головой и улыбнулся пьяной блаженной улыбкой. — Мы с Ксенофонтом-то целую четверть раздавили, родитель... А я ему все-таки покажу! Нет... я ему... Он меня сначала-то было за ворот схватил...

— Я бы на его месте так просто удавил бы тебя, яко смердящего пса! — заметил о. Яков. — Взятку, небойсь, хотел взять?..

— Н-нет, зачем взятку брать... закон не велит, а вот четвертную мученицу ничего... не воспрещено...

Прошка только теперь заметил меня и сейчас же преобразился, принял деловую осанку, нахмурил брови и строго спросил:

— А позвольте, милствый гсдарь... документы!

— Я тебе покажу такие документы, что ты у меня не будешь знать, которым концом сесть... — зарычал о. Яков.

— Да я так... пошутил... — осклабился Прошка и, махнув рукой, прошел в горницу.

Отец Яков хотя и храбрился все время, но я заметил, что он не в своей тарелке. Нет-нет и посмотрит в окно как-то из-за косяка, точно он опасался какой-то засады или нечаянного нападения. Матушка Руфина тяжело вздыхала и подбирала губы оборочкой, делая вид, что ничего не замечает.

IV

Вечером мы долго калякали с попом Яковом, сидя на завалинке во дворе. Говорили о разных разностях и, между прочим, о местных новостях.

— Ябеды везде пошли, — объяснил мне старик. — Прошка-то, — видел его давеча, — раньше был сельским учителем. Так этот самый отец Ксенофонт все на него доносы писал: и в церковь, мол, не ходит, и газеты мужикам читает, и по постным дням скоромное ест... Выжил ведь парня с места! Шатался-шатался Прошка без места, а потом за свою простоту в урядники попал... И как это он устроил — ума не приложу. А как попал, и пошла потеха... Есть тут в Новоселах псаломщик, Варвар. Башка, я тебе скажу! Вот этот Варвар повздорил о чем-то с отцом Ксенофонтом и давай доносы жарить на его сына, а Прошка его ловить... Теперь у них такая каша, что упаси боже!.. Ксенофонт-то больно дерзок на руку и силен, медведь медведем. Вот когда-нибудь он освежует Варвара с Прошкой...

Попадья Руфина, пока мы беседовали на завалинке, подтыкав подол, таскала ведро за ведром в стойки, где мычали только что вернувшиеся с поля коровы. Старушка искоса поглядывала на нас, улыбаясь, и, перегнувшись на один бок, с старческим покряхтыванием семенила по двору. Когда она прошла с большим дойником доить коров, поп Яков поднялся и проговорил:

— Ну, заболтался я с тобой... Поди-ка спать в баню, там уж мать все тебе приготовила. Утро вечера мудренее... А мне еще нужно к завтрему дров наносить попадье да телегу вымазать.

— А что ваш доктор? — спросил я.

— Это Никашка-то? Служит в земстве, что ему сделается. Недавно был у нас с женой... Ты разе не слыхал? Женился... Такую госпожу в очках подцепил, что... Ну, да это не нашего ума дело: ему с ней жить-то, а глянется, так и слава богу.

Поп Яков побрел за дровами, а я отправился в баню. Там матушка Руфина когда-то успела уже все приготовить. На широкой лавке был постлан киргизский

войлок, покрытый чистенькой простыней с плетеным кружевом у спускавшегося на пол края. Ситцевая подушка, взбитая пухленькими ручками матушки Руфины, высилась горой. Рядом с постелью на деревянном табурете была поставлена сальная свеча в железном луженом подсвечнике, и тут же лежало несколько номеров газеты и еще какая-то книга. Добрая старушка обо всем успела позаботиться, чтобы доставить гостю все удобства. Я развернул книгу и невольно улыбнулся. Это были какие-то литографированные записки по женским болезням. Нужно сказать, что матушка Руфина не умела читать и притащила первую попавшуюся под руку книгу.

В бане было немного душно, и я открыл окно. На меня глянула пахучая летняя ночь и краешек синего неба, усыпанный звездочками, как серебряными блестками. Тут же под окном, на двух грядках, росли кусты малины, образуя зеленую беседку. Несколько кустов бузины и ряды гряд с капустой, картофелем и горохом упирались в низкую изгородь, которою усадьба попа Якова разграничивалась с владениями церковного старосты, зажиточного мужика Никитича. По наружной стороне бани по натянутым веревочкам вился зеленой спиралью хмель; пара молоденьких веточек его с детским любопытством заглядывала в самое окно. Наверно, Аня любила этот тенистый уголок, где летом так удобно работать. Я едва помнил ее девочкой лет двенадцати, с любопытными и серьезными черными глазками, с неправильным, но симпатичным, всегда загорелым личиком... Где-то ты, Аня, проводишь эту мягкую и поэтическую ночь?

В открытое окно тянуло свежим ночным воздухом, вносившим с собой пеструю смесь звуков, какими отдавала теперь спавшая глубоким сном Шерама. Где-то перекликались деревенские собаки, ржала лошадь; глухо погромыхивая, прокатилась по деревенской улице запоздалая телега. Точно с того света донеслась и сейчас же смолкла далекая проголосная песня. Кто ее поет, эту песню: может быть, молодой деревенский парень, которого зазнобила девичья краса; может быть, выливается в ней чье-нибудь одинокое тяжелое горе; может

быть, поет забубенная головушка, кабацкий пропойца... Мудрено поет русский человек; не разберешь хорошенько, горе или радость заставляет его петь.

Любуясь ночью, я вспомнил про женитьбу доктора Никашки.

Странный был человек этот Никашка. Как теперь вижу его в коротенькой люстриновой поддевке, в таковых же шароварах, заправленных за сапоги, и в сером мужицком чекмене, который он носил вместо осеннего пальто. Из-под мягкой коричневой пуховой шляпы любопытно и насмешливо выглядывали два черных бойких глаза. Узкое лицо с козлиной бородкой и широкими губами отличалось необыкновенной подвижностью и постоянно улыбалось умной, немного иронической улыбкой. Одним словом, уродился Никашка, как говорится, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Таким учился и таким жить пошел, да, вероятно, таким и останется до гробовой доски.

Помню — это было в начале шестидесятых годов, — как в первый раз явился Никашка в Шераму доктором в своей поддевке и верхней сермяжке. Удивил он даже деревенскую простоту. Щеголяли и другие сермяжками, да скоро бросали, а Никашка так и остался с ней на всю жизнь. Прост был Никашка, да и время тогда было совсем особенное, не в пример другим. Идеальное было время, хотя Никашка в простоте своего сердца считал себя «мыслящим реалистом». Жил этот доктор еще проще, чем одевался. С удовольствием припоминаю, какое неизгладимо сильное впечатление производил Никашка тогда на нас, школяров. Что-то такое хорошее, убежденное, верующее чувствовалось под его сермяжкой, и мы льнули к нему, к его книжкам, к его рассказам об alma mater [1].

Только давно это было, много воды с тех пор утекло, а, право, доктор Никашка остается для меня лучшим и самым дорогим воспоминанием, как хороший юношеский сон, смутный и неопределенный, но после которого чувствуешь такой прилив молодых сил.

---

[1] Матери-кормилице. Здесь имеется в виду учебное заведение.

V

— Ты не спишь еще? — послышался голос матушки Руфины, и ее круглое сморщенное лицо показалось в оконце.

— Да еще рано...

— То-то, я смотрю, окно не заперто... Дай, думаю, загляну, — прибавила старушка, точно в свое извинение. — Да зажги свечу-то, чего в потемках разговаривать... Не воровать пришли!

Я чиркнул спичкой и зажег свечу. Желтый неровный свет разлился по бане и осветил лицо старушки; оно было теперь серьезно и печально. В раме окна на темном фоне матушка Руфина походила на портрет старинной голландской школы.

— О чем с попом-то разговаривали даве?

Выслушав мой рассказ, она тяжело-тяжело вздохнула и, пристально взглянув на меня, заговорила:

— Ничего-то я, равнешенько ничего не понимаю... Хоть расколи меня! Точно вот не я слушаю, а кто-нибудь другой...

Матушка сильно пригорюнилась, высморкалась и, вытерев кончиком фартука глаза, опять начала:

— Вот и я пришла к тебе... поговорить с тобой. А то хожу я, как в потемках все равно. Да... Смертоньки нет, а жить, пожалуй, и в тягость. Отдохнуть бы старым костям...

— Что вы, Руфина Анемподистовна, — поспешил я успокоить старушку, — зачем умирать. Еще жить нужно...

Старушка только махнула рукой, а потом, улыбнувшись сквозь слезы, прибавила:

— Известно, раньше смерти не умрешь... а только пора. Как человек не стал ничего понимать, значит пора и в землю. Чего даром-то небо коптить?

— А вы о чем со мной хотели поговорить?

— О чем поговорить-то хотела?.. — в раздумье повторила мой вопрос старушка. — Видишь ли, надо сначала тебе рассказать все, как дело-то наше вышло, а потом уж я тебя и спрошу. Только я тебе зачну с самого начала рассказывать...

— Рассказывайте, я с удовольствием послушаю.

— Ты ведь Никашу-то помнишь?

— Как же, очень хорошо помню. Он женился?

— Женился... — уныло ответила матушка. — Была я у них как-то, у Никаши-то... Расскажу я тебе, как в гости-то ездила. Уж после свадьбы была. Он ведь в городу живет, в Мохове. Там и квартира у него. Только сам-то он больше в разъездах. Должность-то свою все собачьей службой зовет да еще прибавит: «Волка ноги кормят, маменька!» Знаешь его: у него каждое слово неспроста, все смешком. Ну, давненько он меня звал к себе в гости, да все недосуг был, а тут как-то перед рождеством я и собралась от свободности. А давно в городу не бывала, да и на лошадях страсть боюсь ездить... хуже смерти! Всю дорогу под подушкой лежала... Думаю, если и убьют меня лошади, так хоть невзначай. Не видали бы глазыньки. Вот и приехала я в город, на его квартиру, часов этак в десять утра, а он еще спит, и жена спит. В разных комнатах спят, по-образованному, она на одном конце дома, он на другом. Грешным делом, случись пожар, один сгорит, а другой и не услышит. Все по-образованному... Хорошо. Промерзла я в дороге, а работница вышла разряженная такая...

— Горничная?

— Ну, по-вашему горничная, а по-нашему работница... Только хотелось мне чайку испить с дороги — не посмела, горничную-то побоялась беспокоить, а самой ставить самовар да в чужом доме как-то и неловко. Хоть и деревенская дура, а все-таки докторова мать. Ну, вот докторова мать и сидит час, сидит другой, инда в горле пересохло, а все не смею спросить самовару... Только встали, наконец, то есть Никашка встал. Увидал меня, обрадовался. Сидим, калякаем. Только выходит жена... А я еще не видала ее. Посмотрела на меня этак сыздальки, кивнула головой, усмехнулась и пошла опять в свою комнату. Из себя женщина довольно полная и молодая, ну, а личиком как будто не вышла маненько... шадрива и глаза как-то навыкате, точно кто ее стукнул по затылку. «Наташа, — говорит мне Никаша, — умная... Ты уж не обращай на нее внимания, у

ней, говорит, характер...» Как-то это он мудрено выразил, да я и позабыла. «Вижу, говорю, Никаша, что умная у тебя жена... Вот бы, говорю, чайку испить...» Подали самовар... А надо тебе сказать, что квартира у Никаши хоть и хорошая, да только столь она грязна, столь грязна, — и не умею сказать... Вот когда перед пасхой дома убираем, так в этом самом роде. И самовар, и чашки — все под одну стать... Ну, мы с Никашей чай пьем, а жена в книжку читает и цыгарку при этом курит. Только в своей деревенской простоте, я и спрашиваю: «А сколько ты, Никаша, в год проживаешь?» Жена-то как воззрится на меня. «Вы, — говорит этак высоко, — подсчитывать, что ли, нас приехали?» — «Извините, говорю, невестушка, на глупом слове, потому как я сказала спроста...» Ну, ничего, напились чаю, а тут за Никашей приехали из уезда. «Вы, говорит, маменька, погостите тут, пока я езжу...» Я сдуру-то и останься. Ну, не понимаю, значит, как это по-образованному-то люди живут, дай погляжу. Никаша уехал, а я сижу. Походила по комнатам, небель посмотрела, обзаведенье... А жена все в книжку читает, точно по комнатам кошка ходит. Ей-богу. И смешно мне и жаль, то есть Никашу-то жаль. Села я этак к окошечку, пригорюнилась. Сидела, сидела, вплоть до самого вечера высидела... Обедают у них в семь часов вечера, когда мы ужинаем. Ну, тут мне и вспади на ум: чего, мол, я дуру здесь строю?.. Пошла на двор, да и велела лошадей запрягать мужику, благо они отдохнули. Так, не емши, и уехала от гощенья; дорогой уж калачик городской прихватила да на станции съела... Я тебе это не к тому рассказываю, чтобы жену Никаши осудить... Господь с ней! Может, она и в самом деле ученая, а я только к тому веду речь, что понятия во мне не стало... Не понимаю ничего, и конец. По-Никашину, это, может, и хорошо так жить, а мне так его жаль... Прост он, Никаша-то, вот что! О чем я, бишь, хотела рассказать-то... Ты перебил меня этой свадьбой-то...

— Да о Кинте хотели рассказывать, матушка.

— Да, да... припомнила. Это я со снохой-то спуталась... Ну, помнишь, как тогда Никаша дохтуром приехал? Тогда Кинте уж в семинарию надо было перехо-

дить... Нет, не так. Митрею — в семинарию-то, а Кинтя в духовном училище еще учился. Так вот Митрея-то тогда из семинарии исключили. Никаша и взял его к себе. А Митрей, кроме своей водки, и знать ничего не хочет... Побился-побился с ним Никаша года с два, так ничего и не смог сделать, а Митрей в псаломщики поступил, а теперь в попы вылез. Это прежде трудно было в попы попадать, надо было из богословия, а нынче исключат из семинарии, а потом его же в попы и поставят. Так вот Митрей-то Яковлич первое горе нам с отцом и сделал. А теперь ничего, выправился. Сытый такой, горло широкое, конский завод держит... По-моему, это не подходяще попу... Только это мы успели оглянуться, а тут Прошка из училища вылетел. Этот уж совсем дурашливый уродился, так, пожалуй, и горя бы не было. Думали, пусть его при домашности останется; все же, пока мы живы, с голоду не помрет. А Никаша давай Прошку учить, да в учителя и определил... Ну, дальше уж знаешь, какая каша вышла с Ксенофонтом этим да с Варваром. Так вот трое у меня старшеньких сынков, как-никак, а все при месте. Опять вздохнули мы с попом свободнее, думаем — теперь отдохнем, потому Кинтильян учился первым, а Аня дома жила, так какая забота о ней. Ну, как, значит, человек возгордится, как мы возгордились с попом Яковом, господь его и найдет... Мы думаем теперь, вот отдых нам пойдет, — а глядишь, вместо отдыха горе, да еще какое горе-то!.. Вот у меня их пятеро, как перстов на руке, а всех одинаково жаль, да глупого-то, как Прошку, еще больше жаль. И пословица говорится: умного-то жаль, а дурака вдвое...

Старушка печально смолкла и, как бы отдохнув, продолжала:

— Из четырех сынов Кинтильян был самый меньшенький, — так начала старушка подавленным голосом, — только еще Аня была его моложе... Та уж так и родилась и росла совсем на особицу: одна дочка в доме, балованное да нежное дитятко... Ну, так Кинтя как еще родился, так не нарадовались мы на него с попом... Точно сколоченный весь, как ядреная репа. Родился —

и кулаки себе сосет, всех насмешил. Так он и вырос... Уж сколько же и хорош вырос мой мальчик: точно нарисованный. Не приходится свое детище хвалить, а к слову пришлось, да и дело прошлое. Румяный, брови черные, глаза, как у отца, да светленько таково поглядывают, и на все руки парень: озорничать так озорничать, учиться так учиться. Растим парня да потихоньку радуемся. И какой-то, господь его знает, характер у него особенный: грубого слова не слыхивали, обиды не знали. Шелк, а не парень. И все-то он видит и все понимает, а стал подрастать — стишал, телячью-то бодрость оставил. Так мы его тогда и в училище это отдали. Отдали, учится, а что ни праздник, то нам, глядишь, новую радость везет, учился все первым, и учителя не нахвалятся. Кроткий да гораздый парень на все. А приедет домой, книжки все до единой привезет и все их учит. Поиграет и учит. Вчуже приятно было смотреть. Все завидовали, а мы напринимались маяты-то с Митрием-то Яковлевичем да с Прошкой-то, так нам это все вдвое кажется. Только одного и боялись, чтобы не избаловать. Поедет, бывало, к Никаше в гости и тоже книжки привезет и опять читать.Так он из училища первым поступил в семинарию и там первым кончил, а сам точно красная девица: румянец во всю щеку, как налитой. Водки капли в рот не брал, не курил этих цыгарок... А здоровье у него, точно бы и век не изжить: никогда не хварывал ничем...

— Вот после семинарии-то и грех первый у нас вышел, — продолжала старушка: —отцу взбрело что-то на ум уговаривать Кинтю идти в попы. И с чего это он придумал — ума не приложу! Сам всегда говорил, что поповское житье самое последнее, а тут на поди... Наладил, что, как умрем, некому будет пред престолом господним стоять... Так уж это, накатился стих такой... Ну, Кинтя слушал-слушал отца-то, тихонечко этак усмехнулся, да и ответил: «Это, говорит, вы меня дармоедом хотите сделать?»Тут уж отец-то из себя вышел: засучил рукава, да и показывает ему руки. «Погляди-ка, говорит, щенок ты этакой, разве у дармоедов такие мозоли живут на руках? Это, говорит, вы — дармоеды-то... Знаю, говорит, кто тебе в уши надул: Никашка!..

Он думает, говорит, что большое жалованье получает да образование имеет — так только будто и свету, что в окне? А я, говорит, горбом добываю каждый кусок, да этим же куском меня и корят...» Ничего не сказал Кинтя, сложил себе котомку, попрощался и ушел. «Куда, говорю, идешь-то?» — «Учиться», — говорит. Думаем с отцом, что к Никаше уйдет, на брата надеется. Стороной наведались про Никашу, а тот и сном дела ничего не знает. Тут уж мы и схватились за ум... Погорячился отец-от, понадеялся на его кротость, а надо бы его потихоньку да лаской. Ну, погоревали, потужили, поплакали, а прошлого, говорят, не воротишь... Через людей уж мы узнали, что Кинтя в Москве учится, а потом он и письмо прислал. Как уж он там устроился, где денег взял — ничего не знаем. Написал, что ему хорошо и что в деньгах не нуждается...

— Прошло этак года с два, — продолжала матушка Руфина с тяжелым вздохом,— тут нам Кинтя и объявился в Шерамé. Нежданно-негаданно, как снег на голову. «Приехал, говорит, из Москвы вас, стариков, повидать». А он эти два года в дохтурском отделении учился... То ли не дошлый парень! Обрадовались мы, что сына увидали, а про свои слезы да про горе, которое мы терпели за эти два-то года, мы и забыли... Больно уж рады мы Кинте-то были! Так рады, так рады... В те поры дочка-то, Аня-то, как раз в емназии в городу курс кончила; Никаша ее на свой счет учил — ну, нам радость вдвое. Не было ни гроша, да вдруг алтын. А Кинтя опять такой скромный да кроткий: воды не замутит. Отец совсем растаял, не надышится на него, а я, грешный человек, держу у себя на уме: «Ой, не ладно дело, что больно смирен наш Кинтя... Недаром он приехал сюда такую даль!» Уж я раскусила его тогда еще, как он отца-то дармоедом обозвал... Кротость-то у него больно уж мудреная. И ведь как он отца обошел: оказия!.. Совсем старик рехнулся и всякое зло позабыл, а следовало бы Кинтю тогда побранить, хоть для видимости. Я пробовала было ругать его, так куды тебе: отец так горой за него и стоит! Приступу нет. Ну, а вышло по-моему... Много слез привез тогда нам Кинтильян!

VI

— Теперь об Анне сказать... — дрогнувшим голосом проговорила старушка. — Последнее наше дитятко было, Аня-то! Маленькая замарашкой такой росла, а в емназии-то выровнялась. Я уж приданое потихоньку готовила... Вот у тебя простыни да одеяла — это из приданого Ани... Да, думали со стариком, что, может, господь велит, и внучат дождемся от дочурки. А мне так это уж совсем хорошо казалось, потому сынки-то — дорого они матери стоят, а радости да привету от них не много увидишь. А дочь-то другое совсем... Она уж все понимает, и дети-то дочернины как-то ближе, чем от сыновей... Ну, мы свое соображаем, а гляжу, стала Аня задумываться... Тогда уж я и спохватилась, что Кинтя ее по-своему поворотил. Увел ведь девку...

— Куда увел?

— Да в этот ваш Петербург... Чтоб ему ни дна, ни покрышки! Сколь мы ни бились, сколь ни уговаривали: наладила одно, что учиться поедет, и хоть ты ей кол на голове теши. Боялась я тогда, чтобы отец или сам не рехнулся, или над Кинтей чего не сделал... Однако обошлось дело так. Кинтюшка-то кротким таким прикинулся, точно он и под ногами-то у себя ничего не видит... Оказия, что это за человек уродится, ведь свое рожоное, а никак ты его не распознаешь... Хорошо. Увез Кинтя нашу Аню в Петербург, и остались мы одни-одинешеньки с Прошкой нашим. Куда с ним деться-то... Отец-то и возроптал на Кинтю тогда, тихо возроптал, а вышло-то так, что и за сына его, пожалуй, не стал считать.

— Прошло этак с каких-нибудь полгода, не больше, пали до нас слухи, что с Кинтей не ладно... Ни слуху ни духу. Как в воду канул. Отец-от нарочно к Никаше в город ездил, телеграмму посылали, и все ничего. Аня отписала мне потихоньку, что Кинтя-то вышел раз из дому вечером, да больше и не приходил. Объявили в полиции, и там ничего не знают. Тогда мы и узнали настоящее горе... Жив ли Кинтя, помер ли, нагрезил ли — ничего не знаем. Я чуть и глаза-то все не проплакала о нем, а отец начал именно с тех пор газеты читать. Все читает

и все из лица как будто темнеет. Ничего не говорит о Кинте, точно его и не бывало никогда. А меня-то вдвое убивает: хоть бы он пожалел его!.. Не понимала я тогда ничего, то есть попа-то своего не понимала, что у него на уме бродит. Только этак прошло с год время... Аня-то из Петербурга так и не выезжала... Летом это мы как-то спим с попом на постели. Кровать-то у нас двуспальная, старинная. Сплю я этак и слышу, как будто кто-то плачет. Как вскочу... Спросонков-то показалось, что дите плачет. Ведь покажется же... Села, да и думаю: «Кому же, думаю, плакать, ведь все большие дети-то!» А на попа-то и не подумаю... Крепок он на слезы, — можно подумать, что совсем бесчувственный, а тут упал лицом-то в подушку да тихо-тихо так плачет, совсем по-ребячьи. Стала его спрашивать, утешать... Тут уж он и сказал все. Встал и говорит: «Сон видел, попадья...» — «Какой такой сон?» — спрашиваю. «А такой, говорит, не простой сон. Прилег, говорит, помолился про себя, а потом и вижу, точно наяву, Кинтю нашего. Вот как тебя вижу... Только далеко это, в нашей же стороне, где на собаках ездят. Бледный такой, исхудал, тоскливо таково смотрит. «Кинтя!» — окликнул я. Смотрит на меня, а ничего не говорит. «Кинтя, говорю, я тридцать лет пред престолом божиим возно́шу молитвы, а ты... что ты наделал? Ведь ты кровь моя, мое рождение, я за тебя должен ответ богу дать на страшном суде...» Слушает меня Кинтя, а потом как у него губы затрясутся, заплачет... «Папа, — говорит это, а сам плачет, — папа, прости меня... Я не могу... Это не от меня зависит... Не моя воля!» От этих самых слов я и проснулся, и так мне стало жаль Кинти, так жаль, что кажется, вот взял бы да и умер вместо него... Жаль, и стыдно, и страшно. Ведь я против бога иду, что такого сына пожалел...» Рассказывает это мне поп, а сам так рекой и разливается... Ну, потом уж я догадалась: затеплила перед образом свечку и велела попу молитву читать... Встали мы на коленки рядышком и давай со слезами с горькими молиться за всех и за вся, и за боляры, и за вои. И так-то мы жарко молились, так хорошо, что и сказать тебе не умею. Плачем и молимся, молимся и плачем... Я, грешный человек, и за Кинтю заблудящего

нет-нет да и поклончик и отложу, — тоже и за Аню. Так молитвой мы тогда этот самый сон и избыли. Точно гора с плеч...

— Ведь Аня-то вскоре после этого и воротилась домой, — прибавила с оживлением старушка. — Зимой было дело... Пошла я вот в эту самую баню зачем-то... Дело вечером было. Темно совсем на дворе. Ну, иду себе ощупью, знакомое место. Только это отворила дверь в баню, гляжу, а там человек... Я так от страху и обомлела... Стою и крикнуть не могу, а сама думаю, что, наверно, это бродяжка беглый забрался на ночь, вот он ужо меня кокнет чем ни-на-есть. А потом и слышу Анин голос: «Мама... это я, не бойся!» Я так на месте и села... дура дурой и ни словечка вымолвить не могу. Это Аня-то, значит, убежала, да и пришла к отцу... Еще мужчинка перебьется как-нибудь, а дело женское, куда ей деться... Вот и сидим мы с ней, горюем. Одежонка-то на ней плохонькая, иззябла вся, не ела два дня... Ах ты, горе мое, горе бедовое! И жаль мне ее, и попу-то боюсь сказать... Потому как ее, беглую-то, держать, ведь человек не иголка, особливо в деревне, сейчас заметят и затаскают по судам. Все-таки укрепилась, не сказала ничего попу, а сама отогрела Аню, накормила... Материнское сердце, из себя кусок готова вырезать, да только бы дите было сыто. Ну, так недели с две и хоронила я Аню по разным углам, а сама и ночей не сплю, и днем мне спокою нет... Где стукнет, где брякнет — так у меня сердечушко и оборвется: по Аню пришли! И богу молилась и зарок давала... Такую муку приняла, такую муку, что совсем хожу вроде как полоумная. А тут уж поп Ксенофонт успел пронюхать про Аню... И как это он узнал — ума не приложу. Ну, сейчас донос исправнику и всякое прочее. Хитрящий поп, все доносы пишет... Вот этак ночью лежим мы на кровати с попом. Он спит, а я все слушаю... вот все равно заяц в логове. Все мне мерещится, — встану, погляжу в окошечко и опять слушаю. Ну, тут и слышу: подъехали тихохонько сани... другие... Подскочила к окошку... Пришел мой конец, подкосились мои ноженьки. Проснулся поп, а исправник и входит. Знаешь Петра Иваныча... Славный такой, чаем сколько раз угощала его, ну, а тут так и

думаю, зарубит он меня, беспременно зарубит. Сейчас Петр Иваныч к моему попу и бумагу ему показывает. Поп так даже затрясся весь, из лица вышел, а потом сотворил крестное знамение и говорит: «Делайте, что хотите... я ничего не знаю!..» А я уж в это время успела одуматься и сама дивлюсь, что вдруг у меня никакого страху не стало... Вот на столечко (старушка отмерила кончик мизинца) не боюсь никого: ни Петра Иваныча, никого... Ей-богу!..

— Нет, постой, надо тебе еще один случай тут рассказать, — прервала старушка нить своего повествования: — была у нас курица кохихинка... Славная такая курица и яйца несла по кулаку. Ну, посадила я ее на яйца, и вывела моя курица цыпляток... А тут, как на грех, ястреб пал на одного цыпленка и поволок. Так что бы ты думал: ведь курица-то его заклевала, ястреба-то. Ухватилась за него да на крыше его и задолбила. Вся деревня тогда диву далась, — отроду не видывала этакого чуда... Ну, так когда Петр Иваныч-то после сказал, что надо теперь на дворе поискать, мне эта курица и вспади на ум. «Не дам, думаю, Аню, и кончено... Мое — не тронь!» Ей-богу, согрешила пред господом богом, — так и подумала... Ну, пошли по двору, потом в баню. Думаю про себя, Аня беспременно под полок залезла или под лавку, прикрою как-нибудь ее платьем... Ведь вот подумаешь, как по-ребячьи все это выходило в мыслях! Ох-хо-хо!.. Ну, пришли в баню, а Аня-то и не думала прятаться. Тут ее и взяли, голубушку, а я вроде как осатанела: ухватилась за Аню-то и давай ее к себе тащить. Кусаюсь, царапаю ногтями, кричу... Так меня в горницу отдельно унесли. Там уж я и отошла потом... Поп-то уж не знал, о ком и горевать, все думал, что и меня вместе с Аней по судам таскать будут. Однако Петр-то Иваныч попустился мне, а Аню увезли. Таскали-таскали ее по городам... а потом Аня-то стала задумываться, да и рехнулась... С год высидела в Казани в душевном лазарете, да толку не вышло. Теперь у Никаши живет. Он ее сам лечит, да только проку не будет... Все молчит и прячется, никого не узнает. Тошнехонько смотреть на нее, а помочь нечем. Думаем теперь

домой ее взять. Загубили мою дочурку, вконец загубили...

Старушка неожиданно заплакала, заплакала мелкими старческими слезами, которые так и сыпались у ней из глаз. Несколько слезинок застряли и расплылись по морщинам. Матушка Руфина не вытирала своих слез и не стыдилась их; ее выцветшие, побелевшие губы слабо шептали:

— Вот на этой самой лавке, где ты лежишь, и взяли Аню-то... Бледная такая сидит, ни кровинки в лице нет... Так вот все ее и вижу перед собой: как живая стоит... И ночью и днем покоя нет. Только вот этак чуть-чуть забудусь, а она уж опять и смотрит на меня...

Матушка Руфина умолкла. Склонив седую голову на грудь, она неподвижно сидела на своей завалинке, полная святой материнской тоски. Я вспомнил слова писания: «Глас в Раме слышан бысть, плач, и рыдания, и вопль мног... Рахиль бо плачущися о чадех своих и не хотяше утешитися, яко не суть».

VII

— А Кинтильян скоро вернулся? — спросил я, выводя матушку из задумчивости.

— Кинтя-то... как же, вернулся, — проговорила старушка, просыпаясь от своего раздумья. — Только его шесть годиков ровнешенько не было... целых шесть. Мы и в живых давно его не чаяли и в поминании за упокой поминали... Уж сколько слез было принято, сколько горя — и не спрашивай! Только этак в великое говенье, перед страстной... Тогда уж оттеплело, проталинки пошли... ну, этак вечерком, в сумерках уж, убираю я в кухне молоко, а под окном кто-то тихо так постучал. Думаю, бродяжка какой-нибудь. Много их об эту пору из Сибири в Расею бежит... Мы им, грешные люди, подаем хлебушка, несчастненьким. У других и полочки такие у окошек приделаны для потайной милостыни, чтобы ночью ежели придет, так сам взял кусочек-то... У нас тоже была полочка раньше, а тут ребята сломали, поп все не мог собраться наладить ее. Вот я

отрезала ломоть хлеба, высунула руку в окошко и говорю: «Прими Христа ради...» Вижу, что мужчинка стоит в рваном этаком зипунишке и даже совсем синий из себя. Еще пожалела его про себя... Подаю я это ему хлеб-то, а он не берет, а только таково пристально смотрит на меня. Что за оказия, думаю. «Чего, мол, тебе надо, родименький?» — «А вы не узнаете меня?» — спрашивает. «Нет, говорю, мало ли вашего брата, бродяжек, по здешним местам проходит...» Помолчал, а потом опять и говорит: «Кинтя поклон прислал». Ну, тут у меня ноженьки подкосились, закричала я, а поп бросился за ворота и бродяжку в избу тащит. Напоили мы его чаем, накормили, а он зеленехонек, и видно по обличью-то, что из благородных. Бородка маленькая и всякое прочее... Оно уж приметно. Ну и рассказал нам бродяжка про Кинтю, что жив он и здоров, хоть и далеко отсюда. Бродяжка рассказывает, а поп и говорит мне: «Попадья, а помнишь мой сон?» Сон-то вышел у попа совсем правильный. Сидим мы с бродяжкой и беседуем, я слушаю, а сама плачу, река-рекой... и радостно мне и горько. А уж ночь на дворе, поп и говорит: «Ну, милый человек, не взыщи — обогрели мы тебя, накормили, а ночевать попросись к кому-нибудь другому... Оставил бы я тебя не на день, а на год за твое хорошее слово, да не моя воля: следят за мной, а узнают, что бродяжка ночевал, — со свету сживут...» Говорит это поп, а сам трехрублевую бумажку сует в руки бродяжке... Тут уж Кинтя и не стерпел — бродяжка-то Кинтя и был наш, — как заплачет... Не поверишь, мы родного сына не признали. Не признаем, и кончено: не такой у нас Кинтя был. Так уж он расстегнул рубаху и показал мне родимое пятнышко над левой грудью, так уж по пятнышку-то его признали... А поп так недели с две к нему все не мог привыкнуть: чужой, и кончено. Ох-хо-хо!.. Уже не знали мы тогда, что нам и делать: плакать ли, радоваться ли... Так совсем из ума вышибло!.. А он правильно воротился, с бумагой и всякое прочее. Ну, пытала я спрашивать Кинтю, что и как... Ничего не сказывает, только этак улыбнется по-своему. «Зачем, говорит, это вам знать, маменька? Был там, а теперь здесь...» А сам все скуч-

ный такой, на себя не походит и по ночам долго не спит. Раз как-то сидим с ним вдвоем, чай пьем. Он смотрел-смотрел на меня и говорит: «Пусто, маменька, вот здесь (показывает на грудь), недолго поживу, так уж вы не очень убивайтесь, как помру... Кажись, не много радости от меня видели». А сам усмехается... Да я и сама вижу, что не жилец он у нас, в живых покойниках...

— А теперь о себе-то тебе расскажу, — продолжала старушка. — Наше-то дело какое... а? Видел попа-то? Заметил, как он по сторонам оглядывается? А все от страху... Так всего и боимся: щелкнет где, стукнет — у нас и душа в пятки. Уж, кажись, чего бы и бояться: нас, стариков, никуда не подернешь, а молодых не осталось... Так вот и маячим да со дня на день ждем какой-нибудь беды. С требой как-то приехали за попом, так он со страху на погреб залез... Едва оттуда его вытащили. Ей-богу... И грех и смех! Так *в худых душах*[1] и живем: ни живы мы, ни мертвы, а один страх... Вот я тебя и хотела спросить насчет этого: долго еще нам в худых-то душах жить? Прежде вот холерные годы бывали, тоже вот солдатчина, а нынче в худых душах живем. Погляжу это я кругом-то и точно отемнею, ничего не понимаю. Как уж мы и жить будем — одной царице небесной известно...

Старушка, очевидно, спрашивала только для формы, чтобы поделиться своим горем с живым человеком. Она не ждала моего ответа и смотрела куда-то в сторону, опустив голову. А летняя ночь была уже на исходе; окутывавший нас мягкий сумрак сменился белесоватым светом занимавшейся зари. Звезды тихо гасли; только две или три продолжали еще теплиться мигающими блестками. Небо было серо. Откуда-то набегал слабый ветерок, безыменная птичка беззаботно и весело заливалась на ближайшей черемухе. Могучим покоем веяло от этой незамысловатой картины, которая с первым солнечным лучом проснется разом в тысячах звуков и красок. Но теперь этот покой природы заставлял по-

---

[1] «В худых душах» — равносильно при смерти, в ожидании смерти. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

дозревать что-то скрытое, недосказанное, что, казалось, висело в воздухе... Вот в этой сочной зеленой траве, подернутой утренней росой, с виду тоже тихо, как и в воздухе, но сколько в этот момент там и здесь погибает живых существований, погибает без крика и стона, в немых конвульсиях. Одна букашка душит другую, червяк точит червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ест и букашку и червяка, делаясь в свою очередь добычей кошки или ястреба. В этом концерте пожирания друг друга творится тайна жизни...

— Гляди-ко, гляди... — зашептала таинственно матушка Руфина, толкая меня своей короткой ручкой.

В это время двери сеней домика о. Якова слегка приотворились, и в них показалась седая голова самого хозяина. Он осторожно и подозрительно огляделся кругом и вышел во двор. Где-то глухо стучала деревенская телега, старик долго прислушивался к удалявшемуся стуку, а потом, озираясь по сторонам, подкрался к воротам и припал глазом к узкой щели в полотнище калитки. Что-то такое жалкое и несчастное было в этой старческой фигуре, которая теперь стояла у ворот в положении насторожившегося зайца...

В ГОРАХ

Очерк из уральской жизни

I

...Мне пришлось сделать еще шагов двести, как до моего слуха явственно донеслись сдержанное, глухое ворчание и отрывистый, нерешительный лай; еще сто шагов — и лес точно расступился предо мною, открывая узкий и глубокий лог. На правой стороне его виднелся яркий огонь, который освещал небольшой палаустный [1] балаган, приткнувшийся к самой опушке леса; группа каких-то людей смотрела в мою сторону. Из высокой травы показалась острая морда лохматой собачонки; она лаяла на меня с тем особенным собачьим азартом, который проявляется у собак только в лесу. Не было сомнения, что я попал на стоянку каких-нибудь «старателей» [2], заведенных в эту глушь жаждой легкой наживы и слепой верой в какое-то, никому не известное, счастье.

---

[1] «Палаустными» на Урале называют такие балаганы, которые строятся наподобие детских домиков из двух карт. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Старателями в средней части Уральских гор называют тех приисковых рабочих, которые отыскивают золото или платину «от себя» и потом сдают ее арендатору прииска. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Кто там, крещеный? — сердито окликнул меня мужской голос, когда между мной и балаганом оставалось всего шагов тридцать.

— Охотник... Сбился с дороги. Пустите переночевать, — отозвался я, защищаясь от нападавшей на меня собаки прикладом ружья.

— Какая ночью охота... — проворчал тот же мужской голос. — Тут, по лесу-то, много бродит вашего брата...

Сердитый бас, вероятно, прибавил бы еще что-нибудь не особенно лестное на мой счет, но его перебил мягкий женский голос, который с укором и певуче проговорил:

— Штой-то, Савва Евстигнеич, пристал ты... Разе не видишь — человек заплутался? Не гнать же его, на ночь глядя. Куфта, Куфта, цыц, проклятая! Милости просим... Садись к огню-то, так гость будешь!

Я подошел к самому огню, впереди которого стоял приземистый, широкоплечий старик в красной кумачной рубахе; серый чекмень свесился у него с одного плеча. Старик был без шапки; его большая седая борода резко выделялась на красном фоне рубахи. Прищурив один глаз, он зорко осматривал меня с ног до головы. Лохматая, длинная Куфта не переставала рычать на меня, подошла к женщине, которая сидела у огня на обрубке дерева, покорно положила голову к ней на колени. Лица сидевшей женщины невозможно было рассмотреть, — оно было совсем закрыто сильно надвинутым на глаза платком.

— Здравствуйте! — проговорил я, вступая в полосу яркого света, падавшую от костра. — Пустите переночевать, — сбился с дороги...

— Мир дорогой! — певуче ответила женщина, стараясь удержать одною рукой глухо ворчавшую на меня собаку. — Ишь ты, как напугал нас. Да перестань, Куфта!.. Мы думали, лесной бродит... Цыц, Куфта!.. Садись, так гость будешь.

Я хотел подойти к балагану, чтобы прислонить к нему ружье, и только теперь заметил небольшого, толстенького человечка, одетого в длиннополый кафтан и лежавшего на земле прямо животом; подперши коро-

тенькими, пухлыми ручками большую круглую голову, этот человечек внимательно смотрел на меня. Я невольно остановился. Что-то знакомое мелькнуло в чертах этого круглого и румяного лица, едва тронутого жиденькой черноватою бородкой.

— Да это ты, Калин Калиныч? — нерешительно проговорил я наконец.

— А то как же-с?.. Я-с самый и есть, — растерянно и вместе радостно забормотал Калин Калиныч, вскакивая с земли и крепко сжимая мою руку своими маленькими, пухлыми ручками. — Да, я самый и есть-с...

— Да ты как попал сюда, Калин Калиныч?

— Я-с? — Я-с... я-с... вот с Василисой Мироновной, — забормотал Калин Калиныч, почтительно указывая движением всего своего тела на сидевшую у огня женщину. — А вы на охоте изволили заблудиться?.. Место, оно точно, глуховато здесь и лесная обширность притом... Очень пространственно!

Калин Калиныч смиренно заморгал узкими глазками, улыбнулся какой-то виноватой, растерянной улыбкой и опустился опять на землю, пробормотав: «Да, здесь очень пространственно!»

— Я вам не помешаю? — спросил я, обращаясь ко всем.

— Известно, не помешаешь... Куда тебя деть-то, на ночь глядя, — отвечала Василиса Мироновна, не двигаясь с места. — Только ты, смотри, не заводи здесь табашного духу... Место здесь не такое. А ты чьих будешь?

Я назвал свою фамилию. Раскольница, Василиса Мироновна, известная всему Среднему Уралу, как раскольничий поп, посмотрела еще раз на меня и заговорила уже совсем ласково:

— Знаю, знаю! Слыхала... А в лесу-то как заплутался?

Я присел к огню и в коротких словах рассказал свою историю, то есть как я рано утром вышел на охоту с рудника Момынихи, хотел вернуться туда обратно к вечеру, а вместо того попал сюда.

— Одначе здоровый крюк сделал! — проговорила Василиса Мироновна, обращаясь к старику.

— Ему бы надо было обогнуть Черный Лог, а потом Писаный Камень... Тут ложок такой есть, так по нему до Момынихи рукой подать, — отвечал старик.

— А отсюда до Момынихи сколько верст будет? — спросил я старика.

— Да как тебе сказать, чтобы не соврать... Вишь, кто их, версты-то, в лесу будет считать, а по-моему, в двадцать верстов, пожалуй, и не укладешь.

— А как этот лог называется, где вы стараетесь?

— Да кто его знает, как он называется... — с видимой неохотой отвечал старик. — По логу-то, видишь, бежит речушка Балагуриха, так по ней, пожалуй, и зови его...

— А ты, поди, есть хочешь, сердешный? — ласково спросила Василиса Мироновна и, не дожидаясь моего ответа, подала мне большой ломоть ржаного хлеба и пучок луку. — На-ко, вот, закуси, а то натощак спать плохо будешь... Не взыщи на угощенье, — наше дело тоже странное [1]: что было, все приели, а теперь один хлебушко остался. Вон Калин говорит: к чаю привык, так ему сухой-то хлеб и не глянется.

— Ах, уж можно сказать-с: слово скажут-с, как ножом обрежут! — умильно говорил Калин, крутя головой и закрывая глаза.

Охотники знают, как иногда бывает вкусен кусок черного хлеба; я с величайшим удовольствием съел ломоть, предложенный мне Василисой Мироновной, и запил его кислым квасом из бурачка Калина Калиныча. Когда я принялся благодарить за этот ужин, раскольница опустила глаза и скромно сказала:

— Не обессудь, родимый. Чем богаты, тем и рады, — не взыщи с нас. — Помолчав немного, она прибавила: — Ты, поди, совсем смотался со своей охотой: ступай в балаган, там уснешь с Гришуткой... Мальчик тут есть с нами, так он в балагане спит. Калин любит в балагане-то спать, — ну, да сегодня с нами уснет у огонька, а твое дело непривычное...

Мне было совестно отнимать место у Калина Калиныча, но пришлось помириться с этим, потому что

---

[1] Странное — странническое. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Василиса Мироновна и слышать не хотела никаких отказов, а Калин Калиныч отворачивал от меня голову, корчил какую-то гримасу и делал руками такой жест, как будто отгонял от себя мух. Сон валил меня с ног, глаза давно слипались, и искушение было слишком сильно, чтобы продолжать отказываться дальше, — я согласился.

II

Простившись с новыми знакомыми, я отправился в балаган, где спал под овчинным тулупом Гришутка, мальчик лет тринадцати. Против Гришутки, у самой стены балагана, была устроена из травы постель Калина Калиныча. Я расположился на ней и протянул уставшие ноги с таким удовольствием, что, кажется, не променял бы своего уголка ни на какие блага в мире. Я надеялся уснуть мертвым сном, как только дотронусь до постели, но ошибся в своем расчете, потому что слишком устал, и сон, по меткому выражению русского человека, был переломлен. От нечего делать принялся я рассматривать балаган, в котором лежал. Сначала было трудно разглядеть что-нибудь, но мало-помалу глаз привык к темноте. Прежде всего выделились стены и крыша балагана; они были сделаны из свежей еловой коры, настланной на перекрещенные между собою жерди. Вверху жерди соединялись перекладинами. В одном месте концы жердей разошлись и образовали небольшой просвет: виднелся клочок синего неба с плывшей по нему звездочкой. В балагане от свежей еловой коры стоял острый смолистый запах. Извне ползла в балаган свежая струя ночного воздуха, пропитанная запахом травы и лесных цветов. Около балагана, в густой, покрытой росой траве, копошились какие-то насекомые, звонко трещал где-то кузнечик; со стороны леса время от времени доносился смутный и неясный шорох. Где-то далеко ходила спутанная лошадь; слышно было, как тяжело она прыгала и звонко била землю передними ногами.

В воздухе стояла торжественная тишина, и эти отрывистые и разрозненные звуки ночи не могли нару-

шать ее, точно они тонули в ней, как в воде. Из моего уголка была отлично видна вся площадка перед балаганом. Калин Калиныч лежал попрежнему на земле, время от времени поворачивая к огню то один бок, то другой. Рядом с ним сидел старик; он поправлял горевшие дрова и прибавлял новых. Когда старик бросал в огонь несколько полен сразу, целый сноп искр взлетал кверху и обсыпал сидевших огненным дождем, причем Калин Калиныч закрывал лицо руками и улыбался. Одна Василиса Мироновна оставалась неподвижной, продолжая сидеть на обрубке дерева. Огонь отлично освещал всю ее фигуру и лицо, и я мог из своего уголка рассматривать знаменитую раскольницу, сколько хотел. Ей было лет за сорок. Это была высокая, коренастая женщина, смуглая и немного худощавая, но с могучею грудью и сильными руками. Лицо у ней было большое, с крупными, неправильными чертами, с большим, широким носом и толстыми губами, открывавшими два ряда ослепительно белых зубов. Всего лучше в этом лице были карие светлые глаза; они настойчиво и пытливо смотрели своим ласковым взглядом насквозь и придавали лицу какое-то особенное выражение самоуверенного спокойствия. Одета Василиса Мироновна была в синий кубовый сарафан с желтыми проймами и ситцевую розовую рубашку; на голове повязан по-раскольничьи темнокоричневый платок, сильно надвинутый на глаза и двумя концами спускавшийся по спине. Наружность Калина Калиныча была совершенно противоположного характера: низенький, толстый, немного сутуловатый, с короткой шеей, короткими ножками и непропорционально длинным туловищем, он точно был составлен из нескольких человек: у одного взяли руки, у другого — ноги, у третьего — туловище. Только голова у Калина Калиныча была своя собственная, потому что ни у кого другого такой головы и быть не могло: она была совершенно круглая, круглая, как шар, толстая и жирная, с подстриженными в скобу и сильно намазанными деревянным маслом волосами. Пара узеньких черных глазок смотрела из-под густых бровей с боязливо-напряженным, детски-вопросительным выражением. Ходил Калин Калиныч на

своих кривых, маленьких ножках развалистым, бесхарактерным шагом, как закормленный селезень, имел странную способность постоянно потеть и постоянно утирал лицо бумажным платком, на котором было нарисовано сражение. Только когда Калин Калиныч улыбался, его лицо точно светлело каким-то внутренним светом.

— Говорят, к нам на Старый завод нового станового пришлют, — говорил старик, глядя на огонь.

— Врут! — резко ответила Василиса Мироновна. — Все врут. Теперь, почитай, третий год пошел, как говорят про нового станового, и все зря болтает народ. Да хоть и нового пришлют, так не легче: к новому еще привыкать надо, да приедет он голоден и холоден; пока набьет карман, не знаешь, с которой стороны к нему и подойти... А старый уж насосался, — ему и шевелиться-то теперь лень...

— А больно он смешон по первоначалу-то был, — улыбаясь, говорил старик.

— Кто это?

— Ну, Пальцев-то. Я тогда на Пристани жил, и пали до нас слухи, что новый становой назначен, а тут, как на грех, у нас на Пристани человека порешили... Оно, пожалуй, и не человека, а бабу-солдатку, — ну, да начальство не разбирает, и сейчас к нам станового. Приехал... Так и так, понятых, следствие, всякое прочее. Тогда на следствии баба одна, Анисьей звали, заперлась — и шабаш: «Знать не знаю, ведать не ведаю», — а сама все знала. И мы это знали и ждем, как Пальцев примет ее. Дело было в волости. Пальцев сидит за столом, по сторонам — казаки, сотские, все, как следовает. Привели Анисью... «Ну, ангел мой, — говорит Пальцев, — говори все, что знаешь по этому делу». Бабенка со страху заперлась во всем, конечно. Бился, бился с ней Пальцев, а потом и говорит: «Побеседуйте-ко с ней», — это он казакам своим, — ну те, известное дело, охулки на руку не положат, увели Анисью и всыпали ей, сколько влезет. Привели, ревет, а все запирается. «Нет, ангел мой, — говорит Пальцев, а сам смеется, — тебя, видно, посеребрить надо!» Мигнул казакам, — ну, те и посеребрили, всю спину спу-

стили нагайками. Все рассказала баба-то после этого, а Пальцев опять смеется: «Давно бы так, говорит... А только ты, говорит, помни мое серебро и благодари бога, что не велел позолотить...»

— Пальцев крут, а сердце у него отходчивое, — говорила Василиса Мироновна.

— Да, как на него взглянется: один раз посмеется только, а другой — так посеребрит, что небо с овчинку покажется... Раз на раз не приходит... Зимой как-то я его вез на Старый завод (я тогда ямщину гонял), а он кричит: «Пошел, ангел мой!» Ну, коли, думаю, пошел, так уважу я тебя, а ехали мы на тройке, которую завсегда под станового ставил, — звери, а не лошади. Вышло под гору ехать, слышу, кричит Пальцев и в шею меня толкает... Пустил я коней, дух инда захватило, а когда оглянулся — Пальцева в кошевой как не бывало; его в нырке тряхнуло, да прямо в сторону, в снег. Вижу, он там по снегу валандается, воротился, посадил опять в кошевую и думаю: «Быть, мол, мне у праздника: приедем на завод, так посеребрит...» Приехали, подкатил его к крыльцу, а сам сижу ни жив ни мертв. «Погоди, — говорит Пальцев, — мне с тобой, говорит, рассчитаться надо». Ну, думаю, пришел мой конец, — знаю, мол, какой у тебя расчет бывает. Сижу этак на облучке, пригорюнился, а Пальцев выходит на крыльцо и стакан водки из своих рук мне выносит. Чудной барин!.. «Я, говорит, вас всех насквозь вижу: ты, говорит, еще не подумал, а уж я, ангел мой, вперед знаю, что ты меня надуть хочешь».

Все немного помолчали. Старик подбросил в огонь дров и заговорил с кроткой улыбкой:

— Тут, в позапрошлом году, возил я в Махнево мирового... Вот где страсти набрался: думал, он меня совсем порешит...

— Это Федя-то Заверткин?

— Он самый. Был он у нас на Старом заводе в гостях у приказчика. Спросили лошадей, работники все в разгоне, — пришлось мне ехать самому. Подаю лошадей, а он и выйти сам не может, потому грузен свыше меры. Так его на руках и вынесли и свалили в кошевую. Поехали. Свернулся он калачиком на

донышке и лежит. Ну, думаю, только привел бы господь живого до дому довезти, а от него винищем так и разит, точно с сороковой бочкой еду. Проехали этак верстов с десять, он и проснись... «Стой! — кричит. — Где едем?» — «Так и так, ваше благородие...» — «Ах ты, говорит, такой сякой, да разе я, говорит, туда тебе велел ехать?» — «Никуда, говорю, вы мне не приказывали ехать, ваше благородие...» — «Так ты, говорит, со мной еще разговариваешь?» — а сам как запалит меня в загривок. У меня так и заскребло на сердце, — обидел он меня, — так бы вот его взял да перекусил пополам... А он догадался, вынял леворвет и говорит: «Вот где твоя смерть сидит, только пошевелись!..» Вот, думаю, какой мудреный барин попал, а сам говорю: «Зачем, говорю, ваше благородие меня обидели?» — «Поворачивай назад в Махнево!» — кричит Заверткин. Нечего делать, повернул, а то, думаю, пристрелит с пьяных-то глаз. Приехали мы на завод, он прямо к одной солдатке, — так, совсем бросовая бабенка, — посадил ее с собой в кошевую и цепь на себя надел, да с песнями по всему заводу и покатили... А что дорогой было, так, кажется, и пером этого не описать! Что этого вина выпили — страсть!.. Этак, на половине дороги, как мировой выскочит из кошевой — да плясать, да вприсядку, только цепь трясется. И мировой пляшет, и солдатка пляшет, а мне и смешно, и смеяться боюсь... Потом сел мировой в кошевую и давай солдатку поправлять с одной щеки на другую... И этого показалось мало: взял ее ногами в передок затолкал, так она, сердешная, там до самого заводу и пролежала... Ведь он у меня в те поры порешил тройку-то, — прибавил рассказчик.

— Как порешил?

— Загнал всех лошадей начисто.

— Заплатил?

— Какое заплатил! Я же две недели отсидел в темной... И с ямщины согнал.

— Этакой пес! — ворчала Василиса Мироновна. — Хуже станового будет...

— В тыщу раз хуже: становой што? Становой — человек все-таки с рассуждением, а это просто разбойник, — того гляди, убьет... Становой обнакновенно

возьмет свое и острастку задаст, а таких безобразиев я не видывал.

— Оно точно, что Федор Иваныч большие безобразники, — вставил свое слово Калин Калиныч, хранивший все время молчание. — Как-то намеднись у старшины в гостях были, так они чуть мне вилкой глаз не выткнули... Ей-богу-с! И беспременно бы выткнули, если б я не исполнил все по-ихнему: налили мне полрюмки водки, наклали туда горчицы, перцу, карасину налили, — и ведь выпил-с!

— Кто выпил?

— Да я выпил-с, — с невозмутимой улыбкой отвечал Калин Калиныч. — И после этого ничего худого со мной не было, только очинно вспотел-с... Так уж господь-батюшка пронес меня за родительские молитвы...

— Ишь ведь гнус какой завелся! — сердито ворчала Василиса Мироновна.

— А вы это напрасно, Василиса Мироновна, — вступился Калин Калиныч. — Ей-богу-с, напрасно... Федор Иваныч точно что большие озорники и любят удивить, а душа у них добрая... Ей-богу, так-с!..

— Ах, Калин, Калин, — качая головой, строго говорила раскольница, — дожил ты до седого волоса, а все у тебя нет разума... Разе есть душа у пса?

— А вот и скажу, и всегда скажу! — с азартом протестовал Калин Калиныч. — Теперь возьмите хоть Аристарха Прохорыча: человек богатеющий, а нынче меня в воду с плота столкнул, так я совсем было захлебнулся, да спасибо кучер ихний меня вытащил... И ведь я бы не обиделся, как бы это делалось не с сердцов. Это он, Аристарх-то Прохорыч, с сердцов все делают, а Федор Иваныч — другое: он — от души, для смеху. Они и стул выдернут, и карасином напоят, и подколенника дадут, а я не обижаюсь... Ей-богу, не обижаюсь! Мне что? — лишь бы я кого не обидел, а там — бог с ними.

Василиса Мироновна молчала, а потом, повернув свое строгое лицо к Калину Калинычу, резко проговорила:

— Ну, а дочь у тебя где, Калин?

— Дочь?.. Дочь на месте... Учительшей служит, — не без робости проговорил Калин Калиныч, а потом неожиданно для всех прибавил: — А ведь я ее проклял-с... Ей-богу, проклял-с! Да ведь еще как: в самый прощеный день на масленой проклял-с... Стал пред образом и говорю: «Будь ты, Евмения, от меня проклята... Я тебе больше не отец, ты мне — не дочь!»

Василиса Мироновна только покачала головой, и старик тяжело вздохнул.

— А ведь она меня обидела как, — продолжал Калин Калиныч, садясь на землю и складывая ножки калачиком. — Сели мы в прощеный день обедать, она и давай меня донимать... «Ты, говорит, тятенька, хлеб только даром ешь». Ей-богу-с!.. «Какой в тебе, говорит, толк? Вон, говорит, у нас корова-пестрянка, так она хоть молоко дает; я, — про себя говорит, — жалованье из школы получаю, а ты, говорит, все равно, как сальный огарок: бросить жаль, а зажечь нечего». Как она мне это самое слово сказала, уж мне очень обидно это показалось, потому все-таки я ей родной отец, и она мне прямо в глаза такие слова выговаривает... Слезы у меня на глазах, а она надо мной же хохочет. «Какой, говорит, ты мне отец? Ты бы мне хоть рост настоящий дал, так я бы, говорит, в актрисы пошла... Всякий урод, говорит, женится, наплодит уродов, — это она меня и себя уродами-то крестит, — а потом, говорит, и живи, как знаешь». А я ей и говорю: «Это, мол, Венушка, не от нас — и рост и детки, — от бога, мол, все это, а на бога приходить [1] грешно!» Она посмотрела этак на меня, да как захохочет... Ну, я ее и проклял, а она все хохочет. Уж в кого она такая уродилась, и ума не приложу, — во всей нашей прероде не было таких карахтеров.

— Нехорошо это, больно нехорошо, — говорила Василиса Мироновна, строго глядя на Калина Калиныча.

— И сам знаю, что нехорошо, да уж сердце у меня такое... Не могу удержаться, — точно там порвется! Ей-богу-с, себе не рад другой раз. Только оно у меня отходчиво, и даже совестно бывает после.

---

[1] Роптать. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— А с дочерью-то помирился? — спрашивала раскольница.

— Помирился и проклятие снял-с... У Венушки сердце тоже доброе, — она вся в меня сердцем-то; только уж карахтер у ней — и в прероде нашей никого не было таких!..

Старик только покрутил головой и с каким-то отчаянием махнул рукой.

Все замолчали. Огонь горел яркими косматыми языками, жадно лизавшими холодный воздух; темная струя дыма столбом уходила вверх, откуда изредка падала одинокая светлая искорка и скоро потухла в покрытой росой траве. Василиса Мироновна сосредоточенно смотрела в огонь; старик дремал, завернувшись в чекмень; Калин Калиныч подкладывал в огонь дрова, но, очевидно, это было для него непривычным делом, потому что он несколько раз обжег себе руки, и искры фонтаном сыпались на него каждый раз, когда дрова падали в костер.

— А что Аристарх Прохорыч? — спрашивала раскольница, когда Калин Калиныч, как собачка, свернулся калачиком у огонька.

Калин Калиныч энергично махнул рукой и заговорил:

— У них, можно сказать, дрянь дело, потому теперь пошло оно в суд, а Евдоким Игнатьич говорят, что двадцать тысяч не пожалеют, только бы сделать неприятность Аристарху Прохорычу... Адвокатов наняли, свидетелей человек сорок вызвали. Беда!..

— И ты в свидетелях?

— И меня запутали, грех их бей!..

— Чего же ты показывать будешь?

— А так и скажу, что знать ничего не знаю, и кончено! Ведь я тогда точно что ездил с Аристархом Прохорычем в Москву, а все-таки про их дела ничего не могу сказать-с. Адвокат-то Аристарха Прохорыча намеднись приезжал ко мне, пытал меня, да с тем и уехал, с чем приехал.

— А ты слышал, что Евдоким-то Игнатьич твою дочь в свидетельницы выставил?

— Нет-с... Только этого не может быть, потому Венушка хоть и бывала у Аристарха Прохорыча, а ихних делов не знает.

Калин Калиныч видимо смутился, но потом успокоился и прибавил:

— Это все их адвокат мутит...

— Адвокат адвокатом, только ихнее дело нечистое.

— А кто же, по-вашему, виноват?

— А по-моему — оба виноваты... Вор у вора дубинку украл, вот и завели суд. Это два слепца, которых привязали к одной жерди... Понял?

III

Я с любопытством прислушивался к этим отрывочным разговорам, которые вертелись все на знакомых лицах: и становой Пальцев, и мировой судья Федя Заверткин, и Аристарх Прохорыч Гвоздев, бывший сначала сидельцем в «заведении», то есть в кабаке, потом сделавшийся купеческим приказчиком, затем золотопромышленником и, наконец, винным заводчиком, — все это давно знакомые лица, хорошо известные на Урале, по крайней мере в округе Старого завода. Рассказы о подвигах этих героев могли бы составить целую Одиссею, но меня лично интересовали не эти рассказы, а Василиса Мироновна и Калин Калиныч сами по себе, потому что трудно было бы подыскать других двух людей, более противоположных и по наружности, и по характеру, и по уму. Первую я хорошо знал по слухам, а со вторым познакомился совершенно случайно в доме того самого Аристарха Прохорыча, который чуть не утопил Калина Калиныча. Гвоздев любил задавать семейные вечера и маленькие закуски, которые обыкновенно заканчивались трехдневным пьянством и теми безобразиями, на какие только способен загулявший российский тысячник. Случайно мне пришлось быть свидетелем одной такой закуски, на которой собрались по какому-то делу в доме Гвоздева человек пять-шесть. «Дела» в Старом заводе без водки не делаются, а где водка, там, конечно, присутствуют

и Пальцев, и Заверткин, и остальная братия, одержимая бесом вечной жажды. Калин Калиныч тоже был в числе гостей, и его присутствие послужило неистощимым источником самых остроумных шуток и забавных сцен. Сначала его поили всякой дрянью. Старик пробовал отказываться, но это было совершенно напрасно, — приходилось покоряться своей участи, то есть пить, потеть, утираться неизменным бумажным платком и улыбаться. Когда половина гостей уехала, а другая изъявила непременное желание провести ночь в доме радушного хозяина, Калин Калиныч долго стоял с картузом в руке, не решаясь уйти.

— Да ты-то чего мнешься? Оставайся! — говорил Аристарх Прохорыч, отнимая картуз у Калина Калиныча.

— Я-с... я-с с моим удовольствием, — лепетал старик, — только мне нужно домой-с... Дело есть, как же-с!

— Э, пустяки... Какие ночью дела?! Ты вот оставайся лучше. Куда собрался? Домой? А дома чего не видал? Ведь жена знает, где ты...

— Это точно-с, только-с оно неловко-с.

— Чего же тут неловко? Кажется, люди все порядочные, компания приличная, а ты брезгуешь.

— Нет-с, зачем же-с... Я только насчет того, что я человек все-таки семейный-с...

— Да что с ним говорить попусту, — вступился Заверткин. — Ты, Калин, говори уж прямо, что твоя Матрена Савишна в подполье тебя посадит, если опоздаешь.

Все засмеялись. Смеялся Пальцев, смеялся земский доктор, смеялся директор старозаводского технического училища, смеялись два управителя. Этот смех задел Калина Калиныча за живое, и он остался.

— А что же-с, я и останусь, — говорил он, потирая маленькие ручки. — Матрена Савишна, оно точно, будут сердиться, а я скажу: в гостях воля хозяйская... Хе-хе-хе!..

— Молодец, Калин Калиныч! — орали пьяные голоса. — Браво, Калин Калиныч! Будь же мужчиной, голубчик, а то ты совсем обабился.

Через час вся компания расположилась спать в той же комнате, где происходила «закуска». Калину Калинычу было отведено место где-то под столом; он уже разделся и готовился снимать сапоги.

— А ведь, Калин Калиныч, если рассудить это дело, так ты не совсем хорошо это делаешь, что остаешься спать здесь, — заговорил Пальцев. — Ты, ангел мой, не холостой человек, а оставляешь дома жену одну. Она, ангел мой, будет о тебе думать, что ты бог знает куда забрался. Нехорошо, ангел мой!

Это было сигналом, и все разом начали уговаривать Калина Калиныча идти домой. Старик сначала недоверчиво смотрит на всех, но потом начинает быстро одеваться. Когда совсем одетый Калин Калиныч хочет прощаться, Гвоздев загораживает ему дорогу и говорит:

— Ну вот, какой ты бесхарактерный человек!.. Тебе сказали, что нехорошо в чужих людях спать, ты и поверил. Да ведь ты сказал, — значит нужно оставаться. Вот у Федора Иваныча тоже есть жена, и у других, да ведь не бегут от хорошей компании. Ты просто срамишь меня.

Эта забавная сцена, в которой Калин Калиныч то начинал прощаться со всеми, чтобы идти домой, то снова раздевался и ложился на свое место, продолжалась слишком долго и, наконец, надоела всем, так что старика на время оставили в покое.

— А ведь ты, Калин Калиныч, боишься своей Матрены Савишны? — спрашивал кто-то в темноте, когда уж все готовились заснуть.

Старик крепился и ничего не отвечал; но это не удовлетворяло гостей, которым хотелось еще потешиться над старым чудаком.

— А ведь признайся, ангел мой, она иногда лупцует тебя? — послышался голос Пальцева, вызвавший сдержанный смех публики. — Ведь ты, ангел мой, говорят, сильно боишься ее? Конечно, ангел мой, я этому не верю, но все-таки...

— Что же мне их бояться? — отозвался, наконец, старик, терпение которого прорвало. — Они не медведь...

— Э, да что тут пустяки говорить! — послышался голос Феди Заверткина, временно потерявшего сознание и теперь снова получившего способность выражаться членораздельными звуками. — Не-ет, бр-рат, нет!.. Ты нам р-расскажи, как жена тебя в подполье столкнула...

— Калин Калиныч, голубчик, расскажи! — послышались умоляющие голоса. Кто-то черкнул спичкой о стену, и зажгли свечу.

— Что же-с, дело самое обнакновенное-с, — заговорил Калин Калиныч, усаживаясь на своем месте по-детски, скрестив под себя свои коротенькие ножки. — Вечером поужинали-с, как следывает-с, легли почивать-с и всякое прочее... Хе-хе-хе!

— Браво!.. Молодец, Калин Калиныч! — орала вся компания.

— Ну-с, лежим это мы на постели и начали промежду собой разговаривать-с, а Матрена Савишна возьми и рассердись... У них уж такой карахтер: как зачнут со мной разговаривать, так и сердятся-с... Я и говорю им: «Перестаньте, говорю, Матрена Савишна, гневаться, потому, говорю, первое дело, это грешно-с, а второе, говорю, я вам муж, говорю...» Так прямо и отрезал-с, ей-богу-с! Как ножом отрезал да еще прибавил: «Надо, мол, это самое дело оставить...» Только это слово я вымолвил им, они, можно сказать, из себя вышли и вступили в большой азарт... Да я рассказывал вам, господа, — взмолился было Калин Калиныч.

Но публика не хотела и слышать об отказе и, как говорится, пристала с ножом к горлу.

— Ну, вот-с, как Матрена Савишна вышли из себя и начали кричать, — продолжал старик: — «Так вот, говорит, какие ты поступки со мной поступаешь!» — да этак меня ногой маненечко как толканут, — ей-богу, маненечко! — я с постели и опрокинулся на пол, а голбец был открыт, — я туда... Так вниз головой и сверзился, а все сам виноват — со страху-с!.. А Матрена Савишна — добрейшая женщина, ей-богу-с!

Снова все хохотали, — хохотали нехорошим, пьяным хохотом. Вместе с другими смеялся и Калин Калиныч своим детски добродушным смехом, от которого

забавно вздрагивали его полные, румяные щеки и колыхался круглый живот.

— Так ты, ангел мой, прямо в голбец, турманом?.. О-хо-хо! Уморил, ангел мой! — заливался Пальцев, схватившись за бока.

— Она нарочно и голбец отворила, чтобы столкнуть тебя туда, — уверял Заверткин.

— Ну, уж это неправда, Федор Иваныч! — вступился Калин Калиныч. — Это вы напраслину говорите-с...

После этого вечера мне несколько раз приходилось сталкиваться с Калином Калинычем, и мы встречались уже как старые знакомые. Добрый старик настоятельно приглашал меня к себе в гости, извиняясь очень подробно, что он живет в простой избушке. Меня очень интересовал этот странный человек, но побывать у него все как-то не удавалось.

Василису Мироновну я знал только по слухам, но и по этим отрывочным сведениям, какие имелись у меня, я, кажется, сразу узнал бы ее, — настолько ее портрет резко отличался от всех других людей.

По своему общественному положению она была раскольничья начетчица, но это было, так сказать, ее официальное звание, а в действительности через ее ловкие руки проходило многое множество самых разнообразных дел, которые даже невозможно было отнести к какой-нибудь определенной профессии. Жила она в Старом заводе, на краю селенья, в новеньком деревянном домике с зелеными ставнями. По семейному положению она была христова невеста, бобылка. Почему не вышла замуж Василиса Мироновна, это составляло загадку. И по красоте, и по здоровью, и по своему уму, и по характеру она была завидной невестой, и любой заводский парень женился бы на ней, только стоило ей повести бровью; но она осталась старой девой, ревниво сохраняя свою самостоятельность, девичью волю и скрывая от посторонних глаз истинные причины своего девства. Самыми главными достоинствами знаменитой раскольницы были ее характер и язык, — она умела со всеми «ладить» и заговаривала своей ласковой, медовой речью каждого. В ее характере было что-то неотразимо

привлекательное, и с ней мирились даже такие люди, которые явно были предубеждены против нее. Василиса Мироновна сумела поставить себя так, что служила соединяющим звеном между раскольниками и православными. Она была везде, все ее знали, и все были рады ее видеть: от раскольника золотопромышленника она шла к православному попу, от попа — к исправнику, от исправника завертывала к матушке дьяконице, от матушки дьяконицы шла к знакомому мужику. И везде у ней было дело, везде ей были рады, и везде она оставалась одной и тою же Василисой Мироновной — доброй, ласковой, остроумной. В характере этой женщины соединялись энергия и предприимчивость мужчины с любящим сердцем женщины, в чем, вероятно, и заключался главный секрет ее влияния на всех. Что касается рода занятий, то Василиса Мироновна бралась за все, что попадало ей в руки: читала по покойникам, утешала страждущих, навещала больных, вела торговлю хлебом, покупала на ярмарке лошадей, меняла и перепродавала их; но, без сомнения, ее главным делом были нужды и интересы раскольничьей общины, к которой она сама принадлежала. Чуть кто позапутается из раскольников, накроет исправник моленную, поймает австрийского архиерея, — Василиса Мироновна идет к становому, без ропота, покорно выслушивает всю ругань и распеканья, угрозы и топанье ногами; а кончится дело тем, что тот же становой потреплет Василису Мироновну по плечу и проговорит: «Ну, смотри, ангел мой, чтоб это было в последний раз... Слышишь? Только для тебя это делаю... Понимаешь, ангел мой? Потому, тебе бы не по покойникам читать, а министром быть!» Низко поклонится Василиса Мироновна и смиренно отправится в свою избушку. Поговаривали, что она вела торговлю золотом и исправляла должность раскольничьего попа, но это еще требовало подтверждения.

На рассвете Куфта что-то заворчала, — вероятно, на подошедшую очень близко к балагану лошадь. Я проснулся. Небо было совсем серое; звезды едва теплились;

все кругом точно оцепенело и замерло в ожидании солнечного восхода. Холодный воздух заставлял вздрагивать, и я напрасно закрывался халатом, которым прикрыл меня, вероятно, Калин Калиныч. Огонь перед балаганом едва тлелся. Калин Калиныч спал около него мертвым сном, свернувшись клубочком; Василиса Мироновна лежала тоже около огонька; один старик сидел и что-то тихо рассказывал своей слушательнице. Я насторожил уши.

— У меня есть кошка, трехшерстная, ребятишки откедова-то добыли, — тихо рассказывал старик. — Вот она и окотись... Я велел было утопить котят-то, да ребята больно заревели, я их и оставил. Пусть поживут, думаю, а там раздадим по соседям, — больно уж любопытные котятки-то, все в мать... Только это я на той неделе лежу у себя в избе, сплю, значит, на полу, да с просонков-то и раскинул руками, да так инда подскочил с войлока: думал, меня домовой за руку-то схватил али змея в избу заползла... А это кошка своих котяток ко мне на постелю стаскала, я это их руками-то и задел. Я взял их да под печку и снес, а сам лег опять спать. Только мне чего-то не спалось в ту ночь, а уж дело к утру, — заря занимается. Вот лежу это я и вижу: кошка крадется, крадется ко мне, а чуть я глаз открою, она и остановится и глаза зажмурит. Думаю, мышь видит, — дай посмотрю, как ловить станет. Притворился, что будто сплю, а сам на нее смотрю, что, значит, будет она делать. И дошлая же эта тварь, кошка, только вот не говорит! Увидала, что я сплю, живо под печку, котенка в зубы — и ко мне его на войлок, а сама под лавку, как молынья, и глядит оттедова, не проснусь ли я. А я лежу — будто сплю. Так она мне всех котят и перетаскала, потому под печкой-то им жестко спать, а на войлоке мягко... То ли не дошлый зверь!.. И так мне в те поры жаль стало котяток, точно вот малых детей... Пошел в сенки, принес им шубу, устроил гнездо, а на утро велел ребятишкам кудели им натаскать под печку-то.

Василиса Мироновна выслушала этот рассказ, не проронив ни одного слова, а потом, зевнув и перекрестив рот, проговорила:

— Что-то ноне, говорят, больно шалят на Старом заводе...

— А вот дошалят! — коротко отвечал старик.

— Ты смотри, Савва, поберегай лошадь-то, — неровен час...

— Куда им, — руки коротки! — самоуверенно отвечал старик, задумчиво глядя на огонь.

IV

Когда я проснулся, солнце уже было очень высоко, и его лучи начинали заглядывать в мой балаган, в котором теперь, кроме меня, никого не было. Я долго наслаждался моим одиночеством, лежа с закрытыми глазами и припоминая все виденное и слышанное мной вчера вечером и ночью. Со стороны леса доносился глухой шум и голоса каких-то птиц. Время от времени, по густой траве, которая зеленым ковром покрывала весь лог, волной пробегала лепечущая струя легкого ветерка; она доносила до меня человеческие голоса и какие-то неопределенные звуки, происходившие, как я догадывался, от ударов лопаты по камням. Раннее утро, лучшее время для охоты, я проспал самым бессовестным образом, и мне теперь ничего более не оставалось, как только брести на Момыниху; но мне хотелось остаться пока здесь, среди этой оригинальной группы старателей, — хотелось познакомиться на месте с знаменитыми хищниками, добывавшими золото самым первобытным способом, как добывали его, может быть, еще аргонавты, ездившие на край света за золотым руном. Старатели — своего рода кроты; они портят, по словам ученых инженеров, лучшие места своею хищнической выработкой золотоносных песков. Дело в том, что старатель обыкновенно работаст в одиночку, много втроем или вчетвером, очень редко целою семьей; все золото или платину, которую он намоет в течение недели, он обязан сдать на ближайший прииск, где помещается контора арендатора, взявшего на откуп известную местность. Старатели обыкновенно люди очень бедные и поэтому не могут делать серьезных разведок

и, кроме того, вырабатывают только лучшие места и то кое-как; такою работой они загораживают дорогу серьезным разведкам специалистов и систематической разработке больших компаний. Старатели иногда разом открывают несколько отличных россыпей, но, не имея собственных средств для их разработки, скрывают их от разведочных компаний с замечательною ловкостью, распускают ложные слухи и не чуждаются даже подкупов; разведки производятся при помощи этих же старателей. Вред старательских работ, о котором громко прокричали горные инженеры и о котором мы сейчас только говорили, вещь еще очень сомнительная и требует серьезного исследования. Между старателями и крупными золотопромышленниками происходит такая же борьба, как между кустарями и крупными фабрикантами, с тою лишь разницей, что и самые крупные золотопромышленники находятся в полной зависимости от старателей.

Выйдя из балагана, я принужден был на время совсем закрыть глаза, — так ослепительно светило солнце, стоявшее над головой. Саженях в двухстах от меня, на берегу маленькой речки, терявшейся в зелени осоки, лопушника и кустов ивняка, мои вчерашние знакомые били шурф. Куфта лежала на небольшом бугорке и подозрительно следила за мной. Ей очень хотелось броситься ко мне с оглушительным лаем и даже, может быть, вцепиться своими белыми зубами, но, посмотрев вопросительно на хозяина, она оставила свое намерение и с легким ворчаньем улеглась на прежнее место, продолжая наблюдать за мной на всякий случай. Эта картина глубокого лога, с группой хищников-старателей в центре, точно была вставлена в темнозеленую раму густого сибирского леса, из-за зубчатой линии которого на севере подымались волнистые силуэты Уральских гор, подернутых синеватою дымкой. Я долго любовался этой чудной картиной далекого севера, так и просившейся на полотно, и затем отправился к старателям.

Василиса Мироновна стояла по грудь в какой-то яме, имевшей форму могилы, откуда и выкидывала железною лопатой песок серого цвета. Кудрявый, русо-

волосый мальчик отгребал песок от краев ямы и накладывал его в тачку. Калин Калиныч тоже не оставался без дела; пот с него катился градом, лицо было красное, как только что отчеканенный пятак. Но толку от его работы было, вероятно, очень мало, и он только мешал другим работать. Смешно было видеть, как эта хлопотливая фигурка то тащила какую-то доску, то заглядывала в яму, то петушком забегала вперед старика, катившего тачку с песком, и все это делалось от чистого сердца, с искренним желанием помочь, принять участие в работе других.

— Бог на помощь! — поздоровался я.

— Спасибо на добром слове, — отозвался старик; он с легким напряжением катил свою тачку по узкой дощечке и с особенною ловкостью вываливал из нее песок, точно вся эта работа была для него игрушкой.

— Ты, барин, поздно же помогать нам пришел, — заговорила своим певучим голосом Василиса Мироновна. — Только ты в нашу работу не годишься, — работа тяжелая, а ножки у тебя тоненькие: того гляди, надломятся. Помоги лучше вон Калинычу, — он, сердешный, совсем замаялся, с самого утра мешает нам работать...

— Уж можно сказать-с, — вступился Калин Калиныч, отирая пот с лица, — уж точно-с, ежели Василиса Мироновна что скажут-с... Хе-хе-хе... — и Калин Калиныч только развел ручками, с умилением посмотрел на всех и неожиданно добавил: — Оченно жарко-с!..

— А ты бы, Калиныч, угостил барина-то, чем бог послал, — заговорил старик, делая мне смотр своим единственным оком. — Отпустил бы я Гришутку, да работой тороплюсь, — надо пробу сделать...

— Хорошо, я это все мигом оборудую-с...

Гришутка, мальчик лет тринадцати, был отлично сложенный ребенок: ширина плеч и высокая грудь, так и вылезавшая из-под ситцевой рубашки, красноречиво говорили о завидном здоровье; но смуглое лицо с серыми глазами было серьезно, даже строго не по летам. Он продолжал свою работу с сосредоточенным видом, как большой, точно не замечая, что говорили о нем.

V

Немного постояв, мы с Калином Калинычем направились к балагану. В моем ягдташе лежал рябчик. Старик, усевшись на корточки, не без искусства принялся жарить его прямо в золе, не ощипав перьев и не выпотрошив. Эта операция требовала известной ловкости, потому что рябчик, завернутый в широкие листья какой-то травы и зарытый в золу, все-таки мог сгореть самым незаметным образом.

— Ты когда, Калин Калиныч, научился рябчиков-то жарить? — невольно спросил я.

— Я-с?.. А Савва Евстигнеич научили-с, то есть собственно у Гришутки-с... Очень смышленый мальчик!..

— А кто этот Савва Евстигнеич? Я что-то не припомню.

— Савва Евстигнеич?.. Они-с, допреж этого, больше извозом занимались, а теперь вот лет с десять так живут, отдыхают, а вот теперь надумали искать платину... Такой уж неспокойный старик и есть!

— Савва Евстигнеич из Старого завода?

— Точно так-с, все старозаводские-с.

— А Василиса Мироновна зачем здесь?

— Так-с, у них дела-с... Можно сказать — удивительная женщина! — с одушевлением заговорил старик и, разведя ручками, прибавил: — Душа у них — золотая душа-с!

Я видел, что Калину Калинычу строго-настрого заказано было развязывать язык, поэтому и не стал продолжать дальнейших расспросов. Рябчик тем временем поспел, и мы его разделили по-братски, а затем, запив его кваском, растянулись в тени балагана, отдавшись каждый своим думам. О чем думал Калин Калиныч, трудно было догадаться, тем более что на его говорливые уста наложена была печать молчания самой Василисой Мироновной, каждое слово которой было для него законом. Я старался ни о чем не думать и просто любоваться синевою неба, зеленью леса, блеском солнца, отдыхая душой среди этого простора живой, чудной природы севера. Но такое желание оказалось

решительно неосуществимым. И пыхтевший рядом Калин Калиныч, видимо угнетаемый обетом молчания и сгоравший от желания поговорить со мной по душе, как со старым знакомым, и мелькавшая невдалеке группа старателей — все нагоняло вереницу мыслей. Среди самой глуши леса неожиданно натолкнулся я на самую странную комбинацию человеческих существ, тайну которой чем дальше, тем сильней хотелось разгадать, и вместе с тем не хотелось вмешиваться в жизнь этой кучки людей, нарушать их покой. Одно только было для меня ясно, как день, именно, что не простая случайность соединила этих людей между собою, что какая-то тайная причина связывала их и не имела ничего общего с их старательством. В самом деле, какие интересы могли соединить эту энергическую женщину, раскольничьего попа, с простяком, светлою душой, Калином Калинычем, и, далее, какая связь могла быть между ними и Саввой Евстигнеичем, этим загадочным стариком старателем? Наконец зачем у этого мальчугана Гришутки такое преждевременно серьезное лицо? Пока я напрасно ломал голову над этими вопросами, солнце поднималось все выше и выше, и, наконец, его лучи добрались и до нас с Калином Калинычем. Я старался выдержать характер и терпеливо жарился на солнечном припеке. А Калин Калиныч даже наслаждался солнечною теплотой, которую с таким обилием посылало ему само небо.

— Этакая благодать-с, — заговорил он наконец, поворачивая другой бок на солнце. — Ей-богу-с, истинная благодать-с! Эко, подумаешь, у господа простору-то, воли-то, а нам все мало, все грешим, все недовольны... Эх, грехи, грехи!.. Вон пташка поет, козявка всякая стрекочет, а солнышко!.. Больно уж я люблю его. Господи, помилуй! Господи, помилуй! И в писании говорится: «Воззрите на птицы небесные: не сеют, не жнут, а отец ваш небесный питает их. Воззрите на полевую лилию: и Соломон во всей славе своей не одевался лучше ее». Чудны дела твои, господи, вся премудростию сотворил еси!..

Слушая эту странную одушевленную речь, я с невольным удивлением посмотрел на моего собеседника,

лицо которого дышало неподдельным, искренним одушевлением. Этот смешной Калин Калиныч теперь был в моих глазах совершенно другим человеком, точно он, в соприкосновении с матерью-природой, переродился и просветлел каким-то внутренним светом.

— А что, Калин Калиныч, — заговорил я, воспользовавшись паузой, — у Гвоздева, кажется, теперь дело с Печенкиным?

— Да-с, дело, и преказусное дело-с. Можно сказать, что отливаются медведю коровьи слезы: плохое дело у Аристарха Прохорыча-с! Хотя они мне и много надсмешек сделали-с, а все-таки жаль их. Это дело, видите ли, у них тянулось очень давно, когда Гвоздев был в компании с Печенкиным по приискам. Вы помните исправника Хряпина? Ну, так это было еще при нем-с. Хряпин-с был гроза грозой, особливо кто приисками занимался, потому тогда за краденое золото оченно строго судили, не как по нонешнему времю. Только поговаривали-с на Старом заводе, что Аристарх Прохорыч жить пошли от Хряпина-с, потому он видел — не видел ихние дела-с, а они ему платили. Я так полагаю-с, что все это сущий вздор, ей-богу-с! Из зависти люди говорят-с.

Калин Калиныч посмотрел на меня, повернулся животом вниз и, положив голову в свои ладони, как тыкву, продолжал:

— А ведь вы знаете карахтер у Аристарх Прохорыча-с? Бе-едовый!.. Они, Аристарх-то Прохорыч, зашибли таким манером на приисках деньгу не малую, а Хряпин начал уж над ними дерзкие слова говорить и обещал в остроге сгноить, ежели они ему не будут дань платить. Аристарх Прохорычу это и не поглянись, потому как они в силу вошли и свое понятие о себе стали иметь, то захотели себя держать высоко. Тогда этот акциз вошел в моду, Аристарх Прохорыч от приисков совсем и отстали, стали водкой заниматься, — это дело в беспример безопасное и прибыльное, — а о Хряпине не забывали, потому он горько им приходился. Вот они-с, Аристарх Прохорыч, и придумали фортель. Ей-богу-с! Евдоким-то Игнатьич, Печенкин то есть, уж

старички-с, а карахтер у них нестерпимый, огненный карахтер, можно сказать-с. Вот они где-то и соберись на именинах: Хряпин, Печенкин и Аристарх Прохорыч. То-се, пятое-десятое, выпили и закусили. Печенкину в голову попало, а Хряпин и захоти покуражиться над ними. «Что, говорит, подлецы...» Это он Аристарху-то Прохорычу с Печенкиным. «Вам, говорит, надо свечи передо мной ставить». Аристарху Прохорычу это и не поглянись, они и шепни на ухо Печенкину словечко, а тот подошел да Хряпина в ухо как запалит!.. А Хряпин в это время ели пирог с осетриной да так рот растворили и смотрят, а изо рта вязига, крошки, рыба — все на пол и сыплется. Очень им это обидно показалось, Хряпину-то, потому они исправником тогда состояли и при исправлении их собственной должности им такой позор нанесли. Тут и заварилась каша: Печенкин было и на мировую, а Хряпин и слышать ничего не хочет, потому — при исполнении обязанности. Тогда у нас еще старые суды были, — ну, по старым судам Печенкина на высидку и приговорили на год в темную, а он к Аристарху Прохорычу: «Выручай, ничего не пожалею». А Аристарх Прохорыч им условие: так и так, сменю всю полицию и Хряпина к черту в подкладку, и тебя ослобоню, только за мои труды мне подпиши вексель в тридцать тысяч. Печенкин с горя-то возьми и подпишись, а Аристарх Прохорыч в Петербург. И сменили, всех сменили! Я тогда с ними до Москвы ездил. Ну-с, теперь прошло этак лет с пять-шесть, разные дела промежду ними были, только они чего-то повздорили между собой, из-за сущего пустяка-с, а Аристарх Прохорыч и захоти наказать Печенкина да вексель ко взысканию и предъявили. Печенкин, как услышал это, еще больше в азарт вошел да прямо в суд: так и так, векселя не давал Гвоздеву, — вексель подложный. Аристарха Прохорыча и потянули в суд. Теперь дело третий год тянется. И я попал в свидетели-с! Да-с... Самое казусное-с дело-с!..

Помолчав немного, Калин Калиныч поднял на меня глаза и проговорил:

— А ведь Хряпин-то нынче почитай в приказчиках у Печенкина служит-с... Ей-богу-с! А прежде, бывало-с,

хуже страшного суда его боялись все. Большую силу имел-с...

Солнце начинало уже палить нещадно; огонь у балагана давно потух, только две упрямые головешки продолжали еще упорно дымиться на остывавшем пепелище. Стреноженная лошадь с трудом подскакала к нам, надеясь найти защиту от облепившего ее овода.

— Ишь, окаянные, съели совсем лошадь! — заговорил Калин Калиныч, поднимаясь с земли, чтобы снова развести огонь.

Он соорудил небольшой костер из старого пня, нескольких полен дров и дымившихся головень, закрыл его сверху и с боков хворостом и зажег; а чтоб он давал больше дыма, принес целую охапку свежей травы и бросил на огонь сверху. Стоявшая около нас лошадь умными глазами следила все время за этой операцией, усиленно отмахивалась своим хвостом от висевшего над ней столбом овода; когда густой белый дым клубами повалил от костра, умное животное встало в самую струю. Калин Калиныч опять лежал в любимой своей позе, животом на земле, и смотрел на меня своими прищуренными черными глазками.

— А ведь мы скоро собираемся церковь новую святить, — заговорил он, болтая ногами.

— Какую церковь?

— А в память освобождения крестьян-с... Как же-с! Вот теперь пятнадцать лет исполнилось, как хлопочем-с. Оченно много было хлопот, а теперь, слава богу, все дело к концу подходит, — кунпол выводить зачали-с...

— На чьи же деньги эта церковь строится?

— Как на чьи-с?— На мирские-с... Тогда, как только ослобонили нас, я прихожу к отцу Нектарию, а он мне и говорит-с: «Так и так, говорит, теперь как выходит всем освобождение-с, так ты, говорит, уж послужи миру-то...» Я поблагодарил их, да с тех пор пятнадцать годов и собирал на построение храма-с!.. Ведь по копеечкам-с собирал, а что этого греха на душу принял, так, кажется, и не замолить по конец жизни... Ей-богу-с! Всякий указывает тебе, всякий усчитывает, всякий ругает: и то не так, и это не так, а отец Нектарий гово-

рит: «Потерпи, потому не для себя стараешься, а для господа бога...» А со стороны сколько напринимался — страсть: и вором-то ругали, и выгоняли с кружкой, только не заушали-с!.. А вот и довели до конца, благодарение создателю, — долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневался на нас, многогрешных.

— А когда будут святить церковь? — спросил я довольно громко.

— Шш!.. — зашипел Калин Калиныч, многозначительно кивая в сторону лога. — Не любят *они* меня за эту церковь, гложут-с... Особливо Василиса Мироновна. Она женщина, можно сказать, божественная-с, потому от писания у них разумение большое, а вот этого не выносит-с... Слышать не могут-с, потому как к старой вере большое прилежание имеют, и построение святого храма для них большой соблазн. Василиса Мироновна как об этом предмете начнут с отцом Нектарием разговаривать-с, все равно как книга-с... Ей-богу-с! Как по печатному, так и отчитывают-с, так и отчитывают-с... Отец Нектарий спорит, спорит с Василисой Мироновной, да и скажет: «Вы, Василиса Мироновна, необнакновенная женщина-с!.. Оченно свободный разговор имеете и большую смелость».

Мы немного помолчали. Вспомнив рассказ Калина Калиныча об его дочери, я спросил его:

— У вас, Калин Калиныч, кажется, есть дочь?

— Да-с... А то как же-с? — спрашивал в свою очередь старик таким тоном, точно у каждого человека непременно должна быть дочь. — Только много с ней хлопот, с дочерью-то...

— Какие же с ней хлопоты, Калин Калиныч?

— А как же-с? Ведь она — женщина, а я в ихнем женском деле ничего не понимаю-с, вот и хлопоты-с... Я одно говорю, а она — другое, да еще скажет: «Вы бы уж, родитель, лучше молчали!» Ей-богу-с! И замолчишь, потому как я мужчина и не могу понимать по женской части. Да и карахтер у Венушки какой-то необнакновенный-с, совсем какой-то неукротительный-с... Да-с. Еще при жизни Матрены Савишны-с это стало заметно. А покойница имела сама карахтер, можно сказать-с, жестокий, так другой раз возьмут Венушку-то,

голову защемят-с промеж ног, загнут-с подол-с, да и оштрафуют посредством крапивы-с... Из своих собственных, родительских рук-с! А все из-за чего? Венушка сызмала всем дерзкие слова говорила... Мать-то ее дерет, дерет, а она, как вырвалась, сейчас заскачет на одной ноге, матери высунет язык и свои слова выражать: «Что, натешилась, а? Что, взяла?» Ей-богу-с... Горох у нас в огороде-то был, для Венушки же больше и садили его, так нет-с, не хочу своего гороху, а подавай чужого-с... Подберет себе компанию мальчишек, да и подобьет всех к соседке горох воровать. Облепихой звали соседку-то, большущая женщина из себя была, а в разуме не тверда-с... Возьмет палку-с, эта самая Облепиха, да с палкой в борозду и завалится, — это ребятишек караулить-с, — а тем это и любопытно-с. Даже до смеху доходило-с... А как мать умерла, Венушка от моих рук совсем отбилась, поступила в учительши, а насчет дерзких слов только слушай-с!.. А ведь я ей что постоянно говорю: «Венушка, удержи ты свой вострой язык, Христа ради! Посмотри ты на меня, ведь я тебе отец...» А она еще хуже от этих моих слов — и пойдет-с, другой раз и меня старика до слез доведет. Ей-богу-с! Хоть взять отца Нектария: человек, кажется, божественный и старички, а Венушка выдумала звать их сладчайшим... Разе хорошее это дело-с? Необнакновенный карахтер-с... И другие-то ругают меня, что такую дочь вырастил и что она неукротимо себя держит, а я ихнего дела-с совсем не могу понять-с. Ведь не могу же я голову меж ног да крапивой-с: первое — Венушка на возрасте-с, девица вполне-с, а второе — мужчине это совестно делать с женским полом...

— Намеднись какой-то съезд был у учителей, — продолжал Калин Калиныч, опять болтая ногами, — множество их собралось на Старом заводе, одолели нас с Евменией, да и народ какой-то оголтелый!.. Были у них там какие-то собрания, начальство приезжало-с. Вот одинова на собрании-то ихний начальник и говорит-с: «А что, говорит, ежели, говорит, я приезжаю в школу раз и застаю учителя не в себе, значит пьяного, приезжаю в другой — опять застаю не в себе, в третий — не в себе, — что, говорит, я должон тогда делать

с ним?» А Венушка не сробела, да и говорит: «А что, говорит, делать, к примеру, учительнице, ежели, говорит, приезжает к ней начальство в школу раз не в себе, в другой — опять не в себе, и в третий раз не в себе?..» Натурально, этакие слова не понравились, и Венушке был большой выговор-с, а она только смеется-с. Ей-богу-с!..

Стоявшая над дымом лошадь, сивой масти, с разбитыми ногами и отвислыми ушами, точно хотела сказать, что она принадлежит не кому другому, как самому Калину Калинычу. Чтобы проверить это предположение, я спросил старика, и лошадь действительно оказалась его. Спустя несколько минут на дым пришла другая лошадь, худая, изморенная, с болтавшейся головой на тонкой шее и с волочившеюся длинною цепью, которая тянулась за ней, как змея. Мне невольно бросилась в глаза эта цепь, а затем тонкие, сильные ноги лошади и особенно ее широкая грудь, как-то неестественно переходившая в подобранный живот, какой бывает у загнанных кляч. Это была чистокровная киргизская лошадь по всем признакам — и по большой горбоносой голове, и по длинным, мохнатым, поротым ушам, и по выступавшим углами широким костям передних лопаток и зада.

— Изволили засмотреться на лошадку-с? — прервал мои наблюдения Калин Калиныч.

— Да, странная лошадь!

— Нет-с, она не странная, а золотая лошадь, да-с! — с какою-то гордостью заговорил Калин Калиныч.

— Почему золотая?

— Да так-с... Потому что цены ей нет — вот какая это лошадь! Мало ли лошадей на Старом заводе, на всех других, на ярманках, а такой нет!.. Нет — и делу конец! Вы теперь, ежели случится вам быть на Старом заводе, спросите первого мальчишку: знаешь «Разбойника»? — непременно скажет, что знает. Это такая лошадь, такая лошадь... Еще ни на одном бегу ни одна лошадь не обошла ее; а зимой в санях — да она горит, еретица, в оглоблях-то, огнем горит... Ей-богу-с! А почему ей цены нет?

Я сознался в своем неведении.

— Ах, господи, да неужели не слыхали-с? — с каким-то укором заговорил Калин Калиныч, с сожалением глядя на меня. — «Разбойник» — двужильная лошадь, у ней двойной дух — вот в чем вся сила-то!

— Что это значит двужильная?

— Двужильная-то? — Это-с... это, к примеру, выходит так: проехали вы на «Разбойнике» полсотни верст, да ведь проехали вы их в три часа, сейчас остановились; она сейчас дохнет этак тяжело-тяжело раза два, и опять катай на ней пятьдесят верст — стрела стрелой летит! Вот это и значит по-нашему двужильная лошадь. А силища у ней — ужасти, ей-богу-с! Сто пудов семьдесят верст везет без отдыха... Двойной дух — одно слово!

Я с удивлением посмотрел на «Разбойника» и в душе не поверил словам Калина Калиныча.

— А где он достал эту лошадь?

— Достал он ее, сударь мой, в степи, в кыргызах, а как достал — не умею вам сказать-с. Ему тут же, на месте, давали за нее целый косяк лошадей, — не отдал. «Разе я, говорит, сам себе враг?..» Вот он какой, Савва-то Евстигнеич!..

«Разбойник» стоял под самым дымом, полузакрывши глаза и слабо отмахиваясь коротким хвостом от жужжавших насекомых, и сколько я ни рассматривал его, решительно ничего не мог найти, кроме несоразмерно сильно развитой грудной клетки и несоразмерно тощего живота. Таких киргизских лошадей я видал очень много на Урале.

VI

Полежав еще немного у балагана, я отправился опять к работавшим у шурфа. Василиса Мироновна оставила свою работу и теперь отдыхала, лежа на траве; Гриша лежал тоже, заслонив глаза от солнца рукой; Савва Евстигнеич, в двух шагах от них, сидел на берегу речки, с громадным ковшом в руках, в котором промывал содержащий платину песок. Он делал пробу. Промывание песку совершалось очень просто. Старик

погружал ковш с песком в воду и там долго мешал в нем песок рукой, отчего муть шла по воде кругами, а собравшиеся наверху камушки старательно выбрасывал вон. В ковше становилось все больше свободного места, так что он во второй половине операции прямо зачерпывал ковшом воды, мешал ее с песком и затем образовавшуюся мутную воду сливал. Через полчаса такой работы на дне ковша осталось только немного песку; старик с особенною тщательностью начал отделять его от появившегося черного песочка, так называемого «шлиха», содержавшего платину. Еще несколько минут работы — и на дне ковша остались одни «шлихи»; их старик промыл так же, как песок, и затем долго рассматривал на дне ковша какие-то крупинки.

— Ну, что? — спрашивала Василиса Мироновна, по обыкновению не поворачивая головы.

— Да кто его знает, — уклончиво отвечал старик, — как будто маненько есть...

— Одна платина? — опять спросила Василиса Мироновна.

— Нет, есть и золото, только больно мало.

Я подошел к старику. На дне ковша лежала платина вместе с крупинками золота. Всего было около четверти золотника. Проба самая богатая, но старик просто притворялся, что платины «как будто маненько есть»... Это общая раскольничья черта — не высказываться сразу; но, с другой стороны, старик, видимо, был недоволен, — значит, он ждал золотой пробы.

— Наврал, страмец! — сердито буркнул он, собирая платину в бумажку. — Проклятый Шинкаренко опять подвел... Золото, говорит, лопатой греби... Ах, он... — и старик завязал очень крепкое словцо и почесал затылок.

— А ты и поверил ему! — равнодушно говорила Василиса Мироновна. — Кто ищет золота по таким местам?.. И лес не такой, и земля не такая.

Мы вернулись все к балагану. Я опять наблюдал всю компанию, особенно старика, который меня интересовал очень сильно, потому что, очевидно, он был головой в этой странной компании. Василиса Мироновна принесла из балагана маленькую котомку, из которой достала ковригу ржаного хлеба и белую тряпочку с

крупно истолченною солью. Медленно и с покойною важностью отрезала она несколько ломтей во всю ковригу, постлала на траву небольшую синюю скатерть, развернула тряпочку с солью, поставила небольшой зеленый бурачок с квасом, и обед был готов. Старик выбрал самый большой ломоть хлеба, круто его насолил и свистнул резким, далеко раскатившимся свистом. В ответ донеслось радостное ржание, послышался топот, и «Разбойник», подняв голову и раздув ноздри, показался в высокой траве. Не добежав до балагана несколько шагов, он оглядел всю компанию блестящими, горячими глазами, а затем, как ручная собака, подбежал к старику и дружелюбно положил ему свою голову с поротыми ушами прямо на плечо. Старик ласково потрепал лошадь по шее и начал ее кормить хлебом, отламывая от ломтя небольшие кусочки. Съев хлеб, «Разбойник» поднялся было на дыбы, точно хотел обнять старика, а потом мгновенно опять скрылся в лес, откуда донесся только его звонкий топот.

— Балуешь ты лошадь, — заметила Василиса Мироновна.

— Не могу сам есть, пока его не накормлю, — улыбаясь, проговорил старик, видимо довольный и счастливый.

Старик вымыл руки; все встали лицом к востоку и помолились. Все трое принялись обедать, с каким-то благоговением откусывая хлеб и боясь уронить на землю малейшую крошку дара божия. Я залюбовался этою безмолвною трапезой и в душе завидовал аппетиту вкушавших в поте лица хлеб свой; глядя на них, кажется, мертвый захотел бы есть. Хлеб был запит квасом, затем все снова помолились, и торжественный обед кончился. Василиса Мироновна отправилась в балаган вздремнуть малую толику, Калин Калиныч зачем-то побрел с Гришуткой в лес, а я остался один с Саввой Евстигнеичем.

— Что, Савва Евстигнеич, будешь работать здесь али нет? — полюбопытствовал я.

— Да как тебе сказать, и буду и не буду, — охотно заговорил старик, теперь относившийся ко мне с полным доверием. — Проба, пожалуй, и хорошая, да за

платину-то нам платят по-сиротски... Ведь золотник-от всего по-двугривенному обходится, — какие это деньги?

— Да ведь работают же, значит — выгодно?

— Как не работать — работают, только ведь эта платина для нас распоследнее дело. Есть такие лога, где платина гнездами, — ну, это другой разговор: тут, пожалуй, и деньгу зашибешь. Тоже вот жилой она попадает — тоже из-за хлеба на квас можно биться, а здесь идет россыпью, да и глубоко пески.

— Вы давненько этим занимаетесь?

— Чем это?

— Ну, старательством-то.

— Старательством? — Старик задумался, потом усмехнулся и, посмотрев на меня, заговорил: — Да вот на второй десяток перевалило, как землю рою... Только все это пустяки!

— Почему так?

— Так, — коротко отвечал старик и замолчал, — не стоит говорить... Может, слыхал, такая поговорка есть: «Золото роем, а сами голосом воем». Через это самое золото много наших мужицких слез льется.

— Значит, прежде за барином вам лучше жилось? — спросил я, пользуясь случаем. — Ведь барин хлебом кормил и одевал иногда даром.

Старатель долго молчал и потом проговорил:

— Это дело мудреное, а вот я расскажу тебе одну побасенку: она — пустая, побасенка-то, а все дело как на ладони. От старых людей она до нас дошла, значит — недаром она была сложена. Видишь, жила у барина одна собака в холе и во всяком довольстве. Пришла зима. Холод, вьюга, а вокруг деревни волки стаями так и ходят, так и ходят... Воют, сердечные, с холоду и голоду, а взять нигде нечего. Вот однажды собака и пошла в лес, а навстречу ей как раз матерой волчище и с голоду зубищами лязгает. Собака посмотрела на него и говорит: «А зачем вы, волки, так по ночам воете?» — «А с голоду воем», — отвечал истощенный волк. А собака опять волку: «Отчего же вы не идете в деревню? Стерегли бы двор у какого барина, а он бы вас кормил. Ты теперь, волк, вон как отощал, а тогда бы растолстел, как я...» Волчище усмехнулся и

спрашивает: «А на шее у тебя что?» — «Ошейник». — «А для чего он тебе?» — «А когда меня на цепь сажают, так для этого и ошейник». — «Ну, так прощай! — сказал истощенный волк. — Хоть у твоего барина и хорошее житье, а мне все-таки лучше голодному по лесу ходить, чем сытому сидеть на цепи».

Старик замолчал. Эта побасенка очень понравилась мне: она слишком много говорила за себя, и я понимал, что передо мной сидел один из тех «истощенных волков», каких создало крепостное право. «Да, именно истощенный волк, — думал я, со стороны рассматривая своего оригинального собеседника. — Старатель — это именно и есть истощенный волк, который хищником бродит по лесам, отыскивая свою добычу...»

— Говорят, у вас на Старом заводе много конокрадов развелось? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Да где их нет, мошенников!.. И наши старозаводские больно пошаливают.

— Тебе не случалось с ними дело иметь?

— Мне?.. Нет, раз побывал я в ихних руках. — Немного помолчав, старик заговорил: — Была у Василисы Мироновны буланая лошадка, рублей шестьдесят давана, — тогда еще на ассигнации считали, — вот эту лошадку и стянули, да таково ловко, как в воду канула. Василиса Мироновна туда-сюда, ко мне, выручи... Думаю, дело мудреное, а пособить бабе надо, потому дело женское, необычное. Пошел по знакомым мужикам, толкнулся, — думаю, не пали ли слухи до них. «Нет, говорят, не знаем, а в Куляшево наведайся...» Подумал, подумал, сел на «Разбойника» да в Куляшево. А Куляшево, надо тебе сказать, чисто разбойничье гнездо, разбойник на разбойнике, разбойником понужает, того и гляди, середь белого дня зарежут... Приезжаю в Куляшево, к знакомому мужику: «Пособи, родимый, лошадка потерялась». — «Не знаю, говорит, ничего не знаю». У них у всех такая привычка: все «не знаю». А я думаю: «Врешь, негде быть лошади, окромя вас, долгоспинников». Мы их долгоспинниками зовем, потому все до единого так медведями и глядят, точно вот с берлоги сейчас подняли. Пожил я

этак денька два в Куляшеве, а толку нет. Купил вина, угостил хозяина и говорю ему: «Скажи, говорю, дядя, где лошадь?» — «Да, ведь не твоя, говорит, о чем печалуешься?» — «Это уж, говорю, мое дело, а твое — скажи, где лошадь». Посмотрел он на меня: «Так и быть, говорит, уважу по старой дружбе; ступай, говорит, к Тишке». Прихожу. «Ладно, говорит, знаю, где твоя лошадь, только, говорит, за труды мне четвертную». — «Ах ты, думаю, разбойник этакий», а делать нечего. «Бери, говорю, синенькую». Поторговались маненько и порешили на ней. Повел он меня во двор: «Ищи, говорит, лошадь, — она здесь». Я поглядел, походил, в конюшне стоит лошадь да не та, а больше негде ей быть. «Разе, говорю, под полом спрятана?» — «Нет, говорит, ищи». Смотрю, стоит амбарушка махонькая-размахонькая, в какой овец держат, — ну, и дверь проделана тоже махонькая. Я раньше поглядывал на эту дверку, да думаю, буланка — большая лошадь, а тут и овце едва пролезть. Смотрел, смотрел на меня Тишка, усмехнулся, толкнул дверь ногой. «Вот, говорит, твоя лошадь, получай». Я нагнулся, заглянул в клетушку: точно, буланка Василисы Мироновны стоит и сено жует. «Ах вы, разбойники, думаю, куда этакую лошадь затащили, а вот как, мол, вы ее оттедова добывать будете». Так они, подлецы, что сделали: взяли ее повалили, связали да из хлева-то на катках и выкатили. Взял я эту самую буланку, да подобру-поздорову домой скорей, а этот еретик Тишка и говорит: «Напредки, говорит, не объезжайте мимо-то». — «Ладно, мол, добрый человек, как ни-на-есть, ежели доведется, так десять верст околицы мимо вашего проклятого гнезда». — «Хорошо, — говорит Тишка, — не больно закаявайся, — к нам и получше тебя ездят, — а то, говорит, мы шутить не любим».

Старик задумался, а потом улыбнулся и, подняв единственный глаз на меня, проговорил:

— А ведь эти долгоспинники тогда чуть-чуть меня не порешили...

— Это как?

— Самым простым манером, только «Разбойник» вынес, — не без гордости проговорил Савва Евстигнеич. — Как выручил я от Тишки лошадь, сейчас же и собрался в дорогу, а был уж час девятый на дворе, по летнему делу смеркаться начинало. Уговаривал было меня хозяин остаться переночевать, да уж больно было мне муторно глядеть-то на них, разбойников! «Не пришлось бы воротиться, — говорит мне хозяин, — дорога-то больно плоха, своротов много». — «Нет, мол, видно не доведется воротиться, а дорогу, мол, лучше тебя знаем». Еду. Отъехал верст с пять — стемнело. Опустил поводья, думаю, «Разбойник» сам дорогу найдет, потому ночью видит, как все равно кошка, и по духу знает, куда ехать. Только задумался я этак маненечко, а дорога шла под гору, да такая скверная, только чертям ездить, — вдруг из стороны прямо к «Разбойнику» двое за повод хвать!.. «Ах вы, еретики этакие! — кричу им. — Что вы, кричу, окаянные, делаете? Я вот вам!» А у самого и оборонки-то никакой в те поры, как нарочно, не случилось... «Разбойник» сейчас на дыбы да одного ножкой — чук! — тот кубарем и скатился под гору, а сам вперед. Только гора крутая-прекрутая, и ходу нам, окромя шагу, нет, да и то гляди в оба, шею как бы не сломать. Спустились мы этаким манером в лог, — глубокий такой лог, — опять из стороны кто-то как хлопнется под ноги «Разбойнику». Другая бы лошадь десять раз сбросила, а «Разбойник» только перескочил и опять вперед. Думаю, дело плохо, — пожалуй, ни за грош порешат. Пригнулся я к самой шее «Разбойника» и думаю: «Ну, теперь сослужи мне службу, вынеси, — озолочу». Только стали подниматься в гору, опять на дорогу: хлоп! — опять «Разбойник» перескочил, а я слышу, начинает лошадь сердиться, храпит, дрожит. Только бы, думаю, на гору подняться, а там поминай как звали! А они, еретики, догадливы были: как только стал я подъезжать наверх-то, слышу, точно в стороне опять что-то потрескивает, а сам лежу на «Разбойнике», прильнул, сердце так и бьется. Вдруг поперек дороги двое на лошадях: значит — ни взад, ни вперед. Делать нечего, сотворил про себя молитву, погладил «Разбойника» по

шее, а сам по-разбойничьи на один бок свесился да как свисну: «Разбойник» — вперед, да и полетел, что твой ветер, а они нам вдогонку давай палить. Так ты не поверишь, эти двадцать верст до Старого завода мы сделали в полчаса, даже меньше, чем в полчаса. Погнались было за нами, да на двух верстах отстали. Приехали мы домой целы и невредимы и буланку привели. Привязал я «Разбойника» к столбу, — весь в мыле, сердечный, — снял шапку да в ноги ему, ей-богу, так и повалился в ноги. «Спасибо, говорю, сослужил ты мне службу верой и правдой! По конец жизни буду помнить твою службу!»

Старик замолчал и, низко свесив голову, о чем-то задумался; вероятно, пред ним протянулись другие воспоминания долгой, полной приключениями жизни. Он в теперешней своей позе так и просился на картину: ворот красной рубахи был расстегнут и открывал могучую, обросшую волосами, грудь; загорелая широкая шея точно была отлита из бронзы; седая окладистая борода и седые брови несколько смягчали эту ничем не сокрушимую силу в образе человеческом. Старик долго и сосредоточенно смотрел своим одиноким глазом, пока я не прервал этого молчания вопросом, где он достал свою лошадь.

— Это было лет семь тому назад, — заговорил старик, — я тогда с гуртовщиками ходил в степи. Гнали из-под Семипалатинска косяков пять лошадей в Старый завод на ярмарку. Дело было на полдороге. Стали нас больно обижать кыргызы, все ладили отбить лошадей, да не удавалось... Больно уж один надоел: и день и ночь так и вертится у нас в глазах. Мы уж думали, что это дьявол, а не человек, потому то назади нас, то впереди, и не о дву-конь, а все на одной гнеденькой лошаденке, как бес перед заутреней, вертится... Уж мы его ловить пытались, пытались, — куда тебе! Гикнет по-ихнему, да как сквозь землю и провалится... Ищи его по степи-то. Скорее ветер догонишь, чем его, окаянного... А хозяин над нами потешается: «Куда-де вам, вахлакам, кыргыза ловить». И так это мне обидно стало, что даже ночью, проклятый, снился, а под конец я из-за него и пищи-то

лишился: есть не могу, спать не могу, тоска напала, и все думаю о лошади, каким бы ни-на-есть манером добыть ее из-под кыргыза.

Старик замолчал, а потом совершенно другим тоном добавил:

— А ведь я этого самого кыргыза пристрелил...

Я долго рассматривал выражение лица Саввы Евстигнеича: хоть бы малейшая тень, хоть бы одна морщинка, — нет, такое же доброе, хорошее выражение на лице, как ночью, когда старик рассказывал Василисе Мироновне о котятах.

— Тебе не жаль его?

— Кого это?

— Ну, да киргиза, которого...

— Которого я убил?.. Да чего мне его жалеть-то? — с удивлением заговорил старик.

— Как чего жалеть?.. Да ведь он — человек?

— Ну, уж это ты, барин, напрасно, — заговорил старик, обидевшись и с некоторым сожалением глядя на меня. — Какой же он человек? Я лошадь пожалею, собаку пожалею, потому они хозяина знают и добро помнят, а кыргыз — што? Кыргыз — нехристь, погань, значит — туда ему и дорога!.. Они нашего брата не больно жалеют... В степи-то один бог да Никола, — твори, чего хочешь!

Я несколько успокоился, потому что подобное рассуждение походило хоть немного на логику, но расспрашивать дальше об обстоятельствах, сопровождавших приобретение лошади, я не имел желания.

Солнце начинало уже клониться к горизонту, зной летнего дня заметно спадал, — значит, пора было отправляться в дорогу. Еще раз расспросив старика подробно о дороге, я начал с ним прощаться.

— Погоди, востроногой! — послышался из балагана голос Василисы Мироновны. — Опять, пожалуй, заплутаешься... Нам с Калинычем тоже пора отправляться, — дойдешь с нами до поворота на Момыниху, а там уж слепой выйдет.

Мне пришлось только согласиться на это приглашение.

Лошади были скоро оседланы, и, простившись со стариком, мы втроем двинулись в путь. Балаган со стариком и мальчиком скрылся из наших глаз на первом повороте едва заметной лесной тропинки, по которой мы взяли наш курс. Василиса Мироновна ехала настоящею амазонкой на своей буланке, — вероятно, той самой, о которой рассказывал старик. Сидела она в высоком киргизском седле по-мужски, молодцом, хоть это и не совсем гармонировало с ее кубовым сарафаном и темным платком на голове. Калин Калиныч, видимо, никогда не ездил верхом и сидел на своей убогой сивенькой лошадке как мешок, набитый травой. Василиса Мироновна ехала впереди, я старался держаться с нею наравне, а Калин Калиныч замыкал эту торжественную процессию.

— Вы куда же это едете, Василиса Мироновна? — спросил я свою спутницу.

— А тут есть в горах одна могилка, старца Антония, так вот мы туда едем.

— Зачем?

— А на поклонение, — весело отвечала Василиса Мироновна. — Там наших об эту пору, под Петров день, видимо-невидимо собирается, тыщев до трех.

Всю дорогу до Момынихи мы проболтали самым веселым образом, так как у нас нашлось очень много общих знакомых. Калин Калиныч иногда вмешивался в наш разговор, но больше молчал, потел, вздыхал, кашлял, постоянно утирался своим платком с изображением сражения, сморкался прямо в физиономию какому-то сердитому генералу и не пропускал случая в приличных местах посмеяться дребезжавшим, с проскакивавшими детскими нотками смехом.

— Вот и Момыниха! — заговорила Василиса Мироновна, когда наша тропинка начала огибать какую-то гору и направо отделила другую дорожку. — Вот ступай направо, — прямо на Момыниху и выйдешь.

— Спасибо, Василиса Мироновна! Прощайте.

— Ладно, не поминай лихом, а когда будешь в Старом заводе, не проходи мимо моей-то избушки! — весело прощалась со мной Василиса Мироновна.

Я свернул на новую тропинку, а моя мужественная спутница продолжала путь в сопровождении своего мешковатого рыцаря. Я остановился и долго провожал глазами эту странную пару, пока она не скрылась в лесу, смешанном из елей, сосен и берез.

VII

Старый завод облепил своими бревенчатыми домиками подножие двух высоких гор, которыми заканчивалось одно из бесчисленных разветвлений восточного склона Уральских гор. Небольшая, но очень богатая водой река Старица образует между этими горами очень красивый пруд, уходящий своим верховьем верст за пятнадцать, внутрь Уральских гор, занимая глубокую горную долину, обставленную по бокам довольно высокими горами и дремучим лесом. Около этого пруда столпились главным образом заводские домики, точно все они сейчас только вышли из воды и не успели еще вытянуться в длинные и широкие улицы. Эти скучившиеся по берегу пруда домики собственно и составляли ядро Старого завода, около которого постепенно отлагались позднейшие наслоения построек, образовавшие уже правильные длинные улицы, пока крайние домики не уперлись совсем в линию синевшего невдалеке леса, а другие совсем вползли на гору, точно их вскинуло туда какою-нибудь сильною волной. Издали вид на Старый завод очень красив: зелень леса, синева неба, пестрота строений — все это смешивается в оригинальную картину, которая целиком отражается на блестящей поверхности пруда, особенно рано утром, когда еще ни одна волна не поднята ветром и вдали пруд подернут туманною дымкой. Одна из гор, у подножия которых раскинулся Старый завод, стоит еще наполовину в лесу, от которого на самой горе остался лишь небольшой гребень; эта гора составляет главную силу и источник богатства Старого завода, потому что почти вся состоит из богатейшей железной руды. В настоящее время знаменитая гора представляет из себя что-то вроде громадной цитадели с полуразрушенными

бастионами и высоким желтым валом кругом. Под горой стоит несколько высоких труб, вечно дымящихся и по ночам выбрасывающих целые снопы ярких искр: это — преддверие знаменитого рудника, бесчисленными галереями раскинувшегося под землей, на глубине восьмидесяти сажен, точно нора какого-то подземного чудовища. Длинная плотина соединяет обе горы; к ней прислонилась громадная фабрика со множеством черных высоких труб, пять доменных печей и несколько отдельных заводских корпусов, издали смахивающих на казармы. Несколько глубоких и длинных сливов проводят воду из пруда на фабрику, где, повернув бесчисленное множество колес, шестерен и валов, эта живая сила природы, наконец, вырывается из железной пасти чудовища и с глухим рокотом катится далее, разливаясь в зеленых берегах и принимая прежнее название Старицы.

Мне несколько раз случалось бывать на Старом заводе, и всякий раз меня преследовала мысль о том будущем, которое должно определиться для его населения, о тех рамках, в которые должна будет вылиться его жизнь с отменой крепостного права, введением новых судов, земских учреждений, народного образования и другими условиями новой жизни. Процесс Гвоздева и Печенкина обещал раскрыть много интересных бытовых сторон в жизни Старого завода, поэтому я, закинув маленькое заделье, воспользовался удобным случаем еще раз побывать в нем.

Мне пришлось остановиться в небольшой гостинице с номерами для приезжающих. Эта гостиница носила многозначительное название «Магнит» и составляла часть заводского клуба, в котором по вечерам играла плохонькая музыка; под нее местная публика танцевала, а главным образом — коротала свое время около буфета и за зеленым полем, на котором процветал в полной силе знаменитый сибирский вист с винтом и даже с каким-то «перевинтом». Это скромное времяпрепровождение нарушалось только более или менее сильными скандалами. Героями их периодически бывали то золотопромышленник Печенкин, то мировой судья Федя Заверткин. При магическом посредниче-

стве общего миротворца Пальцева эти скандалы обыкновенно кончались ничем, скоро совсем забывались и тонули в общей скуке монотонной заводской жизни. Мой номер выходил одним окном в сад, упиравшийся тенистыми аллеями прямо в пруд; из другого окна я мог, сколько душе угодно, любоваться видом Нагорной улицы, проходившей под самыми окнами «Магнита». Наведя справки, я узнал, что процесс Гвоздева отложен еще на несколько дней, — значит, оставалось или сидеть в своем номере и плевать в потолок, или идти в общую залу «Магнита», он же и заводский клуб, или отыскивать кого-нибудь из старых знакомых. Мой сосед по номеру, какой-то свидетель по делу Гвоздева, с первых же часов моего пребывания в «Магните» сделался моим явным врагом, так как имел прескверную привычку так громко сморкаться, чихать, вздыхать и охать, что хоть бери другой номер или беги на улицу. Я выбрал последнее, вспомнив Калина Калиныча, навестить которого теперь выпал такой удобный случай. Адреса Калина Калиныча у меня не было, но я кстати вспомнил его рассказ о строившейся под его надзором новой церкви и решил идти туда.

Нагорная улица одним концом своим подходила к самому пруду, образуя большой рынок, по-заводски — «базар». Отсюда я увидел на противоположной стороне пруда, на небольшом возвышении, строящуюся церковь, покрытую доверху лесами, по которым, как муравьи, ползли рабочие взад и вперед. Пройдя длинную заводскую плотину и миновав громадную площадь, с угольными валами и бесконечными поленницами дров, я начал подыматься к возвышению, на котором строилась церковь. За паутиной лесов трудно было разглядеть все детали этого храма свободы, но по форме уже выведенного купола и по фигуре высокой колокольни можно было вперед сказать, что это была церковь самой обыкновенной формы неуклюжего корабля, по образцу которой выстроены почти все храмы по широкому лицу земли русской и дальше которой не поднимались мечты Калина Калиныча и о. Нектария. Войдя в черту дощатой ограды, я спро-

сил первого попавшегося рабочего, где мне найти Калина Калиныча.

— Он в кунполе, — бойко отвечал разбитной вятский каменщик.

Пришлось подниматься по сколоченным на живую нитку переходам в самый «кунпол», но делать нечего, — не идти же назад в «Магнит», чтобы снова слушать сморканье и кашель моего врага соседа. Благополучно минуя первый этаж церкви и осторожно обойдя попадавшихся рабочих с тяжелыми ношами кирпича, извести и песку, я, наконец, добрался до «кунпола», где действительно и нашел Калина Калиныча. Старик обрадовался мне, как родному, и чуть не бросился меня обнимать, так что я даже был смущен до некоторой степени детскою радостью этого «простеца».

— Ах, батюшка, да как же это вы-с, можно сказать, вот досюда... уважили-с!.. — говорил Калин Калиныч, указывая своей коротенькой ручкой на свою шею, обмотанную шарфом, хотя стояли еще последние числа августа и было очень тепло. — Вот-с, господь привел, и кунпол вывели по грехам нашим-с... Изволите видеть, какая махинища-с!..

Я похвалил постройку. Старик как-то растерялся и смущенно залепетал:

— Да, да-с, все ругают-с, все подсчитывают-с, а вы — посторонний-с... И отец Нектарий говорили недавно, чтобы как ни-на-есть еще потерпеть, потому дело к концу подходит... Не для себя трудимся, да-с... А я сейчас домой собрался, — вот и отлично-с... Мы и чайку попьем, и покалякаем-с! Очинно вами благодарен, что не забыли старика...

Я присел на доску и просил Калина Калиныча не торопиться; но старику не сиделось на месте: он пропал на несколько времени в амбразуре громадного окна, кубарем покатился по лесам вниз, через минуту снова спускался уже откуда-то сверху, по доске, гнувшейся под его тяжестью.

— Как можно-с, как можно-с, — бормотал старик, засовывая в карман засаленную тетрадку: — и днюем,

и ночуем здесь... Как же можно-с: бывает и свинье праздник, можно сказать-с... Как же не торопиться-с!..

Через четверть часа мы уже шли по одной из широких заводских улиц по направлению к руднику. Калин Калиныч не переставал говорить всю дорогу, по временам забегая немного вперед и заглядывая мне в глаза.

— А вы к нам на дело Гвоздева-с? — спрашивал он, усиленно семеня своими коротенькими ножками. — Преказусное дело-с... Одних свидетелей человек полсотни вызвали, адвоката из столицы выписали-с... Какой-то Праведный... Ей-богу-с! Фамилия такая-с: Праведный...

С грохотом прокатившаяся мимо пролетка заставила Калина Калиныча снять свой картуз и низко поклониться; я едва успел рассмотреть плотного седого старика с вросшёю толстой головой в плечи и высокого, красивого мужчину лет под пятьдесят с кудрявыми волосами. Отличная серая, в яблоках, лошадь неслась вихрем, и пролетка на лежачих рессорах скоро скрылась из вида.

— Знаете, кто это проехал? — спрашивал Калин Калиныч. — Это Евдоким Игнатьич-с...

— Печенкин?

— Да-с, они самые-с... А с ними Хряпин.

— Это тот Хряпин, из-за которого вышло дело?

— Они самые-с... Только они теперь служат у Евдокима Игнатьича-с и вместе по свидетелям объезжают, значит. А вот мы и дома-с... Милости просим!..

VIII

Мы остановились у небольшого деревянного домика в три окна. Калин Калиныч отворил калитку и вежливо пропустил меня, как гостя, вперед. Небольшой запущенный двор, с старыми службами назади, не представлял ничего привлекательного; везде сор и «мерзость запустения». Выскочила какая-то хромая собака, повиляла хвостом, посмотрела на нас слезившимися глазами и побежала обратно, под старое

крыльцо. Одно окно избушки выходило на двор и было отворено; из него доносились треньканье гитары и женский контральто, напевавший балладу Гете:

Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, радость и перлы сулит...

Калин Калиныч успел уже взбежать по покосившимся ступенькам своего ветхого крылечка и, притворив двери в темные сени, ждал меня с сияющей улыбкой. Заметив мой вопросительный взгляд, он поспешил меня успокоить:

— Это Евмения моя балуется-с! Уж извините-с!..

Нагнувшись, мы вошли в низкую, но довольно светлую комнату, разделенную тонкою перегородкой на две половины. Стены были оклеены дешевенькими обоями; мебель была сборная; на стенах висели лубочные генералы и архиереи, сердито оглядывавшие друг друга: в переднем углу стоял деревянный простой стол; над ним чернели старинные образа и слабо теплилась лампада. На небольшом диванчике, стоявшем у перегородки, лежала с гитарой в руках белокурая девушка. Она даже не повернула головы, когда мы вошли в комнату.

— Вот, Венушка, господь гостя нам прислал-с, — заговорил старик, рекомендуя меня. — Да встань же, Венушка, так нехорошо-с...

Евмения медленно поднялась с своего дивана, несколько раз потянулась, так что у ней хрустнули пальцы, и, кивнув мне головой, как старому знакомому, скрылась за свою перегородку. Одета эта странная девушка была в черное платье, которое облегало ее сухую, невысокую фигурку тощими складками и совсем печально болталось около ног, потому что ношение юбок Евмения считала положительным предрассудком. Слегка подстриженные волосы и широкий кожаный монашеский пояс, перехватывавший довольно тонкую талию Евмении, довершали портрет учительницы, обладавшей «необнакновенным карахтером».

— А уж вы извините-с меня, старика, — вкрадчиво заговорил Калин Калиныч, пожимая мою руку. — Я оставлю вас на минутку-с, всего на одну минутку-с!..

Наставить самоварчик надо-с... Уж вы извините за наше убожество-с! Венушка, а ты занимай гостя-с, пока я в сенцах самовар наставлю.

— Вот это мило! — послышался из-за перегородки голос Евмении. — Что я тебе за говорильная машина, которую только завести, она и пойдет молоть... Ты привел гостя, так и занимай сам.

— А это ты напрасно такие слова выражаешь, Венушка, — мягко отвечал старик и, подмигнув мне, прибавил: — Они ведь петербургские-с, образованные-с...

Сняв небольшой медный самовар с печи и не переставая улыбаться и подмигивать мне, старик вышел из комнаты. В дверях перегородки появилась Евмения и пытливо, даже нахально, посмотрела мне прямо в глаза.

— Так вы действительно из Петербурга? Были студентом? — спрашивала она, продолжая глядеть в упор, а когда я ответил на ее вопрос утвердительно, прибавила: — Идите сюда, в мою комнату, — здесь удобнее.

Я повиновался и, сделав три шага, очутился в крошечной комнатке в одно окно. У наружной стены стояла небольшая железная кроватка, прикрытая белым, безупречной чистоты покрывалом; подле окна помещался письменный стол, заваленный какими-то бумагами, книгами и фотографиями разных знаменитостей политики и литературы. Над кроватью висела этажерка, туго набитая книгами; на полу лежал тоненький ковер, сильно истерзанный «зубами времени». В этой комнате было всего два стула, из которых на один Евмения села сама, а на другой указала мне. Я только теперь хорошенько рассмотрел лицо девушки, на котором резко выделялись большие темносерые глаза и широкий рот с чувственными губами, сложенными самой природой в какую-то вызывающую улыбку. Само по себе лицо Евмении не было ни особенно красиво, ни особенно безобразно, но в нем чувствовалось что-то особенное, оригинальное, что трудно было определить с первого раза. Это особенное выражение лежало на лице легкой, едва заметною тенью; а когда Евмения улыбалась, оно переходило в злобную

и язвительную улыбку, открывая два ряда блестящих зубов и зажигая глаза зловещим огоньком.

— Венушка, Венушка! — послышался голос Калина Калиныча, — где у нас угли-то стоят?.. Уф!.. Совсем задохся с этим самоваром, раздувал, раздувал...

— Ах, отстань, пожалуйста: надоел! — сдвинув густые брови, проговорила Евмения. — Гостеприимство одолело, а толку нет самовара поставить.

— Вот как ты отвечаешь отцу-то! — заговорил Калин Калиныч, выставляя из-за перегородки свою круглую, как арбуз, голову. — А разе барышни принимают гостей в спальнях?.. Разе это порядок?

— У меня кабинет, а не спальня! — резко отвечала Евмения. — Ты вот ступай к самовару-то, — лучше будет.

Голова Калина Калиныча исчезла, а Евмения закатилась неудержимым смехом, откинувшись на спинку стула и вздрагивая всем своим маленьким телом. Нахохотавшись до слез и закусив нижнюю губу, она несколько времени смотрела на конец своей ботинки, а потом заговорила:

— Вот подите, растолкуйте старику, что я совсем не барышня и совсем не нуждаюсь в соответствующем этикете. Ха-ха-ха!.. Вы не знаете, над чем я так глупо хохочу? Есть здесь один мировой судья, Заверткин, да еще судебный следователь, какой-то хохол шести футов роста и глупый, как индюк... Вот эта почтенная компания и ввались в одно прекрасное утро в нашу избушку в гости... Дело было вечером, гости засиделись и порешили даже остаться у нас совсем... Конечно, пьяные были, лыка не вязали, — следовало бы просто выпроводить их в шею, и делу конец! Так нужно было видеть моего папеньку, как он защищал меня... Ха-ха-ха... Этот шестифутовый хохол завалился на мою постель и заснул... Что делать? Я, конечно, сейчас же ушла к подруге и провела там ночь, а папенька — в слезы: главное, что скажут про нас, что у нас Заверткин с хохлом выспались... Вот подите со стариком, с этим воплощением всевозможных предрассудков! Точно и без того не скажут, и точно я нуждаюсь в том, что будут обо мне говорить...

Пока Калин Калиныч возился около самовара, Евмения успела закидать меня тысячью вопросов, на которые я едва успевал отвечать. Этот разговор вертелся главным образом около Петербурга и студентов, этих двух магических слов, при одном звуке которых у Евмении загорались глаза каждый раз, и она начинала тяжело дышать.

— Хоть бы одним глазком посмотреть, как люди-то живут на свете, — говорила она, ломая пальцы. — А то все равно сгниешь здесь заживо... Как маятник, ходишь из дому в школу, из школы домой. Ведь есть же счастливцы, которые могут жить иначе! Я иногда просто схожу с ума от тоски и злости, а время бежит...

Я с своей стороны поспешил разочаровать Евмению в ее розовых взглядах на петербургскую жизнь; но мои слова были горохом к стене, — Евмения недоверчиво качала головой.

— Нет, нет, это неправда! — заговорила она, раскачивая ногой. — Ведь сюда каждое лето приезжают студенты, и вот когда бывает весело-то... А как на нас здешние дамы злятся, что мы, учительницы, отбиваем у них студентов, — кажется, разорвали бы нас! Ездим в горы, катаемся на лодках, танцуем по восьми часов сряду... Даже жаль вспомнить. Спектакли любительские устраиваем...

Заговорив о театре, Евмения вдруг притихла и замолчала, точно ей было больно говорить об этом предмете. Оживленный разговор вдруг прервался, и девушка, пытливо взглянув на меня, проговорила:

— Вот я болтаю с вами всякий вздор, а вы, наверно, думаете: «Вот еще, в Петербург захотела!..» Ведь думаете, да?.. Я и сама иногда также думаю и даже плачу со злости.

— А вот и поспел-с, кипит-с! — докладывал Калин Калиныч, подавая самовар на стол. — Венушка, ты что же посуду-то не приготовила?.. Ах ты, юла этакая, все у тебя одни разговоры на уме-то да разные пустяки-с!

Евмения встала с своего места и, напевая какую-то бойкую песенку себе под нос, начала доставать чайную

посуду из маленького шкафика. Калин Калиныч был, кажется, особенно в духе и говорил без умолку, только в его разговоре совсем не встречались имена Саввы Евстигнеича и Василисы Мироновны, и он совсем не упоминал о нашей встрече на Балагурихе; зато имя о. Нектария не сходило с языка и служило для старика в одно и то же время и авторитетом, и средством доказательства, и каким-то всевидящим оком. Я понял, что жизнь Калина Калиныча текла именно между этими полюсами — о. Нектарием, с одной стороны, и Василисой Мироновной — с другой.

— А ведь меня притянули в свидетели-с! — говорил Калин Калиныч, добродушно улыбаясь и поглаживая одною рукой свое круглое колено. — Для счету, надо полагать... Гвоздев говорит: «Я представлю десять человек свидетелей», а Печенкин: «А я пятнадцать»; Гвоздев: «Двадцать человек», а Печенкин: «А я тридцать...» Так до полсотни человек и добились-с!.. О-о-хо-хо! Согрешили мы, грешные, перед господом богом-с! Истинно сказать, согрешили... Последние времена пришли: сын восстает на отца, брат на брата. Да вот хоть мое дело: я — свидетель со стороны Гвоздева, а Венушка — за Печенкина-с... Вот до чего дожили!... Она будет одно говорить, а я должен говорить другое.

Калин Калиныч тяжело вздохнул и, налив чаю на блюдечко, припал к нему всею физиономией, точно хотел залить в себе горячим кипятком всякое сокрушение сердечное. Было что-то трогательно умилительное в этом человеке, — так сильно он отличался от всего остального мира по своей кротости и полному отсутствию «хватательных и достигательных инстинктов», как выражался один мой хороший знакомый. Как-то хорошо чувствовалось, сидя рядом с ним и слушая его бесконечную болтовню. Крохотная комнатка, добродушное ворчанье самовара на столе и Калин Калиныч с его тяжелыми вздохами и отдуванием пара с блюдечка — все это приводило мысль в идиллическое настроение, которое портила только Евмения: время от времени она начинала бегать из угла в угол и фукала как-то носом, точно кошка.

— А Гвоздев чем занимался раньше? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Я Аристарх Прохорыча еще вот эконьким мальчиком помню-с, — заговорил Калин Калиныч, продолжая в одной руке держать на растопыренных пальцах блюдечко с чаем, а другой отряхивая в него крошки сахара после каждого угрызения маленького кусочка. — Он в мальчиках жил у одного купца-с, так его и звали Аристашкой-с, ей-богу-с!.. Смышленый был мальчик-с... Потом он был приказчиком у другого купца, торговал красным товаром-с, а потом бросил это занятие и в кабак сел сидельцем... На моих глазах все это было-с! Только все это было до воли; а как дали нам волю, тут Аристашка-с и пошел в гору-с, — да так пошел, что всех за пояс заткнул. Теперь их, можно сказать, рукой не достанешь; а уж если они чего захотят, конечно, будет по-ихнему, — весь свет произойдут наскрозь! Тогда полицию сменили всю, это по делу Печенкина с Хряпиным, а легкое ли это дело — сами, чай, знаете.

— Я уж рассказывал вам, что они на золотых приисках нажились, Аристарх-то Прохорыч, — продолжал Калин Калиныч. — А теперь они это занятие совсем бросили, потому хлопот очинно много; водкой не в пример способнее заниматься, потому — прибыль большая-с... Теперь возьмите один Старый завод: на нем одном что этой водки выйдет; а на других заводах, на приисках... И все Аристарх Прохорыч орудуют, все в ихних руках! Пятьдесят тысяч в месяц, говорят, одного акциза уплачивают... И тонко свое дело знают, потому как сами в заведении сидели и всю эту механику в тонкость произошли. Теперь у нас в заводах хоть взять: заработки большие, — другой в одну выписку, это в две недели, рублей сорок заработает, особливо мастера на катальной, в огненной работе, в горе, — так как же тут не пить?.. И пьют-с, очинно пьют! Парнишки в пятнадцать лет — и те пьют. А про рудники и говорить нечего: там что заработают, то и пропьют, — такое уж обнакновение-с, потому совсем избаловался народ!.. А Аристарх Прохорычу все это на руку-с... Ах, батюшки, да никак

они это сами приехали-с!.. Вот легки на помине-с, — залепетал старик, подбегая к окну. — Так и есть-с... И Праведный с ними-с... Венушка, Венушка!.. Ах, батюшки, вот пожаловали неожиданно!.. Венушка, Венушка!..

IX

Старик без шапки выбежал на улицу, где остановилась пара на-отлет. Из легкой колясочки быстро соскочил мужчина среднего роста с длинною бородой, лет сорока пяти и вежливо посторонился, давая дорогу громадного роста господину в шелковом цилиндре и золотых очках, еще очень молодому, но чрезвычайно тучному; он едва вылезал из коляски, которая только гнулась и трещала под этим десятипудовым бременем. Первый был сам Гвоздев, а второй, как я начинал догадываться, вероятно, г. Праведный.

— Вот нелегкая несет! Чистая свинья этот Праведный, — ворчала Евмения, нервно ломая пальцы и сдвигая брови.

— Пожалуйте-с, сюда-с!.. Тут потолок-с, Аристарх Прохор... Ах, пожалуйста, нагнитесь сильнее, господин Праведный!.. Не знаю, как вас по имени и отчеству назвать-с, — лепетал Калин Калиныч, отворив дверь пред гостями и почтительно пятясь у них под самым носом.

— Марк Киприяныч, — пробасил г. Праведный, заглядывая в дверь и точно не решаясь войти в избушку.

— Вот и отлично-с. У меня дядю с матерней стороны тоже Марком звали-с. Только он, царство ему небесное, сильно зашибал-с водкой-с... Вы, Марк Киприяныч, вот о полати головкой не стукнитесь... Все собираюсь их как-нибудь убрать-с...

— Ну, здравствуйте, дядюшка! — здоровался Гвоздев с Калин Калинычем и искоса взглядывал в мою сторону.

— Мы, кажется, знакомы? — заговорил Гвоздев своим вкрадчивым, мягким тенором, протягивая мне руку. — Если не ошибаюсь, я имел честь принимать вас в своем доме?

В последний раз я видел Гвоздева лет пять назад, и за эти пять лет он, кажется, нисколько не изменился, по крайней мере не постарел ни на волос, а даже, пожалуй, помолодел и выглядел свежее, только волоса на верхушке головы значительно поредели и образовали довольно почтенную лысину. Широкое лицо Гвоздева, с окладистой длинною бородой, с выдававшимися скулами и широким носом, принадлежало к тому типу русских лиц, которые Островский в одной из своих комедий называет «опойковыми» и «суздальского письма»; но в этом лице была одна резкая особенность: густые сросшиеся брови и глубоко ввалившиеся небольшие глаза горели напряженно и болезненно и придавали физиономии какой-то неприятный оттенок отчаянной решимости. По своей небольшой фигуре Гвоздев был очень приличен и даже изящен и уж совсем не походил на сидельца, а плавные, мягкие движения придавали ему какое-то особенное чувство собственного достоинства. Когда он начинал говорить, то совсем опускал глаза и старался подвинуться к вам как можно ближе. Эта кошачья вкрадчивая манера и особенно плавные мягкие движения внушали невольное чувство инстинктивного отвращения, точно он все подкрадывался и выжидал только удобного момента, чтобы запустить в вас когти.

— Мой поверенный! — коротко отрекомендовал Гвоздев своего адвоката, который только засопел тяжело носом и вопросительно, нагло навел на меня свои навыкате серые глаза; оплывшая, неестественно красная физиономия г. Праведного не обещала ничего доброго, и на ней была отпечатана невозможная смесь какого-то странного добродушия и невообразимого нахальства.

— Кандидат прав, Марк Праведный, — рекомендовался защитник Гвоздева, протягивая мне свою медвежью лапищу, впору любому бурлаку.

За перегородкой послышалось сдержанное хихиканье, заставившее Калина Калиныча вспотеть лишний раз; но Гвоздев поспешил вывести старика из неловкого положения, проговорив с мягкою улыбкой:

— А где же, дядюшка, моя сестричка?

— На что вам меня? — отозвалась из-за перегородки Евмения.

— Да вот, Марк Киприяныч желают с вами, сестричка, непременно познакомиться...

— А вы в адвокатах, что ли, у Марка Киприяныча? Я полагаю, что у господина Праведного и свой язык есть.

Калин Калиныч лукаво и многозначительно подмигнул мне: дескать, послушайте-ка, какие дерзкие слова Венушка умеет говорить.

— Марк Киприяныч непременно желает видеть вас, сестричка, — продолжал Гвоздев, на носках подходя к самой перегородке.

— А если я не желаю видеть господина Неправедного? — бойко отвечала Евмения, и за перегородкой послышался ее вызывающе сдержанный смех.

— Силой милому не быть, Евмения Калиновна, — добродушно забасил Праведный, стараясь тоже заглянуть за перегородку.

— Вы исповедовать опять меня приехали, так я же вперед вам говорю, что ничего вам не скажу: ничего, ничего, ничего!.. Понимаете? У вас есть свой свидетель, так и целуйтесь с ним...

Калин Калиныч благочестиво сложил губы ижицей и покачал своей круглой головой на манер тех фарфоровых китайцев, которых выставляют на окнах чайных магазинов.

— Да мы совсем не по этому делу приехали, сестричка, — уверял Гвоздев, балансируя на своих коротких ножках.

— Я вам такая же сестричка, как ваш Неправедный мне братец, — заговорила Евмения, выскакивая, наконец, из своей засады.

— Имею честь представиться: кандидат прав Марк Праведный! — рекомендовался защитник Гвоздева.

— Ах, довольно, довольно! — говорила девушка, задыхаясь от душившего ее смеха. — Где вы, Аристарх Прохорыч, отыскали такое чудище?

— Из Москвы-с, нарочно выписал, чтобы вам показать, — проговорил Гвоздев с самой утонченной вежли-

востью, не выпуская руки Евмении. — Даже привез его к вам в дом...

Пока Калин Калиныч суетился около самовара, Праведный без церемонии подвинул стул к Евмении на такое близкое расстояние, что задевал ее своим толстым, как у слона, коленом; а Гвоздев опять обратился ко мне:

— А вы, вероятно, приехали на суд, да?.. Слушать, как будут меня судить?..

Тяжело вздохнув и опустив глаза, он заговорил взволнованным голосом:

— Да, да, вот до чего дожил, до какого позора! А все из-за чего? Из-за того, что хотел помочь человеку: тонул — топор сулил, а вытащил — топорища жаль... А я думаю так, — заговорил еще тише Гвоздев, придвигаясь ко мне ближе, — я думаю так: отчего же и не претерпеть за правду? Ведь вот будет суд, будут свидетели, — все будет видно как на ладони, всю подноготную выворотят; а если я ни в чем не виноват, кому будет стыдно, как вы полагаете?.. И я совсем не жалуюсь на Евдокима Игнатьича, потому что он, можно так выразиться, действует совсем в ослеплении... Что же? — я не ропщу, я даже рад, что все это дело дойдет до суда и мне дадут законную возможность восстановить свое доброе имя... Ведь они какие слухи про меня распускают, стыдно слушать... Ведь можно, конечно, обмануть одного человека, двух, наконец трех, а ведь тут будет пятьдесят человек одних свидетелей, — им всем не заткнешь рта. А суд?.. Тут одних юристов человек пятнадцать будет, — все разберут. Все люди образованные, развитые, законы знают, как свои пять пальцев, — от них не увернешься... Это не то, что наш брат мужик, человек темный: куда ведут, туда и идешь, — что сказали, тому и веришь. Не так ли, дядюшка?

— А ведь действительно-с, Аристарх Прохорыч, — умиленно согласился старик, с каким-то благоговением заглядывая в рот «племянничка», откуда вылетали слова самой мудрости. — Я так полагаю-с, по своему глупому разуму, что Евдоким Игнатьич действительно обижают вас в ослеплении-с...

— Да еще как, дядюшка!.. Вы сами посудите, ка-

кую я теперь муку принимаю из-за каких-нибудь тридцати тысяч... Это из-за своего-то капитала я должен мучиться все равно, как в аду... Ну, есть ли тут какой-нибудь смысл, дядюшка?

— Истинная ваша правда-с, Аристарх Прохорыч, — говорил со смирением Калин Калиныч, который в присутствии Гвоздева чувствовал себя, кажется, совсем уничтоженным. — А вот чайку-с, Аристарх Прохорыч?

— Отчего же, можно и чайку, дядюшка, — соглашался Гвоздев.

Праведный во время нашего разговора, кажется, успел обделать в исправности все, за чем приезжал, — по крайней мере по смущенному лицу Евмении и по ее опущенным глазам можно было прочитать довольно ясно: «Я — ваша; делайте со мной, что хотите». Разговор с Праведным, приправленный пикантными анекдотами и bon mot [1], привел Евмению в какое-то опьянение, от которого она не могла проснуться; время от времени она вся вздрагивала и заливалась своим неудержимым заразительным смехом, делая Праведному глазки. Калин Калиныч одним ухом тоже вслушивался в этот разговор и пришел от него в такой восторг, что, кажется, совсем позабыл о том, что его Евмения — барышня и что она сидит чуть не на коленях у Праведного. Старик усердно утирал платком свое вспотевшее лицо и, задыхаясь от смеха, шептал одну и ту же фразу: «Вот, можно сказать, уморили-с, с первого разу уморили-с!»

— Марк Киприяныч, стаканчик чайку-с? — предлагал старик.

Праведный вместо ответа продекламировал из «Коробейников» Некрасова четверостишие:

Ах ты, зелие кабашное,
Да китайские чаи,
Да курение табашное!
Бродим сами не свои.

— И впрямь: бродим сами не свои, — согласился Калин Калиныч. — Откуда это вы, Марк Киприяныч, так складно говорить только научились?

---

[1] остротами, *(франц.)*

— Ученье — свет, почтеннейший Калин Калиныч! — скромно отвечал Праведный, полузакрывая свои бесстыжие глаза.

— Стаканчик чайку-с прикажете-с?

— Отчего же и не побаловаться китайской травкой, почтеннейший Калин Калиныч! Благодарствуйте.

— И вы будете уверять меня, что были студентом? — спрашивала Евмения Праведного, кокетливо улыбаясь и делая глазки.

— Даже самым убогим студентом был, — уверял Праведный, выпивая уже второй стакан с замечательным аппетитом. — Да, да... Был беднее самого Иова в дни его несчастия, и представьте себе, какой однажды вышел со мной преказусный случай. Жили мы, трое студентов, на Петербургской стороне, на Малой Дворянской улице, — и как это случилось, право, теперь не умею сказать, — только в одно прекрасное утро у нас на троих осталось из всей одежды всего-навсе только старые калоши, поповский подрясник и старая поповская шляпа... Даже самых необходимейших принадлежностей мужского туалета не доставало, — уж извините, Евмения Калиновна, за мою откровенность! Представьте себе, что происходило, когда одному из нас нужно было куда-нибудь выйти из дому... Но это еще ничего: выходили обыкновенно по вечерам, а история в том, что у меня была невеста, девушка из очень порядочного семейства, которая, не видя меня долго, понятно, очень скучала о моей особе и в один прекрасный вечер вздумала мне сделать небольшой сюрприз: отыскала мою квартиру и явилась, так сказать, на крыльях любви... Представьте теперь мое положение, господа!

— Ах, довольно, довольно! — стонала Евмения, хватаясь за бока. — Довольно!.. У-мо-рили...

— Нет, уж позвольте досказать, — настаивал Праведный, раскуривая сигару. — Вы ничего не имеете против моей сигары, почтеннейший Калин Калиныч?

— Нет-с, помилуйте-с, — лепетал старик. — Я ведь православный-с...

— Ну, дядюшка, есть грех, немного прикержачиваете, — мягко шутил Гвоздев.

— Ах, Аристарх Прохорыч, вам, ей-богу-с, грешно-с надо мной смеяться...

— Ну, дядюшка, не обижайтесь, я пошутил, — успокаивал Гвоздев огорченного Калина Калиныча.

— Господа, позвольте же мне анекдот-то докончить, — лениво заметил Праведный, попыхивая синим дымком дорогой сигары. — Согласитесь, господа, что моя невеста все-таки была женщина.

— О... ха-ха-ха! — со слезами на глазах хохотала Евмения. — Да, конечно, не мужчина же...

— Нет, я не то хотел сказать, — поправлялся Праведный. — Я хотел высказать ту мысль, что моя невеста, как женщина, конечно, была немного ревнива и могла заподозрить меня, по меньшей мере, в том, что у меня в комнате сидит какая-нибудь соперница и что я именно поэтому не отворяю ей двери... Кажется, ясно я выражаюсь? Ну-с, как вы думаете вышел я из этого чертовски затруднительного положения?

— Ах, довольно, довольно, Праведный, — кричала Евмения, кокетливо делая рукой такие движения, как будто отмахиваясь от комаров. — Понятно, что было дальше...

— Нет, уж позвольте докончить, Евмения Калиновна! — упорно настаивал Праведный. — Видите ли, у нас полкомнаты занимала братская кровать, на которой мы все вместе спали, вот я на нее и положил моих друзей, прикрыл их для приличия одеялом, а сам надел калоши и подрясник... Теперь представьте себе такую картину: на кровати из-под одеяла выставляются головы моих друзей, я стою посреди комнаты в поповском подряснике, а в отворенную дверь с изумлением смотрит моя невеста... Понятное дело, что все разрешилось смехом, и моя невеста только лишний раз убедилась, что я невинен, как сорок тысяч младенцев, так как мои товарищи меньше всего походили на женщину: у одного гусарские усы, у другого борода, как у Аарона.

В комнате Калина Калиныча несколько минут стоял заразительный смех: смеялся Гвоздев, с достоинством поглаживая свою бороду, смеялся до слез Калин Калиныч, схватившись за бока и порываясь выскочить из-за

стола, а Евмения, закатив глаза, только тяжело дышала, как загнанная лошадь.

— Ну, не желала бы я быть на месте вашей невесты, господин Праведный, — заговорила Евмения, когда общий припадок смеха немного прошел. — Хоть вы и оказались невиннее сорока тысяч младенцев, но все-таки... Где вы, Аристарх Прохорыч, откопали такого адвоката?

— Москва — очень обширный город, — скромно отвечал Гвоздев. — Там умных людей все равно, как у нас дров...

Посидев еще немного и поговорив о каких-то пустяках, Гвоздев поднялся из-за стола и, обращаясь к Калину Калинычу, проговорил:

— Ну-с, дядюшка, сидят-сидят да и домой ходят... До приятнейшего свидания!..

Праведный долго держал в своих красных лапищах руку Евмении и довольно фамильярно шепнул ей на ухо что-то такое, от чего даже Евмения вспыхнула вся до ушей, а Калин Калиныч строго сложил свои губы ижицей. Простившись, гости вышли в сопровождении Калина Калиныча. Он все время стоял у ворот, пока Праведный влезал в экипаж. Усаживаясь рядом с Праведным, Гвоздев вопросительно посмотрел на своего адвоката.

— Каши маслом не испортишь, — многозначительно проговорил Праведный, не зная, куда деваться с своим ужаснейшим животом, упиравшимся ему в колени.

Когда лошади тронулись, Праведный не менее многозначительно указывал пальцем на свой лоб, кивая головой в сторону избушки Калина Калиныча. Евмения сейчас же скрылась за перегородкой, а вошедший Калин Калиныч был очень встревожен: обычное неизменное добродушное настроение, казалось, совсем оставило старика.

— Приехали и уехали, — думал он вслух, позабыв о моем присутствии. — Венушка, о чем с тобой шептался этот Праведный?

— Анекдоты, родитель, рассказывал, — отозвалась Евмения усталым голосом из-за своей перегородки.

Я скоро простился с Калином Калинычем. Старик вышел провожать меня на крыльцо и, пожимая мою руку, заговорил:

— Ведь вот какой у меня карахтер сумнительный: ночь не буду спать, а все буду думать, зачем приезжал этот Праведный... Они, может, и с добром приезжали ко мне, а я все буду сумлеваться, потому больно ноне народ мудреный стал-с. Вот хоть Аристарх Прохорыч: ведь уж знаю-с, что он виноват, во всем как есть виноват-с, а вот поди со мной, совесть уж такая подлая, — как заговорил он давеча жалобные слова, так вот у меня слезы и стоят в горле... Ей-богу-с... О-о-хо-хо! Горе душам нашим. Заходите напредки-то, милости просим! А я сейчас схожу к отцу Нектарию, — надо будет поговорить с ним, а то уж очень сумнительно-с.

X

Вечером в клубе слышалась музыка и говор. От нечего делать я пошел в общую залу, чтобы посмотреть на заводскую публику. Помещение клуба состояло всего из четырех комнат, меблированных с трактирной роскошью. Около стен неизменные диванчики, покрытые темнокрасным трипом, венская мебель, затасканные драпировки на окнах, захватанные двери и бронзовая люстра в общей зале. Главную массу публики притягивала к себе карточная комната, а затем буфет. Около девяти часов обычная клубная публика, кажется, была в полном сборе; явились скучающие дамы и кавалеры; последние прежде всего летели, для подкрепления сил, в буфет. Музыка пиликала какую-то чепуху, под которую вяло толклось в общей зале несколько пар.

По дороге в буфет я неожиданно встретил самого Федора Иваныча Заверткина, который тащил под руку Пальцева и издали кричал мне:

— Вот так пьет!.. Отроду ничего подобного не видал: как воду пьет!

— Кто и что пьет? — спрашивал я, не понимая Заверткина.

— Ах, господи!.. Да все он же, Праведный, пьет... Представьте себе такую картину: *он* без бутылки водки не садится завтракать и подсидит ее один на один, за обедом выпивает таким же образом другую, а вечером еще шампанское душит, и ни в одном глазу... Понимаете: ни в одном глазу?! Это просто какой-то феномен... Да ведь вы только поймите: бутылку за завтраком, бутылку за обедом, вечером шампанское... Да, да, это решительно феномен. В спирт, прямо в спирт бы его следовало посадить, да ведь, каналья, спирт-то весь выпьет... Феномен, решительно феномен!..

Эти два друга представляли и вместе, и порознь нечто очень замечательное: Федя Заверткин был тонок, вихляст и высок, горбился и раскачивался на ходу и постоянно вздергивал голову, как взнузданная лошадь; Пальцев, наоборот, был небольшого роста, некрасиво скроен, да плотно сшит, и выглядел кочнем, а когда шел, то имел привычку сильно размахивать руками и слегка переваливал на своих коротеньких ножках, точно откормленный селезень. Физиономия Заверткина носила на себе ясные следы непроходимой глупости, пошлости и задора; его небольшие слезившиеся серые глазки смотрели нахально до мерзости, а по сморщенным губам ползала отвратительная улыбка, какою смеются только люди глубоко и безнадежно развратные. Круглое румяное лицо Пальцева с рыжими щетинистыми усами было некрасиво, но приятно своим умным выражением; особенно хороши были его насмешливые глазки, юлившие под густыми рыжими бровями, как пара мышей. Пальцев вообще был очень умный человек, но его губил один недостаток: очень добрый и простой человек по душе, он имел удивительную способность врать, — врать до того правдоподобно, что вводил в невольное заблуждение самых осторожных людей, хотя все заранее знали, что верить Пальцеву нельзя. Как добряк и чудак, Пальцев пользовался репутацией доброго малого, которому многое сходило с рук, хотя он своими шуточками часто высказывал горькую правду прямо в глаза.

Поговорив немного с нами, Федя Заверткин неудержимо полетел дальше, вздергивая плечами и вытягивая

длинную шею вперед; физиономия его дышала счастьем и довольством, и он, ероша свою козлиную бородку, кричал всем встречным: «Феномен, феномен... Решительно феномен!»

— Пустой колос голову кверху носит, ангел мой, — лукаво заговорил Пальцев, подмигивая в сторону Заверткина. — Совсем на чердаке-то пусто...

Тут Пальцев соврал что-то совершенно невероятное и побрел в буфет. Музыка продолжала пилить какую-то невозможную польку местного произведения, под довольно громким названием «землетрясение». Нетанцующие дамы шпалерой поместились на бархатных диванчиках или парами бродили из комнаты в комнату с безнадежным выражением лиц; танцующая часть прекрасного пола обмахивалась кокетливо веерами и очень походила на тех «живых стерлядей», которые плавают в трактирных аквариумах, с тупым отчаянием стукаясь о толстые стекла. Без крайнего сожаления нельзя было смотреть на этот «букет из полевых цветов», как выразился Пальцев о старозаводских дамах, козырем выступая под руку с одним из таких полевых цветов, который был чуть не вдвое выше своего кавалера и имел большое сходство с каланчой.

— Вы слышали? — говорила толстая дама другой, тощей, как щепка. — Согласитесь, ведь это ужасно, ужасно!..

Разговор шел о предстоящем процессе.

— Говорят, она подкуплена, — отвечала дама-щепка.

— Да, да... Стриженые волосы, пенсне на носу, учительница и, вдруг, подкуплена!.. Как это вам понравится? Я думаю, что нынче уж нигилизм не в моде, так вон пошли какие вещи...

— Это ужасно, — шептала дама-щепка, покачивая своей маленькой головой. — Ведь у ней есть отец-старик... Смешной такой, но очень честный старик. Хоть бы она его пожалела: ведь это убьет его!..

Дама-геркулес только махнула рукой.

Этот букет полевых цветов скоро зашевелился во всем своем составе и зашумел, как листья на осине, когда в общей зале появилась Евмения с своими стриже-

ными волосами, тощими складками платья и пенсне на носу. Все многозначительно улыбались и печально кивали головой, но Евмения, повидимому, привыкла к подобного рода сценам и шла с замечательным равнодушием сквозь строй косых взглядов, презрительных улыбок и обидных пожиманий плеч. Она кого-то искала глазами и, проходя мимо меня, спросила:

— Вы не видали Праведного?

— Нет. Его, кажется, нет здесь.

Евмения пошла дальше, по направлению к буфету, и толстая дама опять принялась шептать своей соседке настолько громко, что мне было слышно каждое слово.

— Она сначала жила с одним учителем и бросила его, потом связалась с писарем, потом с Гвоздевым...

— Это ужасно, ужасно! — шептала тощая дама, едва шевеля поблекшими губами.

Это было действительно ужасно, если только все это была правда. Мне хотя и не было никакого дела до Евмении, но все-таки было жаль и вместе обидно не столько за эту странную белокурую девушку, сколько за несчастного Калина Калиныча, которого общественное мнение казнило так безжалостно. Как бы вознегодовал старик, услышав подобные отзывы о своей Венушке!.. А Евмения, обойдя все комнаты, снова подошла ко мне и села рядом на стул; взглянув на меня, она, кажется, догадалась о характере моих мыслей и желчно заговорила:

— Вы, вероятно, довольно наслушались на мой счет здесь, да?.. О, они все точат на мне свои языки... Я всем им — бельмо на глазу. Вот посмотрите на эту толстую и на эту тощую: они от одной скуки рады человека живьем съесть. Эта сухонькая исправно дует своего благоверного башмаком прямо по зеркалу души, а толстая имеет свою довольно пикантную историю, только не стоит говорить, чтобы не быть похожей на них... Знаете, я видела сейчас Пальцева, и он меня уверяет, что Праведный сошел с ума и его приковали на цепь... Ха-ха-ха! Вот уж у кого в зубах не завязнет... Однако Праведный — порядочная свинья: обещал сюда прийти и надул. Посмотрите, вон идет жена Заверткина... Не правда

ли, какая красивая женщина? А рост какой, а цвет лица? Хоть сейчас на сцену.

Жена Заверткина действительно была хороша: высокая, полная брюнетка с темными глазами и ленивыми движениями, она резко выделялась из всей толпы своей статной, красивою фигурой. Она шла в сопровождении какого-то довольно плюгавого молодого человека с небольшой темной бородкой, длинным носом и зеленоватыми глазами.

— А это, знаете, кто с ней? — спрашивала Евмения меня. — Это — директор нашего старозаводского технического училища... Какой-то грек, Димитраки по фамилии. Этот Димитраки получает ни больше, ни меньше как пять тысяч в год. А за что? Только за то, что умеет кланяться заводским управляющим... А вот подите вы, человек всего только три года как кончил курс в Петербургском университете и теперь загребает деньги совершенно даром, губит целое училище, слывет у нас передовым человеком. Вы представьте себе только, этот Димитраки получит в год, ничего не делая, столько, сколько я должна буду зарабатывать целых семнадцать лет, считая по триста рублей в год, а помощник учителя или помощница, получающие двенадцать рублей в месяц, должны работать целую жизнь. Где только таких берут... Ведь он в училище забрал на себя все предметы и ровно ничего не делает, в класс даже не ходит, а все пьянствует с Федькой Заверткиным. Не правда ли, хороши гуси? Какая здесь отчаянная публика!.. Вон земский доктор: посмотрите, пожалуйста, ведь это целый Олимп, и сам Зевс ему в подметки не годится... А вон еще лучше экземпляр, — пожалуйста, обратите на него все свое внимание: это наш министр народного просвещения. Да, целый министр...

«Министр народного просвещения» в это время с важностью проходил мимо нас вместе с земским доктором. Это походило на триумфальное шествие каких-то двух неведомых божеств или на вступление счастливого победителя в завоеванную провинцию. «Министр» был высокого роста, худой и белокурый человек, лет сорока пяти, с выцветшим деревянным лицом и заложенными,

по-министерски, руками за спину. Доктор, черноволосый мужчина с длинным, как огурец, лицом и маленькими глазками, ковырял пальцем в носу и смотрел кругом каким-то убийственно равнодушным взглядом.

— Посмотрите же вы, пожалуйста, на Митрошку нашего! — шептала Евмения, указывая глазами на «Министра». — Из волостных писарей попал в гласные, потом избран был членом земской управы и теперь заведует всеми школами в уезде. Под его ведением находится семьдесят учительниц и столько же учителей; он всем нам говорит «ты» и заставляет дожидаться в передней по нескольку часов. Раз мне нужно было получить жалованье, и я довольно прозрачно намекнула ему на его министерские замашки, а он мне: «Хле-ее-б за-за бррю-хо-ом нне ххо-одит!» — «Извините, говорю, я не знаю, что вы — хлеб, а мы — брюхо». А вы бы посмотрели, как он себя держит в школе, какие нотации читает всем и, главное, придирается к преподаванию, а сам своего имени не умеет подписать. Вместо Митрофан Белохвост пишет Мирофан Белофост... Скотина ужаснейшая и вообще, и в подробностях.

— Что же председатель управы смотрит?

— У нас председатель отличный человек и в такие мелочи не вмешивается. Он — музыкант и играет, кажется, на всех инструментах, какие только существуют... Очень образованный и очень честный человек, но музыка загубила... У нас уж другой такой председатель-музыкант; а пока они играют, Митрошка всем и орудует.

— А я вас давно ищу, Евмения Калиновна, — говорил Праведный, вваливаясь из боковой комнаты.

— А я вас давно жду, Марк Киприяныч, — бойко отвечала Евмения. — Вероятно, нагружались в буфете... для безопасности?

— По человеческой слабости испиваем сию горькую чашу...

Праведный подал руку Евмении, извинился предо мной, что некоторым образом лишает меня дамы, и эта оригинальная пара направилась к дверям в сад. Евме-

ния гордо откинула свою белокурую головку назад и блестящими глазами смотрела на своего кавалера, который, вероятно, опять рассказывал анекдоты, потому что девушка громко смеялась и недоверчиво качала головой.

XI

Старозаводская jeunesse dorée[1] в полном своем составе находилась в буфете, где происходили оживленные разговоры, сопровождаемые самыми обильными возлияниями. Кроме Пальцева, Заверткина, Димитраки, «Министра» и земского доктора, тут присутствовал и сам Печенкин, сопровождаемый, как адъютантами, бывшим исправником Хряпиным и своим поверенным. Среднего роста, приземистый и широкоплечий, с толстою головой и опухшим красным лицом, на котором резко выделялись хитрые маленькие глазки и седая борода, Печенкин был коренным типом русского обстоятельного купечества с сильной азиатскою закваской. Хряпин — очень высокий и когда-то очень красивый человек, с большой кудрявой головой, могучею грудью и тяжелою рукой, от которой, как говорила молва, много пошло туда, где нет ни печалей, ни воздыханий. Около стола, за которым сидел Печенкин, собралась почти вся публика, слушавшая что-то, что рассказывал сам старик, распивая и угощая всех шампанским.

— На той неделе поехали мы с «Мамочкой» в Загорск, — рассказывал старик, кивая головой на Хряпина, которого он почему-то называл «Мамочкой». — Город большой, мы и загуляли, а вечером — в трактир «Плевну». Ну, там арфянки, всякое прочее. Спели нам, поужинали, побезобразничали, а все скучно... Я и говорю: «Мамочка», скучно... Устрой, говорю, «Мамочка», какое-нибудь безобразие». А он молчит, а потом как сгребет салфетку да об пол всю эту музыку, арфянки бежать, а «Мамочка» поймал хозяина «Плевны», завязал его в салфетку да под стол и затолкал. Арфянки визжат, хозяин под столом орет караул, а мы с

---

[1] золотая молодежь *(франц.)*.

«Мамочкой» давай бог ноги... О-о-ох-хо, согрешили мы, грешные!

«Мамочка» сидел как ни в чем не бывало, jeunesse dorée хохотала до слез, а подгулявший Заверткин от восторга даже полез целоваться с «Мамочкой».

Появившийся Праведный привалил, конечно, прямо к буфету, где около этого столичного светила сейчас же собрался кружок, ожидавший тех удивительных анекдотов, которые умел рассказывать только один Праведный. Оставленный всеми, Печенкин вылил две оставшихся бутылки вина на салфетку и побрел в сопровождении своих адъютантов в общую залу, где происходили танцы. Заверткин заглядывал прямо в рот своему идолу и глупо хохотал, как человек, которому щекотят подошвы; Пальцев поместился рядом с Праведным и, подмигивая одним глазом, говорил:

— А ведь, ангел мой, отлично вам живется на свете: сколько одного вина, ангел мой, выпьете. Вот про нас одних разговоров сколько: становой, говорят, черту брат, и еще прибавят, ангел мой, такое что-нибудь, что сквозь землю провалиться... Всякий на тебя пальцем указывает: стано-вой, с живого и мертвого дерет!..

— Ну, и у нас это бывает, — хладнокровно отвечал Праведный, выпивая свою вечернюю порцию водки. — Желал бы я вас поставить на мое место... Мне недавно, например, пришлось защищать одного субъекта, который обвинялся в убийстве. Дело в том, что двое крестьян убили третьего, который умер дома от пролома головы, и мне нужно было доказать только то, что мой доверитель в момент убийства находился на другом конце деревни, чем убитый...

В этот момент со стороны танцевальной залы послышался какой-то шум, крик и визг; все бросились из буфета.

— Ах, это опять Печенкин бушует, ангел мой, — озабоченно говорил Пальцев, направляясь на шум вместе с другими.

Скоро вся публика собралась в общей зале, где кучка дам боязливо столпилась в одном углу, а мужчины стеной окружили небольшую деревянную эстраду, на которой помещался оркестр.

— Руськую!.. Я говорю: руськую! — кричал Печенкин, стуча кулаком по столу. — Всех вас одним узлом завяжу... Руськую!..

— Нельзя-с, мы играем по расписанию-с, — вежливо отвечал капельмейстер.

— Ах, ангел мой, так нельзя! Нельзя, ангел мой, — кричал Пальцев, продираясь сквозь толпу к Печенкину. — Здесь — общественное место, ангел мой, дамы...

— А мне наплевать на ваших дам! — кричал старик. — Я весь бал за себя переведу... Сколько стоит все: получай и гуляй в мою голову почтенная публика. Руськую!..

Пальцев немного пошептался с распорядителем и махнул музыкантам рукой; музыка грянула «Камаринскую», публика расступилась, и неистовый старик начал откалывать свою «руськую», так что седые волосы развевались на его голове да летели по воздуху длинные полы сюртука. Окончив пляску, Печенкин побрел опять в буфет. «Мамочка», как ручной медведь, лениво поплелся за стариком, покачиваясь на каблуках и расправляя свои могучие плечи. Публика, кажется, привыкла к подобным сценам, потому что сейчас же музыка заиграла прерванную кадриль и дамы принялись дотанцовывать четвертую фигуру. Димитраки танцевал с женой Заверткина, и по его наглой, улыбавшейся физиономии было видно, что он говорил своей даме какие-нибудь пошлости. Я хотел отправиться в свой номер, как в углу одной комнаты заметил Евмению, которая сидела в каком-то полузабытьи и не слыхала, кажется, ничего, что происходило вокруг нее. Я назвал ее по имени.

— Ах, это вы!.. Как вы испугали меня, — заговорила девушка, точно обрадовавшись моему появлению. — Что вы стоите? Садитесь... Вы, вероятно, удивились, что я могу задумываться, да?

Евмения улыбнулась печальной, больной улыбкой, и мне показалось, что на ее больших глазах блеснули слезы.

— Вы слышали, как бушевал Печенкин?

— Когда?

— Да вот сейчас только.

— Ах, да... Нет, я не слыхала, но ведь это слишком обыкновенная история, и нас этим не удивишь, — усталым голосом говорила Евмения, нервно ощипывая какую-то ленточку на своем платье. — Ведь это же скучно наконец... Скучно, скучно, скучно!.. Иногда думаешь про себя, — продолжала Евмения, опустив глаза, — стоит ли жить на свете... Ведь все равно как в берлоге живешь!.. Вот бы на сцену поступить...

Девушка искоса взглянула на меня и продолжала уже взволнованным голосом:

— Можно бы полжизни отдать, чтобы другую половину прожить по-человечески... А как взглянешь на себя в зеркало, будто холодной водой и обольет: и мала, и суха, и безобразна... Такое отчаяние нападет, что не глядел бы на свет! Ах, если бы мне рост, — понимаете, всего бы несколько вершков прибавить росту, — прямо бы на сцену поступила... Когда я бываю в театре, со мной просто дурно делается. И ведь чувствую, что сыграла бы, очень хорошо сыграла, особенно в драме, — знаете... в «Грозе» Островского ту сцену, где Катерина мечтает, и, потом, когда она начинает сходить с ума. Вот что я сыграла бы, если бы не проклятый мой рост!

Я, как умел, разуверял Евмению, что недостаток роста на сцене делается незаметным благодаря длинным шлейфам и большим каблукам, но что для сцены нужно очень серьезное образование и специальная подготовка, которой недостает даже лучшим русским актрисам.

— Да разве можно сделать из меня какой угодно подготовкой купчиху Катерину, бабу — кровь с молоком? — говорила Евмения, с презрением оглядывая себя.

— Ведь есть роли и кроме Катерины...

— Да, да... И вы думаете, что найдутся такие роли для меня?

Евмения не слушала меня. Она думала о чем-то другом и, по своему обыкновению, неожиданно захохотала.

— Вот, я думаю, вы потешаетесь-то надо мной, — говорила девушка, ломая пальцы: — ведь прямая провинциальная дура, а еще захотела на сцену... Ха-ха-ха!..

Дочь Калина Калиныча и — на сцене: ведь это так же невозможно, как жареный лед, да?.. Вы смеетесь надо мной, как над сумасшедшей, но я ведь нисколько не обижаюсь этим: по Савве и слава... У нас в Старом заводе бывают иногда любительские спектакли, — немного успокоившись, рассказывала Евмения. — Только они без скандала никогда не обходятся. У нас есть здесь немец-управляющий, Штукмахер; он придет на спектакль всегда вместе с Димитраки, и всегда пьянее вина, и начинают ругать актеров вслух всякими словами. Однажды дело дошло до того, что они во время действия бросились на сцену и давай колотить актеров и актрис. Штукмахер тогда сильно избил одного учителя, Младенцева. Впрочем, он уже не в первый раз его колотил: раз, на пожаре, этого же Младенцева Штукмахер до полусмерти избил палкой.

— Что же, Младенцев жаловался?

— Как же... Только ведь жаловаться приходилось Заверткину, а Заверткин всегда оправдывает Штукмахера, потому вместе безобразничают. Младенцев подал на Заверткина жалобу в съезд мировых судей, а съезд отказал, потому что там все благоприятели Заверткина насажены, а Митрошка, «Министр»-то наш, за это Младенцева из учителей в три шеи.

— Ну-с, а публика что смотрит, когда Штукмахер с Димитраки актеров колотят?

— Публика?.. Да ведь они и публику не хуже нас ругают, так уж мы привыкли к этому. В последний раз у нас спектакль был назначен в заводских конюшнях. Устроили сцену, места для публики. Только является Штукмахер, взял да комнату, из которой должны выходить актеры на сцену, и велел запереть, а нам на сцену и пришлось лазить со стороны публики... Ей-богу! А Штукмахер кричит: «А, такие-сякие, пусть лазят, как собаки!..» Однако прощайте, — проговорила Евмения серьезным голосом, поднимаясь с места. — Мне пора домой... Вон адвокат Печенкина высматривает меня, чтобы душу тянуть. Ведь я свидетельница по этому дурацкому делу Гвоздева с Печенкиным, вот и пристают с ножом к горлу. Прощайте! Я сегодня страшно

устала, — говорила разбитым голосом Евмения, протягивая мне руку. — Вероятно, увидимся на суде.

Я проводил девушку до передней. Она молча кивнула мне головой и, быстро одевшись в какое-то ветхое пальто, исчезла в дверях. Вернувшись в клуб, я еще долго толкался между остальною публикой, продолжая думать об этом странном маленьком существе, повидимому сгоравшем от избытка сил. У меня еще стоял в ушах ее дикий смех, резкая интонация голоса и те печальные ноты, которые прорывались так неожиданно сквозь эту бравировку и отчаянную веселость; в этом странном, злобноподвижном лице учительницы скользило общею тенью что-то недосказанное, что-то, что давило ее и просило выхода. Маленькая комната с полками книг, фотографиями знаменитостей, кипами бумаг и гитарой в углу, затем сцена с Праведным и, наконец, этот разговор в клубе — все это освещало Евмению с совершенно противоположных, ничего не имевших между собой общего сторон: то учительница, считающая верхом блаженства носить стриженые волосы и говорить дерзкие слова; то куртизанка, делающая глазки и кокетничающая с первым встречным; то будущая Рашель... Это были такие противоречия, которые никак не укладывались в голове.

Этому клубному дню суждено было закончиться крупным скандалом, героями которого явились Заверткин и Димитраки. Еще с самого начала вечера Заверткин заметил шашни Димитраки, но, как истинный европеец и образованный человек, он смолчал; а когда Димитраки, сидевший рядом с женой Заверткина, дошел до непозволительных вольностей, Заверткин уже не мог этого перенести и влепил греку полновесную затрещину. Эти неожиданно обострившиеся отношения быстро перешли в драку, а затем в ужаснейшую свалку, так что недавние друзья, цвет и краса старозаводской jeunesse dorée, долго катались по полу, испуская дикие вопли, пока Пальцев не вылил на них три графина холодной воды.

— Нет, Пальцев, ты понимаешь, зачем он с моей женой шашни заводит? — кричал Заверткин, поправляя съехавший на горло жилет.

— Нельзя, ангел мой... Общественное место, ангел мой, — успокаивал Пальцев, стараясь увести расходившегося супруга в буфет.

— Нет, ты скажи, что бы ты сделал, если бы... если бы твоей жене... а? Жене, а?!. Ведь я сам видел!..

— Я, ангел мой, на твоем месте выпил бы стакан холодной воды...

Димитраки во время этого разговора успел улизнуть с порядочной царапиной на носу в буфет, где спешил привести в порядок некоторые подробности в своем туалете, — они нуждались в серьезной ремонтировке.

Эта буря в стакане воды так же неожиданно улеглась, как и возникла. Через каких-нибудь полчаса благодаря стараниям Пальцева недавние враги не только помирились, но даже расцеловались и, по требованию публики, исполнили «Стрелка». Димитраки и в пении хитрил: нет-нет — и сфальшивит; но зато Заверткин был решительно неподражаем. Правда, он пел козлиным голосом и жестоко врал, но зато свое пение сопровождал такими красноречивыми жестами, так уморительно вздрагивал плечами и головой, что вся публика хохотала над ним до упаду. Даже сам «Министр» не избег этого воодушевления, так неожиданно охватившего все общество, и побрел из клуба на свое пепелище, напевая себе под нос:

О-он им было
То и се, то и с-се,
Н-но напр-расно было все,
Бы-ыло все-се...
Да!

Публика в буфете сильно поредела; оставались только клубные завсегдатаи.

Печенкин давно нагрузился и сидел в буфете, опустив на грудь свою седую буйную голову. Что-то вроде раздумья накатилось на этого неистового сына природы, и трудно было сказать, о чем он думал: вставало ли перед его глазами его прошлое, или заботило его неизвестное будущее, или, может быть, царь-хмель клонил долу эту седую голову. «Мамочка» тоже дремал, потягивая шампанское.

— «Мамочка», а «Мамочка», — тихо говорил Печенкин, не подымая головы. — Скучно, «Мамочка»... Спой, «Мамочка», «Воробышка».

«Мамочка» откашлялся, поправил усы и приятным баритоном запел известную песню:

У воробышка головушка болела,
Да, ах, болела, болела!..

— О-о-хо-хо! Болела, — шептал Печенкин, покачивая своей большой, как пивной котел, головой. — Спасибо, «Мамочка», утешил старика...

На одну ножку он припадает.
Да, ах, все припадает!..

Выслушать знаменитое дело Печенкина с Гвоздевым мне не удалось, потому что оно было отложено за неявкой какого-то очень важного свидетеля.

XII

Осенью я уехал в Петербург, где разные неотложные дела задержали меня года на два. Однажды, во время зимнего сезона, мне случилось быть на любительском спектакле в клубе художников. Бывая в театре, особенно на любительских спектаклях, я никогда не покупаю афиши и совсем не справляюсь ни о названии пьесы, ни о фамилиях актеров, дабы не испортить впечатления разными ожиданиями и предвкушениями. Я выбираю какой-нибудь дальний уголок и стараюсь представить себе, что передо мной проходят не герои и героини известной пьесы, не известные актеры и актрисы, а развертывается страница за страницей сама жизнь, какой создала ее мать-природа, время и обстоятельства. Если эта иллюзия удается, я совершенно неподвижно просиживаю всю пьесу и ухожу домой в отличном расположении духа, унося в голове большой запас сцен и характеров, наталкивающих мысль на множество новых вопросов и освежающих ее приливом новых сил. На этот раз публики было немного; когда занавес

поднялся, сцена представляла небольшую, бедно меблированную комнату, в которой сидел седой старик, нетерпеливо поглядывавший в окно, ожидая возвращения дочери с уроков. От нечего делать старик мечтал вслух, и в этих старческих мечтах автор вложил живую сердечную нотку, которая невольно подкупала в пользу этого размечтавшегося старика, переносила на его точку зрения и заставляла вместе с ним терпеливо поджидать возвращение дочери. Но вот знакомый стук в двери, старик с радостным лицом бросается навстречу своей любимице, которая издали кричит ему веселым молодым голосом, что она хочет есть, как волк. Дверь растворяется, в комнату вбегает девушка, бедно, но прилично одетая, и звонко целует отца. Когда старик уходит в другую комнату, девушка в каком-то изнеможении начинает говорить, и совсем другим голосом, жалуясь на свою неблагодарную деятельность, усталость и скуку. Я сразу узнал в этой девушке Евмению Грехову, которая сильно изменилась в эти два года, но в ней еще осталась та же страстная порывистость, беззаботный смех и быстрые переходы от безумной веселости к печальным мыслям. Это был тот самый голос, который распевал в избушке Калина Калиныча балладу Гете.

Вся прелесть пьесы для меня пропала, и мне осталось только заняться наблюдениями тех перемен, которые произошли в моей случайной знакомой за эти два года. А перемены в ней были громадны: Евмения, кажется, в совершенстве постигла науку, как держать себя, с тем инстинктом женщины, который дает ей какое-то особенное чутье понимать мельчайшие детали новой обстановки и применяться к ним с замечательною быстротой.

В смелых жестах и развязных движениях Евмении виделось слишком много заимствованного из театров Буфф и Михайловского. Она успела перенять у французских актрис все то, чему никогда не научилась бы в Старом заводе. Евмения теперь в совершенстве владела длинным шлейфом и довольно ловко при поворотах откидывала шумевшие юбки ногой. Увы, это были настоящие накрахмаленные юбки, которые Евмения так недавно отрицала с таким самоотвержением. Вообще, вся

фигура Евмении под руками ловких модисток сильно изменилась и сделалась выше и полнее. После первого действия послышались аплодисменты, — живая игра Евмении подогрела даже сонную петербургскую публику. Первым действием успех был обеспечен, а по окончании спектакля публика дружно вызывала Евмению несколько раз и в заключение поднесла ей букет. Я видел, с каким сияющим лицом схватила она этот букет, может быть еще первую свою награду на сцене.

— У ней есть огонек, — говорил за мной какой-то басистый голос. — Правда, что она еще очень молода и не привыкла к сцене, но главное — огонек... У ней есть эта артистическая жилка, есть кровь!.. Немного побольше опытности — и она может пойти далеко. Главное — огонек, все дело в огоньке!

Я оглянулся и сразу узнал г. Праведного, который беседовал с своим соседом; знаменитый адвокат сильно обрюзг и осунулся, а в волосах на голове уже слегка серебрилась седина. Праведный несколько раз принимался аплодировать и покровительственно улыбался, когда Евмения появлялась на авансцене и начинала бойко раскланиваться с публикой. Не оставалось больше сомнения, что Евмения добилась полного успеха, и я нарочно остался в клубе после спектакля, чтобы хоть издали взглянуть на ту метаморфозу, которая произошла в дочери Калина Калиныча. Шаг сделан громадный, и теперь уже он был освещен лучами первого успеха, поэтому мне вдвойне было интересно взглянуть на Евмению, какой она явится не на сцене, а среди публики. Заняв столик в одной из боковых комнат, я терпеливо ждал появления Евмении; она скоро вышла под руку с каким-то белокурым офицером, одетая по последней моде, со спутанными ногами волочившимся длинным треном и гордо откинутой назад белокурой головкой. Кто бы мог подумать, что эта изящно одетая актриса, державшая себя так просто и естественно, точно она выросла в этой сфере, — кто бы мог подумать, что это дочь Калина Калиныча, еще так недавно считавшая верхом блаженства носить стриженые волосы и украшать свой нос пенсне.

Евмения несколько раз прошла мимо меня, кокетливо обмахиваясь веером и делая глазки своему кавалеру.

Проходя мимо меня еще раз и мельком взглянув в мою сторону, Евмения быстро выпростала руку от своего кавалера и, шелестя платьем, нерешительно подошла к моему столику.

— Если не ошибаюсь... — заговорила она, прищуривая глаза.

Мне только оставалось подтвердить основательность ее догадки и удостоверить свою личность. Евмения без церемонии поместилась за мой столик, совсем позабыв кавалера и свои светские манеры.

— Давно ли вы здесь? — спрашивала Евмения, останавливая на моем лице свои серые глаза.

Я в коротких словах рассказал ей незамысловатую историю моего пребывания в Петербурге, и Евмения, предупреждая мой вопрос, заговорила:

— Как же это мы с вами не встречались до сих пор? Это просто удивительно, потому что я, кажется, перебывала по сту раз везде, где можно быть женщине. А помните Старый завод? Вот бы удивились все, если б увидели меня здесь... Воображаю себе, какую бы рожу скроил наш Митрошка!.. Помните «Министра»?.. Посмотрела бы я, как хлеб за брюхом не ходит... Вот где дурак-то!

Евмения научилась даже картавить и с особенным шиком произносила букву *р*. Она очень скоро и очень остроумно рассказала историю своего пребывания в Петербурге, куда приехала с тою целью, чтобы поступить на женские курсы, и действительно поступила, но скоро раздумала и ученую карьеру променяла на сцену.

— Меня удерживало только одно, — опуская глаза, говорила тихо Евмения. — Самая профессия актрисы не пользуется особенным уважением. Знаете, все смотрят как на женщину, которую можно купить...

Мне оставалось сказать Евмении о ее сегодняшнем успехе, но на мои слова она печально улыбнулась и проговорила:

— Да, да... А вы хорошо подумали обо мне, встретив меня в этой компании? — Евмения показала головой в сторону наблюдавшего нас издали офицера. —

И ведь, главное, уверен, что за хороший ужин все на свете можно купить... Идиот!..

— Однако он может обидеться на вас, что заставляете его ждать, — проговорил я.

— Обидеться?.. Они созданы с специальною целью платить за шампанское, которое мы пьем, устраивать пикники для нас...

— Значит, вам очень весело живется здесь?

— Как вам сказать... От тоски стараешься уверить себя, что очень весело, и дурачишься...

— И здесь тоска?

— Не то чтобы тоска, а пустота... Понимаете? Я даже иногда жалею о Старом заводе, право! Там была хоть надежда впереди, а здесь и этого не осталось: плывешь по течению. А вы помните, как Праведный отчистил меня тогда на суде? И ведь совершенно напрасно... Все в один голос кричали, что я находилась в близких отношениях к Гвоздеву и что он меня подкупил; но, ей-богу, все это чистейшая ложь. Ах, я и позабыла, что вы тогда совсем не были на суде. Смех!.. Родитель заплакал, а я — ничего, только плюнула про себя. Мне тогда порядком досталось, но я не злопамятна. Ведь Гвоздева тогда оправдал Праведный. Да, совсем оправдал. Пять тысяч с него содрал за это удовольствие. Да чего лучше: Праведный ужинает с нами, — пойдемте, он вам расскажет всю подноготную... Дело прошлое, и скрывать нечего. А вы видели Праведного? — спрашивала Евмения, когда я отказался от ужина *«с нами»*. — Находите, что он постарел?..

Евмения через веер печально посмотрела на меня и прибавила:

— Если увидите отца, кланяйтесь ему... Мне иногда очень хочется видеть его. Бедный старик очень скучает обо мне и пишет мне пресмешные письма, точно мне тринадцать лет. Знаете, по его письмам я начинаю догадываться, что он находится под влиянием Миронихи и, чего доброго, в одно прекрасное утро уклонится в раскол... Воображаю себе положение сладчайшего отца Нектария: какую благочестиво печальную физиономию он скроит по такому случаю... Ха-ха-ха!.. А об Гвоздеве вы ничего не слыхали? Говорили, что Печенкин подал

кассационную жалобу в сенат... А о Заверткине, Димитраки, Пальцеве тоже ничего не слыхали? Вот почтенное трио... Как бы желала я посмотреть на этих разбойников... Я думаю, пьют горькую!

Белобрысый офицер опять прошел мимо и многозначительно посмотрел на нас.

— О, это ничего, ему моцион полезен, — весело шутила Евмения. — Пусть прогуливается... Впрочем, мне уж пора, — мой князь, кажется, не на шутку начинает сердиться, — вставая и поправляя спутавшийся трен, говорила Евмения. — Прощайте!..

Офицер подал руку Евмении, она сделала несколько шагов с ним и, обернув свою белокурую головку, весело проговорила:

— Кланяйтесь же всем, всем!

Грациозно кивнув мне в последний раз, Евмения удалилась с своим князем, немилосердно шелестя шелковым платьем и немного раскачиваясь на ходу; через минуту из соседней комнаты до меня донесся ее звонкий голос, очевидно отвечавший на чей-то вопрос.

— Я же говорю вам, что это мой родственник... троюродный брат. Понимаете или нет?

Теперь я понял печальную истину: Евмения была в своей роли и не нуждалась больше в декорациях. Она слишком увлеклась жаждой оторвать свою долю на этом пире прожигания жизни и, в обществе этих господ, с головой опустилась в ту сферу, где преобладающей страстью является безумная скачка за наслаждениями. Воспоминания о жизни в Старом заводе, бедной комнатке, уставленной книгами, старике отце с его смешными письмами — все это было теперь только подробностью, которая, с одной стороны, возбуждала сожаление, а с другой — усугубляла живость текущих наслаждений.

Когда я выходил из клуба с этими грустными мыслями, до меня долетел громкий взрыв смеха из той комнаты, в которой совершалось таинство веселого ужина, а затем наступила тишина, и послышались знакомые звуки баллады Гете, которую пела Евмения:

Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, радость и перлы сулит...

XIII

Наступила петербургская весна, с ее слякотью, холодом и только изредка солнечными днями. В один из таких редких дней, в конце апреля, мне случилось идти по солнечной стороне Невского проспекта. Было около трех часов пополудни, и знаменитая улица кипела гулявшей публикой, спешившей показать весенние костюмы и полюбоваться солнечным светом. У магазина эстампов и картин Беггрова я остановился перед одним окном и машинально пробежал глазами ряд картин с избитыми, давно надоевшими сюжетами разных морских видов, уголков благословенного юга и еще какой-то чепухи, вроде итальянок у источников с открытыми руками и аппетитными икрами, испанок с подобранными до «невозможной невозможности» юбками, католических монахов, заглядывающих за корсажи хорошеньких поселянок, и т. д. Я уже пошел было от магазина, как что-то точно кольнуло меня в сердце: в углу окна, в скромной раме, прятались маленькие картинки неизвестного художника. На первом плане картины стояла высокая, густая ель, а под ней прилепилась крохотная, полуразвалившаяся избушка, на самом краю крутого обрыва. За елью и избушкой виднелся далекий еловый лес, еще дальше — невысокие горы, и над всем этим глубоким куполом опрокинулось чистое голубое северное небо, едва тронутое, как серебряною пеной, белыми облачками. Как живые, встали предо мной картины и сцены далекого Урала, бесконечного леса, зеленых гор, привольной жизни старателей... Вспомнил я палаустный балаган Саввы Евстигнеича на берегу Балагурихи, Василису Мироновну и светлую душу Калина Калиныча. Как в тумане, пришел я на квартиру и решил, что завтра же уезжаю из Петербурга.

Живо промелькнула предо мной дорога от Петербурга до Перми. Москва, Нижний, Казань остались назади, и с парохода я перешел прямо на вокзал недавно открытой Уральской железной дороги, чистенький и свеженький, как только что снесенное яичко. После загрязненных вокзалов Николаевской и Нижегородской дорог новое произведение Губонина и К° произвело на

меня приятное впечатление, особенно при воспоминаниях той муки, какую приходилось выносить каждый раз, переваливая через Урал по блаженной памяти сибирскому тракту. Пестрая толпа публики сновала по платформе.

Попыхивая клубами темного дыма и рассыпая искры, двинулся локомотив по новой дороге; я долго сидел у окна и любовался еще незнакомыми мне видами, которые мелькали по сторонам. Дорога проходила по широкой низменности, заросшей глухим лесом, и только по мере приближения к главной массе Уральского хребта на горизонте, с правой стороны, начинали выясняться в туманной дали силуэты гор. Как известно, горные кряжи представляют из себя подобие сороконожки, причем главная масса горного кряжа представляет тело этого насекомого, а отроги и побочные разветвления — ее ноги. Обыкновенно железные дороги стараются провести горными долинами, которые образованы разветвлениями горного кряжа, а затем уже, для перевала через главную горную массу, выбирают какой-нибудь удобный проход или пробивают тоннель, или, наконец, прибегают к высоким подъемам и крутым спускам. Инженеры, строившие железную дорогу через Урал, повели ее не горными долинами, а прямо по гребню одного разветвления горной массы, так что перевал через самый кряж не представлял уже упомянутых выше затруднений и почти совсем незаметен.

Собственно, хороших и интересных видов совсем не попадалось; мимо нас мелькали высокие насыпи, глубокие лога, болота, усеянные пеньками, правильными кучками хвороста и поленницами дров, да иногда поезд с глухим грохотом катился по каким-то длинным коридорам, вырубленным в каменной почве. Общее впечатление от Уральских гор было очень неопределенно и на непривычного человека должно было наводить невольную тоску. Нужно с детства привыкнуть к этой незавидной серенькой природе, чтоб от души любоваться ее скромными красотами: невысокими горами, сплошь покрытыми хвойным лесом, глубокими горными долинами с говорливою речкой на самом дне да высоким прозрачным голубым небом, с которого волнами льется свет на

эти незамысловатые картины природы. Глаз невольно отдыхает на темной зелени бесконечного леса, и в душе пробуждается сильное освежающее чувство покоя, которым живет все кругом.

От станции Привал до Старого завода было верст тридцать, которые нужно было проехать на лошадях проселочною дорогой. Через полчаса я уже сидел в легком плетеном коробке, который бойко катился по убитой дороге. День был ясный, солнце пекло, из лесу так и обдавало душистым паром. Дорога слегка пылившею лентой извивалась между гор. Попадались пролески из берез и липняку, только что развернувших свою зелень. Коробок слегка покачивал, и хотелось ехать в нем все дальше и дальше; сладкая, неотвязная дремота кружила голову, но мысль работала, поднимая старые воспоминания, забытые сцены, дорогие лица... Хорошо, чудно хорошо на Урале весной, в начале мая, когда все в природе спешит развернуть свои силы и жадно ловит каждую минуту короткого северного лета.

Вот вдали мелькнули домики Старого завода и красиво вырезались на зеленом фоне леса силуэты церквей. Я издали узнал стоявшую на пригорке новую церковь, выстроенную в память 19 февраля; постройки все были закончены, леса сняты, и красивое здание стояло, как невеста, блестя громадным куполом, обитым жестью. Ямщик крикнул на лошадей, обдало облаком пыли, смешались спицы в колесах, и коробок вихрем полетел по широким улицам Старого завода, к гостеприимным дверям «Магнита».

Я занял номер и попросил умыться, а через пять минут знал уже последние новости Старого завода, которые главным образом вертелись около приезда архиерея, ехавшего в Старый завод святить новую церковь, которую, как оказалось, достраивал не Калин Калиныч, а Гвоздев. После небольшего отдыха я отправился навестить Калина Калиныча и нашел его избушку без особенного труда. Во дворе было совсем пусто, и навстречу не выбежала даже хромая собака, которую я видел в последний раз у Калина Калиныча; ветхое крыльцо покосилось совсем на одну сторону, на лестнице недоставало нижней ступеньки, в крыше светилась

большая дыра. Войдя в темные сени, я долго искал ручку у двери, напрасно ощупывая бревенчатые стены руками.

— Кто там, крещеный? — послышался голос Калина Калиныча из избушки, когда я, наконец, отыскал железную скобку.

XIV

Отворив дверь, я увидел самого Калина Калиныча: он лежал на широком диване, прислоненном к дощатой перегородке. Я не сразу узнал его: лицо было попрежнему круглое, но совсем желтое и под глазами обрисовывались темные круги. Старик лежал на диване ногами к двери и при моем входе с трудом приподнялся на своей подушке.

— Ах, батюшки... Господь гостя послал!.. А вы уж извините меня, старика, — заговорил старик слабым голосом, стараясь улыбнуться. — Подняться-то не могу совсем... Хворь одолела! Да как вы надумали навестить-то меня!.. А я уж скучаю, пожалуй, один-то... Венушка-то моя уехала ведь в Петербург, ей-богу-с!.. Вот уж два года, почитай, будет, как я остался один-одинешенек... Как здоров-то был, так оно ничего, а прихворнулось, так иногда и тоска возьмет... Все под богом ходим!.. Садитесь вот сюда, поближе ко мне, — говорить-то мне трудно стает-с.

На маленьком столике у самого дивана лежала разогнутая старая книга в кожаном переплете, которую Калин Калиныч, очевидно, читал пред моим приходом и теперь осторожно закрыл.

— Вот от Венушки что-то давно письма нет, — говорил Калин Калиныч. — Уж, думаю, жива ли...

— Она здорова и кланяется вам, Калин Калиныч, — спешил я успокоить старика. — Я видел ее в Петербурге пред самым отъездом.

— Ах, батюшки!.. Что же она: похудела, стосковалась об Старом заводе?

Я сказал старику, что встретил Евмению на улице и что она была совсем здорова и, по обыкновению, весела и просила передать поклон отцу.

— А ведь у ней моя душа-то, добреющая, — говорил Калин Калиныч, вытирая катившиеся из потухавших глаз слезы. — Только уж карахтер у ней неукротительный-с. А я здесь в ее комнате все так и оставил, как при ней было, ни единой книжки не шевельнул, только пыль когда подотру-с. Все думаю: приедет на Старый завод, так ей это будет приятно-с...

Добрый старик долго говорил о своей Венушке, припоминая мельчайшие подробности из ее детской жизни, и несколько раз принимался с жаром благодарить меня, что я его успокоил.

— А что, как она одета была, не приметили-с? — нерешительно спрашивал меня старик. — Поди, бедненько и в очках-с?

— Нет, одета отлично и без очков.

— А где же она денег взяла? Ведь там, говорят, все дорого — страсть!.. У ней было немножко деньжонок скоплено, рублей полтораста, да в большом-то городе какие это деньги-с!..

— Вероятно, работу нашла какую-нибудь.

Я постарался поскорее прекратить этот разговор, потому что Калин Калиныч говорил с трудом, да и мне тяжело было обманывать этого несчастного, брошенного всеми старика. Мне не хотелось совсем убивать его известием, что Евмения поступает на сцену, и я перевел разговор на его болезнь.

— Что у вас болит, Калин Калиныч?

— Там-с... в самом нутре болит-с... Точно стрелой-с пронзило-с... наскрозь!

— А доктор у вас был?

Калин Калиныч слабо улыбнулся и махнул рукой.

— Какой доктор-с... От смерти лекарства нет-с... Лучше доктора нет, как господь бог: на все его святая воля-с...

— А все же, Калин Калиныч, не мешало бы пригласить доктора.

— Нет-с, зачем же их напрасно беспокоить-с... Одинова приглашал и доктора... Только больно они у нас горды на Старом заводе. Кабы у меня были деньги, тогда — другое дело, а то что я ему дам?.. Осмотрел он меня, прописал рецепт, фукнул себе под нос и уехал...

— Как же вы лежите здесь один?

— Нет-с, я не один... Василису Мироновну, может быть, помните-с? Вторая мать для меня... Она каженный день заходит ко мне по два раза-с, и накормит, и напоит.

— А отец Нектарий?

— Бог с ним совсем... Ему ведь некогда меня проведовать-то, — немного грустно проговорил старик. — А помните церковь-то? Совсем отстроена! Благодарение господу, святить скоро будут-с... Архиерея ждут на Старый завод. Да-с! Теперь мне и помереть спокойно можно-с. А знаете, кто церковь-то достраивал? Аристарх Прохорыч, ей-богу-с! И меня оттер совсем... Как его тогда ослобонили на суде, так он сейчас обещание-с: «Так и так, дострою церковь...» Ну, собирались они-таки долгонько-с, и мы тем временем все внутри отделали: выщекатурили, иконостас поставили, начали крылосы отделывать, а тут Аристарх Прохорыч и вмешались... Так и пошло все вверх дном: и то не ладно, и это не так... А Аристарх Прохорыч твердит свое: ничего не пожалею, потому у меня обещание-с!.. Известно, человек богатеющий, все на свой счет давай заводить, деньгами так и сыплет, — ну, я и отстал, потому пеший конному не товарищ... Обидно оно было маненько, что уж все до конца было доведено, только бы освятить осталось, — ну, да и отец Нектарий говорят: «Потерпи, говорят, Калин Калиныч. Бог, говорят, и твои труды видит, а теперь пусть, говорят, Гвоздев в свою долю постарается». Ну, я и отстал-с. Денег у меня нет, а что мог, то все сделал-с!.. А вот тут еще болезнь приключилась, — оно, значит, даже хорошо вышло, что во-время отстал... На все воля божья-с... Я не ропщу, — грех роптать...

Эти разговоры, видимо, волновали и утомляли Калина Калиныча: дыхание его было тяжело и порывисто, только округлившиеся глаза смотрели не прежним беглым взглядом, а спокойно и сосредоточенно, как у человека, приготовившегося к чему-то великому и торжественному. Широкого румянца на лице Калина Калиныча и помину не было, нос обострился и вытянулся. Заметив мой пристальный взгляд, Калин Калиныч с слабой улыбкой посмотрел на себя, а потом заговорил:

— А ведь я-с восемь пудов вытягивал-с, ей-богу-с! А теперь и трех пудов не вытяну... Пальцев в шутку кубическим шаром называл-с... Вот наша жизнь: сегодня — жив, а завтра — нет ничего.

Я начал прощаться со стариком, обещая зайти к нему на днях.

— А я уж не знаю-с как и благодарить мне вас, — шептал старик, глотая слезы. — Вот вы — чужой, а не забыли меня, старика, и весточку мне принесли... Спасибо, родной! Пришлось еще перед смертью-то повидаться-с...

— Что вы, Калин Калиныч, зачем умирать!

— Нет-с, я помру-с, беспременно помру-с... Будет, пожил-с. И во сне видение мне было...

У меня что-то защемило на душе от этих слов, и мне сделалось до слез жаль бедного старика, не умевшего жить, но встречавшего смерть с тем спокойствием, с каким встречают ее только люди, сумевшие честно прожить целую жизнь и которым нечего бояться смотреть смерти прямо в глаза.

— Вот только Венушки жаль, — заговорил старик, не выпуская моей руки. — Не умел я пристроить ее при жизни-с... Погибнет она понапрасну с своим карахтером-с... Вот ее только и жаль-с... Прощайте-с, может, не увидимся больше-с.

— Перестаньте, Калин Калиныч! Разве это кто-нибудь может знать?

— А вот я знаю-с... Да-с. Было мне сонное видение-с... Явился старец, а с ним еще какие-то люди; старец посмотрел да на меня перстом и показал. «Этот!» — говорит. Я проснулся и понял, к чему это он перстом на меня показал. Это он по душу по мою приходил-с...

Все время моего посещения я видел, что Калину Калинычу что-то хотелось сказать мне, но старик все удерживался; когда я стал прощаться с ним, он, не выпуская моей руки и улыбаясь, взволнованным голосом проговорил:

— А помните суд над Аристарх-то Прохорычем? Тогда этот его адвокат, такой горластый, из себя толстый, еще Венушка звала его Неправедным, сильно нас оби-

дел... Да-с! А ведь он про Венушку-то совершенно напрасно высказал такие слова-с... Сам после заезжал и просил прощения у меня-с, ей-богу-с! Так прямо и говорит: «Извините меня, Калин Калиныч... Это, говорит, нужно было, чтобы выправить Аристарх Прохорыча-с!» А ведь они тогда душу из меня на суде-то выняли... После простил-с... Может, это и в самом деле им нужно было, и Венушке так сказал: «Потерпи, потому сам господь терпел за нас многогрешных». А она только смеется, — душа-то у ней вся в меня... Да-с! Напрасно тогда они обнесли на суде мою Венушку, совсем напрасно-с.

Выходя от Калина Калиныча, на ветхом крылечке его избушки я носом к носу встретился с Василисой Мироновной, которая взбиралась по шатавшимся ступенькам с каким-то узелком в руках. Я сразу узнал ее. Знаменитая раскольница не изменилась ни на волос за эти два года, только немного как будто потемнела да большие глаза смотрели еще строже. Одета она была в свой неизменный кубовый сарафан, а на голове был большой темный платок.

— Что, узнал? — с улыбкой проговорила Василиса Мироновна, протягивая мне руку.

— Да, узнал.

— Калина приходил проведывать? Ненадежен он у нас, того гляди — богу душу отдаст. Доняли *они* его этой церквой... Строил, строил, а теперь, как все готово, Гвоздев на себя все принял!.. Разве это порядок? Вот с этого наш Калин и пошел хворать... Ох, грехи наши тяжкие!..

— А где Савва Евстигнеич? — спросил я.

— И Савва плох, — сурово отвечала раскольница.

— Отчего так?

— Да такие дела, выходит, подошли: сколько ни живи, а умирать все придется. Вон Калин — на что гладкий был, а теперь совсем в худых душах...[1] Заходи как-нибудь в мою избушку, — побеседуем.

---

[1] В худых душах — при смерти. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

XV

С освящением новой церкви вышел довольно курьезный случай. Дело в том, что достраивал церковь Гвоздев. Ему хотелось принять владыку в своем, только что отстроенном, новом доме, для чего были уже сделаны все необходимые приготовления. Такое посещение владыки имело большое значение для Гвоздева, потому что подняло бы его авторитет на небывалую высоту. Но в это дело вмешался Печенкин. Хитрого старика кто-то научил перехватить владыку на дороге и увезти в свой дом и таким образом оставить Гвоздева с носом. Враги хотя и помирились давно, но Печенкину понравилась самая идея осрамить Гвоздева перед целым заводом. Сказано — сделано. Гвоздев выехал встречать владыку по той дороге, по какой он обыкновенно приезжал в Старый завод, а Печенкин в это время уже встретил владыку и окольными дорогами провез прямо к себе.

В день освящения церкви масса публики собралась в каменных палатах Печенкина. Конечно, в числе гостей были Пальцев, Заверткин, Димитраки, «Министр» и прочая братия.

Пока я предавался этим размышлениям, к подъезду дома скоро подкатила пролетка Печенкина, на которой рядом сидели преосвященный и сам Печенкин. Гвоздев и Печенкин под руки ввели владыку в дом и торжественно провели его прямо за стол, где было уже все готово к обеду, а на хорах гремела музыка: «Коль славен наш господь в Сионе...» За владыкой ввалилась архиерейская челядь; для нее был отведен особый стол в отдельной комнате, за исключением, впрочем, о. протодиакона. Отец Нектарий бегал по зале маленькими шажками, улыбался, крепко пожимал всем руки и постоянно вертелся на глазах у владыки, куда бы тот ни повернул свою голову. Преосвященный Питирим, старичок очень почтенной наружности, улыбался такой доброй улыбкой, что невольно привлекал к себе симпатию всякого; он любил покушать, а главное — любил что-нибудь рассказывать и особенно слушать, как рассказывают другие.

Публика долго и с шумом рассаживалась по местам; владыка сидел между о. Нектарием и Гвоздевым. Заверткин, Димитраки, Пальцев и «Мамочка» разместились за дальним концом стола, окружив о. протодиакона, служившего предметом общего любопытства и вместе с тем для производства некоторых экспериментов.

— Разве, господа, молочка от бешеной коровы выпьем? — добродушно басил о. протодиакон, поправляя на груди полки распахнувшейся рясы.

— Это он коньяк так зовет, — шептал Пальцев, подмигивая Заверткину.

— Был здесь один человек, — говорил Заверткин, прищуривая левый глаз: — вот пил, так пил... Это был, отец протодиакон, один адвокат, Праведный по фамилии, так он...

Но о. протодиакон не мог более слушать Заверткина, потому что раскатился таким хохотом, что сам владыка поинтересовался узнать причину этого гомерического смеха.

— Вот, ваше преосвященство, над фамилией смеемся, — вставая, говорил о. протодиакон: — был, говорят, здесь какой-то адвокат: Пра-вед-ный...

— А ведь действительно очень странная фамилия, — соглашался владыка. — Очень странная... Пра-вед-ный, да?

— Очень странная фамилия, ваше преосвященство, — поддакивал о. Нектарий, как-то особенно склоняя голову набок.

Между Заверткиным и Димитраки завязался горячий спор по поводу того, кто может больше выпить: о. протодиакон или адвокат Праведный; но этому спору суждено было кончиться ничем, потому что Пальцев в самом интересном его месте поднялся с своего стула и проговорил, обращаясь к владыке:

— Ваше преосвященство, я должен сообщить вам пренеприятное известие: золотопромышленник Иван Тимофеевич Травкин, которого вы хорошо знали, третьего дня скончался...

— Как же это так... вдруг?.. — проговорил владыка, с недоумением глядя на Гвоздева и о. Нектария.

— А так, действительно вдруг, ваше преосвященство, скончался, — продолжал Пальцев. — Я его как раз видел часа за два до смерти. Ехал мимо Махневского завода, а он идет навстречу. Поздоровались... Он недавно был именинник, я и говорю ему, что следовало бы подогреть старого-то именинника. Он позвал меня к себе, я и пообещал побывать у него на обратном пути. И действительно, заезжаю, а он — на столе, и лежит как живой, совершенно как живой... Его кондрашка хватил, ваше преосвященство!

— Жаль, очень жаль Травкина, — качая головой, говорил владыка.

— А какой это благочестивый был человек, ваше преосвященство! — говорил о. Нектарий.

— Да, да... Я хорошо его помню. Жаль, очень жаль.

— Немного таких людей, ваше преосвященство, осталось, — говорил Гвоздев.

— Немного, очень немного... Да, немного.

— Пр-римерный хр-ристианин, ваше пр-рео-освященство! — вставил свое слово «Министр», сильно вытягивая свою длинную шею.

Отец Нектарий хотел прибавить еще что-то о добродетелях покойного, но в это время показавшаяся в дверях коротенькая и толстая фигурка заставила невольно всех оглянуться, а потом посмотреть на Пальцева, который, как ни в чем не бывало, что-то шептал на ухо о. протодиакону.

— Благословите, ваше пьеосвященство, — заговорил вошедший, как шар подкатываясь к владыке.

— Как же это?.. Кажется... — шептал владыка, не решаясь дать благословение, но о. Нектарий что-то шепнул ему на ухо, и владыка благословил, проговорив добродушно: — А мы тебя, Иван Тимофеич, здесь совсем было похоронили...

Общий взрыв неудержимого хохота долго стоял в зале: вошедший и был тот самый Травкин, про которого только что сейчас рассказывал Пальцев. Владыка не только не рассердился за эту шутку, но долго смеялся вместе с другими, покачивая своей головой.

— Он, ваше пьеосвященство, всегда что-нибудь такое пьидумает, — жаловался Травкин, указывая рукой на Пальцева, — пьяво, ваше пьеосвященство... Он всегда пьивьет язные пустяки!

Все долго хохотали над выдумкой Пальцева, который смеялся вместе с другими и даже упрекал Травкина:

— Ты, ангел мой, совсем подвел меня... Разве так делают порядочные люди?

Весь обед прошел самым оживленным образом. Владыка улыбался, слушал и даже сам рассказал несколько очень увеселительных анекдотов, из которых один привел всю публику в полный восторг.

— Раз я объезжал свою эпархию, — рассказывал владыка. — В одном селе... кажется... Отец протодиакон, не помните ли вы, в каком это было селе?

— В селе Березовском, ваше преосвященство! — отвечал о. протодиакон, знавший наизусть все анекдоты владыки и даже тот неизменный порядок, в каком они следовали один за другим.

— Да, да... Припоминаю: это действительно было в селе Березовском, — продолжал владыка с своей добродушной улыбкой. — Священник этого села и представляет мне одного псаломщика. Как же его звали?.. Позвольте... Отец протодиакон, не помните ли вы, как звали того псаломщика?

— Асклипиодот, ваше преосвященство!

— Да, да... Припомнил: действительно Асклипиодот... Священник представляет его мне и говорит, что он примерной нравственности и желает занять вакантное место диакона при церкви села Березовского... Кажется, так, отец протодиакон?

— Точно так, ваше преосвященство!

— Я проэкзаменовал его, заставил пропеть, а потом и спрашиваю: «Ты, Асклипиодот, очень желаешь быть диаконом?» Он мне и отвечает... Да, да... Позвольте, что же он такое мне отвечает? Позвольте... Отец протодиакон, не помните ли вы, что он мне отвечал?

— Псаломщик Асклипиодот отвечал вашему преосвященству, что «всякий человек желает быть диаконом!»

— Ах, да, да... Действительно, так: «Всякий человек,

ваше преосвященство, желает быть диаконом». Ха-ха-ха!

Над этим анекдотом смеялись больше, чем над смертью Травкина: густым басом, откровенно хохотал о. протодиакон, добродушно смеялся с ним «Мамочка», хихикали Димитраки, Заверткин и Пальцев, и смеялся, именно смеялся, о. Нектарий, — смеялся всем своим упитанным существом, смеялся до слез, каждою каплей своей крови, как умеют смеяться невинные младенцы, когда нянька им скажет «агу». Это была даже не картина, а какая-то музыка. В восторге от анекдота, о. Нектарий расцеловал руки владыки и подобострастно спрашивал со слезами на глазах:

— Всякий человек, ваше преосвященство, хочет быть диаконом? О... ха-ха-ха!..

— Да, да! Так и говорит: всякий человек, ваше преосвященство, хочет быть диаконом, — добродушно повторял владыка свой анекдот.

Лакеи в белых перчатках подавали одно кушанье за другим. На первом плане, конечно, была рыба самая разнообразная и во всяких формах: уха из живых харюзов, пудовый осетр, сваренный целиком, тальмени с розовым, нежным мясом, семга и еще целый ряд рыб, название которых я не упомню. Все это, сваренное или зажаренное, прошпигованное мудреными начинками и приправленное остроумнейшими соусами из трюфелей, грецких орехов, анчоусов, с оливками, капорцами и тому подобными премудростями, подавалось на стол, съедалось и сейчас же заменялось каким-нибудь новым кушаньем. Гостей было человек двести, так что нужно было очень много всякой снеди, чтобы наполнить эти двести провинциальных желудков, как известно, чувствительных не столько к качеству съедаемого, сколько к его количеству. Печенкин оказался чудо-хозяином и своим недремлющим оком зорко следил, чтобы ни один рот не оставался без работы и чтоб у каждого прибора рюмки стояли полными.

Обед продолжался очень долго; пили все и за все, что только существует под луной. Владыка очень утомился этим длинным и торжественным обедом и скоро удалился на свою половину, чтобы предаться необхо-

димому отдохновению, но оставшаяся публика и не думала уходить.

Вечером этого многозначительного дня я сидел в общей зале «Магнита» и от нечего делать перебирал старые газеты. Часов около девяти вечера на лестнице послышался глухой топот, точно кто-нибудь въезжал на лестницу на лошади. Дело скоро объяснилось: в общую залу нетвердыми шагами ввалилась почтенная компания, состоявшая из «Министра», Заверткина и Димитраки, обнявшихся, как три брата, и взаимно поддерживавших друг друга. Несмотря на эти трогательные усилия, почтенная компания едва могла попасть в двери. За ними, тоже обнявшись, шли Пальцев и Травкин; они держались на ногах только потому, что сильно навалились друг на друга. Травкин, этот «примерный христианин», по словам «Министра», теперь еле-еле шевелил заплетавшимся языком и все повторял одну и ту же фразу:

— Пьяво, Пайцев, ты вьешь, все вьешь, а я тебя все-таки юбью...

— Мы об-бедали у Гвоздева с пр-реосвященным! — заявлял Заверткин, увидав меня и выделывая своими вихлястыми ногами самые замысловатые вензеля.

Почтенная компания проследовала благополучно до буфета и расположилась, где попало, в таких позах, как будто всех их сдуло ветром. Один Димитраки еще настолько сохранил присутствие духа, что потребовал очищенной. Но бедный «Министр» лежал на полу без всякого движения, как оглушенная рыба, мычал и совершенно напрасно старался объяснить что-то «посредством перстов».

Заверткин ухитрился как-то подняться на четвереньки и в этой трогательной позе пропел над распростертыми на земле телами своих друзей известные куплеты:

Уж мы пили, пили, пили,
Уж мы ели, ели, ели...

На другой день после освящения церкви кто-то тихо постучал в мой номер. Отворив дверь, я увидел знакомого мне Гришутку, который был в числе старателей на

Балагурихе. Мальчик очень вырос в эти два года, но лицо осталось попрежнему серьезным. Увидев меня, он проговорил:

— Василиса Мироновна велела тебе сказать, что Калин умер сегодня ночью.

— И больше ничего?

— Ничего.

Это известие сильно опечалило меня, и я, одевшись, отправился в избушку Калина Калиныча, чтоб отдать последний христианский долг этому доброму существу. Я услышал монотонное чтение над покойником, а из окон избушки так и валил клубами синий дым ладана. Покойник лежал на столе; над ним читала своим певучим голосом Василиса Мироновна; у печки, на небольшой деревянной лавочке, сидели две старухи, недружелюбно посмотревшие на меня.

— «Пришлец есмь аз на земли, — читала Василиса Мироновна своим ровным, невозмутимым голосом, — умножися на мя неправди гордых, аз же всем сердцем испытаю заповеди твоя, господи...»

Лицо покойника не было закрыто, и на нем застыло неземное спокойствие; щеки осунулись; на глазах были положены медные копейки; чтобы не отваливалась нижняя челюсть, лицо было подвязано белым платком. Прочитав псалом, Василиса Мироновна подошла ко мне и тихо проговорила:

— Вот и Калин приказал долго жить...

Мне показалось, что в глазах Миронихи блеснули две слезинки, но, заметив мой пытливый взгляд, она быстро отвернулась и тяжело вздохнула.

XVI

Через два месяца после смерти Калина Калиныча я случайно встретился на улице с Василисой Мироновной. Она была чем-то встревожена.

— Ты бы зашел как-нибудь в мою избушку, — проговорила она. — Дело есть до тебя...

— Какое?

— А вот увидишь, когда придешь, — уклончиво ответила раскольница.

Мне давно хотелось побывать в избушке Василисы Мироновны, а теперь «закинулось заделье», и вечером я отправился в дальний конец Старого завода.

Домик Василисы Мироновны стоял на конце Болотной улицы, где начинались маленькие избы и лачужки предместья. Снаружи это был кокетливо чистенький домик, обшитый тесом, с зелеными ставнями и белой трубой. Маленькая калитка вела на широкий двор, который, как у всех раскольников, сверху был покрыт отличной тесовою крышей с несколькими слуховыми окнами, откуда падало света как раз настолько, чтобы не разбить себе лба. Пол во дворе был деревянный; кругом тянулись какие-то амбары, хлевы, новенький сарай; везде чистота была поразительная, как в комнате, хотя было что-то тяжелое во всей этой обстановке, походившей на деревянную крепость. Гремя железною цепью, отчаянным лаем заливалась громадная собака, стоившая десяти уличных сторожей. Широкое русское крыльцо с точеными столбиками, поддерживавшими небольшой навес, вело в маленькие светлые сени, разделявшие домик Василисы Мироновны на две избы — переднюю, в которой собственно жила Василиса Мироновна, и заднюю, в которой помещалась моленная. Деревянные стены были вымыты поразительно чисто, полы устланы своедельщиной — половиками, а в передней избе был постлан дешевый тюменский ковер. Налево от двери стояла белая русская печь, как и в избушке Калина Калиныча, отделенная от остальной избы крашеной перегородкой. Вокруг стен тянулись деревянные лавки, в переднем углу стоял выкрашенный синей краской стол, над дверями были навешаны крашеные полати. В переднем углу красовался большой зеленый киот с старинными образами, пред которыми теплилась неугасимая лампада. Когда я вошел в эту комнатку, светленькую, как игрушка, в переднем углу, облокотившись на стол, сидел Савва Евстигнеич, не поднявший даже головы при моем появлении; голос Василисы Мироновны, что-то делавшей за перегородкой, заставил

старика очнуться, и он пристально посмотрел на меня своим единственным оком.

— Милости просим, дорогой гость, — звонко говорила Василиса Мироновна, показываясь из-за перегородки с засученными рукавами рубашки, обнажившими сильные, загорелые руки. — Садись, так гость будешь. Узнаешь гостя, Савва? — обратилась она к старику, который продолжал сосредоточенно наблюдать меня.

— Узнал... Как же, узнал, — глухо отвечал старик. — Помню, на Балагурихе ночевал у нас в балагане...

Усадив меня в передний угол, напротив старика, раскольница на некоторое время исчезла из комнаты и появилась нагруженная снедями и брашном. Весело разговаривая, она ставила на стол тарелки с черной икрой, прошлогодними рыжиками, балыком, ягодами, изюмом, пряниками и две бутылки — одну с водкой, другую с душистой наливкой из княженики.

— Угощать-то мне тебя нечем, да и не умею я это по-господски делать, — немного кокетливо говорила Василиса Мироновна, как бы напрашиваясь на комплимент. — Уж не взыщи на нашем мужицком угощенье!.. Созвать-то я созвала тебя, а угощать и не умею. Выкушайте-ка вот по рюмочке...

Раскольницы и начетчицы больше не было, а была домовитая хозяйка, угощавшая от трудов рук своих, и было что-то трогательное в этой метаморфозе: так и веяло чем-то патриархальным от этой высокой женской фигуры, угощавшей нас с таким трогательным смирением и ветхозаветной простотой. Старик выпил рюмку водки, а я рюмку наливки, которая была необыкновенно ароматна.

— Покойник Калин любил эту наливку, — говорила раскольница, указывая на штофик с наливкой. — А как он умер хорошо: точно просветлел вдруг и все так обстоятельно говорил!.. Только перед самым отходом душа в нем встосковалась, больно плакал: дочери, слышь, жаль, — погибнет без него...

— Добреющей души был человек, — проговорил старик.

— Этаких простецов больше не осталось, — с тяжелым вздохом прибавила раскольница. — И до самой последней минуты все в памяти был, все разговаривал, а потом вытянулся немного и — конец.

Василиса Мироновна, видимо, ухаживала за стариком, который или был болен, или чем-нибудь сильно расстроен. Поболтав еще минут десять, Василиса Мироновна поднялась с своего места и, поправив платок, проговорила:

— А я схожу тут недалеко в соседи... У бабы волос долог, да ум короток: позвала я тебя, а выходит, понапрасну, — пожалуй, и подумаешь неладно обо мне. Вы тут побеседуйте, а я живым духом схожу. Так ты уж посиди здесь, — обратилась ко мне еще раз Мирониха. — Я живым духом...

Оставшись вдвоем, я долго не знал, о чем разговаривать со стариком, а он молчал, погрузившись в тяжелое раздумье, и, кажется, совсем забыл о моем присутствии. Он выпил уже несколько рюмок водки и заметно покраснел.

— А что, Савва Евстигнеич, как ваш шурф на Балагурихе? — спросил я старика, чтобы начать разговор.

— Какой шурф?

— Ну, да помните, который вы тогда били при мне...

— Ах, да... пустое дело, — бросил скоро! Да и не к чему, — с тихою грустью проговорил старик, опуская голову. — Ведь «Разбойника»-то у меня украли.

— Как так?

— Украли, зломанники! Погубили меня, разорили...

Старик неожиданно заплакал своим единственным глазом.

— А ведь я тебя вспоминал, не один раз вспоминал, — утирая слезы, заговорил старик. — Помнишь, я тебе сказывал, как кыргыза-то убил, а ты мне тогда еще сказал, что как мне его не жаль... Ты тогда ушел, а мне это и пади на ум. Оказия: и работаю, и молюсь, а кыргыз все с ума нейдет. Не поверишь, сна лишился, от хлеба отбился, а все это было к тому, что пропасть моему «Разбойнику». К тому, значит, и о кыргызе эдак думал... И эпитимию на себя накладывал, чтобы замолить грех, и обещания давал, — ничего не помогало!

Только одна Василиса Мироновна и отмаливала! Как помолится, так будто маненько и полегчает.

— Как же у тебя «Разбойника»-то украли?

Савва Евстигнеич долго молчал; видимо, что ему трудно было рассказывать подробности этого страшного для него дела.

— Расскажу я тебе это дело по порядку, — начал старик. — Связался тогда я с этой Балагурихой, лето-то простарался, а толку не мог добиться... А надо тебе сказать, и на Балагурихе я работал только для видимости, для отвода глаз, потому в те поры ходил слух, что будет новый исправник, и за нами сильно следили.

— Как так? — невольно спросил я.

— Ну, да уж слово вылетело — не поймаешь, да и дело прошлое, да и мне-то теперь все равно: не пойдешь ведь на меня доносить? Ведь у нас на Старом заводе займуются золотом-то: доносить, так на всех...

— Что вы, Савва Евстигнеич!

— Проболтнулся я тебе, — надо, значит, рассказывать все. Видишь, в чем дело: все мы грешны да божьи. Золотом жили. Только с этим золотом — ух как опасно!.. А тут, как с неба, и свались ко мне «Разбойник»... Эх, что это только за лошадь была!.. Огонь, а не лошадь... Ты и во сне не видывал таких лошадей, да и не слыхивал, да никто тебе и не поверит, что на свете кони такие бывают... Одно слово — «Разбойник», разбойничья лошадь! Я вот тебе расскажу, какие мы с ним дела обделывали, а ты их хоть кому рассказывай — не поверят, в глаза осмеют!.. От Старого завода до Ирбита летом верст с двести, а зимой, малыми дорогами, верст сотня, а ярманка-то в Ирбите бывает зимой... Понял?

— Ну, так слушай. На этой ирбитской ярманке и сбывают золото, потому тут съезжаются разные такие азияты, с шарманками там, с пуговками, с мылом, — ну, понимаешь, все это для отводу глаз только! Китайцы тоже не брезгают нашим золотом-то, только несуразный народ: ты с ним каши не сваришь; а вот бухарцы да армянцы — те и нас за пояс заткнут!

Старик немного помолчал, а потом, вздохнув и выпив рюмку, спросил меня:

— Ну-с, на чем, бишь, я остановился?

— На армянах, Савва Евстигнеич.

— Да, да, точно на армянцах... Так вот в ярманку-то до Ирбита от нас сто верст. Исправник али становой там уж знает, что старозаводские беспременно золото повезут на ярманку, и караулит: помельче кого, вроде нашего брата — в острог, а покрупнее — оберет, как липку, да и пустит в одной рубашке. Известно, кто этими делами занимается — тоже народ прожженный, ходят босиком, а следы в сапогах, да все-таки трудно увернуться, — места наши маленькие, всех по пальцам знают, а чуть начал пошире жить, торговать, сейчас уж его и под шапку. А когда попался в мои руки «Разбойник», поездил я на нем первую зиму, вижу, лошадь как есть золотая. Не поверишь, я нарочно на «Разбойнике», для пробы, езжал в одну ночь в Ирбит-то и обратно, ей-богу! Только два дня уж я его к этому готовлю, все мучаю, а пред самой поездкой с самого утра на нем гоняю до мыла. Потом часа за три до сумерек привяжу его к столбу, простоится он таким манером часа три, дам ему два ломтя хлеба с солью, посажу в санки Гришутку, — помнишь, на Балагурихе-то, — да и в путь. К полуночи Гришутка в Ирбите привяжет «Разбойника» к столбу, даст два ломтя хлеба с солью, стакан водки вольет ему в глотку да в ту же ночь обратно и приедет на Старый завод, к утру, к самому эдак рассвету. В ночь-то, значит, двести верст и сделает... Скажи-ко кому, да тебе никто в жизнь не поверит! Вот какая была лошадь... Вот когда ярманка-то начнется, заранынше прикопишь золотца, да в одну ночку и свезешь в Ирбит-то, а к утру — дома; денежки в кармане, придраться нельзя, потому устроишь так, чтобы с вечера-то все тебя на заводе видели.

Старик низко, низко свесил голову и долго молчал, пока я не вывел его из этого состояния своим вопросом:

— Как же у тебя украли такую лошадь, Савва Евстигнеич?

— А уж так, по грехам господь наказал, — заговорил старик спокойно и со смирением. — Сплю это я раз летом, таково крепко сплю, только слышу — в окно мне — тук, тук! Кого там, думаю, нелегкая принесла? Отворил окно: сосед. «Чаго тебе?» — «А ты, говорит, ничего не знаешь?» — «Нет, говорю, ничего не знаю». —

«Да ведь у тебя лошадь-то, говорит, украли...» Как это он мне вымолвил, так меня ровно обухом по голове, и свет из глаз выкатился! Выскочил на двор, в конюшню, — нет... Ах, оказия, думаю, — куда делась лошадь? Ворота все на запоре... Так, думаешь, как они увели лошадь? — А взяли, разобрали крышу да через крышу на веревках и вытащили. А собака, может, помнишь, которая на Балагурихе со мной была, Куфтой звали? — окормили ее... Выхожу я за ворота к соседу, а самого так и пошатывает, точно я пьяный совсем. «Что, говорю, теперь делать...» А в глазах так столбы и ходят... А сосед и говорит: «Надо, говорит, толкнуться к Евгешке, — некому окромя его такую штуку выкинуть!» Прихватили мы еще человек трех и — к Евгешке. Помолитвовались под окном, спрашиваем хозяина: надо, мол, поговорить. Выходит Евгешка к нам за ворота, тут мы его и приняли... Побили, побили мы его тут, — запирается, собака: знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Дело было зимнее. Связали мы его по рукам, да за ноги-то и привязали к саням, а двое на него, да таким манером через весь завод и проехали, а потом — на рудник, верстах в восьми от Старого-то завода. Приехали туда. У Евгешки спина в лоскутьях, так мясо клочьями и висит, а все запирается... Тут мы взяли да вниз головой его и спустили в шахту: «Сказывай, а то тут тебе и конец!» Покаялся...

— Что же вы сделали потом с этим Евгешкой?

— А сделали мы с ним вот что: он сказал, что моя лошадь в Огневой, — так, деревнюшка тут есть, в семи верстах от Старого завода, плуты на плутах живут. Мы Евгешку на дровни да в Огневу, прямо к тому мужику, на которого он показал, а его и след простыл. Спросили хозяйку: «Точно, говорит, была лошадь, да только увели». Делать нечего, потеребили маненько для памяти бабенку, да с пустыми руками и приехали на Старый завод, а Евгешку опять по-за саням тащили, да у его дома и бросили замертво...

— Что же потом с ним было?

— А известно: собаке — собачья и смерть. Хозяйка позвала лекаря, а лекарь станового... Становой-то посмотрел, посмотрел на Евгешку, да и говорит: «Дураки, ангел мой, говорит, и те, что Евгешку-то, слышь, би-

ли, — надо бы, говорит, его до смерти». Так бы и следовало, да пожалели мы-то его, варнака, только маненько поучить хотели... На третий день он так и помер без языка.

— Отчего же вы не отвели Евгешку к становому, когда его поймали?

— К становому?.. Что ты, милый человек, да у станового-то он может с тыщу разов бывывал, да разве ты его проймешь этим? Ни в жисть! Становой к мировому, мировой на высидку и — конец всему делу. А нашему брату от их, варнаков, разоренье, да еще худую славу пущают на весь Старый завод, — дескать, там что ни есть несосветимые[1] плуты живут... Мы их в ту весну еще четверых уходили, конокрадов-то, — больно шалить зачали.

— Что же, ты не разыскивал больше лошадь?

— Как не разыскивать!.. Разыскивал. Почитай все время разыскивал, только понапрасну время терял, потому они «Разбойника» в степи угнали. И деньги раздавал нищей братии, и на обители подавал, и в скиты денег-то охапкой посылал, — ничего не берет: нет моего «Разбойника» — и шабаш!.. Денег-то, которые нажил он мне, еще много осталось, да друга-то сердечного не стало!.. Вот я и езжу все да отыскиваю его.

XVII

— Иди-ко сюды! — поманила меня Василиса Мироновна, приотворив дверь в переднюю избу. — Я тебе покажу одну штучку.

Мы вышли в сени. Василиса Мироновна отворила дверь в заднюю избу и дала мне дорогу. Издали мелькнула неугасимая лампада, которая теплилась перед целым иконостасом из старинных образов. На меня пахнуло росным ладаном и запахом восковых свеч и деревянного масла.

— Не признаешь ли? — спрашивала раскольница, указывая рукой на какую-то женщину в черном платке.

[1] Несосветимые — каких во всем свете не найти. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Я немного даже отшатнулся назад: предо мной сидела Евмения. На ней надет был косоклинный раскольничий сарафан с глухими проймами, ситцевый, подвязанный в подмышках, передник, белая миткалевая рубашка. Голова была повязана темным ситцевым платком, сильно надвинутым на глаза; из-под платка выбивалось несколько прядей белокурых волос; болезненно пристальным взглядом смотрели совсем округлившиеся серые глаза.

— Здравствуйте, — проговорил я, протягивая руку.

— Здравствуйте... — как-то неохотно ответила Евмения.

— Помилуйте, Евмения Калиновна, что это за маскарад такой?

— Маскарад?.. Вы думаете, что это — маскарад?.. Нет, настоящий маскарад кончился, — будет! — При последних словах Евмения хрустнула пальцами и засмеялась злым смехом.

— Вы давно из Петербурга?

— Право, не помню хорошенько... Василиса Мироновна, когда я пришла к вам?

— Третьева дни, милушка, третьева дни... Этак под вечер будет, — отвечала раскольница, складывая свои руки на груди.

— Вот к ней под начал поступаю, — проговорила Евмения, вскидывая глазами на Василису Мироновну. — В горы скоро уйдем, в скиты...

Меня совсем изумила встреча с Евменией в этой обстановке, которая представляла такой резкий контраст с тем, что я видел каких-нибудь полгода назад в клубе художников. Расспрашивать Евмению прямо о причинах ее появления в Старом заводе я не решался, предоставляя ей самой высказаться. После короткого разговора ни о чем Евмения кинула мне вызывающую фразу:

— Что же вы меня не спрашиваете, зачем я уехала из распрекрасного Петербурга? Может быть, опасаетесь повредить мои нервы?..

Точно вспомнив что-то, она быстро и уже серьезным тоном проговорила:

— Вы, батенька, пожалуйста, не смотрите на меня как на жар-птицу... У меня ведь действительно неладно с нервой. Я поэтому больше и инкогнито сюда заявилась. Не хотелось ни с кем встречаться из старых знакомых. Отдохнуть хочется. Устала.

Евмения при последних словах несколько раз сухо кашлянула.

— Видите, бронхит на память о Петербурге привезла...

— Молочко-то ты выпила? — спрашивала Василиса Мироновна.

— Выпила... Спасибо, голубушка, на молочке. Мужик за спасибо три года работал... Ну, а что Савва? — спросила Евмения, беззаботно встряхнув головой. — Все еще, небойсь, дуется... Скажи ему, что я не сержусь на него.

— Вот, подумаешь, связался старый с малым, — полушутя, полусерьезно проговорила Василиса Мироновна, обращаясь собственно ко мне. — Не берет их мир — и кончено... Никак это вчерась за ужином было... Ведь чуть они не разодрались, ей-богу!.. Эта стрекоза-то давай старика своими цыгарками дразнить, а тот и войди в сердце. И смех, и горе... О-о-хо-хо!.. Теперь и сидят по разным углам, как кошка с собакой.

— А я очень люблю Савву, — откровенно призналась Евмения. — Он такой славный старик и так смешно о своей лошади тоскует... Мы с ним послезавтра в скиты отправляемся. Дорогой помиримся...

— Вы долго думаете пробыть здесь? — спросил я.

— Я-то?.. Гм... Я приехала, надо полагать, совсем, — ответила Евмения и задумалась. — Доктора проклятые все мутят, — прибавила она с улыбкой. — Насказали мне таких четвергов с неделей, что ложись да умирай: и в груди неладно, и нервы, и ностальгию приплели. Да ведь вы еще не знаете ничего... Праведный-то — помните? — формальное предложение мне сделал, да-а!.. Да вы только представьте себе такую комбинацию: я и — m-r Праведный... Нечего сказать, примерная пара — свинья с пятиалтынным!...

— Оно и лучше бы, ежели бы в закон вступить, — заметила степенно Василиса Мироновна. — А то не

знаешь, к чему тебя и применить: ни ты баба, ни ты девка...

— Этого, Василиса Мироновна, я и сама не знаю, к чему себя применить... Теперь вот по старой вере хочу пойти, кануны говорить стану по покойникам да неугасимую читать.

— Не таранти языком-то!.. Больно он у тебя востер... Еще покойничек Калин Калиныч как бывало жалился на тебя за язычок-от!

— Да, да... Я его до слез даже доводила, — припоминала Евмения с задумчивой улыбкой.— А знаете, — прибавила она, — какой удивительный случай со мной вышел... Как я узнала, что отец умер, мне вдруг так сделалось его жаль, что и рассказать не умею. Дня три проплакала, а потом не могу его забыть, и кончено... Я только теперь его оценила... Знаете, я отдала б бог знает что, чтоб увидеть его еще раз! Глупа была, — не понимала отца... А тут как посравнила с другими людьми, с этими разбойниками, — ну, тогда и опомнилась. Ведь славный был старик, да?.. Честная, хорошая душа... Я, право, так люблю его теперь, как никогда не любила. В нем была эта евангельская чистота сердца и, понятно, совсем особенная незлобивость, кротость, любовь к людям...

Понемногу Евмения разговорилась, по обыкновению быстро перескакивая с одного предмета на другой и постоянно меняя тон. Но печальные ноты так и проскакивали в этом неровном разговоре, а оригинальное лицо освещалось какой-то недоверчивой улыбкой. В своем странном костюме Евмения была сегодня особенно оригинальна; она это чувствовала и, кажется, немного стеснялась.

— Надоело играть вечную комедию, — говорила она, опуская глаза. — Здесь, то есть в Старом заводе, по крайней мере была вера во что-то хорошее, вера в каких-то людей... Конечно, и это хорошее, и эти необыкновенные люди были там, в Питере, а на деле... Разница вся только в том, что в Старом заводе и подличают, и лгут, и обманывают, и делают всякие гадости в микроскопических размерах, а *там* все это — в увеличенных.

— Неужели ж вы там ничего хорошего и не встретили?

— Как вам сказать... Раза два были такие случаи. Попался мне один юноша, из зелененьких... Все это, знаете, в нем еще бродит, хочет осчастливить мир и так далее. Честно этак, тепло, молодо. Я даже немножко, грешным делом, увлеклась было, по части сердечной тронулась, — ну, да во-время опомнилась и юношу живо отрезвила. Обругал меня, плюнул... После спасибо скажет, может быть. Потом в другой раз... к художникам попала. Да, к настоящим художникам, понимаете!.. Совсем как на луне живут, сердечные, точно сейчас с того свету... Ну, поиграли со мной, забавляла их, а потом наскучило сестричкой у тридцати братцев трепаться. Тут уж я плюнула. Ну их к нечистому!.. Очень уж пресный народ...

— А сцена?

— Вот здесь-то мое слабое место и оказалось... Все надеялась, все ждала, а потом действительно были маленькие успехи. Поманило... Взялась за роли потруднее, да и провалилась, — пороху не хватило... Были дураки, которые даже хвалили, только уж тут я сама понимала, что такие похвалы хуже ругани. Совесть зазрила... Думала даже покончить с собой, да опять пороху не хватило. Вот тут-то на меня тоска настоящая и навалилась, — да такая тоска, точно как мышь в мышеловке сидишь!.. И так мне опротивел тогда этот Питер, что просто хуже смерти. Затосковала. Это я-то затосковала!.. Смешно рассказывать даже, о чем думала. Вспомнилась моя комнатка... Вы, кажется, были тогда в ней? — Ну вот, та самая. Полочка с книжками, железная кроватка, тетради разные... А тут отец вдруг умер, — я уж и совсем свихнулась. Ни сна, ни аппетиту, — хожу сама не своя. Посоветовали обратиться к Боткину. Выслушал меня, посмотрел, да и говорит: «Ну, вам, барынька, поскорее восвояси надо убираться! Воздух родины — единственное лекарство для вас». Тут уж я обеими руками перекрестилась, да и махнула сюда. А теперь пока у Василисы Мироновны околачиваюсь... Вот женщина, так женщина!.. Я когда смотрю на нее, так мне легче делается. Мы с ней, кажется, сошлись, хоть

она и журит меня. И знаете, я службу ихнюю раскольничью полюбила... По целым часам выстаиваю и все слушаю и смотрю. Тут чувствуешь, что люди действительно живут всем существом, а не обманывают себя и других разными благоглупостями.

Василиса Мироновна не присутствовала при последнем разговоре. Ее вызвал какой-то таинственный мужик. До моленной, где мы сидели, доносился ее голос обрывками. Раскольница кого-то журила, а потом, видимо, смилостивилась, и ее голос зазвучал мягкими женскими нотами. Скоро ее высокая фигура появилась в дверях моленной.

— Вы бы шли чайку попить, — предложила Василиса Мироновна.

— А там у тебя кто-нибудь есть? — справилась Евмения.

— Да кому быть-то, милушка... Сидит твой благоприятель, Савва, и все тут. Ну, идите, — самовар на столе!

Когда мы вошли, старик нахмурился и отвернулся от Евмении. Василиса Мироновна благочестиво подобрала губы в оборочку.

— Старичку... сто лет здравствовать! — весело проговорила Евмения, фамильярно хлопая Савву по плечу. — Ну, будет!.. Я ведь не сержусь на тебя, — слышишь?

— Ты не сердишься, да я, может, сержусь на тебя,— сурово ответил старик, стараясь не смотреть на Евмению. — Прытка больно зубы-то заговаривать!

— Хочешь, я тебя поцелую, старичок? — весело сказала Евмения.

— Отойди, грех...

— Ну, ну, будет вам беса-то тешить! — усовещивала Василиса Мироновна. — Ишь, вас забрало!.. Милушка, садись сюда, — прибавила она, указывая Евмении место около себя на лавке.

— Нет, мне здесь лучше, — ответила Евмения, усаживаясь на лавку рядом со стариком и по пути задевая его локтем.

— Тьфу! — отплевывался Савва, стараясь скрыть набегавшую на лицо улыбку.

— А ты, старичок, не сердись, — печенка испортится, — не унималась Евмения. — Еще собираешься со мной в скиты богу молиться.

— Я-то поеду, а уж как ты — не знаю, — отвечал Савва. — Разве с Лыской на одной линии побежишь.

— Ну, уж и с Лыской!.. Полно грешить-то, Савва Евстигнеич! Во мне тоже, поди, не пар, а христианская душа...

— Всем бы ты девка хорошая, — уж весело заговорил старик, — только молиться по-нашему не умеешь... Значит, нам с тобой не по одной дороге богу-то молиться. Ты вон и рыла-то не умеешь по-настоящему перекрестить...

Спор опять возгорелся с новою силой, и Василисе Мироновне стоило большого труда потушить его. Я вспомнил наш чай в избушке Калина Калиныча, когда мы все так весело смеялись над анекдотом Праведного. Через минуту она спросила меня:

— А помните *тогда* анекдот Праведного? Давно ли, кажется, все это было, а между тем сколько воды утекло за это время!..

Чай вообще закончился довольно печально. Видимо, каждый был занят своими собственными невеселыми мыслями. Когда я стал прощаться, Василиса Мироновна проговорила:

— Погоди ужó меня, вместе пойдем... Мне по пути с тобой идти-то. Дьяконица тут двойней родила, так надо проведать бабу-то... Дьякон-то зашибается маненько.

Когда мы выходили из избы, Евмения не утерпела и крикнула вслед:

— Увидите наших-то, так кланяйтесь своим-то!..

— Видел? — спрашивала меня раскольница.

— Видел. А что?

— Да так я спросила. Может, думаю, не заметил ли чего...

— Больна она, кажется.

— Уж и не говори: местечка живого нет, так в чем душенька держится, — махнув рукой, ответила Василиса Мироновна. — Грешный человек, не любила я ее допреж этого, даже очень не любила.

— А теперь?

— Теперь-то...

Василиса Мироновна немного помолчала, а потом тихо прибавила:

— А теперь, милый человек, она мне вот куда приросла (раскольница показала на сердце). Да... И как это чудно́ все вышло, ума не приложу. Я тебе не рассказывала?.. Так вот послушай. Сидим это мы с Саввой третьева дни, этак под вечер дело, — ну, там за самоваришком калякаем, — под окном кто-то и постучись, да тихо таково, вроде как за милостыней. Я подхожу к окну-то, глянула на улицу, а она там стоит да на меня и смотрит... Таково страшно смотрит, страшно и ласково. Я попервоначалу-то испугалась и отшатнулась даже от окна. Да уж потом сотворила молитву и говорю ей, чтобы в избу шла. А надо тебе сказать, она и в избушке у меня отродясь не бывала... Ну, пустила я ее, а сама все как-то не в себе ровно, так мне неловко даже, совестно как-то. Худенькая такая сама-то, а одежонка-то на ней по-модному, точно облепила всю... А глазенки этак зло, зло смотрят. Я опять, согрешила, подумала про себя, зачем это она в мою избушку пришла. И с чего это я подумала — никакого толку не могу дать. Ну, Савва сидит на лавке, тоже смотрит на гостью волк волком. Знаешь, какой у него разговор-то, — не скоро раскачается... Ну, приговорила я ее все-таки чайку там напиться, закусить, — не гнать же в сам-то деле странного человека. Напилась она чаю, тарантит по-своему, а сама нет-нет — да и скашлянет... Зажгла я свечку, потому на дворе стемнело давно, а она мне и говорит: «Василиса Мироновна, *не гоните меня,* — я останусь у вас ночевать». Только всего и сказала, а сама светленько, светленько таково смотрит на меня, совсем по-ребячьи... Так, понимаешь ты, этим своим одним словом она точно придавила меня, ей-богу!.. И жаль мне ее стало, и совестно сделалось, что раньше-то я так про себя о ней подумала... Покраснела даже, а сама не смею на нее поглядеть. Тут уж у меня сердечушко-то и сказалось... «Ведь живой человек она, — думаю это про себя, — душа в ней, а я, дура, что подумала про нее». И Калина-то вспомнила... Горниц-то у меня не больно много: в пе-

редней избе сама с одной старушкой сплю, а в задней ей и приготовила постельку. Ну, уложила ее спать, а она все щебечет, все ластится, а меня то в жар, то в холод от ее слов бросает. Раскрыла свой чемоданишко, давай мне показывать наряды там свои и книжки... «Вы, говорит, может быть, думаете, что у меня денег нет?» Открыла там боковушку какую-то и показывает: действительно, денег много, пожалуй с полтыщи будет. А она опять мне: «Вы, пожалуйста, не подумайте, Василиса Мироновна, что я эти деньги чем дурным нажила...» Ну, рассказала там про киятры свои и всякое прочее, а я ничего не говорю, потому по ее это хорошо, а по-моему, так куда непригоже...

— Ну, тут и самый этот случай вышел... Ушла я в свою переднюю избу, помолилась и легла. Только лежу я это на лавке, а сама думаю. *«Не гоните меня...»* — так вот и стоит в ушах. Сотворила молитву, стала о другом думать,—нет, нейдет это самое слово из ума, хоть ты што хошь!.. Только слышу, кто-то босиком по сенкам ходит, а потом рукой скобку и ищет... Тихо ночью-то, слышно все. Привстала я, думаю, уж не лихой ли человек. Ну, а она дверь-то и отворила.

— Кто — она?

— Да говорят тебе, Евмения-то... Она самая. Как я ее уложила, в том и пришла: рубашонка одна на ней, босиком... Ну, я и притворилась, что сплю. Думаю, что дальше будет. Вот она огляделась в избе-то, увидала меня и сейчас ко мне. Встала этак возле самой лавочки на коленки, наклонилась надо мной и смотрит. Потом и давай будить: «Василиса Мироновна! Василиса Мироновна!..» Ну, я сделала вид, что проснулась, и спрашиваю: «Что, голубка?.. Может, испить захотела?» Она тут как-то вся даже затряслась, обняла меня, прижалась ко мне к самому лицу и шепчет: «Василиса Мироновна, мне страшно, — я боюсь!» — «Ах ты, говорю, глупая, чего же ты испугалась?» А она мне: «Василиса Мироновна, голубушка, я скоро умру, — страшно мне». — «Чтой-то, говорю, милушка, зачем прежде смерти умирать...» Ну, стала я ее утешать, уговаривать, а она все только головкой качает и заливается-плачет, река рекой... Она плачет, и я плачу, так в два голоса и ревем.

И то мне в диво стало, что уж очень меня ласкает, целует всю, руки даже мои целует... А потом села ко мне на лавку, прислонилась ко мне головушкой и давай рассказывать. Уж так-то она хорошо да складно мне говорила, что и думать, так не придумать... Да ведь хорошо как!.. Тут и вспало мне на ум, что сиротка она, одна-одинешенька... «Ах ты, умница моя, милушка моя», — говорю я ей, а сама каюсь ей про то, как подумала сперва-то. Так мы цельную ночь, обнявшись, и просидели; она у меня на руках тогда и уснула, хорошо так уснула: ручками раскинула, вся точно распустилась, — не как большие спят, а как дите. Ну, я держу ее на руках-то, а сама дохнуть не смею, чтобы не разбудить ее как... Ах ты, господи батюшко, да не девка ли такая уродилась!.. Так ты не поверишь, теперь вот третий день она у меня живет, а я все как во сне брожу, и так мне хорошо, так весело, точно вот она мне родная дочь, да какая дочь!.. Савве после рассказала я, так тот заплакал... И тоже заполонила она его, хоть он и ворчит. Вот поди ты, уродится же такое детище приворотное. А днем-то опять все на голове ходит, да еще вздумает по-своему, по-киятральному представить... Однова так нас напугала, так напугала, — думаем, рехнулась наша девка. Савва-то даже перекрестился... А она как захохочет... Только не жилица она, — печально прибавила Василиса Мироновна. — Дотянет-нет до весны... И Савва-то ведь как ей рад, право! Сидит даве утром и говорит: «А где, говорит, наша богоданная дочка?..»

ЗОЛОТУХА

Очерки приисковой жизни

I

С широкого крыльца паньшинской приисковой конторы, на котором смотритель прииска Бучинский, по хохлацкой привычке, имел обыкновение отдыхать каждое послеобеда с трубкой в зубах, открывался великолепный вид как на весь Паньшинский прииск, так и на окружавшие его Уральские горы. И прииск и горы были «точно поднесены к конторе», по меткому выражению приисковой стряпки Аксиньи.

Уральские горы спускаются в сторону Азии крутыми уступами, изрытыми массой глубоких логов, оврагов и падей. На север от Уральской железной дороги горы начинают подниматься выше, и по дну логов бойко катятся безыменные горные речушки, которые образуют собой живую подвижную сетку. Лозьва и Тура принимают в себя такие горные реки тысячами; речка Панья, на которой расположился Паньшинский прииск, впадает в Туру, предварительно сделав сотни самых мудреных колен, поворотов и извилин. С крыльца приисковой конторы прииск представлял глубокий овраг, сдавленный с обеих сторон довольно высокими лесистыми горками; по самому дну этого лога прихотливыми извивами катится Панья. Вероятно, год назад она совсем была

затянута кустами ивняка, ольхой, смородиной и густой, яркозеленой осокой, а теперь берега ее совсем обнажены, и только кой-где по ним валяются кучи покрасневшего на солнце хвороста, свежие бревна и маленькие поленницы новых дров. Сейчас за конторой, которая занимает пригорок, берега Паньи на протяжении двух верст изрыты на все лады, точно здесь прошел какой-то гигантский крот. Вообще, вся эта масса взрытой без всякого плана и порядка земли походила скорее на слепую работу стихийных сил, чем на результат труда разумно-свободного существа, как определяют человека учебники логики и психологии. По бокам прииска тянутся грядой громадные свалки из верховых пластов, не содержащих золота; желтые валы перемывок, то есть промытого песку, чередуются с глубокими выработками, где добывается золотоносный песок, рядами шурфов, походящих на только что вырытые могилы, и небольшими мутными прудками, которые Панья образовала там и сям по своему теченью. Мутная вода этих прудов при помощи канав и деревянных желобов проведена к самым далеким частям прииска, где поднимаются свои перемывки и свалки. Присутствие людей оживляло всю картину и при ярком солнечном освещении делало ее даже красивой, как проявление самой кипучей человеческой деятельности. Пестрые кучки старателей были рассыпаны по всему прииску, по ним можно было определить положение вашгердов, на которых совершалась промывка песков. В выработках, куда въезжали и выезжали приисковые двухколесные тележки-таратайки, можно было рассмотреть только одни мужские головы, в валеных шляпах и фуражках, а около вашгердов суетилась голосистая пестрая толпа женщин. В глубине прииска, где дорогу Панье загородила невысокая каменистая горка, виднелась довольно сложная золотопромывательная машина; издалека можно было разобрать только ряды стоек и перекладин, водяное колесо и крутой подъем, по которому подвозились на машину пески. Люди, работавшие на машине, казались с крыльца конторы муравьями, а когда на подъем взбиралась таратайка, то лошадь можно было принять за комнатную муху. Рядом с промывкой весело попыхивала паровая машина; из

высокой, тонкой трубы день и ночь валил густой черный дым, застилавший даль темной пеленой.

По бокам прииска, под прикрытием дремучего ельника, лепились старательские балаганы и землянки; кое-где около них курились веселые огоньки и суетились женщины, а в густой зеленой траве, на которой паслись спутанные лошади, мелькали белые детские головки. С внешним миром прииск соединялся извилистой узкой дорогой, которая желтой змейкой взбегала мимо приисковой конторы на крутой увал и сейчас же терялась в смешанном лесу из елей, сосен и пихт. На западе, из-за зубчатой стены хвойного леса, придавленной линией, точно валы темнозеленого моря, поднимались горы все выше и выше; самые дальние из них были окрашены густым серо-фиолетовым цветом. Вся эта картинка прииска была вставлена в темнозеленую раму дремучего хвойного леса, заполонившего все кругом на сотни верст. Гордо поднимали свои пирамидальные вершины столетние, поседевшие ели; воздушными стрелками, как готические башенки, летели прямо в небо молодые бархатные ели, и, широко раскинув свои могучие ветви, светлозелеными шапками поднимались над всем лесом старые листвени. От этого непролазного, угрюмого северного леса веяло первобытной стихийной силой, которую не в состоянии сокрушить ни сорокаградусные морозы, ни трехаршинные снега, ни убийственный северо-восточный ветер, который заставляет деревья поворачивать свои ветви к далекому благословенному югу.

— У нас работа, как вода в котле кипит, — самодовольно говорил Бучинский, любуясь после обеда картиной прииска. — Человек триста работают... Да. Усим хлиб даемо. А сколько пользы государству приносим? Хе-хе!.. Золото... Всем золото треба, все его шукают... пхе! А оно у нас под носом... Пхни рылом землю, вот и золото.

Фома Осипыч, как все хохлы, после обеда впадал в философское настроение и любил побеседовать на тему о государственной пользе. Его круглое прыщеватое лицо с свиными глазками, носом луковицей и длинными казацкими усами подергивалось в эти минуты жирным блеском, и по толстым, отвислым губам блуждала само-

довольная улыбка человека, который не желает ничего лучшего. Кто был Бучинский сам по себе, какими ветрами занесло его на Урал, как он попал на приисковую службу — покрыто мраком неизвестности, а сам он не любил распространяться о своей генеалогии и своем прошлом. На прииске Бучинского не любили, и старатели просто называли его беспалым Фомкой, потому что у него на левой руке недоставало одного пальца.

Жил Бучинский на приисках припеваючи, ел по четыре раза в день, а в хорошую погоду любил бродить по прииску, останавливаясь преимущественно около тех вашгердов, где работали красивые девки. До женского пола Бучинский был необыкновенно падок и не пропускал мимо ни одной смазливой рожицы. По целым часам, бывало, торчит, как индюк, около баб и не уйдет без того, чтобы не щипнуть самую хорошенькую. От баб иногда ему крепко доставалось, но на удары скребками или просто рукой наотмашь Бучинский только жмурился, как закормленный кот, и приговаривал с не оставлявшим его никогда юмором: «А ты, Апроська, побереги руку-то, глупая: пригодится еще».

Приисковая контора только что была поставлена весной и желтела на пригорке своими новыми бревнами и тесовой крышей. Она делилась на две половины. В одной помещалась собственно контора, где жил Бучинский и хранилась касса, а в другой была устроена кухня и людская. Собственно контора одним окном выходила на дорогу, а двумя другими на прииск, так что Бучинский из-за своего письменного стола мог видеть всякого, кто ехал на прииск или с прииска, а также и то, что делалось на прииске. Стены конторы внутри были только что выделаны и еще хранили следы топора, которым с грехом пополам были обтесаны бревна. Пол и потолок были сделаны из расколотых надвое бревен и подровнены как раз настолько, чтобы на полу нога не запиналась о края настланных плах. Желтый мох, которым были законопачены пазы между бревнами, не успел еще завянуть и таращился клочьями, усиками и колючей щетиной; когда по утрам горячее июльское солнце врывалось в окна конторы снопами ослепительных лучей, которые ложились на полу золотыми пятнами и яркими

полосами, веселые зайчики долго и прихотливо перебегали со стены на стену, зажигая золотыми искорками капли свежей смолы, вытоплявшиеся из расщелившихся толстых бревен. Одно окно, как зеленым шатром, было запушено лапистыми ветвями старой ели; солнечные лучи, проходя через живую сетку из зеленых игл, окрашивались особенным желто-зеленым цветом, точно их пропустили сквозь тонко прокованный лист золота.

Обстановка конторы отличалась большой простотой и тем отчаянным беспорядком, какой всюду вносит с собой грубая половина человеческого рода. Сам Бучинский прибавил от себя специально хохлацкую грязь и какой-то особенный запах, который никогда не оставлял его. У самых окон, во всю длину наружной стены, на деревянных козлах были настланы доски и прикрыты толстым серым сукном; это и был письменный стол, около которого торчали два колченогих стула и новенькая табуретка со следами красноватой приисковой глины. На столе смешалась масса предметов в замечательном беспорядке. Можно было подумать, что все эти предметы были высыпаны на стол прямо из мешка, да так и остались в том положении, куда толкнула их сила инерции. Из-под слоя желтой приисковой пыли, рассыпанного табаку, пепла и окурков можно было рассмотреть чернильницу без чернил, несколько железных кружек с красными приисковыми печатями, пустую готовальню, сломанный ящик из-под сигар, коллекцию штуцерных пуль, дробь в мешочке, дробь в коробочке из-под пастилок Виши и дробь, просто рассыпанную по всему столу вместе с пистонами, оборванными пуговицами, обломками сургуча, заржавевшими перьями и тому подобной дрянью, которая неизвестно для чего и как забирается на письменные столы. Кипы счетов и конторских книг были сложены отдельно, под прессом из золотосодержащего кварца; несколько раскрытых книг лежали там и сям в самых отчаянных позах, как только что раздавленные люди с раскинутыми руками.

В углах конторы, сейчас у дверей, были устроены на деревянных козлах две походные кровати; на одной спал Бучинский, а другую занимал я. Около постели Бучинского стояла приисковая касса, то есть железный

сундук, а над постелью, на развешенном по стене тюменском ковре, в красивом беспорядке размещено было разное оружие, начиная с револьвера и кончая бельгийской двухстволкой и заржавевшим турецким кинжалом. Около стен стояло несколько зеленых тагильских сундуков, в которых хранилась вся движимость Бучинского и разный домашний скарб.

II

Мне пришлось провести на Паньшинском прииске в обществе Бучинского несколько недель, и я с особенным удовольствием вспоминаю про это время. Для меня представляла глубокий интерес та живая сила, какой держатся все прииски на Урале, то есть старатели, или, как их перекрестили по новому уставу о золотопромышленности, золотники.

— Старатели... пхе!.. Хочется вам с этими пьяницами дело иметь! — не раз говорил мне Бучинский; он никак не мог понять, что меня могло тянуть к старателям. — Самый проклятый народ... Я говору вам, в высшем градусе безнравственный народ... Да!.. И живут, как свиньи... Им только дай горилки, а тут бери с него все: он вам и золото продаст, и чужую лошадь украдет, и даже собственную жену приведет... Я вам говору!..

— Мне кажется, что о старателях много лишнего говорят.

— Кажется?!. Тэ-тэ-тэ!.. Отто глупая скотына этот Бучинский! Ха-ха... — хриплым смехом залился Бучинский, причем вместо глаз у него образовались две жирные складки кожи. — Я теперь все понимаю... даже до капли все! Пссс... А все никак в свою глупую башку взять не мог. Да вы бы лучше прямо до меня обратились, и я устроил бы все, как ваше сердце желает... Хе-хе!.. Вот у Зайца смачная дивчина есть, у Силы... Знаете «губернатора»? Тэ-тэ-тэ... Да вы уж и без меня успели зацепить лихую дивчину! По глазам вижу... да. А я вам говору по совести: на всем прииске нет лучше губернаторовой Наськи! Да вы ж, наверно, раньше меня все это знаете?..

Разуверять Бучинского в чистоте моих намерений было напрасным трудом: он принадлежал к числу тех заматерелых скептиков, которые судят о всех по самим себе.

Прииск вблизи был совсем не то, чем он казался издали. Свалки, перемывки, выработки, шурфы, канавы, кучи песку и галек — все это напоминало издали работу сумасшедшего, который не стеснялся осуществлением своих диких фантазий, и то, что вырывал в одном месте, сваливал в другом. Нужно было пройти прииск из конца в конец, и только тогда «открывался в этом беспорядке порядок», и вся масса затраченного человеческого труда освещалась разумной мыслью. Точно так же и относительно старателей. Главное впечатление производила необыкновенная пестрота собравшегося здесь народа. И кого-кого только не было на прииске: мастеровые с горных заводов; староверы из глухих лесных деревень по реке Чусовой; случайные гости на прииске — вороняки, то есть переселенцы из Воронежской губернии, которые попали сюда, чтобы заработать себе необходимые деньги на далекий путь в Томскую губернию; несколько десятков башкир, два вогула и та специально приисковая рвань, какую вы встретите на каждом прииске, на всем пространстве от Урала до Великого океана. Этот гулящий, бездомный, разношерстный люд есть порождение бестолковой приисковой жизни и составляет настоящую язву, корень всяческих зол. Стоит раз взглянуть на эти типичные лица и на живописные их лохмотья, чтобы угадать настоящих приисковых волков, которые голодными стаями бродят всю жизнь по приискам.

На первый взгляд кажется, что все эти люди, загнанные сюда, на прииск, со всех концов России одним могучим двигателем — нуждой, бестолково смешались в одну пеструю массу приисковых рабочих, но, вглядываясь внимательнее в кипучую жизнь прииска, мало-помалу выясняешь себе главные основы, на которых держится все. Шаг за шагом обрисовываются невидимые нити, которыми связываются в одно целое отдельные единицы, и, наконец, рельефно выступает основная форма, первичная клеточка, в которую отлилась бесшабашная приисковая жизнь. Эта руководящая нить для

уразумения приисковой жизни заключается в понятии русской артели, которая нашла себе здесь глубокое применение. Без артели русский человек — погибший человек, поэтому артель живет на всех вольных промыслах, в тюрьмах и в монастырях; даже разудалая вольница, ничего не хотевшая знать, кроме своей вольной волюшки, — и та складывалась в разбойничью артель. Если с испокон веку русский человек работал артелью, и грабил артелью, отсиживался по тюрьмам и острогам артелью, то такое широкое применение артельных начал вносило в них, на каждый специальный случай, специальные применения в форме и содержании. Старательская артель, в которую, если позволено так выразиться, выкристаллизовалась приисковая жизнь, решила ту же задачу, какую решают все русские артели, то есть как, при наличности minimum'а благоприятных условий, не только ухитриться просуществовать, но еще выполнить maximum работы.

Было светлое июльское утро, когда я в первый раз спускался от конторы на прииск. Солнце едва показалось из-за линии леса, и в низких местах стояла еще ночная сырость, а кой-где сохранившиеся клочки зеленой травы были покрыты каплями росы. Со стороны леса доносился нестройный птичий концерт: залетные гости короткого северного лета точно хотели удесятерить его радость своими веселыми песнями. В лесу еще стояла ночная прохлада; около балаганов огни едва дымились; по дороге мне попалось несколько таратаек, нагруженных песком. Лошадью правили босоногие мальчишки-подростки, а на одной таратайке кучером сидела курносая рябая девка в красном платье и в желтом, высоко подтыканном сарафане. Я миновал целый ряд глубоких шурфов, при помощи которых производится разведка золота, и направился в ту сторону, где происходила добыча золотоносного песку, то есть к выработке. Из выработки в одном месте выставлялась голова гнедой лошади, а в другом — широкая лысина с остатками мягких русых кудрей. Выработка имела форму глубокой четырехугольной ямы с выемкой на одной стороне; по этой выемке осторожно поднялась гнедая мохнатая лошадка с нагруженной тележкой.

— Кузька! Мотри не балакай с бабами-то подолгу, — крикнул вслед выезжавшей тележке среднего роста широкоплечий старик, лысину которого я заметил еще издали.

Кузька, подросток лет четырнадцати, с бойким загорелым лицом, только взмахнул концом веревочных вожжей и трусцой направился к ближайшему прудку, около которого виднелись два вашгерда.

— Бог на помочь! — поздоровался я со стариком, который рукавом старой пестрядевой рубахи вытирал свое красивое широкое лицо, покрытое каплями крупного пота.

— Мир доро́гой! — весело отозвался старик. — Иди в выработку-то, лопатка и на твою долю найдется... Вон Никита умаялся с утра-то с кайлом играть.

Молодой мужик, длинный, нескладный, с острыми плечами и неприятным худым рябым лицом, только тряхнул спутанными волосами и опять принялся долбить кайлом осыпавшийся слой мокрого песку. Мужики были оба одинаково одеты в синие пестрядевые рубахи и порты, работы одной хозяйки; на ногах были лапти. Дно выработки было покрыто слоем липкой грязи, в одном углу стояла целая лужа мутной воды, на краю лежали свернутый чекмень и узелок с краюхой черного хлеба. Старик закурил коротенькую трубочку, пока я осматривал выработку, и принялся неспешно выбрасывать железной лопаткой скопившиеся турфа, то есть несодержащую золото землю, наверх, прямо на деревянные полати, настланные из досок у самого края выработки. Кузька успел свезти пески на вашгерд и теперь вернулся, чтобы навалить свою таратайку турфами и вывезти их к ближайшей свалке.

— Что, бабы благодарят за гостинец? — спрашивал старик.

— Доводить пора, тятька...

— Без них знаю, что пора. Никита, ты покедова поковыряй здесь, а как я доведу золото, па̀ужинать будем. Вот барину охота поглядеть, как мужики золото добывают. Ну, барин, пойдем к грохоту, старый Заяц все тебе покажет, как на ладонке.

— А тебя как звать? — спрашивал я.

— Меня-то?.. Да Зайцем добрые люди зовут; это вот — мои зайчата, а у грохота сама Зайчиха. Теперь понял? А я тебе покажу все как есть...

Только когда Заяц вылез из своей выработки, я хорошенько рассмотрел его атлетически сложенную фигуру. Ему было пятьдесят с лишком, но это могучее мужицкое тело смотрело еще совсем молодым и могло вынести какую угодно работу. Заметив мой пристальный взгляд, старик с добродушной улыбкой проговорил:

— Что на меня глядишь, барин?

— Да так смотрю: здоровый ты из себя очень.

— Здоровый... Какое уж мое здоровье, барин! Был когда-то Заяц, а теперь одна шкурка осталась... Да. Вот где моя погибель сидит! — проговорил старик, указывая на свои ноги. — Тут Зайцу и конец. Ну, куда он без ног-то, барин?

— А что, разве у тебя болят ноги?

— Я тебе вот что скажу, барин: как теперь станет весна али осень, вода будет ледяная, — шабаш! Как поробил твой Заяц в выработке, пришел в балаган да лег, а встать и невмоготу. Другой раз недели с две Заяц без работы лежит, потому ноги — как деревянные.

— Простудил где-нибудь?

— А слыхал про завод Тагил?

— Как не слыхать.

— Ну, так в этом самом Тагиле есть Медный рудник, вот Заяц там и ножки свои оставил... Это еще когда мы за барином были, так Заяц в огненной работе робил, у обжимочного молота. А в те поры был управителем немец, вот Заяц согрубил немцу, а его, Зайца, за задние ноги да в гору — в рудник, значит. Думал, что оттедова и живой не вылезу... По пояс в ледяной воде робили. Ключи там из горы бегут, студеные ключи!

От выработки до вашгерда было сажен двести с небольшим. У низенькой плотины стоял деревянный ящик, длиной аршина два; один бок этого ящика был вынут, а дно сделано покатым, в несколько уступов. Это была нижняя часть вашгерда, или площадка; сверху она была прикрыта продырявленным железным листом в деревянной раме — это грохот. Площадка и грохот со-

ставляли весь нехитрый прибор, на котором производилась промывка золотоносных песков; на ученом языке горных инженеров этот прибор называется вашгердом.

— Тоже без снасти и клопа не убьешь, — обязательно объяснял мне старый Заяц. — Не больно хитро устроено, а в шапке золота не намоешь.

У вашгерда работали три женщины. Старшая, Зайчиха, высокая старуха в темном платке, набрасывала на грохот пески, которые Кузька сваливал около вашгерда. Две молодых бабы размешивали эти пески по грохоту маленькими железными лопаточками, скребками. По деревянному желобу из прудка была проведена к грохоту вода и падала на песок ровной струей. Когда песок смешивался с водой, частицы глины и мелкого песку относились струей, гальки оставались на грохоте, а золото вместе с черным песочком, шлихами, падало сквозь отверстия грохота прямо на площадку, где и задерживалось маленькими деревянными валиками. Ход всей операции был крайне незамысловат, и достаточно было посмотреть на него в течение пяти минут, чтобы усвоить вполне.

— У меня и семья вся налажена для прииску, — хвалился Заяц, указывая на баб. — Вот молодайка с Парашкой как поворачивают, того гляди грохот изломают.

— Ну, будет тебе зубы-то точить, — заворчала Зайчиха. — Пристали без того...

— Я вправду говорю, — оправдывался старик. — Ну, девоньки, еще маненько навалитесь — и доводить.

Молодая высокая девка с румяным скуластым лицом, которую Заяц назвал Парашкой, по всем приметам принадлежала к семье Зайцев. То же завидное здоровье, веселый взгляд больших карих глаз, приветливая улыбка на красных губах — все говорило, что Парашка была дочь старого Зайца и его баловень. В своем ситцевом розовом сарафане и в такой же рубашке она выглядела настоящей приисковой щеголихой; подвязанный под самые мышки передник плохо скрывал ее могучие юные формы. Неправильное лицо было красиво молодой, здоровой красотой, выращенной прямо под открытым небом, как растут безымен-

ные полевые цветочки, которыми зеленая трава обрызнута, точно драгоценными камнями.

— Это невеста Фомки беспалого, — говорил Заяц, указывая на дочь. — Вот в Филиппов пост свадьбу будем играть. Фомка-то давно на нее губы распустил...

Молодайка, жена Никиты, не принимала участия в общем разговоре, шутках и смехе; как только последние лопатки песку были промыты, она сейчас же бегом убежала в сторону леса, где стоял балаган Зайца. Бледное лицо молодайки с большими голубыми глазами мне показалось очень печальным; губы были сложены сосредоточенно и задумчиво. Видно, не весело доставалась этой женщине приисковая жизнь.

— Ишь, как Лукерья побегла! — удивлялся добродушнейшим образом вслед своей снохе старый Заяц. — Там у нас в балагане еще два зайчонка есть, так вот матка и бегает к ним с работы. Старатели будут, как подрастут.

— А велики?

— Одному парнишке, старшенькому, около зимнего Николы два года будет, — отвечала Зайчиха. — А меньшенький еще матку сосет, всего по третьему месяцу... Здесь на прииске и родился.

— С кем же ребенок остается в балагане, пока мать работает здесь?

— С кем ему оставаться, барин?.. Лежит себе в зыбке, и все тут.

— Да ведь его комары заедят?

— Бывает и такой грех, — соглашался Заяц, вынимая из-под вашгерда щетку и небольшую железную лопаточку, — и комару надо летом чем-нибудь питаться. Ну, гляди, барин, сколько у Зайца золота напрело!.. Сейчас доводить стану.

Старик уменьшил струю, падавшую на грохот, и присел на корточки к площадке. По дну площадки темными полосами расположились шлихи, а в них светлыми искорками желтели крупинки золота. Старик осторожно, засучив рукава, повел щеткой вверх по дну площадки и взмутил воду; струя подхватила часть черного песочка и унесла его с площадки. С каждым движением щетки шлихов оставалось все меньше и

меньше, а через десять минут работы в воде блестело одно золото. При помощи лопаточки Заяц осторожно собрал его все и проговорил:

— Будет не будет полэолотника.

— Мало?

— Из-за хлеба на воду заробим. Потому считай: за золотник нам в конторе дают рубль восемь гривен, а за ползолотника приходится девять гривен... Так? Ну, а мы робим сам-шест, прикинь, сколько на брата придется в полдни.

— По пятиалтынному.

— А мы эту самую битву принимаем с самого солнцовосхода, значит с двух часов, по-вашему... Клади еще двух коней. Пообилось наше золото, видно, чтобы ему пусто было семь раз.

— А раньше лучше шло золото?

— День на день не приходится... В другой раз и два золотника падало за день на грохот, а то и четь золотника.

Старик высыпал золото в сухую тряпочку, высушил его в ней, а потом высыпал в круглую железную кружку с приисковой печатью.

— Бабы, зовите па́ужинать Никиту. Барин, хлеб-соль кушать с нами!

III

Мне часто доводилось бродить по прииску, и я быстро освоился с его пестрым населением. Все старательские артели были устроены, как одна, и носили смешанный семейный характер, сближавший их с кустарным промыслом. Малосильные семьи соединялись по две и по три, а если для артели недоставало одного человека — его прихватывали «на стороне», из тех лишних людей, каких набирается на каждом прииске очень много. Было несколько и таких артелей, члены которых не были связаны никакими родственными узами, а единственно соединились для одной работы. Но последний, повидимому, самый чистый тип артели представлял на прииске исключение, а главным правилом являлась артель-семья, как, например, Зайцы.

Главную массу приисковых рабочих составляли горно-заводские мастеровые и жители лесных деревень гористой части Верхотурского уезда, где почва камениста и неродима; для них было во всех отношениях прямым расчетом работать на приисках семьями. Труд всех членов семьи утилизировался с замечательной последовательностью, и не пропадала даром ни малейшая его крупица. Приисковая тяга не миновала ничьей головы.

— Прежде, как за барином жили, — рассуждал Заяц, — бывало, как погонят мужиков на прииски, так бабы, как коровы, ревели... Потому, известно, каторжная наша приисковая жизнь! Ну, а тут, как объявили волю да зачали по заводам рабочих сбавлять — где робило сорок человек, теперь ставят тридцать, а то и двадцать, — вот мы тут и ухватились за прииски обеими руками... Все-таки с голоду не помрешь. Прежде один мужик маялся на прииске да примал битву, а теперь всей семьей страдуют... И выходит, что наша-то мужицкая воля поровнялась, прямо сказать, с волчьей! Много через это самое золото, барин, наших мужицких слез льется. Вон погляди: бабы в брюхе еще тащат робят на прииски, да так и пойдет с самого первого дня, вроде как колесо: в зыбке старатель комаров кормит-кормит, потом, чуть подрос, — садись на тележку, вози пески, а потом становись к грохоту или полезай в выработку. Еще мужику туды-сюды — оно тяжело, чего говорить, а все мужик — мужик и есть; а вот бабам, тем, пожалуй, и невмоготу в другой раз эти прииски...

Мастеровые — народ обтертый, разговорчивый, одним словом, заводская косточка. Присутствие постороннего человека не только не стесняло заводских артелей, а, напротив, доставляло им большое удовольствие... Это и понятно, потому что к барину, в лице своих служащих и приказчиков, мастеровые привыкли с малых лет. Исключение представляли раскольники, которые на прииске занимали совсем отдельный угол и выглядели особнячком. Познакомиться с жизнью раскольничьих артелей являлось делом очень трудным. Мужики отмалчивались, бабы косились и отплевывались. На самой работе около раскольничьих вашгердов

лежала печать какого-то тяжелого отчуждения и подавленной, скрытой печали; не было слышно песен, не сыпались шутки и прибаутки, без которых не работается русскому человеку. Раскольники из лесных деревень, с реки Чусовой и из Чердынского уезда особенно бросались в глаза и своим костюмом, и полной неприступностью. Мне очень хотелось познакомиться поближе с жизнью этих именно артелей, и счастливый случай свел меня с одной из них.

— Ты чего это к кержакам к нашим повадился? — фамильярно спросила меня однажды наша приисковая стряпка Аксинья, разбитная черноглазая бабенка, вечно щеголявшая в кумачных сарафанах и козловых ботинках.

— Да так... Посмотреть, как работают.

Аксинья молча посмотрела на меня и, показав два ряда, как слоновая кость, зубов, проговорила:

— А они тебя боятся... Думают, что ты не насчет ли золота досматриваешь. Право... Чистые дураки! Я им сколько говорю: барин простой, хороший... Ей-богу, вот сейчас с места не сойти, так и сказала! Ну, а брат-то мой... Видал, чай?

— Это с рыжей бородой?..

Аксинья взглянула на меня исподлобья и, улыбнувшись, кокетливо проговорила:

— Нет, это так... кум. Черт его знает, зачем шатается...

Кум, плотный старик с рыжей бородой, являлся к нам в контору периодически через каждые два дня; он обыкновенно усаживался на пороге кухни и терпеливо дожидался, пока щеголиха кума освободится от своей суеты. Я замечал, что таинственное появление этого рыжего кума всегда совпадало с самым скверным расположением духа Бучинского. Этот почтенный человек раза два совсем утратил свое обычное душевное равновесие и даже вступил с Аксиньей в жестокую перепалку. Нужно сознаться, что победа осталась не на стороне Фомы Осипыча: Аксинья принялась так неистово голосить и так трещала языком — точно свежий блин на каленой сковороде, — что Бучинский счел за самое

лучшее отступить, хотя долго ругался на террасе и в конторе, посылая кума ко всем чертям и желая ему «четырнадцать раз сдохнуть». Очевидно, Аксинья крепко держала в своих руках женолюбивое сердце Бучинского и вполне рассчитывала на свои силы; высокая грудь, румянец во всю щеку, белая, как молоко, шея и неистощимый запас злого веселья заставляли Бучинского сладко жмурить глаза, и он приговаривал в веселую минуту: «Отто пышная бабенка, возьми ее черт!» Кум не жмурил глаз и не считал нужным обнаруживать своих ощущений, но, кажется, на его долю выпала львиная часть в сердце коварной красавицы.

— Ужо, вот придет как-нибудь брат, так я скажу ему, — обещала Аксинья, когда я просил ее познакомить меня с кержаками, то есть с раскольниками.

Брат Аксиньи, который на прииске был известен под уменьшительным именем Гараськи, совсем не походил на свою красивую сестру. Его хилая и тщедушная фигура с вялыми движениями и каким-то серым лицом рядом с сестрой казалась просто жалкой; только в изжелта-серых глазах загорался иногда насмешливый, злой огонек, да широкие губы складывались в неопределенную вызывающую улыбку. В моих глазах Гараська был просто бросовый парень, которому нечего и думать тянуться за настоящим мужиком.

— Это Гараська-то бросовый?! — удивился Бучинский, когда у нас зашла речь о нем. — Да я вам скажу: дайте мне десять старателей, за них одного Гараську не отдам! Да-с.

— Да ведь он же не может работать, как другие старатели?

— Работать... Что такое работать... пхе!.. Лошадь работает, машина работает, вода работает... так? А Гараська — золотой человек. У него голова на плечах, а не капустный вилок, как у других. Знаете, что я вам скажу, — задумчиво прибавил Бучинский: — я не желал бы одной ночи провести вместе с этим Гараськой где-нибудь в лесу...

— Почему так?

Бучинский насосал свою трубку, исчез в облаках дыма и засмеялся.

— Вот вы живете неделю на прииске, и еще год проживете, и все-таки ничего не узнаете, — заговорил он. — На приисках всякий народ есть: разбойник на разбойнике... Да. Вы посмотрите только на ихние рожи: нож в руки, и сейчас на большую дорогу. Ей-богу... А Гараська... Одним словом, я пятнадцать лет служу на приисках, а такого разбойника еще не видал. Он вас среди белого дня зарежет за двугривенный, да еще и зарежет не так, как другие: и концов не найти.

Бучинский любил прибавить для красного словца, и в его словах можно было верить любой половине, но эта характеристика Гараськи произвела на меня впечатление против всякого желания. При каждой встрече с Гараськой слова Бучинского вставали живыми, и мне начинало казаться, что действительно в этом изможденном теле жило что-то особенное, чему не приберешь названия, но что заставляло себя чувствовать. Когда Гараська улыбался, я испытывал неприятное чувство.

— А вам что смотреть у нас? — как-то равнодушно спрашивал Гараська, когда мы от конторы шли к его вашгерду. — Робим, как все другие...

Объяснить прямую цель своих посещений я не желал, а только постарался уверить загадочного парня в полной чистоте своих намерений.

Из выработки подозрительно глянуло на нас широкое и суровое лицо рыжего кума, а около вашгерда молча работали две женщины. Они даже не взглянули в нашу сторону. Одна, помоложе, со следами недавней красоты на помертвелом бледном лице, глухо кашляла; это была, как я узнал после, любовница Гараськи, попавшая на прииски откуда-то из глубины Чердынского уезда. Другая женщина, некрасивая и рябая, с тупым равнодушным лицом, служила живым олицетворением одной мускульной силы, без всяких признаков той сложной внутренней жизни, которая отпечатывается на человеческом лице.

— Ну, теперь видел? — коротко проговорил Гараська, когда мы осмотрели выработку и вашгерд; кум

молчал, как затравленный волк, бабы смотрели в сторону.

— Отчего вас работает всего четверо? — спросил я. — Ведь неудобно.

— Кому как, а нам и так хорошо.

Я заходил несколько раз к Гараське, и эти посещения не привели ни к чему, за исключением того разве, что кум, наконец, расступился и заговорил. Поводом для нашего сближения послужила охота. Кум снизошел даже до того, что обещал когда-нибудь в праздник свозить меня под какую-то Мохнатенькую гору, где дичи водилось видимо-невидимо. Однажды, когда я сидел в выработке кума, до меня донеслись странные звуки: в первую минуту я подумал, что кто-то причитает по покойнике, но потом уже расслушал, что это была песня.

— Ишь, развылась! — строго заметил кум, не страдавший излишней словоохотливостью и болтливостью.

— Кто это поет?

— Да Гараськина Марфутка какую-то пла̀чу все воет... Слышь, в ихней стороне на свадьбе такие песни играют. Марфутка-то чердынская выходит, так к ненастью и тоскует.

— А другая девка заводская?

— Это Ховря-то? А черт ее знает, откудова она... Какая-то бесчувственная, Христос с ней.

Я долго вслушивался в «пла̀чу» Марфутки. Голос у нее был хороший, хотя и надсаженный. Но в словах и в самом мотиве «пла̀чи» было столько безысходной тоски, глухой жалобы и нежной печали!..

Мне ночесь, молодешеньке,
Не спалось да много виделось:
. . . .
С-по лугам, лугам зеленым,
Разлилася вода вешняя,
По крутым красным бережкам,
По желтым песочкам.
Отнесло, отлелеяло
Милу дочь да от матери;
Шла по бережку родна матушка,
С-по круту родимая...
«Воротись, мое дитятко!
Воротись, мое родимое!»

IV

Кум угадал; действительно, Марфутка недаром разливалась в своей плаче: вечером же небо обложилось со всех сторон серыми низкими тучами, точно войлоком, и «замотросил» мелкий дождь «сеногной». Утром картина прииска изменилась до того, что ее трудно было даже узнать сразу. А через три дня все кругом покрылось мутноватой водою и липкой приисковой грязью; песни смолкли, самые веселые лица вытянулись, и все смотрели друг на друга как-то неприязненно, точно это низкое серое небо придавило всех. Всякому было до себя, до своего измокшего, зябнувшего тела. Под этим ненастьем ярко выяснилась самая тяжелая сторона приисковой работы, когда по целым дням приходилось стоять под дождем, чуть не по колена в воде, и самый труд делался вдвое тяжелее. Рабочие походили на мокрых птиц, которые с тупым равнодушием смотрят на свои мокрые, опустившиеся крылья. Женщинам и здесь доставалось тяжелее, чем мужчинам, потому что сарафаны облепляли мокрое тело грязными тряпками, на подолах грязь образовывала широкую кайму, голые ноги и башмаки были покрыты сплошным слоем вязкой красной глины.

Сидеть в конторе в такую погоду, с глазу на глаз с Бучинским, было просто невыносимо. Натянув охотничьи сапоги, я побрел через весь прииск к машине, где рассчитывал посмотреть на работу под прикрытием какого-нибудь навеса или приисковых полатей. Около вашгердов шла молчаливая работа, точно все на кого-то сердились. В выработке Зайца я не заметил старика. Никита работал с каким-то молодым бойким мужиком в заплатанной кумачной рубахе и в рваном татарском азяме; сплющенная, как блин, кожаная фуражка была ухарски сбита на затылок. Загорелое бойкое лицо было не заводского типа.

— А где старый Заяц? — спросил я, подходя к выработке.

— В балагане лежит, — отвечал Никита.

— Обезножил старый Заяц, — прибавил мужик, не

спуская с меня своих больших черных глаз. — А я вот на его место попал...

У вашгерда, где работала Зайчиха со снохою и дочерью, сидел низенький тщедушный старичок с бородкой клинышком. Он равнодушно глянул на меня своими слезившимися глазками, медленно отвернул полу длинного зипуна и достал из-за голенища берестяную табакерку; пока я разговаривал с Зайчихой, он с ожесточением набил табаком свой распухший нос и проговорил, очевидно доканчивая давешний разговор:

— Нет, Матвевна, не тово... не ладно...

— Сделай ты ладнее, сват Сила.

— Нет, не ладно, Матвевна...

— Ну, затвердил одно: не ладно, да не ладно. А кого возьмешь? Работа не ждет, а Заяц третий день в балагане валяется. К ненастью, говорит, спина страсть тосковала, а потом и ноги отнялись. Никита и привел Естю...

— Да ведь Естя-то откуда ваш?

— А кто его знает... Спроси сам, коли надо...

— Видел я его даве: орелко... Нет, Матвевна, не ладно. Ты куда, барин? — спросил меня старик, когда я пошел от вашгерда. — На машину? Ну, нам с тобой по дороге. Прощай, Матвевна. А ты, Лукерья, что не заходишь к нам? Настя и то собиралась к тебе забежать, да ногу повывихнула, надо полагать.

Мы пошли. Старик как-то переваливал на ходу и постоянно передвигал на голове свою высокую войлочную шляпу с растрескавшимися полями; он несколько раз вслух проговорил: «Нет, Матвевна, не ладно... я тебе говорю, не ладно!»

— Что не ладно-то, дедушка? — спросил я.

— Как что?.. Орелка-то видел? Ну и не ладно выходит. Теперь Заяц в балагане лежит, а Естя будет работать. Так? А Лукерья, выходит, мне дочь... да и Паранька-то девчонка молодая. Чужой человек в дому хуже хвори... Теперь понял? Где углядишь за ними. Нет, Матвевна, не ладно! Глаз у этого у Ести круглый, как у уросливой лошади.

— «Губернатору» наше почтение!.. — кричал какой-то мужик с черной бородой, когда мы проходили со стариком мимо одной выработки.

— Будь здоров, Евстрат! — добродушно отозвался старик, приподнимая свою шляпу. — Эх, вода одолела прииск, барин! Теперь ненастье, надо полагать, зарядило ден на пять... верно.

— Тебя зачем «губернатором» зовут, дедушка?

— «Губернатором»-то? А вот заходи как-нибудь ко мне в балаган, так я тебе расскажу все по порядку. Только спроси, где, мол, «губернатор» старается: всякий мальчонок доведет. Ну, прощай, мне сейчас направо идти.

Старик приподнял свою разношенную шляпу и побрел по маленькой дорожке, которая отделилась вправо; шлепая по лужам, «губернатор» несколько раз передвинул шляпу на голове и проговорил не выходившую из его головы фразу: «Нет, Матвевна, не ладно!..»

Золотопромывательная машина вблизи представляла собою подъезд на высоких сваях и главный корпус, где шумело водяное колесо, и маленький шлюз, по которому скатывалась мутная вода. Если около старательских вашгердов земля была изрыта везде, как попало, зато здесь работы велись в строгом порядке, по всем правилам искусства. Прежде всего снят был в несколько правильных уступов верхний пласт земли, турфы, и затем обнаженная золотая россыпь вырабатывалась шаг за шагом, чтобы не оставить в земле ни одной крупицы драгоценного металла. Накоплявшаяся в низких местах вода откачивалась паровой машиной. Для старательского вольного промысла здесь не было места, а работа велась наемными поденщиками. Это и была та приисковая голытьба и рвань, которая не в силах была соединяться в артели, а предпочитала поденщину.

Я пришел к той части машины, где на отлогом деревянном скате скоплялись шлихи и золото. Два штейгера в серых пальто наблюдали за работой машины; у стены, спрятавшись от дождя, сидел какой-то поденщик в одной рубахе и, вздрагивая всем телом, сосал коротенькую трубочку. Он постоянно сплевывал в сторону и сладко жмурил глаза.

— Где бы мне увидать смотрителя машины? — спросил я у штейгера.

— Да вон он торчит... Точно филин, прости господи! — сердито отозвался один из штейгеров, движением головы указывая наверх.

Я поднял голову и несколько мгновений остался в такой позе неподвижно. Наверху, облокотившись на перила подъезда, стоял небольшого роста, коренастый и плотный господин в осеннем порыжелом пальто; его круглая, остриженная под гребенку голова была прикрыта черной шляпой с широкими полями. Он смотрел на меня своими близорукими выпуклыми глазами и улыбался. Нужно было видеть только раз эту странную улыбку, чтобы никогда ее не забыть: так улыбаются только дети и сумасшедшие.

— Да ведь это Ароматов, Стратоник Ермолаич? — проговорил я наконец.

— Здгавствуйте, domine! [1] — весело отозвался господин в осеннем пальто и как-то наотлет приподнял свою широкополую шляпу, причем открылся громадный выпуклый лоб и широкая лысина во всю голову.

Через минуту я имел удовольствие пожать небольшую, всегда холодную руку моего старого знакомого.

— Да ведь я вторую неделю живу на прииске, — говорил я, — как же это мы с вами не встретились до сих пор?

— Очень пгосто, domine... У нас с Бучинским контгы — вот и не встгетились, — добродушно отвечал Ароматов, не выпуская моей руки. — Пгедставьте себе... Однажды Бучинский идет мимо машины, я и кгичу ему: «Фома Осипыч, зайдите ко мне на минутку...» А он мне: «Стгатоник Егмолаич, хлеб за бгюхом не ходит». А я ему: «Извините, Фома Осипыч, я не знал, что вы хлеб, а я бгюхо...» Ну, и газошлись... Ну, да это все пустяки... А мы с вами давненько-таки не видались, domine!.. Позвольте, где это в последний газ я вас встгетил?.. Та-та-та!.. Помните отца Магка? Ведь у него? Да, да...

— Да на прииски-то вы как попали?

— Волею неисповедимых судеб служу специально златому тельцу втогой год... Как же-с! Некотогым об-

---

[1] господин! *(лат.)*

газом. спюспешествуем пгеуспеяниям отечественной пгомышленности, а если пегевести сие на язык пгостых копеек — получаем двадцать гублей жалованья.

Широкое добродушное лицо Ароматова при последних словах точно расцвело от улыбки: около глаз и по щекам лучами разбежались тонкие старческие морщины, рыжеватые усы раздвинулись, и по широким чувственным губам проползла удивительная детская улыбка. Ароматов носил окладистую бородку, которую на подбородке для чего-то выбривал, как это делают чиновники. Черный шелковый галстук сбился набок, открывая сомнительной белизны ситцевую рубашку и часть белой, полной шеи.

— Да, я устгоился по-амегикански и живу настоящим янки, — прибавил Ароматов, как бы в ответ на мой осмотр. — Да вот пойдемте в мою землянку, там все увидите.

Если вообще на Руси странных людей непочатый угол, то, без всякого сомнения, Ароматов принадлежал к числу самых странных, начиная с его детского выговора и сумасшедшей улыбки. Я с ним познакомился совершенно случайно, в глухой деревушке Зауралья, куда нас загнала жестокая зимняя метель. Как теперь вижу Ароматова, как он вошел в избу в волчьем тулупе и без церемоний заговорил своим комически возвышенным слогом: «Извините, если я помешаю вам своим пгисутствием... Но законы пгигоды стоят выше условных пгиличий. Полягным льдам угодно было скопиться в устьях Оби, обгазовалось ггомадное холодное течение, понеслась пугга, и вот мы nolens volens должны познакомиться. Да, человек является только ничтожной единицей в агифметических выкладках пгигоды, но он все-таки не дитя слепого случая.

Ты дхнешь — и двигнешь океаны,
Течешь — и вспять они текут.
А мы?.. одной волной подъяты,
Одной волной поглощены!» —

с неподдельным пафосом продекламировал Ароматов, вылезая из своего тулупа.

— Имею честь гекомендоваться: сопгичислен к лику святых, к колену левитову, — прибавил Ароматов со-

вершенно другим тоном и в первый раз улыбнулся своей сумасшедшей улыбкой. — А тепеþь пгинадлежу к взыскующим ггада.

Кому случалось по целым суткам отсиживаться от зимней метели где-нибудь в мужицкой избе, тот поймет, что Ароматов был для меня настоящей находкой. Он проговорил в течение десяти часов без умолку, пересыпая свою речь цитатами из Белинского, Добролюбова, Писарева, Бокля и Спенсера; несколько раз принимался декламировать стихи Некрасова и передавал в лицах лучшие сцены комедий Островского и Гоголя. Как актер Ароматов был замечательно хорош, но его погубила «проклятая буква р»; колоссальная память и начитанность придавали его разговорам живой интерес, и, что всего занимательнее, он владел счастливой способностью не только схватить, но и передать с замечательным искусством смешные стороны в людях и животных. Пока мы дожидались конца метели, наша изба превратилась в сцену: Ароматов скопировал своего ямщика, старуху, которая пряла нитки, кошку, лакавшую молоко; успел показать, как пьет курица, клюют ерши, как дерутся собаки, представил в лицах кошачий концерт и т. д. Бабы и ребятишки смотрели на Ароматова с разинутыми ртами, а когда он перешел к опытам чревовещания — в ужасе попятились от чуднóго барина и начали даже креститься.

Во второй раз я неожиданно столкнулся с Ароматовым на фабрике одного из уральских заводов, где он фигурировал в качестве простого рабочего. Но тяжелый фабричный труд оказался Ароматову не по силам, и в следующий раз я встретил его уже совершенно в новой роли. Мне нужно было взять из ...ского волостного правления какую-то справку. Захожу в волость и вижу целую толпу людей, которая окружила стол и хохотала, как сумасшедшая. Проталкиваюсь вперед, смотрю — за столом сидит Ароматов и пишет обеими руками: одной — отношение становому, другой — какой-то протокол исправнику. В последний раз мы виделись с Ароматовым у отца Марка; Ароматов служил за псаломщика, пел на клиросе, читал апостол, подавал

кадило. Он объяснил это последнее свое превращение законом наследственности.

— Вот и моя хатка, — проговорил Ароматов, когда мы подходили к какой-то землянке. — Живу как амегиканец... Питаюсь солониной, читаю газеты. Только вот никак не могу пгивыкнуть жевать табак...

— Да для чего вам его жевать?

— Как для чего, domine? Вгемя — деньги, а на кугение табаку сколько его напгасно уходит.

Вход в землянку походил на нору; узкое окошечко из разбитых стекол едва освещало какую-то нору, на которой валялась уже знакомая читателю шуба, заменявшая Ароматову походную постель, столик из обрубка дерева, полочка с книжками и небольшой очаг из булыжника. Трубы не полагалось, и поэтому все кругом было покрыто толстым слоем сажи.

— Живу, как индеец, — объяснял Ароматов, любезно предлагая мне место на волчьей шубе. — Omnia mea mecum porto...[1] Конечно, сначала тгудновато гасстаться с некотогыми пгедгассудками, но энеггия пгежде всего. Это ведь только кажется, что мы не можем обойтись без гогячего обеда, чистого белья, светлого помещения, — я испытал на себе.

— Все это предрассудки по-вашему?

— Совегшенно вегно...

Очевидно, Ароматов находился в периоде американизма и бредил жизнью настоящего янки; на одной стене была повешена четырехугольная картонка, на которой готическими буквами было написано: «Деньги потерял — ничего не потерял; время потерял — много потерял; энергию потерял — все потерял». На другой — такая же картонка с другой надписью: «Time is money»[2]. На полочке с книгами я рассмотрел несколько разрозненных томов Добролюбова и Белинского, папку с бумагами и маленький томик рассказов Брет-Гарта.

— Все-таки, Стратоник Ермолаич, как вы на

---

[1] Все мое ношу с собой... *(лат.)*

[2] Время — деньги *(англ.)*.

приски попали? — спрашивал я, когда Ароматов усердно принялся разводить на своем очаге огонь, чтобы угостить меня вновь изобретенным им кушаньем из провесной свинины с какими-то травами и кореньями.

— Да я же служил в гогном пгавлении в ...ге десять лет, — объяснил Ароматов, наполняя свою конуру густым едким дымом. — Как же... Имею чин титулягного советника. Помните у Некгасова:

Он был титулягный советник,
А она — генегальская дочь...

Ароматов речитативом пропел два куплета и опять принялся раздувать огонь.

— Отчего же вы оставили казенную службу?

— Да не пгиходится... Пока служил в пгавлении — все было хогошо, а как меня командиговали на казенные золотые пгомыслы — все и пошло пгахом... Мне выпало гедкое счастье набить кагманы... Да! На гысаках бы тепегь катался, денег хоть лопатой ггеби!.. Ну, не вытегпел. Нагод ггабят на пгиисках, я и донес в гогный депагтамент, а меня сейчас по шапке.

Ароматов подробно рассказал, как он попался в настоящую «золотую кашу». На казенных приисках шла в то время большая игра: не воровал только тот, кому лень было протянуть руку. Рвали страшные куши, и дележка казенного совершалась в вопиющих размерах. Система этого хищения была выработана с замечательным искусством. Так как устав о золотопромышленности запрещал вести промывку золота старательским «хищническим» способом, то она производилась поденщиной... на бумаге. В сущности все промытое золото добывалось теми же старателями и сдавалось ими в приисковые казенные конторы по 1 р. 70 к., а в книгах все было разложено на поденщину. В результате правительству каждый золотник, намытый этим казенным способом, обходился средним числом в $3^1/_2$—$4^1/_2$ рубля. Разница, которая получалась между платой старателям и показной ценой, достигала почтенной цифры — 2—3 рубля с каждого золотника. Сколько

было нажито на этой незамысловатой операции, покажет приблизительный расчет: на казенных ...ских промыслах добывалось в год золота до тридцати пудов. Воротилы казенных золотых приисков, считая прибыли с каждого золотника по два рубля, с тридцати пудов средним числом, за здорово живешь, получали ни больше ни меньше, как *двести тысяч* рубликов в год. К этому нужно еще прибавить оклады жалованья чиновникам, затем суммы на различные командировки, разведки и комиссии; наконец практиковался самый простой способ обкрадывания мелких служащих: маленькая чинушка расписывалась в получении двадцати пяти или тридцати рублей жалованья, а в действительности получала всего десять, пятнадцать рублей. Наконец записывалось жалованье мифическим служащим, существовавшим только на бумаге; спекулировали на провианте, который запасался рабочим, и т. д. Одним словом, велась крупная игра вкруговую, где «рука руку мыла». Донос какого-то Ароматова, конечно, канул в реку забвения вместе с его автором.

— А на частных промыслах разве лучше? — спрашивал я Ароматова, который теперь сидел пред огнем на корточках и кулаком протирал глаза; я, в ожидании американского кушанья, тоже задыхался от густого дыма и принужден был несколько раз выходить из землянки, чтобы дохнуть свежим воздухом.

— На частных пгомыслах по кгайней меге есть впегеди выход, — объяснял чудак. — Погодите, всем будет хогошо...

— Когда?

Ароматов повернул ко мне свое вспотевшее лицо, покрытое сажей, и с детской уверенностью сумасшедшего человека проговорил:

— А вот когда устгоим все по-амегикански... Вы не смейтесь, domine. У меня в голове иногда действительно немного ум за газум заходит, а все-таки нужно «совлечь с себя ветхого человека» и жить по-амегикански. По-моему, Госсия и Амегика очень походят дгуг на дгуга. Это две молодые цивилизации, пгямая задача котогых выгаботать новые фогмы жизни.

Новое американское кушанье вкусом походило на спартанскую похлебку, и мне стоило большого труда отказаться от удовольствия проглотить его целую кружку.

V

Однажды, после обеда, когда я с книгой в руках лежал в своем уголке, послышался грохот подъехавшего к конторе экипажа. Не успел я подняться навстречу подъехавшим гостям, как в дверях показался небольшого роста господин в черной фрачной паре, смятой сорочке, без галстука и с фуражкой на затылке.

— Карнаухов — пьяница... вверрно!.. Дда, Лука Карнаухов величайший пьяница из всех рожденных женами. А все-таки Карнаухов честный человек... Федя! ведь мы с тобой честные человеки?

— Точно так-с, ваше высокоблагородие, — по-солдатски ответил сухой вытянутый старик; в дверях виднелась одна его голова в какой-то поповской шляпе.

— Высокоблагородие... хе-хе! — продолжал Карнаухов, пошатываясь на своих коротеньких и кривых ножках. — А ежели разобрать, Федя, так мы с тобой выходим порядочные подлецы... Ведь подлецы?..

— Никак нет-с...

— Ну, ин будь по-твоему: честные подлецы!.. Хха!.. Ах, черт тебя возьми, Федя!.. Вчера пили коньяк на Любезном, у этого эфиопа Тишки Безматерных, так? Третьего дня пили шампанское у доктора Поднебесного... так? Ну, сегодня проваландаемся у Бучинского... так? А завтра... Федя, ну куда мы с тобой завтра денемся?..

— Вы хотели, ваше высокоблагородие, побывать на Майне.

— Это у Синицына? У разбойника?!. Ну нет, шалишь: Лука Карнаухов к Синицыну не поедет, хоть проведи он от Паньшина до Майны реку из шампанского... На лодке по шампанскому вези — и то не

поеду! Понял? Синицын — вор... Ты чего это моргаешь?

Федя, седой сухой старик, только пожал широкими острыми плечами и молча кивнул в мою сторону своей по-солдатски подстриженной головой. В переводе этот жест означал: «Чужой человек здесь, ваше высокоблагородие...» Карнаухов посмотрел в мою сторону воспаленными голубыми глазками и, балансируя, направился ко мне с протянутой рукой.

— А, здравствуйте, батенька! — заговорил он таким тоном, точно мы вчера с ним расстались. — А я вас и не заметил... извините... А мы вчера у Безматерных с дьяконом Органовым сошлись... Вот уж поистине: гора с горой не сходится, а пьяница с пьяницей всегда сойдутся. Ну, и устроили, я вам скажу, такое попоище, такой водопой!.. Ха-ха!.. Доктора Поднебесного знаете? В окно выскочил да в лес... Совсем осатанел от четырехдневного пьянства... Спасибо, вот Федя поймал, а то бы наш доктор где-нибудь в шахте непременно утонул. Ей-богу!..

Карнаухов остановился, неверным движением поправил спутанные волосы на голове, улыбнулся и тоном не совсем проснувшегося человека проговорил:

— Послушайте, вы к Синицыну не ездите. Синицын — вор...

— Не пойман — не вор, ваше высокоблагородие! — коротко заметил Федя, поправляя широчайшей ручищей выцветший лацкан своей охотничьей куртки.

— Нет, братику, вор! — настаивал Карнаухов, напрасно стараясь попасть рукой в карман расстегнутого жилета, из которого болталась оборванная цепочка. — Ну, да черт с ним, с твоим Синицыным... А мы лучше соборне отправимся куда-нибудь: я, Тишка, доктор, дьякон Органов... Вот пьет человек! Как в яму, так и льет рюмку за рюмкой! Ведь это, черт его возьми, игра природы!.. Что ж это я вам вру! Позвольте отрекомендоваться прежде: Лука Карнаухов, хозяин Паньшинского прииска...

Заметив мой вопросительный взгляд, Карнаухов торопливо заговорил:

— Да, собственно, прииск принадлежит Миропее Самоделкиной, только Миропея-то Самоделкина принадлежит мне, яко моя законная жена... Теперь поняли? Еще в «Belle Hélène» [1] есть такой куплет:

Я муж царицы,
Я муж царицы...

Ах, черт возьми!.. Моя Миропея так же походит на Елену, как уксус на колесо... Ха-ха!.. А мы все-таки, батенька, поедем с вами... Федя, ведь поедем?

— Соснуть бы, ваше высокоблагородие! Три ночи не сыпáли.

— По-твоему, значит, я должен удалиться в объятия Морфея?

Федя вместо ответа разостлал на постели Бучинского потертый персидский ковер и положил дорожную кожаную подушку; Карнаухов нетвердой походкой перебрался до приготовленной постели и, как был, комом повалился взъерошенной головой в подушку. Федя осторожно накрыл барина пестрым байковым одеялом и на цыпочках вышел из комнаты. Когда дверь за ним затворилась, Карнаухов выглянул из-под одеяла и с пьяной гримасой, подмигивая, проговорил:

— Видели этого дурака, Федьку-то? Ведь дурак по всем трем измерениям, а моя-то благоверная надеется на него... Ха-ха!.. На улице жар нестерпимый, уши жжет, а он меня байковым одеялом накрыл. Как есть, двояковыпуклый дурень!

Карнаухов весело и как-то по-детски хихикнул, взмахнул короткими ручками, как собирающаяся взлететь на забор курица, и после небольшой паузы опять заговорил:

— Послушайте... Есть двоякого рода подлецы: подлецы чистейшей воды, как Синицын или Бучинский, и подлецы честные, как ваш покорный слуга, Лука Карнаухов, муж Самоделкиной... Ну, скажите ради бога, что это такое: муж купчихи Миропеи Самоделкиной?.. Я теперь послан в ссылку некоторым образом, а Федька изображает цербера... Ведь я образование высшее по-

[1] «Прекрасная Елена» *(франц.)*.

лучил, голубчик! Как же, думал даже пользу человечеству приносить! Миропея Самоделкина... Тьфу!.. Послушайте, однако, вы за кого меня считаете? Ну, сознайтесь, ведь подумали: «Вот, мол, дурак этот Лука, сроду таких не видал...», а?

Не дожидаясь ответа, Карнаухов боязливо посмотрел на входную дверь и с поспешностью нашалившего школьника нырнул под свое одеяло. Такой маневр оказался нелишним, потому что дверь в контору приотворилась и в ней показалась усатая голова Феди. Убедившись, что барин спит, голова скрылась. Карнаухов действительно уже спал, как зарезанный.

Погода к вечеру разгулялась; по синему небу белыми шапками плыли вереницы облаков; лес и трава блестели самыми свежими цветами. Природа точно обновилась под дождем и расцветала всеми своими красками. Федя сидел на крылечке и от нечего делать покуривал из коротенькой пенковой трубочки. Его потемневшее сморщенное лицо точно застыло в степенном, выжидающем выражении, как это бывает только у хороших собак и старых слуг. В тупом взгляде небольших серых глаз, в уверенной улыбке, в каждом движении чувствовалось какое-то обидное холопское самодовольство. На пороге кухни сидел рыжий «кум», а напротив него, брюхом на зеленой траве, с соломинкой в зубах, лежал Гараська. Все трое молчали, но в выражении лиц и взглядов можно было заметить скрытую, глухую злобу. Застарелый холоп ненавидел всеми силами своей души этих вольных людей, как собака ненавидит волков.

— Ну, чего вы чертями-то сидите? — не вытерпел, наконец, старик, когда я вышел на крыльцо. — Видите, барин вышел, ну, шапочку бы сняли. Ах вы, чертоломы! Ведь с поклону голова не отвалится.

— А ты вот что, милый человек, — растягивая слова, заговорил Гараська своим тенором. — Мы не к тебе пришли, чего ты шеперишься!.. Мы к Фоме Осиповичу.

— «К Фоме Осиповичу»... — передразнил Федя, сердито сплевывая на сторону. — Знаем мы вас... Не велик еще в перьях-то ваш Фома Осипыч!.. Избаловал он вас, вот что!

— Да ты нешто с того свету пришел, дедушка, чего больно ругаешься-то?.. Мотри, к ненастью...

— А то и ругаюсь, что насквозь вас вижу, всех до единого человека. Все ваши качества вижу.

Наступило принужденное молчание. Со стороны прииска, по тропам и дорожкам, брели старатели с кружками в руках: это был час приема золота в конторе. В числе других подошел, прихрамывая, старый Заяц, а немного погодя показался и сам «губернатор». Федя встречал подходивших старателей самыми злобными взглядами и как-то забавно фукал носом, точно старый кот. Бучинского не было в конторе, и старатели расположились против крыльца живописными группами, по два и по три человека.

— На Майне богатое золото идет, — говорил мужик с окладистой черной бородой. — Сказывают, старую свалку стали промывать, так, слышь, со ста пудов песку по золотнику падает.

— Но-о? — отозвался «губернатор».

— Верно.

— Вишь ты... а?!. Старую свалку, говоришь?

— Да... Хотели пробу сделать, а тут богачество.

— Ла-адно...

— У майновских-то золотников золото в сапогах родится, — ядовито заметил Федя. — Знаем мы, какую на Майне свалку моют... У Синицына, ежели он захочет, золото из глины полезет. Варнаки вы все, вот что я вам скажу! — неожиданно заключил Федя, бросая вызывающие взгляды.

Старатели переглянулись; послышался сдержанный смех. От толпы отделился «губернатор» и неторопливым мужицким шагом подошел к самому крыльцу.

— А ты видал, в каких сапогах майновские-то золотники ходят? — спрашивал старик, не спуская глаз с Феди.

— Вы только послушайте ихний воровской разговор, — обратился Федя ко мне, не отвечая на вопрос «губернатора». — Спроста слова не скажут... У них и язык свой, как у цыган.

— Ну-ну, дедко, скажи-ка по-нашему-то? — спрашивал из толпы бойкий парень в кумачной рубахе. — Гляжу я на тебя, больно ты лют хвастать-то...

— «Принеси мне смолы два, заноза в лесу», — проговорил Федя, опять обращаясь ко мне. — Поняли?

— Нет.

— Ну, а они понимают. Ведь понимаете? — обратился Федя победоносно к толпе старателей.

— А что это значит? — спросил я.

— Принеси фунт золота, лошадь в лесу... — объяснил Федя. — Золотник по-ихнему — *три,* фунт — *два,* пуд — *один;* золото — *смола,* полштоф — *притачка,* лошадь — *заноза...* Теперь, ежели взять по-настоящему, какой это народ? Разве это крестьянин, который землю пашет, али там мещанин, мастеровой?.. У них у всех одна вера: сколько украл, столько и пожил. Будто тоже золото принесли, а поглядеть, так один золотник несут в контору, а два на сторону. Волки, так волки и есть, куда их ни повороти!..

— Ты чего тут ругаешься, Федя? — спрашивал Бучинский, подходя к нашему крыльцу с прииска.

— Да вот, Фома Осипыч, любуюсь на ваших золотников, — отвечал Федя, вытягиваясь во фронт. — Настоящая семая рота.

Бучинский засмеялся и прошел в контору; что хотел сказать Федя последним сравнением, так и осталось неизвестным. Старатели один за другим побрели в контору, а Федя, осторожно оглянувшись кругом, прошептал:

— Этого Фомку беспалого, сударь, мало повесить.

— Как так?

— Да уж так-с... Конечно, барин не занимается приисками, а барыня, Миропея Кононовна, по своему женскому малодушию ничего даже не понимают. Правду нужно говорить, сударь... Так Фомка-то всем и верховодит: половину барыне, а половину себе. Ей-богу!.. Обошел, пес, барыню и знать ничего не хочет. А дело нечисто... Я вам говорю. Слышали про Синицына-то, что даве барин говорил? Все как есть одна истинная правда: вместе с Фомкой воруют.

В это время в дверях показался старый Заяц.

— Ну что, как дела? — спросил я его.

— Не спрашивай, барин... — глухо ответил старик и махнул рукой.

— Что так? Плохо золото идет?

— Нет, золото ничего... Заходи как-нибудь к нам в балаган, покалякаем. А я неделю без ног вылежал... Ох-хо-хо!..

VI

Трудно себе представить что-нибудь оригинальнее уральской летней ночи. Внизу сгустился мрак, и черные тени залегли по глубоким лугам; горы и лес слились в темные сплошные массы; а вверху, в голубом небе, как алмазная пыль, фосфорическим светом горят неисчислимые миры. Прииск потонул в густом белом тумане, точно залитый молоком; огни у старательских балаганов потухли, и только где-где глянет сквозь ночную мглу красная яркая точка. Слышно, как бродят по траве спутанные лошади; где-то залаяла собака; бестолково шарахнулась в застывшем воздухе птица и камнем пала в траву. Месяц бледным серпом выплыл из-за горы, и от него потянулись во все стороны длинные серебряные нити; теперь вершины леса обрисовались резкими контурами, и стрелки елей кажутся воздушными башенками скрытого в земле готического здания. Но вот далеко-далеко из тумана встала проголосная русская песня и полилась по всему прииску:

Между го-ор-то было да Енисейских гор,
Раздается его томный глас...

— И песня-то разбойничья! — проговорил Федя.

— Как разбойничья?

— Да так — разбойничья, и все тут. Сложил эту песню разбойник Светлов, когда по Енисейским горам скрывался. Одно слово: разбойничья песня, ее по всем приискам поют. Этот самый Светлов был силищи непомерной, вроде как медведь. Медные пятаки пальцами свертывал, подковы, как крендели, ломал. Да... А только Светлов ни единой человеческой души не загубил, разбоем одним промышлял.

Мы долго сидели молча, прислушиваясь к заунывному мотиву разбойничьей песни. Я раскурил папироску.

— А позвольте узнать, сударь, — заговорил Федя, — из какого дерева у вас портсигар?

— Кажется, из ореха.

— Так-с... Из ореха.

Федя немного помолчал, затем, вздохнув всей грудью, заговорил каким-то изменившимся, слащавым голосом:

— Эх, сударь, что этого ореха в нашей Владимирской губернии растет... Ей-богу! А вишенье? А сливы? Чего проще, кажется, огурец... Такое ему и название: огурец — огурец и есть. А возьмите здешний огурец или наш — муромский. Церемония одна, а вкус другой. Здесь какие места, сударь: горы, болотина, рамень... А у нас-то, господи-батюшко! помирать не надо! И народ совсем особенный здесь, сударь, — ужасный народ! Потому как она, эта самая Сибирь, подошла — всему конец. Ей-богу!..

— А ты давно сюда попал?

— Я-то?.. Да считать, так все тридцать лет насчитаешь. Да-с. Глупость была... Попервоначалу-то я, значит, промышлял в Москве. Эх, Москва-матушка! Было пожито, было погуляно — всячины было! Половым я жил в трактире, а барину своему оброк высылал. А надо вам сказать, что смолоду силища во мне была невероятная... Она меня и в Сибирь завела. Да... Видите ли, как это самое дело вышло. Вы слыхали про Неуеденова?

— Нет.

— Ну, да где же и слыхать! — с самодовольной улыбкой проговорил Федя. — Вас еще тогда, может, и на свете не было. Это еще до Крымской войны, сударь, было дело. Так вот-с, этот самый купец Неуеденов и повадился в наш трактир ходить. Так-с. Из себя невелик, а в крыльцах широк, и рука у него тяжелая. Хорошо. Вот ходит он к нам в трактир и все как быдто на меня поглядывает. Раз этак смотрел-смотрел на меня, да и говорит: «А что, Федя, сила у тебя есть?» — «Есть, говорю, ваше степенство, маленькая силенка.

Десятипудовые сундуки в третий этаж на собственной спине подымаю». — «Так, говорит. А хочешь, говорит, со мной силой попробовать: одолеешь — тебе десять рублей, не одолеешь — бог простит». Забавно мне это показалось, потому, думаю про себя, что возьму я его со всем потрохом и в окно выкину. Ей-богу! Бывалое дело, не такие столбы ломил... Ну-с, снял он с себя сюртучок, полотенце через плечо и давай бороться. Что бы вы думали! Ходили-ходили мы, ка-ак он меня хлопнет под коленку, да оземь... У меня свет из глаз! Ну, посмеялся он тогда, угостил водкой и говорит: «А ты мне, Федя, понравился; хочешь ко мне на службу поступить — жалованьем не обижу». То, се — и уговорил меня ехать с ним на Урал, а зачем — не сказал. Ну, собрались мы и але марш в дорогу. Тогда этих железных дорог и в помине не было; мы по зиме и махнули. Приезжаем мы на Урал, в Екатеринбурге наняли избушку и живем, а мой купец и говорит: «Ну, Федя, теперь торговать будем...» Смеется. «Чем?» — спрашиваю. «Краденым золотом», — говорит. Как это самое слово сказал он, так меня даже в пот ударило. Думаю: пропала моя голова, не видать мне ни дна ни покрышки. Ведь по тогдашним временам за эти дела по «зеленой улице» да в каторгу. Понимаете, сударь, я от этих самых мыслей и сна и пищи решился. Похудел даже из себя; а потом прихожу к своему купцу и говорю: «Ваше степенство, как хошь, а я тебе не слуга... Поищи другова». Опять смеется. «Испугался, Федя?» — спрашивает. «Точно так», — говорю. «Ну, так, говорит, не бойся. Только, говорит, что я тебе скажу: было бы шито и крыто, а то я тебе так завяжу язык, что и ворон костей не найдет». И что бы вы думали! Ведь этот самый купец Неуеденов был совсем не купец, а *вывороченный сюртук*.

— То есть как: вывороченный сюртук?

— Ну, фискал, значит; а фамилия ему Суставов, Аркадий Павлыч. Из дворян был, из настоящих, а тут его и послали на Урал хищников обследовать. Ведь в те поры, хошь оно и строгий закон был, а золотом торговали, как все равно крупой. Открыто торговали... Хорошо. Вот мы и стали жить да поживать в Екатерин-

бурге, а сами дела эти хищнические разведывали. Скупали золото кой у кого из богатых мужиков, а Аркадий Павлыч все в книжечку да в книжечку записывают. Ейбогу!.. Сколько эта книжечка после горя да слез принесла, что и думать, так не придумать! На Березовских золотых приисках много народу попалось, в Уктусе, в Шарташе... В Шарташе-то нас чуть и не покончили с Аркадий Павлычем. Народ живет тут самый закоснелый, раскольники с испокон веку. Ну, проведали они про нас что али так хотели покорыстоваться скупленным золотом, только едем этак в ночь с Аркадий Павлычем — иноходчик у него был гнеденький, — ну, катим, как по маслу, а тут — пых, со стороны из ружья! А впереди двое на вершной стоят и ждут. Тут нам и сила наша пригодилась: как поровнялись верховые — сейчас из стороны трое и прямо в сани. Только и силен был Аркадий Павлыч! Как мы зачали их, еретиков, поворачивать — вдвоем пятерых, как гнилую картошку, раскатали, только шерсть полетела. Так господь и отнес беду, а то шабаш: кунчал голова! Пожили мы тогда в Екатеринбурге долго ли, коротко ли, а потом Аркадий Павлыч и говорит: «Ну, теперь мы с тобой в самое гнездо поедем, откуда это золото идет». И точно, этак по зиме склались на саночки — и марш на заводы. Первым делом в Касли... Тут даже совсем открыто торговали золотом, безо всякой обережи. Даже бабы торговали. Ну, мы и ходим по избам да покупаем, а Аркадий Павлыч придет куда в избу да перстеньком на окошке в стекле и оставит заметочку, значит в перстне-то брильянт был, так он брильянтом-то и запишет, сколько этого золота купили и когда, а книжка — само собой... Из Каслей проехали на Миас, тут уж совсем лафа подошла: в деревне Надыровой у одного башкира мы купили пуд пять фунтов золота-то. Вон оно куда пошло... Да. А потом, сударь мой, поехали мы под Петропавловск, к Троицку, — везде работишка была; Аркадий Павлыч пишет да пишет перстеньком своим. Ну-с, как обделали мы всех этих подлецов, Аркадий Павлыч сейчас бумагу в Петербург, а потом и давай по книжечке всех ловить... Ведь несколько сот человек тогда влетело по золоту! А что было по заводам —

страсти господни! Так ревмя и ревет народ. Одних баб сколько забрали... Ну, обнаковенно, всех этих подлецов привезли в Екатеринбург, давай судить, а потом мужиков повели по «зеленой улице» да в каторгу, а баб плетями. Такой страх тогда был, такой вой да рев, что и не рассказать... А в заводах так совсем даже пусто сделалось после этого, сразу захудали. И теперь еще поют по заводам песню, которую тогда по этому случаю сложили:

Уж ты сад ли, мой сад, сад зеленый виноград,
От чего ты, сад, повял?

А потом я женился, ну и пришлось остаться здесь, — закончил свой рассказ Федя. — Аркадий-то Павлыч приглашал меня в Петербург, да я не поехал тогда. Тут подвернулся генерал Карнаухов... Может, слыхали?

— Да, слыхал.

— Как же не слыхать, первеющий анжинер был по всему Уралу. Лука-то Василич, теперешний барин мой, сынком им приходится, и тоже в анжинерах. Только супротив родителя куды — не та церемония. Генерал-то жил князь князем. Прежде ведь анжинеры были первое дело; не то, что по-теперешнему, с позволения сказать, всякая шваль лезет в господа. Лука-то Василич уж очень просты, гонору в них совсем нет, а ведь дворянское дите. Я ведь их сызмальства выхаживал и, можно сказать, привесился к ихнему характеру вполне-с. Теперь вот эта ихняя слабость к водке много преферансу убавляет: как барин закурил — сейчас на прииска, да здесь и хороводятся недели две-три. А какой народ на приисках? Сами знаете. Конечно, доктора Поднебесного взять — уважительный человек, а остальные... Охо-хо-хо! Что и будет, сударь!.. Везде купец силу забрал, а настоящему барину житья совсем нет. Возьмите теперь Тишку Безматерных или Синицына — ведь мужичье! Порты да рубаха — и вся тут церемония, а как они настоящими господами ворочают...

Федя задумался, выпустил несколько клубов дыма и печально прибавил:

— Проклятая здесь, сударь, сторона...

— Что так?

— А то как же... Все это проклятое золото мучит всех. Ей-богу! Даже в другой раз ничего не разберешь. Недалеко взять: золотники... Видели? Эх, слабое время пошло. Поймают в золоте, поваландался в суде, а потом на высидку. Да разве мужика, сударь, проймешь этим? Вот бы Аркадия Павлыча послать на нонешние промысла, так мы подтянули бы всех этих варнаков... Да-с.

VII

Среди глубокой ночи, когда все кругом спало мертвым сном, я был разбужен страшным шумом. В первую минуту, спросонья, мне показалось, что горит наша контора и прискакала пожарная команда.

— Гости пожаловали, Фома Осипыч! — докладывал в темноте голос Феди.

— А?.. Чего? Який там бис? — отозвался Бучинский, выскакивая на крыльцо в одном белье. — Го... да тут целая собачья свадьба наехала! — проговорил он сердитым голосом, возвращаясь в контору за сапогами и халатом.

— На двух тройках, сударь, — слышался в темноте голос Феди.

Я поспешил поскорее одеться и вышел на крыльцо. При слабом месячном освещении можно было рассмотреть только две повозки, около которых медленно шевелились человеческие тени. Фонарь, с которым появился Федя около экипажей, освещал слишком небольшое пространство, из которого выставлялись головы тяжело дышавших лошадей и спины двух кучеров.

— Отцы... уморили! Ох, смерть моя!.. — доносился чей-то хриплый голос из глубины одной повозки. — Ослобоните, отцы... Дьякон раздавил совсем... Эй, черт, вставай!..

Я побежал на выручку задавленного и при свете фонаря Феди увидал такую картину: из одной повозки выставлялась лысая громадная голова с свиными узкими глазами и с остатками седых кудрей на жирном в три складки затылке.

— Да где дьякон-то, Тихон Савельич? — спрашивал Федя, тыкая своим кулаком в глубину повозки.

— Ах, отец... да ведь это ты, Федя? — с радостным изумлением проговорила голова. — Тащи его, Феденька, за ноги! Ой! смерть моя... Отцы, тащите дьякона!

На эти отчаянные вопли около повозки собралось человек десять, и длинное тело дьякона Органова, наконец, было извлечено из повозки и положено прямо на траву. Это интересное млекопитающее даже не соблаговолило проснуться, а только еще сильней захрапело.

— Ишь, кашалот какой! — ругался Тихон Савельич, пихая дьякона короткой, толстой, как обрубок, ногой.

— Да как это вас угораздило? — спрашивал кто-то в толпе.

— А черт его знает, как оно вышло... — хрипел Тихон Савельич. — Всё ехали ладно, всё ладно... а тут, надо полагать, я маненичко вздремнул. Только во снях и чувствую, точно на меня чугунную пушку навалили... Ха-ха!.. Ей-богу!.. Спасибо, отцы, ослобонили, а то задавил бы дьякон Тихона Савельича. Поминай как звали!

Покачиваясь на коротеньких ножках, старик, как шар, вкатился на крыльцо. Это заплывшая жиром туша и был знаменитый Тишка Безматерных, славившийся по всему Уралу своими кутежами и безобразиями.

— Синицын здесь, — конфиденциально сообщил мне Федя. — Такая темная копейка — не приведи истинный Христос!..

В дверях конторы я носом к носу столкнулся с доктором; он был в суконной поддевке и в смятой пуховой шляпе. Длинное лицо с массивным носом и седыми бакенбардами делало доктора заметным издали; из-под золотых очков юрким, бегающим взглядом смотрели карие добрые глаза. Из-за испорченных гнилых зубов, как сухой горох, торопливо и беспорядочно сыпались самые шумные фразы.

— Бучинский! Где Бучинский? — неистово кричал доктор. — Голоден, ангел мой, как сорок тысяч младенцев... Ах, извините, ангел мой!.. Доктор Поднебес-

ный, к вашим услугам... Только не дайте умереть с голоду. За одну яичницу отдам тридцать фараонов и одного Бучинского. Господи, да куда же провалился Бучинский? Умираю!

— На Руси с голоду не умирают, доктор, — послышался из конторы чей-то приятный низкий голос с теноровыми нотами.

— Это Синицын говорит! — шепнул мне Федя, втаскивая в контору кипящий самовар.

У письменного стола, заложив ногу за ногу, сидел плотный господин с подстриженной русой бородкой. Высокие сапоги и шведская кожаная куртка придавали ему вид иностранца, но широкое скуластое лицо с густыми сросшимися бровями было, несомненно, настоящего русского склада. Плотно сжатые губы и осторожный режущий взгляд небольших серых глаз придавали этому лицу неприятное выражение: так смотрят хищные птицы, готовясь запустить когти в свою добычу. Может быть, я испытывал предубеждение против Синицына, но в нем все было как-то не так, как в других: чувствовалась какая-то скрытая фальшь, та хитрость, которая не наносит удара прямо, а бьет из-за угла.

Бучинский шустро семенил по конторе и перекатывался из угла в угол, как капля ртути; он успевал отвечать зараз двоим, а третьему рассыпался сухим, дребезжащим смехом, как смеются на сцене плохие комики. Доктор сидел уже за яичницей-глазуньей, которую уписывал за обе щеки с завидным аппетитом; Безматерных сидел в ожидании пунша в углу и глупо хлопал глазами. Только когда в контору вошла Аксинья с кринкой молока, старик ожил и заговорил:

— Здравствуй, Аксиньюшка! Как живешь-можешь? Да подойди сюда ближе, ведь не укушу... Ишь ты, какая гладкая стала, как ямистая репа!

Старик попытался было поймать своей опухшей рукой шуструю бабенку, но та ловко вывернулась из его объятий и убежала на крыльцо.

— Вроде как молонья, раздуй ее горой! — удивился Безматерных, почесывая бок, придавленный дьяконом.

— У Бучинского есть вкус, господа, — прибавил доктор, вытирая губы салфеткой.

— Какой вкус... что вы, господа! — отмахивался Бучинский обеими руками, делая кислую гримасу. — Не самому же мне стряпать?.. Какая-нибудь простая деревенская баба... пхэ!.. Просто из жалости, бабе деваться некуда было.

— Врешь, врешь и врешь! — послышался голос Карнаухова, который успел проснуться и теперь глядел на всех удивленными заспанными глазами. — Вот те и раз... Да откуда это вы, братцы, набрались сюда?.. Ловко!.. Да где это мы... позвольте... на Любезном?

— Попал пальцем в небо... Не узнал своей конторы?..

Взрыв общего смеха заставил Карнаухова прийти в себя, и он добродушно принялся хохотать вместе с другими, забавно дрыгая ногами.

— Вот и отлично! Мы после чая такую цхру сочиним, — провозгласил Безматерных, — чертям будет тошно...

— Я отказываюсь, господа, — заявил Синицын. — Вы дорогой выспались, а я ни в одном глазу.

— Павел Капитоныч, голубчик... одну партию! — умолял доктор.

— Нет, не могу. Не спал...

— Вот и врешь, — кричал Карнаухов. — Я ведь знаю тебя: ты, как заяц, с открытыми глазами спишь. Ну, да черт с тобой, дрыхни! Мы и без тебя обойдемся. Я, Бучинский, доктор, Тихон Савельич — целый угол народу набрался.

Сейчас после чая началась знаменитая «цхра». Бучинский мастерски сдавал карты, постоянно хихикал и громко выкрикивал приличные случаю прибаутки. Мне с Синицыным Федя устроил постели из свежего душистого сена под навесом, где обыкновенно ставили экипажи. Восточная сторона неба уже наливалась молочно-розовым светом, когда мы, пожелав друг другу спокойной ночи, растянулись на своих постелях. Звезды тихо гасли; прииск оставался в тумане, который залил до краев весь лог и белой волной подступал к самой конторе. В просыпавшемся лесу перекликались птичьи голоса; картине недоставало только первого солнечного луча, чтобы она вспыхнула из края в край всеми кра-

сками, цветами и звуками горячего северного летнего дня.

— Завтра вёдро будет, — говорил Синицын, зевая и крестя рот. — Роса густая выпала...

VIII

На другой день, когда я проснулся, солнце стояло уже высоко; Синицына под навесом не было. По энергическим возгласам, доносившимся до меня из отворенной двери конторы, можно было убедиться, что цхра шла полным ходом.

На зеленой лужайке, где стояли экипажи, образовалась интересная группа: на траве, в тени экипажа, лежал, растянувшись во весь свой богатырский рост, дьякон Органов; в своем новеньком азяме, в красной кумачной рубахе с расстегнутым воротом и в желтых кожаных штанах, расшитых шелками, он выглядел настоящим русским богатырем. Молодое лицо, с румянцем во всю щеку, писаными бровями и кудрявой русой бородкой, дышало завидным здоровьем, а рассыпавшиеся по голове русые кудри и большие темносерые соколиные глаза делали дьякона тем разудалым добрым молодцем, о котором в песнях сохнут и тоскуют красные девицы. В головах у дьякона сидел, сложив ноги калачиком, Федя, а в ногах, на корточках, поместился Ароматов. Последний рядом с дьяконом просто был жалок; в руках у него белела перевязанная ленточкой трубочка каких-то бумаг.

— Третью сотню доктор просаживает, — заговорил Федя, пуская кверху тонкие струйки дыма. — Тишка тоже продулся. Бучинский всех обыграет...

— Ну, а твой барин чего смотрит? — отозвался Органов, не поворачивая головы.

— Чего барин... известно!.. — недовольным тоном ответил Федя. — У него одна линия: знай коньяк хлещет, знай хлещет...

Пауза.

— Федя! — каким-то упавшим голосом заговорил Органов, тяжело поворачиваясь на один бок. — Федя, голубчик!..

— Ну?

— Ах, право, какой ты?!. Ведь у меня все нутро выжгло. Рюмочку бы коньячку... а?.. Всего одну рюмочку, Федя... а?

— А черт ли тебе велел лакать столько? — ворчал старик.

— Да ведь нельзя, Федя... Сам знаешь Тишку: пей, хоть расколись! Я теперь второй месяц свету не вижу. Ежели бы они не играли, так хоть обливайся, а теперь жди! Легко это?

Федя укоризненно покачал головой, но поднялся и заковылял в контору.

— Неужели вы не можете жить иначе? — спрашивал Ароматов.

— Да как иначе-то?

— Нужно дело какое-нибудь выбгать и габотать. Вон у вас какое здоговье... А какую вы голь иггаете у Тишки?

— Я-то?.. Ох-хо-хо... — застонал Органов. — Чревоугодие одолело... натура... Понимаешь?.. Главо моя, главо, камо тя преклоню?.. Ты думаешь, мне нравится свое-то свинство? Нет, брат, я сам эту водку презираю... да!..

— А вы сделайте усилие над собой. Ведь стоит только захотеть. Слыхали об амегиканцах? Нужно жить по-амегикански.

— У тебя это какая бумага-то?

— Это... это пгоект, котогый я сегодня господам золотопгомышленникам пгедставлю. Мне пгишла в голову блестящая идея.

Этот интересный разговор был прерван появлением Феди, который осторожно нес налитый до краев дорожный серебряный стаканчик.

— На, лакай.

Органов разом «хлопнул» стаканчик в свою широкую глотку, в которой только зажурчало.

За завтраком, который Аксинья подала на крыльцо, шел очень оживленный разговор о золотопромышленности; Бучинский, Карнаухов и Безматерных продолжали резаться в цхру и не принимали участия в завтраке.

— Ну-с, как ваша канава, доктор? — спрашивал Синицын, прищуривая слегка один глаз.

— Ох, ангел мой! — вздохнул тяжело доктор. — Ведь погубила меня эта канава... Вы представьте себе: она стоит мне восемь тысяч рублей, а теперь закапываю девятую.

— Вольному воля... Для чего вам она?

— Вот милый вопрос... Как для чего? А вода? Ведь воду нужно было отвести, чтобы продолжать работы. У меня на прииске эта проклятая вода, как одиннадцатая египетская казнь.

— Кто же это вам посоветовал рыть именно канаву?

— Да ведь воду нужно отвести?

— Хорошо. Однако какой умный человек посоветовал вам отводить воду именно канавой?

— Своей головой дошел, ангел мой.

— Гм... А не лучше ли было бы поставить три таких паровых машины, как у Бучинского? Ведь они стоили бы не дороже канавы, а в случае окончания работ вы канаву бросите, а машины продали бы.

— Э, ангел мой! Хорошо советовать после времени, когда дело сделано. Нет, вы влезьте-ка в мою кожу.

— Именно?

— Да как же, погубил меня прииск... По уши в долгах, практику растерял, опустился вообще. Ведь это чего-нибудь стоит? Хорошо вам! Вы золото гребете лопатой.

— И у нас всяко бывало.

— Так-с... Ведь у вас старательские работы?

— Да.

— У меня тоже, — глухо проговорил доктор. — Старатели — это органическое зло, это вопрос государственной важности. Они меня вконец зарежут: последние крохи золота тащат с прииска и продают на сторону. Да вот вы посторонний человек, — обратился доктор ко мне: — ну-с, как вы нашли наших старателей?

— Мне кажется, что вы ошибаетесь, доктор.

— Как ошибаюсь? Значит, по-вашему, старателям следует воровать наше золото?

— Нет, я этого не говорю. Но думаю...

— Нет, вы представьте себе, — кричал доктор, не слушая меня и размахивая руками, — чего смотрит правительство... а? У нас на четыреста приисков полагается один горный ревизор... Ну, скажите вы мне, ради самого создателя, может он что-нибудь сделать? О горных исправниках и штейгерах говорить нечего... Нужно радикальное средство, чтобы прекратить зло в самом корне.

— Это средство в ваших руках, доктор, — заметил я. — Вы сколько теперь платите своим старателям за золотник?

— Больше, чем другие: два рубля.

— Назначьте старателям три рубля за золотник, и воровство падет само собой.

— Это невозможно, — певуче заговорил Синицын. — Во-первых, мы платим арендные деньги за землю, во-вторых, вносим государственную пошлину, а самое главное, мы несем страшный риск при переходе от ручной промывки к машинной... Вот вам живой пример — канава доктора.

— Да вы взгляните, ангел мой, взгляните! — патетически воскликнул доктор, указывая на прииск. — Что это такое? Свиньи раскопали...

— Государство несет страшный убыток от старательских работ, — вторил Синицын. — Старатели не добывают из земли и половины всего золота, потому что не могут вести работ в широких размерах. Они не разрабатывают хорошенько россыпей, заваливают турфами лучшие залежи песков и этим загораживают дорогу крупным предпринимателям.

— Да, да!.. — кричал доктор. — Притом старатель, по самой организации своего труда, хищник с ног до головы: он выбирает только лучшие куски, снимает сливки и бросает, чтобы перейти к другим. Старатель может разрабатывать россыпи с содержанием шестьдесят — семьдесят долей золота на сто пудов песку, тогда как в Америке выгодным считается промывать россыпи с содержанием пять долей.

— Это верно, доктор, — согласился я. — Только вы забываете, что в Америке золотопромышленник, самый

мелкий, получает полную цену добытого золота, а ваш старатель довольствуется третью этой цены. Затем, климатические условия в Америке совсем другие, там неизмеримо шире развита промышленность, дешевле капиталы, наконец — предприимчивость янки вошла в пословицу...

— Э, ангел мой, и у нас будет все то же, только при конкуренции старательских работ нам немыслимо поставить дело на вполне рациональных условиях.

Доктор набросал широкую картину золотого промысла «на рациональном основании», которая составлялась из двух частей: собственно приискового хозяйства — заготовка материалов и припасов, своевременная доставка их на прииск — и усовершенствования техники: рельсовые пути для подвозки песков, паровые элеваторы, штанговые и центробежные машины, шурфование при помощи сжатого воздуха. Чтобы окончательно убедить в чудесах золотопромышленной техники, доктор привел пример того, что артель в шесть человек, два мужика и четыре бабы, добывая песок горным, шахто-ортовым способом, едва успевает промыть в день шестьсот пудов, тогда как при открытых работах, разрезом, та же артель свободно промоет целую кубическую сажень песков, то есть тысячу двести пудов.

— Если еще после этого вы... — ораторствовал доктор, но не договорил своей фразы.

К нам незаметно подошел Ароматов и, сняв свою шляпу, униженно раскланивался, прижимая к сердцу свой сверток, как это делают раскланивающиеся с публикой концертные певцы и певицы.

— Вам что угодно? — спросил доктор, не зная, как принять эти поклоны.

— Если, господа, у вас найдется свободная минута... — заговорил Ароматов, продолжая раскланиваться. — Я, конечно, маленький человек... очень маленький... Да вот пгочтите пгоект, господа, там все сказано. Счастливая мысль, очень счастливая мысль.

Синицын сморщил нос и через плечо едва взглянул прищуренными глазами на маленького человека. Для чего Ароматов ломался — я никак не мог понять. Док-

тор взял «проект», развернул несколько листов чисто переписанной бумаги и прочитал выведенный готическими буквами заголовок:

— «Опыт решения социального вопроса по последним данным науки и на основании указаний практики, поскольку он касается всего человечества вообще, русского народа в частности и приисков в особенности...»

Если бы над нашей головой раздался пушечный выстрел, вероятно впечатление получилось бы слабее; доктор с раскрытым ртом вопросительно посмотрел сначала на нас, потом на Ароматова.

— Послушайте, что же вы стоите без шляпы? — заговорил он в смущении. — Да идите сюда... Вот вам стул. Не хотите ли завтракать?

Ароматов, скомкав шляпу подмышкой, каким-то приниженным шагом взошел на крыльцо и продолжал молча отвешивать поклоны; стоило большого труда упросить его взять свободный стул и сесть к столу.

— Чего же вы собственно хотите именно от нас? — спрашивал доктор, не зная, как ему смотреть на нового гостя — как на сумасшедшего или просто как на чудака.

— Я-с собственно ничего не хочу и не могу хотеть, кгоме того, чтобы удостоили своим пгосвещенным вниманием мой пгоектец, — униженно заявлял Ароматов, усаживаясь на самый кончик стула.

Пробежав первые строки рукописи, доктор внимательно посмотрел на автора «Опыта» и опять погрузил свой длинный нос в бумаги. Однако чтение продолжалось недолго: доктор передал рукопись мне, а сам залился неудержимым смехом, как умеют хохотать только очень добрые люди. Как я ни был подготовлен к фокусам Ароматова, но его «Опыт» превзошел самые смелые ожидания: это была невообразимая окрошка из ученых выводов и сентенций, перемешанных с текстами священного писания, стихами Гейне и собственными размышлениями автора. Тут было всего понемножку: и марксовское сравнение капитала со створоженным рабочим временем, и фаланстерии Фурье, и теории Лассаля... Болезненная фантазия Ароматова без разбору нанизывала одно на другое, и в результате получалась

какая-то сумасшедшая мозаика. Синицын полюбопытствовал узнать содержание «Опыта» и, пробежав через мое плечо первую страницу, проговорил:

— Да это социалист, господа...

— Где социалист? Какой социалист? — спрашивал Карнаухов, появляясь в дверях. Заметив Ароматова, он, пошатываясь, подошел к нему и поцеловал в лысину. — Да ты как сюда попал, черт ты этакий?.. Ароматов... тебя ли я вижу?! Господа, рекомендую: это Шекспир... Ей-богу!.. Ароматов, не обращай на них, дураков, внимания, ибо ни один пророк не признается в своем отечестве... Блаженни чистии сердцем... Дай приложиться еще к твоей многоученейшей лысине!..

На эти возгласы Карнаухова из конторы выкатился собственной персоной сам Тихон Савельич; от бессонной ночи и выпитого вина его сыромятное лицо светило каким-то жирным блеском, а глаза были совсем мутны.

— Какого это ты француза поймал? — спрашивал старик Карнаухова, показывая своим, точно обрубленным пальцем на Ароматова.

— Погодите, погодите... Соловья баснями не кормят, — суетился Карнаухов, затаскивая Ароматова в контору. — Ну, брат, прежде всего устроим разрешение вина и елея... Вкушаешь?

— Единую могу...

— Сначала, конечно, единую!

После трех рюмок Ароматов сразу воодушевился и продекламировал несколько куплетов из Беранже; невзыскательная публика аплодировала артисту, а Безматерных фамильярно хлопнул его своей пятерней по плечу и хрипло проговорил:

— Да ты, кошки тебя залягай, из заправских актеров, что ли?

Выпитое вино, общие похвалы и внимание воодушевили Ароматова; он, потирая руки, раскланивался на все стороны, как заправский актер, и по пути скопировал Бучинского, который все время смотрел на него с кислой физиономией.

— Комедиант! — презрительно пожимая плечами, заявил Фома Осипыч. — Которы порядочны чоловик есть, он никогда не позволит себе...

— Давайте, господа, обедать! — предлагал Карнаухов.

Обед был подан на крыльце и состоял всего из двух блюд: русских щей и баранины. Зато в винах недостатка не было, и Карнаухов, в качестве хозяина прииска, одолел всех. Ароматов сидел рядом с хозяином, и на его долю перепало много лишних рюмок, так что, когда встали из-за стола, он несколько раз внимательно пощупал свою лысую голову и скорчил такую гримасу, что все засмеялись.

— Ну что, Шекспир? — спрашивал Карнаухов. — А где у вас дьякон, господа? Вот интересно бы их свести вместе!

— Дьякон спит, ваше высокоблагородие, — докладывал Федя. — Они немного не в себе...

— Господа... устгоимте маленькую сцену! — предлагал расходившийся Ароматов. — Я вам один газыггаю опегу.

При помощи двух досок и стульев устроены были две скамьи для публики, а сцена помещалась в переднем углу. Когда публика заняла места, Ароматов с театральным жестом объявил:

— Господа, внимание, увегтюга!

Ароматов заиграл на губах интродукцию. Кто-то подавленно прыснул, а Безматерных захватил обеими руками свою сыромятную рожу и запыхтел, как локомотив. «Господи, прости нас многогрешных», — захрипел старик, когда Ароматов перешел к первому действию и заходил по комнате театральным шагом Сусанина. Пел он разбитым голосом, но роли выдерживал удивительно; номера из женских партий исполнял фистулой. Странно, что первое смешное впечатление исчезло, когда началась драматическая часть пьесы: этот смешной жалкий чудак умел вдохнуть жизнь в свое паясничество и добавлял жестом и мимикой то, чего не мог передать голосом. Наконец Сусанин погиб; публика готова была зааплодировать актеру, который теперь безмолвно лежал на полу, как настоящий убитый, но он поднимает свою плешивую голову и говорит:

— Тише, господа... сейчас будет похогонный магш.

Ароматов опять растянулся на полу и заиграл марш

на погребение Людовика XIV. Это было уже слишком, и вся публика разлилась дружным хохотом. Безматерных не мог выдержать — выбежал на сцену и хлопнул лежавшего на полу Ароматова ладонью прямо по лысине.

— Подлец! — закричал Ароматов, поднявшись с полу.

— А ты дурак... ха-ха! — заливался Безматерных.

Вместо ответа обезумевший чудак бросился на старика с кулаками; их едва розняли.

— Вы... все... эксплуататогы! — кричал опьяневший от злости Ароматов со слезами на глазах. — Я агтист... я никого не обижал... я... вы обигаете нагод... Пьете чужую кговь!.. газбойники!

— Ох-хо-хо!.. — заливался Безматерных, подставляя ногу неистовствовавшему чудаку. — Ох! горе душам нашим!

— Кговопийцы!.. Вы не золото добываете на пгисках, а кговь человеческую...

С Ароматовым сделался истерический припадок, и его едва могли уложить на постель. Нашатырный спирт и холодные компрессы немного его успокоили, но время от времени он опять начинал плакать и кричать:

— Доктог... я не обидел никого... не смеялся ни над кем... Вот тут, сейчас за стеной... сотни людей мучатся целую жизнь... Женщины... дети, доктог!.. Мой пгоект... та̊м все сказано!

Ароматов с детскими рыданиями упал своей лысой головой в подушку.

— Ох, уморили, отцы... — вздыхал на крыльце Безматерных, вытирая вспотевшую красную рожу бумажным платком. — Ужо дьякону надо отказать, а взять этого... как бишь его... Шекспира... ха-ха!..

Вечером в конторе стояло кромешное пьянство. Ароматов спал на постели Бучинского, его место занимал дьякон Органов.

— Затягивай, дьякон!.. — орал Безматерных, сидя на полу в одной рубахе.

Дьякон встал на середину комнаты, приложил одну руку к щеке, закрыл глаза и ровным бархатным тенором затянул проголосную песню:

Со вечера дождичек,
Поутру-раным туман.
На меня, на девицу,
Пришла скука и печаль...

Хриплым голосом подхватил песню Безматерных, раскачиваясь туловищем в обе стороны; подтянул ее своим фальшивым тенориком Синицын, даже доктор, и тот что-то мычал себе под нос, хотя не мог правильно взять двух нот. Бучинский сидел в углу, верхом на табуретке, и тоже пел, только свою собственную хохлацкую песню:

Ой я нэщастный...
Сполюбив дивчину,
А вона не хоче... не хо-оче!!.

А в открытые окна конторы глядела чудная летняя ночь, насквозь прохваченная легкой изморосью. Туман сгустился на самом дне прииска, вдоль течения Паньи, по обоим берегам которой были навалены недавно срубленные деревья. При колеблющемся свете месяца вся картина прииска грустно настраивала душу. Казалось, что перед глазами раскинулось поле сражения каких-то великанов, покрытое теперь трупами убитых. При неверном месячном свете все предметы принимали фантастические очертания, особенно срубленные деревья. Вот, например, лежит у самой речки громаднейший вояка: очевидно, он горячо гнал врага, но невзначай попал на роковую пулю, да так и растянулся во весь свой богатырский рост, уткнув голову в ночной туман. Немного подальше лежит целый ряд убитых; можно рассмотреть даже отдельные члены: вот бессильно согнутые и застывшие в этом положении ноги, вот судорожно скорченная рука, которою убитый все еще хватается за свою рану... Ближе виднелись две женские фигуры, которые наклонились над чьим-то распростертым трупом. А там, где около старательских балаганов сквозь туман мелькали огни, там раскинулся

стан торжествующих победителей... Воображение дополняло то, чего не мог схватить глаз, и, кажется, в самом воздухе, в этом чудном горном воздухе, напоенном свежестью ночи и ароматом зелени и цветов, — в нем еще стояли подавленные стоны и тяжелые вздохи раненых.

IX

В течение двух дней гости успели настолько надоесть, что я постарался как можно раньше утром уйти на охоту. Погода стояла великолепная, как это бывает только в конце июля на Урале; солнце весело золотило верхушки деревьев и ложилось по траве золотыми колеблющимися пятнами. Брести по высокой густой траве, еще полной ночной свежести, доставляло наслаждение, известное только охотникам; в лесу стояла ночная сырость, насыщенная запахом лесных цветов и свежей смолы. Я люблю северный лес за строгую красоту его девственных линий, за бархатную зелень красавиц-пихт, за торжественную тишину, которая всегда царит в нем. Вообще люблю этот могучий лес-великан, как олицетворение живой стихийной силы.

Особенно хорошо в самом густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. Непривычному человеку тяжело в таком лесу, где мохнатые ветви образуют над головой сплошной свод, а сквозь него только кой-где проглядывают клочья голубого неба. Между древесными стволами, обросшими седым мохом и узорчатыми лишаями, царит вечный полумрак: свесившиеся лапчатые ветви елей и пихт кажутся какими-то гигантскими руками, которые точно нарочно вытянулись, чтобы схватить вас за лицо, пощекотать шею и оставить легкую царапину на память. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы точно идете по ковру, в котором приятно тонут ноги; громадные папоротники, которые топорщатся своими перистыми листьями в разные стороны, придают картине леса сказочно фантастический характер. Прибавьте к этому неверное, слабое освещение, которое, как в каком-нибудь старом готическом здании, падает косыми поло-

сами сверху, точно из окон громадного купола, — и вы получите слабое представление о том лесе, про который народ говорит, что в нем «в небо дыра». Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнопека войдешь в густую тень вековых елей и пихт и кругом охватит мертвая тишина, которой не нарушают даже птичьи голоса. Птицы не любят такого леса и предпочитают держаться по опушкам, около лесных прогалин и в молодых зарослях. В настоящую лесную глушь забираются только белка да пестрый дятел; здесь же по ночам ухает филин и тоскливо надрывается лесная сирота — кукушка. Каждый раз, когда мне приходится бывать в нетронутом настоящем лесу, мною овладевает то самое особенное душевное состояние, которое переживалось еще в детстве, когда случалось с смешанным чувством страха и благоговения проходить по пустой церкви. Лучшие лесные пейзажи, которым удивляется публика на выставках, просто кажутся жалкими по сравнению с вечно подвижной и глубоко поэтической в каждом своем уголке природой.

С Паньшинского прииска мне нужно было взять сначала на лесистую небольшую горку, перевалить через нее и спуститься на увал, который и должен был вывести к безыменной речке, а от этой речки верстах в двух проходила дорога на Майну. По маршруту рыжего кума, чтобы попасть на Мохнатенькую горку, следовало пройти по этой дороге верст пять, а там сделать поворот влево, перейти пять ложков — тут тебе и будет Мохнатенькая. Я так и сделал. До выхода на майновскую дорогу успел убить двух рябчиков, а когда отыскал, наконец, дорогу — солнце было уже высоко. Плестись по пыльной дороге в жар было плохое удовольствие, и я начинал подумывать об отдыхе. В одном месте, где дорога спускалась по глинистому косогору, меня нагнал экипаж Синицына, в котором ехал сам хозяин вместе с доктором; за первой тройкой показалась вторая, нагруженная спавшими телами Безматерных и Карнаухова. Федя сидел на облучке и приподнял весело свою поповскую шляпу; из кузова выставлялись в желтых, сбившихся до колен штанах ноги дьякона Органова.

— Видели? — спрашивал Федя, кивая головой на первый экипаж. — Поистине: связался черт с младенцем... А мы на Майну катим. До свидания, сударь!

Я проводил последний экипаж и свернул по своему маршруту влево; по дну второго ложка весело катился холодный, как лед, ключик. Я выбрал местечко в тени пушистой черемухи и с наслаждением растянулся на зеленой высокой траве, которая встала вокруг меня живой стеной. Красиво колебались в воздухе красные верхушки иван-чая, облепленные шелковистым белым пухом; тут же наливались в траве широкие шапки лесного пахучего шалфея с тысячами маленьких цветочков цвета лежалых старых кружев. Несколько кустов малины приютились около кучки гранитных обломков — бог знает какой силой занесенных в это глухое местечко; над самым ключиком свесила свои липкие побеги молодая верба и несколько кустов черной смородины. Трудно было подобрать уголок красивее, и я с удовольствием отдыхал здесь, прислушиваясь к жужжанью ос и шмелей, которые кружились над головками шалфея. Из лесу доносились голоса каких-то птичек, назвать которых я не умею, — мало ли вольной птицы в лесу, и мне каждый раз бывает как-то больно, когда непременно хотят определять, какая именно птица поет. Бог с ней, пусть себе поет на здоровье! Птицы с названиями всегда напоминают мне занумерованные склянки в аптеках...

— Тятя... а тятя?.. — прокатился по лесу свежий девичий голос.

— Здесь... — глухо отозвался издали мужской голос.

— Заплуталась... тя-я-а-тя!.. Где ты?!.

В десяти шагах от меня из лесу вышла высокая молодая девушка с высоко подтыканным ситцевым сарафаном; кумачный платок сбился на затылок и открывал замечательно красивую голову с шелковыми русыми волосами и карими большими глазами. От ходьбы по лесу лицо разгорелось, губы были полуоткрыты; на белой полной шее блестели стеклянные бусы. Девушка заметила меня, остановилась и с вызывающей

улыбкой смотрела прямо в глаза, прикрывая передником берестяную коробку с свежей малиной.

— «Губернаторова» Настасья? — невольно проговорил я, любуясь первой приисковой красавицей.

— А ты как меня знаешь?

— Да так...

Девушка весело засмеялась, беззаботно тряхнула головой и быстро исчезла в густой траве. Я побрел за ней, чтобы узнать, что мог делать старый Сила так далеко от Паньшинского прииска. Мне пришлось сделать всего сажен полтораста, как открылся покатый лог; сквозь редкие сосны я издали увидел «губернатора». Старик по грудь стоял в какой-то яме, которая имела форму могилы; очевидно, Сила шурфовал — то есть разыскивал золото. Настасья стояла уже около шурфа и бойко работала железной лопатой, отбрасывая в сторону снятые турфы.

— Бог нà помочь, — проговорил я.

— Спасибо на добром слове, — отозвался старик. — За охотой пошел? Ну, рыбка да рябки — потеряй деньки... Под Мохнатенькой видел я тетеревят гнезда с три.

— Шурфуешь, дедушка?

— Да, ковыряю задарма землю, — неохотно отвечал «губернатор», с легким покряхтыванием принимаясь копать землю кайлом. — Тоже вот, как твое дело — охота пуще неволи, а бросить жаль.

— Тятя, обедать пора! — проговорила Настасья. — Я вон малины набрала к обеду...

— Вот это люблю, — весело отозвался Сила, — а то на стариковские-то зубы один аржаной хлеб и не тово...

— У меня есть два рябчика, можно их зажарить, — предложил я.

— А сам-то как?

— Еще убью...

Старик недоверчиво посмотрел на меня, а потом как-то нехотя принялся собирать хворост для огня; Настасья помогала отцу с той особенной грацией в движениях, какую придает сознание собственной красоты. Через десять минут пылал около шурфа большой огонь, и рябчики были закопаны в горячую золу без всяких

предварительных приготовлений, прямо в перьях и с потрохами; это настоящее охотничье кушанье не требовало для своего приготовления особенных кулинарных знаний.

— За что тебя, дедушка, «губернатором» прозвали? — спрашивал я, когда огонь совсем разгорелся.

— «Губернатором»-то?.. — задумчиво повторил старик мой вопрос. — А это, вишь, дело совсем особливое, барин. Надо с самого началу тебе обсказать... Слыхивал ты про прииск Желтухинский?

— Да, слыхал; один из самых богатых...

— Ну, так вот этот самый прииск я открыл... Да. А про купца Живорезова слыхивал?

— Желтухинский прииск, кажется, Живорезову принадлежит?

Старик задумчиво почесал в затылке, поправил свою козлиную бородку и, тряхнув шляпой, продолжал:

— Живорезов миллионты нажил на этом прииске, первый богач по нашим заводам, а не было бы Силы, не было бы и Живорезова... понял? Я его, прииск-то, три месяца в горах искал; с корочкой хлеба за пазухой шурфовал по горам, образ божий совсем потерял, а как объявил прииск — Живорезов у меня и отбил его. Ну, я начал с ним, Живорезовым-то, спориться. Он мне четвертную бумажку отступного сулил, а я трехсот с него не брал. Тут уж Живорезов-то и обиделся. «Ежели, говорит, ты добром не хочешь брать четвертной, так я у тебя даром возьму прииск, потому что я раньше твоего заявил...» Так оно и вышло: навели справку в полицейском управлении — точно, Живорезов раньше моего записан. Ну, тут я к губернатору пошел, а меня за это драть... Вот я с тех пор и стал, милый человек, «губернатор». Завладел Живорезов моим прииском, а у меня, кроме что на себе, ничего нет.

— А теперь опять шурфуешь?

— Опять шурфую...

— А если опять отберут новый прииск?

— Может, и отберут, — соглашался старик. — Только я не могу, барин... Обычай уж такой у меня: как зима повернула на весну, так меня и потянуло в лес. Тошнехонько сидеть в избе... Да и семью всю уведу.

Оно, это самое наше старательство, вроде как болесть навяжется... И тяжело, и в убыток себе робишь, — да тут уж не разбираешь, только бы до лесу. Старатель старателю розь, барин: который старатель с семьей выходит на прииск, того не применишь к одиночке. Эти нам одиночки, бабы или мужики, вот где сидят! — проговорил старик, указывая на затылок. — Самый путаный народ... От них много горя по приискам. Все говорят про нас, про старателей, что мы и пьяницы, мы и воры... А это неправильно. Конечно, живем на людях, — грех-то не по лесу ходит, — а все-таки грех греху розь.

— Но ведь старатели воруют хозяйское золото?

Старик внимательно посмотрел на меня и как-то нехотя ответил:

— Есть и такой грех, есть грех... Только, ежели рассудить это самое дело по правилу, старатель-то у кого, по-твоему, ворует?

— У хозяина прииска.

— Вот и не угадал: у себя, барин, ворует... Вот ты и поди!.. Да... Возьми хоть какой прииск: Коренной, Желтухинский, Копчик, Любезный — кем дело держится? Старателями... Хозяин что? Хозяин заплатил по пятнадцати копеек с сажени ренты, поставил контору — и все тут, вся ихняя заботушка. А старатель-то всей семьей робит-робит, колотится-колотится, а принес сдавать золото — на, получай рупь восемь гривен за золотник, все твои! А хозяин-то сдает это золото в казну по пяти рубликов, — значит с каждого золотника ему три рубля двадцать в карман.

— Но ведь на приисках не везде старательские работы, а моют золото и машинами.

— Это только для отвода глаз, для левизора делается, барин, — убежденно заговорил старик. — Ведь поденщику заплати, а что он добудет — твои счастки... А поденщина, известное дело, с рук да с ног: лопатку песку бросил да два раза оглянулся; старатель-то в это время десять успеет бросить, потому как робит он на себя. Уж я тебе, барин, верно скажу: все эти левизоры да анженеры хоть разорвись, а такой машины не придумают, чтобы с голоду робила... А ты не считаешь

того, что мы задаром этой земли перероем? Да ежели бы по настоящему-то заплатить старателям за ихнюю работу, так золото-то бы не пять рублей за золотник стоило, а клади все десять. Нас тоже не радость на прииски-то гонит, а неволя... Мужики робят, бабы робят, ребятишки махонькие, по восьмому году, и те на тележках ездят; положи на деньги — так и не сосчитаешь! А еще нас же корят, что мы водку пьем, бабы у нас балуются. А ты возьми по правиле: ежели я шесть ден роблю как двужильная лошадь, не допиваю, не доедаю, — могу я в праздник господень, в христово воскресенье, пропустить стаканчик? У меня жена бьется еще хуже меня, потому день-то деньской у грохота она молотит, а ночью с ребятишками водится да, бабьим делом, должна то починить, другое поправить... Должен я своей бабе поднести стаканчик или нет? А в ненастье, по осени, или весной, когда снег тает... Уж ежели где мужику тяжело, так бабе вдвое. Нет, барин, с наших кровных трудов купец раздувается, а мы выходим воры...

— Ну, а золото-то все-таки старатели тащат на сторону?

— Как не тащить, ежели плату хорошую дают: в конторе получи рупь восемь гривен, а на воле — и все четыре с полтиной. Теперь взять Синицына, дает он за золотник четыре рубли — значит, выгодно ему? Ведь у него с каждого золотника рупь останется в кармане... Так? В другой раз на грохоте-то за всю неделю намоют два золотника, а то и один. Ведь шесть животов глядят на этот золотник, а я должен его нести в контору за рупь восемь гривен. И мы счет деньгам-то знаем, не хуже купцов или там господ... В позапрошлом году к нам на прииски приезжал один анженер. Осмотрел нашу работу, а потом и говорит: «Вы, говорит, не золото добываете, а закапываете золото...» Это он к тому, значит, что мы не робим вcплошную, а выбираем, где местечко получше. Я ему и говорю: «Ваше высокоблагородие, дайте нам по четыре рубля за золотник — все до единова прииска сызнова перероем; только успевай принимать наше мужицкое золото». Добрый такой был анженер, только усмехнулся.

— Ну, рябчики-то, кажется, поспели, барин, — проговорил «губернатор», перегребая золу. — А ты, Наська, подавай нам свою малину.

Мы закусили на скорую руку, и я поднялся, чтобы идти дальше.

— А что, старый Заяц поправился? — спрашивал я.

— Ох, не говори, барин! — как-то глухо проговорил старик, махнув рукой. — Помнишь орелка-то? Беда вышла у них, да еще какая беда!.. За Никитой-то Зайцевым моя дочь Лукерья. Видел, поди: совсем безответная бабенка, как есть... Ну, поробил этот, грех его побери, Естя, а Зайчиха и стала примечать, что он как будто льнет к Лукерье, к моей-то дочери, значит. Старуха обстоятельная, ну, сторожит сноху, да в лесу где за всем углядишь... Хорошо. Только на той неделе Зайчиха-то и присылает за мной свово Кузьку; наказала, чтобы беспременно я шел к ним. Оболокся я поскорее и побрел к Зайцеву балагану. Прихожу — ну, брат, шабаш!.. Старый Заяц, как туча, сидит у балагана, молодой Заяц лежит пьяный, а моя Лукерья вся в синявицах... Как увидала меня, вся инда затряслась, побелела. «Что, мол, у вас, родимые, стряслось?» Ну, Зайчиха-то все и обсказала... Видишь, присматривала она за снохой-то, ну, все как будто ничего, а тут как-то поглядела в балагане, а у ней, у Лукерьи-то, значит, под самым зголовьем новешенький кумачный платок лежит. «Откуда у тебя платок?» — «Не знаю...» Ну, старуха сначала ее побила, значит, Лукерью, а потом пробовала на совесть; нет, заперлась бабенка, и кончено. А откедова быть платку, окромя орелка? Старухе-то бы за мной послать, — может, Лукерья мне-то и повинилась бы, а она возьми да и скажи мужикам... Ну, известно, пошли бабенку куделить с уха на ухо, таскать за волосы, а Никита-то еще ногами ее давай топтать: сказывай, где взяла платок! Избили бабенку влоск... Ну, послушал я Зайчиху — что мне делать? Пожалеть али заступиться за дочь — скажут, потачу; подумал-подумал, — заодно уж, видно, мол, терпеть тебе, и давай прикладывать...

— Дура Лукерья-то! — проговорила Настасья.

— Ты больно умна...

— А ты ее за что трепал? Ну?.. Зайцы-то все паршивые, а ты за них же... Я бы знала, что сделать.

— Ну-ка, что?

— Взяла бы да и ушла — черт с вами!.. Естя-то захотел посмеяться над бабой и подкинул ей платок назло, а вы давай бабу бить.

— А ведь оно, ежели рассудить, так, пожалуй, и тово, — согласился старик, почесывая за ухом. — Ну, да дело прошлое, не воротишь...

— Как же, прошлое! — огрызалась Настасья. — Никитка-то вторую неделю пирует, а пришел домой — сейчас колотить жену. Старуха же и натравляет, старая чертовка...

— Ну, ладно, разговаривай... Вас, баб, только распусти, так у вас пойдет.

— Терпеть, да не от паршивого Никитки, — ворчала Настасья, сердито сплевывая на сторону. — Разе это мужик?

— А ведь Естя увел за собой у старого Зайца Параху-то, — задумчиво проговорил «губернатор». — Уж чем этот орелко соблазнил девку — ума не приложу.

До Мохнатенькой от «губернаторова» шурфа было всего с версту. Издали эта гора казалась не особенно высокой, но подниматься пришлось версты две: самая вершина была увенчана небольшой группой совсем голых скал. Это шихан, как говорят на Урале. С вершины шихана открывалась широкая горная панорама, уходившая в сине-фиолетовую даль волнистой линией; в двух местах горы скучивались в горные узлы, от которых беспорядочно разбегались горки по всем направлениям, как заблудившееся стадо овец. Зеленые валы без конца тянулись к северу, сталкивались, загораживали дорогу друг другу, и в сероватой дымке горизонта трудно было различить, где кончались горы и начиналось небо. Лес, бесконечный лес выстилал горы, точно они были покрыты дорогим мохнатым темнозеленым ковром, который ложился темными складками и блестел на вершинах светлозелеными и желтоватыми тонами, делаясь на горизонте темносиним. Панья пробиралась из одного лога в другой серебряной нитью; в одном месте из-за мохнатой горки выглядывал край

узкого горного озера, точно полоса ртути. Это море зелени начинало волноваться, когда по нем торопливо пробегала широкая тень от плывшего в небе облачка; несколько ястребов черными точками парили в голубой выси северного неба.

Но как ни хороша природа сама по себе, как ни легко дышится на этом зеленом просторе, под этим голубым бездонным небом — глаз невольно ищет признаков человеческого существования среди этой зеленой пустыни, и в сердце вспыхивает радость живого человека, когда там, далеко внизу, со дна глубокого лога, взовьется кверху струйка синего дыма. Все равно, кто пустил этот дым — одинокий ли старатель, заблудившийся ли охотник, скитский ли старец: вам дорога именно эта синяя струйка, потому что около огня греется ваш брат-человек, и зеленая суровая пустыня больше не пугает вас своим торжественным безмолвием.

С вершины Мохнатенькой можно было рассмотреть желтым пятном выделявшийся Паньшинский прииск, а верстах в двадцати от него Любезный, принадлежавший доктору; ближе к Мохнатенькой виднелась Майна. Можно было даже рассмотреть приисковую контору, походившую на детскую игрушку. Глядя на прииски, мне припомнилось все, что пришлось видеть, слышать и пережить за последние две недели... Плакавший истерически Ароматов, «пла̀ча» Марфутки, подвиги Аркадия Павлыча Суставова, избитая Лукерья, «золотая каша», торжествующая клика представителей крупной золотопромышленности, преследующих государственную пользу, каторжная старательская работа — сколько зла, несправедливости несет с собой человек всюду, и под каждой вырытой крупинкой золота сколько кроется глухих страданий и напрасных слез.

X

Бучинский несколько дней находился в прескверном расположении духа. Он ходил по конторе, плевал во все углы и разражался страшными проклятиями, когда кто-нибудь нарушал бурное течение его мыслей.

— Что с вами, Фома Осипыч? — спросил я наконец.

— А... не спрашивайте! Живешь, как свинья, работаешь, как каторжный, а тут... тьфу!

— Уж здоровы ли вы?

— А для чего мне здоровье? Ну, скажите, для чего? На моем месте другой тысячу раз умер бы... ей-богу! Посмотрите, что за народ кругом? Настоящая каторга, а мне не разорваться же... Слышали? Едет к нам ревизор, чтобы ему семь раз пусто было! Ей-богу! А между тем как приехал, и книги ему подавай, и прииск покажи! Что же, прикажете мне разорваться?! — с азартом кричал Бучинский, размахивая чубуком.

В конторе появились штейгера и казаки. Раньше я их как-то не замечал на прииске, а теперь они точно из земли выросли. Обязанность штейгеров заключается в том, чтобы предупреждать всеми способами хищение хозяйского золота, но известно, что у семи нянек всегда дитя без глазу, и штейгера бесполезны на приисках в такой же мере, как и всякая казенная стража. На казаках лежали специально полицейские обязанности, причем все было упрощено до последней степени: все дела разрешались при помощи нагаек. Где эта братия пропадала в мирное время — трудно сказать.

— Ну что, как вы нашли «губернаторову» Наську? — совершенно неожиданно спросил меня однажды Бучинский. — О, я знаю, на какую вы охоту ходите и для кого вы стреляете рябчиков...

— Да откуда же вы можете все знать?

— Сорока на хвосте принесла... Хе-хе!.. Нет, вы не ошиблись в выборе: самая пышная дивчина на всем прииске. Я не уступил бы вам ее ни за какие коврижки, да вот проклятый ревизор на носу... Не до Наськи!.. А вы слышали, что ревизор уж был на Майне и нашел приписное золото? О, черт бы его взял... Где у этого Синицына только глаза были?.. Теперь и пойдут шукать по всем приискам, кто продавал Синицыну золото... Тьфу!.. А еще умным человеком считается... Вот вам и умный человек!

Сделав многозначительную мину и приподняв палец кверху, Бучинский шепотом проговорил:

— Донос был сделан на все прииски... Да! И знаете, кто сделал донос?

— Кто?

— Ваш приятель, этот дурень Ароматов... Он и меня втяпал, должно полагать! Ей-богу!.. Вот и делай людям добро, хлопочи о них... Ведь я этого Ароматова с улицы взял! Вот вам благодарность...

Раз вечером, когда я возвращался от Ароматова в контору, на прииске я встретил старого Зайца, который сильно пошатывался и улыбался самой блаженной улыбкой. Старик узнал меня и потащил в свой балаган.

— У Зайчихи и водка найдется про нас, — заплетавшимся языком болтал Заяц, продолжая выделывать ногами самые мудреные па.

Меня удивило счастливое настроение старого Зайца, которое как-то не вязалось с происходившей неурядицей в его семье.

— А ведь Параха-то не тово... — заговорил старик, когда мы уже подходили к балагану, — воротилась. Сама пришла. *Он* с нее все поснимал: и сарафан, и платок, и ботинки... К отцу теперь пришла! Зайчиха-то ее дула-дула... Эх, напрасно, барин! Зачем было девку обижать, когда ей и без того тошнехонько.

Балаган Зайца прилепился к самой опушке леса; по форме эта незамысловатая постройка походила на снятую с крестьянской избы крышу в два ската. Между двумя елями была перекинута жердь, а с нее проведены по бокам ребра; все это сверху было покрыто берестой, еловой корой, дерном и кое-где засыпано землей. Старый Заяц очень гордился своим балаганом, потому что в дождь сквозь его крышу не просачивалось ни одной капли воды; внутри балагана были сложены харчи, конская сбруя и разный домашний скарб, который «боялся воды». Около стен — из травы и старой одежи были устроены постели для баб и ребят; над самым входом в балаган висела на длинном очепе детская люлька, устроенная из обыкновенной круглой решетки, прикрытой снаружи пестрядевым пологом.

— Тут у нас главный старатель качается, — объяснил Заяц, дергая люльку за веревку. — Эй, Зайчиха, примай гостей... Слышишь?..

Из балагана показалась «сама», молча посмотрела на улыбавшегося мужа, схватила его за ворот и, как мешок с сеном, толкнула в балаган; старик едва успел крикнуть в момент своего полета: «А я ба-арина привел...» Зайчиха была обстоятельная старуха, какие встречаются только на заводах среди староверов или в соседстве с ними; ее умное лицо, покрытое глубокими морщинами и складками, свидетельствовало о давнишней красоте, с одной стороны, и с другой — о том, что жизнь Зайчихи была не из легких.

— Садись, так гость будешь, — сухо пригласила меня Зайчиха, подсаживаясь к огоньку с какой-то работой.

Только теперь я рассмотрел хорошенько, сколько безмолвного горя и глухих страданий таилось под этим наружным спокойствием. Всякое горе, которое постигает членов семьи, обыкновенно собирается около домашнего очага, где оно еще раз переживается всеми, а всех больше, конечно, тем, чье сердце болит о детях с первого дня их появления на свет. Страдания и неудачи заставляют семью теснее сплачиваться, точно она занимает оборонительное положение, и в центре этой семьи, ее душой в несчастьях является всегда женщина. В женской любящей натуре живет несокрушимая энергия, которая до последнего вздоха стоит за интересы своего пепелища. Когда мужчина теряется и начинает испытывать первые приступы глухого отчаяния, женщина быстро собирается с силами и является с геройской решимостью не отступать ни перед какой крайностью. Старая Зайчиха геройствовала своим искусственным равнодушием, не желая выдавать действительного настроения своих чувств.

— Где у тебя Никита-то? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— И не спрашивай... совсем спутался.

— А бабы где?

— Лукерья пошла мужа разыскивать, а Параха в балагане. Неможется ей...

Эта невольная ложь перед чужим человеком выдавила из подслеповатых глаз Зайчихи две слезинки, и

она еще ниже наклонилась над своей работой, ковыряя иглой какое-то тряпье.

— А как у вас золото идет?

Старуха недоверчиво взглянула на меня, махнула рукой и тихо заплакала; высморкавшись в самый кончик передника, она глухо заговорила:

— Слышал, чай... на весь прииск срам. Ох, проклятенное это золото!

— Мне «губернатор» рассказывал...

— Дурак ваш «губернатор» — вот что!

— Зачем дурак?

— А так...

Наш разговор был прерван появлением какой-то старухи, которая подошла к огню нерешительным шагом и с заискивающей улыбкой на сухих синих губах; по оборванному, заплатанному сарафану и старому платку на голове можно было безошибочно заключить, что обладательница их знакома была с нуждой.

— Здравствуй, Матвевна... — разбитым, выцветшим голосом обратилась она к Зайчихе.

— Садись, Митревна... гостья будешь.

— А я к тебе забежала... Видела, как Лукерья-то прошла к Абрамову балагану, думаю, теперь Матвевна одна... А где у тебя Заяц-то?

Зайчиха молча показала глазами на балаган; Митревна с соболезнованием покачала головой и принялась ругать приисковых мужиков, которые только пьянствуют.

— Твои-то разве тоже? — спрашивала Зайчиха.

— Ох, не говори, мать! Не глядели бы глазыньки. Как лошадь у нас увели, так все и пошло. Надо бы другую лошадку-то, а денег-то про нее и не припасено. Какие уже деньги: только бы сыты... Ну, выработка-то далеко от грохота, изволь-ка пески на тачке таскать... Мужики-то смаялись совсем, ну, а с маяты-то, што ли, и сбились. Чего заробят, то и пропьют.

Митревна принадлежала к тому типу совсем изжившихся старушонок, которые, по народной пословице, в чужой век живут. Глядя на ее испитое лицо, бессмысленно моргавшие глаза, на сгорбленную спину и неверную, расслабленную старческую походку, трудно было

поручиться, что вот-вот «подкатит ей под сердце» или «схватит животом» — и готова: даже не дохнет, а только захлопает глазами, как раздавленная птица. Между тем такими жалкими старушонками иногда держится вся семья: везде-то она все видит, все слышит, всех побранит, о всяком поплачет; и кончится часто тем, что всех перехоронит — и старика мужа, и детей, и внучат, да еще и бобылкой будет маяться лет двадцать. Удивительно живуча человеческая натура. По заискивающему тону разговоров Митревны нетрудно было узнать, что она совестится попросить у Зайчихи какой-нибудь пятак прямо, а считает своим долгом повести дело издалека, чтобы незаметно подойти к главной цели. Такие подходы слишком наивны, чтобы не заметить их сразу, и мне было жаль Митревны, когда она начала плести свою жалкую околесную.

— Солдатку-то Маремьяну знаешь? — спрашивала Митревна.

— Ну, знаю.

— Наши бабы ее поучили вечор... Разве не слыхала?

— Нет.

— Здорово поучили... Вишь, она, шлюха этакая, до чужих мужиков больно охотлива и, надо полагать, умеет их приворачивать к себе. Поит их чем, што ли. Только этак-то она Абрамова старшого сына сманила к себе, потом зятя Спиридонихи да много еще кой-кого. Ну, бабенки-то и сбились с ума совсем; что им, значит, с мужиками со своими делать? Днюют и ночуют у солдатки; а чуть баба слово — в зубы, и в поволочку. Спиридонихина-то дочь топиться бегала с горя... Тут какой-то добрый человек и надоумил бабенок: завели они эту самую Маремьяну в лес да своим судом... Волосы даже на ней все спалили, косу обрезали, а на теле живого места не оставили. Теперь в балагане солдатка-то ни в живых ни в мертвых лежит.

— Надо бы было раньше догадаться, — проговорила Зайчиха. — Так и надо учить этих шлюх, да еще вот этих сводней, что по приискам шатаются да девок смущают.

— Ох, и не говори, Матвевна! — с тяжелым вздохом согласилась Митревна и, понизив голос, прибавила: — Встрела я севодни поутру Силу... Тебя больно жалеет.

— Дурак... выжил совсем из ума на старости лет.

— Все, голубушка, все по прииску-то пальцами указывают на Наську-то, а он других жалеет...

Митревна засмеялась каким-то дряблым, высохшим смехом, причем все лицо у нее собралось в один комочек, как печеная репа.

— Я ему сколь раз говорила, Силе-то, — рассказывала Зайчиха. — А он смеется только... Вот теперь и казнись!

— Да и Фомка-то хитер, пес!.. Сам даже и не смотрит на Наську, когда мимо грохота идет.

— А сводни-то на что?

— Вот-вот, они самые и есть... Много ли девке надо при ее глупом разуме: сегодня сводня пряниками покормит, завтра ленточку подарит да насулит с три короба — ну, девка и идет за ней, как телушка. А как себя не соблюла раз — тут уж деваться ей совсем некуда! Куда теперь Наська-то денется? У отца не будет век свой жить, а сунься в контору — да Аксинья-то ее своими руками задавит. Злющая баба!

— Что говорить, злыдня!.. Она Фомку-то, говорят, за волосья таскает.

— А я к тебе, Матвевна! — совсем другим голосом заговорила старуха. — Ребятишки-то со вчерашнего дня не едали, а хлеба-то ни маковой росинки... Мне бы хоть полковрижки? Как только деньги мужики получат за золото, сейчас тебе отдам.

— Да, вишь, у нас у самих-то...

Зайчиха немного поломалась, а потом ушла в балаган и вынесла Митревне небольшую ковригу хлеба; старуха с жадностью схватилась за него обеими руками и торопливо поплелась восвояси.

Зайчиха долго сидела молча, не сводя глаз с курившегося огонька; наконец проговорила:

— Слышал про «губернатора»-то? Не радуйся чужой беде — своя на гряде. Вишь, ему обидно тогда показалось за Лукерью. Я, точно, построжила; ну, му-

жики тоже малость потеребили, а для кого?.. Для Лукерьи же... Долго ли молоденькой бабенке на приисках спутаться. Я сноху-то караулила-караулила, да родную дочь и прокараулила... Легко мне это? К кому она пойдет, дочь-то, окромя матери? Ну, и принесла с собой все! Ох-хо-хо, барин, распоследнее наше житье!.. Робить-то робишь, маету примаешь с утра до ночи, а тут еще мужики примутся пировать, бабы гулять...

— А на заводах разве нельзя было устроиться?

— Можно-то, пожалуй, можно, только несподручное дело, барин... Вишь, по нонешним заработкам по заводам нельзя мужику одному робить, надо посылать на фабрику и подростков, и девок. А что они на фабрике-то увидят, особливо девки? Самое распоследнее дело: которая ни пойдет робить, — та, глядишь, и загуляла, а там с готовым брюхом и пришла к отцу, к матери... Балуются девки на фабрике все до последней. Ну, перво-то мы долго крепились, все крепились, а тут и пошли недостатки. Хлеб дорожает, харчи дорожают, обуток, одежа дорожают, а платы мужикам не прибавляют... Побились-побились, дальше уж и биться нечего стало; выходило так, что Параху с Кузькой надо было на фабрику посылать. Подростком была девка-то, жаль до смерти; ну, думали-думали с Зайцем и порешили на прииска, как сват Сила. Про себя-то думала, что как-никак, а дети при себе, при своем глазу будут... Как теперь и головушку покажешь к себе на завод...

— А что?

— Как что? Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит. Видел Митревну-то? Вот она у меня хлеба приходила занять, да она же первая по всему свету и разнесет про Параху-то... Тут чтобы, по этакой славе, девке замуж выйти — ни в жисть! Всякий выбирает товар без изъяну... Тоже вот и Наська... Уж, кажется, всем взяла девка, а тоже добрых-то людей не скоро проведешь!..

— Отчего бабы на приисках так балуются?

— От тяжелой жизни, барин, от нее самой... Ты погляди-ко, как бабы колотятся на приисках, ну, а тут уж долго ли до греха: другая за доброе слово с себя

голову даст снять. Тут как-то в позапрошлом году была одна девчонка... Так, из себя-то немудренькая, а все-таки себя крепко соблюдала. Штейгерю одному эта самая девчонка и поглянись... Известно, с жиру бесятся! Ну, приставал, приставал к девке; та не идет. Так что они сделали с ней: сводню штейгер подговорил, а та девчонку завела в лес подальше, ну а штейгер-то там уж ждет ее... Только девка-то из себя могутная была, не поддавалась; тогда они ее водкой напоили... А сводне-то обидно показалось, что девка больно билась, вот она ушла вперед на прииск да оттуда парней и прислала штук десять... Они там и издевались в лесу над девкой, а потом бросили. После замертво свезли в гошпиталь. Следователь приезжал. Ну, а которая доброй волей девка себя потеряет, той и искать не с кого... Ох, да ведь это Никитка беспутный с артелью валит? — всполошилась старуха, заслоняя глаза рукой. — Он и есть, срамец!

Со стороны прииска к балагану Зайца с песнями валила пьяная ватага, между которыми издали выделялась вихлястая фигура беспутного Никитки; какой-то парень бойко наигрывал на гармонии, а молодой Заяц по траве пускался вприсядку. По всему прииску громко разносилась бесшабашная приисковая песня:

Как сибирский енерал
Становского обучал...
Ай-вот, калина!..
Ай-вот, малина!..
По щекам его лупил,
Таки речи говорил...
Ай-вот, калина!..

Зайчиха вооружилась длинной черемуховой палкой и встала в выжидающей позе; позади всех, с ребенком на руках и с опущенной головой, плелась Лукерья. На ней, как говорится, лица не было. Зеленые пятна от синяков, темные круги под глазами, какой-то серый цвет лица...

— Маммынька, я загулял! — мычал Никита, останавливаясь в приличной дистанции от мамынькиной палки. — Родимая... загулял...

— Иди-ка сюда, пе-ос... — низкими нотами заговорила Зайчиха и, поймав Никиту за вихор, принялась об-

рабатывать его длинную сухую спину своей палкой. — Доколе ты будешь пировать-то... а?..

— Мамынька... Вот те истинный Христос, не буду больше! — вопил Никитка, валяясь на земле.

Заслышав песню, старый Заяц высунул было свою голову из балагана, но сейчас же спрятался, как началась экзекуция.

— А вы чего стали тут?.. Ступайте домой!.. — кричала Зайчиха на переглядывавшихся гостей. — Ступайте, пока я вас всех палкой не прогнала...

— Мамынька!.. Нам полштофчика всего... — умолял Никита, почесывая бока.

— Ступайте домой, в самом-то деле, — заговорила Лукерья, укладывая ребенка в люльку. — Добрые люди спать ложатся...

— Ах ты... змея! — вскипел Никита и ногой ударил жену прямо в живот.

Лукерья как-то дико вскрикнула, но Никита уже за волосы тащил ее по земле, нанося страшные удары правой рукой прямо по лицу. Посыпалась мужицкая крупная брань и вопли беззащитной жертвы, но Зайчиха не тронулась с места, чтобы защитить сноху, потому что этим нарушилось бы священнейшее право всех мужей от одного полюса до другого.

XI

Наступили первые дни августа. Выпало два холодных утренника, и не успевшие отцвести лесные цветочки поблекли, а трава покрылась желтыми пятнами. Солнце уж не так ярко светило с голубого неба, позже вставало и раньше ложилось; порывистый ветер набегал неизвестно откуда, качал вершинами деревьев и быстро исчезал, оставив в воздухе холодевшую струю. Радости короткого северного лета приходили к концу, впереди грозно надвигалась бесконечная осень с ее проливными дождями, ненастьем, темными ночами, грязью и холодом. Почти все свободное время я проводил в лесу, на охоте; хвойный лес с наступлением осени делался еще лучше и точно свежел с каждым

днем. Возвращаясь однажды с такой охоты, я шел на Паньшинский прииск по майновской дороге; эта узкая лесная дорога, по которой с трудом можно было пробраться в хорошую погоду, теперь представляла из себя узкое и глубокое корыто, налитое липкой глинистой грязью. Шагая по стороне дороги, я догнал тащившийся шагом экипаж Карнаухова. На козлах сидел Федя и правил разбитой тройкой разномастных лошадей; из повозки выглядывали ноги дьякона Органова, которые я узнал по желтым шальварам.

— А... садитесь, сударь! — обрадовался мне Федя, останавливая свою еле плетущуюся тройку. — Вроде как с мертвыми телами еду, — указал он головой на экипаж.

— Куда теперь, Федя?

— Да надо пробираться домой, только вот барин не в себе, да и дьякон тоже...

— Что так?

— Да вот посмотрите...

Федя откинул кожаный фартук, и внутри экипажа, рядом с скорчившейся фигуркой Карнаухова, я рассмотрел русую голову Органова, перевязанную полотенцами.

— С дьяконом-то насилу отводились на Майне, — повествовал Федя, закрывая фартук.

— Как так?

— Да так, известно, от собственной глупости. Как приехали, и давай пить, давай пить... Пили-пили-пили! А Тишка Безматерных с этого питья даже, можно сказать, совсем сбесился и придумал такую штуку: с вечеру напоил дьякона до положения риз, а утром и не велел давать опохмеляться. Видишь, ему хотелось поглядеть, как будет ломать дьякона после трехмесячного пьянства... Хорошо. Проснулся дьякон и первым делом просит водки — поправиться. Не дали... Уж он просил-просил, молил-молил, на коленках ползал — не дали ни капли!.. Дьякон-то стал их стращать, что утопится в шахте, ежели не дадут водки. Вот тут Синицын и придумал потеху: принес ящик из-под вина, поставил к стенке и говорит дьякону: «Ежели проломишь лбом доску — сейчас бутылку коньяку велю тебе подать...»

Ну, доски на ящике не то чтобы уж очень толсты, а в полпальца всё будут. Дьякон сперва было не соглашался, а потом точно одурел: как тяпнет головой в ящик, только доски затрещали... Ведь расшиб, сударь!.. Если бы своими глазами не видал, никому бы не поверил. Ну, доску-то точно что прошиб, да и голову себе, однако, проломил; кровь из него так и хлещет, как из барана, а те хохочут-заливаются... Хохотали-хохотали, а тут наш дьякон и повалился, помутнел весь; ну, тогда и давай с ним отваживаться. Дня с три вылежал без языка, а теперь выправляется. Только бы до Паньшина довезти в живых, а там и сам найдет дорогу домой. Ох-хо-хо!..

— Ну, а что Бучинский? — спрашивал Федя. — Ужо будет ему баня, голубчику... Только слабые нонче времена, сударь!

Вечером, пока отдыхали и кормились лошади Карнаухова, мы долго сидели с Федей на крылечке. Вечерняя заря догорала, окрашивая гряды белых облаков розовым золотом; стрелки елей и пихт купались в золотой пыли; где-то в густой осоке звонко скрипел коростель; со стороны прииска наносило запахом гари и нестройным гулом разнородных звуков. Балаганы давно потонули в тени леса, и только крайние из них пламя горевших огней на мгновение точно выхватывало из накоплявшейся мглы. Где-то встал и замер какой-то дикий крик; может быть, это последний вопль какой-нибудь жертвы человеческого насилия или предсмертная агония зайца в когтях совы.

— Большие подлецы бывают на свете, сударь, — задумчиво говорил Федя, насасывая свою пенковую трубочку. — Вот хоть Бучинского взять... Ведь он в сделке с Синицыным и прудит ему золото с нашего прииска пудами. Ей-богу! Майна-то, сударь, совсем бездушный прииск, то есть золота в нем самая малость, а держится за него Синицын по той причине, чтобы отвести глаза... Так-то скупать золото неспособно, у кого своих приисков нет, а ежели прииска есть — только валяй. А ревизор приехал — покажут ему книги, и вся недолга. Так-то-с!.. А Синицын почему держится за Майну? Оченно просто... Эта самая Майна села как раз

посередь всех прочих приисков, вот Синицын и доит их: с одной стороны подошли прииска Безматерных, с другой — докторский, с третьей — наш... Только получай! Все работают на Синицына, сударь. И он же первый друг-приятель всем: и доктору, и Тишке, и нашему барину... А разве они не знают всю его механику? Знают, да ничего не поделаешь, потому не пойман — не вор... И очень просто это делается, сударь...

Федя осторожно огляделся кругом и тихо заговорил:

— Аксинью-то знаете? Она будто в куфарках у Бучинского, а на самом-то деле метреской... Как же! Ну-с, так золото-то через нее и прудят на Майну, то есть не сама она таскает его туда, а есть у ней какой-то брат, страшенный разбойник... Так вот он и есть коновод всему делу! Имя-то у него...

— Гараська?

— Он самый, сударь, Гараська... Отчаянная голова, сударь, этот Гараська! Штейгера они тут уходили на Майне, и след простыл. Пьяный сболтнул лишнее про ихние дела, Гараська-то и спустил его в шахту: только и видали... Ревизор как-то хотел словить этого Гараську, караулил его на Майне целую неделю; ну, Гараська и влетел было, да догадлив, пес: мешочек-то с золотом прямо в повозку к ревизору и подкинул, ревизор сам и увез с собой краденое золото, а там уж его добыли после, из повозки-то. Так вот этот Гараська скупает у паньшинских старателей золото, да и сдает его Синицыну, а барыши — пополам с Бучинским. Сказывают, у этого Гараськи есть какая-то девка, Ховрей называется, так эта самая Ховря в себе проносит золото, и по этому случаю ее «коробкой», сударь, зовут на прииске.

Федя долго рассказывал про подвиги Бучинского и старателей, жаловался на слабые времена и постоянно вспоминал про Аркадия Павлыча. Пересел на травку, на корточки, и не уходил; ему, очевидно, что-то хотелось еще высказать, и он ждал только вопроса. Сняв с головы шляпу, старик долго переворачивал ее в руках, а потом проговорил:

— Дьяконова шляпа-то у меня... По наследству мне досталась, когда он расстригался. Мы ведь с ним старые знакомые, в городу-то когда он служил, я частенько к нему захаживал... Хороший был человек, сударь, справный. А какой хозяин — все своими руками умел сделать: и за столяра, и за каменщика, и за сапожника. Хозяйственный человек, одним словом. Жена у него тоже славная была бабочка. А знаете, сударь, — другим голосом прибавил Федя, — ежели разобрать, так дьякон от меня и с кругу спился. Вот поди ты, какая штука может произойти!.. Ей-богу! Кажется, думать — так не придумать...

— Что же ты сделал ему такое?

— Я-то?.. да оно делать-то ничего не сделал, а всетаки грех на моей душе, сударь. И попу каялся... да-с. Видите ли, захожу я раз к дьякону, вот этак же дело летом было, сидим мы у него вечером на крылечке и калякаем. Хорошо этак беседуем... Только двор-то крытый и совсем во дворе темно стало, хошь глаз выколи. Я сидел-сидел, да и говорю: «Дай мне тыщу рублей — не пойду теперь в сарай». Дьякон давай меня просмеивать, что я нечистого боюсь, а никакой нечисти, говорит, нет. Старухи, говорит, придумали. Ну, поспорили: он — свое, я — свое. Только мне это и покажись обидно, что дьякон как будто над моей необразованностью смеется, вроде как мужицкую мою глупость хочет показать... Так-с. Я и говорю дьякону: «А вот, говорю, генерал Карнаухов, покойник, не глупее нас был, а тоже этих привидениев до смерти боялся... Тоже вот, если заяц дорогу перебежит, поп встретится...» Ну, сижу да перебираю, что покойный барин не уважал, а дьякон как отрежет мне: «Все это бабьи «запуки»!..» Меня уж тут зло и взяло... «Ах ты, думаю, долговязый баран!..» Потом и говорю: «Ну, ежели ты боек, дьякон, сходи сейчас на сарай да принеси мне сена...» — «Черта, говорит, за рога приведу...» Да как сидел в одной рубашке и кальцонах, — марш на сарай... Ну, сижу на крылечке да слушаю, как дьякон по двору босыми ногами шлепает. Вот заскрипели половицы — значит, на сарае бродит, потом слышу — спущается по лестнице и сеном шуршит... Я даже молитву хотел

сотворить, что господь пронес благополучно нашу глупость, а дьякон как ухнет, как заревел... Ну, ей-богу, медведю или чумному быку впору! Меня так и затрясло, а дьякон тошнее того ревел, да со страхов-то как кинется, да на столб и оземь..

Федя помолчал, раскурил трубочку и продолжал:

— Вот оно, куда глупое-то слово человека приводит, сударь! Я только хотел спичкой чиркнуть да свету добыть, а в избе дьяконица тоже как ухнет и тоже оземь, вроде как квашонка. Баба последнее время ходила, а тут как услыхала, что дьякон словно под ножом ревел, — со страху и покатилась по избе. Ах ты, господи милостивый! Уж не помню, как я за ворота выскочил, и только на улице маненько опамятовался... Ну, дьякон тоже на улицу за мной. «На черта, говорит, ногой наступил...» А на самом лица нет. Что делать?.. Перекрестился я, зажег спичку, и пошли мы досматривать, где этот черт лежит. И что бы вы, сударь, думали? Подходим к сараю, а около сарая лежит теленочек пестренький; корова-то, значит, только-только успела отелиться; он еще не успел и обсохнуть, сердечный, как дьякон наступил на него ногой и слышит, что под ногой и теплое, и мокрое, и живое, и мохнатое... Ну, натурально черт!.. Ну-с, тут нам даже смешно стало, опять по глупости по нашей. Он черт и оказался...

— Теленок-то?

— Теленок само собой, а черт само собой, сударь. Вот вам это даже смешно кажется, ан дело-то не смешно вышло... Вы послушайте, что дальше-то было. С того самого случая и начни дьяконица хворать... Выкинула она первым делом дите, а потом, как под сердце подкатит — дьяконица глаза под лоб, пена у рта, а сама по полу катается. Ей-богу... Ну, обнаковенно, потащили дьяконицу по докторам; один то, другой другое... И грешно и смешно про этих докторов сказывать, сударь. Один ее все голодом морил, недели с три морил, пока у дьяконицы язык не отнялся; другой холодной водой ее обливал, третий льдом ее обложил — нет нашей дьяконице лучше, и шабаш: урчит в утробе — и конец делу, а потом под сердце. Бились-бились с дьяконицей, а потом дьякон уж догадался, что тут не доктора надо...

Он, черт-то, в утробу дьяконице забрался. Нет, вы, сударь, не смейтесь, а слушайте, что дальше-то было. Как догадались, по-вашему... а?

— Право, не знаю...

— Вот то-то и есть... А дело проще пареной репы. Старушоночка одна, побирушка, научила. Как дьяконице подкатило, старушоночка и говорит: «А прочитай Исусову молитву...» Ну, обнаковенно, дьяконица только перстом показывает, что «он» ей не дает Исусову молитву читать.

— У дьяконицы просто была падучая...

— Ну, пусть будет по-вашему, падучая. А мы знаем эту падучую, сударь... Вы послушайте дальше-то. Дьякон тоже все по-вашему говорил и всех старушонок-лекарок в три шеи гнал... А тут и случись дьякону куда-то на покос уехать, сено ставили. Тут дьяконицу и научили к одному старичку обратиться, чтобы попользовал... А старичок этот многим уже помог. Ну, дьяконица к нему, а старичок говорит: «Хорошо, только чтобы делать все, как я скажу». Обнаковенно, дьяконица рада-радехонька, только вылечи. Вот прихватил старичок двух старушек и пришел к дьяконице... Вбил в стену два гвоздя, поставил дьяконицу к стене и прикрутил ей руки к гвоздям веревкой. Хорошо. Потом как разбежится да головой прямо в брюхо дьяконице... А могутный из себя старичок был, — ну, дьяконица и запела на все голоса. А старичок-то сотворит молитву, разбежится да опять головой, по-бараньему, в брюхо дьяконице. Ну, таким манером орудовал он часа полтора, пока дьяконица билась на гвоздях да ревела, а потом, как стихла, он ее и велел на кровать положить. Совсем было вылечил: сначала-то будто охáла, а потом и затихла... А дьякон-то и воротись на причту: старика в шею, старушонок за шиворот — всех располировал, и все дело сразу испортил. На третий день дьяконица кончилась, а дьякон расстригся, да пить, да пить, да вот до какой оказии и допил. Вот оно, сударь, глупое-то слово куда нас приводит.

Ночью Карнаухов и Федя уехали с прииска; Карнаухов все время не поднимал головы и только раз попросил напиться воды. Дьякон Органов остался на

прииске, и Бучинский столкал его с своих рук в землянку Ароматова; последний был очень рад такой находке и с торжеством увел своего постояльца.

— Ох, в живых бы довезти барина до дому, — говорил Федя, усаживаясь на козлы. — А то будет мне на орехи от барыни... До свидания, сударь!.. Извините на нашей простоте...

XII

Как-то ночью я был разбужен осторожным шепотом и шагами каких-то мужиков. Подняв голову, я узнал в мужиках приисковых штейгеров и переодетых казаков. Очевидно, произошло на прииске что-то очень важное, и Бучинский на мой вопрос только приложил умоляюще палец к губам. Он был в высоких сапогах и торопливо прятал в карман штанов револьвер.

— Мне можно с вами? — спросил я.

— О, никак невозможно, никак невозможно! Дело государственной важности!.. Мы скоро вернемся...

Скоро вся шайка под предводительством Бучинского исчезла во мгле осенней ночи. Таинственность этой экспедиции заинтересовала меня, и я с тревогой стал дожидаться ее исхода. Прииск спал мертвым сном; ночь была темная, нигде не мелькало ни одного огня. Время тянулось с убийственной медленностью, и часовая стрелка точно остановилась. Прошло десять минут, четверть часа, двадцать минут, — мне сделалось просто душно в конторе, и я вышел на крыльцо. Осенняя беспросветная мгла висела над землей, и что-то тяжелое чувствовалось в сыром воздухе, по которому проносились какие-то серые тени; может быть, это были низкие осенние облака, может быть — создания собственного расстроенного воображения. Я напрасно прислушивался к охватившей весь прииск тишине — ни один звук не нарушал ее, точно все вымерло кругом.

В это время из кухонной двери вырвалась яркая полоса света и легла на траву длинным неясным лучом; на пороге показалась Аксинья. Она чутко прислушалась и вернулась; дверь осталась полуотворенной, и в свободном пространстве освещенной внутри кухни мельк-

нул знакомый для меня силуэт. Это была Наська... Она сидела у стола, положив голову на руки; тяжелое раздумье легло на красивое девичье лицо черной тенью и сделало его еще лучше.

— Застанут, думаешь, Никиту-то? — тихо спрашивала Аксинья.

— Застанут... — так же тихо ответила Наська, не поднимая своей головы. — В ночь сегодня собирался на Майну с золотом...

— Лукерья-то не знает? — после короткой паузы спросила Аксинья.

— Нет... Избил он ее третьего дни — страсть!.. Глаз не видно, без языка лежала всю ночь...

— А ты через кого узнала про Никитку-то?

— Да мальчишко у них есть, Кузька... он и сболтнул, что Никита собирается в ночь куда-то; а куда ему по ночам ездить, окромя Майны?

Молчание.

— Это тебе старый пес подарил платок-от? — спрашивала Аксинья.

— Нет...

— Не ври, Гараська сказывал... А ты денег с него проси; после, пожалуй, не даст. Кум сказывал, что с Коренного сюда пришла робить одна кержанка... Пожалуй, как бы не отбила у тебя старика!..

— Ну его совсем; не дорого дано...

— А тебе Никиты-то не жаль?

— Значит, не жаль, ежели сама его подвела... Лукерья-то безответная, так я за нее упеку его!.. Путаный мужичонко — туда ему и дорога...

Прошло часа полтора времени, и мне надоело дожидаться на крыльце. Я успел заснуть, когда за конторой послышались громкие крики и чей-то плач. Скоро в контору вошел сам Бучинский и торжественно перекрестился; за дверями кто-то кричал и ругался.

— Говорите: слава богу... — заговорил Бучинский.

— А что?..

— То есть государственная польза... Да!.. Пойдемте-ка, каких птиц я вам пскажу...

Мы вышли. На лужайке пред крыльцом столпилось человек десять; Аксинья держала в руках желез-

ный фонарь, и в его колебавшемся слабом свете люди двигались, как тени.

— А... бисови ворюги! — ревел Бучинский, пробираясь к трем мужикам, которые были окружены штейгерами и казаками.

Прежде всего мне бросилась в глаза длинная фигура Никиты Зайца, растянутая по траве; руки были скручены назади, на лице виднелись следы свежей крови. Около него сидели два мужика: один с черной окладистой бородой, другой — лысый; они тоже были связаны по рукам и все порывались освободиться. Около Никиты, припав головой к плечу сына, тихо рыдала Зайчиха.

— Попались, голуби,— злорадствовал Бучинский.— С поличным влетели; теперь, брат, шалишь!

— Врешь, старый пес! — хриплым голосом кричал лысый мужик, дергая связанными руками. — Твои же штегеря нам подкинули золото... Ты вор, а не мы!..

— И как ловко попались! — восхищался Бучинский. — Вот этот... — ткнул он на Никиту. — Приходим к балагану: спят. Оцепили. Ну, а он уж проснулся и с мешочком ползет из балагана... Накрыли его, а в мешочке золото!.. Ха-ха!.. От-то есть дурень!..

— Ваше высокоблагородие! — голосила Зайчиха, каким-то комом бросаясь Бучинскому в ноги. — Не пусти по миру... ребятишки... Ваше...

— От-то глупая старуха! То есть государственная польза... Я маленький человек, а вот приедет ревизор — он все дело разберет. Вы будете золото воровать, а я под суд за вас попадать?.. Спасибо!

— Батюшка, да ведь всего и золота-то два золотника будет — не будет... Ослобони, кормилец!..

— Я же тебе говору, милая, что не могу... Государственная польза, ревизор приедет, разве ты можешь это понимать?

ПЕРЕВОДЧИЦА НА ПРИИСКАХ

Рассказ

I

— Да-с, Ираида Филатьевна...— говорил низенький сгорбленный старик с опухшим красным лицом. — Все испытал, все перенес, как праведный Иов... Был богат, пользовался почетом, а теперь сир и убог-с.

Старик жестом показал на свою порыжелую заплатанную визитку, на короткие, обросшие внизу бахромой штаны с выдавшимися протертыми коленками и на старые лапти, которые жалко болтались на его голых ногах. Ираида Филатьевна, коротенькая и толстая женщина лет сорока, с маленькими голубыми глазками и широким чувственным ртом, только пыхнула в ответ синим дымом сигары, которую курила, и немного хриплым голосом небрежно проговорила:

— Ну, а дальше?..

Старик посмотрел на свою собеседницу мутными, слезившимися глазами записного пьяницы, покрутил головой и улыбнулся рассеянной, полупьяной улыбкой. Он только теперь обратил внимание на мужской костюм Ираиды Филатьевны, которая была одета в черные бархатные шаровары, в красную канаусовую рубашку и щегольские лакированные сапоги; нога у Ираиды Филатьевны была самая маленькая, что назы-

вается аристократическая нога, с высоким подъемом и крошечной ступней.

— Ну-с?..

— Ах, Ираида Филатьевна... одну крошечную рюмочку бы... А?..

— Да у вас, батенька, вчерашнее похмелье из головы не вышибло, а вы рюмочку...

Вместо ответа старик моментально схватил своими красными дрожавшими руками маленькую белую руку Ираиды Филатьевны и покрыл ее поцелуями; Ираида Филатьевна молча поднялась со ступеньки крыльца, на котором они сидели, и, слегка переваливаясь на своих толстых коротких ножках, ленивой походкой ушла в комнату.

Разговор происходил на крыльце коковинской приисковой конторы. Старик несколько времени сидел неподвижно на своей ступеньке, потом поднял голову и, прищурившись, долго смотрел кругом. Налево от конторы поднималась лесистая горка, направо раскинулся желтым пятном Коковинский прииск, точно оправленный в широкую зеленую раму из хвойного леса. Кругом беспорядочно громоздились Уральские горы, обрезывая горизонт волнистой неправильной линией. Все кругом — и горы, и лес, и прииск, и самая контора — было залито ослепительным светом июльского солнца. Около вашгердов на прииске не суетились старатели, в лесу замолкли птичьи голоса, и даже неутомимый дятел перестал долбить старую ель с обломленной вершиной, которая стояла в двух шагах от конторы.

— Ух, как парит... — вслух проговорил старик, снимая с головы рваную скомканную баранью шапку.

Ираида Филатьевна вынесла ему стаканчик водки; старик жадно припал к нему блестевшими синими губами и, выпив водку залпом, на несколько времени впал в то бессознательно-блаженное состояние, какое испытывают только горькие пьяницы.

— Кто же вас ко мне прислал? — спрашивала Ираида Филатьевна, опять усаживаясь на ступеньку рядом со стариком; она задыхалась от жара, а на крыльце было как будто прохладнее.

— Сам пришел-с, сам, — заговорил старик разбитым хриплым голосом. — Я ведь не всегда такой был, Ираида Филатьевна. Когда ваш папенька, генерал Касаткин, служили на Урале, они бывали у меня в доме... Как же-с!.. Все бывали, потому что дом у меня был полная чаша. Все тогда знали Якова Порфирыча Шипицына... Да-с!.. В силе был, в большой силе-с, капиталами страшенными ворочал... Да и вы у меня бывали, сударыня, этакой маленькой девочкой: коротенькое платьице, белые кальсончики, локончики... Хе-хе!.. Конечно, где вам упомнить, ежели тогда вам, может, семой годок шел... Одним словом, отроковица.

— Ведь вы в Лобовском заводе живете?

— Да... то есть нет: жил когда-то, а теперь где день, где ночь.

— Я помню, дом у вас стоит на горе?

— Точно так-с... Этакой большой домина, с мезонином, колоннами, галдареей и всякое прочее. А рядом с моим-то домом стоит дом Хомутова, Прошки Хомутова... Такой же, как у меня. Может, помните?

— Нет... Я помню, как сквозь сон, что была с папа в Лобовском заводе, в доме с колоннами, и ела малину в большом саду, вместе с какими-то девочками...

— Именно, именно, сударыня... И малина была крупная, хорошая малина, а девочки-то — мои дочери. Да-с... Вот дочери-то меня и загубили, сударыня. Ах, не то ведь я хотел сказать, о дочерях после. Завел я речь о том, почему пришел к вам... А видите, какая причина вышла: как-то в городе, в Мохове нашем, зашел я грешным делом в кабачок, известно, не с радости, а с горя... Хорошо. Только тут попались мне старатели с Коковинского прииска, ну, разговорились. Вот они мне и рассказали про вас: такая, говорят, у нас славная барышня на прииске, одним словом, добреющая душа. К кому хворь, говорят, прикинется, али какое горе — все к ней несем... Вот я тогда и припомнил вас... Думаю, авось барышня и признают Якова Шипицына. А мне, видите ли, нужно пробраться на Вогульский прииск, к Хомутову, оно, значит, к вам, на Коковинский-то, мне и вышло по пути... Как же-с! А вы вот и признали меня...

— Однако что вам от меня нужно?

— Я-с?.. Мне лично от вас ничего не нужно, Ираида Филатьевна... Как изволите видеть: весь тут — стар и дряхл, а похоронить-то и меня место найдут. Вот за стаканчик я вам благодарен... Э-эх! Ну, да это все пустяки, дело-то не в том... Да-с. Не о себе хлопочу. Только уж позвольте сначала вам все обсказать.

— Рассказывайте...

Шипицын на минуту задумался, припоминая длинный ряд годов, где мелькали знакомые лица, дорогие сердцу сцены и разные житейские случаи; он встряхнул головой, точно желая освободиться от тяжелых воспоминаний, и заговорил своим дряблым разбитым голосом:

— Прохора-то Герасимовича вы знаете?

— Нет.

— Ну, Хомутова?.. Прошку Хомутова?

— Да слыхала о нем, даже раз, кажется, видела его издали.

— Так-с...

Шипицын опять задумался. На пыльной дороге, в двух шагах от конторы, весело выбежала синичка и, помахивая длинным черным хвостиком, с женским любопытством посмотрела своими черными крошечными глазками на разговаривавших. Одно мгновение она, кажется, готова была улететь и даже немного присела, чтобы вспорхнуть разом, но страх так же быстро миновал, как и пришел, и маленькая шалунья беззаботно погналась за кружившимися в воздухе и ошалевшими от жару мошками. Она ловко схватывала их, делая самые грациозные па, и несколько раз оглянулась на крыльцо, точно ожидая погони.

— У нас еще отцы-то жили душа в душу, — заговорил Шипицын после своего раздумья, — а потом мы с Прошкой подросли, почитай, однолетки были, в один год нас и женили... Мы по беспоповщине, так свадьба у нас по родительскому благословению. Живой рукой окрутят, и вся тут. Хорошо... У Хомутова в доме и моленная налажена была. Ноньче эти дела просто пошли, а допреж этого, ух, какие строгости были: разорят за моленную. Только старики-то Хомутовы крепки были, ну, и не сумлевались: чуть что заслышат, сейчас давай

замазывать всем рты. Ну, обнаковенная политика... Хорошо. Вот мы и живем рядышком: у Хомутовых дом полная чаша, и у нас тоже. Даже огороды не были разгорожены, ребятишки так одной грудкой и ходят... А детишек у нас все копится да копится: что ни год, то и с прибылью. Только у Прошки ребята родились все вперемежку: ноньче девка, на другой год парень — так, вроде как часы были заведены; а у меня не так: у меня подряд шли все девки... Ей-богу!.. Уж чего-чего только мы не делали с женой, чтобы парня хоть одного добыть: ни боже мой! Как сама-то тяжелая ходит, так я уж по глазам вижу, что беспременно она девку принесет опять... И что бы вы думали: десять девок! Ну, куда я с ними денусь, особливо по нашему купеческому положению! Сын подрос, он уж и помощник, с десяти лет за прилавком: и себе хлеб зарабатывает и отцу замена. Хорошо. Вот только жена моя в одиннадцатый раз и забеременела. А меня и страх, и горе, и злость вперед разбирает. Как, думаю, жена принесет одиннадцатую девку, сейчас ее, как кошку, в мешок да в воду... Ей-богу, так и думаю про себя. Ну-с, и ждем мы с женой, как страшного суда, кто родится...

— И родилась одиннадцатая девка?

— Так точно-с: *одиннадцатая!*.. Уж такое меня горе взяло, такое горе взяло! Пошел к своему старику, который у нас за попа справлял... Марком его звали. Ну, Марк меня и спрашивает: «Кого, Яков Порфирыч, бог дал?» А я ему: «Будь она, говорю, от меня проклята, — одиннадцатая девка родилась!» Ах, горе; горе!..

— Что же, вы утопили ее?

— Нет... Каксе утопил!.. Старших-то девок я-таки недолюбливал, а одиннадцатая-то к самому сердцу пришлась. Ей-богу, сударыня... Стала она подрастать, и такая из себя бойкая да смышленая девчурка вышла, ну, загляденье: глазенки как черная смородина, волосы русые да кудрявые, сама румяная... Ах, хороша уродилась Настенька, все соседи любовались, только уродилась она не в добрый час... Да. Как раз с самого дня ее рождения начали мы захудать, то есть я и Хомутов. Одному тут не везет, другому в другом месте... Не успеешь от одной незадачи поправиться, а там уж дру-

гая на носу. Так оно и пошло, точно под гору покатилось. Ну, по крайности, не обидно выходило: пир пировали вместе и горе горевать вместе. Куда что девалось: сначала тоже крепились, а потом уж и крепиться мочи не стало. А у Хомутова дела еще хуже моих... Я-то хлебом торговал, а он красным товаром. Вот и подойди Ирбитская ярмарка. Неотступно Хомутову деньги надобны, а денег нет. Он ко мне, как к старому другу-приятелю, а у меня тоже пусто в кармане: все деньги, какие были, в товар положил. Объяснил я ему все дело и говорю, что помочь мне ему нечем... А Прошка-то Хомутов-то и говорит: «Яков Порфирыч, поручись за меня!..» Подумал-подумал я, ну, как не помочь человеку, ежели он просто заживо тонет, да еще какому человеку: душа в душу жили чуть не сто лет. «Хорошо», — говорю я Прошке. Ну, он, обнаковенно, зачал божиться: тот бог, этот бог... Поручился я за него тысяч на десять, и он поехал на Ирбитскую, набрал товару, а потом через полгода и обанкрутился: все богатство как водой смыло — ничего не осталось. А тут и меня за мою поруку подтянули, и тоже все с молотка пошло... Ох-хо-хо!.. Забедовали как есть... Лавки опечатаны, товар с укциону ушел, дома что было накоплено — тоже поманеньку растранжирили, — сегодня лошадку продадим, завтра экипажи, после — серебряную посуду, из платья что ни на есть. Вконец захудали... А я не ропщу: думаю то — вместе беду несем, авось поправимся. Конечно, оно обидно, что последние крохи у меня за Хомутовым пропали, ну, а поправится мужик — отдаст.

— Тогда эти вольные золотые промысла пошли, — продолжал Шипицын после небольшой паузы. — Ну, Хомутов-то и раньше немножко золотом займовался, а тут уж обеими руками за прииска схватался... Все равно: двух смертей не будет, а одной не миновать. Сыновья у него подросли, ну, все отцу подмога от них. А я так и посел с своими одиннадцатью девками: женихов-то и не видывали. Да и какие женихи: кто побогаче — брезгуют из разоренного дому невесту брать, кто победнее — думают, что такая невеста к бедности все-таки необычна, тосковать станет. Ну, их у меня, невест-то,

зараз штук шесть и очугилось на руках... Чистое горе!.. Девичье дело — и одеться надо и обуться, а достатков-то не хватает и на хлеб. Вот Хомутов приисками занялся, а мне и того нельзя: сижу с своими девками, как собака на цепи, а девки на возрасте — долго ли до греха. К бедности-то завсегда грех первым делом льнет... Так мы и маячились лет с пять, а тут, погляжу, мои старшие-то дочери совсем зачичеревели в девках, а за ними уж меньшие, как горох по тычинкам, растут. Одиннадцатая-то, Настенька, тоже уж за двенадцать годочков перевалило и так-то наливается, что твое яблочко. И все это ей нипочем, вроде как ртуть! Мы ее стрелой прозвали за ее разудалый характер. Всех, бывало, утешит... А в тринадцать-то лет она у нас совсем заневестилась: хоть сейчас замуж. Ей-богу!.. Оказия, а не девка... А мне уж и кормить моих девок нечем, давай их сбывать по добрым людям: старшие, те в начетчицы ушли, другие из-за хлеба околачивались по дальним родственникам, одна учительшей была... Не с голодухи же помирать моим девкам!.. А уж в те поры начал я вином зашибать... Остальные остатки тащил из дому да пропивал. Да как и не пить: придешь домой — вроде как ад кромешный. Жена высохла и вроде из ума рехнулась, дочери грызутся, бедность, нищета... Ох-хо-хо! Одна стрела наша и в ус не дует: придешь пьяный домой, она тебя и приберет, и уговорит, и спать уложит, а на утро даже опохмелиться даст. Под пьяную-то руку я драться стал крепко: всех, бывало, как мышей, разгоню из дому... Жену, старуху-то, даже тиранить стал. Ей-богу, осатанел совсем. Ну, а тут как раз Хомутов и открой этот Вогульский прииск: в год все долги свои заплатил и четыреста тысяч в карман чистеньких. Обрадел я, бросил свое пьянство, вымылся, помолился и к Хомутову, за своим, значит, долгом... Что бы вы думали, сударыня, ведь этот самый Хомутов заперся в моем долге?!. Ей-богу... «Не бирал» — и шабаш. Это он моими-то десятью тысячами покорыстовался при своих, можно сказать, миллионтах... А дело велось по дружбе, без всяких записок, ну, и сплакали мои десять тысяч.

— Должно быть, этот Хомутов величайший мерзавец?!.

— Как вам сказать... Мудреное это дело, сударыня, человека судить: и не мерзавец Хомутов, и на нищую братию тысячами жертвует, и многим помогает, а мне не заплатил... Ума не приложу!.. Даже ежели бы он и должен не был мне, ну, что ему стоило дать мне взаймы хоть там пять каких-нибудь тысяч: ведь всю бы семью спас и деньги свои обратно получил. Нет, куда тебе! На меня же накинулся и даже в шею выгнал из своего собственного дома... Вот тут уж я и закурил окончательно, а жена, старуха-то моя, маялась, маялась, да и догадалась: померла... Да-с, вот оно куда пошло, Ираида Филатьевна... А потом, как я остался один-одинешенек с моими девками, тут такая музыка началась — не приведи господи!.. Девки все на возрасте, кровь в них ходит, ну, известно, одолели... Так и пошли по рукам ни за грош, а стрела-то моя одна у меня и осталась, как зеница в глазу. И то сказать, девчурке всего пошел шестнадцатый годок. Вострая девка, чего сказать, а водой не замутит... Ну, а тут как-то и ее грех попутал...

— Пятнадцати-то лет?

— Ей и теперь пятнадцать... Да. Обидно мне это, Ираида Филатьевна, потому как сманил Настеньку все тот же Хомутов, Прошка Хомутов. Стрела-то теперь с ним на Вогульском и живет... Ну, посудите: ему за пятьдесят, а ей всего шестнадцатый годочек... Ведь еще дите, ежели разобрать, хоть из себя она вполне может ответить за настоящую взрослую девицу.

— Ах, негодяй! — вскричала Ираида Филатьевна, вскакивая с своего места.

— Я вот к нему и пробираюсь за моей стрелой, да вот к вам по пути завернул: не пособите ли чем моему горю?

— Именно?

— Как же-с... Первое дело, одному мне Хомутов не отдаст Настеньку, а ежели бы вы на него напали, вдвоем-то мы у него из горла вырвем девку. Ей-богу!.. Да мы его... Видите, не могу я с ним разговору вести, а как увижу — сейчас меня точно обухом по голове: все потемнеет, и ничего не помню. А вот вы бы насчет раз-

говору преотлично-с... Второе-с: куда я денусь с Настенькой, ежели и ослобонит ее? Ни кола, ни двора... А жаль девку: мак, а не девка, хоть я и проклял ее при рождении.

— Хорошо, я подумаю, — задумчиво ответила Ираида Филатьевна, зажигая потухшую сигару.

II

— А вот и наши идут, — прибавила Ираида Филатьевна, указывая Шипицыну движением головы на подходивших к конторе со стороны прииска трех мужчин. — Оставайтесь с нами обедать, Яков... Яков...

— Порфирыч, сударыня, — помог Шипицын, поднимаясь с своего места. — Нет, Ираида Филатьевна, оченно вам благодарен и без того... Помилуйте-с, я свое место даже весьма понимаю. Куда уж мне в лаптишках с господами иностранцами обедать...

— Да ведь иностранцы такие же люди, как и мы с вами. Оставайтесь!..

— Нет, уж увольте, сударыня... потому как я по своему убожеству даже людей порядочных нынче избегаю, а ежели к вам насмелился обратиться, так единственно по вашей превеликой доброте. В родителя пошли сердцем-то, в Филата Никандрыча... Вот ежели бы относительно Настеньки вы оборудовали это дело, в правую ножку поклонюсь... Ведь еще совсем отроковица она у меня!

— Хорошо, я подумаю, а вы завтра утром наведайтесь. Теперь вы куда?

— А на прииске места много... У кого-нибудь из старателей перебьюсь до завтра.

Шипицын конфузливо переминался с ноги на ногу и не уходил; он стыдился попросить еще стаканчик водки, но Ираида Филатьевна предупредила его просьбу и вынесла второй стаканчик; старик с жадностью выпил водку, торопливо вытер губы горстью и, как-то весь сгорбившись, униженно шмыгнул куда-то за угол конторы, вероятно избегая встречи с господами иностранцами.

Впереди всех шел старик француз с козлиной бородкой и седыми усами; его высохшее длинное тело было заключено в щегольскую синюю визитку, серые брюки и лакированные охотничьи сапоги. Из-под нависших седых бровей весело и проницательно глядели светлокарие глаза, окруженные целой сетью мелких морщин. Мягкая пуховая шляпа с широкими полями защищала его от жгучих солнечных лучей. Вообще m-r Пажон принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые до семидесяти лет считают себя юношами. Рядом с ним ковылял герр Шотт, настоящий швабский немец, с длиннейшими руками, длинным туловищем, короткими ножками и каким-то дряблым картофельным лицом. Шествие замыкал мистер Арчер, молодой человек лет двадцати, высокий, стройный, с румяным лицом, голубыми строгими глазами и твердо сложенными губами; в зубах он держал маленькую пенковую трубочку. Заложив сильные красные руки за спину, молодой человек шел с тем особенным спокойным равнодушием ко всему на свете, как умеют ходить только одни англичане; на голове у него был надет helmet of India [1].

— Здравствуйте, mademoiselle... — заговорил по-французски m-r Пажон. — Мы, кажется, заставили вас ждать?.. Тысячу раз извините...

— У вас тут была какой-то мущин? — спрашивал немец, снимая с головы соломенную шляпу, причем его голова оказалась совсем лысой.

— Экое у вас бабье любопытство, герр Шотт, — отрезала Ираида Филатьевна. — Не «была мущин», а был мужчина...

— Ja, ja... [2] — забормотал старик, — быль мущина...

— Ну, был, а теперь его нет... Вам какая забота?

— О, ви скажет всегда... такое скажет... — бормотал старик, отмахиваясь своей длинной, как рачья клешня, рукой.

М-r Пажон и мистер Арчер вдвоем знали только два русских слова: первый щи называл «чи», а второй го-

---

[1] индийский шлем *(англ.)*.

[2] Да, да... *(немецк.)*

ворил «хорошо» и «нэт хорошо». Герр Шотт постоянно щеголял перед ними своим знанием русского языка.

После обеда, поданного на открытом воздухе под навесом крыльца, вся компания разошлась по своим комнатам. Коковинская приисковая контора была выстроена на две половины: в одной жили герр Шотт и мистер Арчер, а в другой m-r Пажон и Ираида Филатьевна. Последняя на прииске, кроме своей главной роли переводчицы, имела еще большее значение, как хозяйка и подруга m-r Пажона. Международным языком на прииске был французский, и благодаря ему Ираида Филатьевна заняла свое настоящее положение. В сложности, все четверо представляли собой массу таких непримиримых противоречий, что едва ли одна кровля когда-нибудь прикрывала более запутанную человеческую комбинацию.

Ираида Филатьевна передала свой разговор с Шипицыным, когда осталась в комнате вдвоем с m-r Пажоном. Француз слушал ее порывистый рассказ сосредоточенно и серьезно, насасывая длинную трубочку с шелковой кисточкой на тонком чубуке; он несколько раз хмурил свои седые брови и, наконец, проговорил:

— Что же вы думаете теперь делать, mademoiselle Ира?

Он не говорил ей «ты»; Ираида Филатьевна употребляла «вы» и «ты», глядя по расположению духа.

— Как что? — удивилась она.

— Как хотите, а женщине вмешиваться в такие дела, по-моему, не совсем удобно...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да ведь этот Хомутов moujik [1], и может сделать какую-нибудь неприятность... наговорит дерзостей.

— Что же, по-твоему, оставить эту пятнадцатилетнюю девочку в руках этого скота?

— Может быть, она сама этого хочет...

— Никогда... Слышишь: никогда!.. В пятнадцать лет девочка не может иметь таких гнусных желаний. Это было с ее стороны ошибкой, может быть заблуждением, наконец просто несчастием... Ее во что бы то ни

---

[1] мужик, *(франц.)*

стало необходимо вырвать из рук Хомутова. И я это сделаю завтра же...

М-r Пажон несколько мгновений полувопросительно смотрел на покрасневшую Ираиду Филатьевну и потом задумчиво проговорил:

— У вас геройская душа, mademoiselle Ира...

— Вздор!.. Никакого тут и геройства нет, а самое простое человеческое чувство, которое возмущается несправедливостью. Это у вас всякие пустяки за геройство сходят... Вы думаете, что женщина создана специально только для вашего удовольствия?.. Нет, она такой же человек, как и мужчина. Поймите это раз навсегда.

— Во всяком случае, если Хомутов позволит с вами какую-нибудь дерзость, я к вашим услугам...

— Это насчет дуэли?.. Ха-ха... Хомутова можно побить, но драться на дуэли он никогда не будет.

— Хорошо, предположим, что вы освободили эту девушку, а потом, что вы с ней будете делать?

— Как что? Привезу ее сюда, и она будет жить со мной в одной комнате, то есть вот в этой самой, в которой мы сейчас разговариваем.

— А я куда?

— Вы перейдете к Шотту... Что ж тут такого особенного? Устроимся как-нибудь...

М-r Пажон готов был хоть сейчас же драться на дуэли с Хомутовым, но спать в одной комнате с герр Шоттом — это заставило его нахмуриться.

— Если вы вздумаете сердиться, то я совсем уйду от вас, — пригрозила Ираида Филатьевна, загораясь румянцем до самой шеи. — Что за глупости!.. Будьте довольны тем, что имеете... за неимением лучшего. А то я сейчас же... Понимаете?

— Ах, я совсем и не думал сердиться, — поправился m-r Пажон, целуя руку m-lle Иры. — Мне показалось только неудобным то, что, как хотите, под одной крышей, сейчас за стеной, не считая меня, будут жить еще двое мужчин. Знаете, молоденькая женщина, с одной стороны, сама будет подвергаться опасности, а с другой...

— Ха-ха-ха!.. — залилась Ираида Филатьевна. — Вот это мило... Ха-ха!.. Что же, они дикие звери, что ли! Что касается мистера Арчера, то могу поручиться за него, что он даже не взглянет на девицу лишнего раза, потому что он джентльмен с ног до головы. Кроме того, он влюблен в какую-то кузину, которой пишет длиннейшие письма в Англию каждую неделю и на которой он женится... Я поручусь за Арчера. Может быть, вы опасаетесь за герр Шотта? Но, право, этот швабский Аполлон совсем не опасен, кроме... своей флейты и бумажных ковриков. Ведь он и мне дарил эти коврики, однако, как видите, это совсем не так опасно.

Ираида Филатьевна принадлежала к тем горячим натурам, для которых каждое мимолетное желание — закон. Она целую жизнь была игрушкой и рабом этих желаний, переживая тысячи неудач, ошибок и разочарований, какие неизбежно сыплются на голову таких людей. Вместе с тем, точно для довершения всех бед, природа дала ей добрейшее сердце, которое вечно изнывало под напором неудовлетворенной любви, подталкивая ее на самые дикие выходки. Раз известная мысль попадала в голову Ираиды Филатьевны, раз она согревалась теплотой ее любвеобильного сердца, — эта мысль немедленно приводилась в осуществление. И так шла целая жизнь, какими-то пароксизмами самой лихорадочной деятельности, горячими скачками от одного предмета привязанности к другому; эта лихорадка выкупалась тяжелыми минутами уныния, давящей тоски и полным равнодушием ко всему на свете.

Не дальше как утром Ираида Филатьевна переживала одну из самых тяжелых минут своего мудреного существования; но тут подвернулся старик Шипицын со своей «стрелой» — и всю хандру как рукой сняло. Впрочем, она давно уже не испытывала прилива сил и теперь точно хотела наверстать даром потраченное время. Конечно, и раньше она никому не отказывала в помощи и постоянно возилась с приисковыми бабами и ребятишками, которые одолевали ее своими болезнями, нуждами и разными бедами приискового житья-бытья. Но такая деятельность не удовлетворяла кипучей натуры Ираиды Филатьевны, не поглощала всех

сил, не заставляла переживать мучительных часов ожидания и щемящей тоски.

Теперь другое дело.

Когда Шипицын еще рассказывал о «стреле», в голове Ираиды Филатьевны успел сложиться самый блестящий план не только освобождения этой девушки, но и окончательного устройства ее на прииске. Она дала Шипицыну уклончивый ответ только под влиянием той выдержки, какая еще сохранилась в ней каким-то чудом.

«Mademoiselle Anastasie... Настенька... Настя...» — шептала про себя Ираида Филатьевна, с нетерпением дожидаясь ночи.

Она уже любила эту пятнадцатилетнюю девочку, жертву бедности, людского эгоизма и развращенности. Это чувство охватило ее с особенной силой и заставило ее сорокалетнее сердце бить усиленную тревогу, точно эта Настенька была ее собственной дочерью, которая когда-то была потеряна, а теперь вдруг нашлась... Да, она, эта Настенька, всего в тридцати верстах от Коковинского прииска, и Ираида Филатьевна осыпала детище своей фантазии самыми ласковыми, нежными именами, какие может придумать только любящая женская душа. За ужином Ираида Филатьевна все время думала о том, что-то теперь делает ее Настенька на Вогульском прииске? Может быть, там идет бешеная оргия, и этот ребенок улыбается своим палачам. Дальше ей представлялось, что девушка переживает самую горькую нужду. Так может думать только мать о своих детях, придумывая и переживая тысячи несуществующих затруднений и опасностей. Словом, Ираиду Филатьевну охватила всесильная страсть, страсть совершенно особенного рода: раньше она любила только мужчин, а теперь всей душой прилепилась к совершенно неизвестной ей девушке.

Вечером, когда все улеглись спать, Ираида Филатьевна осторожно поднялась с своей походной железной кроватки и, распахнув окно, уселась на подоконнике, с голыми плечами и руками. Голова горела, ей было душно. Вежливый храп m-r Пажона возмущал ее теперь до глубины души, и она, с закрытыми гла-

зами, мечтала о блаженном завтра, когда в этой комнате место накрахмаленного истертого француза займет Настенька и разом наполнит комнату свежестью своей шестнадцатой весны. Ее воображение уже вперед рисовало картину того, как они устроятся в этой комнате вдвоем: свою кровать она отдаст Настеньке, а сама переберется на клеенчатый диван; затем на окнах нужно будет повесить занавески, а на полу разостлать ковер. Не дурно было бы оклеить стены обоями, достать туалет...

— Нет, это уж роскошь... вздор! — решила Ираида Филатьевна, останавливая полет собственной фантазии. — Необходимо устроить трудовую обстановку, пополнить библиотеку новыми книгами, выписать несколько журналов...

А в окно на мечтавшую Ираиду Филатьевну глядела мириадами блестящих глаз пахучая летняя уральская ночь; прииск и река Коковинка были затянуты белым туманом; горы при неверном освещении молодого месяца казались выше, пирамидальные верхушки елей и пихт вырезывались на голубом фоне северного неба каждой своей веточкой; где-то проскрипел в осоке коростель, и ухнул в лесу филин. Одним словом, это была одна из тех чудно-поэтических, тихих и полных грез, северных ночей, когда человек точно тонет в окружающей его сладкой дреме.

Да, ночь была чудо как хороша и, как настоящая красавица, щедро рассыпала кругом себя дары и блестки своей красоты. Самый воздух, напоенный ароматом лесных цветов и травы, кажется, не смел шевельнуться, чтобы не нарушить чудной гармонии, охватившей тихо и торжественно спавшую землю. Ночные тени сгустились у опушки леса, залегли темными пятнами по логам и впадинам, а там вверху, в бездонной голубой выси, разливалось трепетное голубое сияние лихорадочно горевших серебряных звезд, точно алмазная пыль; широкие полосы лунного света выхватывали из ночного мягкого сумрака стрелки елей и пихт и ложились на покрытую росой траву матовыми фосфорическими пятнами.

— Как это все хорошо!.. — проговорила вслух Ираида Филатьевна, с жадностью дыша полным свежести летней ночи воздухом.

Но она не замечала творившихся пред ее глазами красот природы: все чувства и мысли были сосредоточены, как в фокусе, на одной идее. Да, теперь все было хорошо. Ираида Филатьевна с удовольствием припоминала свой последний «случай», когда она поступила переводчицей на Коковинский прииск. Много она пережила на своем веку, но похоронить себя в глухом лесу, в обществе каких-то сомнительных иностранцев — это было с ее стороны очень смелым шагом, на который она решилась с большим трудом. Впрочем, она была достаточно гарантирована тем, что m-r Пажон был очень порядочный человек, как она убедилась с первого знакомства с ним, хотя он и был легкомыслен и говорил, как истый француз. Сначала она долго относилась скептически к этому фантазеру — инженеру, который помешался на идее оживить русскую золотопромышленность усовершенствованными способами механической промывки золотоносных песков. Потом... потом повторилась одна из тех историй, которые вечно останутся новыми: в одно прекрасное утро Ираида Филатьевна сделалась подругой m-r Пажона. Это случилось как-то само собой, и стороны не обольщали себя иллюзиями.

— Если вы хотите, мы завтра повенчаемся, — предлагал m-r Пажон в порыве великодушия.

— О нет... Мы и без этого успеем еще разойтись, когда надоедим друг другу, — ответила Ираида Филатьевна.

III

На другой день рано утром Шипицын нехотя брел к приисковой конторе. В голове у него стояло ужаснейшее похмелье. Он несколько раз должен был останавливаться и отдыхать на свалках перемытого песку. «Поднесет или нет Ираида Филатьевна стаканчик? — думал старик, с трудом передвигая подгибавшиеся и дрожавшие ноги. — Ох, хорошо бы пропустить два та-

ких стаканчика...» — с безнадежной тоской прибавлял Шипицын про себя, и в его воспаленном мозгу уже рисовалась картина, как Ираида Филатьевна берет графин водки и наливает стаканчик.

— Эй, вы, что же это вы едва шевелитесь? — окликнул Шипицына женский голос.

— Вот те и раз... — проговорил старик, поднимая голову. — К самой конторе подошел... Ишь ты!.. Никак, у них гости? Какая-то дама... Должно быть, меня за кучера приняла.

У конторы действительно стояла тройка оседланных лошадей, а по крыльцу нетерпеливыми шагами ходила сама Ираида Филатьевна в шелковом цилиндре с вуалью, в синей амазонке с длиннейшим шлейфом и в шведских перчатках с лакированными манжетами. Шипицын не узнал ее сначала; она показалась ему выше, чем вчера, и неизмеримо красивее. Он даже снял свою баранью шапочку и униженно поклонился издали.

— Да ну же, чего вы стали? — закричала на Шипицына Ираида Филатьевна, топая ногой. — Я вас с которой поры здесь жду... Верхом умеете ездить?

— Д-да...

— Ну, так садитесь, сейчас же и в дорогу. Вот стоит гнедая, на нее и садитесь.

Шипицын отправился к гнедой лошади, закинул ногу в стремя и, как мешок с травой, свалился на землю.

— Не могу, Ираида Филатьевна... — прошептал он. — Мне бы поправиться... чуточку поправиться... Я молодцом проеду, ей-богу молодцом!..

Ираида Филатьевна ушла в контору и вернулась с полубутылкой коньяку в одной руке, а другой она торопливо спрятала в карман своей амазонки плохонький старинный револьвер системы Лефоше. Пока Шипицын допивал второй стаканчик, из людской показался кучер Макар.

«Ну, и езопа же барышня где-то добыла», — думал он, не торопясь подходя к крыльцу.

При помощи Макара Ираида Филатьевна взобралась в седло и опытной рукой натянула поводья: соло-

вой киргиз-иноходец, с поротыми ушами, красиво выгнул свою оленью шею и нетерпеливо затоптался на одном месте. Шипицын, спрятав недопитую бутылку за пазуху, тоже взмостился на свою лошадь, причем никак не мог попасть другим лаптем в стремя.

— Макар, принеси свои сапоги, — скомандовала Ираида Филатьевна, сгорая от нетерпения.

Макар неохотно сходил за сапогами и, почесывая в затылке, подал их Шипицыну.

— Две повертки налево, а потом одна направо? — спрашивала Ираида Филатьевна, пока Шипицын надевал сапоги.

— Точно так-с, барышня, — отвечал Макар, бойко встряхивая своими подстриженными в скобу волосами. — Первая повертка налево будет на прииск Талой, к Соболеву, значит... Вторая повертка налево уведет в Мураши, деревушка тут есть, а третья направо — на прииск Копчик, к Колченогову.

Через пять минут Ираида Филатьевна уже спускалась на своем иноходце под гору, прямо на прииск; Шипицын рысцой, дрыгая в седле, старался догнать ее. В поводу он вел запасную лошадь в дамском седле; это была лучшая лошадь на прииске, вороной масти, с тонкими сильными ногами и блестевшими черными глазами. Шипицын даже не спросил, куда они едут: по воинственному виду Ираиды Филатьевны он видел, что они едут добывать от Хомутова «стрелу». Они скоро миновали прииск и поднялись на крутую лесистую горку; с нее открывался великолепный вид на весь прииск и на контору, которая занимала небольшое возвышение. Картина получалась самая пестрая: на протяжении целой версты земля была изрыта по всем направлениям и образовала по бокам прииска громадные свалки; Коковинка была запружена в нескольких местах, и ее мутную, желтую воду издали трудно было отличить от размытых песчаных берегов. Несколько золотопромывательных машин, штанговая водокачка, паровик около шахты, толпы рабочих, катившиеся приисковые тележки, нагруженные золотоносным песком, — все это было залито ликующим светом занимавшегося ведряного дня и производило хорошее, доб-

рое впечатление. Ираида Филатьевна любила приисковую жизнь; эта лихорадочная деятельность была в ее характере, отвечая ее авантюристским наклонностям.

— Экое обзаведение, подумаешь, — задумчиво проговорил Шипицын.

— Пожалуйста, не выпустите лошади, — упрашивала Ираида Филатьевна.

— Помилуйте... да я...

— Нет, серьезно говорю вам. И не отставайте...

Благодаря этой проклятой заводной лошади положение Шипицына выходило самое критическое: левой рукой он правил своим гнедком, правой держал за повод вороную, и за пазухой между тем, как птичка в клетке, билась полубутылка коньяку... Не было никакой возможности пропустить хоть несколько капель живительной влаги, потому что, как только он пробовал вытащить из-за пазухи бутылку, — вороная начинала прясть ушами, раздувала ноздри и издавала самый подозрительный храп. Лошадь припоминала нагайку, которую Макар носил за пазухой. Пока Шипицын переносил муки Тантала, Ираида Филатьевна все сильней и сильней подгоняла своего иноходца. Ей казалось, что горы сегодня были выше обыкновенного и дорога делала много совершенно лишних поворотов. Особенно сердили ее крутые спуски, когда приходилось ехать шагом. Через час обе лошади были в мыле, и Ираида Филатьевна, обратившись к своему спутнику, с досадой проговорила:

— До этого Вогульского прииска будет целых сто верст, а не тридцать...

— Сударыня, вы очень скоро едете...

— Вот вздор! Плетемся шагом, точно везем кислое молоко... Я не знаю, уж не сбились ли мы с дороги? Вы видели повертку направо?

— Точно так-с!..

— Это на Талый... Должна быть вторая повертка в Мураши. Кажется, мы никогда не доедем до нее.

— На Талом-то работает Соболев, мой бывший приказчик, — со вздохом заметил Шипицын. — На Копчике тоже...

— Другой приказчик?..

— Да... Колченогов. На мои кровные денежки теперь раздуваются. Ох-хо-хо!.. В нашем купеческом звании всегда так бывает: хозяин разорился — глядишь, приказчики и полезли в гору. А без приказчиков купцу невозможно!.. Грехи!.. Надо же и им отведать сладкого житья, — прибавил Шипицын со смирением, чувствуя, как у него с непривычки к верховой езде отнималась поясница и начинали отекать ноги.

А кругом, при утреннем освещении, все было так удивительно хорошо, точно бесконечной пестрой лентой развертывалась какая-то волшебная панорама.

С прикрутостей и взлобочков можно было видеть горы на далеком расстоянии. Они точно тонули в золотой пыли утреннего солнца. По лугам и впадинам, по дну которых прятались безыменные горные речушки, еще стоял туман; кое-где он начинал подниматься кверху небольшими белыми облачками, отдельными волнами и длинными белыми нитями. Уральские горы вообще невысоки, и только некоторые из них заканчиваются шиханами, то есть группами обнаженных скал на вершинах. Эти шиханы теперь были закутаны фиолетовой дымкой, которая на горизонте принимала темносиние тона. Дремучий ельник выстилал все кругом, и только кой-где, на откосах и прикрутостях, из траурной зелени северной ели выделялись гривки сосняку, да еще по лощинам, где бежали из гор ключи, свежими светлозелеными пятнами вырезывались отдельные островки березняков и осинников. В одном месте дымилось в тумане небольшое горное озеро; горы около него теснились зелеными валами, точно волны тяжелого бархата, раскинутые артистической рукой в красивом беспорядке.

Когда дорога желтой лентой сбегала под гору, даль пропадала, и путников охватывала настоящая зеленая нетронутая глушь, точно они спускались на дно какого-то бассейна, из которого вода только что была выпущена. Ели дружной семьей жались к самой дороге, образуя зеленую, прихотливо вырезанную шпалеру, в отверстия которой золотыми пятнами, полосами и зайчиками врывались солнечные лучи и зажигали брильянтовыми искрами придорожную траву, еще по-

крытую ночной росой. На самом дне лога, куда приводила дорога, мелькали зеленые душистые поляны, точно опушенные кустами рябины, жимолостью и смородиной; в сочной густой траве, хватавшей человеку по грудь, пестрели желтые молочаи, полевая гвоздика выставляла свои розовые головки, и синели лесные колокольчики. Дикий горошек мешался с белыми розетками ромашки; иван-чай высоко поднимал свои пирамидальные верхушки, облепленные бледнорозовыми цветочками и белым шелковистым пухом. Здесь же в густой зелени зрела и наливалась малина, краснели кисти поспевавшей костяники и далеко разливал в воздухе свой аромат горный шалфей. Когда лошади, фыркая и мотая головами, вброд переправлялись через говорливую горную речку, путников охватывало ночной свежестью, которая заставляла вздрагивать.

— Этакая благодать! — умилялся Шипицын. — Чудны дела твои, господи... Вся премудростью сотворил еси!..

— Да, здесь действительно хорошо... — соглашалась Ираида Филатьевна, точно просыпаясь от какого-то сна.

Проведенная без сна ночь и тревога ожидания заставили побледнеть ее полное, немного обрюзгшее лицо, на котором на одно мгновение выступили следы минувшей красоты. На нее напало тяжелое раздумье, точно она еще раз переживала свою жизнь. Да, эти воспоминания давили ее, как тяжелый сон, в котором бесконечный ряд неудач и разочарований едва освещался двумя-тремя светлыми точками. Всего несколько мгновений счастья на целую жизнь, — это слишком несправедливо!..

Опустив поводья и машинально глядя по сторонам, Ираида Филатьевна перебирала свое прошлое.

Ей теперь за сорок лет. Начала она себя помнить маленькой пухлой белокурой девочкой, которая ходила в коротеньких платьицах, белых панталонах, обшитых кружевами, и в завитых локонах. Лицо у ней было всегда круглое и всегда румяное. Отец называл ее толстушкой и всегда, бывало, ущипнет за самую щеку, когда она ласкалась к нему. Генерал Касаткин

принадлежал к тому типу безалаберных и бесхарактерных русских людей, которые для подчиненных составляют истинное несчастие, потому что как вы применитесь к человеку, который сегодня разрушает то, что создавал вчера, а завтра будет проклинать целый свет за то, что сегодня вполне одобрял. Они в то время жили на Урале, где отец в качестве горного инженера занимал очень видный пост. Мать для Ирочки навсегда осталась какою-то бледной, туманной фигурой, вроде тех, какие появляются на экране волшебного фонаря. Она всегда ходила с подвязанной щекой, вечно от чего-нибудь лечилась и появлялась на сцену только в самые критические минуты, когда генерал Касаткин начинал рвать и метать. Как все бесхарактерные люди, он был очень добр и вместе с тем вспыльчив до бешенства; в такие минуты к генералу не было никакого приступа, и он проделывал те несправедливости, какие люди такого сорта способны устраивать под впечатлением минуты. Появление жены заставляло расходившегося генерала успокаиваться, и он даже плакал от надрывавшей его злости.

— Ах, Ирочка, Ирочка... Моя милая толстушка, как мы теперь с тобой жить будем? — плакался генерал, когда в одно прекрасное утро бесцветная генеральша умерла.

Толстушка положила свою белокурую головку на плечо отцу и горько заплакала, заплакала потому, что все в доме плакали; в действительности она совсем не переживала особенного горя, потому что и не понимала и не любила матери. Генерал предавался шумному и откровенному отчаянию, которое было совершенно искренне, как все, что он делал в своей жизни; он по-своему любил свою бесцветную жену. На руках у него осталось, кроме Ирочки, еще три дочери и два сына; как чадолюбивый отец, он сам взялся за воспитание детей. Это воспитание заключалось в том, что детям была предоставлена полная свобода, и они, как все дети, быстро освоились с своим новым положением: мальчики живмя-жили в кучерской, а девочки — в кухне или в девичьей. В каждом барском доме прислуга имеет решающее влияние на воспитание детей, пред

ним разлетаются вдребезги все благородные усилия гувернанток, гувернеров, учителей и учительниц. За служебными недосугами генерал Касаткин часто совсем забывал о существовании своих детей и делал исключение только для толстушки Ирочки, которую любил без ума, потому что она походила на него во всем, как две капли воды. К этому времени относится поездка Ирочки вместе с отцом по заводам, причем для своего возраста она видела, может быть, слишком много, а еще больше того слышала. Часто ей приходилось быть немой свидетельницей очень откровенных сцен и разговоров, какие ведутся в холостой мужской компании, и никто не обращал внимания на забавную толстушку, которая дремала где-нибудь в уголке под шумок веселых разговоров. Эта цыганская жизнь исключительно в обществе мужчин оставила в характере Ирочки глубокий и неизгладимый след; к этому периоду ее жизни относилось и знакомство Ирочки с семьей Шипицыных.

Отсутствие бесцветной генеральши скоро отозвалось на судьбе генерала Касаткина самым роковым образом: не имея за спиной поддерживавшей его целую жизнь руки, он благодаря своей горячности запутался в самой глупой истории. Микроскопический горный чин сделал донос на генерала, куда следует, обвиняя его в очень важных злоупотреблениях; этот донос вызвал канцелярское следствие. Несмотря на свои недостатки, генерал был честный человек по службе и не знал за собой никакой вины; но беда вышла из того, что производить следствие приехал такой же вспыльчивый и взбалмошный человек, который с первых двух слов осадил генерала и даже заставил его замолчать. Понятно, что такое незаслуженное оскорбление взорвало генерала, тем более что он имел слабость считать себя человеком, в котором не только нуждаются, но без которого министерство даже не в состоянии обойтись. Словом, он разделял очень простительное заблуждение многих других людей и, вместо того чтобы сократить себя и помириться с оскорбившей его особой, полез на стену и в конце концов, как многие великие люди, вылетел окончательно в трубу. Подавая в отставку, генерал Касаткин был глубоко убежден, что

ненастье бывает всегда перед вёдром и что его призовут, поклонятся и призовут. Но вышло так, что генерала Касаткина не только не призвали, а совсем позабыли и замолчали; он навсегда был похоронен для казенной службы и слишком поздно постиг всю глубину своего падения, а также и то, что, будь жива бесцветная больная генеральша, этого никогда бы не случилось.

Вся эта история разыгралась в конце пятидесятых годов. На Урале генералу Касаткину больше нечего было делать, и он переехал в Казань, где у него был собственный домишко и какая-то недвижимая собственность в уезде. Но и в дни своего падения генерал Касаткин остался генералом Касаткиным и не сократил себя, но создал из своей жизни целую оппозицию ненавистному министерству. Прежде всего семья генерала начала испытывать чувствительные уколы бедности, которые, наконец, перешли в хроническую нужду; но чем теснее смыкалось роковое кольцо, тем сильнее генерал укреплялся на своей позиции и точно закаменел в какой-то болезненной гордости. Чтобы насолить своим недругам, он несколько раз поступал на частную службу, но и здесь не выдерживал характера и ссорился со всеми. Его расстроенному воображению везде грезились интриги и козни его недоброхотов, так что в конце концов он окончательно и навсегда закупорился в своем домишке, облюбовал либеральную газету и, пуская клубы дыма из длинной трубки, дал полную волю своему наболевшему чувству. Каждый номер газеты приносил новую пищу его озлобленному чувству, и он злобно хохотал, перебирая официальные известия о повышениях и наградах своих бывших товарищей по службе. Так как лично для генерала песенка была спета, то он постарался создать оппозицию в лице своих детей, воспитанием которых он теперь и занялся с этой нарочитой целью.

Жизнь в Казани для Ирочки была самым бурным периодом ее существования.

Ей только что минуло тринадцать лет, когда они переехали туда, — самый неблагодарный возраст для девочки, когда она теряет занимательность маленькой игрушки, а в обществе больших является совсем лиш-

ней. Ирочка в тринадцать лет была все такой же румяной толстушкой, как и раньше, что ее очень бесило; ничего похожего на талию она не могла сделать при помощи самых узких корсетов, а руки и ноги были точно налиты самой обидной ребячьей полнотой. Но Ирочка развилась гораздо быстрее своих лет, и в этом пухлом детском теле проснулись потребности и желания больших людей. Когда она ходила в свою школу в коричневом коротком платье и с книжками, перетянутыми ремнем, каждая встреча с красивым гимназистом бросала ее в жар. Ее детское сердце билось недетскими желаниями, и глаза заволакивались туманом: она изнывала от потребности любить и проводила бессонные ночи за чтением романов. Обыкновенно люди находят то, что желают найти, и Ирочка встретилась, наконец, *с ним*. Это случилось именно в разгар генеральской оппозиции министерству. Старшие две сестры Ирочки учились в старших классах той же школы, а братья кончали курс в гимназии; в генеральском доме скоро закипела шумная молодая жизнь. Генеральская оппозиция как раз совпала с движением конца пятидесятых годов, и старик ухватился за это движение, как утопающий за соломинку. В генеральском доме происходила настоящая ярмарка и велись самые оппозиционные разговоры. Ирочка могла только завидовать девушкам с стрижеными, по тогдашнему обычаю, волосами и в синих очках, всегда окруженным толпою молодежи. Тринадцатилетняя толстушка, конечно, жалко терялась в этой толпе, слепо перенимая все, что успевал схватывать глаз. После нескольких неудачных попыток сблизиться с кем-нибудь из молодых людей, она с грехом пополам добилась иметь своего собственного учителя математики, студента Белоносова. Алгебра в жизни Ирочки навсегда осталась самой поэтической страницей, в которой из-за математических формул и алгебраических выражений на нее нахлынуло чувство первой любви. Теперь, через двадцать пять лет, Ирочка, как сквозь сон, припоминала этого Белоносова, — длинноногий, вихлястый, с зеленым лицом и длинной нечесаной гривой, он явился для нее тем идеалом, о котором она даже не смела мечтать. Сколько самых

глупых воспоминаний было связано с этим временем: Ирочка до тошноты зубрила свою алгебру и в промежутках целовала те страницы учебника, к которым прикасались костлявые руки Белоносова, а обрезки карандашей, которыми он писал, и бумагу с формулами, выведенными его рукой, она даже съедала, как страус. Белоносов имел всегда очень суровый вид и совсем не замечал своей тринадцатилетней ученицы, когда она, с блестевшими глазами и заливавшим все лицо румянцем, отвечала свой урок.

Четырнадцать и пятнадцать лет промелькнули для Ирочки как сладкий сон, от которого она не могла проснуться. Белоносов, наконец, обратил на нее свое внимание и начал даже развивать забавную толстушку. Генерал предоставил детям полную свободу и совсем не вмешивался в их личные дела, благодаря чему Ирочка могла не только гулять с своим развивателем по пыльным казанским улицам, сколько было душе угодно, но даже заходила на его студенческую квартиру, где она чувствовала себя на седьмом небе. Эта пыльная, грязная, душная комната, с колченогим столом и просиженным клеенчатым диваном, сделалась немой свидетельницей первых вспышек любви Ирочки, которая отдалась Белоносову беззаветно.

Ирочка не могла рассуждать или объяснять что-нибудь... Своя воля, свобода — все это теперь гнело и давило Ирочку, которая молилась на своего идола.

Белоносов между тем кончил курс по математическому факультету и поступил учителем гимназии в один из провинциальных городов, сказав Ирочке на прощанье:

— Ирочка, ты всегда была умной, рассудительной женщиной и поймешь, что... Одним словом, я женюсь.

Ирочка побелела от этих слов и жалким, убитым взглядом в последний раз взглянула на своего коварного идола. Ночью она приняла мышьяку, а утром, когда она металась в страданиях, молодой врач Корольков, попыхивая папироской, спокойно говорил:

— Эх, барышня, и отравиться-то толком не умели... Не только любовь, а даже и мышьяк требует меру: вы пересолили... Если бы вы приняли дозу вчетверо

меньше, тогда вам осталось бы только раскланяться с этим миром, как говорят китайцы.

— В другой раз я воспользуюсь вашим советом, — едва могла проговорить Ирочка.

— Бедная моя, — жалел генерал свою Ирочку, когда узнал об ее неудачной попытке отравиться. — Стоило из-за подлеца беспокоить себя. Послушай, толстушка, меня, старика... Ну, да что тут толковать! Все вы, бабы, на одну колодку: языком и туда и сюда, а как дошло дело до физиологии — и шабаш! Ох! уж это мне ваша бабья физиология. Нет, ты, моя толстушка, будь вперед поумнее. На твой век подлецов много будет, а ежели из-за каждого травить себя — нет, жирно будет!.. А все ваша проклятая физиология бабья...

Генерал сильно состарился за последние года и, как все оставшиеся не у дел, как-то совсем опустился. Его полное красное лицо обрюзгло и обложилось жирными мешками; глаза потухали, а кончик носа принимал предательский сине-багровый оттенок, потому что от скуки и безделья генерал привык утешаться водкой.

Выздоровление Ирочки шло быстрыми шагами. Молодая натура, как помятая весенняя трава, счастливо пережила неожиданное потрясение и расцвела краше прежнего. Конечно, Ирочка в этом случае многим была обязана доктору Королькову, который каждый день навещал больную. Это был разбитной малый, от которого веяло вечным праздником. Он вносил с собой всюду струю самого беззаботного веселья. Притом Ирочка ему нравилась, что удесятеряло его веселье.

— Мы еще поживем с вами досыта, — фамильярно говорил он своей пациентке, которая заметно притихла и упала духом. — Необходимо смотреть философски на жизнь и на людей. Этот ваш Белоносов чистый дурак, потому что не умел ценить своего счастья. Я бы на его месте никогда так не сделал...

Ирочка скоро утешилась в обществе доктора Королькова. Но это была уже не первая любовь: она теперь преследовала своего сожителя сценами ревности, подозрениями и горячими домашними перепалками. Впрочем, Корольков сам был виноват в этом: его постоянно тянуло от одной женщины к другой, и похо-

ждения доктора делались известны Ирочке; она уходила от него к отцу, но он опять являлся к ней, приносил с собой чистосердечное раскаяние в содеянных грехах, клялся всеми богами, что исправится, и Ирочка прощала ему все. Так дело тянулось лет пять, пока Корольков не наткнулся на одну очень пожилую вдову с рябым безобразным лицом и ястребиными глазами; она не только женила его на себе, но совсем придавила и загнала.

Ирочка опять осталась одна, на полной своей воле и, занятая своими личными делами, как-то не замечала, что делалось в родной семье, которая после смерти генеральши расползлась в разные стороны. Братья давно кончили курс в университете и поступили на службу; одна сестра умерла от тифа, другая рассорилась с отцом и поступила в гувернантки к богатому купцу. Генерал Касаткин давно махнул на детей рукой и продолжал свою «оппозицию», как он называл водку. В одно прекрасное утро старый генерал за стаканом крепкого чая отдал свою душу богу, и Ирочка осталась одна.

Разрыв с Корольковым, смерть отца, свои под тридцать лет, а больше всего новый характер шестидесятых годов — все это вместе взятое заставило Ирочку крепко призадуматься. Казань ей надоела; все кругом было точно пропитано самыми тяжелыми воспоминаниями: недавние идеальные люди превратились в буржуа и открещивались от увлечений юности; общество преследовало то, чему недавно само же поклонялось, впереди нигде не видно было проблесков лучшего будущего. Но Ирочка надеялась на осуществление своих идеалов, хотя кругом нее все представляло самую печальную картину разрушения; она решилась ехать в Петербург, где вместе с работой надеялась встретить и настоящих хороших людей.

В Петербурге она встретила людей с такими же недостатками, как и в Казани, и перебивалась целых десять лет, переходя от одной профессии к другой. И здесь ее преследовали те же неудачи, как в Казани: люди, с которыми она сходилась близко, всегда кончали тем, что обманывали ее более или менее наглым

образом. Каждый раз после такого случая Ирочка давала себе слово, что уж в следующий раз ничего подобного не повторится. Ирочка одолела три новых языка и жила переводами, не отказываясь ни от какой работы: была корректором, ретушером, служила в книжном магазине, открывала какую-то мастерскую — словом, все было испробовано. Но, несмотря на все эти испытания, она оставалась прежней толстушкой, с неизменным румянцем на щеках, и оставалась слепо верующей в свое дело и в тех людей, которые для нее в дни юности были окружены ореолом героев. Свои личные дела она не смешивала с тем направлением, в котором кружилась с детства. На ее глазах недавние герои развенчивались, уступая место другим; идеи старели и заменялись новыми; жизнь создавала новые идеалы, типы и средства. Ирочка ничего не хотела знать и, присутствуя при медленном вымирании деятелей и идей начала шестидесятых годов, она даже не допускала мысли, что прежние «дети» превратились в «отцов», давно полиняли, выветрились и износились.

Несмотря на все толчки и передряги, Ирочка все еще верила в «людей слова». Только семидесятые годы заставили ее оглянуться назад и сравнить это шумное прошлое с настоящим. Странно, Ирочка не понимала народившихся «детей», не признававших ни шумных сходок, ни полуночных горячих бесед, ни даже заветных книжек. Эти новые «дети» пугали Ирочку своей молчаливостью. Таким образом, похоронив движение шестидесятых годов, Ирочка сознавала только одно, что она в Петербурге лишняя, что ей тут нет места, и уехала на Урал.

IV

— Вот и Вогульский... — проговорил Шипицын, когда они въехали на открытую вершину одной горы.

— А? Что?! — проговорила Ираида Филатьевна, просыпаясь от своих воспоминаний и останавливая взмыленную лошадь.

— Говорю: Вогульский... Вот, в ложбинке, налево.

Было часов восемь утра; солнце залило горы ярким,

ослепительным светом, и из общей массы зелени прииск Вогульский выделялся неправильной, ярко желтевшей заплатой. До него оставалось всего версты три-четыре. Направо, на самом горизонте синим дымком курился прииск Копчик. Ираида Филатьевна подобрала поводья и долго смотрела на зеленую даль, на эту чудную воздушную перспективу, прозрачную глубину, в которой тонул лес, горы и самое небо, едва тронутое легкими серебристыми облачками.

— Денег-то Хомутов добыл на Вогульском целую уйму, — тихо говорил Шипицын, стараясь удержать вороную лошадь, которая тянула в сторону, к зеленой траве. — В прошлом году зашиб тысяч пятьсот... Да-с. Плакали мои денежки...

— Как так?

— Да ведь он на мои деньги разведки-то производил, разбойник... Как же! Не поручись тогда я за него, ведь шабаш бы Хомутову. Ох-хо-хо... Вот и Копчик тоже, и Талый...

Они осторожно начали спускаться под гору. Лошади почуяли жилье и весело фыркали, мотая головами. Ираида Филатьевна поправилась в седле, встряхнула шлейф своей амазонки от насевшей на него пыли и точно вся замерла на какой-то одной мысли. Вся краска сбежала с ее полного лица, сочные алые губы сложились твердо и уверенно, глаза смотрели вдаль смело и вызывающе, точно отыскивая своего противника. Ираида Филатьевна чувствовала, как замерло ее сорокалетнее сердце, когда она завидела вдали контору на Вогульском: там Настенька, от которой разделяло их всего каких-нибудь четыре версты. Скорее, скорее...

Они спустились в глубокую лощину, затянутую чахлым ивняком, ольхой, кустами смородины и черемухи. Во всем чувствовалась близость прииска: в стороне ходили спутанные лошади, глухо позванивая медными боталами; в одном месте, на лесной прогалинке, трава была скошена только что сегодня утром, и от нее остался зеленый след по дороге; в пыли валялись пучки неуспевшей завянуть травы и уже свернувшие свои лепестки помятые цветы; деревья были вырублены, там и сям валялись кучи порыжелого прошлогоднего хворосту

и зеленые ветви молодых берез. Скоро из-за редкого елового подседа глянул и самый прииск; из-за мелькавшей сетки деревьев можно было рассмотреть глубокую шахту в горе, напротив — дробильную машину, которая молола золотосодержащий кварц, затем две золотопромывательных машины, катившиеся таратайки и кучки рабочих, которые красиво пестрили общий желтый фон прииска.

— Вы подождете здесь с полчаса, — говорила Ираида Филатьевна, подбирая поводья. — А потом и приезжайте прямо в контору...

— Хорошо-с... — смиренно отозвался Шипицын, теряя прежнюю бодрость. — Будьте спокойны-с, — прибавил он, не зная к чему.

В каких-нибудь пять минут иноходец принес Ираиду Филатьевну на другую сторону прииска и стрелой влетел на взлобочек, на котором красовалась новая контора с низкой тесовой крышей и крошечными окошечками. Рабочие с удивлением проводили глазами амазонку и отпустили несколько приличных случаю иронических замечаний...

Ираида Филатьевна, подъезжая к конторе, заметила в одном окне чье-то молодое, румяное бойкое лицо, но не могла разобрать: мальчик это или девочка. На топот лошади из людской выскочили два конюха и приняли лошадь; на крыльце конторы показался какой-то седенький старичок в потертой и порыжевшей плисовой визитке.

— Могу я видеть господина Хомутова? — спрашивала Ираида Филатьевна, инстинктивно принимая позу светской дамы.

Старичок замялся, но его вывел из затруднения молодой человек, показавшийся из ближайшей двери.

— Я сейчас их спрошу, — проговорил он, исчезая в другой двери, выходившей тоже на крыльцо.

Молодой человек не заставил себя ждать и, появившись снова на крыльце и встряхнув волосами, проговорил:

— Пожалуйте... вот сюда-с.

Комната, куда вошла Ираида Филатьевна, была убрана очень роскошно для прииска: пол был закрыт

бухарским ковром, стены оклеены новенькими обоями, у окна стояла ореховая дорогая конторка, заваленная бумагами и письменными принадлежностями; в одном углу, прикрытая легкими ширмами, стояла кровать, в другом — мраморный умывальник. Навстречу вошедшей Ираиде Филатьевне поднялся из-за письменного стола высокий, плечистый господин лет под шестьдесят, с свежим, румяным скуластым лицом, узким белым лбом, остриженными под гребенку волосами и узкими темными глазами. Вся фигура так и резала глаз своим полуазиатским происхождением, несмотря на крахмаленную сорочку и безукоризненную летнюю пару из чечунчи.

— Касаткина... — задыхаясь, проговорила Ираида Филатьевна; у ней в глазах рябило и металось пестрое пятно, которое выделялось за конторкой: это, без сомнения, была сама Настенька, одетая в малороссийский костюм.

— Очень приятно... — немного хрипло проговорил Хомутов, и, смерив амазонку с ног до головы, он прибавил, подавая стул: — Чему обязан видеть вас, madame?..

— Мне нужно переговорить с вами по одному очень важному делу...

Ираида Филатьевна остановилась и показала глазами на расшитое красными и синими узорами пятно; девушка поняла этот взгляд, порывисто поднялась с места и легкой походкой вышла из комнаты, кокетливо постукивая французскими каблуками сафьянных туфель. Как сквозь туман, для Ираиды Филатьевны промелькнуло миловидное характерное лицо с темными, опушенными густыми ресницами глазами, вздернутым, капризным носиком, пухлыми губками и тяжелой русой косой. Ираида Филатьевна должна была перевести дух, прежде чем могла что-нибудь сказать.

— Не хотите ли чаю? — предлагал Хомутов с вежливостью настоящего джентльмена.

— Нет, благодарю вас... — почти шепотом ответила Ираида Филатьевна, чувствуя, как все лицо ей залило яркой краской.

— Позвольте... — заговорил Хомутов, стараясь что-то припомнить. — Касаткина... Касаткина... Вы не дочь ли генерала Касаткина?

— Да.

— Ах, очень приятно, — уже совершенно развязно проговорил Хомутов, и по его толстым губам проползла чуть заметная улыбка. — Так это вы на Коковинском у французов живете?

— Да, я служу у m-r Пажона переводчицей...

— Так-с... да. О-чень приятно... — лениво и нахально протянул Хомутов, еще раз оглядывая свою собеседницу.

Хомутов не был злым человеком по природе, но Касаткина в его глазах была просто «пажонова наложница», и, следовательно, церемониться с ней было нечего. «Видали мы этаких-то генеральских дочерей на своем веку даже очень достаточно», — думал он, нахально рассматривая полную фигуру своей гостьи.

— Я приехала взять от вас Настеньку... — уже спокойно проговорила Ираида Филатьевна, сжимая одну перчатку. — Вы, конечно, согласитесь со мной, что такой молодой девушке не совсем удобно жить на прииске исключительно в мужском обществе...

— Вот как!.. — процедил Хомутов, не ожидавший такого оборота дела. — Для чего же вам она понадобилась?

— Это уж мое дело, и вы, как честный человек, должны согласиться со мной. Девочка погибнет у вас...

— Так-с... Гм!.. Погибнет... А у вас ей веселее, что ли, будет? Вот вы, слава богу, живете и не погибаете...

— Я... — вспыхнула Ираида Филатьевна. — Я совсем другое дело. Мне сорок лет, и я могу располагать своей судьбой, как хочу. Одним словом, это совершенно лишний разговор, и я желаю знать только одно: отпустите вы Настеньку со мной или нет?

— А позвольте узнать, госпожа, по какому вы праву можете требовать от меня Настеньку?

— Если вы хотите знать, я действую по желанию и просьбе Якова Порфирыча...

— Ха-ха-ха!.. — залился Хомутов, поднимая плечи. — За сколько же он продал Настеньку вашим французам?..

— Милостивый государь, вы забываетесь!.. — закричала Ираида Филатьевна, вскакивая с места, бледная, как полотно. — Я сумею заставить вас замолчать... Да!.. Вы думаете, что я — женщина, совершенно одна в вашей конторе, следовательно, со мной можно делать все, что угодно... Вы ошибаетесь и жестоко заплатите за свою дерзость!..

— Ну, ну, извините, барынька... — заговорил Хомутов, превращаясь опять в джентльмена. — Право, извините... Я ведь не злой человек. Не хотите ли лучше чайку?.. За самоварчиком и покалякали бы...

— Вы, кажется, хотите отделаться от меня шутками?

— Совсем нет... Я говорю серьезно. Видите ли, я даже хотел нарочно заехать к вам, на Коковинский, чтобы познакомиться с вами.

— Со мной?

— Да, с вами...

Хомутов проговорил последнюю фразу с такой добродушной откровенностью, что весь гнев Ираиды Филатьевны как-то сразу прошел, и она только подумала про себя: «Или этот Хомутов действительно добродушный человек, или самая тонкая бестия».

— Нет, право бы, самоварчик? Не хотите? Ну, как знаете... А с дороги оно было бы даже очень интересно, ведь тридцать верст тоже проехали да еще верхом.

— Нет, благодарю вас. Я очень тороплюсь... Пожалуйста, не задерживайте меня!

— Вот вы опять и сердитесь?.. Я к вам ото всей души, а вы... Ну, однако, об деле-то надо говорить. Видите ли, какая штука: я вдовец, мне под шестьдесят, но я еще в силах (Хомутов повел своими могучими плечами)... Хорошо-с... Только Настенька мне все-таки не пара, да и свои сыновья подросли, пожалуй и до греха недолго... Вы не подумайте, что я ее соблазнял или обольщал... Ни-ни!.. Сама пришла... Ей-богу! Да вот спросите ее, она сама вам расскажет. Ну-с, так выхо-

дит, что эта самая Настенька даже мне в тягость, да и пред сыновьями совестно...

— Еще бы: вам шестьдесят, а девочке пятнадцать! Это просто варварство...

— Ах, право, как это вы круто разговариваете!.. Право, чайку бы? Ну, не буду, не буду, только не гневайтесь... Не хотите ли курить?

Ираида Филатьевна достала из кармана портсигар и закурила сигару; Хомутов молчал, подыскивая слова.

— Ну, я жду? — резко проговорила Ираида Филатьевна.

— Сейчас, сейчас... Я ведь и папашу вашего, Филата Никандрыча, очень даже хорошо знал. Он и в дому у меня бывал, да и вы тоже. Маленькой такой девочкой были... Вот я и думаю... Только вы, пожалуйста, не гневайтесь!.. Вот я и думаю: живете вы теперь на Коковинском, с этими французами... Ведь трудно вам?

— Нисколько! Пожалуйста, скорее кончайте...

— Извините, madame, вы не замужем?

— Да вам-то какое дело? Что вы меня исповедуете?

— А я к тому речь веду, что Настеньку вы от меня возьмите, пусть ее с французами поживет, а сами на Вогульский переезжайте... Ей-богу, барынька!

— Да вы с ума сошли?

— Даже нисколько... Я от души, и никаких дурных мыслей не держу в голове. Живите у меня, как сами пожелаете, и только всего. Может, и сойдемся...

— Никогда!!. Вы, во-первых, пустили Шипицына по миру со всей семьей, во-вторых, самым бессовестным образом воспользовались неопытностью пятнадцатилетней девочки, в-третьих...

— Это вам все Шипицын наврал...

— Я ему должна верить, потому что обвинение против вас налицо.

— Это вы про Настеньку-то опять?

— Да, про нее...

Хомутов быстро пошел к двери и, вернувшись, проговорил:

— Послушайте, барынька... Я не знаю, что вы хотите делать с Настенькой, но я... Вы мне не поверите... Да?.. Спросите ее...

Хомутов вышел... Через пять минут в комнату вошла Настенька. Ираида Филатьевна так и впилась в нее глазами. Да, это была та самая Настенька, которую она вчера полюбила и о которой промечтала целую ночь: небольшого роста, но вполне сформировавшаяся, с гибкими, крадущимися движениями, она производила с первого раза очень выгодное впечатление; а смуглое с загорелым румянцем лицо, с неправильно выгнутыми черными бровями и кошачьи-ласковым взглядом темных глаз с широким зрачком, принадлежало к тому загадочному типу лиц, которые точно специально созданы природой для любви. «О, да это настоящий тигренок», — подумала Ираида Филатьевна, когда Настенька вопросительно и ласково смотрела на нее.

— Нам прежде необходимо познакомиться, — заговорила Ираида Филатьевна. — Надеюсь, мы полюбим друг друга, то есть я, как увидала вас, так и полюбила.

— И я тоже...

Ираида Филатьевна горячо поцеловала Настеньку, и, не выпуская ее рук из своих, она порывисто и несвязно передала цель своего приезда на Вогульский прииск. Девушка молчала, перебирая смуглой, с детскими ямочками рукой расшитый край своего передника.

— Я говорила с господином Хомутовым, — закончила свою речь Ираида Филатьевна, стараясь заглянуть в глаза Настеньки, — теперь дело за вами. Я уверена, что вы уедете со мной, то есть с вашим отцом, который ждет нас недалеко от прииска. Вам и лошадь готова.

— И папа здесь?

— Да. Если вас что-нибудь затрудняет, будьте вполне откровенны со мной... Может быть, вам тяжело расстаться с Вогульским прииском?

— А где я буду жить?

— Вы будете жить у меня, на Коковинском прииске...

— А папа?

— Про папу я ничего не знаю, как он думает устроиться...

Подумав немного, Ираида Филатьевна прибавила:

— Если вам тяжело будет расставаться с вашим

папой, тогда мы устроим его на нашем прииске, подыщем ему какую-нибудь должность...

— Нет, я так сказала...

С последними словами из-под густых ресниц у Настеньки выступили две слезинки, и по лицу промелькнуло конвульсивное движение. Ираида Филатьевна обняла девушку и ласковым шепотом ее спросила:

— О чем вы плачете, голубчик?

— Так... — по-детски отвечала Настенька, потихоньку всхлипывая.

— Вам, может быть, не хочется ехать отсюда?

— Нет, хочется... только, пожалуйста, скорее...

Эта сцена была прервана чьим-то неистовым криком, который раздался на крыльце, а затем послышалась глухая возня, площадная ругань и прежний неистовый крик. Можно было отчетливо различить, как на полу крыльца упирались и барахтались чьи-то ноги, а затем тяжело, с хриплым криком, рухнуло какое-то человеческое тело. «А... подлец! Нашел я тебя... на́ше-ел!..» — хрипел чей-то голос, пересыпая свои слова неистовой руганью.

— Ведь это папа кричит... — в ужасе прошептала Настенька, одним движением кидаясь в двери.

Крыльцо теперь представляло такую картину: на полу лежал с окровавленным лицом Шипицын, а Хомутов, придавив его коленом, одной рукой держал за горло.

— Я тебя наше-ел... подлец! — хрипел Шипицын, начиная синеть.

— Он... хотел меня убить... — задыхавшимся голосом прошептал Хомутов, указывая на свое разорванное платье; лицо у него было исцарапано, а на носу катилась капля свежей крови.

— Господа, что же это такое! — металась Ираида Филатьевна, напрасно стараясь стащить Хомутова с Шипицына. — Разве вы не видите, что он пьян?..

— Он меня камнем хотел убить...

После долгих усилий дерущихся, наконец, разняли; Шипицын действительно едва стоял на ногах. Пока Ираида Филатьевна разговаривала с Хомутовым, он успел докончить бутылку с коньяком.

— Где у вас лошади? — спрашивала Ираида Филатьевна.

— Воронко-то убежал... — смиренно проговорил Шипицын, приходя в себя; его одежда сильно пострадала в неравной борьбе. — А я тебя все-таки убью!.. — заревел он, обращаясь к Хомутову. — Мало тебе моей крови — ты из детей моих кровь пьешь!.. Настенька...

Пьяный, обезумевший старик опять ринулся было на Хомутова, но его во-время удержали старичок в плисовом пиджаке и давешний молодой человек.

— Мы сейчас едем, — проговорила Ираида Филатьевна, когда со стороны прииска привели сбежавшую лошадь.

V

Настенька поселилась на Коковинском прииске.

Ираида Филатьевна была неузнаваема, точно она пережила вторую молодость. С утра до поздней ночи она хлопотала без устали; этот труд доставлял ей великое наслаждение, потому что все делалось для нее, для Настеньки. Толстушка переродилась разом и, стряхнув с себя гнет тяжелых воспоминаний, зажила новой, молодой жизнью, счастливой своим самоотречением. Вечная жажда любви, томившая ее, теперь, как в фокусе, сосредоточилась на Настеньке: каждый новый день приносил новое счастье — открывать новые совершенства в этой загадочной девушке. Даже роль кающейся Магдалины придавала Настеньке тысячу новых неуловимых прелестей. Ираида Филатьевна совсем забывала о себе. Часто она просыпалась по ночам, точно в комнате спал грудной ребенок, и по целым часам просиживала у постели Настеньки, не смея дохнуть; она ловила каждый вздох своего божка и часто украдкой целовала рассыпавшуюся русую девичью косу или полную детской полнотой с пояском посредине шею. Иногда от прилива тайного счастья у толстушки навертывались на глазах слезы, и она не сдерживала их, всем существом отдаваясь сладкому чувству материнской любви.

Сама Настенька едва ли понимала и сотую часть того, что творилось вокруг нее; она, как котенок, напившийся теплого молока, сладко потягивалась и позевывала, не обращая особенного внимания на куриные хлопоты толстушки и не утомляя себя заботами о будущем. Есть такие люди, которые способны вполне «растворяться в настоящем», выражаясь языком Шопенгауэра, и мысль о будущем не оставляет на их лицах ни малейшей тени. Глядя на эту беззаботную, немного ленивую и неизменно веселую Настеньку, толстушка часто завидовала непоколебимому равновесию ее душевных сил.

— Ах, это вы... — удивилась однажды Настенька, когда, проснувшись ночью, увидала у своей кровати Ираиду. — Как вы меня испугали!..

— Я... мне показалось, что ты неправильно дышишь... — лгала толстушка. — Не болит ли у тебя что-нибудь, моя крошка?

— Нет, я здорова...

— Может быть, тебе жестко спать?..

— Нет, напротив...

— Ведь ты мне скажешь, когда у тебя что-нибудь заболит?

— У меня никогда ничего не болит.

Этот наивный детский ответ рассмешил Ираиду Филатьевну до слез, точно на нее пахнуло из далекого прошлого собственной молодостью, не знавшей, куда деваться с своими, просившими выхода, силами.

Присутствие Настеньки сделало контору неузнаваемой: на окнах появились белые занавеси, на полу бухарский пушистый ковер, в простенке между окнами новенький ореховый туалет со множеством ящиков и шкатулочек; подоконники были заставлены душистыми левкоями и резедой, а на ночном столике у кровати Настеньки чья-то невидимая рука каждое утро выставляла свежий букет из полевых цветов и душистой травы. Сама Ираида Филатьевна больше не наряжалась в свою мужскую канаусовую рубаху, а щеголяла в широких домашних платьях из какой-то пестрой летней материи. Настеньке было предложено на выбор несколько платьев, и она остановилась на самом скром-

ном из них, сшитом из тонкой батистовки с бледным синим рисунком; когда Настенька надела в первый раз это платье, зачесала гладко волосы, выбрала самый простой гладкий воротничок и подошла здороваться к Ираиде Филатьевне, та даже немного отступила и, покачивая головой, с невольной гордостью проговорила:

— О, да у тебя есть вкус, моя крошка... да!.. Настоящая Маргарита... Нет, Маргарита все-таки была немка, вялая немка, а ты походишь на... кошечку. Да?.. Знаешь, Настенька, какие у тебя глаза странные: никак не разберешь, какого они цвета... То вдруг сделаются совсем темные, то кажутся серыми, то зелеными.

— Как у кошки? — засмеялась Настенька.

Первые дни своего пребывания на Коковинском прииске Настенька совсем не показывалась из своей комнаты на крыльцо, составлявшее теперь нейтральную почву, на которой сходились все за чаем, обедали и ужинали. «Ей необходимо отдохнуть и успокоиться от своего прошлого, — думала толстушка. — Конечно, наши мужчины не много с ней наговорят, но примутся таращить глаза, оглядывать всю...» M-r Пажон несколько раз спрашивал Ираиду Филатьевну, когда она, наконец, покажет им свою каящуюся Магдалину, и при этом так гнило улыбался, что толстушка чуть-чуть не выцарапала ему глаз. Герр Шотт тоже вздыхал что-то особенно смиренно и с умилением заглядывал в глаза Ираиде Филатьевне, точно старый закормленный кот. Один мистер Арчер оставался джентльменом попрежнему и попрежнему был серьезен и молчалив.

Ираида Филатьевна сильно боялась за первое появление Настеньки в этой сборной мужской компании, но дело обошлось самым счастливым образом: Настенька появилась на крыльце с скромным достоинством настоящей благовоспитанной девицы, так что мужчинам оставалось только относиться к ней с полным уважением, что и было исполнено.

— А она ничего... — заметил после Пажон.

— Как это прикажете понимать? — резко спросила Ираида Филатьевна, которая теперь начала относиться к своему сожителю очень сурово.

— Я ничего, кажется, не сказал обидного...

— Тем хуже для вас, потому что у вас это обидное вертелось на языке... Поймите же, что Настенька — такой же человек, как все другие люди, и оставьте свои пошлые мысли.

— Но я не виноват, что природа устроила мужчину и женщину несколько иначе...

— Опять глупо!.. Природа ничего не устраивала для наших пошлостей, которые придумали уж сами люди.

Настенька стала появляться на крыльце, как свой человек, и держала себя с независимой простотой, так что Ираида Филатьевна торжествовала и за нее и за себя. Победа была одержана полная, хотя Ираида Филатьевна и следила самым ревнивым взглядом за каждым движением «этих проклятых мужчин».

Старик Шипицын ради Настеньки тоже был устроен на прииске, в какой-то маленькой должности при золотопромывательной машине и все время не пил, уверяя Ираиду Филатьевну, что он теперь не только не может пить, но даже «вполне презирает эту самую водку». По вечерам Шипицын иногда заглядывал в контору, но в комнату Настеньки, несмотря на все приглашения, не входил, а становился у окошечка и тут беседовал с своей «стрелой». Эта идиллия умиляла Ираиду Филатьевну, и она даже против желания начинала верить, что старик Шипицын, может быть, и совсем бросит водку для своей Настеньки. Сила любви неизмерима и творит чудеса.

— Отчего же вы не хотите в комнату идти? — допрашивала старика Ираида Филатьевна.

— Нет-с, и без того много вам благодарны-с, — уклончиво отвечал Шипицын. — Мы свое место хорошо знаем... Не под кадриль нам с господами иностранцами компанию водить.

В хорошие дни Ираида Филатьевна уходила с Настенькой куда-нибудь в лес и была совершенно счастлива. Они бродили по лесу целые часы и возвращались на прииск с корзинкой грибов или ягод. Каждый раз они брали с собой легкий завтрак и, когда уставали, выбирали где-нибудь под елью или березой укромное местечко и отдыхали на полной свободе, не стесняясь

ничьим посторонним присутствием. Странное дело, как Ираида Филатьевна ни ухаживала за Настенькой, последняя все-таки оставалась для нее каким-то сфинксом, которого никак не разгадаешь. Ираида Филатьевна до сих пор не знала даже того, что нравится или не нравится Настеньке, что она любит, чего желала бы; только в лесу эта загадочная Настенька стряхивала с себя всякую неприступность, начинала болтать без умолку, пела и дурачилась, как сумасшедшая.

— Э, да ты у меня лесная птичка! — восхищалась Ираида Филатьевна. — Любишь лес?

— Очень... Когда маленькая была, постоянно в лесу жила. Дома скука: мама вечно жаловалась и плакала, папа пьяный. Уйдешь в лес с мальчишками — весело! Я отлично на деревья лазила...

Ираида Филатьевна с жадностью хваталась за малейший обрывок таких воспоминаний Настеньки, чтобы по ним хотя приблизительно составить себе картину развития этой брошенной на произвол судьбы девочки и затем определенно идти к цели. А цель была ясна: Настенька — богатая, непосредственная натура, лишенная даже тени какого-нибудь развития, но Ираида Филатьевна не сомневалась, что стоит только бросить семена знания на эту нетронутую почву — и произойдет чудо умственного и нравственного просветления. Даже круглое невежество Настеньки, которая едва могла читать по складам и писала без малейших признаков орфографии, — даже это невежество нравилось Ираиде Филатьевне, потому что она могла начать постройку здания с фундамента. «Развить эту девушку и вывести ее на настоящую дорогу», — вот была золотая мечта Ираиды Филатьевны, и она ухватилась за нее обеими руками. План был набросан в пять минут: сначала дать время Настеньке отдохнуть и оглядеться, и в это время изучить ее характер, привычки, недостатки и склад ума; затем осторожно приступить к самому «развитию», начать, конечно, с тех заветных книжек и плохо переписанных тетрадок, над которыми пятнадцатилетняя Ирочка пережила столько счастливых часов. Да, это была блестящая идея: заветные

книжки должны пробудить в Настеньке жажду знания, а там уже все пойдет, как следует.

Дальше... Первым делом, конечно, бросить прииск и переселиться куда-нибудь в глухой уездный городок, где и начать трудовую отшельническую жизнь. Да, это будет отлично, а когда Настенька станет на собственные ноги, тогда можно будет перебраться и в Питер: пусть Настенька посмотрит на *настоящую* жизнь и *настоящих* людей. Руководствуясь опытом собственной тревожной жизни, Ираида Филатьевна хотела вперед застраховать Настеньку от возможных ошибок и заблуждений духа и плоти. Из Настеньки выработается идеальная женщина, и она, наконец, заживет той счастливой жизнью, которая для самой Ираиды Филатьевны осталась недосягаемым идеалом. Вблизи этой молодой натуры Ираида Филатьевна чувствовала себя свежее, испытывая тот прилив сил, какой дает нам только молодость; в ней смутно заговорило нравственное чувство, и она с ужасом оглянулась назад, где, как из тумана, выплывали совсем чужие для нее теперь фигуры: Белоносова, Королькова и до m-r Пажона включительно.

— Все это... грязь и обман, — шептала она побелевшими губами, хватаясь за голову.

«Никто из этих подлецов и никогда не любил меня, — с щемящей тоской думала она далее. — Разве это была жизнь? Сплошной обман и самообман. Ох, Настенька, Настенька, не знаешь ты, моя ласточка, что господь бог создал женщину в минуту своего гнева!..»

Когда Настенька была достаточно подготовлена к принятию развития, Ираида Филатьевна, прежде чем приступить к делу, пережила что-то вроде священного трепета. Нервы у ней поразвинтились за время скитаний, и теперь то, что в теории казалось так просто и ясно, на практике волновало ее и даже нагоняло сомнения. А если она не сумеет приняться за дело?

— Настенька, а ты не думала иногда... — дрогнувшим голосом начала она свое роковое объяснение. — Одним словом, у тебя не являлось желание учиться?

Настенька с удивлением посмотрела на свою покровительницу и как-то загадочно улыбнулась.

— Меня учила читать одна старушка начетчица, — уклончиво ответила она.

— По псалтырю? Может быть, она била тебя?

— Нас пять девочек у ней училось... Всех колотила. Возьмет да козонками по голове и ударит, а то лестовкой по спине отхлещет.

— Ну, я не про такое ученье говорю, моя милая. Тебе хотелось бы знать, как люди жили раньше, как они живут теперь в разных странах?.. Отчего у нас бывает тепло и холодно, зима и лето, бедные и богатые, добрые и злые? Ведь все это интересно знать... да?

— Не знаю...

— А вот, если захочешь учиться, тогда и будешь все знать... Я сама тебя буду всему учить, хочешь?

— Хочу... А по-французскому вы будете меня учить?

— Если желаешь, и по-французскому будем учиться!..

С этого разговора и началось развитие Настеньки. Ираида Филатьевна не любила откладывать дела в долгий ящик, достала из чемодана свои книжки и тетрадки и с лихорадочным жаром принялась за работу в тот же день. Толстушка не хотела видеть, что Настенька решительно ничего не понимает и не чувствует и иногда потихоньку зевает, стараясь замаскировать себя рукавом. Ираида Филатьевна позабыла все на свете и душила свою несчастную ученицу заветными книжками далеко за полночь, а ученице эти книжки казались горше козонков и лестовки старухи начетчицы.

VI

За своей новой работой Ираида Филатьевна совсем охладела к m-r Пажону, который только возмущал ее своей вежливостью и вообще всей накрахмаленной, молодившейся фигурой.

Дни делались заметно короче, и по вечерам в помещении господ иностранцев от трех трубок стоял дым коромыслом, чего, впрочем, сами курильщики не замечали. Пажон от скуки учил двух пуделей, за которыми

Макар нарочно ездил за двести верст; мистер Арчер ходил из угла в угол, плотно сжав губы и заложив руки за спину; герр Шотт возился с своим гербарием, а когда все ложились спать, он зажигал тоненькую восковую свечку, защищаемую шелковым экраном, и потихоньку работал из разноцветной почтовой бумаги маленький очень красивый коврик. Нужно отдать справедливость трудолюбию и искусству герра Шотта: в течение двух недель усиленной тайной работы он едва успел сделать всего один уголок красивого коврика. В это время кузина мистера Арчера, не получая обычных писем от кузена, пролила много напрасных девичьих слез; добрая девушка из своей старой Англии видела глазами любви дорогого кузена, пригвожденного на далеком Урале к одру болезни тяжким недугом... Как бы удивилась эта милая особа, если бы увидела, как в действительности крепко спал мистер Арчер самым здоровым сном и уж совсем не походил на труднобольного человека. Дело в том, что мистер Арчер был занят изучением русского языка, и ему решительно недоставало времени на письма.

Однажды, когда Ираида Филатьевна с Настенькой чистили на крыльце ягоды для какого-то варенья, мистер Арчер долго и сосредоточенно наблюдал за их работой, а потом совершенно неожиданно процедил сквозь зубы, на ломаном русском языке, комплимент красоте Настеньки.

Ираида Филатьевна резко заметила мистеру Арчеру по-английски:

— До настоящей минуты я считала вас, молодой человек, гораздо умнее... Разве можно говорить такие вещи молоденьким девушкам?

— Я не виноват, что мисс Анастази сегодня такая хорошенькая, — невозмутимо отвечал англичанин.

— Но вы все-таки должны себя держать джентльменом...

Занятия с Настенькой по части развития подвигались крайне туго, ученица не только не понимала умных книжек и хороших стихов, но обливалась крупным потом над первыми четырьмя действиями арифметики. Таким образом, пришлось изменить немного

план развития этой дикарки и вместо умных книжек высиживать с ней арифметические задачи. Однажды, когда такой урок порядком надоел учительнице и ученице, под окнами неожиданно раздался звонкий лошадиный топот, и Настенька быстро спряталась за косяк.

— Да ведь это Хомутов?! — в ужасе прошептала Ираида Филатьевна, которой сейчас же представилось, что этот ужасный человек приехал за Настенькой.

Она выпрямилась и как-то вся надулась, как наседка, которая приготовилась защищать свой выводок от налетевшего ястреба; через минуту она уже была на крыльце и встретила Хомутова очень холодным вопросом:

— Вам кого угодно, милостивый государь?

— Да я *так* приехал... — добродушно отозвался гигант, передавая своего тюркменского иноходца Макару. — Об вас соскучился, Ираида Филатьевна, ей-богу!..

— А я так о вас нисколько... Однако вам кого угодно видеть? Господин Пажон на прииске, и в конторе никого нет...

— Мне вашего Пажона и не нужно совсем, пусть его погуляет по прииску. Я собственно с вами хотел побеседовать...

— Благодарю за внимание, но мне как раз решительно некогда сейчас.

— Я подожду...

— Да что вы привязались так? Кажется, могли бы сообразить, что я не желаю совсем беседовать с вами...

Хомутов несколько мгновений вопросительно смотрел на Ираиду Филатьевну, а потом с своей добродушной улыбкой проговорил:

— Вы, барынька, думаете, что я о Насте соскучился и приехал отбивать ее у вас?

Хомутов засмеялся своим хриплым смехом и махнул рукой.

— Я не желаю знать, зачем вы приехали сюда, но на вашем месте я не сделала бы так... Понимаете?

— Почему же это?

— Вы и этого не понимаете? — с презрительной улыбкой проговорила Ираида Филатьевна. — Вы, ка-

жется, уверены, что, имея деньги, можно делать все и, мало этого, можно смотреть в глаза другим людям с чистой совестью...

— Это вы опять насчет Насти?

— Кажется, я довольно ясно высказалась...

Эти слова заставили Хомутова улыбнуться какой-то глупо-загадочной, безнадежной улыбкой, и он прибавил вполголоса:

— А вы спрашивали Настю, как все дело вышло?

— Я этого не желаю знать и не имею права на такие вопросы...

Хомутов помолчал с минуту и потом с какою-то больной улыбкой проговорил:

— Знаете, Ираида Филатьевна... мне вас жаль... да! Вот вы образованная женщина и генеральского происхождения, а *этого* не понимаете. После попомните мои слова, да будет поздно...

— Вы напрасно трудитесь застращивать меня: я не из робкого десятка... и даже ждала с вашей стороны этого подходца.

Хомутов молча повернулся, сел на своего иноходца и уехал на прииск.

Это посещение сильно встревожило Ираиду Филатьевну, и она со страхом ждала следующего появления Хомутова на Коковинском прииске. Действительно, через несколько дней хомутовский иноходец был привязан у самой конторы к столбу, а его хозяин сидел в комнате с господами иностранцами, с которыми вел беседу при помощи герр Шотта. Это нахальство и дерзость взорвали Ираиду, и она не показалась с Настенькой за обедом на крыльце. Она с ужасом слушала, как раскупоривались бутылки и вся компания начинала говорить все громче и громче.

«Сегодня же нужно уехать отсюда, — решила про себя Ираида Филатьевна. — Этот разбойник, кажется, способен на все...»

Она, вероятно, не замедлила бы привести свою мысль в исполнение сейчас же, но этому помешало то, что путь к отступлению был отрезан: сейчас после обеда на крыльце устроился сибирский вист с винтом, сопровождавшийся обильным возлиянием. Очевидно,

все было в заговоре против нее, и она металась по своей комнате, как зверь в клетке.

— Чего вы так беспокоитесь? — старалась успокоить Настенька свою учительницу. — Велика беда, поиграют, напьются и разойдутся...

— Но ведь это заговор против меня! Понимаешь: против меня... Они все запляшут под дудку этого Хомутова!.. Это какие-то куклы... Чтобы я после этого осталась здесь?!. Никогда!..

— Куда же вы думаете уехать? — нерешительно спрашивала Настенька.

— А ты поедешь со мной?

— Да...

— Там увидим куда... Свет не клином сошелся, моя крошка. Давно бы следовало уехать, да все проклятая лень заедала: с насиженного места не хотелось трогаться. Э!.. Все это вздор... Мы еще с тобой поживем...

Настенька тихо засмеялась.

— Ты над чем это смеешься? — обидчиво спрашивала Ираида Филатьевна.

Девушка молча кивнула головой по направлению дверей, откуда доносился смешанный гул голосов.

Игра продолжалась до самого вечера, а когда все стихло, Ираида Филатьевна осторожно выглянула в слегка приотворенную дверь. На крыльце никого не было, и только показавшийся молодой месяц матовыми серебряными полосами играл по зеленой траве. Ираида Филатьевна вышла на крыльцо и в ужасе отступила назад: на ступеньках лестницы, где она недавно разговаривала с Шипицыным, теперь сидел сам Хомутов и смотрел на нее остановившимся, бессмысленным взглядом совсем пьяного человека.

— П-послу-ушай... — замычал Хомутов, делая напрасное усилие подняться на ноги. — Все гор-рит в нутре... воды испить... смерть моя пришла...

Эта бессвязная речь разогнала весь страх Ираиды Филатьевны, и она, не давая себе отчета в своем поступке, побежала в комнату за графином воды и нашатырным спиртом. Вся проза вытрезвления была ей известна досконально. Чтобы сразу привести в чувство Хомутова, Ираида Филатьевна в стакан с водой пу-

стила несколько капель нашатырного спирта. Это лошадиное лекарство для этого колосса было детской игрушкой.

— Спасибо, барынька... — проговорил потом Хомутов, когда выпил два графина самой холодной воды.

— Натирайте виски вот этим спиртом...

— Нет, не надо... Ты мне чего-то подсунула, барынька? Сразу весь хмель вышибло... А все это твой Пажон, старый петух: пристал с шартрезом, что не выпить мне одному бутылки. Ну, и выпил... Перехитрил, французский петух!.. Совсем было ослабел... да... ослабел. Отродясь не бывало этакого страму...

— А вы сегодня не ездите домой.

— Нет, не поеду... Я еще с тобой буду говорить.

— Послушайте... вы забываетесь!..

— Нет, ты теперь меня послушай, барынька... Ты меня послушай!.. Да ты меня не бойся... Скажи сейчас: «Хомутов, але-марш в воду!» Только пузырьки пойдут... Ей-богу!.. Да... Э-эх, барынька, барынька!.. Разговор-то у меня мужицкий, ну, да не в этом дело... А ведь я тебя полюбил, вот те Христос. Как ты меня тогда отругала... помнишь, в моей конторе? Ну, я тебя и полюбил...

— Вам, право, теперь спать пора, а в любви мне успеете объясниться завтра, — уговаривала Ираида Филатьевна.

— Нет, ты слушай... И обругать человека не мудрено, — продолжал Хомутов в каком-то раздумье, — вон Шипицын даже искусал меня тогда... Не в этом дело!.. Да... Видишь, у Хомутова много золота, да не все золотом купишь. Так? Вот и Настя... Ну, да это другая статья совсем. Я про тебя-то хочу сказать, как ты меня тогда приняла, как наступила на меня... Ха-ха!.. Нет, видно, не все золотом купишь... Вот я тебя тогда за то и полюбил, потому неподкупная, гордая у тебя душа. Ты и сама себе цены не знаешь, и Настя не знает... Да! А я вот тебя насквозь вижу... Вижу, как ты меня боишься и ненавидишь. А напрасно... боишься-то напрасно!.. Хомутов — пропащая голова... верно!.. А отчего он пропадет? От силы от своей, барынька, от силы-мочи... Некуда с ней ему деться. Так-то!.. Все

льнут к золоту, все тебя обманывают, ну, и расстервенишься... Теперь взять, какие наши бабы? Был я женат и еще жениться могу, а все эти наши бабы на одну колодку скроены: либо боится тебя, как мышь, либо под башмак загонит, а настоящей чести в такой бабе все-таки нет... Гонору нет, потому так она себя не чувствует, своей силы не знает. Вот я тебя и жалею, — неожиданно прибавил Хомутов, встряхивая своей головой, — задарма пропадешь, барынька.

— Это не ваша забота.

— Нет, погоди... я ведь тебя от совести жалею: теперь тебе тяжело, а впереди еще тяжельше будет... Вер-рно!.. Ты меня сторожишься, а себя не жалеешь... Беда-то не по лесу ходит, а по людям...

— Чего же мне жалеть себя?

— Сама себе беду наживешь... Твоя-то беда теперь тебе в глаза смотрит, улыбается, а...

— Вздор!..

— Ты думаешь, Хомутов пьян, зря мелет... Нет, голубчик, у Хомутова сердце об тебе болит... да!..

— Скажите мне одно, — уже задумчиво и серьезно проговорила Ираида Филатьевна, усаживаясь на крылечко рядом с Хомутовым: — зачем вы разорили Шипицына, обольстили его любимую дочь и теперь его же и ненавидите?

— С Шипицыным нас бог рассудит... Мы тут все запутались, а теперь поди разбирай, кто прав.

— Положим даже, что вы и сами не уверены были в своей виновности, чего же стоило вам выбросить старому другу пять—десять тысяч, чтобы оградить себя от нареканий!.. Вот чего я не понимаю! Ведь вы другим помогаете же, я знаю, а Шипицына преследуете...

— Видите, барынька, прежде-то я даже и думал ему помочь, да он все со злом да с гордостью ко мне приставал. Ну, оно, это самое дело, так и затянулось... А теперь уж ему не поможешь, Шипицыну-то. Если ты скажешь одно слово, — прибавил Хомутов, — своими ручками бери и отдай Шипицыну, сколько тебе поглянется. Отворю сундук, и бери...

— Нет, вы лучше сами ему отдайте, а не для меня.

— Не могу... Шипицын-то вам рассказывал, да не

все. Есть у меня старушка мать, очень древняя старушка, вот она и проклянет меня, ежели я помогу Шипицыну. Видишь, у ней с Шипицыным разговор такой вышел, крупный разговор. Надо полагать, сказал он ей, матери-то моей, что ни на есть обидное. А что он ей сказал — я неизвестен, потому родительница молчит... Мать-то мне прямо сказала: «Прошка, ежели ты хоть грош дашь Шипицыну, нет тебе моего благословения родительского во веки веков. Прокляну... А без моего благословения погибнешь, аки червь!» Ндравная старуха, одним словом.

— Ну, а я, барынька, домой, — заговорил Хомутов, прерывая сам себя и поднимаясь с места. — Тошнехонько мне на твоих французов смотреть...

Как Ираида Филатьевна ни уговаривала Хомутова не ездить ночью, он настоял на своем и взлез на выстоявшегося иноходца.

— Приезжайте как-нибудь, — проговорила Ираида Филатьевна, когда Хомутов снял шляпу, — побеседуем.

— Спасибо, барынька... Это я тебе пьяный все разболтал, а трезвому стыдно будет глаза показать. Да... А ты подумай, о чем я тебе толковал. Ежели круто придется, только перешли мне весточку: я всех в один узел завяжу для тебя... Слышала?..

— Нет, мне еще ни к кому не случалось обращаться за помощью...

— Гордость одолела... Ну, как знаешь... А только попомни мое слово: берегись того, кого любишь.

Хомутов стегнул нагайкой иноходца и пропал в белом густом тумане, которым был залит весь прииск; только удары лошадиных копыт о камни еще несколько мгновений нарушали мертвую тишину летней уральской ночи.

Когда Ираида Филатьевна вернулась в свою комнату, Настенька уже спала на своей кровати крепким сном. Она, очевидно, дожидалась Ираиды Филатьевны и прилегла на кровать, не раздеваясь. «Берегись того, кого любишь», — вспомнила Ираида слова Хомутова и долго и внимательно смотрела в спокойное лицо Настеньки, залитое ровным горячим румянцем. Девушка спала, слегка раскрыв свои пухлые розовые губы; ров-

ное, спокойное дыхание едва можно было заметить, по лицу расплывалась какая-то неопределенная мысль, заставлявшая одну бровь приподниматься. Длинные пушистые ресницы бросали на закрытые глаза густую тень, так что казалось, что эти глаза смотрят, смотрят не зрачком, а как темные неясные пятна.

Странно, за несколько часов перед этим Ираида Филатьевна считала Хомутова разбойником и страшно боялась его, а теперь... теперь ей немножко было жаль его. Это было совсем особенное чувство, которое столько раз губило Ирочку. Она хорошо знала его симптомы: душу охватывала неопределенная тоска, между тем в сердце теплилось горячее желание, и глаза застилало туманом.

— Ну, Ирочка, пожалуйста, без глупостей, — проговорила она сама себе вслух, распахивая окно.

Половина неба была затянута тучей; где-то вдали глухо рокотала летняя гроза, и тянуло свежей пахучей струей. Перед грозой трава всегда сильно пахнет. Несколько звездочек весело мигали в углу окна.

VII

Хомутов действительно больше не показывался на Коковинском прииске; Ираида Филатьевна скоро позабыла о нем и его странных разговорах.

Приближалась осень. В жизни Ираиды Филатьевны это время года всегда являлось критическим моментом, и ее всегда страшно тянуло куда-нибудь в город. Но теперь она была не одна, и ее очень заботил вопрос о будущем. Чем они будут существовать с Настенькой? Где устроятся? Не махнуть ли с последними пароходами в Питер? Последняя мысль была особенно заманчива, но Ираида Филатьевна боялась сразу окунуть свою воспитанницу в вечные сумерки столичного существования, с его голодовками и холодовками. Сама Настенька не высказывалась, куда ей хотелось бы переехать, и отвечала каждый раз уклончиво.

— Мы с тобой так сделаем пока, — предлагала Ираида Филатьевна: — возьмем у господина Пажона

отпуск недели на две, съездим в соседний город. Может быть, там устроимся, а если нет, тогда махнем дальше.

Настенька ничего не имела против такого плана, и они решились выехать через три дня. Но накануне отъезда Настенька сильно прихворнула. Голова у ней была горячая, глаза мутны.

— Придется одной ехать, — решила Ираида Филатьевна. — Медлить нельзя.

— А как же я здесь одна останусь? — спрашивала Настенька. — Я боюсь.

— Глупости... Кругом порядочные люди, и никто не осмелится беспокоить мою больную девочку.

Перед самым отъездом, когда лошади уже были поданы, Настенька неожиданно расчувствовалась и расплакалась. Эти первые слезы тронули Ираиду Филатьевну, и она, целуя Настеньку, ласково ее спрашивала:

— О чем ты плачешь, моя крошка? Ведь я скоро вернусь и увезу тебя отсюда. С тобой вместо меня останется одна старушка, которая не даст тебя никому в обиду. Ну, о чем ты плачешь?

— А если вы не приедете? — сквозь слезы спрашивала Настенька.

— Вздор!.. Будь умницей и выздоравливай поскорее.

— Вы всегда так любили меня... заботились...

— О, это пустяки, моя хорошая!.. Я тебе всегда говорила, что мы все эгоисты и все на свете делаем для собственного удовольствия или выгоды. Если я тебя взяла к себе, значит, мне это было или выгодно, или приятно, следовательно, не может быть и речи о какой-нибудь благодарности.

— Скорее приезжайте, Ираида Филатьевна! Мне без вас будет очень скучно.

Настенька бросилась к ней на шею и со слезами целовала ей все лицо и шею, так что та принуждена была даже поохладить эти нежности. Загадочная Настенька притихла и как-то вся съежилась; она показалась теперь Ираиде Филатьевне такой маленькой и жалкой девочкой.

— Вы мне отвечаете за мою девочку... Понимаете?.. — проговорила Ираида Филатьевна при отъезде Пажону.

— О, будьте покойны, совершенно покойны! — уверял старик, улыбаясь слащавой неопределенной улыбкой.

— Особенно берегитесь Хомутова... — настаивала Ираида Филатьевна. — Это такой человек, который... Одним словом, вы мне отвечаете за все, что здесь случится.

В душе ее опять проснулся безотчетный страх к Хомутову, и она оставила прииск в самом тревожном настроении. Едва ли она так тревожилась бы, если бы оставляла на прииске свою родную дочь.

Ровно через неделю Ираида Филатьевна возвращалась домой и нетерпеливо ждала, когда из-за леса увидит, наконец, Коковинскую приисковую контору.

Дела были устроены, работа отыскана, но всю дорогу у Ираиды Филатьевны болело сердце. Она сама не могла отдать себе отчета в своей тревоге. То ей казалось, что Настенька опасно больна; то она видела Хомутова, который ехал на Коковинский прииск с коварной целью похитить Настеньку; то она начинала бояться тысячи тех случайностей, которые может придумать только возбужденный мозг.

Наконец дорога кончилась, с вершины последней горки Ираида Филатьевна увидела вдали знакомый низенький домик, о котором она столько думала. По наружному виду все оставалось попрежнему, и из одной трубы весело поднималась кверху синяя струйка дыма.

Когда экипаж подъезжал к самой конторе, Ираида Филатьевна заметила, как из-за угла показалась было фигура Шипицына и быстро спряталась. Тяжелое предчувствие сдавило ее сердце. Вылезая из экипажа, она заметила голову Пажона, которая выглянула из дверей конторы и быстро спряталась. Из людской показался герр Шотт в ермолке и в старом халате; старик нес в руках что-то белое. Ираида Филатьевна заметила издали, что это были женские воротнички и манжеты.

Глаза их встретились. Немец остолбенел, выпустил из рук свою ношу и, шлепая стоптанными туфлями, как пойманный школьник, побежал обратно в людскую.

— Это черт знает что такое! — проворчала Ираида Филатьевна, взбегая на крыльцо.

Она только что хотела отворить дверь в свою комнату, как ей загородила дорогу молодая горничная в накрахмаленном белом переднике.

— Нельзя-с... — бойко проговорила горничная. — Барыня почивают... Не приказано будить.

— Какая барыня? Да ты с ума сошла, моя милая... Я здесь барыня и приехала к себе домой.

— Никак нет-с... У нас барыней Настасья Яковлевна. Третьева дня свадьба была в ...ском заводе.

— Какая свадьба? Что ты мелешь?..

— Барин Пажон-с женились на Настасье Яковлевне. Обыкновенная свадьба... А меня приставили к барыне горничной.

Ираида Филатьевна бессильно опустилась на стул, и у ней в голове все пошло кругом. Горничная с двусмысленной сдержанной улыбкой смотрела на нее и не оставляла дверей.

Ираида Филатьевна плохо помнила, сколько времени она просидела в этом положении; ее заставила очнуться маленькая желтая собачка, которая с чисто собачьим участием к человеческому горю ласково лизала ей руки. Откуда взялась эта собака — бог ее знает: до этого времени Ираида Филатьевна никогда не видала ее на прииске.

— Куда? — проговорила глухо Ираида Филатьевна, когда пришла в себя. — Куда теперь?

Горничная ушла от дверей, за которыми слышался теперь шелест накрахмаленных юбок и плеск воды. «Барыня умывается...» — подумала Ираида Филатьевна и сейчас же прибавила про себя: «А я зачем сижу здесь?»

Было часов двенадцать; солнце стояло над головой, но в его лучах уже не было летнего зноя. Дыхание наступавшей осени чувствовалось во всем: зелень на деревьях побледнела и перешла в желтые тона; трава высохла; недавний утренник прихватил несколько мо-

лодых березок, и они выделялись из остального леса яркими, лимонно-желтыми пятнами. В двух-трех местах, как облитая кровью, стояла осина.

— Зачем же обман?.. — стонала Ираида Филатьевна, хватаясь за голову. — Зачем было обманывать?

— Войдите, — послышался из-за дверей голос Настеньки.

В первую минуту Ираида Филатьевна не хотела идти в свою комнату, но потом ее страстно потянуло туда. Еще раз взглянуть на *нее,* на ту, за которую она готова была отдать свою жизнь.

Когда Ираида Филатьевна вошла в комнату, Настенька лениво поднялась к ней навстречу из-за туалета, пред которым поправляла свой батистовый чепчик с эльзасским бантом. На ней был надет длинный батистовый пеньюар со множеством богатых прошивок.

От объяснения с Настенькой у Ираиды Филатьевны закружилась голова и подкосились ноги: ей предложили поискать другого места. Она хотела крикнуть, но только беззвучно раскрыла рот и жалким растерянным взглядом смотрела на улыбавшуюся Настеньку. Может быть, все это сон? — мелькнуло в ее голове, и она даже провела ладонью по холодному лбу, — нет, это была сама действительность, которая жгла ей грудь и камнем давила сердце.

— А я чуть не забыла... — спохватилась Настенька, придавая своему лицу серьезное выражение. — Без вас здесь почти каждый день приезжал Хомутов и все спрашивал, когда вы приедете. Он, наверно, и сегодня будет...

— Настенька!.. — глухо застонала Ираида и выбежала из комнаты.

«Куда? Зачем?» — вертелись в голове ее вопросы, когда она очутилась на крыльце и на нее пахнуло свежим воздухом.

Лес был так же зелен, как всегда; осеннее солнце обливало золотыми волнами все кругом; где-то беззаботно чиликала безыменная лесная птичка; покоем и тишиной веяло отовсюду — той тишиной, какой природа преисполняется только осенью, как человек, который готов заснуть.

— Куда? Зачем? — уже вслух спрашивала себя Ираида Филатьевна, бесцельно хватаясь одной рукой за дорожную сумочку.

Она упала на первый попавшийся на глаза стул и, схватившись за голову обеими руками, тихо зарыдала. Целый ряд ярких картин промелькнул в ее голове, и каждая картина раздавливала ее, как колеса катившегося по ней поезда, и тут же из глубины души, из полузабытых детских воспоминаний, неизвестно как, зачем и для чего, выплыла тихая семейная сцена... Вот Ирочке восемь лет; она лежит в своей теплой мягкой постельке и сладко спит утренним детским сном, которого никак не может разогнать старая няня Акимовна, вынянчившая еще самого генерала Касаткина. «Ирушка, вставай, голубушка, — шепчет старушечий голос, и костлявая сморщенная рука забирается под одеяло, чтобы пощекотать баловницу, — благовестят, Ирушка». — «Я сейчас, Акимовна: одну минуточку», — сладко шепчет девочка, не открывая глаз. Опять набегает сладкий и могучий детский сон, и опять слышится старушечий голос: «Ирушка, отблаговестили!..» Чьи-то дрожащие руки любовно и осторожно натягивают чулок на детскую ногу, и маленькая Ирочка сквозь сон, точно из бог знает какой дали, слышит: «Ирушка, трезвонят... Вставай, ласточка!» — «Акимовна, голубчик, одну секундочку...» Старушка долго смотрит на разметавшуюся девочку, качает задумчиво головой и ласково шепчет: «Ну, ин, понежься...» Но через мгновение старая Акимовна приходит в себя и каким-то испуганным голосом начинает шептать: «Ирушка, оттрезвонили! А?.. Ирушка, отблаговестили!..»

— Отблаговестили... оттрезвонили... — машинально повторяет теперь Ираида Филатьевна слова старой Акимовны, и теперь они жгут ее огнем: впереди темно, холодно, некуда больше идти...

Конский топот заставил ее поднять голову; не видя еще ничего, она уже чувствовала, что это едет Хомутов. Да, это его иноходец звонко бьет копытом землю... Первым движением ее было куда-нибудь убежать, скрыться, но она вспомнила, как давеча бежал от нее Шотт, как прятался за угол Шипицын, — и осталась на

месте. А Хомутов уже входит на крыльцо в каком-то татарском азяме и издали улыбается ей. Она ненавидела его в это мгновение, ненавидела за его физическую силу, за самоуверенную улыбку...

— Ираида Филатьевна...

— Не подходите... — в ужасе шепчет она, точно стараясь что-то припомнить. — Погодите, одну минуту погодите...

Хомутов остановился с протянутой рукой на воздухе.

— Послушайте, сходите к *ней,* — шепчет она, показывая головой на контору, — скажите ей, что я прощаю ей все... Понимаете... решительно все!.. Я уйду отсюда, только... только я хочу проститься с ней.

Хомутов нехотя вошел в контору, и Ираида Филатьевна от слова до слова слышала его разговор с Настенькой, которая нарочно громко отрезывала каждое слово. «Что еще за нежности?» — почти кричала она на Хомутова.

Когда Хомутов повернулся к двери, глухой выстрел заставил его вздрогнуть. На крыльце, корчась в предсмертной агонии, лежала Ираида Филатьевна, около нее валялся дрянной револьвер. На выстрел из всех щелей показались люди и, как всегда бывает в таких случаях, начали поднимать умиравшую.

— Отходит... — прошептал Макар, когда Ираида Филатьевна распустилась на его руках, как подстреленная птица.

Уткнувшись в угол лицом, тихо захныкал старик Шипицын; Хомутов стоял над самоубийцей растерянный и убитый.

— Эх, светлая была душа... — медленно и с расстановкой проговорил он, глубоко надвигая на свою голову широкую шляпу.

М-г Пажон, глядя на безмолвно лежавшую m-lle Иру, молодцевато покручивал усы. Мистер Арчер бесстрастно осмотрел бывшую переводчицу и ушел к себе в комнату, чтобы продолжать начатое письмо в Англию к кузине, которая не получала от него никаких известий в течение целого месяца.

БОЙЦЫ

Очерки весеннего сплава
по реке Чусовой

Ой, дубинушка, ухнем!..

I

Мы приехали на пристань Каменку ночью. Утром, когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей комнаты; где-то любовно ворковали голуби, задорно чирикали воробьи, и с улицы доносился тот неопределенный шум, какой врывается в комнату с первой выставленной рамой.

Весна, бесспорно, самое лучшее и самое поэтическое время года, о чем писано и переписано поэтами всех стран и народов; но едва ли где-нибудь весна так хороша, как на далеком, глухом севере, где она является поразительным контрастом сравнительно с суровой зимой. Притом южная весна наступает исподволь, а на севере она, наоборот, производит быстрый и стремительный переворот в жизни природы, точно какой невидимой могучей рукой разом зимние декорации переменяются на летние. С ясного голубого неба льются потоки животворящего света, земля торопливо выгоняет первую зелень, бледные северные цветочки смело

пробиваются через тонкий слой тающего снега, — одним словом, в природе творится великая тайна обновления, и, кажется, самый воздух цветет и любовно дышит преисполняющими его силами. Прибавьте к этому освеженную глянцевитую зелень северного леса, веселый птичий гам и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лес, и поля, и воздух. Это величайшее торжество и апофеоз той великой силы, которая неудержимо льется с голубого неба, каким-то чудом претворяясь в зелень, цветы, аромат, звуки птичьих песен, и все кругом наполняет удесятеренной, кипучей деятельностью. Я люблю этот великий момент в бедной красками и звуками жизни северной природы, когда смерть и немое оцепенение зимы сменяется кипучими радостями короткого северного лета. Именно такой весенний апрельский день смотрел в окна моей комнаты, когда я проснулся на Каменке: весна гудела на улице, точно в воздухе катилось какое-то громадное колесо.

Распахнув окно, я долго любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной бойкой пристани, залитой тысячеголосой волной собравшегося сюда народа; любовался Чусовой, которая сильно надулась и подняла свой синевато-грязный рыхлый лед, покрытый желтыми наледями и черными полыньями, точно он проржавел; любовался густым ельником, который сейчас за рекой поднимался могучей зеленой щеткой и выстилал загораживавшие к реке дóрогу гóры. В логах еще лежал снег, точно изъеденный червями; по проталинам зеленела первая весенняя травка, но березы были еще совсем голы и печально свесили свои припухшие красноватые ветви.

Каменка, одна из нижних чусовских пристаней, раскинула свои полтораста бревенчатых изб по крутому правому берегу в углу, который образовала с Чусовой бойкая горная речка Каменка. Моя комната была во втором этаже, и из окна открывался широкий вид на реку и собственно на пристань, то есть гавань, где строились и грузились барки, на шлюз, через который барки выплывали в Чусовую, лесопильню, приютившуюся сейчас под угором, на котором стоял дом, где я

остановился, и на красовавшуюся вдали двухэтажную караванную контору, построенную на самом юру, на стрелке между Каменкой и Чусовой. За рекой Каменкой, на низком, отлогом берегу, приткнулась маленькая деревушка, точно она сейчас вылезла из воды своими двумя десятками избушек и теперь сушилась на солнечном пригреве. Гавань устроена, вероятно, из островка или песчаной косы, которая образовалась в самом устье Каменки; нижняя часть этой косы была соединена с крутым берегом, на котором раскинулась пристань широкой плотиной. Берега гавани всплошную обставлены деревянными магазинами для склада металлов, строившимися и совсем готовыми барками; везде валялись бревна, сложенные в желтые квадраты, свежий тес, обломки сгнивших барок, кучи пакли, ко́зла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых варили смолу для барок, дополняли картину. Весь берег был залит народом, который толпился главным образом около караванной конторы и магазинов, где торопливо шла нагрузка барок; тысячи четыре бурлаков, как живой муравейник, облепили все кругом, и в воздухе висел глухой гул человеческих голосов, резкий лязг нагружаемого железа, удары топора, рубившего дерево, визг пил и глухое постукивание рабочих, конопативших уже готовые барки, точно тысячи дятлов долбили сырое, крепкое дерево. И над всей этой картиной широкой волной катилась бесшабашная бурлацкая «Дубинушка», с самыми нецензурными запевами. Не успевал замереть в одном месте дружный окрик работавших бурлаков, как сейчас же с новой силой вставал в другом. Могучий вал самой пестрой смеси звуков гулким эхом отдавался на противоположном берегу и, как пенистая волна вешней полой воды, тянулся далеко вниз по реке, точно рокот живого человеческого моря. Эта картина кипучей деятельности тысяч людей представляла неизмеримый контраст с тем глубоким мертвым сном, каким покоится пристань Каменка целый год, за исключением двух-трех недель весеннего сплава. Еще день или два, река взломает лед, и вместе с водой уплывет вся эта

бешеная работа, неистовый шум и крик, и опять все будет тихо и мертво кругом вплоть до будущей весны.

— С весной, голубчик! С весной поздравляю! — кричал хриплым голосом хозяин моей квартиры, врываясь в комнату в высоких охотничьих сапогах и в коротком ваточном пиджаке.

— А скоро река тронется, Осип Иваныч?

— Э, голубчик, чего вы захотели... Да послушайте, милый человек, вы, кажется, еще не проснулись порядком: это бессовестно!.. Слышите: бессовестно... Я с четырех часов утра колочусь, как каторжный, а вы тут прохлаждаетесь. Вы посмотрите хоть на нашу пристань — ведь это целый ад, пекло какое-то... Ох, подлецы, подлецы!!!

— Кто это провинился так?

— Как кто? А бурлаки? Ведь их четыре тысячи, анафем, а у меня горло одно... Понимаете: одно! Сразу охрип... Ох, моченьки моей не стало с этими мошенниками!..

Осип Иваныч энергично вытер свое вспотевшее румяное лицо бумажным платком, поправил спутавшиеся на голове редкие русые кудри, закрывавшие на макушке порядочную лысину, и залпом опрокинул две рюмки водки из графина, который стоял на угловом столике. Приземистая широкоплечая фигура Осипа Иваныча с красным затылком и высокой грудью служила как бы олицетворением преисполнявшей его энергии; выкатившиеся карие глаза с опухшими красноватыми веками смотрели блуждающим, усталым взглядом, как у человека, который только что сейчас вырвался из жестокой свалки. Русая бородка и большие усы носили следы самого бесцеремонного обхождения: Осип Иваныч, когда начинал сердиться, немилосердно ерошил свою бороду и грыз усы, а так как сердиться ему решительно ничего не стоило, то бороде и усам доставалось порядком.

— Ох, подлецы! — ворчал Осип Иваныч сквозь зубы, с ожесточением прожевывая сухую корочку хлеба. — Аспиды!..

— Да чем они вас так обидели, Осип Иваныч?

— Как чем?.. Сегодня какой день... а? — грозно

приступил он ко мне, размахивая руками. — Какой день?

— Кажется, двадцать третье апреля...

— Вот то-то и есть: «кажется»... Вы бы в моей коже посидели, тогда на носу себе зарубили бы этот денек... двадцать третьего апреля — Егория вешнего — поняли? Только ленивая соха в поле не выезжает после Егория... Ну, обыкновенно, сплав затянулся, а пришел Егорий — все мужичье и взбеленилось: подай им сплав, хоть роди. Давеча так меня обступили, так с ножом к горлу и лезут... А я разве виноват, что весна выпала нынче поздняя?..

Наругавшись всласть и пропустив еще две рюмки, Осип Иваныч совсем другим тоном проговорил:

— Пойдемте со мной, посмотрите, как мы в смоле кипим. Сначала надо завернуть в кабак...

— Зачем?

— Народ гнать на работу. Только отвернись — сейчас в кабак... Я вам говорю: разбойники и протоканальи! А всех хуже наши каменские... Заберут задатки и в кабак, а там как хочешь и выворачивайся, хоть сам сталкивай барки в воду да грузи!..

В передней мы натолкнулись на мужика в разорванной красной рубахе; одной рукой он держался за стену, стараясь сохранить равновесие. По красному лицу и блуждающему взгляду мутных глаз можно было принять этого мужика за трудно больного, если бы от него не отдавало на целую версту специфическим ароматом перегорелой водки.

— Это ты, Савоська? — окликнул мужика Осип Иваныч.

— А то как же... я... я!..

— Чего тебе надо?

Мужик только что раскрыл рот для необходимых объяснений, как Осип Иваныч уже обрушился на него с необыкновенным азартом:

— Да ты где, каналья, шары-то [1] налил?.. а?!. С какой радости... а?!. Люди работают, надрываются, а он...

---

[1] Шары — глаза. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Осип Иваныч... дай опохмелиться!

— Чего?

— Опохмел...

— Вот тебе опохмелиться, а вот закусить! — крикнул Осип Иваныч, схватывая Савоську за ворот и ловким подзатыльником выталкивая за дверь.

Мужик только загремел ногами по лестнице и кубарем выкатился на улицу, к удивлению толпившегося около дома народа.

— Гли, робя: Савоську опохмелили! — слышался из толпы чей-то веселый голос. — Ай да Осип Иваныч! уважил! Хороший стаканчик поднес!

— Видели? — спрашивал Осип Иваныч с улыбкой.

— Да...

— А между тем этот Савоська один из лучших сплавщиков у нас... Золото, а не мужик. Только вот проклятая зараза: как работа, так он без задних ног. Чистая беда с этими мерзавцами!

Когда мы вышли на улицу, Савоська писал мыслете по самой середине улицы, сдвинув свою рваную шляпенку на одно ухо. Это был красивый мужик лет сорока, с широким бородатым лицом и русыми кудрями, которые лезли из-под шляпенки во все стороны шелковыми кольцами. Он пробовал было затянуть песню, но выходило какое-то дикое мычание, и Савоська принялся ругаться в пространство, неровно взмахивая руками. Оглянувшись, он заметил Осипа Иваныча, остановился, подпер руки фертом и, пошатываясь, закричал:

— А я тебе... покажу, Оська!.. Подвяжу куфтой хвост-от... Веррно!..

— Ты у меня еще поразговаривай! — закричал Осип Иваныч.

— А мне плевать на тебя... Слышал?.. Плев...

Осип Иваныч ринулся вперед, но Савоська уже летел далеко впереди на всех рысях, потеряв свою шляпу.

— Прямо в кабак, шельмец, задул! — ругался Осип Иваныч, подбирая Савоськину шляпу.

II

Осип Иваныч служил на пристани приказчиком. Это был русский человек в полном смысле слова: бесхарактерный, добрый, вспыльчивый. Он обладал счастливой способностью с совершенно спокойной совестью ничего не делать по целым месяцам и просто лез на стену, когда наваливалась работа. Во время сплава он собственно был золотой человек, потому что лез из кожи в интересах транспортного общества «Нептун», которое отправляло металлы с Каменки, но, как часто бывает с такими людьми, от его работы выходило довольно мало толку. Осип Иваныч без всякого пути разносил в щепы совершенно невинных людей, также без пути снисходил к отъявленным плутам и завзятым мошенникам и в конце концов был глубоко убежден, что без него на пристани хоть пропадай.

— Я их всех насквозь вижу, разбойников, — уверял он, когда мы шли по широкой улице к кабаку. — Это варначье только меня и боится; у меня разговор короткий: раз-два и к черрту!! Они меня знают! Да вон посмотрите, как зашевелились у кабака: завидели грозу... Ха-ха!

Мы шли сначала по берегу Чусовой, миновали часовню, чей-то высокий деревянный дом с зеленой железной крышей и завернули за угол. Попадавшиеся на пути избы производили хорошее впечатление своими толстыми бревнами, крепкими воротами, крытыми наглухо, по-раскольничьи, дворами и белыми кирпичными трубами; известное довольство сказывалось во всем, начиная с тесовых крепких крыш и кончая стекольчатыми окошками и расписными ставнями. На берегу и около домов — везде попадались кучки бурлаков, с котомками и без котомок, в рваных полушубках, в заплатанных азямах и просто в лохмотьях, состав которых можно определить только химическим путем, а не при помощи глаза.

— Ишь, молодцы, только что явились на сплав! — ругался Осип Иваныч, когда попадались бурлаки с котомками. — Ужо я вам покажу кузькину мать!..

— А что же вы им сделаете?

— Я?!. У нас, голубчик, все это оформлено: просрочил явку на пристань — штраф; не явился на спишку барок — штраф; не пришел на нагрузку — штраф...

Дорогу нам загородила артель бурлаков с котомками. Палки в руках и грязные лапти свидетельствовали о дальней дороге. Это был какой-то совсем серый народ, с испитыми лицами, понурым взглядом и неуклюжими, тяжелыми движениями. Видно, что пришли издалека, обносились и отощали в дороге. Вперед выделился сгорбленный седой старик и, сняв с головы что-то вроде вороньего гнезда, нерешительно и умоляюще заговорил:

— Осип Иваныч! Мы уж к твоей милости...

— Откуда вы?

— Вятские мы, родимой мой, вятские...

— Ты не в первый раз на сплав пришел?

— Нет, не в первой... Раз с двадцать, может, уж сплыл.

— Ну, так чего тебе от меня нужно?

— Да вот запоздали мы, Осип Иваныч... Грех такой вышел; непогодье нас захватило, а дорога дальняя.

— Знать не хочу... Вздор!.. Что у тебя в контракте сказано... а?.. — заорал Осип Иваныч, выкатывая глаза. — Я, что ли, буду сталкивать да грузить барки за вас?.. Задатки любите получать?!. а?!.

— Да ведь задатки в волость пошли, за подушное... — как-то равнодушно оправдывался старик, совсем подавленный величием обступивших его нужд. — Подушное, Осип...

— А мне плевать на ваше подушное! Знать не хочу!!. Просрочил трое суток — за трое суток и штраф по контракту...

— Осип Иваныч, родимой! Мы ведь тысячу верст с залишком брели сюды... изморились! А тут ростепель захватила...

— Вздор!.. Я не бог... понимаешь? Я не бог...

Старик только махнул рукой и пожевал сухими синими губами. Артель стояла как вкопанная; на изветрившихся лицах трудно было прочитать произведенное этой сценой впечатление. Старик, перебирая в руках

свое воронье гнездо, что-то хотел еще сказать, но Осип Иваныч уже бежал к кабаку и с непечатной руганью врезался в толпу. Около кабака народ стоял стеной; звуки гармоники и треньканье балалаек перемешивались с пьяным говором, топотом отчаянной пляски и дикой пьяной песней, в которой ничего не разберешь. Эта толпа глухо колыхнулась и загудела, когда Осип Иваныч ворвался в самый центр и с неистовым криком принялся разгонять народ.

— Аспиды! Разбойники! Мошенники!! — ревел Осип Иваныч, как сумасшедший, не зная, на кого броситься; по пути он сыпал подзатыльниками и затрещинами.

Савоська выглянул из-за косяка кабацкой двери и быстро спрятался; на его месте показалась согнутая фигура заводского мастерового с запеченным лицом и слезившимися глазами.

— Осип Иваныч! Ты неправильно нас обиждаешь, — заговорил он, когда Осип Иваныч протолкался сквозь густую толпу до самых дверей. — Севодни наш день, а завтра — твой... Мы тебе отробим, все отробим, а ты нас не тронь...

— Ах ты...

Мастеровой вылетел из кабака от одного удара могучей десницы Осипа Иваныча, а за ним вслед, как вило́к капусты, полетел Савоська и растянулся плашмя на земле.

Пока Осип Иваныч совершал свои подвиги, записные пьяницы успели попрятаться за углами ближайших изб, чтобы опять забраться в кабак, когда гроза пронесется. Другие делали вид, что идут к гавани, но, завернув за угол первой улицы, совершали обходное движение, чтобы попасть в кабак с противоположной стороны. В числе последних был и Савоська в компании с ругавшимся и запеченным мастеровым, захватив по пути каких-то самых подозрительных девиц в коротких сарафанах и ярких платках на голове. В этой толпе женские лица попадались только в качестве исключений; домовитые хозяйки были завалены работой по горло, потому что нужно было прокормить чем-нибудь эту трехтысячную голодную толпу. Конечно,

бурлацкое брюхо не отличается особенной прихотливостью, но и оно боится пустоты.

После долгого неистовства верного служаки музыка и песни смолкли, и толпа кабацких завсегдатаев медленно начала расходиться, потянувшись длинным хвостом к гавани.

— Вы посмотрите только, что это за народ! — кричал Осип Иваныч, выскакивая из кабака уже без шапки. — Мошенник на мошеннике... И все наши каменские, либо заводские! Уж только и наррродец...

Действительно, большинство бурлаков, собравшихся около кабака, были каменские бурлаки и заводские мастеровые. И тех и других отличишь сразу. Для них весенний сплав — разливное море, вечный праздник. Каменские славятся по всей Чусовой как лучшие бурлаки, но зато и отчаяннее этих каменских не найти по всей Чусовой. Даже заводские мастеровые, тоже разбитной народ, не отличающийся особенной скромностью, далеко уступают каменским. Каменского бурлака вы сразу узнаете, хоть будь это распоследний пропойца и забулдыга, у которого весь костюм состоит из одних заплат. Он так умеет надеть на себя свои заплаты и идет по улице с таким самодовольным видом, что сейчас видно птицу по полету. А если он раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и маломальски приличным чекменем, он ходит по пристани гоголем и знать ничего и никого не хочет. Лихорадочная, каторжная работа на сплаву, бесконечная ленивая зима, когда бурлаку решительно нечего делать, затем водка при отвале каравана, водка на каждой хватке, водка на съемке обмелевших барок и самое кромешное, беспросыпное пьянство, когда караван привалит благополучно в Пермь, — все это взятое вместе создало совершенно особенный тип. Весенний сплав для Каменки — праздников праздник, и все одеваются в самое лучшее платье и ставят последний грош ребром.

Заводские мастеровые отличаются от каменских своими запеченными в огненной работе лицами, изможденным видом и тем особенным, неуловимым шиком, с каким умеет держать себя только настоящая заводская косточка. И чекмень на нем не так сидит, и

шляпа сдвинута на ухо, и ходит черт-чертом. Впрочем, на сплав идут с заводов только самые оголтелые мастеровые, которым больше деваться некуда, а главное — нечем платить подати.

— Много у вас заводских? — спросил я Осипа Иваныча, когда он несколько отдышался после горячей сцены у кабака.

— Достаточно и этих подлецов... Никуда не годен человек, — ну и валяй на сплав! У нас все уйдет. Нам ведь с них не воду пить. Нынче по заводам, с печами Сименса да разными машинами, все меньше и меньше народу нужно — вот и бредут к нам. Все же хоть из-за хлеба на воду заработает.

— А сколько вы платите бурлакам за сплав?

— Рублей восемь, десять, смотря по контрактам. У нас ведь круговая порука: артелями нанимаем. Один из артели не явился — вся артель в ответе.

— Да ведь таким образом при расчете на руки артели может ничего не достаться.

— Сплошь и рядом... В другой раз еще с артели следует получать, только взять-то с них нечего. А без артели — беда! Чуть запоздал сплав — все расползутся, как тараканы.

III

От кабака мы пошли к караванной конторе.

По пути нам попадались те же кучки бурлаков, которые росли и увеличивались с каждым шагом, пока не перешли в сплошную движущуюся массу. Эти лохмотья, изможденные лица, пасмурные взгляды и усталые движения совсем не гармонировали с ликующим солнечным светом и весенним теплом, которое гнало с гор веселые, говорливые ручьи.

— Осип Иваныч, ослобони! — взмолился было давешний седой старик, выступая из толпы.

— Нет, друг мой, не могу: у меня слово — закон! — отрезал неумолимый Осип Иваныч, торопливо шагая к караванной конторе.

Сейчас под угором, где начиналась плотина гавани, стояла пильня. Подавленный визг пил и какой-то осо-

бенный, хриплый звук разрезываемого сырого дерева мешался с всплесками и шумом вырывавшейся из-под водяного колеса воды. Пахло смолистым ароматом свежей сосны и елей, которые с хрипением умирающего вылезали из-под станка белыми правильными полосами досок. На плотине бурлаки смешались в сплошную массу, сквозь которую приходилось пробираться с большими усилиями, причем Осип Иваныч обратился опять к помощи самых отборнейших ругательств, выбор которых у него был замечательно разнообразен и приводил в изумление даже бурлаков.

— С этим народом иначе невозможно, — объяснял он, когда мы, наконец, продрались в караванную контору, где Осипа Иваныча уже дожидалось много народа. — Ох, смерть моя! — стонал он, не зная, кому отвечать. — У кабака с каменскими да с мастеровыми горло дери, а здесь мужичье одолевает.

Толпа колыхалась и гудела, как пчелиный улей. Здесь действительно собрались все крестьяне, пришедшие на пристань из Вятской, Казанской и Уфимской губерний. Кого-кого тут не было!.. Но на всех лицах в выражении глаз сказывалась одна общая печать: это были люди деревни, загнанные за сотни верст на сплав горькой, неотступной нуждой. Здесь не было и помину о той отчаянности, какой выделялись каменские бурлаки, не было и своеобразного шика заводских мастеровых: одна общая мысль, одна общая забота связывала эти тысячи бурлаков в один могучий стройный аккорд. Во всех взглядах можно прочитать одну мысль — мысль о земле, которая в такую горячую вешнюю пору сиротеет где-нибудь за тысячу верст. Общий интерес придавал этому оторванному от родной земли уголку крестьянского мира совершенно своеобразную физиономию: они принесли сюда свою великую крестьянскую заботу, от которой давно «ослобонились» мастеровые и разный другой сброд, какой набирается на сплав. Они подавляли молчаливым величием крикливые «качества» вырванных из земли с корнем людей, индивидуализированных в духе известной экономической школы.

Все время, пока мы шли до конторы, за нами по пятам пробирался небольшой взлохмаченный мужичонка в лаптях и в широком халате, какие носят только вятские. Он терпеливо и покорно выжидал, пока Осип Иваныч ругался направо и налево, а потом как-то вяло проговорил:

— А я к твоей милости, Осип Иваныч!

Осип Иваныч быстро вскинул глазами на мужика и с каким-то отчаянием замахал руками.

— Да ты зарезать меня хочешь, мошенник! — завопил он, с бешенством накидываясь на несчастного мужика. — Ну чего тебе от меня нужно... а?.. Ну говори, говори, не тяни за душу!

— Вторую неделю проживаемся на пристани... — спокойно отвечал мужик, переминаясь. — Обносились, хлебушка нет... двое из артели-то влежку лежат: огневица прихватила.

— Ну и пусть лежат, я-то чем виноват... а?.. Я разве бог?.. Мне-то какая радость держать вас на пристани?..

— А я к тому говорю, что кабы артель не выворотилась в деревню...

— Ахббожже ммой!!. А контракт? Что у тебя в контракте сказано: «Обязуюсь ждать сплава по первое число мая месяца, а свыше сего, ежели сплав затянется, назначается поденная плата в размере...»

— Оно тошно што, оно по контракту, Осип Иваныч... и обязались мы ждать, и насчет поденной платы... Только вот севодни Егория, а через неделю Еремея-запрягальника. Сумлеваюсь насчет артели, Осип Иваныч, как бы со сплаву не выворотилась.

— Я вот вам, подлецам, такого запрягальника пропишу, что до будущего сплава будете меня помнить! — горячился Осип Иваныч, начиная жестикулировать самым решительным образом. — «Сумлеваюсь, как бы артель не выворотилась»!.. Мошенники!.. Ты первый зажигатель и бунтовщик... понимаешь? Сейчас позову казаков, руки к лопаткам и всю шкуру выворочу наизнанку...

— Река-то когда еще пройдет, а пашня не ждет, — точно вслух думал бунтовщик.

— А ты все свое долбишь! а? — грозно зарычал Осип Иваныч, бросаясь с кулаками на бунтовщика. — Если ты мне еще раз покажешь свою рожу... да я... Ну купи, черт ты этакий, гармонику или балалайку и наигрывай, в кабак бы зашел от скуки... Разве я запрещаю?!

Мужик почесывался, переминался и опять начинал свою песню про Еремея-запрягальника, пашню и артель. Сцена кончилась тем, что Осип Иваныч, наконец, не вытерпел и выгнал бунтовщика из конторы в шею.

— Зачем вы его выгнали? — спросил я. — Ведь он совершенно верно говорил все...

— А я разве спорю, что не верно? Только он заключил контракт и должен его выполнить... А выгнал я его потому, что этот мужичонка-коновод расстраивает других. Таких молодцов на пристани до десятка наберется, всю душу вытянули. Да вон и другой лезет... Ах боже ммой!!

Каменская караванная контора представляла собой красивое двухэтажное здание с мезонином и широким железным балконом, выходившим прямо на реку. Во втором этаже была квартира караванного, Семена Семеныча, а в нижнем, в одной громадной комнате, помещалась собственно караванная контора, которая, как и все конторы, отличалась страшнейшим беспорядком, канцелярски-промозглым воздухом и специально деловой пылью и грязью. Двери, письменные столы, стулья, деревянная решетка, которой отгораживалось отделение для приходящих, — все было захватано сальными, потными руками, и в некоторых местах жирная грязь скопилась в толстые черные полосы. За двумя длинными столами помещались служащие, обложенные кипами бумаг; у самой решетки, за отдельным столиком, сидел кассир, старик лет под шестьдесят, с выбритым деревянным лицом и старинными очками в серебряной оправе на носу. Он методически, как заведенная машина, опускал правую руку в железный ящик, брал ассигнацию, большей частью рубль, и, мельком взглянув на предъявленный бурлаком контракт и расчетную книжку, передавал ее в мозолистые, корявые руки. Бумажка завертывалась в какую-нибудь

тряпицу или в пестрядевый кисет и затем исчезала за пазухой или за голенищем или просто уносилась из конторы в крепко сжатой руке. Перед кассиром дефилировал бесконечный ряд бурлацких лиц и лохмотьев.

— Эти все штраф заплатят? — спрашивал, сидя на окне, жирный подрядчик с толстой шеей.

— Да, запоздали... — весело отвечал молодой служащий с румяным лицом и белокурой шевелюрой. — Рубль штрафу, за каждый просроченный день...

— А Осип-то Иваныч как поправляется с бурлачиной! — лениво протянул подрядчик, закуривая крючок из махорки. — Он у вас теперь вроде как главнокомандующий... Ишь, так петухом и наступает, так и наступает!.. Только и пасть же уродил ему господь: труба-трубой.

Служащие переглянулись и засмеялись. В углу на скамейке дремал оренбургский казак с нагайкой через плечо; фуражка с голубым околышем сбилась на одну сторону, по безусому молодому лицу бродило много мух. Два других казака, сидя рядом на подоконнике, играли в «хлюст». Это была стража при становом, который обязательно является на каждый сплав для устранения недоразумений. Когда Осип Иваныч, окруженный бурлаками, начинал голосить особенно неистово и с отчаянием вздымал обе руки к небу, казаки вскакивали с подоконника и на минуту вытягивались в струнку.

— Тьфу!! Черт вас всех возьми... Провалитесь вы совсем! — ругался Осип Иваныч, задыхаясь от жары.

В конторе было страшно накурено, и сгущался тот специфический миазм, какой приносит с собой в комнату наш младший брат в лаптях. А в большие запыленные окна гляделось весеннее солнышко, полосы голубого неба, край зеленого леса. Я поскорее вышел на крыльцо, чтобы дохнуть свежим воздухом.

Около конторы народ попрежнему стоял стена-стеной, и попрежнему это был крестьянский люд. Выгнанный Осипом Иванычем бунтовщик был окружен целой толпой односельчан, с нетерпением ждавшей результатов ходатайства.

— Ну чего, дядя Силантий? — спросил белобрысый молодой парень с рябым лицом.

— По контракту, говорит... — ответил дядя Силантий, почесывая за ухом.

— Выворотимся! — решил плечистый мужик в рваном зипуне.

— Надо обождать — заметил Силантий. — Много ждали, маленько обождем.

Толпа загалдела. На ходока посыпались упреки и ругательства, но он только моргал глазами и отмахивался бессильным жестом рук. К этой артели присоединились другие, и в воздухе поднялся какой-то стон от взрыва общего негодования. Тут же толклись чердынцы, кунгуряки, соликамцы и тоже галдели и ругались, размахивая руками.

— Ну вас к богу совсем! — проговорил Силантий, усаживаясь на приступок крыльца. — Ступайте, коли хотите, а я останусь... Тебе, Митрей, видно, охота, чтобы шкуру спустили в волости, когда со сплаву прибежишь, — заметил он, вынимая из котомки берестяный бурак.

— И пусть спущают, — горячился белобрысый парень. — Я сам-сём в семье, а ежели пашню пропущу из-за вашего сплаву — все по миру пойдут... это как?..

— А так... Осип Иваныч сказывает: — «Купи, говорит, гармонь али балалайку и наигрывай...» Ну, будет тебе, Митрей, вот садись, ужо закусим хлебушка.

Митрий, олицетворенная черноземная сила, вдруг отмяк от одного ласкового слова дяди Силантия и присел на корточки около его таинственного бурака.

— Зачерпни-кось водицы, Митрей, бурачком-то!

Пока Митрий ходил с бураком за водой, Силантий неторопливо развязал небольшой мешок и достал оттуда пригоршню заплесневелых, сухих, как камень, корок черного хлеба.

— Что, плохи сухари-то? — спросил я Силантия.

— А какие есть, барин. И этих едва раздобылся: все приели бурлаки на пристани. Пристанские-то бабы денежку наживают около нашего брата. С лета начинают копить пищу про бурлаков, значит, к вешнему сплаву. Корочка хлебушка заваляласъ, заплесневела,

огрызок ребятишки оставили — все копят бабы, потому бурлаки съедят все, только бы хлебушком пахло. Тоже вот которая редька тронется, продрябнет, кислы [1] испортятся, картошка почернеет — все берегут для нас, а мы им за это деньги платим. Из дому не понесешь за тыщу-то верст...

Когда Митрий вернулся с водой, Силантий спустил в бурак свои сухари и долго их размешивал деревянной облизанной ложкой. Сухари, приготовленные из недопеченного, сырого хлеба, и не думали размокать, что очень огорчало обоих мужиков, пока они не стали есть свое импровизированное кушанье в его настоящем виде. Перед тем как взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились в восточную сторону. Я уверен, что самая голодная крыса — и та отказалась бы есть окаменелые сухари из бурака Силантия.

— Вы издалека? — спросил я, когда бурлаки выхлебали из бурака остатки мутной воды с плававшей плесенью, мелкими крошками и опять помолились.

— Дальние будем; дальние, барин. Из-под Лаишева пришли... — отвечал Силантий, надевая шапку. — Ну, Митрей, на сёдни потрапезовали, а к завтрю тебе промышлять пропитал... Дойди до деревни, может, найдешь где еще корочек-то.

Молодой мужик переминался и не шел.

— Што не идешь? Видно, в кармане пусто... Эх ты, горе липовое! У меня тоже не густо денег-то: совсем прохарчились на этой треклятой пристане, штобы ей пусто было...

Дядя Силантий из глубины пазухи добыл пестрядевый мешочек, бережно его развязал и высыпал на ладонь несколько медяков.

— Все тут. На, сходи к бабам, поищи.

Конфузливо собрав деньги с ладони дяди Силантия, Митрий исчез в толпе.

— Зачем вы нанимаетесь на сплав? — спрашивал я Силантия.

---

[1] Кислы — проквашенная мелкая капуста. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Нельзя, милый барин. Знамо, не по своей воле тащимся на сплав, а нужда гонит. Недород у нас... подати справляют... Ну, а где взять? А караванные приказчики уж пронюхают, где недород, и по зиме все деревни объедут. Приехали — сейчас в волость: кто подати не донес? А писарь и старшина уж ждут их, тоже свою спину берегут, и сейчас контракт... За десять-то рублев ты и должон месить сперва на пристань тыщу верст, потом сплаву обжидать, а там на барке сбежать к Перме али дальше, как подрядился по контракту.

— Ведь это для вас невыгодно?

— Какое выгодно! Нож вострой нам эти сплавы, вот што! Рассуди сам: сам теперь я из дому должон выйти на сплав за шесть недель, да сплаву прождешь другой раз все две недели, да на барке бежишь до Перми четыре дни, а дальше клади еще неделю. Сколь всего-то выйдет?

— Почти два с половиной месяца...

— Так, а другой раз и все три. А деньги-то, из десяти-то рублей, семь в подать пошли, рупь выдали, как пришли на сплав, а два рубли получим, когда караван привалит в Перме. На три-то месяца бурлаку рупь и приходится, а куды ты его повернешь? Теперь сколько одной лопотины [1] в дороге проносишь, сколько обуя [2], а пить-есть само собой... Вот Осип Иваныч-то даве говорит: купи гармонь али ступай в кабак, а того не думает, што у меня всю душеньку выворотило. Ночей не спишь, все про свое думаешь... За эти десять-то рублей я три месяца проболтаюсь да пашню опущу, — ну, а какой я мужик без пашни? Вон Митрей-то самсём: вот тебе и гармонь!

— Чем же вы живете эти три месяца? Неужели на один рубль?

— На рупь, барин, на него... Пока из дому бредем, так свойский, домашний хлебушко жуешь, а на пристане свой рупь и проживешь. На верхних пристанях

---

[1] Лопотйна — верхняя одежда, вообще платье. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Обуй — обувь. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

дают бурлакам по пуду муки, а то и по два. Говядины тоже, сказывают, дают фунтов по пяти на брата...

— Все-таки рубль на три месяца...

— Это еще што! И рупь деньги! А ты вот посуди, какое дело: теперь мы бежим с караваном, а барка возьми да и убейся... Который потонул — того похоронят на бережку, а каково тем, кто жив-то останется? Расчету никакого, котомки потонули, а ты и ступай месить свою тысячу верст с пустым брюхом... Вот где нашему брату беда-бедовенная!

— А тебе случалось так уходить со сплаву?

— Нет, меня господь миловал, а другие много приходят домой чуть не под Петров день... Ей-богу! Ведь это мужику разор, всю семьишку измором сморишь!

— Чем же бурлаки питаются, когда бредут домой с разбитой барки?

— А бог?..

Последнее было сказано с такой глубокой верой, что не требовало дальнейших пояснений. Я долго смотрел на убежденное, спокойное выражение облупившегося под солнцем лица Силантия, на его песочную бороденку и крошечные слезившиеся глазки; от этого лица веяло такой несокрушимой силой, перед которой все препятствия должны отступить.

Наш разговор и мои размышления были прерваны появившейся ватагой пьяных бурлаков, которая валила к конторе с песнями и пляской, диким гиканьем и присвистом.

— Ишь как камешки да мастеровые разгулялись, — задумчиво проговорил Силантий. — Им што: сполагоря — весь тут. Получил задаток и гуляй... Самый бросовый народ, ежели разобрать. Никакой-то заботушки, окромя кабака... Ох-хо-хо!.. Мы каменских бурлаков камешками зовем, барин...

— Да и они тоже не от радости в кабак идут, Силантий.

— Может, и так, кто их знает, а я к тому вымолвил, што супротив наших деревенских очень уж безобразничают. Конечно, им на сплав рукой подать, и время они никакого не знают...

IV

Я долго бродил по пристани, толкаясь между крестьянскими артелями и другим бурлацким людом. Шум и гам живого человеческого моря утомили слух, а эти испитые лица и однообразные лохмотья мозолили глаза. Картины и типы повторялись на одну тему; кипевшая сумятица начинала казаться самым обыкновенным делом. Сила привычки вступала в свои права, подавляя свежесть и ясность первого впечатления.

После обеда, когда я успел немного отдохнуть от вороха воспринятых ощущений, я опять отправился бродить по пристани, только на этот раз пошел не к караванной конторе, а в противоположную сторону, по нагорному берегу Чусовой, где виднелись сплавные избы и толпы бурлаков не были так густы. Между прочим, здесь мне кинулись в глаза несколько бурлацких групп, которые отличались от всех других тем, что среди них не слышалось шума и говора, не вырывалась песня или веселая прибаутка, а, напротив, какая-то мертвая тишина и неподвижность делала их заметными среди других бурлаков. Кроме рваных овчинных полушубков, серых кафтанов и лаптей, здесь попадались белые войлочные шляпы с широкими полями, меховые треухи, оленьи круглые шапки с наушниками и просто невообразимая рвань, каким-то чудом державшаяся на голове. Обладатели этих треухов, белых шляп и оленьих шапок совсем не принимали никакого участия в общем шуме и гвалте, а боязливо держались поодаль от остальных бурлаков. По всему было заметно, что эти люди чувствовали себя совсем чужими в этом разгулявшемся море, а сознание своей отчужденности заставляло их сбиться в отдельные кучки.

— И уродит же господь-батюшко эку страсть! — богобоязливо и с заметным отвращением говорила какая-то старушонка, тащившая к гавани решетку с свежими калачами.

Несколько мальчишек образовали около молчаливых людей две-три весело смеявшихся шеренги; мальчишки посмелее пробовали заговорить с ними, но, не

получая ответа, ограничивались тем, что громко хохотали и указывали пальцами.

— Гли, робя, шапка-то как на ём! — резко выкрикивал босой мальчуган, вытирая нос рукавом рубахи. — Как мухомор... А глаза узенькие да чернящие! Страсть!

— А у другого-то, робя, ременный пояс и скобка прикована к поясу... Дядя, на что скобку приковал?

— Это бороться, надо полагать.

— Врешь. Они топоры в скобках носят... Гли-ко, огниво у каждого! Тоже вот нехристи, а огонь любят.

Эти странные, молчаливые люди — инородцы, которых на каждый сплав сбирается из разных мест Урала иногда несколько сот. Были тут башкиры из Уфимской губернии, пермяки из Чердынского уезда, вогулы из Верхотурского, зыряне из Вологодской губернии, татары из Кунгурского уезда и из-под Лаишева. Из-под белых войлочных шляп сверкали черные с косым разрезом глаза кровных степняков цветущей Башкирии; из-под оленьих шапок и треухов выглядывали прямые жесткие волосы с черным отливом, а приподнятые скулы точно сдавливали глаза в узкие щели. Белобрысые пермяки с бесцветными, как пергамент, лицами, серыми глазами и неподвижно сложенными губами казались еще безжизненнее и серее рядом с пронырливыми и хитрыми зырянами. Основные типичные черты монгольского типа перемешались здесь с финскими, и, право, трудно было решить, кто из них был жалче. Русская бедность и нищета казались богатством по сравнению с этой степной голытьбой и жертвами медленного вымирания самых глухих лесных дебрей. Как ни беден русский бурлак, но у него есть еще впереди что-то вроде надежды, осталось сознание необходимости борьбы за свое существование, а здесь крайний север и степная Азия производили подавляющее впечатление своей мертвой апатией и полнейшей беспомощностью. Для этих людей не было будущего; они жили сегодняшним днем, чтобы медленно умереть завтра или послезавтра.

Живее других казались башкиры и татары, которые поэтому и сосредоточивали на себе особенное внимание мальчишек.

— Сплав гулял, вода ташшил, барка кунчал... — задорно поддразнивал какой-то белоголовый мальчуган.

Моя попытка разговориться с этими дикарями кончилась полной неудачей и вызвала только неумолкаемый смех маленькой веселой публики. При помощи трех слов: «гулял», «ташшил» и «кунчал» трудно было разговориться с незнакомыми людьми, а пермяки и этого не знали. Один, впрочем, как-то апатично произнес одно слово: «клэп», то есть хлеб.

— Нянь? — спросил я.

— Нянь, нянь... — ответил пермяк и даже не удивился, услыхав свое родное слово; по-пермяцки «нянь» значит хлеб.

Других пермяцких слов в моем лексиконе не оказалось, и я расстался с молчаливыми людьми, приговоренными историей к истреблению. Но эти лица и это единственное русское слово «клэп» все время не выходили у меня из головы. Какая сила выбила этих людей из их дремучих лесов и привольных степей и выкинула сюда, на берег далекой горной реки? Ответ, конечно, один: нужда, которая в лесу и степи еще страшнее и беспощаднее, чем по городам и селам. Как солнечная теплота, заставляя таять зимний снег, собирает воду в известные водоемы, так и нужда стягивает живую человеческую силу в определенные боевые места, где не существует разницы племен и языков. Наблюдая этих позабытых историей людей, эту живую иллюстрацию железного закона вымирания слабейших цивилизаций под напором и давлением сильнейших, я испытывал самое тяжелое, гнетущее чувство, которое охватывало душу мертвящей тоской. Ведь вся история человечества создана на подобных жертвах, ведь под каждым благодеянием цивилизации таятся тысячи и миллионы безвременно погибших в непосильной борьбе существований, ведь каждый вершок земли, на котором мы живем, напоен кровью аборигенов, и каждый глоток воздуха, каждая наша радость отравлены мириадами безвестных страданий, о которых позабыла история, которым не приберем названия и которые каждый новый день хоронит мать-земля в своих недрах...

V

Вечер этого шумного дня мне привелось провести в караванной конторе, где, в квартире поверенного от общества «Нептун», собралась веселая компания.

Квартира занимала второй этаж; светлая высокая гостиная была убрана с роскошью, хотя бы и не для Каменки. Мягкая мебель, драпировки на окнах, ковры, бронза — одним словом, все было убрано во вкусе той буржуазной роскоши, какую создает русский человек, когда чувствует за собой теплое и доходное местечко. Правда, поговаривали, что дела компании «Нептун» в очень незавидном положении, но у нас уж как-то так на Руси устроилось, что чем плоше дела какого-нибудь предприятия, тем вольготнее живут его учредители, члены, поверенные, контролеры, ревизоры и прочая братия, питающаяся от крох падающих. Специально о караванных конторах на Урале существует что-то вроде математической аксиомы: стоит только попасть поближе к каравану, и все блага сего грешного мира повалятся на такого мудреца. Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: «Да ведь он служил в караване...» Дальнейших пояснений не требуется, все равно как для человека, побывавшего в Калифорнии, сопричисленного к интендантскому ведомству или ограбившего какой-нибудь банк. Для меня эти караванные метаморфозы всегда составляли неразрешимую задачу, и я упомянул о них только между прочим, потому что в экономической жизни Урала вообще встречается очень много самых непонятных феноменов.

— Шшш... — встретил меня многознаменательным шипением караванный поверенный, умоляюще воздевая руки кверху.

— Кто-нибудь болен, Семен Семеныч? — поспешил я осведомиться.

— О нет... Все, слава богу, здоровы; только в кабинете у меня *сам* отдыхает.

— Кто *сам?*

Поверенный назвал фамилию одного из членов-учредителей общества «Нептун», пользовавшегося между Нижним и Екатеринбургом громкой репутацией финансовой головы и великого промышленного дельца. Сам поверенный, которого я встречал на горных заводах, был одной из тех неопределенных и бесцветных личностей, которыми особенно богато наше время; они являются неизвестно откуда, по каким-то таинственнейшим протекциям занимают самые теплые местечки, наживают кругленькие капиталы и исчезают неизвестно куда. Каменский караванный принадлежал именно к этому сорту людей, и в крайнем случае о нем можно сказать только то, что одевался он совершенно безукоризненно, обладал счастливым аппетитом и любил угостить. Как известно, на угощение русский человек необыкновенно падок, и бесцветные люди отлично пользуются этой кровной чертой славянской натуры.

Мы на цыпочках прошли в следующую комнату, где сидели два заводских управителя, доктор, становой и еще несколько мелких служащих. На одном столе помещалась батарея бутылок всевозможного вина, а за другим шла игра в карты. Одним словом, по случаю сплава всем работы было по горло, о чем красноречиво свидетельствовали раскрасневшиеся лица, блуждающие взгляды и не совсем связные разговоры. Из опасения разбудить «самого» говорили почтительным полушепотом.

— Слышите, что делается? — говорил поверенный, указывая мне движением головы на окно, откуда доносился глухой гул от собравшихся вокруг конторы бурлаков. — Чистая беда!

Вся обстановка и выражение лиц собравшейся компании как-то не вязались с этим отчаянием.

— Конечно, вам легко рассуждать, — вступился один из управителей, — ваше дело сторона, а вот посадить бы на наше место... Чей ход, господа?..

— Господа, нужно промочить горлышко, — суетился поверенный, разливая вино по рюмкам. — Авось Чусовая скорее пройдет...

Все, конечно, поспешили на помощь застоявшейся Чусовой. В углу сидел заводский доктор и, видимо, дремал; я присоединился к нему.

— Много больных на пристани? — спросил я.

Доктор с недоумением посмотрел на меня, пожевал губами и с уверенной улыбкой проговорил:

— Вы лучше спросите, чем они живы, эти бурлаки... Помилуйте! Каждая лошадь лучше питается, чем весь этот народ. А работа? Да это чистейший ад... Тиф, лихорадка, — так и валятся десятками!

— Больница есть?

Доктор только махнул рукой и опять задремал.

Игра, несмотря на предупредительное шипение хозяина, разгоралась. Кучки денег на зеленом столе росли, а с ними росло и оживление игроков. Особенно типичны были управители, которые живут на Урале, как помещики. Это совершенно особенный тип, создавший кругом себя новое крепостное право, которое отличается от старого своими изящными, но более цепкими формами. С каждым годом заводскому населению приходится тяжелее, а параллельно с этим возвышается благосостояние управителей, управляющих, поверенных и целого сонма служащего люда. Как это происходит — мы поговорим в другом месте, а теперь ограничимся только указанием на существующую аналогию плохого положения компании «Нептун», бурлаков и процветания администрации. Вероятно, это странное явление можно подвести под самый простой закон переливания жидкости из одного сосуда в другой: что убыло в одном, то прибыло в другом.

Один из управителей, еще молодой господин, с жирным лицом и каким-то остановившимся взглядом, выглядывал настоящим американским плантатором; другой, какой-то безыменный немец, весь красный, до ворота охотничьей куртки, с взъерошенными волосами и козлиной бородкой, смахивал на берейтора или фехтовального учителя и, кажется, ничего общего с заводской техникой не имел. Немец хлопал рюмку за рюмкой, но не пьянел, а только начинал горячиться, причем ломаные русские фразы так и сыпались у него из-под лихо закрученных рыжих усов.

— Пастаки!.. — постоянно повторял немец, когда у него убивали карту. — Сукина сына, туда твой дорог... Швинья — карт!

Служащие помельче сбились в самый дальний уголок и там потихоньку перешептывались о своих делах. К заветному столику с винами они подходили не иначе, как по приглашению хозяина.

— Егор Фомич изволят шевелиться... — змеиным сипом докладывал хозяину какой-то господин, нечто среднее между служащим и лакеем.

— Шш... — зашипел опять хозяин, а потом, обратившись к «среднему», категорически объявил: — У меня смотреть в оба! И ежели где-нибудь что-нибудь пошевелится или застучит — ты в ответе... Понял?

«Среднее» исчезло, чтобы через пять минут опять появиться в дверях.

— Егор Фомич изволили проснуться...

Это известие всех заставило встряхнуться и принять надлежащий вид. Руки как-то сами собой застегивали пуговицы у сюртуков и визиток, поправляли галстуки, лезли в карман за носовыми платками, и соответственно этому слышались глубокие вздохи, осторожные покашливания, — словом, производились все необходимые действия, соответствующие величию Егора Фомича.

— Господа! Пожалуйте в залу! — пригласил всех хозяин. — Егор Фомич, вероятно, будут сейчас кушать чай.

В светлой зале за большим столом, на котором кипел самовар, ждали пробуждения Егора Фомича еще несколько человек. Все разместились вокруг стола и с напряженным вниманием посматривали на дверь в кабинет, где слышались мягкие шаги и легкое покашливание. Через четверть часа на пороге, наконец, показался и сам Егор Фомич, красивый высокий мужчина лет сорока; его свежее умное лицо было слегка помято недавним сном.

— Не помешали ли вам отдыхать, Егор Фомич? — суетился поверенный, забегая петушком перед «самим».

— Ах нет, прекрасно выспался, — небрежно ответил Егор Фомич, галантно здороваясь с гостями.

С особенным вниманием отнесся Егор Фомич к высокому седому старику раскольничьего склада. Это был управляющий ...ских заводов, с которых компания «Нептун» отправляла все металлы. Перед нужным человеком Егор Фомич рассыпался мелким бесом, хотя суровый старик был не из особенно податливых: он так и выглядел последышем тех грозных управителей, которые во времена крепостного права гнули в бараний рог десятки тысяч людей.

— Надеюсь, вы всё видели, все наши порядки? — лебезил перед стариком Егор Фомич, заискивающе улыбаясь.

— Да, видел-с... Народ распустили — безобразие! — коротко отвечал старик. — Порядку настоящего нет...

— Ах, Парфен Маркыч, Парфен Маркыч! — взмолился Егор Фомич, делая выразительный жест. — Не старые времена, не прежние порядки! Приходится покоряться и брать то, что есть под руками. Сознаю, вполне сознаю, глубокоуважаемый Парфен Маркыч, что многое выходит не так, как было бы желательно, но что делать, глаза выше лба не растут...

Говорить умел Егор Фомич необыкновенно душевно и вместе уверенно. Голос у него был богатый, с низкими грудными нотами; каждое слово сопровождалось соответствующим жестом, улыбкой, игрой глаз, отражалось в позе. Одним словом, это был тертый калач, видавший виды. Семен Семеныч с благоговением заглядывал в рот своему божку и не смел моргнуть. Глядя на бесцветную вытянутую фигуру Семена Семеныча, так и казалось, что она одна, сама по себе, не имела решительно никакого значения и получала его только в присутствии Егора Фомича, являясь его естественным продолжением, как хвост у собаки или как в грамматике прямое дополнение при сказуемом. Бывают такие люди-дополнения, смысл существования которых выясняется только в присутствии их патронов: люди-дополнения, как планеты, в состоянии светить только заимствованным светом.

— Я рад, господа, видеть в вашем лице людей, которые являются носителями промышленных идей нашего великого века! — ораторствовал Егор Фомич, закругляя руку, чтобы принять стакан чая. — Мы живем в такое время, когда просто грешно не принимать участия в общей работе... Помните евангельского ленивого раба, который закопал свой талант в землю? Да, наше время именно время приумножения... Не так ли, Павел Петрович? — обратился он к становому.

— А... что?.. Так точно-с... — отозвался Павел Петрович, бурбон чистейшей воды.

— Надеюсь, вы не откажетесь в числе других принять участие в общем труде?

— Помилуйте-с, с большим удовольствием!

— И отлично. Значит, вы поступаете в число акционеров нашего «Нептуна»?

— Дда... то есть нет, пока... Вот мы с доктором пополам возьмем одну акцию.

— Я, право, еще не знаю, — отозвался доктор. — Да и денег свободных нет... Нужно подумать...

— Чего же тут думать? — вежливо удивлялся Егор Фомич. — Помилуйте!.. Дело ясно, как день: государственный банк платит за бессрочные вклады три процента, частные банки — пять-семь процентов, а от «Нептуна» вы получите пятнадцать — двадцать процентов...

Управитель-плантатор выразил сомнение относительно такой смелой пропорции, но «сам» не смутился возражением и заговорил еще мягче и душевнее:

— Я понимаю, что́ вас, Алексей Самойлович, смутило. Именно, вы сомневаетесь в таком высоком дивиденде при начале предприятия, когда потребуются усиленные затраты, неизбежные во всяком новом деле. Не правда ли?

— Да... Мне кажется, что вы преувеличиваете, Егор Фомич, — возражал Алексей Самойлыч неуверенным тоном. — Когда предприятие окончательно окрепнет, тогда, я не спорю...

— Я то же думаю, — вставил свое слово Парфен Маркыч.

— Ах, господа... А если я ручаюсь вам головой за верность этих пятнадцати — двадцати процентов?

— Но ведь здесь может быть много побочных обстоятельств, — заметил доктор с своей стороны. — Один неудачный сплав, и вместо дивидендов получатся дефициты...

— Совершенно верно и справедливо... если мы будем иметь в виду только один год, — мягко возражал Егор Фомич, прихлебывая чай. — Но ведь в промышленных предприятиях сметы приходится делать на известный срок, чтобы такие случайные убытки и прибыли уравновешивали друг друга. Возьмемте, например, десятилетний срок для нашего сплава: средняя цифра убитых барок вычислена почти за целое столетие, средним числом из тридцати барок бьется одна. Следовательно, здесь мы имеем дело с вполне верным расчетом, даже больше, потому что по мере необходимых улучшений в условиях сплава процент крушений постепенно будет понижаться, а вместе с этим будет расти и цифра дивиденда. Только взгляните на дело совершенно беспристрастно и на время позабудьте, что вы намереваетесь записаться в число наших акционеров.

Эта шутка рассмешила всех, даже сам Парфен Маркыч улыбнулся.

— Пастаки! — провозгласил за всех немец, выкатывая глаза. — Барка нэт умер.

Чай незаметно перешел на закуску, а затем в ужин. Будущие промышленные деятели обратили теперь особенное внимание на уху из живых харюзов, а Егор Фомич налег на вина. Шестирублевый шартрез привел станового в умиление, и он даже расцеловал Семена Семеныча, на обязанности которого лежал самый бдительный надзор за рюмками гостей.

— А Чусовая все еще не прошла? — спрашивал Егор Фомич в середине ужина, не обращаясь собственно ни к кому.

— Никак нет-с, — почтительно отвечал Семен Семеныч.

— Гм... жаль! Но приходится помириться, как мы миримся с капризами всех хорошеньких женщин. Наша

Чусовая самая капризная из красавиц... Не так ли, господа?

За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только один русский человек, без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить.

— Урал — золотое дно для России, — ораторствовал Егор Фомич, — но ахиллесова пятка его — пути сообщения... Не будь Чусовой, пришлось бы очень плохо всем заводчикам и крупным торговым фирмам. Пятьдесят горных заводов сплавляют по Чусовой пять миллионов пудов металлов, да купеческий караван поднимает миллиона три пудов. Получается очень почтенная цифра в восемь миллионов пудов груза... Для нас даже будущая железная дорога [1] не представляет ни малейшей опасности, потому что конкурировать с Чусовой — немыслимая вещь.

— О, совершенная пастаки! — подтвердил немец.

— То есть что пустяки: железная дорога или Чусовая?

— Дорог пастаки...

Егор Фомич долго распространялся о всех преимуществах, какие представляет сплав грузов по реке Чусовой сравнительно с отправкой по будущей железной дороге, и с уверенностью пророчил этой реке самое блестящее будущее, как «самой живой уральской артерии».

— Теперь большинство заводов и купечество отправляют грузы в одиночку, — говорил он, играя массивной золотой цепочкой. — Всем это обходится дорого, и все несут убытки только оттого, что не хотят соединиться воедино. Другими словами, стоит передать эксплуатацию всей Чусовой в руки одной какой-нибудь компании, и тогда разом все устроится само собой. Что невыгодно теперь, тогда будет давать дивиденды... Компания организует дело на самых рациональных основаниях, по самым последним указаниям науки и опыта, и все неблагоприятные условия сплава по Чусовой в настоящем его виде падут сами собой, а главное — мы

---

[1] Настоящий очерк относится ко времени, предшествовавшему открытию Уральской горнозаводской железной дороги. *Автор.*

избавимся от разъедающей нас язвы, то есть от необходимости каждый раз нанимать бурлаков из дальних местностей.

— Да, бурлаки — совершенная язва, — почтительно вторил Семен Семеныч.

— Но как же вы обойдетесь без рабочих? — спрашивал кто-то.

— Очень просто: мы заменим сплав на потесях сплавом на лотах, тогда рабочих потребуется в пять раз меньше, то есть как раз настолько, насколько могут дать рабочих чусовские пристани и отчасти заводы. Теперь какая-нибудь лишняя неделя — бурлаки бегут, и мы каждый раз должны переживать крайние затруднения, а тогда...

— Но ведь для сплава на лотах потребуется вдвое больше времени, — заметил доктор, — а вода спадает через неделю...

— Мы устроим в верховьях Чусовой громадный водоем и будем сплавлять караван по паводку. На помощь главному водоему устроим несколько побочных... Одним словом, с технической стороны все предприятие не представляет особенных препятствий, а вся суть заключается в том, чтобы добиться согласия всех заводчиков — передать сплав грузов в одни руки, а затем привлечь к участию в предприятии общество. Теперь частные капиталы лежат непроизводительно, а тогда они будут давать двадцать — тридцать процентов дивиденда. Все выиграют...

Мы усердно пили шампанское за великую будущность Чусовой, за будущую компанию, за гениальный план Егора Фомича и за него самого.

— Деньги, деньги и деньги — вот где главная сила! — сладко закатывая глаза, говорил Егор Фомич на прощанье. — С деньгами мы устроим все: очистим Чусовую от подводных камней, взорвем на воздух все бойцы, уничтожим мели, срежем крутые мысы — словом, сделаем из Чусовой широкую дорогу, по которой можно будет сплавлять не восемь миллионов груза, а все двадцать пять.

Будущие сподвижники и осуществители грандиозных планов Егора Фомича только почтительно мычали

или издавали одобрительное кряхтенье, глупо хлопая осовелыми, помутившимися глазами. Становой несколько раз принимался ощупывать себе голову, точно сомневался, его ли это голова...

VI

— Вам куда? — спрашивал меня доктор, когда мы выходили из конторы.

— Я к Осипу Иванычу...

— У него остановились? Гм... Нам по пути. Мне еще нужно зайти кое к кому из пациентов.

Мы пошли по плотине к селению. Весенняя белая ночь стояла над горами, над лесом, над рекой. Такие ночи бывают только на Урале. Кто не переживал такой ночи, тому трудно понять ее чарующую прелесть. Тихо, тихо везде; прохваченный весенней изморозью воздух дремлет чутким сном. Далекие горы чуть повиты молочной дымкой. Дремлет темный лес на берегу, дремлет пристань с своими избушками на крутом угоре, дремлет все кругом под наплывом весенних грез. Ручейки, которые днем весело бороздили по всем улицам, разъедая «череп» [1], тоже заснули, превратившись в грязнобурые полосы и наплыви. Я люблю такие ночи, когда так легко и вольно дышится здоровому человеку. Чувствуешь, как сам оживаешь вместе с природой и как в душе накопляется что-то такое хорошее, бодрое, счастливое. Не хочется верить, что эти белые ночи уносят вместе с весенними ручейками столько человеческих жизней — эту неизбежную жертву всякой весны...

Мне доставляет удовольствие присутствие доктора, который шагает рядом со мной; он постоянно спотыкается по своей близорукости, размахивает руками и как-то забавно причмокивает губами. Время от времени он снимает свою баранью шапку и осторожно ощупывает голову, как давеча делал становой.

---

[1] Черепом называется тонкий слой льда, который весной остается на дороге; днем он тает, а ночью замерзает в тонкую ледяную корку, которая хрустит и ломается под ногами. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Что, доктор? — спрашивал я, удерживаясь от желания пощупать свою голову.

— Это черт знает что такое!.. Мы-то с какой радости пили... а? Вы не акционер «Нептуна»?

— Нет...

— Я тоже... Этот Семен Семеныч подсунул за ужином какую-то такую монашескую специю...

— Шартрез?

— Нет, шартрез само собой: это еще милостиво.

Доктор засмеялся. Его добродушное старческое лицо покрылось розовыми пятнами, глаза блестели. Это был типичный представитель тех славных стариков докторов, которые сохранились только еще в провинции.

— Скажите, пожалуйста, доктор, что это за комедия сегодня разыгрывалась в конторе?

— Это вы насчет Егора Фомича?

— Да...

— Гм... Комедия самая обыкновенная: дела «Нептуна» не сегодня-завтра ликвидируются, — вот Егор Фомич и хватается за соломинку, чтобы выплыть. Акционеров вербует...

— Это-то понятно, только он едва ли чего-нибудь добьется. Никто ему не верит, и соглашаются с ним только из вежливости, то есть, вернее сказать, из-за угощения. Я уверен, что Егор Фомич не сбудет ни одной акции...

— Ну, это трудно сказать вперед. Конечно, ему не верят, даже смеются за глаза над ним, а, наверно, кончится дело тем, что все попадут в лапы к этому же самому Егору Фомичу. Такие превращения случаются сплошь и рядом. Меня собственно интересует манера Егора Фомича добывать акционеров: сначала оглушит проектами, а потом навалится с едой... Ведь глупости, кажется, а между тем действует, да еще как действует! Взять теперь хоть Парфена Маркыча — человек замечательно умный, насквозь видит Егора Фомича со всеми его проектами, а все-таки Егор Фомич слопает Парфена Маркыча... И ведь как просто: сегодня завтрак, завтра ужин, послезавтра обед — дело и сойдет, как по маслу. Подите вот вы с человеческой природой: против всего человек устоит, а едой его проймут.

— Вы шутите?

— Нет, говорю совершенно серьезно. Вот сами увидите, как Егор Фомич всех обделает: и Парфена Маркыча, и Алексея Самойлыча, и Павла Петровича, и, по всей вероятности, еще многих других. В природе ведь то же бывает: стоит какая-нибудь этакая скала; кажется, и веку ей не будет, а между тем точит ее ручеек, точит-точит — глядишь, наша скала и рухнула. Так и с нашими акционерами: наживают деньги правдами и неправдами десятки лет, крепятся, скалдырничают, а тут подвернулся Егор Фомич — благоразумный раб и распоясался. Ведь сам не верит ни Егору Фомичу, ни его двадцати процентам, а все-таки идет в ловушку... Черт знает что за глупость!

Мы подошли к квартире Осипа Иваныча.

— Вы спать? — спрашивал доктор, останавливаясь.

— Да.

— В этакую-то ночь? Да побойтесь бога, батенька! Это, наконец, бессовестно... Лучше пройдемтесь по берегу, вы погуляете, а я навещу двоих тифозных. Совсем безнадежны... Идет?

— Пожалуй.

— Нет, в самом деле таких белых ночей не много выпадает на нашу долю.

Мы шли по берегу Чусовой, мимо крепких бревенчатых изб, где все покоилось мертвым сном. Где-где глухо брехнет спросонья собака, и опять мертвая тишина кругом; только молодой месяц обливает и лес, и реку, и деревню своим трепетным молочным светом. Теперь пристань походила на громадное поле убиенных, которые там и сям лежали кучками. Ближе эти кучки превращались в груды лохмотьев, из которых выставлялись руки, ноги и головы. Спавшие люди виднелись везде, под малейшим прикрытием: под навесами изб, на завалинках, за углами, а то и просто на бугорке, который солнце за день успело обсушить и прогреть. Ни дать ни взять — настоящее поле убиенных, на котором не успели даже хорошенько прибрать трупов, а просто, для порядку, стаскали их в несколько куч. Дальше, на самом берегу, красным глазом мелькал огонек, около

которого можно было различить. несколько неподвижных фигур.

— Где же ваши пациенты? — спросил я доктора, когда мы подходили уже к концу деревни.

— А вот сейчас... предпоследняя изба.

У предпоследней избы не было ни ворот, ни крытого сплошь двора, ни хозяйственных пристроек; прямо с улицы по шатавшемуся крылечку ход был в темные сени с просвечивавшей крышей. Огня нигде нет. Показалась поджарая собака, повиляла хвостом, точно извиняясь, что ей караулить нечего, и опять скрылась.

— Осторожнее, здесь нет ступеньки... — предупредил доктор, нащупывая рукой бревенчатую стену.

Он толкнул дверь, и она растворилась черным зияющим пятном, как пасть чудовища.

— Осторожнее, здесь люди... — шептал доктор, чиркая спичкой о двери.

Действительно, весь пол в сенях был занят спящими вповалку бурлаками. Даже из дверей избы выставлялись какие-то ноги в лаптях: значит, в избе не хватало места для всех. Слышался тяжелый храп, кто-то поднял голову, мгновение посмотрел на нас и опять бессильно опустил ее. Мы попали в самый развал сна, когда все спали, как зарезанные.

Доктор зажег стеариновый огарок и, шагая через спавших людей, пошел в дальний угол, где на смятой соломе лежали две бессильно вытянутые фигуры. Наше появление разбудило одного из спавших бурлаков. Он с трудом поднял голову и, видимо, не мог понять, что происходило кругом.

— Это ты, Силантий? — проговорил доктор.

— Я, ваше благородие... я... — отозвался старик, с тяжелым кряхтеньем поднимаясь с пола.

В этой сгорбленной старческой фигуре я сразу узнал давешнего бунтовщика Силантия, который трапезовал с Митрием заплесневелыми корочками.

— Ну, что больные? — спрашивал доктор.

— Да кто их знает, ваше благородие, лежат влежку... Даве Степа-то испить попросил, а Кирило и головы не подымает.

— Да ведь ты спал и, наверно, ничего не слышал?

— Может, и не слышал... — равнодушно согласился Силантий, движением лопаток почесывая спину. — Уж как бог...

— А ты лекарство подавал?

— Подавать-то подавал...

Больные — Кирило, пожилой мужик с песочной бородой, и Степа, молодой, безусый парень с серым лицом, — лежали неподвижно, только можно было расслышать неровное, тяжелое дыханье. Доктор взглянул на Кирилу и покачал головой. Запекшиеся губы, полуоткрытый рот, провалившиеся глубоко глаза — все это было красноречивее слов.

— Кончается? — спрашивал Силантий так же равнодушно.

— К утру будет готов...

— А Степа?

Доктор ничего не отвечал, а только припал головой к больному парню. Когда он взял его за руку, чтобы сосчитать пульс, больной с трудом открыл отяжелевшие веки, посмотрел на доктора мутным, бессмысленным взглядом и глухо прошептал всего одно слово:

— Сапоги...

— Какие сапоги он спрашивает? — шепотом осведомился доктор у Силантия.

— Он так это, ваше благородие... не от ума городит, — объяснял старик. — Ишь, втемяшилось ему беспременно купить сапоги, как привалим в Пермь, вот он и поминает их... И что, подумаешь, далось человеку! Какие уж тут сапоги... Как на сплав-то шли, он и спал и видел эти самые сапоги и теперь все их поминает. Не нашивал парень сапогов-то отродясь, так оно любопытно ему было...

Сапоги для мужика — самый соблазнительный предмет, как это уже было замечено многими наблюдателями. Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги. Происходит ли эта необъяснимая симпатия оттого, что сапоги являются роскошью для всероссийского лапотника, или это наша исключительно национальная особенность — трудно сказать.

— Так Кирило-то, говоришь, помрет? — спрашивал Силантий, провожая нас на крыльцо.

— Да... — коротко ответил доктор, задувая огарок.

— Ах ты, грех какой вышел... а?.. Чего делать-то будем?

— Похоронят как-нибудь...

— Известно, похоронят... Нет, дома-то у Кирилы семьища осталась — страсть! Сам-восьмой был, и все мал мала меньше... А средствия никакого не будет Кириле от вашего благородия?

— Нет, не будет...

— Ах, грех какой... И попа-то на этой треклятой пристани нет; пожалуй, без покаяния и отойдет. Вот бы еще денька два повременил, поп наедет к отвалу каравана, уж за попутьем бы и упокойничка похоронить.

Мы вышли молча. Силантий остался на крыльце, почесываясь лопатками и позевывая. Давешняя собака показалась опять из-за угла, присела задом и тихо завыла.

— Чует упокойничка... — проговорил Силантий.

— Вот вам жертва голодного тифа... — угрюмо проговорил доктор, чмокая губами.

— И много таких?

— Десятка полтора наберется.

Когда еще доктор осматривал больных, с улицы донесся какой-то подавленный стон. Немного погодя звук повторился и застыл в воздухе протяжным унылым воем. Без сомнения, это были волки.

— Доктор, слышите? — спрашивал я.

— Да...

Мы остановились и прислушались. Это были волки. Они перебежали через реку на наш берег и тянули убийственную ноту где-то тут, совсем близко.

— Целая стая... — заметил я.

Доктор вдруг засмеялся.

— А ведь вы и меня на грех навели, — проговорил он. — Ха-ха... Нашли волков!.. Я и позабыл совсем, что сегодня у инородцев праздник. Аллах им послал *веселую скотинку,* вот они и поют! Огонек-то видите на берегу? — там идет пир горой.

Действительно, теперь можно было совершенно ясно определить, что звуки неслись именно от горевшего на берегу огонька.

— Я не понимаю, доктор, про какую веселую скотинку вы говорите?

— Неужели никогда не слыхали?.. Очень просто: у одного здешнего мужика сбесилась корова; по всей вероятности, ее укусила бешеная собака, ну-с, мужик и взвыл с своей коровой. Убыток убытком, да еще нужно ее зарезать, отвезти в лес и закопать поглубже в землю. А время самое горячее, до того ли тут... Пока мужик горевал, добрые люди и надоумили: отдать бешеную корову башкирам. А им это целый праздник; они взбесившийся скот зовут веселой скотинкой и едят его за настоящий, здоровый. Вся пристань давеча сбежалась смотреть, как они будут расправляться с бедной коровой... Мигом оборудовали все дело: закололи корову, развели огонек на берегу и закутили. Именно закутили, потому что совсем отощали и пьянеют от еды. Я сам ходил смотреть на них: наестся человек и шатается, как пьяный; глаза блуждают, ну, одним словом, все признаки отравления алкоголем.

— Может быть, это происходит от отравления зараженным мясом?

— Сначала я и сам то же подумал, но дело в том, что такое опьянение происходит и от хлеба. Ест-ест, пока замертво не свалится, потом отдышится и опять ест. Страшно на них смотреть. Не хотите ли полюбопытствовать?

— Нет, благодарю... На этот день достаточно впечатлений. Я видел этих инородцев давеча...

— Да, да... Голод согнал сюда народ со всех сторон. И болезнь у всех одна: голодный тиф.

— Разве у вас нет какой-нибудь больнички на всякий случай? — спрашивал я.

— Какая тут больничка... Лекарств даже нет. Хинин стоит дорого, поэтому лечим александрийским листом. Да и что может сделать медицина там, где все условия точно нарочно собраны для разрушения самого железного здоровья: голод, холод, каторжный труд...

Мы опять заговорили о проектах медоточивого Егора Фомича.

— Все это вздор, — отрезал доктор, безнадежно махнув рукой. — Жаль только, что все эти медовые речи отзываются всё на той же бурлацкой спине.

— Именно?

— Откуда эти деньги у всех караванных, поверенных и прочей братии? Конечно, все с тех же бурлаков... Ведь их набирается на Чусовую тысяч двадцать пять, кладите по рублю с человека — и то получается порядочный куш, а тут еще нагрузка барок, опять новая статья дохода. Все наживаются около каравана, потому что не существует никакого контроля. Поставили на барку сорок человек, записали пятьдесят; за нагрузку заплатили сто рублей, а в книгу занесли триста. Кто их может проверить? Рука руку моет... Вы поплывете с караваном?

— Да.

— Ну, так досыта наглядитесь, чего стоят эти роскошные ужины, дорогие вина и тайные дивиденды караванной челяди. Живым мясом рвут все из-под той же бурлацкой спины... Вы только подумайте, чего стоит снять с мели одну барку в полую воду, когда по реке идет еще лед? Люди идут на верную смерть, а их даже не рассчитают порядком... В результате получается масса калек, увечных, больных.

— А их куда девают?

— Как куда? Не тащить же с собой — оставят на бережку, и вся недолга. Как негодный балласт, так и выбрасывают живых людей. Да еще больные туда-сюда: отлежался — твое счастье, умер — добрые люди похоронят, а вот куда деваться калекам да увечным?

— Может быть, им выдаются пособия?

— Какие там пособия! Обратите внимание на то, что главная масса увечных происходит благодаря все этим же безгрешным доходам караванных служащих; поставят людей в обрез, чтобы прописать в книгу побольше, снимают барки воротом, что запрещено законом. Да мало ли тут пакостей творится! Вот поплывете, так своими глазами насмотритесь. Главное, совсем бессудная земля, и если является на сплав

полиция, так она всецело действует только в интересах судоотправителей, то есть усмиряет крестьянские бунты, когда сплав затянется.

Я распрощался с доктором. Осип Иваныч спал мертвым сном, но я долго не мог заснуть. Мне «мерещилось» все виденное и слышанное за день: эти толпы бурлаков, пьяный Савоська, мастеровые, «камешки», ужин в караванной конторе и, наконец, больные бурлаки и этот импровизированный пир «веселой скотинкой». Целая масса несообразностей мучительно шевелилась в голове, вызывая ряды типичных лиц, сцен и мыслей. Как разобраться в таком хаосе впечатлений, как согласовать отдельные житейские штрихи, чтобы получить в результате необходимое целостное представление? Каждый раз, когда хотелось сосредоточиться на одной точке, мысли расползались в разные стороны, как живые раки из открытой корзины.

А в окна моей комнаты гляделся молодой месяц матовыми белыми полосами, которые прихотливо выхватывали из ночного сумрака то угол чемодана с медной застежкой, то какую-то гравюру на стене с неизвестной нагой красавицей, то остатки ужина на столе, то взлохмаченную голову Осипа Иваныча, который и во сне несколько раз принимался ругаться с бурлаками. В ушах у меня все еще стоял страшный вой пировавших инородцев, и мне казалось, что я опять слышу эти тянущие душу ноты. Наконец я забылся тревожным сном. Но сегодня нам с Осипом Иванычем, видно, не суждено было спать, потому что в середине ночи под окнами послышался страшный стук, который заставил нас вскочить с постелей.

— Какой там черт ломится? — сердито закричал Осип Иваныч, подбегая к окну.

— От караванного, — слышался голос под окном.

— Черти полуношные!.. — ругался Осип Иваныч, отправляясь отворять дверь. — Умереть не дадут спокойно... Ну, какого черта понадобилось караванному, чтобы ему провалиться вместе с конторой? — спрашивал он в передней посланца.

— Вот писульку прислали, — почтительно докладывал неизвестный голос.

Осип Иваныч достал огня и торопливо пробежал записку караванного. Не дочитав до конца, он скомкал несчастную писульку и принялся неистово плеваться.

— Что случилось, Осип Иваныч? — спросил я, тронутый этим безмолвным горем.

— А вот извольте, полюбуйтесь!.. — сердито сунул мне под нос принесенную писульку Осип Иваныч и начал торопливо одеваться.

Я пробежал записку. Караванный просил Осипа Иваныча немедленно отправить нарочного в Тагил, чтобы купить там омаров и несколько страсбургских пирогов. В постскриптуме стояла лаконическая фраза, подчеркнутая карандашом: *от этого все зависит*...

— Подлецы! Аспиды! — неистовствовал Осип Иваныч, облекаясь в архалук. — Гнать нарочного за семьдесят верст за омарами... Тьфу! Это Егор Фомич придумал закормить управителей... Знает, шельмец, чем их пробрать: едой города берут, а наши управители помешались на обедах да на закусках. Дорого им эти закуски вскочат!

Через полчаса Осип Иваныч вернулся; нарочный был послан в ночь сейчас же. Но только что мы улеглись, как опять послышался стук в окно и прилетела вторая писулька от караванного: просит немедленно послать рабочих на какую-то речку за харюзами, которые должны быть готовы к обеду. У Осипа Иваныча руки затряслись со злости, и он должен был выпить три рюмки водки, чтобы успокоиться, снова одеться и отдать соответствующие приказания. Я не дождался, когда он вернется, но сквозь сон слышал новый стук в окно; это, вероятно, был новый заказ караванного на какое-нибудь мудреное яство.

VII

Каменка — название исторического происхождения.

Строгановы на реке Чусовой поставили Чусовской городок; а брат сибирского султана, Махметкул, на 20 июля 1573 года, «со многолюдством татар, остяков и с верхчусовскими вогуличами», нечаянно напал на

него, многих российских подданных и ясачных (плативших царскую дань мехами — ясак) остяков побил, жен и детей разбежавшихся и побитых жителей полонил и в том числе забрал самого посланника государева, Третьяка Чубукова, вместе с его служилыми татарами, с которыми он был послан из Москвы «в казацкую орду». У Строгановых для обороны всегда была под рукой разная казацкая вольница, но они побоялись вступить в бой с Махметкулом и преследовать его, «опасаясь дальних случаев», то есть как бы этим не нанести «худых следствиев от сильной сибирской стороны» своим острожкам и пермским городкам. Так Махметкул и вернулся восвояси «с немалою добычею и пленом», а Строгановы послали в Москву просьбу, чтобы им позволили ходить войной на сибирцев; царь отписал Строгановым, чтобы они всех бунтовщиков и изменников воевали и под руку царскую приводили.

Воспользовавшись этой царской грамотой, Строгановы к своей казацкой вольнице присоединили разных охочих людей, недостатка в которых в то смутное время не было, и двинули эту орду вверх по реке Чусовой, чтобы в свою очередь учинить нападение на «недоброжелательных соседей», то есть на тех вогуличей и остяков, которые приходили с Махметкулом. Повторилась обратная история: недоброжелательные соседи избивались, их жилища превращались в пепел, а жены и дети забирались в полон. Таким образом строгановские казаки поднялись вверх по реке Чусовой верст на триста и остановились только при впадении в Чусовую реки Каменки. Идти дальше казаки не отваживались, опасаясь «многолюдства татарского и вогульского и сибирского владения». Чтобы закрепить за собой завоеванную сторону, Строгановы поселили на ней своих крестьян, причем селение, поставленное на усторожливом местечке, при впадении реки Каменки в Чусовую, сделалось крайним пунктом русской колонизации, смело выдвинутым в самую глубь сибирской украйны. Даже неутомимые и предприимчивые Строгановы не решились забираться дальше в сибирское владение, «понеже тогда, за сопротивлением сибирцев и вогулич, далее оной реки Каменки по Чусовой заселение иметь им,

Строгановым, было опасно». Последовавшей затем царской грамотой вся завоеванная сторона отдана Строгановым вплоть по реку Каменку.

Таким образом, основание Каменки предупредило на несколько лет знаменитый поход Ермака, и эта пристань долго еще служила Строгановым опорным пунктом в борьбе с соседями. Вообще бассейн реки Чусовой в течение нескольких столетий служил кровавой ареной, на которой кипела самая ожесточенная борьба аборигенов с безвестными пришлецами. Нечаянные нападения, разрушения городков, одоление или полон чередовались здесь с переменным счастьем для враждовавших сторон. Для нас может показаться странным только одно: где Строгановы, частные люди, могли набрать столько народа не только для войны с сибирской стороной, но и для ее колонизации, разом на сотни верст? Такие крупные задачи, пожалуй, были не под силу и самой Москве, не то что частным предпринимателям. Дело объясняется очень просто, если мы взглянем на него с исторической точки зрения. Созидание Москвы и патриархальная неурядица московского уклада отзывались на худом народе крайне тяжело; под гнетом этой неурядицы создался неистощимый запас голутвенных, обнищалых и до конца оскуделых худых людишек, которые с замечательной энергией тянули к излюбленным русским человеком украйнам, а в том числе и на восток, на Камень, как называли тогда Урал, где сибирская украйна представлялась еще со времен новгородских ушкуйников самой лакомой приманкой. Истинными завоевателями и колонизаторами всей сибирской украйны были не Строгановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московская волокита, воеводы, подьячие, земские старосты, тяжелые подати и разбойные люди, которые заставляли «брести врознь» целые области.

Мы не станем вдаваться в подробности того, как голутвенные и обнищалые людишки грудью взяли и то, что лежало перед Камнем, и самый Камень, и перевалили за Камень, — эти кровавые страницы русской истории касаются нашей темы только с той стороны, поскольку они служили к образованию того оригиналь-

ного населения, какое осело в бассейне Чусовой и послужило родоначальником нынешнего. После одоления сибирской стороны тяга русских людишек на Камень постоянно увеличивалась, чему способствовали некоторые новые мотивы русской истории. Так, в течение последних двух веков на Камень со всех сторон бежали раскольники. Мы встречаем название Каменки уже не в царских грамотах, а в делах Преображенского приказа, когда князь Иван Федорович Ромодановский пытал за «государственные слова».

Именно, мы приведем коротенький эпизод о «государевых слове и деле», которые залетели даже на Каменку. Этот эпизод отлично характеризует порядки того времени и людей, из которых образовалось нынешнее уральское население.

Летом 1722 года на Каменку приходит неизвестного звания человек и останавливается в доме крестьянина Якова Солнышкина [1]. Странника приняли и обогрели, как своего человека, потому что незнаемый пришлец назвался приверженным к расколу. Собралась однажды вечерком вся семья Солнышкиных, и пошли те разговоры, какие перебегали по петровской Руси, как электрические искры. Первыми, конечно, затрещали бабы, жена Якова Солнышкина да его сноха. Они рассказали неизвестному человеку, что проходили через Каменку неизвестные гулящие люди и сказывали, что государь-де в Казани часовни ломает, и иконы из часовен выносит, и кресты с часовен сымает. И к тем словам разболтавшихся каменских баб сын Якова Солнышкина, тоже Яков, прибавил про императорское величество, что взял бы-де его и в мелкие части разрезал и тело бы его растерзал. Неизвестный человек хорошо запомнил горячую выходку младшего Солнышкина, пожил в Каменке недели две, а затем отправился, как объяснил гостеприимным хозяевам, разыскивать медную руду, о которой наслышался раньше.

Из Каменки неизвестный человек прошел на Тагил-реку и там действительно отыскал медную руду и в то

[1] Дело о Солнышкине нами заимствовано у Есипова из его раскольничьих дел XVIII века. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

же время усмотрел в лесу две кельи, в которых жили три раскольничьих старицы: Платонида, Досифея и Варсанофия, и старец Варфоломей. Встретившись с раскольниками, неизвестный человек сам назвался раскольником и поселился на время у них. Повторилась старая история: неизвестный человек вкрался в доверие пустынножителей, и опять пошли разговоры. Старицы обрадовались случаю поболтать с новым человеком, причем Платонида называла царя «обменным шведом», который не может «воздержать посту», затем говорила, что образа̀ пишут с шведских персон, и так далее. Старицы-сестры, Варсонофия и Досифея, прибавили к этому, что государь-де сжился с царицей Екатериной Алексеевной прежде венца и что от царевича-де Алексея Петровича родился от шведки царевич мерою аршин с четвертью и с зубами, не прост человек. Старец Варфоломей читал неизвестному человеку какие-то божественные книги, называл попов еретиками и говорил про крещение, что еретическое крещение не есть крещение, а паче осквернение, и так далее, и так далее.

После этого мы видим неизвестного человека уже в Тобольске, где он объявляет «государевы слово и дело» и прямо указывает на «государственные слова», какие говорили старицы со старцем и Яков Солнышкин. Из Тобольска немедленно посылается надежный профос (солдат), который и забирает всех, на кого донес неизвестный человек, а затем всех пятерых везет в Тобольск. Дорогой старица Платонида умирает, а старец Варфоломей убегает из-под стражи. Трое, оставшиеся в наличности, вместе с доносчиком отправляются в Москву и сдаются с рук на руки в Преображенский приказ, под крылышко князю Ромодановскому.

Кто же был этот неизвестный доносчик и что за цель была у него подводить людей, которые приютили его, обогрели и кормили?

Вот что показал на допросе доносчик: родом он казачий сын, из Сибирской губернии, города Тюмени, по имени Дорофей Веселков. Из Тюмени в 1721 году он поехал на Ирбитскую ярмарку с товаром, но доро́гой воевода Нефедьев товары его побрал себе и его самого посадил под караул. Из-под караула Веселков вскоре

бежал, несколько времени проживал в Уфимской губернии и на Уктусском заводе, а потом наслышался про медные руды в имениях Строгановых, куда и отправился. Чем кончился этот сыск медной руды, мы уже видели. Что касается цели, какой мог добиваться своим доносом Веселков, то мы, рассматривая все дело, приходим к тому заключению, что единственной целью этого доносчика было освободиться самому из того неловкого положения, в какое он попал благодаря воеводе Нефедьеву. Другого мотива мы, к сожалению, не можем подыскать; Веселков поступил так, как в то смутное время поступали тысячи людей. Чтобы выгородить себя, жертвовали другими — и только.

Конец всего дела носит трагический характер. Якова Солнышкина и стариц, не довольствуясь их повинными, вздернули на дыбу и секли плетьми. Старице Варсонофии было около семидесяти лет, и после трех пыток она скончалась в «бедности» Преображенского приказа, то есть в тюрьме. Яков Солнышкин едва пережил ее двумя неделями, а старица Досифея пережила своих товарищей на полгода, и князь Ромодановский особенно крепко сыскивал с нее. Бедную старуху много раз поднимали на дыбу, били плетьми и жгли огнем, пока она не скончалась в той же «бедности».

Главный герой всего дела, Дорофей Веселков, получил за правый донос денежное вознаграждение и был отпущен с миром восвояси.

Из сказанного выше видно, каким путем складывалось население далекого Урала и какие невзгоды налетали на его голову. Мы с сожалением смотрим в темную глубь истории, где перед нашим взором нескончаемыми вереницами тянутся голутвенные и обнищалые до конца людишки, выкинутые волной нашего исторического существования на далекую восточную окраину. Нам кажется, что история не повторяется... Но вымирали поколения, изменялись формы, в какие отливалась народная жизнь, а голутвенные людишки продолжают существовать попрежнему и попрежнему неизвестно творят русскую историю, как микроскопические ракушки и полипы образуют громадные рифы, мели, острова и целые скалы. Вглядываясь в кипевшую

на Каменке сплавную сутолоку, я невольно припомнил исторических голутвенных людишек: они опять были налицо, живописуя и иллюстрируя настоящее. На одной Чусовой ежегодно набирается бурлаков до двадцати пяти тысяч, а сколько их бьется на других горных речонках в это горячее время? Прогрессируя, наша историческая русская нужда пустила множество новых разветвлений и создала почти неуловимые формы. Возникли, развились и созрели такие злобы мужицкой жизни, о каких даже и не снилось бродившим врознь русским людишкам прошлых столетий. Приписные к заводам крестьяне, крепостное право — да мало ли цветов, выращенных неутомимым тружеником-временем! А впереди в форме капитализма уже встает нечто горшее, которое властно забирает все кругом...

В этом живом муравейнике, который кипит по чусовским пристаням весной под давлением одной силы, братски перемешались когда-то враждебные элементы: коренное чусовское население бассейна Чусовой с населявшими ее когда-то инородцами, староверы с приписными на заводе хохлами, представители крепкого своими коренными устоями крестьянского мира с вполне индивидуализированным заводским мастеровым, этой новой клеточкой, какой не знала московская Русь и которая растет не по дням, а по часам.

VIII

Чусовая — одна из самых капризных горных рек. Самые заурядные явления, повторяющиеся периодически, не поддаются наблюдению и каждый раз создают новые подробности, какие в таком рискованном деле, как сплав барок, имеют решающее значение. Это зависит от тех физических условий, какими обставлено течение Чусовой на всем ее протяжении. Начать с того, что падение Чусовой превосходит все сплавные русские реки: в своей горной части, на расстоянии четырехсот верст до того пункта, где ее пересекает Уральская железная дорога, она падает на восемьдесят сажен, что составит на каждую версту реки двадцать сотых

сажени, а в самом гористом месте течения Чусовой это падение достигает двадцати двух сотых сажени на версту. Для сравнения этой величины достаточно указать на падение Камы, Волги и Северной Двины, которое равняется всего двум-трем сотым сажени. Затем, коренная вода на перекатах и переборах в межень стоит четыре вершка, а весной здесь же сплавной вал иногда достигает страшной высоты в семь аршин.

Для сплава, конечно, самое важное, когда лед вскроется на реке. Но и здесь примениться к Чусовой очень трудно, может выйти даже так, что при малых снегах река сама не в состоянии взломать лед, и главный запас весенней воды, при помощи которого сплавляются караваны, уйдет подо льдом. Поэтому вопрос о вскрытии Чусовой для всех расположенных на ней пристаней в течение нескольких недель составляет самую горячую злобу дня, от него зависит все. Чтобы предупредить неожиданные сюрпризы капризной реки, обыкновенно взламывают лед на Чусовой, выпуская воду из Ревдинского пруда. А так как вода в каждом заводском пруде составляет живую двигающую силу, капитал, то такой выпуск из Ревдинского пруда обставлен множеством недоразумений и препятствий, самое главное из которых заключается в том, что судоотправители не могут никак прийти к соглашению, чтобы действовать заодно. Одним нужно раньше выпустить воду, другим позже, идут бесконечные препирательства, пока ревдинское заводоуправление в видах отправления собственного каравана не сделает так, как ему угодно. Остальным пристаням приходится уже только ловить золотые минуты, потому что пропустил какой-нибудь час — и все дело можно испортить. Поэтому ожидание, когда Ревдинский пруд спустит воду, чтобы взломать на Чусовой лед, принимает самую напряженную форму; все разговоры ведутся на эту тему, одна мысль вертится у всех в голове.

Понятно то оживление, какое охватило всю Каменку, когда на улице пронесся крик:

— Вода пришла!.. Вода... Лед тронулся!..

Это был глубоко-торжественный момент.

Все, что было живо и не потеряло способности дви-

гаться, высыпало на берег. В серой, однообразной толпе бурлаков, как мак, запестрели женские платки, яркие сарафаны, цветные шугаи. Ребятишкам был настоящий праздник, и они метались по берегу, как стаи воробьев. Выползли старые-старые старики и самые древние старушки, чтобы хоть одним глазом взглянуть, как нынче взыграла матушка Чусовая. Некоторые старики плохо видели, были даже совсем слепые, но им было дорого хоть послушать, как идет лед по Чусовой и как галдит народ на берегу. Вероятно, многие из этих ветеранов чусовского сплава, вдоволь поработавших на своем веку на Чусовой, и пришли на берег с печальным предчувствием, что они, может быть, в последний раз любуются своей поилицей-кормилицей. Сюда же на берег выползли, приковыляли и были вытащены на руках до десятка разных калек, пострадавших на весенних сплавах: у одного ногу отдавило поносным, другому руку оторвало порвавшейся снастью, третий корчится и ползет от застарелых ревматизмов. Эти печальные диссонансы как-то совсем исчезали в общем веселье, какое охватило разом всю пристань. Это был настоящий праздник, нагонявший на все лица веселые улыбки.

— Вам, может быть, идет пенсия? — спросил я одного такого калеку.

— Какая пенсия? — переспросил он с удивлением.

— Из караванной конторы пенсия... пособие.

— Нет, у нас никаких пособиев не полагается, барин.

— Да ведь тебе руку-то оторвало во время сплава, на караванной работе?

— Снастью отрезало... Я у огнива стоял, а снасть-то и оборвись.

— Ну, так караванная контора и должна была тебе назначить денежное пособие, рубля хоть три в месяц. Какой ты работник без руки?

— Уж это што говорить: калека — калека и есть, куды меня повернуть. Пока около сродственников прокармливаюсь, а там и по миру доведется идти. Так контора-то обязана, говоришь, насчет пособия?

— Конечно, обязана...

Мужик задумался: перспектива получить пособие

смутила его, хотя он и не доверял моим словам. После минутного раздумья он махнул оставшейся рукой и проговорил:

— Нет, барин, это никак невозможно...

— Почему?

— А ты посчитай-ка, сколь у нас на одной Каменке калек, а тут мы все и приползем в контору насчет пособиев... Да это и денег недостанет! Которым сплавщикам увечным — это точно, пособие бывает, а штобы нашему брату, бурлаку... Вон он, Осип-то Иваныч, стоит, сунься-ко к нему, он те задаст такое пособие! Ишь, как глазищами ворочает, вроде как осетёр...

Вид на реку с балкона караванной конторы был особенно хорош и даже заслужил одобрение самого Егора Фомича, который в числе других в течение нескольких минут любовался игравшей рекой.

— Немного диковато... — нерешительно заметил кто-то из собравшейся на балконе публики.

Нахлынувший вал поднял лед, как яичную скорлупу; громадные льдины с треском и шумом ломались на каждом шагу, громоздились одна на другую, образуя заторы, и, как живые, лезли на всякий мысок и отлогость, куда их прибивало сильной водяной струей. Недавно мертвая и неподвижная река теперь шевелилась на всем протяжении, как громадная змея, с шипением и свистом собирая свои ледяные кольца. Взломанный лед тянулся без конца, оставляя за собой холодную струю воздуха; вода продолжала прибывать, с пеной катилась на берег и жадно сосала остатки лежавшего там и сям снега. Вместе с льдинами несло оторванные от берега молодые деревья, старые пни, какие-то доски и разный другой хлам; на одной льдине с жалобным визгом проплыла собачонка. Поджавши хвост, она долго смотрела на собравшийся на берегу народ, пробовала перескочить на проходившую недалеко льдину, но оступилась и черной точкой потерялась в бушевавшей воде. Вся картина как-то разом ожила, точно невидимая рука подняла занавес громадной сцены, и теперь дело остановилось только за актерами.

— Сплавщики пришли проздравлять! — доложило «среднее» в сюртуке.

В передней набралось человек пятнадцать сплавщиков; остальные толпились на лестнице и на крыльце. Осип Иваныч, конечно, был здесь же и с кем-то вполголоса ругался. Впереди других стояли меженные[1] сплавщики. Вот степенный высокий старик Лупан, с окладистой большой бородой и строгими глазами; он походит на раскольничьего начетчика, говорит не торопясь, с весом. Из-за него выставляется на диво сколоченная фигура Кряжова, который, как говорится, сделан из цельного дерева; балагур и весельчак Окиня выставляет вперед свою бородку клином, причмокивает и подмигивает. Прижался в уголок в своем рваном азяме Пашка, тоже хороший сплавщик, который, к сожалению, только никак не может справиться с самим собой на сухом берегу. Мелькают бородатые и молодые лица, почтенная седина матерого сплавщика с безусой юностью «выученика». Общее впечатление от сплавщиков самое благоприятное, точно они явились откуда-то с того света, чтобы своими смышлеными лицами, приличным костюмом мужицкого покроя и общим довольным видом еще более оттенить ту рваную бедность, которая, как выкинутый водой сор, набралась теперь на берегу.

— Пришли проздравить Егора Фомича... — заявляет Лупан, когда в дверях показывается Семен Семеныч.

— Сейчас, сейчас выйдут! — торопливо шепчет караванный, оглядывая сплавщиков, точно в их фигурах или платье могло затаиться что-нибудь обидное для величия Егора Фомича.

— Ох, старый — не молоденький... А у меня, Осип Иваныч, еще ночесь брюхо болело: слышало вашу водку! — смеется Окиня, потряхивая своими русыми волосами. — У меня это завсегда... В том роде как часы...

— Ну, ну, будет тебе молоть-то!

---

[1] Из сплавщиков на пристанях особенно ценятся меженные, то есть те, которые плавают по Чусовой летом, — по межени, когда река стоит крайне мелко и нужно знать до мельчайших подробностей каждый вершок ее течения. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Окиня показывает два ряда мелких белых зубов, какие бывают только у таких богатырей, и продолжает свою неудержимую болтовню.

— Шш!.. — шипит караванный, опять вбегая в переднюю. — Входите по одному... да не стучите ножищами. Кряжов! Пожалуйста, того... не изломай чего-нибудь... Лупан, ступай вперед!

Сплавщики одернули кафтаны, пригладили ладонями волосы на голове и гуськом потянулись в залу, где их ждал сам Егор Фомич.

— С вешней водой... со сплавом! — говорил Лупан, отвешивая степенный поклон.

— Спасибо, спасибо, братцы! — ласково ответил Егор Фомич, подавая Лупану стакан водки. — Уж постарайтесь, братцы. Теперь время горячее, в три дня надо поспеть...

— Как завсегды... Егор Фомич, — говорит Лупан, вытирая после водки рот полой кафтана. — Перscoreможемся... Вот как вода...

— А что вода?

— Надо полагать, что кабы над меженью-то больно высоко не подняла. Снега ноне глубоки, да и весна выпала дружная: так солнышко варом и варит...

— Ну, бог не без милости, казак не без счастья!

— Обнаковенно, даст господь-батюшко, и сбежим, как ни-на-есть. Разве народ што...

— Это уж наше дело, Лупан; не ваша забота... А! Окиня! здравствуй! Ну-ко, попробуй, какова водка?

— Водка первый сорт, Егор Фомич, — не запинаясь, отвечает Окиня, — да стаканчик-то у тебя изъянный: глонул раз и шабаш — точно мимо на тройке проехали...

— С большого стаканчика у тебя голова заболит, а теперь нужно работать вплотную, — милостиво шутил Егор Фомич. — Как привалим в Пермь, тогда будет тебе и большой стаканчик.

— Не омманешь?

— Зачем же...

У Егора Фомича для всякого было наготове ласковое словцо; он половину сплавщиков знал в лицо и теперь балагурил с ними с барским добродушием. Глядя на эту патриархальную картину, завзятый скептик

пролил бы слезы невольного умиления: делец и носитель великих промышленных планов братался с наивными детьми народа — чего же больше?

— Господская водка хороша, да мужицкая рука коротка, — говорил Окиня, проталкиваясь к выходу. — Видно, добавить придется из своих денежек. Старый — не молоденький.

— А когда караван отвалит? — спрашивал я Лупана.

— Да дня этак три сождем, барин. Паводка будем ревдинского дожидать. Вишь, ноне какая весна-то ударила, того гляди не подняло бы Чусовую-то...

Около конторы в собравшейся артели сплавщиков мелькали красные рубахи и шляпы с лентами франтовкосных. При каждой казенке, то есть барке, на которой плывет караванный, полагается десятка два самых отборных бурлаков, которые помогают снимать обмелевшие барки, служат вестовыми и так далее. Это и есть косные; самое название произошло от «косной» лодки, в которой они разъезжают. На всех пристанях они одеваются в цветные рубахи и щеголяют в шляпах с лентами. Собственно косные не исправляют никакой особенной должности, а существуют по исстари заведенному порядку, как необходимая декоративная принадлежность каждого сплава.

Чусовские сплавщики — одно из самых интересных и в высшей степени типичных явлений своеобразной жизни чусовского побережья. Достаточно указать на то, что совсем безграмотные мужики дорабатываются до высших соображений математики и решают на практике такие вопросы техники плавания, какие неизвестны даже в теории. Чтобы быть заправским, настоящим сплавщиком, необходимо иметь колоссальную память, быстроту и энергию мысли и, что всего важнее, нужно обладать известными душевными качествами. Прежде всего сплавщик должен до малейших подробностей изучить все течение Чусовой на расстоянии четырехсот — пятисот верст, где река на каждом шагу создает и громоздит тысячи новых препятствий; затем он должен основательно усвоить в высшей степени

сложные представления о движении воды в реке при всевозможных уровнях, об образовании суводей, струй и водоворотов, а главное — досконально изучить законы движения барки по реке и те исключительные условия сочетания скоростей движения воды и барки, какие встречаются только на Чусовой. Нужно заметить еще то, что каждый вершок лишней воды в реке вносит с собой коренные изменения в условиях: при одной воде существуют такие-то опасности, при другой — другие. При малой воде выступают «огрудки» [1] и «таши» [2], а при высокой с баркой под «бойцами» невозможно никак справиться. Но одного знания, одной науки здесь мало: необходимо уметь практически приложить их в каждом данном случае, особенно в тех страшных боевых местах, где от одного движения руки зависит участь всего дела. Хладнокровие, выдержка, смелость — самые необходимые качества для сплавщика: бывают такие случаи, что сплавщики, обладающие всеми необходимыми качествами, добровольно отказываются от своего ремесла, потому что в критические моменты у них «не хватает духу», то есть они теряются в случае опасности. Кроме всего этого, сплавщик с одного взгляда должен понять свою барку и внушить бурлакам полное доверие и уважение к себе. Но все сказанное вполне можно понять только тогда, когда видишь сплавщика в деле на утлом, сшитом на живую нитку суденышке, которое не только должно бороться с разбушевавшейся стихийной силой, но и выйти победителем из неравной борьбы.

Понятно, что тип чусовского сплавщика вырабатывался в течение многих поколений, путем самой упорной борьбы с бешеной горной рекой, причем ремесло сплавщика переходило вместе с кровью от отца к сыну. Обыкновенно выучка начинается с детства, так что будущий сплавщик органически срастается со всеми

---

[1] Огрудки — мели в середине реки, где сгруживается речной хрящ. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Таши — подводные камни. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

подробностями тех опасностей, с какими ему придется впоследствии бороться. Таким образом, бурная река, барка и сплавщик являются только отдельными моментами одного живого целого, одной комбинации.

IX

В гавани работа кипела. Половина барок была совсем готова, а другая половина нагружалась. При нагрузке барок непременно присутствуют сплавщик и водолив; первый следит за тем, чтобы барка грузилась по всем правилам искусства, а второй принимает на свою ответственность металлы.

Я отыскал в гавани барку Савоськи. Он был «в лучшем виде», и только синяк под одним глазом свидетельствовал о недавнем разгуле. Теперь это был совсем другой человек, к которому все бурлаки относились с большим уважением.

— Пришли поглядеть, как барки грузятся? — спрашивал он меня.

— Да. А ты разве не ходил поздравлять с вешней водой? Я тебя что-то не видал в конторе.

Савоська только махнул рукой и стыдливо проговорил:

— Я уж проздравился... Три дни пировал беспросыпу, а теперь трёкнулся.

— Как ты сказал?

— Говорю: трёкнулся... Ну ее, эту водку, к чомору!

«Трёкнулся» — значит отрекся.

Как самому лучшему сплавщику, ему грузили штыковую медь. Начинающим сплавщикам обыкновенно сначала дают барки с чугуном, а потом доверяют железо и медь. Расчет очень простой: если барка убьется с чугуном — металл не много потерял от своего пребывания в воде, а железо и медь — наоборот. Медная штыка имеет форму узкого кирпича; такая штыка весит полпуда. Для удобства нагрузки штыки связываются лыковыми веревками в тюки, по шести штук. Потаскать в течение дня из магазина на барку трехпудовые тюки меди — работа самая тяжелая и у непривыч-

ного человека после двух-трех часов такой работы отнимается поясница, и спина теряет способность разгибаться.

— Много осталось грузиться? — спросил я Савоську.

— Четь [1] барки осталось...

Сначала скажем, как устроена чусовская барка, чтобы впоследствии было вполне ясно, какие препятствия она преодолевает во время сплава, какие опасности ей грозят и какие задачи решаются на каждом шагу при ее плавании.

Начать с того, что барка в глазах бурлаков и особенно сплавщика — живое существо, которое имеет, кроме достоинств и недостатков, присущих всему живому, еще свои капризы, прихоти и шалости. Поэтому у бурлаков не принято говорить: «барка плывет» или «барка разбилась», а всегда говорят — «барка бежит», «барка убилась», «бежал на барке». По своей форме барка походит на громадную, восемнадцать саженей длины и четыре сажени ширины, деревянную черепаху, у которой с носа и кормы, как деревянные руки, свешиваются громадные весла-бревна. Эти весла называются потесями или поносными. Постройка такой барки носит самый первобытный характер. Где-нибудь на берегу, на ровном месте, вымащивают на деревянных ко́злах и клетках платформу, на которую и настилают из двухвершковых досок днище барки; она обрезывается в форме длинной котлеты, причем боковые закругления получают названия плеч: два носовых плеча и два кормовых. В носовых плечах барка строится шире кормовых вершка на четыре, чтобы центр тяжести был ближе к носу, от чего зависит быстрота хода и его ровность.

— Ежели плечи сделать ровные на носу, как и на корме, — объяснял Савоська, — барка не станет разводить струю и будет вертеться на ходу.

Собственно здесь применяется всем известный факт, что бревно по реке всегда плывет комлем вперед; полозья у саней расставляются в головке шире, тоже в видах легкости хода.

---

[1] Четь — четверть. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

На совсем готовое днище в поперечном направлении настилают кокоры, то есть бревна с оставленным у комля корнем: кокора имеет форму ноги или деревянного глаголя. Из этих глаголей образуются ребра барки, к которым и «пришиваются» борта. Когда кокоры положены и борта еще не пришиты, днище походит на громадную челюсть, усаженную по бокам острыми кривыми зубами. В носу и в корме укрепляется по короткому бревну — это пыжи; сверху на борты накладывается три поперечных скрепления, озды, затем барка покрывается горбатой, на два ската, палубой — это конь. В носовой и кормовой части барки настилаются палубы для бурлаков, которые будут работать у поносных. Около пыжей укрепляются в днище два крепких березовых столба — это огнива, на которые наматывается снасть; пыжей и огнив — два, так что в случае необходимости барка может идти вперед и кормой. Средняя часть барки, где отливают набирающуюся в барку воду, называется льялом.

На каждую барку идет около трехсот бревен, так что она вместе с работой стоит рублей пятьсот. Главное достоинство барки — быстрота хода, что зависит от сухости леса, от правильности постройки и от нагрузки. Опытный сплавщик в несколько минут изучает свою барку во всех подробностях и на глазомер скажет, где пущено лишних полвершка. Чтобы спустить барку в воду, собирается больше сотни народа. От платформы, на которой стоит барка, проводятся к воде склизни, то есть бревна, намазанные смолой или салом; по этим склизням барка и спускается в воду, причем от крика и ругательств стоит стоном стон. Спишка барок не идет за настоящую работу, как, например, нагрузка, хотя от бестолковой суеты можно подумать, что творится и бог весть какая работа. Самый трагический момент такой спишки наступает тогда, когда барку где-нибудь «заест», то есть встретится какое-нибудь препятствие для дальнейшего движения. При помощи толстых канатов (снасть) и чегеней (обыкновенные колья) барка при веселой «Дубинушке», наконец, всплывает на воду и переходит уже в ведение водолива, на прямой обязанности которого находится следить за исправностью

судна все время каравана. Сплавщик обязан только сплавить барку в целости, а все остальное — дело водолива. Так что на барке настоящим хозяином является водолив, а сплавщик только командует бурлаками.

— А как вы грузите барку? — спрашивал я Савоську.

— Барку-то? А так и грузим... Льяло садим четвертей на пять, носовые плечи на два вершка глубже, а кормовые на два вершка мельче. Носовой пыж грузим легче плеч, чтобы барка резала носом и не сваливалась на сторону. На верхних пристанях барки грузят на четверть мельче.

— А сколько барка поднимает всего?

— Да как тебе сказать: какая барка, какая вода. Приноравливаешься к воде больше. Ну, тыщев двенадцать пудов грузим, а то и все пятнадцать.

По сходням, брошенным с берега на барку, бесконечной вереницей тянулись бурлаки с тюками меди. Каменские и мастеровые, конечно, резко выделялись от остальной деревенщины и обращались с трехпудовыми ношами, как с игрушками. Для них это была привычная и легкая работа; притом у каждого на запасе были кожаные вачеги [1], что значительно облегчало работу: веревки не резали рук, и тюк со штыками точно сам собой летел на свое место. На бурлаков-крестьян было тяжело и смешно смотреть: возьмет он и тюк не так, как следует, и несет его, точно десятипудовую ношу, а бросит в барку — опять неладно. Водолив ругается, сплавщик заставляет переложить тюк на другое место.

— Едва поднял, — утирая пот рукавом грязной рубахи, говорит какой-то молодой здоровенный бурлак.

— Ах ты, пиканное брюхо! — передразнивает кто-то.

Тут же суетились башкиры и пермяки. Эти уж совсем надрывались над работой.

— Муторно на них глядеть-то, — заметил равнодушно сплавщик. — Нехристь, она нехристь и есть: в ём

---

[1] Вачеги — рукавицы, подшитые кожей. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

и силы-то, как в другой бабе... Куды супротив нашей каменской — в подметки не годится!

Между тюками меди бегал, как угорелый, водолив. Это был плотный среднего роста мужик с окладистой бородой песочного цвета, бегающими беспокойно карими глазами и тонким фальцетом. Он все время ворчал и ругался, точно каждая новая штыка меди для него была кровной обидой. Особенно доставалось от него крестьянам и несчастным башкирам; несколько раз он схватывал кого-нибудь за шиворот, тащил к брошенному тюку и заставлял переложить его на другое место. Вся эта суета пересыпалась нескончаемой и какой-то бесхарактерной руганью, которая даже никого и обидеть не могла; расходившиеся бабы владеют даром именно такой безобидной ругани, которая только зудит в ухе, как жужжание комара.

— Да будет тебе, Порша, собачиться-то! — заметил, наконец, Савоська, когда водолив начал серьезно мешать рабочим. — Ведь ладно кладут... Ну, чего еще тебе?

— Это ладно?!. — как-то завизжал Порша, тыкая ногой ряды штык. — По-твоему, это ладно... а?

— Обнаковенно ладно... Маненько поразбились тюки, ну так дорогой еще успеешь поправить. Время терпит...

— Ну, уж нет, Савостьян Максимыч, я тебе не слуга, видно... Поищи другого водолива, получше меня!

— Да перестань ты кочевряжиться, купорос медный...

— Нет, шабаш! Порша тебе не слуга!..

Последние слова водолив проговорил каким-то меланхолическим тоном и, точно желая подтвердить свои слова, снял шапку, вачеги и с отчаянием бросил их на палубу.

— А вы на караване думаете сплыть? — спрашивал меня сплавщик, не обращая никакого внимания на самые осязательные доказательства отказа Порши от своей «обязанности».

— Да.

— В Пермь?

— Да...

— На казенке поплывете?

— Не знаю еще...

— А то плывите со мной. Порша казенку наладит, тоже насчет чаю обварганит дело в лучшем виде.

— Да ведь Порша отказался от своей должности? — проговорил я.

Порша сидел на берегу без шапки и злыми маленькими глазами смотрел на сновавших мимо бурлаков; время от времени он начинал отплевываться и что-то тихонько голосил себе под нос.

— Порша-то? — проговорил сплавщик, не глядя на берег. — Нет, мы с Поршей завсегды вместе на барке ходим... А это у него уж карахтер такой несообразный: все быргает. Вот ужо́ уходится маненько, так сам придет на барку.

Осип Иваныч недаром хвалил Савоську: в этом мужике что-то было совершенно особенное, начиная с того, что он держал себя с тем неуловимо тонким тактом, с каким держат себя только настоящие умственные мужики. Если разобрать, так нигде нет такой массы самых тонких приличий и известных требований такта, как в крестьянской среде. Меня в этом отношении всегда особенно интересовали новички в крестьянском кругу; каждому задается такой строгий экзамен, какой выдерживают только счастливцы. Малейший промах со стороны новичка, лишнее, на ветер брошенное слово, робость, торопливое движение — и все пропало. Только исключения могут позволять себе некоторые вольности. Например, посмотрите, как мужик относится к пьяным: кажется, что если уж есть где-нибудь равенство между людьми, так оно именно и должно существовать между пьяными, а на деле выходит не так. Пирует Савоська или пирует другой сплавщик — кажется, все равно, а между тем получается чувствительная разница: над пьяным Савоськой посмеются; при случае, если уж сильно закарячится, дадут хорошего подзатыльника, а затем, как проспался, из Савоськи вышел Савостьян Максимыч. Всякая слабость отражается на авторитете, а такая слабость, как пьянство, в особенности; зашибающие водкой сплавщики обыкновенно много теряют в глазах бурлаков; поэтому

пример Савоськи очень меня заинтересовал, и я нарочно прислушивался, что о нем галдят бурлаки.

— Савоська обнаковенно пирует, — говорил рыжий пристанский мужик в кожаных вачегах, — а ты его погляди, когда он в работе... Супротив него, кажись, ни единому сплавщику не сплыть; чистенько плавает. И народ не томит напрасной работой, а ежели слово сказал — шабаш, как ножом отрезал. Под бойцами ни единой барки не убил... Другой и хороший сплавщик, а как к бойцу барка подходит — в ём уж духу и не стало. Как петух, кричит-кричит, руками махает, а, глядишь, барка блина и съела о боец.

— Што говорить! — соглашалась кучка слушателей. — Ежели по-настоящему, так Савоське цены нет...

Сплавщики с разных пристаней славятся разными достоинствами: с одних пристаней не садятся на огрудки, с других ловко проводят барки под бойцами или на переборах. Но и у самых лучших сплавщиков есть известные, почти органические недостатки и роковые места; если раз сплавщик убьет барку под бойцом, в следующий раз он уже теряет присутствие духа под ним. Случается так, что сплавщик бьет барки всего только под одним бойцом. Это зависит, раз, от совершенно особенных условий, с которыми приходится бороться под каждым новым бойцом, а с другой стороны, оттого, что предыдущая неудача «отнимает дух».

X

Вода в Чусовой спала. Ждали второго вала, того паводка, по которому сплавляются все караваны. Обыкновенно его выпускают из Ревдинского пруда дня через три после первого вала. Эти три дня прошли. Барки почти все нагрузились. Приехал священник с ближайшего завода и остановился у Осипа Иваныча, то есть в одной комнате со мной.

— Святить караван, отец Николай?

— Да... Покойники есть, человека два, надо будет их похоронить, исповедать и причастить больных, мало ли работы нашему брату на сплаву!

Я вспомнил про больных мужиков, которых навещал доктор: живы ли они, или уж больше ничего не требуют, кроме могилы?

— Ночью придет вода, а завтра — отвал... — заговорил Осип Иваныч. — А это кто с вами?

— Да так... псаломщик хочет сплыть на караване в Пермь, посвящаться во дьякона.

— Так-с... Что же, доброе дело, — согласился Осип Иваныч.

— Он думает записаться бурлаком, Осип Иваныч...

— И превосходно... Даром сплывет, да еще заработает рублей восемь. Глядишь, и пригодятся, как в консисторию пойдет...

Отец Николай сделал серьезное лицо и даже поправил полки своего подрясника из синего люстрина, точно хотел совсем закрыться от прозрачного намека Осипа Иваныча; будущий дьякон, рослый детина с черной гривой, только смиренно кашлянул в свою громаднейшую горсть и скромно передвинулся с одного кончика стула на другой.

— Я ведь отлично знаю ваши порядки, — не унимался Осип Иваныч. — У меня есть знакомый один, рассказывал всякую процессию...

— А вы все воюете? — политично переменил батюшка неприятный разговор.

— Да... Что будете делать? Такая уж наша обязанность, отец Николай.

— Конечно... Вот и голос у вас будто немного того...

— Охрип, как пес! Летом поправлюсь... Сами знаете: одолели бурлачье.

Батюшка ничего не отвечал, а только вздохнул и покачал с участием головой. Отец Николай, как большинство заводских священников, держал себя с достоинством. Лицо у него было умное и красивое, карие глаза смотрели проницательно, говорил он не торопясь, с весом, улыбался редко — вообще выглядел человеком себе на уме. Псаломщик был из простецов и не знал, куда деваться с своими громадными руками и ногами. Дьякон из него, по всем признакам, должен был выйти хороший — и по фигуре и по голосу, только

вот как он сумеет пролезть через консисторские мытарства.

Мы спали, когда набежал паводок. Все на пристани зашевелилось и загудело, точно разбудили спавший улей. К свету всё и все были уже на ногах. День выдался пасмурный. Горы казались ниже, по серому небу низко ползли облака — не облака, а какая-то туманная мгла, бесформенная свинцовая масса. Чусовая играла на славу, как вырвавшийся из неволи зверь. С глухим ревом и стоном летел вниз пенистый вал, шипучей волной заливая низкие берега и с бешеным рокотом превращаясь на закруглениях береговой линии в гряды майданов, то есть громадных белых гребней. Картина для художника получалась самая интересная: в этом сочетании суровых тонов сказывалась могучая гармония разгулявшейся стихийной силы.

Барки в гавани были совсем готовы. Батюшка с псаломщиком с утра были в караванной конторе, где все с нетерпением дожидались желанного пробуждения великого человека. Доктор показался в конторе только на одну минуту; у него работы было по горло. Между прочим он успел рассказать, что Кирило умер, а Степа, кажется, поправится, если переживет сегодняшний день. Во всяком случае и больной и мертвый остаются на пристани на волю божию: артель Силантия сегодня уплывает с караваном.

— Пора! — слышался сдержанный шепот. — А то вода уйдет или набежит сверху караван.

Семен Семеныч только разводил руками и вытягивал вперед шею: дескать, ничего не поделаешь, ежели они изволят почивать. Минуты тянулись страшно медленно, как при всяком напряженном ожидании. С улицы доносился глухой гул человеческих голосов, мешавшийся с шумом воды.

— Пять четвертей над меженью! — шепотом докладывал в передней какой-то сплавщик.

— И еще прибудет?

— Надо полагать, что прибудет.

К десяти часам Егор Фомич, наконец, изволили проснуться, а затем показались в зале. Как покорный сын

церкви, Егор Фомич подошел под благословение батюшки и даже поцеловал у него руку.

— Все готово? — обратился он к караванному.

— Все... Освятить караван и в путь.

— Гм... Время, кажется, терпит, — заметил лениво Егор Фомич, взглянув на свой полухронометр. — Успеем позавтракать... Ведь так, Семен Семеныч?

— Совершенно верно-с, Егор Фомич, успеется! — подобострастно соглашался караванный, хотя трепетал за каждую минуту, потому что вот-вот налетит сверху караван, и тогда заварится такая каша, что не приведи истинный Христос.

Завтрак походил на все предыдущие завтраки: так же было много пикантных яств, истребляли их с таким же аппетитом, а между отдельными кушаньями опять рассуждали о великом будущем, какое ждет Чусовую, о значении капитала и предприимчивости и так далее. Вино лилось рекой, управители сидели красные, немец выкатил глаза, а становой тяжело икал, напрасно стараясь подавить одолевавшую дремоту. Караванный и служащие сидели, как на иголках; батюшка тоже тревожно поглядывал все время на реку и несколько раз наводил чуткое ухо к передней, откуда доносился сдержанный ропот сплавщиков.

После нескольких тостов за великое будущее «главной артерии Урала» завтрак, наконец, кончился.

— Можно начинать? — осведомился батюшка.

— Пожалуйста, отец Николай! — с утонченной вежливостью отозвался Егор Фомич. — Как это в священном писании сказано: «Аще ли не созиждет... созиждет...»

Тысячи народа ждали освящения барок на плотине и вокруг гавани. Весь берег, как маком, был усыпан человеческими головами, вернее, — бурлацкими, потому что бабьи платки являлись только исключением, мелькая там и сям красной точкой. Молебствие было отслужено на плотине, а затем батюшка в сопровождении будущего дьякона и караванных служащих обошел по порядку все барки, кропя направо и налево. На каждой барке сплавщик и водолив встречали батюшку без шапок и откладывали широкие кресты.

— Вот и ваша каюта, — обратился батюшка ко мне, когда очередь дошла до казенки. — Отлично прокатитесь с Осипом Иванычем...

— Дай бог, дай бог! — отвечал за нас Егор Фомич. — В добрый час...

Сейчас после освящения толпы бурлаков серой волной хлынули на барки, таща за спиной котомки с необходимым харчем на дорогу.

— Ох, воду пропустили! — стонал наш водолив Порша. — Непременно набежит сверху караван...

— Успеем выйти в реку, а там пусть догоняют, — успокаивал сплавщик. — К поносным, ребятушки, к поносным! Пошевеливай, молодцы!..

Бурлаки живым роем копошились по палубам, всякий старался подальше спрятать свою котомку в трюме. Порша при таком благоприятном случае, конечно, свирепствовал, отплевывался, бросал свою шапку на палубу, ругался, стонал.

Наконец народ разместился; убрали сходни, оставалось открыть шлюз, чтобы выпустить барки в реку. Осип Иваныч остался на берегу и, как шар, катался по горбатому мосту, под которым должны были проходить барки.

— Разве он останется? — спросил я Савоську.

— Нет, зачем же... После на косной догонит. Наша казенка пойдет в последних.

— А почему не первой?

— На всякий случай: какая барка убьется или омелеет — мы сымать будем. Тоже вот с рабочими. Всяко бывает. Вон ноне вода-то как играет, как бы еще дождик не ударил, сохрани господи. Теперь на самой мере стоит вода — три с половиной аршина над меженью.

На балконе показался Егор Фомич в сопровождении своей свиты; можно было отчетливо рассмотреть синюю рясу батюшки и мундир станового. Вот кто-то на балконе махнул белым платком, на берегу грянул пушечный выстрел, и ворота шлюза растворились. Барка за баркой потянулись в реку; при выходе из шлюза нужно было сейчас же делать крутой поворот, чтобы струей, выпущенной из шлюза, не выкинуло барку на другой берег, — и пятьдесят человек бурлаков работали из

последних сил, побрасывая тяжелые потеси, как игрушку. Одна барка черпнула носом, другая чуть не омелела у противоположного берега, но во-время успела отуриться, то есть пошла вперед кормой.

Наступила наша очередь. Савоська поднялся на свою скамеечку, поправил картуз на голове и заученным тоном скомандовал:

— Отдай снасть!..

Двое косных подобрали отвязанный на берегу канат к огниву, и барка тихо поплыла к горбатому мосту. Заметно было, что Савоська немного волнуется для первого раза. Да и было отчего: другие барки вышли в реку благополучно, а вдруг он осрамится на глазах у самого Егора Фомича, который вон стоит на балконе и приветливо помахивает белым платком. Вот и горбатый мост; вода в открытый шлюз льется сдавленной струей, точно в воронку; наша барка быстро врезывается в реку, и Савоська кричит отчаянным голосом:

— Нос направо, молодцы!!. Сильно-гораздо, нос направо! Направо нос!.. Корму поддержи!!.

Барка делает благополучно крутой поворот и с увеличивающейся скоростью плывет вперед, оставляя берег, усыпанный народом. Кажется в первую минуту, что плывет не барка, а самые берега вместе с горами, лесом, пристанью, караванной конторой и этими людьми, которые с каждым мгновением делаются все меньше и меньше.

Вот в последний раз взмыл кверху белой шапкой клуб дыма, и гулко прокатился по реке рокот пушечного выстрела, а барка уже огибает песчаную узкую косу, и впереди стелется бесконечный лес, встают и надвигаются горы, которые сегодня под этим серым свинцовым небом кажутся выше и угрюмее.

Каменка быстро скрылась из вида. Мимо зеленой шпалерой бежит темный ельник, шальная вешняя волна с захватывающим стоном хлещет в крутой берег, и барка несется вперед все быстрее и быстрее.

— Похаживай, молодцы! — весело покрикивает Савоська, прищуренными глазами зорко вглядываясь на быстро бегущую нам навстречу синевато-серую даль.

XI

Барка быстро плыла в зеленых берегах, вернее, берега бежали мимо нас, развертываясь причудливой цепью бесконечных гор, крутых утесов и глубоких логов. Это было глухое царство настоящей северной ели, которая лепилась по самым крутым обрывам, цеплялась корнями по уступам скал и образовала сплошные массы по дну логов, точно там стояло стройными рядами целое войско могучих зеленых великанов.

Река неслась, как бешеный зверь. В излучинах и закруглениях водяная струя с шипением и сосущим свистом свивалась в один сплошной пенившийся клуб, который с ревом лез на камни и, отброшенный ими, развивался дальше широкой клокотавшей и бурлившей лентой. В этом бешеном разгуле могучей стихийной силы ключом била суровая поэзия глухого севера, поэзия титанической борьбы с первозданными препятствиями, борьбы, не знавшей меры и границ собственным силам. Это был апофеоз стихийной работы великого труженика, для которого тесно было в этих горах и который точил и рвал целые скалы, неудержимо прокладывая широкий и вольный путь к теплому, южному морю. Нужно видеть Чусовую весной, чтобы понять те поэтические грезы, предания, саги и песни, какие вырастают около таких рек так же естественно и законно, как этот сказочный богатырь — лес.

Только когда нашу барку подхватило струей, как перышко, и понесло вперед с неудержимой бешеной быстротой, только тогда я понял и оценил, почему бурлаки относятся к барке, как к живому существу. Это нескладное суденышко, сшитое на живую нитку, действительно превратилось в одно живое целое, исторически сложившееся мужицким умом, управляемое мужицкой волей и преодолевающее на своем пути почти непреодолимые препятствия мужицкой силой, той силой, которая смело вступала в борьбу с самой бешеной стихией, чтобы победить ее.

Первое впечатление от этой живой бурлацкой массы, которая волной шевелилась на палубе, получалось самое смутное: отдельные фигуры исчезали, сли-

ваясь в бесформенную кучу тряпья и рвани. Вы видите только, как два поносных с страшной силой распахивают воду, вздымают два пенящиеся вала и снова подымаются из воды. Только мало-помалу из этой бесформенной шевелящейся массы начинают выступать отдельные фигуры и лица, и вы, наконец, разбираетесь в работе этого муравейника. Вот у поносных под губой — конец поносного с кочетом — стоят плечистые ребята: это подгубщики, которые выбираются из самых сильных и опытных бурлаков. У нас все четыре подгубщика были «камешки», самый отчаянный народ и замечательно ловко работавший. Не успевала команда сорваться у Савоськи с языка, как подгубщики уже бросали поносное в воду, налегая на губу всей грудью. На такую работу «одним сердцем» можно залюбоваться. На каждой палубе по два поносных. У левого поносного подгубщиком стоит рослый бурлак Гришка; он в одной пестрядевой рубахе, пестрядевые порты щеголевато забраны под новые онучи, забинтованные крест-накрест свежими веревочками новых лаптей. Из-под кожаной фуражки, которая сидит на голове Гришки, как блин, глядит узкими черными глазами корявое, изрытое оспой лицо с жидкой растительностью на подбородке. «Ошшо навались, робя!» — говорит он, всей грудью напирая на свою губу; видно, как под рубахой напруживаются железные мускулы, лицо у Гришки наливается кровью, даже синеет от напряжения, но он счастлив и ворочает свое бревно, как шестигодовалый медведь. Через два кочета от Гришки виднеется женская фигура в заношенном коричневом платке; тщедушная бабенка жалко цепляется костлявыми руками за свой кочет и только другим мешает работать.

— По закону, кажется, нельзя ставить на барки женщин? — спрашиваю я у сплавщика.

— По закону-то оно точно что не дозволено... — ухмыляясь, отвечает Савоська. — Да уж оно так выходит, что на каждую барку беспременно эти самые бабенки попадут... И кто их знает, как они залезут. Отваливает барка, нарочно поглядишь — все мужики стоят,

а как отвалила — бабы и объявятся, вроде как тараканы из щелей.

— А плата им какая?

— Ну, обнаковенно, бабе бабья и цена: мужику восемь рублей, а бабе четыре.

— Что больно дешево? Другая баба, может быть, сильнее мужика...

— Всякие и бабы бывают, только по нашему делу они несподручны. Теперь взять, омелела барка — ну, мужики с чегенями в воду, а бабу, куда ты ее повернешь, коли она этой воды, как кошка, боится до смерти.

— А много наберется на караване баб?

— Да штук двести, поди, наберется... Вон у Гришкинова поносного, третья с краю робит бабенка — это его жена. Как же... Как напьется — сейчас колотить ее, а все за собой по сплавам таскает. Маришкой ее звать... Гришка-то вон какой, Христос с ним, настоящий деревянный черт, за двоих ворочает, — ну, жена-то и идет на придачу.

Очевидно, присутствие женщин на караване, помимо всяких интимных соображений, имело великое «промышленное значение», потому что Семен Семеныч всех баб запишет бурлаками, а с миру и набежит ребятишкам на молочишко. Великое это дело — мир... По рублику, по двугривенному, по пятаку с рыла, а глядишь — в результате получается целый кус. Это один из величайших секретов нашей преуспевающей промышленности. Большинство женщин, которые плывут с караваном, — бездомовный, самый жалкий сброд, который река сносит вниз, как несет гнилые щепы, хлам и разный никому не нужный сор. Роль таких женщин самая незавидная, и они попадают на барки вместе со своими любовниками или просто оттого, что некуда больше деваться. Мужние жены представляют некоторое исключение, с той разницей, что всегда щеголяют с фонарями на физиономии, редкий день не бывают биты и вообще испивают самую горькую чашу.

Под правым поносным стоял подгубщиком прожженный бурлак с карими большими глазами и черной бородкой; его звали Исачкой Бубновым. В своем рваном азяме и какой-то поповской шляпе Бубнов выгля-

дел самым отчаянным проходимцем, каким и был в действительности. Достаточно было взглянуть на эту вечно улыбавшуюся рожу, чтобы сразу разглядеть плута по призванию, с настоящей артистической жилкой. Бубнов не столько любил плоды своих замысловатых операций, сколько самый процесс хитро придуманной механики. Чистенько сделать самое пакостное дело было величайшей его слабостью. Все это прикрывалось бесконечными шутками, раскатистым смехом и самым добродушным весельем, какого никогда не испытывают самые чистые сердцем. Наш водолив Порша стонал и сокрушался все время нагрузки, а когда завидел Исачку — только всплеснул руками.

— Что, обрадовался небось? — балагурил Исачка, пробираясь под палубу с какой-то сомнительной котомкой. — Больно я о тебе соскучился.

— Да в котомке-то у тебя что... а? — кричал Порша.

— Муниция.

— То-то, муниция... Знаем мы тебя.

— Меня Савоська в подгубщики звал, я с ним завсегда плаваю. Ничего, не бойся, Порша.

Но Порша никак не мог успокоиться и несколько раз нарочно вылезал из-под палубы, чтобы взглянуть на Бубнова, причем охал, вздыхал и начинал ругаться.

Под командой Бубнова у правого поносного работал и дядя Силантий с своей артелью. Я рассмотрел добродушное лицо Митрия и еще несколько крестьянских физиономий. «Похаживай, пиканники! — покрикивал на них Бубнов. — Што брюхо-то распустили?» Мужики не умели «срывать поносного», как настоящие бурлаки, перепутывали команду и, видимо, трусили, когда около барки начинали хлестать пенистые волны. Тут же, среди сосредоточенных мужицких фигур, замешалась разбитная заводская бабенка в кумачном красном платке и с зелеными бусами на шее; она ухмылялась и скалила белые зубы каждый раз, как Бубнов отмачивал какое-нибудь новое коленце.

— Ты, умница, с кем плывешь? — спрашивал Бубнов, с убийственной любезностью поглядывая на бабенку.

— Одна... С кем мне плыть-то!

— Обнаковенно, живой человек — не полено! — объясняет Бубнов, к удовольствию остальной публики. — По весне-то и щепы парами плавают.

Бабенка сердито отплевывается и кокетливо опускает глаза. Кто-то ржет на задней палубе, где есть свой балагур в лице хохла Кравченки. Палубы начинают обмениваться взаимными остротами, пересыпая их крепкими словцами, без которых, как хлеб без соли, мужицкий разговор совсем не вяжется. Кравченко, худой сгорбленный субъект, в какой-то бабьей кацавейке и рваной шляпенке, смеется задорным рассыпчатым смехом, весело щурит большие глаза и не выпускает изо рта коротенькой деревянной трубочки. Он очень доволен своим положением, потому что попал между двумя щеголихами-девками, которые плывут с косными. Это настоящие дамы каменского полусвета и держат себя очень прилично, хотя заметно довольны веселым соседом, которому уже успели отпустить несколько полновесных затрещин, когда он нечаянно попадал руками куда не следует. Одна, постарше, с красивыми голубыми глазами, держалась особенно степенно, стараясь не глядеть на своего сожителя, молодого молчаливого парня в красной рубахе, который работал за подгубщика. Кравченко фамильярно называл ее Оксей (сокращенное от Аксиньи). Другая девка, молодая и вертлявая, постоянно закрывала свое курносое лицо рукавом ситцевой кофточки и хихикала, закидывая голову назад.

— Ты, Даренка, чего зубы-то моешь? — спрашивал Кравченко, любезно толкая свою соседку локтем. — Мотри, как дьякон-то на тебя зенки выворачивает... Кабы грех какой не стрясся.

— Да ведь он женатый, — отзывается Даренка, поглядывая на бедного псаломщика, который попал на нашу барку.

Будущий дьякон конфузится и старается смотреть в другую сторону.

— Что́ что женатый... Женатому-то еще лучше, потому как его девки не опасятся: женатый, мол, чего его бояться! нехай поглядит, а он и доглядит.

Псаломщик чувствовал себя, кажется, очень неловко в этой разношерстной толпе; его выделяло из общей массы все, начиная с белых рук и кончая костюмом. Вероятно, бедняга не раз раскаялся, что польстился на даровщинку, и в душе давно проклинал неунимавшегося хохла. Скоро «эти девицы» вошли во вкус и начали преследовать псаломщика взглядами и импровизированными любезностями, пока Савоська не прикрикнул на них.

— Перестаньте вы, плехи, приставать к мужику!.. Точите зубы-то об себя.

Девки обиделись и замолчали.

— Сам с плехой плывешь! — огрызнулась немного погодя Окся, поглядывая на переднюю палубу.

Савоська промолчал, сделав вид, что не слышит.

На задней палубе толклось несколько башкир. Они держались особняком, не понимая остроумной русской речи. Это были те самые, которые три дня тому назад лакомились «веселой скотинкой». Кравченко попробовал было заговорить с одним, но скоро отстал: башкиры были настолько жалки, что никакая шутка не шла с языка, глядя на их бронзовые лица.

Мало-помалу все присмотрелись друг к другу, и на барке образовалось сплоченное общество, причем все элементы заняли надлежащее место. Меня всегда удивляла необыкновенная способность русского человека к быстрому образованию такого общества; достаточно нескольких часов, чтобы люди, совершенно незнакомые, слились в одну органическую массу, причем образовалось что-то вроде безмолвного соглашения относительно достоинств и недостатков каждого. Без слов все отлично понимали сущность дела, и общественное мнение сейчас же вступило в свои права. Я особенно любовался Савоськой, которому достаточно было окинуть глазом эту пятидесятиголовую толпу, чтобы сразу определить, кто и чего стоит. Настоящего работника он чувствовал уже по тому, как тот брался за кочет поносного. Тысячи мельчайших примет, приобретенных постоянным обращением «на людях», выработали у Савоськи тот глазомер, который безошибочно определяет микроскопические особенности.

Савоськин глаз давно привесился к рабочим. Вон на корме у правого поносного «робят» рядом кривой парень в посконной рубахе и чахоточный мастеровой с зеленым лицом; на вид вся цена им расколотый грош, а из последних сил лезут ребята, стараются. Тоже вот молодец в красной рубахе, с которым плывет Окся, хорошо робит, совсем обстоятельный мужик и держит себя серьезно. Есть еще старик да мужик с рыжей бородой — и те дружно робят. На передней палубе подгубщики хороши, потом человек пять каменских бурлаков и пиканники. Остальные бурлаки идут между прочим, на придачу. В артели все сойдет. Кравченко, конечно, ленится, но он на съемках первый в воду идет. Есть тут же два-три человека хороших работников, да водкой зашибают... Всех знает Савоська, всякого оценил и со всяким у него свое обхождение: кривого парня, рыжего мужика и кое-кого из крестьян он приветливым словом заметит, чахоточного мастерового с дьяконом не пошлет в воду, в случае ежели барка омелеет, и так далее. На передней палубе заметил Савоська низенького, худенького бурлака: это Никифор с Каменки; с ним надо осторожнее: вздорный и «сумлительный» мужик, всех может смутить в случае чего. Чистая заноза, а не мужик.

— Веселенько похаживай, голуби! — покрикивает Савоська, глядя вдаль. — Нос налево ударь... нос-от!.. Шабаш, корма!

Я любовался этим Савоськой, который, расставив широко ноги на своей скамеечке, теперь служил олицетворением движения. Голос звучал уверенно и твердо, в каждом движении сказывалась напряженная энергия. Он слился с баркой в одно существо. Но нужно было видеть Савоську в трудных местах, где была горячая работа; голос его рос и крепчал, лицо оживлялось лихорадочной энергией, глаза горели огнем. Прежнего Савоськи точно не бывало; на скамейке стоял совсем другой человек, который всей своей фигурой, голосом и движениями производил магическое впечатление на бурлаков. В нем чувствовалась именно та сила, которая так заразительно действует на массы.

— У нас Савостьян Максимыч — орелко, одно слово! — переговаривались между собой бурлаки. — Сказал слово, как отрубил... Уж супротив него никакому сплавщику не сделать — верно!.. У него глаз вострой.

Осип Иваныч скоро обогнал нас на косной с шестью лихими гребцами — косными. Лодка летела стрелой.

— Куда это он плывет? — спрашивал я Поршу.

— Да так, по баркам... На всякий случай, мало ли чего бывает с караваном.

Порша и Савоська все время особенно наблюдали переднюю барку, которая бежала перед нами. Там сплавщиком стоял оборванец Пашка. Лодка с косными пристала к этой барке.

— Что поглядываешь часто на переднюю барку? — спрашивал я Савоську. — Разве Пашка плохо плавает?

— Нет, плавает ничего, а вот кабы ему в голову не попало... Того гляди убьет!

За нами плыла барка старика Лупана. Это был опытный сплавщик, который плавал не хуже Савоськи. Интересно было наблюдать, как проходили наши три барки в опасных боевых местах, причем недостатки и достоинства всех сплавщиков выступали с очевидной ясностью даже для непосвященного человека: Пашка брал смелостью, и бурлаки только покачивали головами, когда он щукой проходил под самыми камнями; Лупан работал осторожно и не жалел бурлаков: в нем недоставало того творческого духа, каким отличался Савоська.

Здесь необходимо сделать несколько замечаний относительно движения барки по реке.

Различают три рода движения барки: первое, когда барка идет тише воды, подставляя действию водяной струи один бок, — это называется «бежать нос на отрыск»; второе, когда барка идет наравне с водой, — это «бежать щукой», и третье, когда барка идет быстрее воды, зарезывает носом, — это «бежать в зарез». Эти три комбинации скорости движения воды и скорости движения барки служат единственным средством для управления баркой. Работа потесей во всяком случае ничтожна для борьбы с такой неизмеримо

громадной силой, как напор воды в Чусовой; они служат только средством для управления движением барки. Известно, что вода в реке, как кровь в наших артериях, движется не с одинаковой быстротой. Если возьмем поперечный разрез реки, получится такая картина: самое сильное движение занимает середину реки, что на поверхности обозначается рубцом водяной струи; около берегов и на дне вода вследствие трения движется значительно медленнее. Все это можно отчетливо проследить, если сделать внимательное наблюдение над движением по реке простых щеп или пены. Возьмем самый простой пример, именно, движение барки в полосе одинаковой скорости. Для того чтобы сделать движение направо, сначала потесями поворачивают нос направо, потом выравнивают корму, затем опять нос направо, и опять корма выравнивается, пока барка не перемещается в надлежащем направлении. Форма движения получается самая неуклюжая, как у человека, у которого одна половина тела разбита параличом. При движении барки в полосах воды разной скорости пользуются той силой инерции, какую барка получает от своего предыдущего движения по реке. Для того чтобы перевалить с одного берега на другой, барку носом прижимают к берегу и постепенно отводят корму. Струя воды напирает на борт барки и отбивает нос от берега. Барка идет теперь тише воды, делая «нос на отрыск». Потеси помогают такому боковому движению, подставляя все тот же борт напору струи. Когда барка из тихой полосы попала на струю, она сначала идет вровень с водой, а потом начинает обгонять ее, что можно всегда заметить по движению пены и сора, который несет с собой рубец струи. Барку выравнивают потесями и, когда она пошла «в зарез», ставят нос к тому берегу, куда нужно сделать привал.

Когда и как пользоваться этими тремя движениями — зависит от множества условий: от свойств течения реки — куда бьет струя, как стоит боец, какое делает река закругление или поворот, от ранее приобретенной баркой скорости движения и от тех условий движения реки, которые последуют дальше; наконец от

количества и качества той живой рабочей силы, какой располагает сплавщик в данную минуту, от характера самой барки и, главное, от характера самого сплавщика. От сплавщика зависит, каким движением барки воспользоваться в том или другом случае, в его руках тысячи условий, которые он может комбинировать по-своему. Определенных правил здесь не может быть, потому что и река, и барка, и живая рабочая сила меняются для каждого сплава. Ясное дело, что, решая задачу, как наивыгоднейшим образом воспользоваться данными, сплавщик является не ремесленником, а своего рода художником, который должен обладать известного рода творчеством. Мы можем указать несколько примеров применения трех родов движения барки, хотя они совсем не обязательны для сплавщиков и сплошь и рядом не применяются на практике. Движение «в зарез» употребляется чаще всего на главных закруглениях реки, где представляется возможность постепенного бокового перемещения. Барка в этом случае расходует ту силу, какую приобрела от своего предшествовавшего движения скорее воды. На крутых поворотах и под бойцами барки обыкновенно проходят «щукой». «Нос на отрыск» применяется тогда, когда барка должна идти носом близко к берегу, как это бывает около мысов. В таких случаях, если барка не поставлена «нос на отрыск», она, задев днищем за берег, принуждена бывает «отуриться», то есть идти вперед кормой.

Савоська был именно такой творческой головой, какая создается только полной опасностей жизнью. С широким воображением, с чутким, отзывчивым умом, с поэтической складкой души, он неотразимо владел симпатиями разношерстной толпы.

— Где ты всему выучился? — спрашивал я его.

— Учеником сперва плавал, еще с отцом с покойником. С десяти лет, почитай, на караванах хожу. А потом уж сам стал сплавщиком. Сперва-то нам, выученикам, дают барку двоим и товар, который не боится воды: чугун, сало, хромистый железняк, а потом железо, медь, хлеб.

— Сколько же вы получаете за сплав?

— Смотря по грузу: которые с чугуном плывут, тем тридцать пять — сорок рублей платят, а которые с медью — пятьдесят — шестьдесят рублей за сплав. Ежели благополучно привалит караван в Пермь — награды другой раз дают рублей десять.

Такое вознаграждение работы сплавщика просто нищенское, если принять во внимание, как оплачивается всякий другой профессиональный труд, и в особенности то, что самый лучший сплавщик в течение года один раз сплывет весной да другой, может быть, летом, то есть заработает в год рублей полтораста.

XII

Самая гористая часть Чусовой находится между пристанями Демидовой Уткой и Кыном. Мы теперь плыли именно в этой живописной полосе, где по сторонам вставали одна горная картина за другой. Чусовая в межень, то есть летом, представляет собой в горной своей части ряд тихих плёс, где вода стоит, как зеркало; эти плёсы соединяются между собой шумливыми переборами. На некоторых переборах вода стоит всего на четырех вершках, а теперь она поднялась на три аршина и неслась вперед сплошным пенистым валом, который покрыл все плёсы и переборы. Самые опасные переборы, вроде Кашинского, сделались еще страшнее в полую воду, потому что здесь течение реки сдавлено утесистыми берегами.

Главную красоту чусовских берегов составляют скалы, которые с небольшими промежутками тянутся сплошным утесистым гребнем. Некоторые из них совершенно отвесно подымаются вверх сажен на шестьдесят, точно колоссальные стены какого-то гигантского средневекового города; иногда такая стена тянется по берегу на несколько верст. Представьте же себе размеры той страшной силы, которая прорыла такие коридоры в самом сердце гор! Все эти сланцы и известняки теперь представляют сплошные отвесные громады буро-грязного цвета с ржавыми полосами и красноватыми пятнами. В некоторых местах горная порода выветри-

лась под влиянием атмосферических деятелей, превратившись в губчатую массу, в других она осыпается и отстает, как старая штукатурка. На некоторых скалах вполне ясно обрисовано расположение отдельных слоев; иногда эти слои идут в замечательном порядке, точно это работа не стихийной силы, а разумного существа, нечто вроде циклопической гигантской кладки. Разорванный верхний край этих скал довершает иллюзию. Пронеслись тысячи лет над этой постройкой, чтобы разрушить карнизы, арки и башни. Услужливое воображение дорисовывает действительность. Вот остатки крепких ворот, вот основание бойницы, вот заваленные мусором базы колонн... Ведь это те самые Рифейские горы, куда Александр Македонский на веки веков заточил провинившихся гномов.

Под такими скалами река катится черной волной с подавленным рокотом, жадно облизывая все выступы и углубления, где летом топорщится зеленая травка и гнездятся молоденькие ели и пихты. Все, что успевает вырасти здесь за лето, река смывает и безжалостно уносит с собой, точно слизывая широким холодным языком всякие следы живой растительности, осмеливающейся переступить роковую границу, за которой кипит страшная борьба воды с камнем. Барка под такими скалами плывет в густой тени: свет падает сверху рассеивающейся полосой. Сыростью и холодом веет от этих каменных стен, на душе становится жутко, и хочется еще раз взглянуть на яркий солнечный свет, на широкое приволье горной панорамы, на синее небо, под которым дышится так легко и свободно. Малейший звук здесь отдается чутким эхом. Слышно, как каплет вода с поднятых поносных, а когда они начинают работать, разгребая воду, — по реке катится оглушающая волна звуков. Команда сплавщика повторяется эхом, несколько раз перекатываясь с берега на берег. Даже неистовая река стихает под этими скалами и проходит мимо них в почтительном молчании.

Самые высокие и массивные скалы — еще не самые опасные. Большинство настоящих «бойцов» стоит совершенно отдельными утесами, точно зубы гигантской челюсти. Опасность создается направлением водяной

струи, которая бьет прямо в скалу, что обыкновенно происходит на самых крутых поворотах реки. Обыкновенно боец стоит в углу такого поворота и точно ждет добычи, которую ему бросит река. Душой овладевает неудержимый страх, когда барка сделает судорожное движение и птицей полетит прямо на скалу... На барке мертвая тишина, бурлаки прильнули к поносным, боец точно бежит навстречу, еще один момент — и наше суденышко разлетится вдребезги. Савоська меряет глазами быстро уменьшающееся расстояние между бойцом и баркой и, когда остается всего несколько сажен, отдает команду как-то всей грудью. Бурлаки испуганно шарахнутся по палубе, и поносные, эти громадные бревна, даже изогнутся под напором человеческой силы. Нужно видеть, как работали Бубнов, Гришка и другие бурлаки: это была артистическая работа, достойная кисти художника. Но вот барка быстро повернула нос от бойца и вежливо проходит мимо него одним бортом; опасность так же быстро минует, как приходит, и не хочется верить, что кругом опять зеленые берега и барка плывет в совершенной безопасности.

— С коня долой! — командует Савоська.

Перед каждым бойцом, как при отвале и привале, а также и после прохода под бойцом, бурлаки усердно молятся. Такая молитва еще увеличивает торжественность критического момента, но она является самым естественным проявлением того напряженного состояния духа, который переживает невольно каждый. Хорошо делается на душе, когда смотришь на эту картину молящегося народа; и молитва, и труд, и недавняя опасность — все сливается в один стройный аккорд. Савоська на своей скамейке походит на капельмейстера. Не желая утрировать аналогию, мы все-таки сравним бурлаков с отдельными музыкальными нотами, из которых здесь слагается живая мелодия бесконечной борьбы человека с слепыми силами мертвой природы.

После скал и утесов главную красоту чусовских берегов составляет лес. Седые мохнатые ели с побуревшими вершинами придают горам суровое величие. Строгая красота готических линий здесь сливается с темной

траурной зеленью, точно вся природа превращается в громадный храм, сводом которому служит северное голубое небо. Особенно красивы молоденькие пихты, которые смело карабкаются по страшным кручам; их стройные силуэты кажутся вылепленными на темном фоне скал, а вершины рвутся в небо готическими прорезными стрелками. Из таких пихт образуются целые шпалеры и бордюры. Мертвый камень причудливо драпируется густой зеленью, точно его убрала рука великого художника. Малейший штрих здесь блещет неувядаемой красотой: так в состоянии творить только одна природа, которая из линий и красок создает смелые комбинации и неожиданные эффекты. Человеку только остается без конца черпать из этого неиссякаемого, всегда подвижного и вечно нового источника. Особенно хороши темные сибирские кедры, которые стоят там и сям на берегу, точно бояре в дорогих зеленых бархатных шубах. Как настоящие кровные аристократы, они держатся особняком и как бы нарочно сторонятся от простых елей и пихт, которые отличаются замечательной неприхотливостью и растут где попало и как попало, только было бы за что уцепиться корнями, — настоящее лесное мужичье.

По мыскам, заливным лугам и той полосе, которая отделяет настоящий лес от линии воды, ютятся всевозможные разночинцы лесного царства: тут качается и гибкая рябина — эта северная яблоня, и душистая черемуха, и распустившаяся верба, и тальник, и кусты вереска, жимолости и смородины, и колючий шиповник с волчьей ягодой. Здесь же отдельными пролесками и островками стоят далекие пришлые люди — горькая осина с своим металлически-серым стволом, бесконечно родная каждому русскому сердцу кудрявая береза, изредка липа с своей бледной, мягкой зеленью. Но теперь все эти пришлые люди и разночинцы стоят голешеньки и жалко топорщатся своими набухшими ветвями: тяжело им на чужой, дальней стороне, где зима стоит восемь месяцев. Кое-где попадаются вырубленные полосы, где рядами стояли свежие пни. Со стороны тяжело смотреть на этот результат вторжения человеческой деятельности в мирную жизнь раститель-

ного царства. Свежие поруби удивительно похожи на громадное кладбище, где за трудовым недосугом некогда было поставить кресты над могилами.

— Это все на барочки наши лес пошел, — объяснял Савоська. — Множество этого лесу изводят по пристаням... Так валом и валят!

Вся Чусовая, собственно говоря, представляет собой сплошную зеленую пустыню, где человеческое жилье является только приятным исключением. Несколько заводов, до десятка больших пристаней, несколько красивых сел — и все тут. Это на шестьсот верст протяжения. Да и селитьба какая-то совершенно особенная: высыплет на низкий мысок десятка два бревенчатых изб, промелькнет полоса огороженных покосов, и опять лес и лес, без конца-краю. Некоторые деревушки совсем спрятались в лесу, точно гнезда больших грибов; есть починки в два-три дома. Здесь воочию можно проследить, как и где селится русский человек, когда ему есть из чего выбрать.

Из встречавшихся по пути селений больше других были пристани Межевая Утка и Кашка. Первая раскинулась на крутом правом берегу Чусовой красивым рядом бревенчатых изб, а пониже видна была гавань с караванной конторой и магазинами, как на Каменке. Два-три дома в два этажа с мезонинами и зелеными крышами выделялись из общей массы мужицких построек; очевидно, это были купеческие хоромины.

— Скоро шабаш, видно, Утке-то, — говорил Савоська, поглядывая на пристань.

— А что?

— А вот железную дорогу наладят, так на Утке, пожалуй, и делать нечего. Теперь барок полсотни отправляют, а тогда, может, и пяти не наберут...

— По железной дороге дороже будет отправлять металлы, чем по Чусовой.

— Дороже-то оно дороже, да, видно, уж так придется, барин. Лесу не прохватывает на Утке барки строить — вот оно что! И теперь подымают снизу барки на Утку, а чего это стоит! Больно ноне леса-то по Чусовой пообились около пристаней. Ведь кажинный

сплав считай барок пятьсот, а на барку идет триста дерев.

— Полтораста тысяч бревен!

— Так... Страсть вымолвить. Да еще лес-то какой идет на барку — самый кондовый, первый сорт! Ну, теперь и скучают по пристаням-то об лесе. Больно скучают, особливо на Утке. Да и по другим пристаням начинают сумлеваться насчет лесу.

Глядя на берег Чусовой, кажется, что здесь лесные богатства неистощимы, но это так кажется. В действительности лесной вопрос для Урала является в настоящую минуту самым больным местом: леса везде истреблены самым хищническим образом, а между тем запрос на них, с развитием горнозаводского дела и промышленности, все возрастает. Насколько похозяйничали заводовладельцы и промышленники над чусовскими лесами, можно проследить по течению этой реки шаг за шагом. Владельческие участки накануне полного обезлесения, какое уже постигло некоторые заводские дачи на Урале, как, например, дачу Невьянских заводов. Как бы в противовес этой картине запустения являются приятными исключениями казенные участки, но на Чусовой они представляют уже только оазисы среди захватывающего их рокового безлесного кольца. Такова, например, казенная уткинская лесная дача, а затем все пространство, начиная от деревушки Иоквы, верст семь ниже пристани Кашки, до другой деревушки Чизмы. Здесь, на расстоянии ста верст, правый берег представляет казенную собственность, и на нем леса сохранились почти неприкосновенными. Вообще эта часть Чусовой, между Иоквой и Чизмой, самая гористая и вместе самая лесистая; если между этими точками провести прямую линию и соединить ее с казенным заводом Кушвой, получится громадный треугольник, почти нетронутый нашей роковой цивилизацией. В Среднем Урале этот угол является каким-то исключением и представляет беспросветную лесную глушь. Вероятно, в недалеком будущем и этот обойденный потоком нашей промышленности угол разделит участь капитальных владельческих земель, но пока он пред-

ставляет совсем девственную, нетронутую территорию. Его отлично защищают горы, непроходимые леса, топи.

Пристань Кашка рассыпала свои домики на левом берегу Чусовой, на низкой отлогости, которую далеко заливает вешняя вода. Вид на пристань чистенький и опрятный. Напротив селения правый берег Чусовой поднимается крутым каменистым гребнем, течение суживается, образуя очень опасный Кашкинский перебор. Здесь вода шумит с страшной силой, и барки летят мимо пристани, как птицы. Падение реки здесь настолько сильно, что заметно простым глазом: река катится прямо под гору. Таких мест в гористой части Чусовой немало, и река в них играет с особенной яростью.

— На что в межень — и то по Кашкинскому перебору, пожалуй, не вдруг в лодке проедешь, — объяснял Савоська. — Того гляди выворотит вверх дном... Сердитое место.

После Кашки вплоть до Кыновской пристани, на протяжении шестидесяти верст, не встречается ни одного большого селения, а маленькие деревнюшки, вроде Иоквы, Пермяковой и Деминевой, издали представляются кучкой домиков, которые разбрелись по берегу без всякого плана и порядка. Вид Пермяковой отличается, пожалуй, довольно оригинальной красотой, хотя и поражает непривычного человека своей дикостью, как вообще вся Чусовая. Всего какой-нибудь десяток изб точно сейчас выползли на левый низкий берег — и все тут. Кругом лес; напротив, через реку, крутой лесистый берег. Пермякова замечательна тем, что представляет собой типичное разбойничье гнездо. По рассказам, лет двести тому назад здесь поселился разбойник Пермяков, который грабил проходившие мимо суда, — от него и произошло настоящее население Пермяковой. Конечно, теперь о разбоях на Чусовой не может быть и речи, но Пермякова между бурлаками пользуется плохой репутацией.

— Что так? — спрашивал я Савоську.

— Да так... Когда идешь со сплаву домой, засветло стараешься пройти эту самую Пермякову.

— Разве здесь грабят бурлаков?

— Нет, не слышно... А так, пронес господь — и

слава богу. Одним словом, не баское место... Старики-то сказывали, что сам-то Пермяков, старик-от, промышлял насчет бурлаков, которые со сплаву шли. Выйдет этак с винтовкой на тропу, по которой бредут бурлаки, и караулит: который отстал от артели, он его и залобует[1]. Все же лопотина какая ни-на-есть на бурлаке, деньги, может, у другого, оно, глядишь, и покорыстуется. А промысел — дома. Белку еще ищи там по лесу или оленя, а бурлачки сами идут под пулю. Может, это и неправда, — прибавил Савоська, — мало ли зря болтают про допрежние времена...

Немного пониже деревни Пермяковой мы в первый раз увидели убитую барку. Это была громадная коломенка, нагруженная кулями с пшеницей. Правым разбитым плечом она глубоко легла в воду, конь и передняя палуба были снесены водой; из-под вывороченных досок выглядывали мочальные кули. Поносные были сорваны. Снастью она была прикреплена к берегу, — очевидно, это на скору-руку устроили косные, бурлаков не было видно на берегу.

— Где же рабочие? — спрашивал я.

— Ушли, значит. Чего им теперь делать у убившей барки. Водолив должон быть во всяком случае у барки... Да вон и он. Надо полагать, за хлебом ходил. Теперь наладит себе на бережку шалашик и будет дожидать купца... Купеческая посудина-то, с верхних пристаней.

Водолив шел по берегу и неприветливо смотрел в нашу сторону.

— Чьих вы будете? — крикнул Порша, выставляя голову из люка.

Водолив что-то крикнул, но его ответ был заглушен работой поносных. Через пять минут разбитая барка скрылась из вида.

— С людьми несчастиев, значит, не было на убившей барке, — проговорил Савоська в раздумье.

— Отчего ты так думаешь?

— Кабы кого порешило, так лежал бы на бережку тут же, а то, значит, все целы остались. Барка-то с пше-

[1] Залобует — убьет. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

ницей была, она как ударилась в боец — не ко дну сейчас, а помаленьку и отползла от бойца-то. Это не то, что вот барка с чугуном: та бы под бойцом сейчас же захлебнулась, а эта хошь на одном боку да плывет.

Бурлаки долго галдели об «убившей» барке, обсуждая обстоятельства последовавшего крушения с приемами завзятых специалистов. Бубнов и Кравченко ругали сплавщика, более обстоятельные мужики вступались за него, потому что на грех мастеров нет, и т. д. Новички сплава внимательно вслушивались в непонятную для них терминологию споривших.

Савоська не обращал никакого внимания на эту болтовню и время от времени тревожно поглядывал кверху, на серое небо, которое будто ниже и ниже опускалось над рекой.

— Мотросит... — проговорил он, выставляя руку под накрапывавший мелкий дождь.

— А что?

— Худо будет...

Я понял этот лаконический ответ. Как всякая другая горная река, Чусовая от одного хорошего дождя может подняться на несколько аршин, потому что все бесчисленные ручейки и речонки, которые бегут в нее, раздуваются в бешеные потоки, принося массу шальной воды.

— А где будем хвататься? — спрашивал я.

— Под Кыном надо будет хватку сделать. Эх, задарма сколько время потеряли даве, цельное утро, а теперь, того гляди, паводок от дождя захватит в камнях! Беда, барин!.. Кабы вы даве с Егором-то Фомичом покороче ели, выбежали бы из гор, пожалуй, и под Молоковым успели бы пробежать загодя... То-то, поди, наш Осип Иваныч теперь горячку порет, — с улыбкой прибавил Савоська, делая рукой кормовым знак «поддержать корму». — Поди, рвет и мечет, сердяга.

В шести верстах от деревни Пермяковой стоит на правом берегу боец Писаный. Свое название он получил от надписи, которая сделана на нем в двадцати саженях от уровня реки. Надпись выветрилась, так что ничего нельзя разобрать; с барки можно рассмотреть только высеченный в скале крест. Здесь в 1724 году

родился Никита Акинфиевич Демидов, о чем и гласила надпись. Самая скала представляет отвесный утес, поросший лесом. На противоположном низком берегу стоит массивный крест, высеченный из цельного камня. Двумя верстами ниже Писаного стоит другой боец, Столбы. Это почти правильной круглой формы известковые колонны в двадцать сажен высоты; около них поднимается несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки.

Глядя на эти толщи настланных друг на друга известняков, сланцев и песчаников, исчерченных белыми прожилками доломита, так и кажется, что пред вашими глазами развертывается лист за листом история тех тысячелетий и миллионов лет, которые бесконечной грядой пронеслись над Уралом. Чусовая в летописях геологии является самой живой страницей, где ученый шаг за шагом может проследить полную неустанного труда и всяческих треволнений автобиографию нашей старушки земли. Она была настолько предупредительна, что переложила все листы своей рукописи соответствующими происхождению каждого окаменелыми представителями тогдашней флоры и фауны. Но ученые с русскими фамилиями до сих пор как-то обходят своим благосклонным вниманием Чусовую, и если мы что-нибудь знаем о ней, то исключительно благодаря кропотливым исследованиям любознательных иноземцев — Р. И. Мурчисона, Э. Эйхвальда и так далее. Скажем несколько слов о Чусовой именно с геологической точки зрения.

Представьте себе на месте нынешнего Урала первобытный океан, тот океан, который не занесен ни в какие учебники географии. Земля недавно родилась — недавно, конечно, только сравнительно, то есть накиньте несколько миллионов лет, — первобытный океан омывает ее, как повивальная бабка моет только что появившегося на свет ребенка, а затем этот же океан в течение неисчислимых периодов времени совершает свою стихийную работу, разрушая в одном месте и со-

зидая в другом. Из этих разрушенных частиц, которые носятся в морской воде, медленно осаждаются все те известняки, песчаники и доломиты, которыми мы любуемся уже в готовом виде. Все это идет очень хорошо, в самом строгом порядке, но потом первобытный океан исчезает, образованные им осадочные пласты начинают подниматься и дают широкую трещину от нашего Ледовитого океана вплоть до плоской возвышенности, именуемой в географиях Усть-Уртом. Вот в эту-то трещину и выливаются плутонические породы, производят страшный беспорядок в существовавшем порядке и, наконец, застывают в виде порфировых и гранитных скал, образуя основную горную ось с побочными разветвлениями. С человеческой точки зрения, вся эта история поражает своими размерами во времени и пространстве, но в жизни планеты она, вероятно, прошла так же незаметно, как складывается на нашем лице новая морщина, а на ней садится несколько прыщей. Таким образом, на Урале мы имеем, с одной стороны, плутонические породы, с другой — нептунические; первые резче выражены на восточном, сибирском склоне Урала, вторые преимущественно на западном, а между ними, в толще осадочных нептунических пород, пробила себе дорогу Чусовая, делая тысячи интересных обнажений, разрезов, своих собственных отложений и так далее. На пластах силурийской системы вы видите постепенные наслоения горноизвестковой формации, где чередуются все эти песчаники, сланцеватые глины, известняки, пропластки доломитов. Глаз любуется этими причудливыми изгибами отдельных пластов, в трещинах и изломах которых вкраплены сростки известкового кремня, гипс, слюда, гнезда металлических руд. Все это засыпано уже выветрившимися, разрушенными породами, но опытный глаз чувствует себя здесь, как в гигантской лаборатории, разрушенной в момент производившихся опытов и продолжающей работать уже на обломках и развалинах.

По Чусовой барка плывет среди великолепной геологической панорамы, распадающейся, как мозаика, на тысячи отдельных геологических картин. Эта превращенная в камень история переживает новую стихийную

метаморфозу, где к силурийской и девонской формациям присоединяются новые осадочные образования, как результат работы могучей горной реки и атмосферических деятелей. Едва ли где-нибудь в другом месте геолог найдет столь необозримое поле для исследований, как на Чусовой, которая с чисто геологическим терпением ждет русских ученых и русской науки, чтобы развернуть пред их глазами свои сокровища.

От Урала, как геологической морщины, мы перейдем теперь к Уралу, как нашему историческому порогу в Азию, потому что наша барка уже подплывает к устью р. Серебрянки, по которой в 1581 году Ермак перевалил в Сибирь.

Устье Серебрянки по наружному виду ничем особенным не отличается. Правый высокий берег Чусовой точно раздался широкими воротами, в которые выбегает бойкая горная речонка, — и только. Мы уже говорили выше о значении похода Ермака как завоевателя Сибири, и теперь остается только повторить, что этому походу историками и исследователями придается совсем не та окраска, какой он заслуживает. Истинными завоевателями и колонизаторами Сибирской украйны были голутвенные и обнищалые русские людишки, а Ермак шел уже по проторенной новгородскими ушкуйниками дорожке и имеет историческое значение постольку, поскольку служил интересам исконной русской тяги к украйнам, этим предохранительным клапанам нашей исторической неурядицы. Народ по достоинству оценил Ермака и поет о нем в своих былинах как о казацком атамане, составлявшем только голову живого казацкого тела. Казацкий атаман никогда не мог быть ни Колумбом, ни Магелланом, ни Куком; атаман был только выборным от казацкого круга, где, как во всякой общине, все равны. Он тянул за Камень, потому что туда тянул его казацкий круг.

Не доплывая до Кына верст пятнадцать, мы издали увидели вереницу схватившихся барок. Это был наш караван. Он привалил к левому берегу, где нарочно были устроены ухваты для хватки, то есть вкопаны в землю толстые столбы, за которые удобно было кре-

пить снасть. Широкое плёсо представляло все удобства для стоянки.

— За Кыном по-настоящему следовало бы схватиться, — объяснял Савоська. — Да видишь, под самым Кыном перебор сумлительный... Он бы и ничего, перебор-от, да, вишь, кыновляне караван грузят в реке, ну, либо на караван барку снесет, либо на перебор, только держись за грядки. Одинова там барку вверх дном выворотило. Силища несосветимая у этой воды! Другой сплавщик не боится перебора, так опять прямо в кыновский караван врежется: и свою барку загубит, и кыновским достанется.

Хватка — одно из самых трудных условий благополучного сплава, особенно в большую воду. Нам схватиться за готовые барки уже не представляло особенной опасности. Порша выкинул снасть на самую последнюю барку, там положили ее мертвой петлей на огниво, теперь оставалось только осторожно травить снасть — то есть, завернув ее на огниво, спускать кольцо за кольцом, чтобы несколько ослабить силу напряжения. В первый момент, когда Порша завернул канат вокруг огнива двумя петлями, он натянулся, как струна, барка вздрогнула и точно сознательно рванулась вперед. В этот критический момент, когда натянувшийся канат мог порваться, как гнилая нитка, Порша осторожно начал его спускать на огниве. От сильного трения огниво задымилось и, вероятно, загорелось бы, но Исачка во-время облил его водой из ведерка.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська. — С коня долой...

Все сняли шапки и помолились на восток.

— Спасибо, братцы! — коротко поблагодарил Савоська бурлаков.

— Тебе спасибо, Савостьян Максимыч... С веселенькой хваткой!

XIII

Весь берег, около которого стояло десятка два барок, был усыпан народом. Везде горели огни, из лесу доносились удары топора. Бурлаки на нашей барке успели

промокнуть порядком и торопились на берег, чтобы погреться, обсушиться и закусить горяченьким около своего огонька. Нигде огонь так не ценится, как на воде; мысль о тепле сделалась общей связующей нитью.

При выходе с барки Порша с обычными причитаньями ощупывал каждого бурлака, чтобы грешным делом нечаянно не зацепил с собой полупудовой штыки. Исачка и Кравченко были осмотрены им особенно тщательно, начиная с котомки и кончая сапогами.

— А я у тебя, Порша, беспременно сдую штыку, — шутил Исачка во время осмотра. — Верно тебе говорю...

— Без тебя знаю, что сдуешь, — стонал Порша. — Варнаки, так варнаки и есть... Одна у вас вера-то у всех, охаверники!..

Когда очередь осмотра дошла до баб, шуткам и забористым остротам не было конца. «У нас Порша вроде как куриц теперь щупает», — острил кто-то в толпе. Но Порша с замечательной последовательностью и философским спокойствием довершал начатый подвиг и пропустил без осмотра только одну Маришку.

— Ну, ты и так еле ноги волочишь, — проговорил Порша, махнув рукой. — Ступай себе с богом...

Появился Осип Иваныч. Он совсем охрип от трехдневного крика и теперь был под хмельком.

— Где это вы все время были? — спрашивал я его.

— Как где? С караваном плыл... Ведь на всех барках нужно было побывать, везде поспеть... Да!.. У одной барки под Кашкой кормовое поносное сорвало, у другой порубень [1] ободрало. Ну что, Савоська, благополучно?

— Все благополучно, Осип Иваныч... Только вот кабы дождичек не подгадил дела.

— Ох, не говори... А все из-за этого Егорки, чтобы ему ни дна ни покрышки!..

— Я то же говорю! Пожалуй, настигнет нас паводок в камнях, не успеем выбежать...

— Ну, бог милостив... Вы с чем пьете чай: с ромом или коньяком? — обратился ко мне Осип Иваныч.

---

[1] Порубень — борт. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

— Все равно, только поскорее чего-нибудь горяченького...

— Ха-ха... Видно, кто на море не бывал, тот досыта богу не маливался. Ну, настоящая страсть еще впереди: это все были только цветочки, а уж там ягодки пойдут. Порша! скомандуй насчет чаю и всякое прочее.

Мы поместились в каюте, где для двоих было очень удобно, то есть можно было растянуться на лавке во весь рост и заснуть мертвым сном, как спится только на воде. Огня на барке разводить не дозволяется, и потому Порша отрядил одного бурлака с медным чайником на берег, где ярко горели огни. Сальная свечка, вставленная в бутылку из-под коньяка, весело осветила нашу каюту, где все до последнего гвоздя было с иголочки и вместе сшито на живую нитку. Савоська при помощи досок устроил между скамейками импровизированный стол, на котором появилась разная дорожная провизия: яйца, колбаса, балык, сыр и так далее.

— Савоська! Выпьешь для первого привала? — спрашивал Осип Иваныч, наливая серебряный стаканчик.

— Нет, ослобоните, Осип Иваныч... Не могу теперь.

— В Перми наводить будешь? Ха-ха!

— Уж как доведется, — скромно отвечал Савоська.

Скоро Порша поставил на стол медный чайник с кипяченой водой, и мы принялись пить чай из чайных чашек без блюдечек. Осип Иваныч усердно подливал себе то рому, то коньяку, приговаривая:

— Я, батенька, на переменных гоню: скорее доедем...

Савоська поместился с нами и пил чашку за чашкой в каком-то оторопелом состоянии, как вообще мужики пьют чай «с господами». Осип Иваныч был красен до ворота рубахи и постоянно вытирал вспотевшее лицо бумажным желтым платком.

— Самая собачья наша должность, — хрипел он, дымя папироской. — Хуже каторги... А привычка — что поделаете! Ждешь не дождешься этой самой каторги. Так ведь, Савоська?

— Точно так, Осип Иваныч...

— То-то!.. Ты ведь у меня золото, а не сплавщик.

Ну, кто у тебя на барке плывет? — уже шутливо спрашивал он.

— Да так, всякого народу довольно...

— И Даренка плывет? Знаю, знаю... Сорока на хвосте принесла. Нет, я тебе скажу, у Пашки на барке плывет одна девчонка... И черт его знает, где он такую отыскал!

Савоська улыбнулся какой-то неопределенной улыбкой и ничего не ответил.

— Вы уж меня извините, голубчик, — обратился ко мне Осип Иваныч: — живой о живом и думает... Ей-богу, отличная девчонка!

— Хорошая девка на сплав не пойдет, Осип Иваныч, — почтительно заметил Савоська, опрокидывая чашку вверх донышком.

— А нам на кой ее черт, хорошую-то? На сплав не в монастырь идут... Ха-ха!.. Нет, право, преаппетитная штучка!

Пришли сплавщики с других барок, и я отправился на берег. Везде слышался говор, смех; где-то пиликала разбитая гармоника. Река глухо шумела; в лесу было темно, как в могиле, только время от времени вырывались из темноты красные языки горевших костров. Иногда такой костер вспыхивал высоким столбом, освещая на мгновение темные человеческие фигуры, прорезные силуэты нескольких елей, и опять все тонуло в окружающей темноте.

Я долго бродил между огней. Где варилась каша в чугунных котелках, где уже спали вповалку, накрывшись мокрым тряпьем, где балагурили на сон грядущий. Исачка и Кравченко, конечно, были вместе и упражнялись около огонька в орлянку; какой-то отставной солдат, свернувшись клубочком на сырой земле, выкрикивал сиповатым баском: «Орел! Орешка!..» Можно было подумать, что горло у службы заросло такой же шершавой щетиной, как обросло все лицо до самых глаз. Двое фабричных и один косной апатично следили за игрой, потягивая крючки из серой бумаги.

— Ошарашим по стаканчику? — говорил Исачка, улыбаясь глазами.

В другом месте, под защитой густой ели, расположилась другая компания: на первом плане лежал, вытянувшись во весь рост, Гришка; он спал богатырским сном. В ногах у него, как собачонка, сидела Маришка и апатично сосала беззубым ртом какую-то корочку. Тут же сидел на корточках чахоточный мастеровой, наклонившись к огню впалой грудью; очевидно, беднягу била жестокая лихорадка, и он напрасно протягивал над самым огнем свои высохшие руки с скрюченными пальцами. Псаломщик, скорчившись, сидел на обрубке дерева и курил папиросу.

— Садитесь к огоньку, — предложил мне фабричный.

Я подсел к будущему дьякону, который вежливо уступил мне часть своего обрубка. Наступило короткое молчание.

— Мы тут про разбойника Рассказова разговариваем, — глухо заговорил мастеровой. — Он на Чусовой разбойничал...

— А давно это было?

— Да лет полсотни тому будет. Чудесный был человек, такие слова знал, что ему все нипочем. Сколько раз его в Верхотурье возили в острог. Посадят, закуют в кандалы, а он попросит воды испить — только его и видели... Верно!.. Ему только дай воды, а уж там его не удержишь: как сквозь землю провалится. Замки целы, стены целы, окна целы, а Рассказов уйдет, точно по воде уплывет. Сила, значит, в ней, в воде-то. Один надзиратель в остроге-то и похвастался, что не выпустит Рассказова, и не стал ему давать воды совсем, а все квас да пиво. В десятый раз, может, Рассказов-то сидел тогда... Ну, а Рассказов все-таки ушел: нарисовал на стенке угольком лодочку и ушел, ей-богу... Разные он слова знал! Ищут его теперь по лесу, окружили, деваться совсем Рассказову некуда, а он скажет слово, да всем глаза и отведет...

— Как глаза отведет?

— Да так: из глаз уйдет, все равно как потемки напустит... Тоже вот разными голосами умел говорить, сам в одном месте, а закричит в другом. Бросятся туда — а Рассказова и след простыл.

Мне не один раз приходилось слышать на Чусовой рассказы о разбойнике Рассказове с самыми разнообразными вариациями; бурлаки любят эту темную, полумифическую личность за те хитрости, какими обходил Рассказов своих врагов. Главное, Рассказов никогда не трогал своего брата мужика, а только купцов и богатых служащих. Притом он не проливал человеческой крови, что ставилось всеми рассказчиками разбойнику в особенную заслугу. У этого Рассказова на Чусовой был устроен в пещере разбойничий притон, где он хоронил награбленные сокровища. Мужицкая фантазия, как и фантазия привилегированных человеков, здесь к маленьким былям, очевидно, щедрой рукой подсыпала большие небылицы.

Свой рассказ мастеровой закончил глухим чахоточным кашлем.

— Нездоровится? — спрашивал будущий дьякон.

— Какое уж тут здоровье... Мы на катальной машине робили, у огня. В поту бьешься, как в бане. Рубаха от поту стоит коробом... Ну, прохватило где-то сквозняком, теперь и чахну: сна нет, еды нет.

— А семья у тебя есть?

— Как же... Ребятенок трое, жена. Старика тоже воспитываю... У нас на заводе рано в старики записываются, сорок лет — и старик. Мой-то старик робил на сортовой катальной, где проволоку телеграфную тянут, а тут к тридцати годам без ног наш брат. Работа вся бегом идет... В семье-то нас два работника, а вместо работников выходит два едока. В допрежние времена всем калекам и не способным к тяжелой работе было место: кого куда рассуют, а ноне другие порядки: извелся на работе — и ступай куды глаза глядят. Машины везде пошли, гонят народ...

— Это вроде как у нас тоже, — вставил свое слово будущий дьякон. — У нас хоть и нет машин, а тоже гонят изо всех мест. Меня из духовного училища выгнали за то, что табаку покурил... Прежде лучше было: налупят бок, а не выгонят.

— Лучше было, что говорить! — повторял мастеровой, хватаясь рукой за грудь. — Знамо, что лучше... Как уж и жить будем! Тоже не от сладкого, поди,

житья с нами, мужиками, у поносного обедню служишь?

Псаломщик только встряхнул гривой и посмотрел на свои медвежьи лапы.

— А я к дождю-то больно разнемогся вечор, — прибавил мастеровой, запахивая вытертый суконный халат около шеи. — Вишь, как частит!.. Другие в мокре стоят — ничего, только пар от живого человека идет, а меня цыганский пот пробирает.

К огню подошла пара. Это был Савоська. Он шел, закрыв широким чекменем востроглазую заводскую бабенку, которая работала у нас на передней палубе. Увидев меня, он немного смутился, а потом проговорил:

— Вот места сухонького ищем... Зарядил, видно, наш дождичек, так и сыплется, как скрозь решето.

— Рано завтра отвалит караван?

— А кто его знает? Как Осип Иваныч.

Подруга Савоськи засмеялась, показывая белые зубы.

— На два вершка воды прибыло в Чусовой, — заметил Савоська, подсаживаясь к огоньку. — Ужо что утро скажет...

На барке сидел один Порша, ходивший по палубе, как часовой. Осипа Иваныча не было; он ночевал где-то на берегу. Река глухо и зловеще шумела около бортов, в ночной темноте нельзя было рассмотреть противоположного берега.

Ночь я провел самую тревожную и просыпался несколько раз. Казалось, что около барки живым клубом шипела и шевелилась масса змей. Когда я проснулся, наша барка подплывала уже к Кыновской пристани. В окошечко каюты сквозь мутную сетку дождя едва можно было рассмотреть неясные очертания гористого берега. Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот. «Кыну» по-пермяцки значит «холодный», и действительно, в Среднем Урале не много найдется таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Както всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где все точно придавлено. Караван

кыновской успел уже отвалить до нас; на берегу едва можно было рассмотреть ряды заводских домиков, совсем почерневших от дождя.

— На пол-аршина вода прибыла за ночь, — как-то таинственно сообщил мне Савоська, когда барка прошла Камасинский перебор.

— Опасно?

— Середка на половине... А та беда, что дождик-то не унимается. Речонки больно подпирают Чусовую с боков: так разыгрались, что на́ поди! А чем дальше плыть, тем воды больше будет.

— А где Осип Иваныч?

Савоська только махнул рукой, движением головы показав на барку Пашки, которая теперь казалась мутным пятном.

Бурлаки стояли на палубах тихо; лица вытянулись, пропитанные водой лохмотья глядели еще жальче. Богатырь Гришка стоял под своей «губой» в одной пестрядевой рубахе, которая облепила его тело мокрой тряпицей; Маришка посинела и едва волочилась за ходившим поносным. Бубнов нарядился в какую-то женскую кацавейку и, чтобы согреться, работал за десятерых. На задней палубе тоже не было веселых лиц, за исключением неугомонной востроглазой Даренки, которая, кажется, очень хорошо познакомилась с Кравченкой и задорно хихикала каждый раз, когда тот отпускал каламбуры. Большинство лиц было серьезно, с тем апатично-покорным выражением, с каким относятся к каждому неизбежному злу: если некуда деваться, так, значит, нужно робить и под весенним дождем. Желая согреть бурлаков, Савоська делал совсем ненужные удары поносными направо и налево, но подгубщики сразу видели эту политику насквозь, и работа шла вяло, через пень-колоду.

— Три аршина три четверти! — крикнул Порша, меряя воду наметкой.

Савоська промолчал, а только потуже подпоясался и глубже нахлобучил на голову свою шляпу, точно приготовляясь вступить врукопашную с невидимым врагом.

Прибывавшая вода скоро дала себя почувствовать. Барка плохо слушалась поносных и неслась вперед с

увеличивавшейся скоростью. На бойких местах она вздрагивала, как живая.

— Нос налево! Постарайтесь, родимые! — кричал Савоська, стараясь вглядеться в мутную даль. — Голубчики, поддоржи корму! Сильно-гораздо поддоржи!..

Порша показывался на палубе только для того, чтобы сердито плюнуть и обругать неизвестно кого. В одном месте наша барка правым бортом сильно черкнула по камню; несколько досок были сорваны, как соломинки.

— Барка убившая... — послышался шепот.

Впереди под бойцом можно было рассмотреть только темную массу, которая медленно поднималась из воды. Это и была «убившая» барка. Две косных лодки с бурлаками причаливали к берегу; в воде мелькало несколько черных точек — это были утопающие, которых стремительным течением неудержимо несло вниз.

— Наша каменская барка... Гордей плыл, — проговорил Савоська, всматриваясь в тонувшую барку. — Сила не взяла...

«Убившая» барка своим разбитым боком глубже и глубже садилась в воду, чугун с грохотом сыпался в воду, поворачивая барку на ребро. Палубы и конь были сорваны и плыли отдельно по реке. Две человеческие фигуры, обезумев от страха, цеплялись по целому борту. Чтобы пройти мимо убитой барки, которая загораживала нам дорогу, нужно было употребить все наличные силы. Наступила торжественная минута.

— Ударь нос направо, молодцы!!! Сильно-гораздо ударь!!! — не своим голосом крикнул Савоська, когда наша барка понеслась прямо на убитую.

Трудно описать то ощущение, какое переживаешь каждый раз в боевых местах: это не страх, а какое-то животное чувство придавленности. Думаешь только о собственном спасении и забываешь о других. Разбитая барка промелькнула мимо нас, как тень. Я едва рассмотрел бледное, как полотно, женское лицо и снимавшего лапти бурлака.

— Как же они остались там? — спрашивал я Савоську, оглядываясь назад.

— Ничего, косные снимут. Нам вон тех надо переловить...

В косную, которая была при нашей барке, бросились четверо бурлаков. Исачка точно сам собой очутился на корме, и лодка быстро полетела вперед к нырявшим в воде черным точкам. На берегу собрался народ с убитой барки.

Около Кына и дальше Чусовая имеет крайне извилистое течение, делая петли и колена. На этих изгибах расположены четыре очень опасных бойца. Сначала Кирпичный, на правой стороне. Это громадная скала, точно выложенная из кирпича. Затем, на левом берегу, в недалеком расстоянии от Кирпичного нависла над самой рекой громадная скала Печка. Свое название этот боец получил от глубокой пещеры, которая черной пастью глядит на реку у самой воды; бурлаки нашли, что эта пещера походит на «цело́» печки, и окрестили боец Печкой. Сам по себе боец Печка представляет серьезные опасности для плывущих мимо барок, но эти опасности усложняются еще тем, что сейчас за Печкой стоит другой, еще более страшный боец Высокий-Камень. Если сплавщик побоится Печки и пройдет подальше от каменного выступа, каким он упирается в реку, барка неминуемо попадет на Высокий, потому что он стоит на противоположном берегу, в крутом привале, куда сносит барку речной струей. Чусовая под этими бойцами делает извилину в форме латинской буквы S; в первом изгибе этой буквы стоит Печка, во втором — Высокий-Камень. Сам по себе Высокий-Камень — один из самых замечательных чусовских бойцов. Достаточно представить себе скалу в пятьдесят сажен высоты, которая с небольшими перерывами тянется на протяжении целых десяти верст... У этих двух бойцов в высокую воду бьется много барок. Высокий-Камень отделяет от себя еще новый боец, Мултык, который считается очень опасным. Бойцы поменьше, как Востряк в пяти верстах от Кына и Сосун в четырнадцати, — в счет нейдут.

В двадцати верстах от Кына стоит казенная пристань Ослянка; с нее отправляется казенное железо, вырабатываемое на заводах Гороблагодатского округа.

Около Ослянки каким-то чудом сохранились две вогульские деревушки, Бабенки и Копчик. Обитатели этих чусовских деревушек для этнографа представляют глубокий интерес как последние представители вымирающего племени. Когда-то вогулы были настолько сильны, что могли воевать даже с царскими воеводами и Ермаком, а теперь это жалкое племя рассеяно по Уралу отдельными кустами и чахнет по местным дебрям и трущобам в вопиющей нужде. Сохранили же чусовские известняки разных Amplexus multiplex, Fenestella Veneris, Chonetes sarcinulata [1] и так далее, а от вогул останется только смутное воспоминание.

В тридцати четырех верстах от Кына стоит камень Ермак. Это отвесная скала в двадцать пять сажен высоты и в тридцать ширины. В десяти саженях от воды чернеет отверстие большой пещеры, как амбразура бастиона. Попасть в эту пещеру можно только сверху, спустившись по веревке. По рассказам, эта пещера разделяется на множество отдельных гротов, а по преданию, в ней зимовал со своей дружиной Ермак. Последнее совсем невероятно, потому что Ермаку не было никакого расчета проводить зиму здесь, да еще в пещере, когда до Чусовских Городков от Ермака-камня всего наберется каких-нибудь полтораста верст. В настоящее время Ермак-камень имеет интерес только в акустическом отношении; резонанс здесь получается замечательный, и скала отражает каждый звук несколько раз. Бурлаки каждый раз, проплывая мимо Ермака, непременно крикнут: «Ермак, Ермак!..» Громкое эхо повторяет слово, и бурлаки глубоко убеждены, что это отвечает сам Ермак, который вообще был порядочный колдун и волхит, то есть волхв. Даже Савоська верил в чудеса Ермака.

— Пять!.. — кричал Порша, прикидывая своей наметкой. — Ох, подымает вода!..

— Придется сделать хватку, — говорил Савоська. — Вечор Осип Иваныч наказывал, ежели вода станет на пять аршин, всему каравану хвататься..

— Опасно дальше плыть?

---

[1] Названия вымерших пород моллюсков *(лат.)*.

— Опасно-то опасно, да тут пониже есть деревушка Кумыш... Вот она где сидит, эта самая деревушка, — прибавил Савоська, указывая на свой затылок.

— А что?

— Больно работы много за Кумышом, да и место бойкое... Есть тут семь верст, так не приведи истинный Христос. Страшенные бойцы стоят!..

— Молоков?

— Он самый, барин. Да еще Горчак с Разбойником... Тут нашему брату, сплавщику, настоящее горе. Бойцы щелкают наши барочки, как бабы орехи. По мерной воде еще ничего, можно пробежать, а как за пять аршин перевалило — тут держись только за землю. Как в квашонке месит... Непременно надо до Кумыша схватиться и обождать малость, покамест вода спадет хоть на пол-аршина.

— А если придется долго ждать?

— Ничего не поделаешь. Не наш один караван будет стоять... На людях-то, бают, и смерть красна.

— Братцы, утопленник плывет... утопленник! — крикнул кто-то с передней палубы.

В воде мимо нас быстро мелькнуло мертвое тело утонувшего бурлака. Одна нога была в лапте, другая босая.

— Успел снять один-то лапоть, сердяга, а другой не успел, — заметил Савоська, оглядываясь назад, где колыхалась в волнах темная масса. — Эх, житье-житье! Дай, господи, царство небесное упокойничку! Это из-под Мултыка плывет, там была убившая барка.

Бурлаки приуныли. Картина плывшего мимо утопленника заставила задуматься всех. Особенно приуныли крестьяне. Старый Силантий несколько раз принимался откладывать широкие кресты.

— Нет, придется схватиться, — решил Савоська, поглядывая на серое небо. — Порша! Приготовь снасть!.. Вот Лупан тоже налаживается хвататься.

Бурлаки обрадовались возможности обсушиться на берегу и перехватить горяченького. Ждали лодки, на которой Бубнов отправился спасать тонувших бурлаков. Скоро она показалась из-за мыса и быстро нас догнала.

— Двоих выдернули, — объявил Бубнов, когда лодка причаливала к барке. — Одного я схватил прямо за волосья, а он еще карячится, отбивается... Осатанел, как заглонул водицы-то!

XIV

Вторая хватка для нас не была так удачна, как первая. Пашка схватился на довольно бойком перекате, но с нашей барки не успели во-время подать ему снасть. Пришлось самим делать хватку прямо на берегу. Снасть, закрепленная за молоденькую ель, вырвала дерево с корнем, и барку потащило вдоль берега, прямо на другие барки, которые успели схватиться за небольшим мыском. Волочившаяся по берегу снасть вместе с вырванной елью служила тормозом и мешала правильно работать. Произошла страшная суматоха; каждую минуту снасть могла порваться и разом изувечить несколько человек. Бедный Порша метался по палубе с концом снасти, как петух с отрубленной головой. Нужно было во что бы то ни стало собрать снасть в лодку и устроить новую хватку по всем правилам искусства.

— Руби снасть! — скомандовал Савоська Бубнову.

Повторять приказания было не нужно. Бубнов на берегу обрубил канат в том месте, где он мертвой петлей был закреплен за вырванное дерево. Освобожденный от тормоза канат был собран в лодку, наскоро была устроена новая петля и благополучно закреплена за матерую ель. Сила движения была так велика, что огниво, несмотря на обливанье водой, загорелось огнем.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська.

Канат в последний раз тяжело шлепнулся в воду, потом натянулся, и барка остановилась. Бежавший сзади Лупан схватился за нашу барку.

По правилам чусовского сплава, каждая барка обязана принять снасть на свое огниво со всякой другой барки, даже с чужого каравана. Это нечто вроде международного речного права.

— Отчего ты не выпустил каната совсем? — спрашивал я Поршу. — Тогда косные собрали бы его в лодку и привезли в барку целым, не обрубая конца...

— А как бы я стал мокрую-то снасть на огниво наматывать? Што ты, барин, Христос с тобой! Первое — мокрая снасть стоит коробом, не наматывается правильно, а второе — она от воды скользкая делается, свертывается с огнива... Мне вон как руки-то обожгло, погляди-ко!

Порша показал свои руки, на которых действительно красными подушками всплыли пузыри.

Было всего часов двенадцать дня. Самое время, чтобы плыть да плыть, а тут стой у берега. Делалось обидно за напрасно уходившую воду и даром потраченное время на стоянку.

— Пять аршин с вершком выше межени, — проговорил Порша, прикидывая свою наметку в воду.

А дождь продолжал идти с немецкой последовательностью, точно он нивесть какое жалованье получал за свою работу. На бурлаках не было нитки сухой.

— Надо первым делом разыскать, где здесь кабак, — разрешил все недоуменья Бубнов. — Простоим долго...

— Типун тебе на язык, Исачка!

— Не от меня будете стоять, милые, а от воды. Говорю: первым делом кабак отыскать...

— Какой тебе в лесу кабак, отпетая душа?

— Должон быть беспременно... На Чусовой да водки не найти — дудки!.. Хлеба не найдешь, а водку завсегда. Тут есть пониже маненько одна деревнюшка...

— Всего двенадцать верст, — заметил Савоська, — и на твою беду как раз ни одного кабака. Народ самый непьющий живет, двоеданы [1].

— Для милого дружка семь верст не околица, Савостьян Максимыч. А с двоеданами я этой водки

---

[1] На Урале раскольников иногда называют *двоеданами.* Это название, по всей вероятности, обязано своим происхождением тому времени, когда раскольники, согласно указам Петра Великого, должны были платить *двойную подать.* Раскольников также называют и *кержаками,* как выходцев с реки Керженца. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

перепил и не знаю сколько: сначала из отдельных рюмок пьют, а потом — того, как подопьют — из одной закатывают, как и мы грешные. Куды нас деть-то: грешны, да божьи.

— У меня не разбродиться по берегу, — говорил Савоська почти каждому бурлаку, пока Порша производил неизбежную щупку, — а то штраф... На носу это себе зарубите. Слышали?

— А как насчет харчу?

— Пока доедайте у кого что припасено, а там косные привезут всякого провианту.

— Ну, уж это тоже на воде вилами писано, — ворчал Бубнов.

В общих чертах повторилась та же самая картина, что и вчера: те же огни на берегу, те же кучки бурлаков около них, только недоставало вчерашнего оживления. Первой заботой каждого было обсушиться, что под открытым небом было не совсем удобно. Некоторые бурлаки, кроме штанов и рубахи, ничего не имели на себе и производили обсушивание платья довольно оригинальным образом: сначала снимались штаны и высушивались на огне, потом той же участи подвергалась рубаха.

— У святых угодников еще меньше нашего одежи было, да не хуже нашего жили, — утешал всех Бубнов, оставшись в одной рубахе.

Место хватки было самое негостеприимное: крутой угор с редким лесом, который даже не мог защитить от дождя. Напротив, через реку, поднималась совсем голая каменистая гряда, где курице негде было спрятаться. Пришлось устраивать шалаши из хвои, но на всех не прихватывало инструменту, а к Порше и приступиться было нельзя. Кое-как бабы упросили его пустить их обсушиться под палубы.

— Пусти их в самом-то деле, Порша, — просил вместе с другими Савоська. — Не околевать же им... Тоже живая душа, хоть баба.

— А у меня курятник, что ли, барка-то? — ругался Порша.

— Может, и в самом деле по яичку снесут, как обсушатся, — острил кто-то.

— Ах, будьте вы все прокляты!! Савостьян Максимыч! Я тебе больше не слуга... Только Осип Иваныч приедет, сейчас металл буду сдавать. Вот те истинный Христос!!

— Перестань божиться-то, Порша! Неровен час — подавишься!

Дождь продолжал идти; вода шла все на прибыль. Мимо нас пронесло барку без передних поносных; на ней оборвалась снасть во время хватки. Гибель была неизбежна. Бурлаки, как стадо баранов, скучились на задней палубе; водолив без шапки бегал по коню и отчаянно махал руками. Несколько десятков голосов кричали разом, так что трудно было что-нибудь разобрать.

— Лодку у них унесло водой, — догадался Савоська. — Эй, братцы, кто побойчее — в лодку да захватите запасную снасть.

Порша не давал было снасти, но его кое-как уговорили. Лодка с Бубновым на корме понеслась догонять уплывавшую барку.

— Постарайтесь, братцы! — кричал Савоська вслед. — Тут верстах в пяти есть изворот; кабы не убилась барка-то...

— Успеем! — отозвался Бубнов, не поворачивая головы.

— Молодцевато плывут! — полюбовался Савоська, следя глазами за удалявшейся лодкой. — Все наши камешки... Уж на воде лучше их нет, а на берегу не приведи истинный Христос.

В казенке опять появился медный чайник и чашки без блюдечек.

Пришел Лупан.

— Больно не ладно, Савостьян Максимыч, — проговорил старик, усаживаясь на лавочку.

— На что хуже, дедушко Лупан.

Лупан придерживался старинки, хотя и якшался с православными. Он даже не пил чаю, который называл антихристовой травой.

— Ты не гляди, что она трава, ваш этот самый чай, — рассуждал старик. — А отчего ноне все на вонтаранты пошло? Вот от этой самой травы! Мужики с

кругу спились, бабы балуются... В допрежние времена и звания не было этого самого чаю, а народу было куды вольготнее. Это уж верно.

— А как же, дедушко, по деревням люди божии маются еще хуже нашего? — спрашивал Порша, любивший пополоскать свою требушину кипяченой водой. — Там чай еще не объявился и самоваров не видывали...

— Там своя причина! Земляной горох[1] стали есть — ну и бедуют. Всему есть причина... Враг-то силен!

В душе Лупана жило непоколебимое убеждение, что все злобы нашего времени происходят от табаку, картофеля и чаю. На первый раз такое оригинальное миросозерцание кажется смешным, но стоит внимательнее вглядеться в то, что табак, картофель и чай служили для Лупана только символами вторгнувшихся в жизнь простого русского человека иноземных начал. Впрочем, может быть, Лупан смотрел на дело гораздо проще, без всякой символики. В мужицкой голове еще сохранились воспоминания о тех картофельных бунтах, какие разыгрывались на Урале во времена еще не столь отдаленные. Табак и чай завоевали права гражданства на Руси более мирным путем и своей антихристовой силой постепенно побеждают даже завзятых раскольников.

— А вот что мы будем делать, дедушко, как дождь с неделю пройдет? — спрашивал Савоська. — Вода не страшна, да народ-то взбеленится... Наши пристанские да мастерки-то останутся, — только дай им поденную плату, — а вот крестьянишки — те беспременно разбегутся.

— Уйдут, — соглашался Лупан. — Северни двадцать восьмое число, говорят, а там Еремей-запрягальник на носу... Уйдут!

— Как же мы останемся без бурлаков? — спрашивал я.

---

[1] Раскольники называют картофель земляным горохом. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Да уж, видно, так, как бог велит. Заводы придется запереть, чтобы народ согнать на караван. Не иначе...

Эти ожидания оправдались в тот же день вечером, когда к берегу привалила косная Осипа Иваныча. «Пиканники» собрались в одну кучу и глухо зашумели, как волны прилива.

— А... бунт!!. — зарычал Осип Иваныч, меряя глазами собравшуюся толпу. — Ах мошенники, протобестии!

— Бялеты, Осип Иваныч... Нам ждать не доводится! — послышались нерешительные голоса в толпе.

— Что-о??. Как?!. — взметнулся Осип Иваныч, отыскивая коноводов. — Почему... а?!. Кто это говорит, выходи вперед!

Таких дураков не нашлось, и Осип Иваныч победоносно отступил, пообещав отдуть лычагами каждого, кто будет бунтовать. Крестьянская толпа упорно молчала. Слышно было, как ноги в лаптях топтались на месте; корявые руки сами собой лезли в затылок, где засела, как у крыловского журавля, одна неотступная мужицкая думушка. Гроза еще только собиралась.

— Уйдут варнаки, все до последнего человека уйдут! — ругался в каюте Осип Иваныч. — Беда!.. Барка убилась. Шесть человек утонуло... Караван застрял в горах! Отлично... Очень хорошо!.. А тут еще бунтари... Эх, нет здесь Пал Петровича с казачками! Мы бы эту мужландию так отпарировали — все позабыли бы: и Егория, и Еремея, и как самого-то зовут. Знают варнаки, когда кочевряжиться... Ну, да не на того напали. Шалишь!.. Я всех в три дуги согну... Я... у меня, брат... Вы с чем: с коньяком или ромом?..

— Как же мы дальше поплывем, Осип Иваныч, если народ разбежится? — спрашивал я.

— Как? Э, все вздор и пустяки: нагонят народ с заводов.

— Да ведь долго будет ждать. Вода успеет уйти за это время...

— И пусть уходит, черт с ней! Второй вал выпустят из Ревды. Не один наш караван омелеет, а на людях и смерть красна. Да, я не успел вам сказать: об нашу

убитую барку другая убилась... Понимаете, как на пасхе яйцами ребятишки бьются: чик — и готово!.. А я разве бог? Ну скажите ради бога, что я могу поделать?..

Власть положительно вскружила голову Осипу Иванычу, и личное местоимение «я» сделалось исходным пунктом его помешательства. Как все «административные» головы, он в каждом деле прежде всего видел «я», а потом уж других.

Бубнов вернулся на косной только к вечеру. Лица гребцов были красные, языки заплетались.

— Где вы, черти, пропадали? — накинулся на них Порша.

— На хватке были...

— А шары-то где налили?

— Говорят, на хватке...

— Да ты не вертись, как береста на огне, а сказывай прямо: в деревню успели съездить?.. Ну?..

Бубнов посмотрел на Поршу, покрутил головой и проговорил:

— Насчет харча, Порша... Вот те истинный Христос!..

— Оно и видно, за каким вы харчем ездили: лыка не вяжете.

— А ты благодари бога, что снасть тебе в целости-сохранности привезли... Вот мы какие есть люди: кругом шестнадцать... То-то! А барку мы пымали... нам по стаканчику поднесли. В четырех верстах отседова пымали. Мне снастью руку чуть-чуть не отрезало.

— Надо бы обе вместе отрезать: не стал бы воровать...

— Порша, мотри!

— Я и то гляжу.

Оказалось, что Бубнов с компанией действительно привезли и харчу, то есть несколько ковриг хлеба. Между прочим, бурлаки захватили целого барана, которого украли и спрятали под дном лодки. Эта отчаянная штука была в духе Исачки, обладавшего неистощимой изобретательностью.

— Шкурку променял на водку, а тут и закуска, — отшучивался Исачка. — Только бы Осип Иваныч не

узнал... А ежели увидит, скажу, что купил, когда хозяина дома не было.

Другим бурлакам оставалось только удивляться и облизываться, когда Исачка принялся жарить свою добычу. На его счастье, Осип Иваныч спал мертвым сном в казенке.

Всю ночь около огней, где собрались крестьянские «артелки», шли разговоры о том, как быть со сплавом, которому не предвиделось и конца. С одной стороны, кондракт, пачпорты в руках Осипа Иваныча, порка в волостном правлении, а с другой — до Еремея оставалось всего «два дни». «Выворотиться» — было общей мыслью, о которой старались не говорить и которая тем настойчивее лезла в голову. Другой не менее важной общей мыслью была забота о «пропитале», в частности — о харчах. В самом деле, не еловую же кору глодать, сидя на пустом берегу.

— Вам поденные будут платить, — говорил я старику Силантию, у которого теперь не было даже заплесневелых сухарей.

— По кондракту, барин, обязаны поденные платить, а нам это не рука... Куды мы с ихними поденными?..

— Осип Иваныч обещал по полтине каждому в сутки.

— И рупь даст, да нам ихний рупь не к числу. Пусть уж своим заводским да пристанским рубли-то платят, а нам домашняя работа дороже всего. Ох, чтобы пусто было этому ихнему сплаву̀!.. Одна битва̀ нашему брату, а тут еще господь погодье вон какое послал... Без числа согрешили! Такой уж незадачливый сплав ноне выдался: на Каменке наш Кирило помер... Слышал, может?

— Слышал.

— Так без погребения и покинули. Поп-то к отвалу только приехал... Ну, добрые люди похоронят. А вот Степушки жаль... Помнишь, парень, который в огневице лежал. Не успел оклематься [1] к отвалу... Плачет,

[1] Оклематься — поправиться. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

когда провожал. Что будешь делать: кому уж какой предел на роду написан, тот и будет. От пределу не уйдешь!.. Вон шестерых, сказывают, вытащили утопленников... Ох-хо-хо! Царствие им небесное! Не затем, поди, шли, чтобы головушку загубить...

— А ваша артель не выворотится, Силантий?

— Ничего не знаю, барин, ничего... Не работа, а один грех! Больно галдят наши-то хрестьяны. Так и рвутся по домам. Вот не знаем, сколь времени река не пустит дальше...

— Этого никто не знает.

— Вот в том-то и беда.

На другой день, когда я проснулся, Осип Иваныч в бессильной ярости неистовствовал на барке. Около него собрались кучки бурлаков.

— Ведь убежали! — встретил он меня.

— Кто убежал?

— Да мужландия... Целая артель убежала. Помните этого бунтовщика... ну, старичонка, бородка клинышком: он всю артель за собой увел. Жалею, что не отпорол этого мерзавца еще на Каменке. Ну, да наше не уйдет... Я еще доберусь до него... я... я...

— Какой бунтовщик? Я что-то не припомню?

— Ах, господи... Ну, как его там звали, Савоська?

— Силантием, Осип Иваныч. У носового поносного робил с артелью.

— Подлецы, подлецы, подлецы!

«Мужландия» не вытерпела, наконец, и «выворотилась».

— Шесть аршин над меженью! — крикнул Порша, меряя воду.

— Не может быть? Ты не умеешь мерять... — усомнился Осип Иваныч, выхватывая наметку из рук Порши.

— Как вам будет угодно, Осип Иваныч... — обиделся водолив. — Уж если я не умею воду мерять, так после этого... Позвольте расчет, Осип Иваныч!..

— Убирайся ты к черту, дурак! Не до тебя! Ах, черт возьми, действительно шесть аршин над меженью!.. Ведь это целых две сажени... Паводок в две сажени!..

— Севодни ночью две барки пронесло мимо, Осип Иваныч, — докладывал Савоська. — Должно полагать, с ухвата сорвало или снасть лопнула... Так и тарабанит по Чусовой, как дохлых коров.

А дождь продолжал свою работу, не останавливаясь ни на минуту.

XV

В течение каких-нибудь трех дней Чусовая превратилась в бешеного зверя. Это был двигающийся потоп, ломавший и уносивший все на своем пути. Высота воды достигала шести с половиной аршин, а вместе с каждым вершком прибывавшей воды увеличивалась и скорость ее движения. При низкой воде вал идет по реке со скоростью пяти с половиной верст в час, а теперь он мчался со скоростью восьми верст; барка по низкой воде делает в час средним числом верст одиннадцать, а по высокой — пятнадцать и даже двадцать. В последнем случае все условия сплава совершенно изменяются: там, где достаточно было сорока человек, теперь нужно становить на барку целых шестьдесят, да и то нельзя поручиться, что вода не одолеет под первым же бойцом.

Сила напора водяной струи была так велика, что нашу барку привязали к ухвату еще вторым канатом. Кругом все попрежнему было серо. Берег превратился в стоянку каких-то дикарей. Бурлаки не походили на самих себя: спали в мокре и грязи, почернели от дыма, отощали. Оказалось несколько больных, которые лежали под прикрытием своих шалашиков. О медицинской помощи нечего было и думать, когда не было хлеба и харчей. Вся надежда оставалась на то, как и при лечении дорогих патентованных врачей, что авось человек «сам отлежится». До ближайшей деревни было верст двенадцать, но попадать туда было крайне замысловато: горой, то есть по берегу, нельзя было пройти — не пускали разбушевавшиеся горные речки; по Чусовой, конечно, можно было попасть, но тяжело было возвращаться назад против течения. Даже отчаянный Бубнов — и тот отказывался от поездки в деревню,

хотя сам второй день сидел впроголодь. Осип Иваныч больше не показывался к нам на барку.

— Где он пропадает? — спрашивал я у Савоськи.

— У Пашки на барке и днюет и ночует... Народ голодает, а он плёшничает.

На третий день нашей стоянки «выворотилась» вторая крестьянская артелька. Это случилось как раз первого мая, в день Еремея-запрягальника. На этот раз побег «пиканников» был встречен всеми равнодушно, как самое обыкновенное дело. Нервы у всех притупились, овладевала та апатия, которая создается безвыходностью положения. Оставались пристанские бурлаки и «камешки», этим некуда было бежать, благо заплатят поденщину.

На четвертый день стоянки скрылись башкиры. Они сделали это так же незаметно, как вообще оставались незаметными все время сплава.

— Уж куда эта нехристь торопится — ума не приложу! — ругался Порша. — Крестьянин — тот к пашне рвется, а эта погань куда бежит? Робить не умеет, а туда же бежит... Чисто как лесное зверье, прости ты меня, господи!..

В казенке, кроме меня, помещался теперь будущий дьякон, а ночевать приходил еще чахоточный мастеровой. Время тянулось с убийственной медленностью, и один день походил как две капли воды на другой. Иногда забредет старик Лупан, посидит, погорюет и уйдет. Савоська тоже ходил невеселый. Одним словом, всем было не по себе, и все были рады поскорее вырваться отсюда.

Под палубой устроилась целая бабья колония, которая сейчас же натащила сюда всякого хламу, несмотря ни на какие причитания Порши. Он даже несколько раз вступал с бабами врукопашную, но те подымали такой крик, что Порше ничего не оставалось, как только ретироваться. Удивительнее всего было то, что, когда мужики голодали и зябли на берегу, бабы жили чуть не роскошно. У них всего было вдоволь относительно харчей. Даже забвенная Маришка — и та жевала какую-то позёмину, вероятно свалившуюся к ней прямо с неба.

— И откуда у них что берется? — удивлялся Порша. — Ведь и на берег, почитай, совсем не выходят, а, глядишь, все жуются... Оказия, да и только!..

— Ты на штыки-то смотри, Порша, — советовал Савоська. — Бабы — они, конечно, бабы, а все-таки и за ними глаз да глаз нужен...

— Смотрю, Савостьян Максимыч... Кажинный день поверяю чуть не всю барку. Все ровно в сохранности, как следовает тому быть.

Другое обстоятельство, которое очень беспокоило Поршу, заключалось в том, что из Бубнова, Кравченки и Гришки составился некоторый таинственный триумвират. Их постоянно видели вместе. Будущий дьякон уверял, что несколько раз слышал, как они шептались между собой.

— Уж, наверно, это Исачка какую-нибудь пакость сочиняет, — уверял Порша. — Недаром они шепчутся...

Все дело скоро объяснилось.

Однажды, когда Порша пред рассветом дремал на палубе, что-то булькнуло около барки. Порша бросился на подозрительный звук и увидал, во-первых, Маришку, которая не успела даже спрятаться в люк, во-вторых, доску, которая плыла около барки.

— Ты что тут делаешь? — закричал Порша, бросаясь ловить доску багром.

Маришка ничего не ответила и продолжала стоять на том же месте, как пень. Когда доска была вытащена из воды, оказалось, что снизу к ней была привязана медная штыка. Очевидно, это была работа Маришки: все улики были против нее. Порша поднял такой гвалт, что народ сбежался с берегу, как на пожар.

— Ах ты, паскуда! Ах, шельма! — вопиял Порша, вытаскивая Маришку за волосы на палубу. — Сказывай, кто тебя научил украсть штыку?

Забитая бабенка, оглушенная всем случившимся, только вся вздрагивала и испуганно поводила кругом остановившимися, бессмысленными глазами. Порша дал ей несколько увесистых затрещин, встряхнул за шиворот и, как кошку, бросил на палубу.

— Задувай ее, курву, Порша! — крикнул кто-то из толпы.

Этот нервный крик, требовавший возмездия за попранное право, сразу наэлектризовал Поршу, и он принялся обрабатывать Маришку руками и ногами.

— Ты ее по рылу-то, Порша, по рылу! — поощрял какой-то бурлак с барки Лупана, почесывая руки от нетерпения. — А потом по льну дай раза, суке этакой... Ишь, плёха, не хочет на ногах стоять!

Маришка действительно от каждого удара Порши комком летела с ног, вызывая самый искренний смех собравшейся публики. Это побоище продолжалось с четверть часа, пока не явился заспанный Савоська.

— Что вы тут делаете? — спрашивал он.

— Порша Маришку учит, — обязательно объяснял кто-то.

— Ах вы, дураки... Порша, оставь! Отцепись, деревянный черт, тебе говорят! — кричал Савоська, стараясь оттащить Поршу от Маришки.

— Она штыку украла! — хрипел Порша, выкатывая налитые кровью глаза.

— Дурак!.. Да на что ей штыку? Надо сперва разобрать дело, а ты...

— Я... я... она украла штыку... — повторял Порша. — Запирается...

— А ежели окажется, что не она украла штыку?

Порша на мгновение задумался, потом вдруг бросил на палубу свою шапку и запричитал:

— Нет, я тебе не слуга, Савостьян Максимыч... Ищи другого водолива!.. Я — шабаш, только металл сдать Осипу Иванычу.

Составилось нечто вроде народного суда. Савоська стал допрашивать Маришку, как было дело, но она только утирала рукавом грязного понитка окровавленное избитое лицо с крупным синяком под одним глазом и не могла произнести ни одного слова.

— Кто тебя научил, говори? — допрашивал Савоська.

Молчание. Маришка только на мгновение подымает свои большие, когда-то, вероятно, красивые глаза и с изумлением обводит ими кругом ряд суровых или улыбающихся лиц. На одно мгновение в этих глазах вспы-

хивает искра сознания, по изможденному, сморщенному лицу пробегает нервная дрожь, и опять Маришка погружается в свое тупое, одеревенелое состояние, точно она застыла.

— Ты ей поддуй раза, Савостьян Максимыч... Заговорит небось.

Голос знакомый. Оборачиваюсь: это говорит чахоточный мастеровой. Лицо у него злое и совсем позеленело, глаза горят лихорадочным возбуждением. Он вытягивает вперед свою тонкую шею и сжимает костлявые кулаки.

— Гришка с Бубновым идут! — послышался шепот.

— Ну, ступай, черт с тобой! — заканчивает свой суд Савоська. — Вот приедет Осип Иваныч, тогда твое дело разберем...

— Хоть бы лычагами постегать, Савостьян Максимыч! — просит чей-то голос. — Чтобы вперед было неповадно...

Бубнов и Гришка подходили к барке как ни в чем не бывало. Толпа почтительно расступилась пред ними, давая дорогу к тому месту, где стояла Маришка. Услужливые языки уже успели сообщить Гришке о подвиге Маришки.

Гришка, не говоря ни слова, так ударил Маришку своим десятипудовым кулаком, что несчастная бабенка покатилась по земле, как выброшенный из окна щенок.

— Наливай ее! — поощрял Бубнов, давая Маришке несколько пинков ногой. — Ишь, притворилась... Язва! Валяй ее, зачем воровать не умеет... Под другой глаз наладь ей!

На Маришку посыпался град ударов. Собравшаяся толпа с тупым безучастием смотрела на происходившую сцену, и ни на одном лице не промелькнуло даже тени сострадания. Нечто подобное мне случилось видеть только один раз, когда на улице стая собак грызла больную старую собаку, которая не в состоянии была защищаться.

Когда я обратился к Савоське с просьбой остановить эту бойню, он только пожал плечами.

— За что он ее бьет? — спрашивал я. — Может быть, окажется, что и не она украла штыку...

— Да ведь она жена ему, Гришке-то? — удивился мужик.

— Ну так что из этого, что «жена»?

— Жена — значит, своя рука владыка. Хошь расшиби на мелкие крошки — наше дело сторона... Ежели бы Гришка постороннюю женщину стал этак колышматить, ну, тогда, известно, все заступились бы, а то ведь Маришка ему жена. Ничего, барин, не поделаешь...

Коротко и ясно.

После Гришкиной науки Маришка замертво была стащена куда-то в кусты.

Вечером, когда явился Осип Иваныч, было произведено строжайшее следствие по делу о краже медной штыки Маришкой. Оказалось следующее: вся механика кражи была устроена, конечно, Бубновым, в чем он и сознался, когда улики были все налицо.

— Ну рассказывай, братец, как ты штыку у Порши воровал? — допрашивал Осип Иваныч Исачку.

— Да что тут рассказывать-то, Осип Иваныч, — хвастливо отвечал Бубнов. — Известное дело... Мы с Гришкой да с Кравченкой, значит, в уговоре были, а Маришка должна была штыку с барки пущать. Кравченко пущал сверху от берегу доску по реке. Маришка ее ловила, потом привязывала штыку и спущала в воду. А мы, значит, с Гришкой должны были ловить доску и плотик уже наладили, да Маришка, окаянная, подвела.

— Значит, Маришка только вам помогала?

— Выходит, видно, так, — соглашался Бубнов.

— Ну, это дело мировой судья в Перми разберет... А теперь скажите, зачем вы Маришку до полусмерти избили?

— Это не я, а Гришка, Осип Иваныч. Кабы я бил Маришку, так сразу бы ее убил... Ей-богу! Все дело испортила...

Гришку даже не спрашивали, зачем он колотил жену.

— Уж я спустил бы им три шкуры, — ругался Осип Иваныч, — да теперь без них нельзя... Что будете делать? Головорезы!.. Бубнов, шельма, знает, что рабочие дозарезу нужны, и бахвалится. Уж я ему прописал

бы, ежели бы Пал Петрович здесь был... я... Ну, да черт с ними! Вы с чем будете чай пить?

Немного погодя в казенку явился Бубнов.

— Я до твоей милости, Осип Иваныч.

— Ну, чего тебе?

— Да вот мы с Гришкой да с Кравченкой пришли...

Гришка и Кравченко показались в дверях.

— Ну?

— Уж лучше прикажи лычагами наказать нас, Осип Иваныч, а к мировому не таскай. Посадят на высидку, тебе от этого не легче будет.

— А как Порша?

— Да уж с Поршей как ни на есть помиримся... Четверть водки ему поставим, леший его задери.

Составлен был совет из Савоськи, Порши и Лупана. Пошумели, побранились и порешили, что не в пример лучше отодрать воров лычагами, а то еще в Перми по судам с ними таскайся да хлопочи. Исполнение этого решения было предоставлено косным, которые устроили порку тут же на палубе. Всем троим было дано по десяти лычаг.

— Ну, вперед у меня чтобы ни-ни!.. — кричал Осип Иваныч, пока наказанные приводили в порядок необходимые принадлежности костюма. — А то всех к черту...

— А без нас тоже не далеко уплывешь, Осип Иваныч, — говорил Бубнов, поправляя рубаху. — Крестьяны-то все, видно, разбежались, нам же доведется робить...

— С вами, разбойники, с вами! Только вы душеньку всю из меня вытянули, распротоканальи...

Этот невинный эпизод неудавшегося воровства точно послужил сигналом для погоды, которая, наконец, заметно начала разгуливаться, хотя вода держалась на прежнем уровне. Крестьяне поголовно бежали со всех караванов, несмотря ни на какие угрозы и самые заманчивые обещания. Одним словом, выражаясь языком наших администраторов, произошел настоящий бунт.

— Только подождем, как вода спадет на пять аршин, сейчас побежим, — говорил Савоська. — Недоколе нам здесь ждать... Последний народ разойдется.

— Да ведь по такой высокой воде опасно плыть?

— Не одни мы поплывем, барин. И другие прочие караваны с нами поплывут тоже... Уж кому што достанется, тот тем, значит, и владай.

Всеми овладело вполне понятное нетерпение, когда вода, наконец, пошла на убыль. Дождь перестал. Высыпала по взлобочкам и на солнечном пригреве первая травка, начали развертываться почки на березе. Только серые тучи попрежнему не сходили с неба, точно оно было обложено кошмами, и недоставало солнца.

Когда вода спала на три четверти аршина, подошла партия бурлаков из Кыновского завода. Нужно было дорожить временем, чтобы не запоздать. Новые бурлаки нанесли самых невеселых новостей, которые главным образом вертелись около «убивших» барок на камнях, то есть между Уткой и Кыном. Их считали десятками. Вообще нынешний сплав задался совсем не в пример прошлым годам, и получалась невероятная цифра крушений, когда еще не было пройдено и половины пути.

— Под Высоким-Камнем, сказывают, шесть барок убивших, — рассказывал один мастеровой в розовой ситцевой рубашке. — Да под Печкой две... Страсть господня! У нас под Кыном две коломенки затонули тоже. Так и поворачивает эта самая вода!

Кыновские мастеровые как две капли воды походили на мастеровых других горных заводов; такой же отчаянный народ, вышколенный с детства работой на фабрике. Соседство Чусовой придавало им бурлацкий закал и природную страсть к воде, чем кыновляне особенно славятся.

— Ну, братцы, как-то мы теперича поплывем! — слышались голоса в собравшихся кучках бурлаков.

— Двух смертей не будет, одной не миновать...

— В семьдесят третьем году не экую страсть видели, да ничего, господь пронес.

— Уж известно: все от господа. Обнаковенно...

Сплав семьдесят третьего года надолго останется в памяти чусовлян. Это был совершенно исключительный год, может быть даже единственный за целое полстолетие. Из шестисот барок тогда разбилось шестьдесят четыре барки да обмелело тридцать семь, то есть из пяти

барок дошли до Перми только четыре, тогда как средним числом бьется из тридцати барок одна. Интересно проследить, от каких причин произошли крушения и обмеления в этом году. Из шестидесяти четырех убитых барок тридцать шесть потерпели крушение от естественных опасностей сплава, семь — от тесноты, пятнадцать — вследствие столкновения судов между собой, пять — при причале к берегу о подводные камни и от разрыва снастей, одна подрезана льдом; из тридцати семи обмелевших барок двадцать три судна были занесены ветром и четырнадцать обмелели от неосторожности и неизвестных причин. В общем выводе, теснота при сплаве дает сорок процентов всех несчастий с барками. Случалось так, что все чусовские караваны мелели во всем своем составе, как это было в 1851, 1866 и 1867 годах, когда требовался для их сплава вторичный выпуск воды из Ревдинского пруда; бывали годы, что из всех караванов разбивалось три-четыре барки, и даже был такой один год, когда совсем не было ни крушений, ни обмелений, именно 1839-й. Потери рабочих, понятное дело, возрастают с числом убитых барок; каждый сплав погибнет три-четыре человека, но бывают страшные года, когда число убитых и утонувших людей возрастает до страшной цифры в сто человек.

XVI

Мы простояли на одном месте целых пять дней, что в сплавное горячее время очень много.

— Мы севодни отваливаем, — говорил Савоська утром шестого дня.

— А сколько над меженью воды стоит?

— Пять аршин без вершка...

Я посмотрел на Савоську, желая убедиться, что он пошутил. Но Савоська смотрел совершенно серьезно и прибавил:

— На свету ревдинский караван пробежал... Того гляди с других пристаней коломенки налетят, тогда хуже будет. Осип Иваныч еще вечор заказали, чтобы все было готово к отвалу.

— А сколько народу у нас на барке?
— Человек с сорок пять наберется — не наберется.
— Мало...
— Все, сколь есть...

Теперь все было понятно: если ревдинский караван пробежал, так нам уж не статья была сидеть у моря и ждать погоды. Все думали одно и то же: ревдинские уплыли — и мы уплывем, а как уплывем — это другой вопрос.

Наша барка и барка Лупана стали готовиться к отвалу. Бурлаки опять потащились с своими котомками под палубы; у поносных встали те же подгубщики. Убежавших «пиканников» заменили кыновскими мастеровыми, но людей было мало вообще, а для такой высокой воды в особенности. Но велик русский «авось» на воде, может быть даже больше, чем на суше.

Когда все было готово на обеих барках, все стали нетерпеливо поглядывать вверх по реке, где из-за мыска должна была показаться барка Пашки. Как только она показалась, отвалил Лупан, а через десять минут и мы.

— Ну, братцы, теперь будет работы досыта, — говорил Савоська бурлакам. — Постарайтесь...

Чусовая мчалась теперь в горах бешеным валом, который точно когтями рвал по пути землю и уносил молодые деревья десятками. Барка делала в час больше двадцати верст, что при постоянных поворотах реки создавало массу новых препятствий. Горы заметно понижались, не было такой цепи утесов, как до Кына. Мало-помалу прояснилось и небо, точно над горами поставили голубой шатер, затканный всеми переливами солнечного света. В бездонной выси поплыли серебристыми грядами белогрудые облачка. Наконец мы увидели солнце, которое было скрыто от наших глаз в течение целой недели. При ярком солнечном свете, заливавшем берега струившейся волной, самые опасности не были так страшны, как в ненастье. Отдохнувшие и обсохшие люди молодецки срывали поносные, точно стараясь наверстать столько потерянного даром времени. Только одна Маришка представляла резавшее глаз исключение: все лицо у нее вздулось под один

багровый пузырь, начинавший зеленеть по краям. Одна губа была рассечена, левый глаз едва смотрел из-под отекшей брови.

— Чистые звери, вишь чего сделали из бабенки, — пожалел Савоська несчастную Маришку. — Вон какие патреты наладили на роже-то...

До Кумыша мы уже встретили несколько разбитых барок. Одна из них была подрезана льдом. Несколько утопленников лежали на берегу под рогожкой. Одного откачивали на разостланных зипунах. Белое тело мертвым движением перекатывалось в руках качавших, а русая голова болталась в такт раскачиваний.

— Царствие небесное упокойничку...

Впечатление от второго «упокойничка» не было так сильно, как от первого. Бурлаки отнеслись к нему совершенно пассивно, как к самому заурядному делу. Да оно и понятно: теперь на барке исключительно работали пристанские и заводские бурлаки, которые насмотрелись на своем веку на всяких «упокойничков».

Немного ниже убитой барки нам пришлось «отуриться» под бойцом, то есть идти дальше кормой вперед, что иногда делается в опасных местах. Барка была на волосок от гибели, и только присутствие духа и находчивость Савоськи спасли ее. Лупан тоже отурился, а Пашка потерял кормовое поносное.

Перед самым Кумышом мы набежали еще на две убитых барки. Картина была та же, что и раньше: от барки выставлялась только крыша, на берегу собрались кучками бурлаки, лежало несколько «упокойничков» и так далее.

— Вот и Кумыш! — послышались голоса, когда впереди на берегу показалась небольшая деревня.

Деревня Кумыш не представляет собой ничего особенного среди других глухих чусовских деревушек. Савоська пристально посмотрел на ближайшие избушки и только покачал головой.

— Ни единой живой души во всей деревне нет, — проговорил он.

— На сплав ушли?

— Мужики на сплаву, а остальной народ убежал к бойцам... Много, надо полагать, там убивших барок.

Бойцы, расположенные за деревней Кумышом, представляют последнюю каменную преграду, с какой борется Чусовая. Старик Урал напрягает здесь последние силы, чтобы загородить дорогу убегающей от него горной красавице. Здесь Чусовая окончательно выбегает из камней, чтобы дальше разлиться по широким поемным лугам. В камнях она едва достигает пятидесяти сажен ширины, а к устью разливается сажен на триста.

— С коня долой! — скомандовал Савоська, когда издали послышался глухой шум.

На барке давно стояла мертвая тишина; теперь все головы обнажились и посыпались усердные кресты. Народ молился от всей души той теплой, хорошей молитвой, которая равняет всех в одно целое — и хороших и дурных, и злых и добрых. Шум усиливался: это ревел Молоков.

— Постарайтесь, братцы... Нос налево! Похаживай, молодцы, веселенько... Сильно-гораздо ударь нос-от!!! Милые, постарайтесь!

Под Молоковым и Разбойником, как под Печкой и Высоким-Камнем, река делает два последовательных оборота, причем бойцы стоят в углах этих поворотов, и струя бьет прямо на них с бешеной силой.

Скоро мы завидели и Молоков. Это была громадная скала, стоявшая к верховьям реки покатым ребром, образуя наклонную плоскость, по которой вода взбегала пенящимся валом на несколько сажен и с ужасным ревом скатывалась обратно в реку, превращаясь в белую пену. Вся река под Молоковым представляла белую вспененную массу, точно кипящее молоко; отсюда и название бойца Молоков. Другим ребром боец выступал в реку, точно выдвигая каменный таран. Отброшенная скалой вода пересекает реку наискось вплоть до противоположного берега, образуя целую гряду ревущих майданов; они далеко бегут вниз по реке, точно стадо белых овец. Сила движения воды здесь настолько велика, что за бойцом образуется суводь, то есть вода тихим током медленно возвращается к бойцу, что можно заметить по плывущей вверх по реке пене. Таким образом, с одной стороны страшная

гряда майданов, а рядом с ней совершенно тихая полоса суводи. Получается поразительный контраст, резко обозначенный водяным рубцом.

Трудность прохода под Молоковым заключается в следующем: водяная струя бьет прямо в скалу, делая здесь угол, и идет к следующему бойцу, Разбойнику; барка должна пересечь эту струю под Молоковым в самом углу, чтобы дальше попасть в суводь. Если она этого не успеет сделать и попадет на майданы, ее неудержимо унесет прямо на Разбойника. Чтобы не попасть ни на первый, ни на второй боец, барке приходится перерезать реку в косом направлении, с одного мыса на другой, причем ей необходимо переваливать через рубец. Но расстояние между бойцами всего две версты, и барка не в состоянии при условиях своего движения и при страшной быстроте течения во-время перерезать струю за первым бойцом, если не перебьет ее под самым бойцом. Получается роковая дилемма: если барка пройдет далеко от первого бойца и не перережет струи в углу, она разобьется о второй боец; если барка не побоится бойца, то какое-нибудь одно просчитанное мгновение — и она в щепы разобьется о каменный выступ. При мерной воде эта мудреная задача разрешается сравнительно легче, но при высокой все зависит от сплавщика: нужно иметь крепкую душу, чтобы не дрогнуть, когда на вас понесется боец... Именно в таких боевых местах начинает казаться, как при всяком быстром движении, что не сам движешься, а все кругом летит мимо тебя с увеличивающейся, захватывающей дух скоростью.

— Три убивших барки... — прошептал Савоська, вглядываясь в бежавший навстречу боец. — И заплавни выброшены на берег... Лупан пробежал, кажется, благополучно.

Около самых опасных бойцов, как Косой, Бражка, Владычный, Волегов, Узенький, Дружной, Кирпичный, Печка, Мултык, Горчак, Молоков и Разбойник, в воду спускаются деревянные брусья, составленные из четырех восьмивершковых бревен. Они огораживают боец подвижной деревянной рамой, которая укрепляется в скале деревянными пружинами, то есть громадными

брусьями, которые при ударе барки о заплавни несколько подаются вбок и этим уменьшают силу удара. Такие заплавни несколько предохраняют барки от крушений, но при высокой воде первая налетевшая на боец барка ломает их и даже выбрасывает на берег. Когда мы подходили к Молокову, заплавни не действовали: пружины были сломаны, и брусья лежали на берегу.

Наша барка подходила к бойцу в мертвом молчании. Майданы ревели все сильней. В воздухе висела водяная пыль, садившаяся на лицо паутиной. С каждым мгновением расстояние между баркой и бойцом делалось все меньше и меньше. Можно было рассмотреть все впадины и трещины на ожидавшей нас скале. Бурлаки прильнули к поносным; ни одного звука, ни одного движения. Савоська застыл на своей скамеечке в одной позе и не сводит глаз с шестика, который укреплен на носу нашей барки, как прицел на ружье. Вот барка врезалась носом в клокочущую гряду майданов и тяжело колыхнулась, точно ее подхватили тысячи могучих рук и понесли на боец. До страшного выступа всего несколько сажен, чувствуешь, как холодеет внутри, в глазах рябит... Чувство физического ужаса овладевает всеми одинаково, сознание едва теплится. Нет, скорее что-нибудь одно: или конец, или счастливый исход, только не эти страшные мгновения страшного ожидания. Кажется, что все погибло, спасения нет... Вон сосенка на скале, а там, на берегу, мелькают какие-то люди. Гребни волн обдают палубу дождем брызг... В каком-то полусне слышишь сорвавшуюся команду; когда до бойца остается всего несколько аршин, поносные с страшной силой падают в воду, поднимаются, опять падают... Барка повернулась к бойцу боком и прошла около него всего на расстоянии каких-нибудь шести четвертей, можно рукой достать, но ведь это всего одно мгновение, и не хочется верить, что опасность промелькнула, как сон, и так же быстро теперь бежит от нас, как давеча бежала навстречу. Мы в суводи, барка плывет ровно, навстречу подымаются по реке клочья пены. Впереди две исковерканные массы, около которых бурлит вода: это «убившие» барки. На

берегу десятки людей, которые разбились на отдельные кучки. Все смотрят на боец, к которому теперь бежит Пашка.

— Ох, Пашка не ладно отрабатывает от камня!.. — как-то застонал Савоська, оглядываясь назад. — Нет, не пересекет струю...

Пашкина барка прошла дальше нашей от Молокова и попала на майданы. Видно, как бегает по палубе водолив со своей наметкой. Поносные судорожно загребают воду, но струя отбрасывает барку каждый раз, когда она хочет перевалить через рубец в суводь.

— Шабаш, под Разбойником зарежет барку! — говорит Савоська, махнув рукой. — Сила не берет...

Хорошие сплавщики редко обвиняют других сплавщиков в неудачах, а стараются свалить вину на что-нибудь другое.

Но нам теперь не до Пашки, а до себя. Две версты промелькнули в пять минут, а впереди уже встает знаменитый боец Разбойник, который подымает свою каменную голову на пятьдесят сажен кверху и упирается в реку роковым острым гребнем.

— Похаживай, молодцы! — покрикивает Савоська, когда барка начинает подходить к мысу.

Когда мы вышли из-за мыса и полетели на Разбойника, нашим глазам представилась ужасная картина: барка Лупана быстро погружалась одним концом в воду... Палуба отстала, из-под нее с грохотом и треском сыпался чугун, обезумевшие люди соскакивали с борта прямо в воду... Крики отчаяния тонувших людей перемешались с воем реки.

— О чужую убившую барку Лупан убился, — объяснил Савоська.

Действительно, из-за барки Лупана теперь можно было рассмотреть расщепанную корму другой барки, на которой уже никого не было. Нам пришлось пройти рядом с тонувшей баркой Лупана, которую тихо заворачивало кормой вниз. Несколько человек бурлаков успели перескочить к нам; какой-то несчастный старик поскользнулся и упал в воду, где и скрылся сейчас же под захлестнувшей его волной. Сам Лупан оставался на барке и с замечательным хладнокровием отвязывал

прикрепленную к борту неволю. Несколько черных точек ныряло в воде, это были спасавшиеся вплавь бурлаки. Редкий из них не тащил за собой своей котомки в зубах. Расстаться с котомкой для бурлака настолько тяжело, что он часто жертвует из-за нее жизнью: барка ударилась о боец и начинает тонуть, а десятки бурлаков, вместо того чтобы спасаться вплавь, лезут под палубы за своими котомками, где часто их и заливает водой.

Мы пробежали мимо Разбойника совсем благополучно. За Разбойником весь берег был усыпан бурлаками с убившихся здесь барок, которых насчитывали больше десятка. Эта картина страшного разрушения быстро промелькнула мимо нас, оставя в душе самое смутное впечатление. Несколько утонувших бурлаков лежали на берегу, двоих откачивали на холстах, которые притащили бабы из Кумыша. Среди больших покойников выдавался только труп мальчика лет двенадцати. Он лежал на левом боку, с голыми ногами, в одной розовой ситцевой рубашке, точно спал. Вероятно, это был ученик сплавщика. Три бабы стояли около него и с соболезнованием смотрели на бездушное детское тело. А солнце так весело освещало весь берег и Чусовую, точно кругом была идиллия.

— Вон Пашка летит на боец...

Я оглянулся. Пашка действительно прямо бежал на роковой гребень. Бурлаки выбивались из сил, работая поносными. Издали казалось, что по палубам каталась какая-то серая волна, точно барка делала конвульсивные движения, чтобы избежать рокового удара. Но все напрасно: еще одно мгновение — и барка Пашки врезалась одним боком в выступ скалы, послышался треск ломавшихся досок, крик людей, грохот сыпавшегося чугуна, а поносные продолжали все еще работать, пока не сорвало переднюю палубу вместе с поносными и людьми и все это не поплыло по реке невообразимой кашей. Доски, люди, бревна — все смешалось в живую кучу, которая барахталась и ползала под бойцом, как раздавленное пятидесятиголовое насекомое. От берега к бойцу плыли косные лодки, чтобы спасать погибающих.

— Эка страсть, милостивый господь, — шепчет кто-то в ужасе. — Народичку сколько погибнет позанапрасну...

Мы можем пожалеть только об одном, что в среде русских художников не нашлось ни одного, кто в красках передал бы все, что творится на Чусовой каждую весну.

XVII

Бойцы под Кумышом, как мы уже сказали выше, составляют последнюю каменистую преграду течению Чусовой; дальше она течет в холмистых берегах и разливается все шире и шире. Сообразно изменяющимся условиям течения меняются и условия сплава: «убившие» барки больше не встречаются; за редкими исключениями, на сцену выступают мели и огрудки, которыми усеяно все течение Чусовой вплоть до самого устья. Но впечатлений от прохода «в камнях» слишком много, и бурлаки долго передают взаимные наблюдения, воспоминания и примеры. Героями являются все те же бойцы, о которые бьются коломенки, а действующие лица, бурлаки, фигурируют в этих рассказах в форме специфического chair à boïetz [1]...

— Одначе здорово нонче Чусовая играет! — говорит Бубнов, работавший под Молоковым и Разбойником за десятерых. — Барок с тридцать убьется в камнях... Один Разбойник залобовал уж десяток, да еще Лупан с Пашкой нарезались. Уж наши ли каменские сплавщики не люты проходить под бойцами, а тут сразу две барки...

— Сила не берет.

— Известно, кабы сила... Тут только держись за грядки. Ведь пять аршин над коренной водой бежим... Дьякон даве под Молоковым страсть испужался нашей бурлацкой обедни! Помушнел весь...

— Осип-то Иваныч на косной объехал бойцы, — передает Даренка своей подруге Оксе.

— Один?

[1] бойцового мяса... *(франц.)*

— Нет... Испужался, видно.

До Кумыша чусовское население можно назвать горнозаводским, за исключением некоторых деревень, где промышляют звериной или рыбной ловлей; ниже начинается сельская полоса — с полями, нивами и поемными лугами. Несколько сел чисто русского типа, с рядом изб и белой церковью в центре, красиво декорируют реку; иногда такое село, поставленное на крутом берегу, виднеется верст за тридцать.

Нам скоро попалось несколько обмелевших барок. Около них кипела самая горячая работа; десятки бурлаков стояли в воде с чегенями и под дружную «Дубинушку» старались столкнуть барку. Работа пятидесяти — шестидесяти человек при пятнадцати тысячах груза на каждой барке — крайне тяжелая и опасная.

— Нам здесь хуже, чем в камнях, — объяснял Бубнов. — Под бойцом либо пан, либо пропал, а здесь как барка залезла на огрудок — проваландаешься дня три в воде-то. А тут еще перегрузка, чтобы ей пусто было!

— Зато насчет водки здесь свободно...

— Хошь обливайся, когда гонят в ледяную воду или к вороту поставят. Только от этой работы много бурлачков на тот свет уходит... Тут лошадь не пошлешь в воду, а бурлаки по неделям в воде стоят.

В одном месте, где Чусовая особенно широко разлилась в низких берегах, у самой воды на камешке сидел мальчик и замечательно хорошо пел какую-то заунывную песню.

— Наигрывай, голубчик, наигрывай себе на здоровье! — улыбнулся Савоська, поглядывая на берег. — Ишь, как разбирает!

Меня удивило явно враждебное отношение Савоськи к маленькому певцу; бурлаки смеялись тоже над ним, а Бубнов попробовал даже попасть в мальчишку камнем.

— Зачем бурлаки смеются над мальчиком? — спросил я.

— Это над парнишком-то?.. А то и смеются, что больно хорошо песню задувает... Ишь, какой дошлый!.. Много их по весне здесь распевает, а бурлаки или

сплавщик зазевался, глядишь, барка и приткнулась на огрудок.

— Ну, а парнишка тут при чем?

— Его крестьяны из деревни подослали, чтобы работы себе добыть, ежели барка омелеет... Пой, милый, пуще старайся!..

Бурлаки рассказывали, что для вящего соблазна плывущих мимо барок на «сумлительных» местах на берегу появлялись девки, раздевались и начинали купаться в глазах у бурлаков. Насколько это справедливо — не ручаюсь. По словам тех же бурлаков, для приманки иногда устраиваются на берегу уж совсем нецензурные сцены... Вероятно, здесь много добавлено пылкой фантазией, как в рассказах о поющих морских сиренах, которых слушал привязанный к корабельной мачте Одиссей.

— Вот те Христос, своем глазом видел! — божился Бубнов. — Мы как-то с Андрияшкой из-под Судему бежали, под Камасином этих самых плёх и видели, совсем нагишом и в воде валандаются, как лягуши. Верно тебе говорю, хошь у кого спроси... Пиканники, те хитреные-мудреные, ежели их разобрать. Здесь все пиканники пойдут; наши заводские да чусовские в камнях остались.

Работы теперь было значительно меньше, чем в камнях, где постоянно приходилось то отрабатывать от бойцов, то перебивать струю. Река текла заметно медленнее, и только местами попадались перекаты. Иногда на широком плёсе можно было рассмотреть до десятка барок. Вообще картина получалась очень оживленная. Особенно была заметна резкая климатическая разница сравнительно с камнями: там зелень едва пробивалась, а здесь поля уже давно стлались зеленым ковром и на деревьях показались первые клейкие весенние листочки, точно покрытые лаком. Солнце начинало сильно припекать и даже жгло спину, особенно тем, которые были в одних рубашках.

— Который бог вымочил, тот и высушил, — говорил Кравченко, сильно прихворнувший на последней хватке после стеганья лычагами.

— Отчего сплавщики не заведут себе карты Чусовой, чтобы удобнее было запомнить течение, мели, таши и повороты? — спрашивал я у Савоськи.

— У нас один приказчик эк-ту тоже поплыл было с картой, — отвечал Савоська, — да в остожье[1] и заплыл...

Под селом Вереи, которое стоит на крутом правом берегу, наша барка неожиданно села на огрудок благодаря тому, что дорогу нам загородила другая барка, которая здесь сидела уже второй день. Сплавщики обеих барок ругнули друг друга при таком благоприятном случае, но одной бранью омелевшей барки не снимешь. Порша особенно неистовствовал и даже плевал в сплавщика соседней барки, выкрикивая тончайшим фальцетом:

— Не стало тебе, рыжей багане, места-то в реке, зачем дорогу загородил?

Рыжий сплавщик обиделся, что его назвали «баганой», и ответил в том же тоне, так что наш Порша даже завизжал от злости, точно его облили серной кислотой. Посыпалась горохом терпкая мужицкая ругань, в которой бурлаки обеих барок приняли самое живое участие.

— А тебе черт ли не велел держать правее? — оправдывался рыжий сплавщик. — За поясом, что ли, у тебя глаза-то были?

— Ах, рыжий дьявол!.. Ах, рыжая багана!.. — завывал Порша, неизвестно для какой цели бегая по барке с шестом в руках.

Наконец это даровое представление надоело той и другой стороне, нужно было подумать, как сниматься с огрудка.

— Чего тут думать: думай не думай, а надо запущать неволю, — решил Бубнов. — Вот мы с Кравченкой и пойдем загревать воду, только чтобы нам за труды по первому стакану водки...

«Неволей» называется доска, длиной сажен в пять и шириной вершков четырех, она обыкновенно вытесывается из целого дерева. Таких неволь при каждой барке полагается две, они плывут у бортов.

---

[1] Остожьем называется загородка из жердей вокруг стога сена. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Надо бы подождать косных, — говорил Савоська, — да кабы долго ждать не пришлось...

— Где их ждать! — кричал Бубнов. — Они проваландаются с убившими барками до морковкина заговенья, а мы еще десять раз успеем сняться до них...

На огрудки садятся и самые опытные сплавщики, потому что эти мели часто появляются на таких местах, где раньше проход для барки был совершенно свободен. Обыкновенно в «сумлительных» местах плывут по наметке, постоянно меряя воду. В данном случае Савоська поздно увидел омелевшую барку, прикрытую мысом, так что не было никакой возможности во-время отработать от огрудка. Омелевшая барка повернулась кормой на струю и, таким образом, загородила дорогу нашей; Савоська побоялся убиться о корму и «переправил». Бурлаки отлично понимали весь ход дела и не роптали на сплавщика, как водится в таких случаях у плохих и «средственных» сплавщиков.

— Ведь черт его знал, что он тут сидит! — рассуждали бурлаки, срывая злобу на чужом сплавщике. — Кабы знать, так не то бы и было... Мы вон как хватски пробежали под Молоковым, а тут за лягушку запнулись.

— Все чистенько бежали, а тут грех вон где попутал... Ну, Порша, налаживай снасть.

Действие неволи при съемках барок заключается в том, что при ее помощи производят искусственную запруду: струя бьет в неволю, поставленную в воде ребром, и таким образом помогают барке сняться с мели. Когда спустят неволю, с другой стороны барку сталкивают чегенями и в то же время в соответствующем направлении работают поносными.

Наша барка зарезала огрудок правым плечом, оставив струю влево, следовательно, чтобы опять выйти в вольную воду, нам необходимо было отуриться, то есть повернуть корму налево, на струю, и дальше идти несколько времени кормой вперед. Порша отвязал от левого борта неволю и широким концом подвел ее к левому плечу; свободный конец неволи, привязанный к снасти, был спущен с кормового огнива так, чтобы струя била в неволю под углом. Чтобы произвести за-

пруду, оставалось только повернуть неволю на ребро и удержать ее в этом направлении все время, пока барку с другой стороны, под кормовым плечом, бурлаки будут сталкивать чегенями. Работать на неволе — необходимо иметь известную сноровку и ловкость. Бубнов и Кравченко вызвались на неволю и, оставшись в одних рубахах, с ловкостью записных бурлаков разом очутились на колыхавшейся осклизлой доске. Бубнов укрепил свой чегень в дыре, какие сделаны на обоих концах неволи, и ждал, пробуя воду голыми ногами, когда Кравченко устроит то же самое с противоположным концом неволи. Добраться до этого конца, выходившего на струю, было не легкой задачей; неволя под ногами Кравченко колыхалась и вертелась, как фортепьянная клавиша, пока он не добрался до конца, на который и сел верхом.

— Готово! — крикнул он, ожигаясь от холодной воды.

Человек двадцать были уже в одних рубашках и с чегенями в руках спускались по правому борту в воду, которая под кормовым плечом доходила им по грудь. Будущий дьякон был в числе этих бурлаков, хотя Савоська и уговаривал его остаться у поносных с бабами. Но дьякону давно уже надоели остроты и шутки над ним бурлаков, и он скрепя сердце залез в воду вместе с другими.

— Мотри, не пожалей после, — говорил Савоська. — Твое дело не обычное, как раз замерзнешь... Вода вешняя, терпкая.

— Ничего, как-нибудь! — говорил дьякон дрогнувшим голосом; зубы у него так и стучали от холода.

У поносных остались бабы, чахоточный мастеровой и несколько стариков. Не идти в воду на съемке — величайшее бесчестие для бурлака, и только крайность, нездоровье или дряхлость служат извиняющим обстоятельством.

Когда бурлаки выстроились с чегенями под правым плечом, Бубнов затянул высоким тенором припев «Дубинушки»:

Шла старуха с того свету,
Половины ума в ей нету...

Дружно подхватили бурлаки: «Дубинушка, ухнем...» и громкое эхо далеко-далеко покатилось по реке голосистой волной. В этот момент Бубнов с Кравченкой поставили неволю ребром, поносные ударили нос налево, и барка немного подалась кормой на струю, причем желтый речной хрящ захрустел под носом, как ореховая скорлупа.

— Ишшо разик, навались, робя!!. — неистово кричал Гришка, как медведь наваливаясь на свой чегень. — Идет барка...

— Как же, пошла... Держи карман шире!..

Несколько раз начинали «Дубинушку», повертывая неволю ребром, но толку было мало: барка больше не двигалась с места. Когда неволя вставала к воде ребром, напором воды гнуло ее, как туго натянутый лук, а конец постоянно вырывался кверху, так что Кравченке приходилось сильно балансировать на нем, как на брыкающейся лошади. Раза два он чуть не слетел в воду, где его утащило бы струей, как гнилую щепу, но он как-то ухитрялся удержаться на своей позиции и не выпускал чегеня из закоченевших рук. Бурлаки с чегенями скоро были мокры до ворота рубахи, лица посинели, зубы начали выбивать лихорадочную дробь. Но все крепились, потому что на соседней барке шла точно такая же работа с неволей и неизменной «Дубинушкой».

Над Чусовой быстро спускались короткие весенние сумерки. Мимо нас проплыло несколько барок. Воздух похолодел; потянуло откуда-то ветерком. Искрившимися блестками глянули с неба первые звездочки. Бурлаки продрогли и начали ворчать. Недоставало одного слова, чтобы все бросили работу.

— Околевать нам, что ли, в воде?.. — отозвался первым пожилой мужик с длинным изрытым оспой лицом. — И то умаялись за день-то...

— Братцы! Еще разик ударьте! — упрашивал Савоська. — По стакану на брата... Ей, Порша, подноси! Только не вылезайте из воды, а то простоим у огрудка ночь, воду опустим, кабы совсем не омелеть.

Порша с бочонком обошел бурлаков, поднося каждому стакан водки. Корявые, побелевшие от холодной

воды руки подносили этот стакан к посинелым губам, и водка исчезала.

— Валяй по другому, Порша! — скомандовал Савоська, тревожно поглядывая на темневшую даль.

Снова «Дубинушка» покатилась по реке, но барка не двигалась, точно она приросла к огрудку.

— Ну, шабаш, ребятки! — проговорил Савоська. — Утро вечера мудренее. Что буди — будет завтра, а то и в самом деле не околевать в воде.

— О-го-го-го!.. — гоготал Кравченко в темноте, прыгая на конце неволи.

— Повертывай неволю, Кравченко... Шабаш...

Все бурлаки продрогли до последней степени, и вдобавок им нечем было заменить своих мокрых рубах: приходилось их высушивать на себе. Весь костюм у большинства состоял из одной рубахи и портов с маленьким дополнением в виде какого-нибудь жилета, бабьей кацавейки или рваного халата.

— Отчего нет огня на берегу? — спрашивал я у Савоськи.

— Погоди, бабы разведут... Вдруг-то нельзя, из ледяной воды да к огню: сразу обезножеешь; надо сперва так согреться, а потом уж к огню. Вот я им плепорцию задам сейчас... Порша, дава-кось по два стаканчика на брата, согреть надо ребят-то.

Бедного дьякона после полуторачасовой ледяной ванны трепала жестокая лихорадка, против которой были бессильны даже такие всеисцеляющие средства, как ром и коньяк.

— Зачем вы не остались у поносного? — спрашивал я его, когда мы в казенке пили чай.

— Совестно было... Засмеют бурлаки.

— А теперь как себя чувствуете?

— Одеревенел весь... Голова болит.

Я предложил дьякону сейчас же натереться водкой и лечь спать в нашей каюте. К утру бедняга не мог поднять головы, у него открылся жесточайший тиф. Как провели эту ночь работавшие в воде бурлаки — трудно себе представить. Ранним утром, с пяти часов, они были опять по горло в воде, и опять «Дубинушка» далеко катилась вверх и вниз по Чусовой. К доверше-

нию нашего несчастья рыжий сплавщик снял свою барку и уплыл на наших глазах. Скоро поплыли мимо нас одна барка за другой; обидно было смотреть на это движение, когда самим приходилось сидеть на одном месте.

— Вода на вершок спала... — со страхом сообщал Порша сплавщику.

Савоська сам сделал необходимые промеры; действительно, вода начинала спадать, и грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на огрудке.

— Что будем делать? — спрашивал я Савоську.

— Чего делать-то... Придется, видно, воротом орудовать.

— А отчего не хочешь сделать разгрузку?

— Вода уйдет, да и бурлакам эти разгрузки нож вострой: в воду лезут, а перегружать барку хуже им смерти.

Съемка омелевших барок воротом запрещена законом ввиду тех несчастных случаев, какие могут здесь произойти и происходили. Ворот все-таки продолжает существовать как радикальное средство. Обыкновенно вкапывают на берегу столб, на него надевают пустую деревянную колодку, к колодке прикрепляют крест-накрест несколько толстых жердей, и ворот готов, остается только наматывать снасть на колодку.

Когда к вороту станут человек шестьдесят, сила давления получается страшная, причем сплошь и рядом лопается снасть. В последнем случае народ бьет и концом порвавшейся снасти и жердями самого ворота. Бурлаки, конечно, отлично знают все опасности работы воротом, и, чтобы заставить их работать на нем, прежде всего пускают в ход все ту же водку, этот самый страшный из всех двигателей. Субъектам, вроде Гришки, Бубнова и Кравченки, работа воротом — настоящий праздник.

— Ворот надо налаживать! — кричали бурлаки, которым надоело стоять в воде. — Околели совсем...

— Ну, ворот так ворот... Нечего, видно, делать...

Устроить ворот на берегу было дело полутора часа. Когда он совсем был готов, к барке подкатил Осип Иваныч на своей косной. Первым делом он, конечно,

накинулся на сплавщика, обругал по пути Поршу, затопал ногами на бурлаков.

— Я вас всех, подлецов, в один узел завяжу!!. — неистовствовал он в качестве предержащей власти. — Не успел отвернуться, как ты уж и на мель сел?.. А?.. Я разве бог?.. а? Разве я разом могу на всех барках быть... а? Что-о?.. Бунтовать?.. Сейчас с чегенями в воду...

— Мы ворот наладили, Осип Иваныч, — заметил Савоська.

— Вздор!.. Сейчас сломать все! В воду! Все в воду!.. Ах, мошенники, подлецы! Я разве бог, что могу везде поспеть и все устроить!..

Осип Иваныч был пьян еще со вчерашнего дня и сам не понимал, что говорил и чего требовал. Эту расходившуюся власть кое-как усадили обратно в лодку и отправили дальше.

— Поедемте в Верею! — предлагал он мне. — Отлично кутнем... Я уж заказал, чтобы баня была приготовлена и всякое прочее... Ха-ха... Не хотите? Ну, до свидания... В Перми увидимся. Меня найдете в первом трактире...

При помощи ворота мы через несколько часов работы, наконец, снялись с державшего нас огрудка и поплыли дальше.

До Чусовских Городков от деревни Камасино Чусовая идет в красивых холмистых берегах. Там и сям на берегу стоят красивые деревни, зеленой лентой развертываются поля. Лес является только промежутками и не сплошной стеной, как в камнях. В заводях начали попадаться стаи уток и пары лебедей. На Чусовой эту красивую птицу почти совсем не стреляют, и мне случалось видеть лебединые стаи штук в пятьдесят, притом в двух шагах от селенья. Омелевшие барки были теперь таким же заурядным явлением, как в камнях «убившие». Около них дыбом вставала «Дубинушка» и тяжело бурлили неволи. В двух местах барки перегружались, в третьем снимали барку воротом. Глядя на этот каторжный труд, нельзя было не согласиться с бурлаками, что уж лучше плыть в камнях, чем здесь.

Нижние и Верхние Чусовские Городки, расположенные в четырех верстах одни от других, — одни из самых красивых чусовских сел. С ними связаны самые старинные сведения о фамилии Строгановых, для которых эти села долго служили самым крепким гнездом и ключом ко всей Чусовой. Здесь отсиживались Строгановы от нечаянных нападений разных недоброжелательных соседей и отсюда же снарядили Ермака в его знаменитый сибирский поход. В настоящее время Чусовские Городки представляют только исторический интерес. Местность кругом открытая. Чусовая течет здесь широким плёсом. Издали приятно смотреть на это «усторожливое» местечко, на каких наши предки любили селиться в то беспокойное, тревожное время.

Пониже Чусовских Городков, на высоком левом берегу, стоит красивое село Монастырек. Глядя на него, с Нижних Чусовских Городков, так и кажется, что все село с своей красивой белой церковью точно висит в воздухе. Здесь в XVI столетии подвизался преподобный Трифон, миссионер, действовавший в духе Стефана Великопермского. Он несколько времени жил среди остяков, на берегу р. Мулянки, — впадает в Каму ниже Перми, — где срубил и сжег громадную ель, которой молились остяки. Вскоре он переселился в Чусовские Городки и основал Успенский монастырь на том месте, где теперь стоит село Монастырек. Здесь преподобный Трифон прожил десять лет и принужден был оставить выбранное место по настоянию Строгановых. Передадим последний эпизод словами протоиерея Евгения Попова, заимствуя следующую выноску из его книги «Великопермская и Пермская епархии (1379—1879 гг.)»:

«Здесь (в Монастырьке) Трифон подвергся страшной опасности. Чтоб иметь свою пашню для устроенного монастыря, он стал сжигать пни и корни дерев около своей хижины. А тут случилась буря. И вот произошел пожар, от которого сгорели дрова, приготовленные на солеваренные заводы Строганова! (Дров сгорело до трех тысяч сажен.) Жители вооружились. Когда Трифон сидел на высоком берегу Чусовой, опустив ноги, вдруг они столкнули его вниз. По страшной крутизне

покатился угодник божий. Но господь, сохраняющий *пришельцы* (Псал. 145, 9), сохранил его жизнь. Он нашел себе на берегу лодку и без всякого весла переплыл на другую сторону. Строганов заковал его в железа, вместо того чтоб в столь необыкновенном пожаре видеть божие посещение. Но дня через четыре сам подвергся, по предсказанию преподобного, оковам от царских послов. Вразумленный этим обстоятельством, которое не без труда мог поправить, Строганов тотчас дал свободу преподобному и испросил у него прощение; однако советовал Трифону уйти из своих вотчин».

От Чусовских Городков до устья Чусовой с небольшим сто верст. Здесь берега реки совершенно пустынны, так что в одном месте на расстоянии восьмидесяти верст встречается один починок в три двора.

На девятый день наш караван привалил в Пермь, недосчитывая шести убитых и омелевших барок.

XVIII

Пермь — самый глухой губернский городок, особенно зимой. Но с открытием навигации он сильно оживляется, особенно во время сплава караванов, когда в Перми скопляется до десяти тысяч бурлаков, набирающихся сюда со всех притоков глубокой Камы. Около Перми весь берег всплошную уставлен привалившими сюда барками, которые с берега рядом с баржами и пароходами кажутся просто жалкими суденышками. По пермским улицам с утра до вечера ходят ватаги бурлаков. Слышатся пьяные песни, ругань, треньканье балалайки. В кабаках и харчевнях яблоку упасть негде. Большинство бурлаков получает в Перми окончательный расчет и спешит пропить в первом кабаке последние гроши. Что будет дальше — бурлак не думает, и мы не обвиним его за эту отчаянную гульбу, которой он наверстывает все те лишения и невзгоды, какие перенес на весеннем сплаву.

Главным центром, где собирается камская бурлачина, служит Черный рынок. Это недалеко от пристаней и в центре города. Сам по себе Черный рынок, как

вместилище непролазной грязи, специально пермской вони от полусгнивших знаменитых сигов и всяческого тряпья, на которое страшно смотреть, этот рынок заслуживает подробного описания, если бы мы захотели угостить читателя картинами во вкусе реалистов последних дней. Но грязь, вонь и тряпье такая необходимая принадлежность всех городских рынков, что мы не считаем нужным входить во все подробности описания этой живой клоаки. Бурлаки на Черном рынке стоят стеной с утра до ночи. Народ собрался сюда с нескольких губерний, говорит на нескольких языках и наречиях, но все это разнообразие великой нивелирующей силой нужды подогнано под один основной тип жалкого, оборванного бурлака. О подразделениях этого типа на заводских мастеровых, поречных, сельчан и инородцев мы уже говорили выше.

Я долго толкался в этой гудевшей, как расшевеленное гнездо шмелей, толпе. Заветревевшие, запеченные лица, покрытые какой-то бурой корой, тупой апатичный взгляд, растрескавшиеся губы, корявые руки — все это красноречивее всяких описаний говорило за те беды и напасти, которые должен пережить каждый бурлак, прежде чем попадет сюда, то есть на Черный рынок, это обетованное место, настоящий бурлацкий рай для всех Гришек, Бубновых и Кравченков. «Здорово погуляли в Перме...» — с удовольствием будет вспоминать каждый бурлак в течение восьмимесячной глухой зимы. А все бурлацкое «погулять» сводится на одну водку, которую он пьет в ужасающем количестве, пьет, пока есть деньги или пока не свалится с ног. Душа — мера этому отчаянному разгулу, созданному самой отчаянной, специально бурлацкой бедностью. Наесться вонючего сига, которого не будет есть самая голодная собака, набить брюхо весовым сырым хлебом — это уже роскошь.

Тут же на Черном рынке есть белая харчевня. Когда я проходил мимо, меня окликнул знакомый голос. Это был Савоська. Его русая кудрявая голова выставлялась в окно, и он улыбался мне.

— Заходите, барин, чайку попить со сплавщиками, — предлагал Савоська.

Белая харчевня стояла на солнечной стороне рынка, ее содержал разбитной ярославец, малый лет сорока, в белой ситцевой рубашке с крапинками и с налощенными кудрявыми волосами. У этого субъекта совсем не было шеи, и хитрая ярославская голова приросла прямо к плечам; но, несмотря на такой органический недостаток, ярославец обладал замечательной подвижностью, как ученая собака, смотрел прямо в глаза и к каждому слову прибавлял самое деликатное *с*. Несмотря на плутоватость хозяина, белая харчевня была непроходимо грязна, так что ее можно смело было назвать черной или грязной. Зеленые, захватанные стены, облупившийся потолок, покрытая черными слоями грязи мебель — все говорило о неприхотливых вкусах посетителей этой харчевни.

Савоська сидел в углу за столом со своей подругой. На грязной салфетке, стоявшей коробом, помещалась пара чаю. Соседние столики были заняты тоже пившими чай сплавщиками. Народ был все плотный, дюжий. Очевидно, они только что успели получить расчет с хозяев и теперь благодушествовали в свою вольную-волюшку. Красные лица и покрытые маслянистой влагой глаза красноречиво свидетельствовали о том, что сплавщики, кроме чая, успели попробовать и *чаихи*.

— Расчет, видно, получили? — спросил я Савоську, усаживаясь к столику.

— Точно так, сполна получил. Сейчас в кармане две четвертных бумажки лежат... Ей-богу!.. Вот хошь у Степаньки спроси...

— Удержатся, не удержатся до послезавтра, — ответила Степанька, та самая шустрая бабенка, которая работала у нас на передней палубе.

— Нет, я зарок на себя положил! Погуляю два дни и зашабашу. Остатошные деньги все домой понесу...

— Больно много, пожалуй, не донесешь...

— Ну, ну... Ежели теперь у меня зарок? Да я хошь сейчас икону со стены сниму... А вы, барин, видели Осипа-то Иваныча нашего?

— Нет.

— Шабаш... закурил... Сейчас от него. Сидит в гостинице, девчонка с ним с Пашкиной барки, и таку компанию завели — разливанное море. Всякого водкой накачивает, только пей. Я, грешный человек, впервой разрешил у него: ошарашил-таки стаканчика три. Водка не водка, а такое вино забористое... Любит попировать наш Осип Иваныч!

— Да ведь нужны деньги, чтобы пировать?

— На-вот... С караваном плыть да денег не добыть? Что ты, барин... Да разе Осип-то Иваныч без рук или без глаз! Он каждый раз уйму денег заворачивает со сплаву...

— Кажется, жалованье у него небольшое?

— Ах, барин, барин... Какое тут жалованье, да разе караванные жалованьем живут? Ха-ха... Взять Семена Семеныча или Осипа Иваныча, да по ихней жисти им тысячное жалованье надо класть, и того не прохватит.

— Теперь взять хоть приказчиков с других пристаней, — продолжал Савоська: — все та же музыка... Они вместе с нашим-то Осипом Иванычем пируют, потому как, значит, у всех у них денег невпроворот. Ей-богу!.. Где нашему брату горе да работа — им нажива! От каждой убившей барки сколь они денег наживут да от обмелевших. Везде надобна работа, а поди усчитай-ка его... Не побежишь за ним по берегу-то досматривать: што написал, то и ладно! Ведь теперь омелевшую барку надо сымать, надо людей — вот он и пишет сколько влезет, а об убивших говорить нечего: там, первое дело, рабочих не рассчитают — ступай, с чем остался, потом металл надо добывать из-под бойца, из воды — опять прибыток, потом сколь металлу недосчитывают, когда добывать из воды его станут, — с кого возьмешь. Вот оно куда хватило: изо всякой дыры караванным деньги лезут... Уж это верно!.. А еще ты возьми нынешний сплав, сколь мы дней простояли из-за воды, рабочим должны поденное платить — опять тебе нажива... Уж я тебе говорю, только умей брать, а деньги — как вешняя вода на наших караванах. А привалили на место, примерно сказать в эту самую Пермь, надо делать рабочим окончательный расчет: тому недо-

дал полтинника, с другого штраф вычел, третьего совсем не рассчитал — опять тебе прибыль... Так? А разе бурлак может что с приказчика искать, когда они за лишние дни рядились в лесу, без всякой бумаги?

Савоська сильно захмелел. Свою сожительницу он послал на рынок за какими-то покупками, а сам все пил стакан за стаканом невообразимую бурду, которую ярославец подавал за настоящую вишневую наливку.

— Ты бы уж лучше водку пил! — посоветовал я ему.

— Всему свое время: и водка от нас не уйдет... Гуляй, душа! Ха-ха... А ты помнишь, как меня Осип Иваныч тогда взашеи с лестницы спустил? Я ведь тебя видел тогда, и совестно мне было такой срам принимать при чужом человеке... А Осип Иваныч такой же пьяница, как и мы, грешные. Небойсь ничего не останется, все пропьет дочиста. У других дома́ как грибы растут, а он только опухнет от сплаву... Ей-богу!..

— Зачем же ты пьешь-то, Савоська?

— Я-то?..

Савоська опустил свою кудрявую голову и задумался. Сквозь запыленные стекла лезли в комнату ласковые весенние лучи, делая грязь обстановки харчевни еще грязнее. Где-то катилась бесшабашная бурлацкая песня. Муха билась о стекло головой и звенела, как слабо натянутая струна. Около сплавщиков на столиках появились бутылки с разноцветными наливками, лица сделались еще краснее и покрылись точно жирным лаком. От разговоров стоял в комнате громкий бессвязный гул. Делалось невыносимо жарко и душно, точно в жарко натопленной бане. Я хотел уже уходить, но Савоська удержал, упрашивая остаться еще на минуточку.

— А ты любишь песни, барин?.. — неожиданно спросил Савоська, точно просыпаясь.

— Люблю. А что?

— Да так... Я одну тебе спою, нашу пристанскую. Мастак[1] я песни-то был петь прежде, вся пристань наша слушает, бывало, как Савоська поет...

---

[1] Мастак — мастер. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Приложив руку к щеке, Савоська затянул богатейшим грудным тенором:

Ох, с по горам-горам,
Да с по высокием —
Там молодец гулял...

Все, что было в комнате, сразу затихло и затаилось. Проголосная песня полилась хватающими за душу переливами, как та река, по которой мы еще недавно плыли с Савоськой. Она, эта песня, так же естественно вылилась из мужицкой души, как льются с гор весенние ручьи. Простором, волей, молодецкой удалью веяло от этих бесхитростных, но глубоко поэтических строф, и, вместе, в них сказалось такое подавленное горе, та тоска, которая подколодной змеей сосет сердце. Вся эта окружающая нас грязь, эти потные пьяные лица — все на время исчезло, точно в комнату ворвался луч яркого света...

— Да откудова ты, леший тебя задери? — спрашивал мужик с встрепанной головой, начиная трясти Савоську за плечо. — Этакой черт... А?..

— Нет, не могу больше... — глухо проговорил Савоська, обрывая свою песню. — А прежде хорошо певал...

Сплавщики начали приставать к нему с угощением. Савоська не отказывался и залпом выпил несколько стаканчиков отчаянной сандальной наливки.

— А ведь прежде Савоська не был пьяницей, барин... — заговорил он, точно стараясь что-то припомнить. — Нет, не был... Справный был мужик, одно слово: чистяк-парень, хошь куды поверни. Да...

После короткой паузы Савоська, пододвинувшись ко мне, проговорил сдержанным полушепотом:

— А знаешь, барин, отчего Савоська пьяницей сделался?

— Нет.

— Да, пьяница, сам вижу, самому совестно, а не могу удержаться: душеньку из меня тянет, барин... Все видят, как Савоська пьет, а никто не видит, зачем Савоська пьет. У меня, может, на душе-то каменная гора лежит... Да!.. Ох, как мне тяжело бывает: жизни своей

постылой не рад. Хоть камень да в воду... Я ведь человека порешил, барин! — тихо прибавил Савоська и точно сам испугался собственных слов.

— Как порешил?

— Да так: взял обух, да живого человека и давай крошить... Верно!.. Только давно это было, годов с двадцать тому время быть. В те поры я еще совсем молодой парень был, хоть из подростков и вышел. Ну, было этак по двадцатому году, надо полагать. Не упомню хорошенько-то. Больно давно!.. Ну, у меня отец сплавщиком был на Каменке и меня выучил плавать на барке. У нас весь род сплавщики. Хорошо. Пониже Каменки есть пристань Утка, на ней жил у меня дядя, Селифоном звали. Тоже сплавщиком был. Только карахтером этот Селифон был оченно уж строг: как огня его все боялись в нашей-то родне. Ну, вот этак перед пасхой, значит, самой дело было, отец мне и говорит, чтобы я съездил на Утку к дяде. Делишко маленькое было. У нас в допрежние времена насчет родительской воли была строжина: как сказал, все равно, что отрубил. Поехал я на Утку, приезжаю, сделал, что наказывал отец, — надо домой ехать. А Селифон и говорит: «Савоська, оставайся у нас на пасху...» Ну, я было туда-сюда, — нет, дядя и слышать ничего не хочет. Видишь, тетка его подбила удержать-то меня, потому у них свадьба затевалась, дочь выдавать хотели. А мне не хотелось тогда на этой Утке оставаться, до смерти не хотелось — дядю-то Селифона я очень любил, да на Каменку меня уж больно тянуло: зазноба у меня там осталась. Хорошо. Перечить дяде не смею, остался. Пришла пасха. А надо тебе сказать, что в нашем роду все по старой вере, по беспоповщине. Старики да старушки у нас все справляют, что следовает. Хорошо. Вот на первый день пасхи собралось много наших староверов у дяди, старики отслужили свою службу, а когда лишний народ разошелся, сели мы разговляться: я, дядя Селифон, два старца, которые служили за попов, да тетка с дочерью. Сидим, разговляемся, все как следовает по порядку, а тетка наливает мне стакан водки и подносит: «Поздравь, говорит, дядю с праздником...» А я в те поры насчет этой водки ни-ни, ни единой капли

в рот не брал. Ну, зачал я отпираться от водки, а тетка давай меня стыдить. Известно, старуха сама пропустила стаканчик и разгулялась... Дядя-то тоже смеется надо мной, что какой из меня сплавщик будет, коли я водки не умею пить. Ну, я и ожёг первый стаканчик, а потом, как забрало, другой. С непривычки-то у меня так столбы в башке и заходили, весело таково сделалось. Только сидим мы этак, разговляемся, а дядя-то Селифон и говорит тетке: «Мать, где у нас Федор?» А тетка этак ему сердито ответила: «Где ему, Федьке, быть, на сарае дрыхнет...» Дяде теткины-то слова и не поглянись, взбурил он на нее, как матерый волчище, а сам опять свое: «Надо позвать Федьку разговляться, а то нехорошо: сегодня всем праздник». А надо тебе сказать, что этот самый Федька был первый разбойник в наших местах, — продолжал Савоська. — Я о нем раньше-то слыхивал много, а видеть не видывал. Федька-то был с ... заводов, из мастеровых. Ну, тогда еще все за барином жили, Федька и угодил в разбойники. Случай такой у него вышел с одним приказчиком... Полюбилась Федьке одна девка, а приказчик взял ее себе в плёхи силком. Тогда ведь этакие дела просто делались: подневольный был народ... Обнаковенно, Федьке это не по нутру пришлось, он и полыхнул приказчика ножом, а сам в лес, да в лесу и проживал, а по зимам у знакомых раскольников перебивался. Вот у дяди-то Селифона он частенько бывал... А в те времена за пристаносодержательство страсть как доставалось: в остроге сгноят. Ну, Федька попервоначалу жил, как следовает, не обижал своих, а потом, как изварначился, и зачал шутки шутить над знакомыми раскольниками: приедет ночью, прямо в ворота: «Отворяй ворота!» Отворили. «Не хочу, разбирай забор!» Помнутся, помнутся, поругаются, а делать нечего — и забор разберут, потому с Федькой шутки плохие. Так Федька-то и галеганился над мужиками с год, этак сказать, ну и над дядей тоже, над Селифоном. А тут еще статья особенная подошла: у дяди, значит, у Селифона, дочь у его была, Матреной звали, красивая девка из себя, вот она возьми да с Федькой и сживись... Ну, дяде-то Селифону это уж нож вострый: Федьку-то он

примал из милости, а уж дочь отдавать за разбойника — это другой разговор. Крут был дядя-то, вот он и удумал штуку над Федькой сделать...

— Только я про эти самые дела в долгом времени узнал, после уж, когда Матрена-то замужем была. Ее и замуж поскорее отдали, чтобы прикрыть Федькин грех, так, за пропащего парня и отдали. Ну, так сидим это мы за столом, а в избу и входит Федька... В красной рубахе, в бархатных шароварах — чистяк-парень, одно слово. Высокой, в крыльцах широкой, из себя молодчина, хоть куды повернуть. Было ему тогда лет за тридцать с небольшим. Ну, усадила тетка этого Федьку за стол, а дядя принялся его накачивать водкой: и ему подносит и сам пьет, и я, глядя на них, хлещу тоже водку. Хорошо... А потом, мало за малым, и зачался промежду них разговор... Дядя-то Селифон и давай корить Федьку за все про все, так напрямки ему и катит. Федька сидит и все молчит, а дядя отчитывал-отчитывал ему, а потом как схватится да как полыхнет Федьку по уху!.. Здоров был этот Селифон, как медведь, лошадь кулаком с ног сшибал. Ну, как Федьке прилетело в ухо, он соскочил, сгреб со стола нож да с ножом на дядю... Тут и пошла кутерьма!.. Один старичонко ухватился Федьке за руку, а дядя опять в другое ухо. И схватились они втроем за Федьку, а Федька — куды тебе! — как зачал стариками поворачивать, у Селифона-то только седая борода мелькает. Ведь совсем зачал Федька одолевать стариков, могутный из себя парень, ну куда с ним старикам справиться. А тетка сперва убежала из избы, а потом, как увидела, что Федька насел совсем на стариков, как закричит: «Савоська, ты чего глядишь... Бей Федьку!..» А я все время дураком сидел и рукой не касался, а тут сразу расстервенился, да как брошусь в кучу к старикам. Уж хорошенько и не помню, как мне топор в руки попал, надо полагать, тетка же и подсунула, я и давай благословлять обухом Федьку... Увидал он, что дело плохо, — в окошко, а старики уцепились за него, как клещи, ну он и их за собой в окошко вытащил. Ну, тут уж за окошком-то я его, Федьку, и прикончил... После положили на дровни да в лес. Так я и порешил Федьку, ба-

рин! Как теперь вижу: прямо по затылку как пластнул обухом — так Федька и покатился по земле...

— Воротился я после этого самого случая домой, — продолжал Савоська. — Ну, сперва-то немножко сумлительно было, блазнило Федькой, а потом все прошло. Даже ведь и забыл об ём, точно не я его и порешил. Хорошо. А тут меня женили на зазнобе на моей, на Аннушке. Эх, хороша была девушка Аннушка, барин, а вышла — еще стала краше да лучше. Вся пристань на нас, бывало, любуется... Хорошо ведь и со стороны глядеть, как люди душа в душу живут, как два голубя. Отец у меня скоро помер, остался я в дому полным хозяином, все у нас есть с Аннушкой, все спорится: живем да радуемся. Этак годов с восемь мы прожили, уж мальчонка сынишка у меня стал подрастать... Тут вот моей Аннушке что-то и попритчилось: сглазили ее, что ли, только стала она сохнуть — как все равно свеча тает. Уж лечили-лечили мою Аннушку — и лекарки, и знахарки, и старики знающие: нет ей легче, и шабаш! И взяло тогда меня горе, барин, такое горе, хоть руки на себя наложить: больно я любил мою Аннушку... Чтобы там пальцем ее пошевелить, как другие-прочие делают, — ни боже мой! Год она, сердечная, маялась... Спросишь: «Где болит, Аннушка?» — «Нигде у меня не болит», — ответит, а сама так ласково-ласково смотрит. Глаза-то у ней стали большие-большие; взглянет ими, вот как обожгет по сердцу... Пошло дело к весне, заиграла вода, начала совсем чахнуть моя Аннушка... Только однажды она мне и говорит: «Савося, не жилица я на белом свете, не топтать мне, видно, зеленой травушки, помру я скоро... Скажи мне одно, Савося, нет ли у тебя на душе какого греха?» Как она это самое слово промолвила, у меня точно что оборвалось: Федька-то мне тогда и вспал на ум... Ну, покаялся я Аннушке в своем грехе, усмехнулась она и говорит: «Это за *него* меня господь наказал...» Тут подошел сплав, я убежал с караваном, а Аннушка без меня и душу богу отдала. Остался я один-одинешенек, и так-то мне сделалось тошнехонько, что и сказать тебе не умею. Ну, а тут уж нашлись дружки-приятели, давай утешать, а какое у нас утешение: кабак... Стал я похаживать в ка-

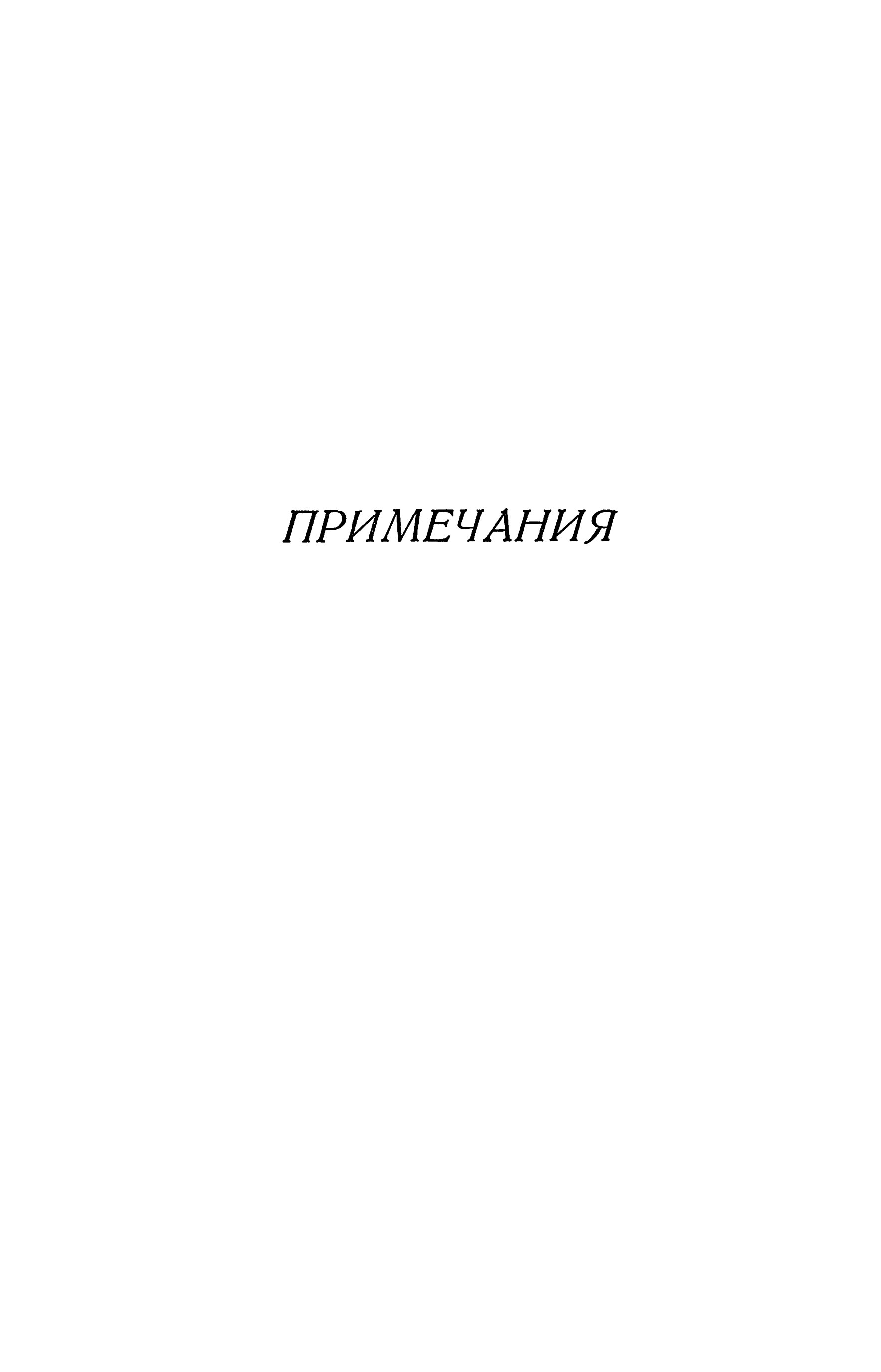
бак, отбился от работы, люди дивуются, как я дом свой зорю, меня бранят да ругают. А на что мне дом, когда я и жизни своей постылой не рад? И чем дальше я пью, тем Федька предо мной неотступнее: вижу его, как живого вижу, вот как теперь вижу тебя. Сначала все по ночам он приходил ко мне, а потом и днем... И молиться я принимался, и на скиты старицам подаяние посылал, и эпитимию на себя накладывал: не идет Федька у меня с ума, и шабаш! Жену у меня бог отнял из-за него, сынишка ушел за матерью, а теперь он за мной пришел... Только мне и легче, когда я песни пою! Может, это и грешно, да уж на сердце-то тошнехонько... Хорошо я певал, когда молодым был, а тут как выпью, пойду по улице и зальюсь: вся улица слушает, по которой иду. Старики-то которые да старухи и осудят меня за мои песни: «Вино в Савоське поет!», а того не подумают, что не вино во мне, а мое горе-горькое поет... И тяжело мне и хорошо, когда пою!

Савоська задумался и опустил голову. По лицу у него катились пьяные слезы.

— Ходил я к одному старцу, советовался с ним... — глухо заговорил Савоська. — Как, значит, моему горю пособить. Древний этот старец, пожелтел даже весь от старости... Он мне и сказал слово: «Потуда тебя Федька будет мучить, покуда ты наказание не примешь... Ступай, говорит, в суд и объявись: отбудешь свою казнь и совесть найдешь». Я так и думал сделать, да боюсь одного: суды ноне милостивы стали — пожалуй, без наказания меня совсем оставят... Куда я тогда денусь?

Через полгода я прочел в газетах заметку о крестьянине Севастьяне Кожине, который сам явился в ...ской суд и сознался в убийстве. Это был Савоська. Присяжные вынесли ему оправдательный вердикт.

Компания «Нептун» через год ликвидировала свои дела, заплатив своим акционерам по пять копеек за рубль.



ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

СЕСТРЫ

Очерк из жизни Среднего Урала

Печатается по рукописи, хранящейся в Центральном государственном литературном архиве (ЦГЛА).

Рукопись представляет собою копию с автографа (хранится в Свердловском областном архиве), сделанную братом Н. Н. Маминым, исправленную и дополненную затем писателем. На первом листе рукой Д. Н. Мамина-Сибиряка надписано: «Дмитрий Наркисович Мамин. Екатеринбург, Офицерская ул., д. Черепанова». На последнем листе имеется подпись: «-ъ», — так Д. Н. Мамин-Сибиряк подписывал некоторые свои произведения в начале 80-х годов. Даты эта рукопись не имеет.

Очерк датируется в соответствии с авторской надписью: «4 марта 1881 г.», сделанной карандашом на автографе, хранящемся в Свердловском областном архиве. Впервые очерк напечатан (по этому автографу) в альманахе «Уральский современник» (№ 3, 1952). При жизни автора очерк не публиковался.

Усилившиеся после событий 1 марта 1881 года реакция и гнет цензуры, видимо, заставили Д. Н. Мамина-Сибиряка отказаться от мысли опубликовать очерк, в котором писатель нарисовал яркую картину кабального труда рабочих на одном из уральских горных заводов, зверскую эксплуатацию их со стороны заводчиков, бесчеловечное обращение с ними управителей и надсмотрщиков типа «сестер». Однако он вскоре исполь-

зовал отдельные мотивы и образы очерка в других произведениях.

Так, в появившемся в 1884 году в журнале «Дело» рассказе «Авва» использована одна из тем очерка — борьба старого и нового духовенства в условиях бурного роста капитализма, причем автор переносит в рассказ имена ряда персонажей, сохраняет их характеры, углубляет и конкретизирует их в отдельных случаях.

Образ управителя-иностранца Слава-богу писатель включил, несколько видоизменив его, в рассказ «На шихане», опубликованный в № 10 «Вестника Европы» за 1884 год. Материал очерка «Сестры» использован также в романе «Горное гнездо» («Отечественные записки», 1884), в частности, характеристика образа владельца Пеньковского завода Кайгородова («Сестры») в известной мере совпадает с характеристикой образа Лаптева («Горное гнездо»).

Образы «сестер» и дурачка Яши имеются и в более позднем произведении Д. Н. Мамина-Сибиряка — в романе «Три конца» (1890). К некоторым мотивам очерка автор вернулся и в 1899 году, создав детский рассказ «Слава богу» (напечатан в журнале «Всходы»).

В очерке «Сестры» Д. Н. Мамин-Сибиряк использовал личные наблюдения во время своего пребывания на заводе Нижняя Салда, принадлежавшем известному горнопромышленнику Демидову. Последний, очевидно, и является прототипом Кайгородова. На действительно имевшем место событии основано и описываемое в «Сестрах» убийство Гаврилы Степаныча. В очерках «От Урала до Москвы» (1881—1882) Д. Н. Мамин-Сибиряк описывает работавшего на Лайском заводе Копылова. Он был убит в 1878 году кабатчиками по тем же мотивам, по которым совершается убийство Гаврилы Степаныча в «Сестрах». Копылов так же, как и Гаврило Степаныч, пытался организовать ссудо-сберегательное товарищество, кассу для «вспомоществования увечным рабочим» и т. д.

Стр. 3. *Поссессионное право* — основано на эксплуатации крепостного труда, введено указом Петра I от 18 января 1721 года, по которому частным лицам не дворянского сословия разрешалось иметь на казенных землях фабрики и заводы и приобретать крестьян для работы на них. Однако владелец без разрешения государства не мог продать предприятие, приостановить

работу, снизить объем или изменить вид продукции, хотя владение предприятием, без права дробления его, передавалось по наследству. Поссессионные крестьяне получали нищенские наделы, за которые работали, почти не получая заработной платы. К разряду поссессионных относились и «приписные» крестьяне, то есть те, которых само правительство прикрепляло к частным заводам и фабрикам.

Стр. 16. *Базаров* — персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». *Николай Петрович Кирсанов* — персонаж того же романа.

Стр. 27. *Пряденики* — веревочная обувь для предохранения кожаной обуви от искр раскаленного металла.

Стр. 39. *Кученок* — небольшая угольная куча, в которой приготовляется древесный уголь.

...и Москва не вдруг строилась. — Гаврило Степаныч выступает здесь сторонником так называемой теории «малых дел», возникшей в эпоху реакции 80-х годов среди части интеллигенции, отказывавшейся от революционной борьбы с самодержавием и проповедовавшей культурничество, «малые дела». Гаврило Степаныч, действуя в духе этой теории, в то же время подчеркивает, что организуемые им ссудо-сберегательное товарищество, касса для «вспомоществования увечным рабочим» и т. д. несут в себе «зародыш своей гибели», что вся его работа, не опирающаяся на реальную политическую силу, есть «некоторое сражение с ветряными мельницами и добровольное удержание бури зонтиком».

...фаланстерию устраивать. — Имеется в виду фаланга — основная производственно-потребительская ячейка (ассоциация) проектировавшегося французским социалистом-утопистом Фурье идеального гармонического общества. По особому типу построенные помещения-дворцы, в которых должны были жить и отчасти работать члены фаланги, Фурье называл фаланстерами.

Стр. 42. *Хина* — от слова кохинхинка — порода крупных кур, завезенных в Европу из Кохинхины (южная часть Индокитая).

Стр. 58. *...такие пиччикато и стаккато.* — Пиччикато — извлечение звуков из струны музыкального инструмента пальцами, щипком; стаккато — отрывистое воспроизведение музыкальных звуков.

Стр. 88. *Сакма* — здесь: след медведя.

Стр. 89. *...воркунов-то спущали.* — Воркуны — бубенчики. Здесь употреблено в смысле сбежал, струсил.

«ВСЕ МЫ ХЛЕБ ЕДИМ...»

Из жизни на Урале

Впервые рассказ напечатан в журнале «Дело» (№ 5, 1882), за подписью: «Д. Сибиряк».

Как видно из записок сестры писателя Е. Н. Удинцевой, рассказ «Все мы хлеб едим...» был принят редакцией журнала «Дело» в феврале 1882 года (ЦГЛА). Однако он мог быть помещен в нем не ранее апреля или мая, так как в мартовской книжке печатался большой очерк Д. Н. Мамина-Сибиряка «В камнях».

Включая рассказ в сборник «В глуши», Д. Н. Мамин-Сибиряк подверг его значительной переработке. Опущена, например, большая сцена проверки документов у персонажа, от лица которого ведется рассказ. Исключены излишние подробности о жизни Анки у Шептуна. Исключен также персонаж — немец Фурман, которому принадлежала половина Шатрова, и опущены все связанные с ним эпизоды.

Устранены имевшиеся повторения, излишние детали. Вся работа была направлена на то, чтобы полнее и глубже раскрыть тему рассказа — пореформенное, капиталистическое развитие деревни, разложение крестьянской общины, крушение народнических идей.

В своей автобиографической заметке (1886) писатель отнес рассказ к произведениям о духовенстве. Однако это лишь одна из тем. Главная же тема его, как она сформулирована в самом рассказе, — «перестройка... классической деревни, с семейным патриархом во главе и с общинным устройством в основании».

Рассказ «Все мы хлеб едим...» после своего появления в печати получил положительную оценку в либеральной газете «Голос» (№ 133, 20 мая, 1882), причем рецензент отметил и ранее опубликованные произведения писателя.

«Почти одновременно, — писал он, — в журналах появляется несколько беллетристических очерков г. Д. Сибиряка, обращающих на себя внимание жизненностью сюжетов, замечательной теплотой, искренностью и задушевностью... Фигуры персонажей очерчены очень живо и типично, по крайней мере с тех сторон, которые всего нужнее для мысли автора: самые мысли автора — не плод его личных кабинетных размышлений и фантазий, а результат живого наблюдения над жизнью».

О рассказе «Все мы хлеб едим...» в рецензии, в частности,

говорилось, что хотя в нем «нет той определенности, при которой можно было бы ясно видеть современное существование деревни», однако «брожение, которое там происходит, ясно для читателя».

Включенный Д. Н. Маминым-Сибиряком в 1898 году в сборник «В глуши» рассказ также был отмечен критикой, например в журнале «Мир божий» (№ 4, 1898). — В рецензии этого журнала о таланте писателя говорилось: «Рассказы производят впечатление необыкновенной свежести и цельности, чего-то здорового и живительного, как природа Урала, которую он умеет изображать, как никто... Несложна жизнь глуши, которой посвящена книга, но в этой несложности, почти примитивности описываемой им жизни автор умеет открыть неисчерпаемый запас живых, оригинальных и разнообразных личностей».

В настоящем издании рассказ печатается по тексту сборника «Д. Н. Мамин-Сибиряк. В глуши», 1898 г., с исправлениями отдельных погрешностей по журнальной публикации.

Видимо, по цензурным соображениям писатель исключил в 1898 году следующий отрывок из рассказа Лекандры. В журнальном тексте после слов: «Все прахом пошло» (см. стр. 141) было: «как здание, возведенное на песце. Дрянь народишко мои учителя оказались и сейчас на попятный двор. Тут кстати и случай подвернулся. Исправнику донесли, что мы коммунизмом занимаемся... Ну, то-се, пошла эта «московская волокита», а потом смешение языков и рассеяние народов. На поверку вышло так, что мы даже претерпели некоторое гонение от «мучителя фараона», значит, все честь честью кончилось».

Стр. 133. *На обыденку* — в один день, за одни сутки.

Стр. 149. *...стали составлять уставную грамоту.* — Уставными грамотами назывались акты, составлявшиеся помещиками при «освобождении» крестьян по реформе 1861 года, в которых указывались остающиеся за помещиком и отходившие к крестьянам земли и угодия, размер выкупных платежей, а также перечислялись те повинности, которые обязаны были нести крестьяне в пользу помещика.

Даровой надел. — Так назывались нищенские наделы земли, которые получила от помещика часть крестьян во время реформы 1861 года даром (без выкупа). Даровой надел составлял всего одну четвертую часть так называемого «указного» надела данной местности.

Стр. 150. *...фаланстерии буду устраивать.* — См. примечания к очерку «Сестры».

Стр. 171. *Объявите ирнабаевцев припущенниками.* — Здесь: припущенники — поселенцы на башкирских землях.

«В ХУДЫХ ДУШАХ...»
Рассказ

Впервые рассказ напечатан в № 12 журнала «Вестник Европы» за 1882 год, с подзаголовком: «Рассказ. Люди и нравы в Зауралье», за подписью: «Д. М-ин».

Включая рассказ в I том сборника «Уральские рассказы» (1899), автор снял в подзаголовке фразу «Люди и нравы в Зауралье».

Над рассказом «В худых душах...» Д. Н. Мамин-Сибиряк работал, видимо, в феврале — апреле 1882 года. 15 февраля того же года он писал из Москвы матери, что хотел бы печатать свои произведения в «Отечественных записках» и в «Вестнике Европы», а 1 апреля он уже сообщал ей, что пишет «большой рассказ для «Вестника Европы».

Окончен рассказ 6 апреля, что видно из письма к матери (6 апреля 1882 г.).

21 ноября 1882 года в письме к брату В. Н. Мамину Д. Н. Мамин-Сибиряк сообщал: «Мой рассказ «В худых душах...» печатается в декабрьской книжке «Вестника Европы»... Напиши, если встретишь где-нибудь рецензии на мои статьи».

Рассказ был отмечен критикой лишь через шесть лет после появления в печати. В № 9 журнала «Северный вестник» за 1888 год в рецензии на сборник «Уральские рассказы» о нем говорилось: «Рассказ очень недурен и по мысли, и по колоритности изображения, и по проникающему его искреннему чувству, но г. Мамин громко озаглавливает его — «Люди и нравы в Зауралье» и совершенно сбивает с толку читателя. Изображаются «люди», каких в Петербурге, конечно, больше, нежели в Зауралье, и рисуются «нравы» не совсем обыкновенные для глухого медвежьего угла». Называя «В худых душах...» лучшим произведением сборника, рецензент не сумел, однако, должным образом оценить прогрессивное значение рассказа о революционной деятельности на Урале в условиях все более усиливавшейся реакции 80-х годов.

В 1890 году рассказ «В худых душах...» был напечатан в переводе на сербский язык.

При жизни автора рассказ включался, с незначительными стилистическими поправками, в сборник «Уральские рассказы», а также вышел в 1904 году отдельной книжкой в издании «Донская речь». В настоящем собрании сочинений он печатается по тексту сборника «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Уральские рассказы» (т. I, 1905), с исправлением погрешностей по предшествующим прижизненным изданиям.

Стр. 175. ...*летние тебеневки* — места для пастбища скота.

Стр. 176. ...*из изгребного холста* — из грубого холста, спряденного и вытканного из оческов.

Стр. 177. *Сабан* — род примитивного плуга.

В ГОРАХ

Очерк из уральской жизни

Впервые очерк напечатан в журнале «Русская мысль», №№ 1 и 2, 1883, с заглавием: «Старатели. Очерк из уральской жизни», и за подписью: «Д. Сибиряк».

Над очерком Д. Н. Мамин-Сибиряк работал в 1880 году, о чем свидетельствует помета на автографе: «1880 г., 1 декабря, г. Екатеринбург» (ЦГЛА).

Из письма к матери от 18 января 1882 года видно, что очерк был сначала направлен в «Вестник Европы», а затем в середине октября 1881 года отдан в журнал «Русская мысль». «Мной отдан в толстый журнал «Русская мысль» мой рассказ «Старатели», — говорится в письме, — отдан еще в половине прошлого октября; в петербургских журналах читают статьи всего две недели, а у нас в Москве — три месяца. Через три месяца, то есть 15 января, я ходил справляться о судьбе этого рассказа в «Русской мысли» и получил у секретаря такой ответ: «Ваш рассказ очень понравился и, вероятно, будет напечатан, но еще не дочитан до конца. Пожалуйста, побывайте еще через две недели». Нам не привыкать к ожиданиям, а рассказ настолько хорош, что я за него был всегда уверен. Это — тот самый, который был в «Вестнике Европы».

15 февраля того же года Д. Н. Мамин-Сибиряк сообщал матери, что очерк «Старатели» принят редакцией журнала «Русская мысль» и что он будет печататься в конце лета или осенью (см. также письмо к матери от 6 апреля 1882 г.).

После появления очерка в журнале критик консервативной газеты «Современные известия» (№№ 8, 9 и 41, 1883) писал, что «типы золотоискателей, едва намеченные в первой части, во второй

охарактеризованы рельефнее. Фоном для них служит дикая сибирская среда, в которой царит полный произвол и самодурство. «Старателям» придан теплый тон... По очерку г. Сибиряка воссоздаешь себе картину бесправия и социальной неурядицы сибирского края». Однако, хотя рецензент далее и пытался дать подробную характеристику отдельных образов, он сознательно уводил современного ему читателя в сторону от истинного смысла очерка, от темы пореформенной жизни капитализирующегося Урала, где все охвачены жаждой наживы.

В связи с выходом в свет сборника «В глуши» рецензент журнала «Мир божий» (№ 4, 1898) писал об очерке «В горах», что он по содержанию напоминает «большое произведение того же автора, например, его роман «Хлеб». Только в очерке нет той полноты и законченности, как в романе. Это как бы ряд эскизов, послуживших в свое время художнику для богатой бытовой картины, какими являются обыкновенно большие произведения г. Мамина». Отмечая высокие художественные достоинства очерка, рецензент «Мира божия», журнала либерального народничества, обошел молчанием его острое злободневное идейное содержание, находившееся в противоречии с взглядами народников 80—90-х годов.

Включая в 1898 году очерк в сборник «В глуши», Д. Н. Мамин-Сибиряк изменил не только его название, но произвел ряд сокращений, а также подверг его значительной стилистической правке. В настоящем издании очерк печатается по этому сборнику, с исправлением погрешностей по журнальной публикации, а также со сверкой по черновому автографу, который хранится в Центральном государственном литературном архиве. Там же хранится сделанная Н. Н. Маминым и выправленная автором копия 4-й главы (без конца), в которой описывается судебный процесс Гвоздева и Печенкина; на первой ее странице есть авторская надпись: « NB. Эта глава может быть выпущена совсем или сокращена до minimum'a, так как весь очерк вышел очень длинен. Автор». В очерк эта глава не вошла.

На черновом автографе имеется эпиграф, взятый из реплики почтмейстера из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»: «Эх, Антон Антонович! Что Сибирь? далеко Сибирь... *Гоголь*».

Стр. 257. *Ах ты, зелие кабашное.* — В поэме Некрасова «Коробейники» этот стих читается так:

Ой! ты зелие кабашное...

(См. Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., изд. 1948, т. II, стр. 128.)

ЗОЛОТУХА

Очерки приисковой жизни

Впервые очерки напечатаны в журнале «Отечественные записки» (№ 2, 1883), за подписью: «Д. Сибиряк».

Первое упоминание об очерках «Золотуха» имеется в письме Д. Н. Мамина-Сибиряка к брату Владимиру от 31 октября 1882 года. «Сегодня, — сообщал писатель, — посылаю четвертую часть своего романа («Приваловские миллионы») в «Дело», а пятую доканчиваю. Не знаю, удастся ли поместить в январе. На днях послал в «Отечественные записки» большой рассказ «Золотуха» и буду ждать в конце ноября...»

Из письма видно, что Д. Н. Мамин-Сибиряк с нетерпением ждал ответа редакции революционно-демократического журнала. Еще во второй половине 70-х годов, будучи студентом, тогда еще начинающий писатель, Д. Н. Мамин-Сибиряк пытался поместить одно из своих произведений в «Отечественных записках», однако оно не было напечатано. Сотрудничество в этом журнале оставалось, таким образом, заветной мечтой писателя, о чем можно судить по его высказываниям в письмах.

Прочитав очерки «Золотуха», М. Е. Салтыков-Щедрин дал им высокую оценку. В письме от 15 декабря 1882 года он сообщал Г. З. Елисееву: «Недавно некто Мамин прислал прекраснейшие очерки золотопромышленности на Урале... Вероятно, в феврале найду место для них. Листов 5 будет». Самому же автору М. Е. Салтыков-Щедрин ответил 19 декабря того же года: «Редакция «Отеч[ественных] зап[исок]» охотно поместит «Золотуху» в одном из ближайших №№ и предлагает Вам гонорар по 100 руб. за печатный лист. Благоволите дать ответ по возможности скорей». (В то время начинающим и малоизвестным авторам «Отечественные записки» платили не более 75 рублей за лист.)

Из последующей переписки видно, что М. Е. Салтыков-Щедрин высоко ценил дальнейшее сотрудничество Д. Н. Мамина-Сибиряка в журнале «Отечественные записки» (см., например, письма М. Е. Салтыкова-Щедрина от 4 и 10 января 1883 г., от 15 марта 1883 г., от 10 января 1884 г.).

Полученное от М. Е. Салтыкова-Щедрина сообщение, что очерки «Золотуха» приняты редакцией «Отечественных записок», сильно обрадовало писателя. 30 декабря 1882 года он писал брату Владимиру: «...сейчас только получил письмо от *самого* Салтыкова о том, что мой очерк «Золотуха» «охотно» принят редакцией

«Отеч[ественных] зап[исок]» и будет помещен в одной из ближайших книжек, с платой гонорара по 100 р. за печатный лист... Ликовствуй, прыгай и веселись!! Я большего никогда не желал и не желаю...» (ЦГЛА).

С появлением «Золотухи» в «Отечественных записках» Д. Н. Мамин-Сибиряк становится постоянным сотрудником журнала вплоть до закрытия его царским правительством в апреле 1884 года.

Знаменуя собою дальнейший шаг в реалистическом отображении действительности, очерки «Золотуха» занимают важное место в творческом пути Д. Н. Мамина-Сибиряка. Они написаны с подлинным поэтическим чувством, с глубоким пониманием социальных процессов.

Большой интерес представляет возникшая в связи с очерками «Золотуха» переписка между Д. Н. Маминым-Сибиряком и его братом Владимиром, упрекавшим писателя в том, что он пренебрег правилами эстетики, «ввел мужика в салон». На это Д. Н. Мамин-Сибиряк ответил длинным письмом от 3 марта 1884 года, в котором изложил свои литературные взгляды того периода. Он писал: «Мы не можем захлебываться... ювелирным дублением слова. Кругом слишком много зла, несправедливости и просто кромешной тьмы, с которыми мы и воюем по мере наших сил, а для этого выработалось свое литературное оружие».

И далее: «Время салонной эстетики миновало, да и салонные беллетристы тоже... Сиволапый, беспортошный мужик торжествует в литературе к ужасу эстетической, надушенной критики... Ты, например, глубоко ошибаешься, что «Золотуху» никто не читает, — напротив, ее все читают и все читают с большим удовольствием, чему могу представить десятки свидетелей... Специально в литературе «Золотуха» для меня сделала то, что называется «литературным именем». Посягая на «Золотуху», ты посягаешь на меня и на мое любимое детище. У меня будет ряд таких статей об Урале, и поверь, что мне скажут за них спасибо».

«Ни в одной европейской литературе, — писал он в том же письме к брату, — ты не найдешь ничего подобного, напр., «Власти земли» Успенского». Русские писатели, отбросив «все лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики», «служат боевую службу, которая им в свое время зачтется» (ЦГЛА).

Очерки «Золотуха» были включены автором в сборник «Уральские рассказы» (1889). В издании 1899 года автор исключил главу, именовавшуюся ранее 11-й, и в последующих изданиях не

восстанавливал ее. Она посвящена разбору тех пунктов Устава о золотопромышленности (утвержден в 1870 г.), которые для старательской артели, по выражению автора, «являются просто мертвой петлей». Насколько в современных условиях на прииске «выигрывает работа, — отмечает писатель, — настолько проигрывает человек, поставленный в невозможные экономические условия». «Прииск, — заявляет он, — превращен в какую-то канцелярию, с входящими и исходящими бумагами, с полицией на одном конце и с зорким ревизором на другом».

Переиздавая в 1905 году сборник «Уральские рассказы», в который были снова включены очерки «Золотуха», автор сделал в них еще ряд стилистических исправлений. В настоящем издании очерки печатаются по тексту этого сборника, с исправлением погрешностей по предшествующим прижизненным публикациям.

В Свердловском областном архиве хранится рукопись, а также план очерков «Золотуха».

Стр. 336. *Он был титулярный советник.* — Стихи принадлежат Петру Вейнбергу и читаются так (см. «Поэты «Искры», 1950, стр. 139):

Он был титулярный советник,
Она — генеральская дочь...

Стр. 346. *...по «зеленой улице» да в каторгу.* — Пытки «зеленой улицы» — телесное наказание, применявшееся в крепостной России. Привязанного к ружью осужденного проводили «сквозь строй» солдат, которые избивали его палками или зелеными прутьями.

ПЕРЕВОДЧИЦА НА ПРИИСКАХ

Рассказ

Впервые рассказ напечатан в журнале «Вестник Европы» (№ 4, 1883), с заглавием: «Переводчица на приисках. Рассказ из жизни на Урале», за подписью: «Д. М-ин». Этим рассказом открылась книжка журнала.

Тема тяжелого бесправного положения русской женщины в царской России, получившая яркое освещение в рассказе «Переводчица на приисках», всегда глубоко волновала Д. Н. Мамина-Сибиряка. Она разрабатывалась им еще в самых ранних произведениях — «Старик» (1876), «Красная шапка» (1876).

Включая рассказ в 4-й том сборника «Уральские рассказы» (1901), автор изменил подзаголовок, произвел ряд сокращений, подверг весь рассказ значительной стилистической правке. В настоящем издании рассказ печатается по тексту этого сборника, с исправлением погрешностей по журнальной публикации.

В Свердловском областном архиве хранится автограф рассказа, который имеет другое заглавие: «Толстушка. Из рассказов о золоте»; он без даты, на первом листе есть надпись карандашом: «Переводчица на приисках».

При рукописи очерков «Золотуха» (Свердловский областной архив) имеется наряду с планом «Золотухи» набросок плана «Стрелы», который соответствует «Переводчице на приисках».

Стр. 415. ...*совпала с движением конца пятидесятых годов.* — Имеется в виду подъем освободительного движения в России, начавшийся после Крымской войны 1853—1856 годов.

Стр. 430. *Маргарита* — героиня трагедии Гете «Фауст».

Стр. 434. *Лестовка* — кожаные четки у раскольников

БОЙЦЫ

Очерки весеннего сплава по реке Чусовой

Впервые очерки напечатаны в журнале «Отечественные записки» (№№ 7 и 8, 1883), за подписью: «Д. Сибиряк».

Сплав по реке Чусовой, тяжелая работа бурлаков, безграничная эксплуатация их со стороны хозяев, образы неустрашимых, талантливых сплавщиков — все это волновало Д. Н. Мамина-Сибиряка в течение длительного времени.

Еще будучи студентом, он написал рассказ о бурлаках Чусовой — «Легкая рука», на рукописи которого (хранится в Свердловском областном архиве) имеется помета автора: «Первоначальная редакция «Бойцы» — писана в 1874—1875 гг.».

Тему о чусовских бурлаках писатель предполагал включить в роман «Приваловские миллионы». В дошедшем до нас плане «Каменного пояса» (одно из первоначальных названий романа «Приваловские миллионы»), относящемся к 1879 году, имеется следующий набросок:

«Толпы бурлаков — перекатная голь, захудалые, обросшие, грязные, голые, беднее самой бедности: вогулы, остяки, черемисы, татары, вотяки...

Наступает день (1 мая) Еремея-запрягальника, и это море

крестьянское заволновалось; им снятся горы, леса, нивы... Голод, нищета, дети, жены...

Обед бурлаков: заплесненный, черный, как камень, хлеб опускается в бурак и приправляется горячей молитвой... Пьют воду из бурака, а хлеб вытаскивают лучинками.

Пьянство этой голи напомнило Привалову Ирбитскую ярмарку. Только там от избытка, здесь от горя...

Какие лица б[ыли] у бурлаков.

В чем они б[ыли] одеты.

Вот фундамент богатств Ляховского, Архарова и других».

В одной из глав очерков «От Урала до Москвы», опубликованной 1 февраля 1882 года в газете «Русские ведомости», Д. Н. Мамин-Сибиряк описывает весенний сплав по реке Чусовой. В этой главе, между прочим, говорится: «Не знаешь, чему удивляться — силе водяной стихии, которая ведет борьбу со скалами, или смелости русского человека, который на сшитых на живую нитку суденышках борется с взбешенной водой и с бойцами».

В появившемся в мартовской книжке журнала «Дело» за 1882 год очерке осеннего сплава по реке Чусовой «В камнях» писатель дает картину борьбы бурлаков с разбушевавшейся стихией. В нем в известной степени намечены некоторые персонажи, ставшие затем основными в очерках «Бойцы». Таков, например, сплавщик Окиня, о котором, в частности, говорится: «Можно себе представить, какой поистине колоссальной памятью обладал Окиня, если под его войлочной шляпой укладывается все течение Чусовой, и он помнит тысячи мельчайших подробностей ее течения, берегов и русла». Так же, как и Савоська («Бойцы»), Окиня пользуется всеобщим доверием и любовью бурлаков, вызывает их восхищение своей смелостью, находчивостью и знанием дела.

Однако об очерке «В камнях» Д. Н. Мамин-Сибиряк писал 21 марта 1882 года в письме к матери: «16 марта прочитал свой первый, напечатанный в толстом журнале, рассказ, — давно желанная мечта, которая напомнила мне только об одном — что этот рассказ — еще лепет литературного ребенка, не больше».

Тема о бурлаках реки Чусовой имеется также и в «Этюде из жизни Среднего Урала», опубликованном под названием «Легкая рука», за подписью «Х», в газете «Современные известия» (№№ 149—150, 1882). Однако только в очерках «Бойцы» она нашла полное свое художественное воплощение.

Материалом для очерков послужили личные впечатления Д. Н. Мамина-Сибиряка. Сестра писателя, Е. Н. Удинцева, вспо-

минает: «Еще семинаристом он несколько раз проехал Чусовую. Брат мой Николай Наркисович припоминает, например, две таких поездки с Дмитрием Наркисовичем. Одна продолжалась целую неделю... Другой раз они ехали вместе в августе, с так называемым «летним караваном». Плыли на полубарке с демидовской медью, без весел, по течению... Брат очень любил Чусовую и часто рассказывал всем нам о своих чусовских впечатлениях» (сб. «Урал», Екатеринбург, 1913).

В своей автобиографической заметке писатель также сообщает, что он, вернувшись в 1877 году из Петербурга, много путешествовал по родному краю, в частности, по реке Чусовой. «Впечатления раннего детства, — писал он, — встречи и столкновения во время каникул, знакомства по охоте, затем путешествия вверх и вниз по реке Чусовой, странствования по приискам и заводам — все это теперь дополнялось новыми наблюдениями, знакомствами и личным опытом. Нужно было долго пожить вдали от родины и потолкаться среди разного чужого люда, чтобы окончательно выяснить себе то, чем отличалась жизнь уральского населения».

В. И. Ленин высоко оценил очерки «Бойцы», равно как и все творчество писателя. В своей книге «Развитие капитализма в России» он писал: «До самого последнего времени доставка продуктов из Урала в Москву происходила главным образом посредством примитивного «сплава» по рекам раз в год». И далее в подстрочном примечании В. И. Ленин отметил: «Ср. описание этого сплава в рассказе «Бойцы» г. Мамина-Сибиряка. В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 427).

Открывая июльскую и августовскую книжки «Отечественных записок» очерками «Бойцы», М. Е. Салтыков-Щедрин тем самым высоко оценил их достоинства. Сам автор также высоко ставил очерки, о чем сообщает в своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич (Альманах «Южный Урал», № 8—9, 1952).

Критик журнала «Северный вестник» (№ 6, 1889) в статье о сборниках «Уральские рассказы» свидетельствовал, что впервые появившиеся в журнале очерки «Бойцы» произвели на читателей сильное впечатление. Он писал: «Мы помним впечатление, произ-

веденное первым уральским рассказом г. Мамина — «Очерки весеннего сплава по Чусовой», когда он появился в «Отечественных записках» Салтыкова Дарование автора обещало очень много. Нельзя сказать, чтобы г Мамин вовсе не оправдал этих ожиданий и надежд. Две книжки его «Уральских рассказов» являются тому лучшим доказательством и свидетельством».

Евг. Аничков в журнале «Мир божий» (№ 10, 1905) называет очерки «Бойцы» «одним из наиболее блестящих очерков г. Мамина», в котором «всего яснее видны основные черты его писательской манеры». Однако буржуазные критики (см. также статью Е. Колтоновской в «Вестнике Европы», № 2, 1913), стремясь всячески извратить истинный идейный смысл очерков, трактовали образы очерков в психологическом плане или в чисто этнографическом и замалчивали их обличительный характер.

Подготавливая в 1889 году очерки «Бойцы» для первого издания сборника «Уральские рассказы», писатель внес в них много стилистических исправлений и произвел ряд сокращений. Поправки вносились также и в последующих изданиях. В настоящем собрании сочинений очерки печатаются по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Бойцы», 1908, изд. Сытина, с исправлением погрешностей по предшествующим изданиям.

Стр. 460 *...в духе известной экономической школы.* — Здесь автор имеет в виду так называемую «манчестерскую школу», течение в экономической политике промышленной буржуазии, выступавшей за свободу торговли и отмену законов, стесняющих развитие капитализма. В романе «Горное гнездо» (1884) генерал Блинов, опираясь на взгляды «манчестерцев», стремится оправдать политику «индивидуализации» уральских рабочих, то есть лишения их земли и отрыв от сельской общины, ибо, утверждал он, «главная задача заводского рабочего — работа на заводской фабрике».

Стр. 490 *...на устороэюливом местечке* — безопасном, отдаленном от городов и больших дорог, удобном для наблюдения.

Стр. 492. *Преображенский приказ* — учреждение при Петре I, ведавшее розыском и следствием по преступлениям против царской власти.

«...государственные слова» — здесь: высказывания, направленные против личности царя.

Стр. 493. *...объявляет «государевы слово и дело»* — то есть предъявляет обвинение в преступлении против царской власти.

Стр. 534. *Р. И. Мурчисон* (1792—1871) — английский геолог, путешествовал по России, написал в 1846 году работу «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского». *Э. Эйхвальд* — Эйхвальд, Эдуард Иванович (1795—1876), академик, крупный русский геолог, палеонтолог и зоолог. В своих трудах дал описание большого количества ископаемых, среди которых установил много новых видов.

Стр. 535. *Плутонические породы* — породы, некогда выброшенные на земную поверхность вулканическими извержениями (названы по имени древнегреческого бога подземного мира Плутона). *Нептунические породы* — породы, нанесенные морем (названы по имени древнегреческого бога моря Нептуна).

Стр. 586. *...картинами во вкусе реалистов последних дней.* — Имеются в виду произведения писателей-натуралистов, получившие распространение в 80-х годах, особенно в Западной Европе.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Федор Гладков V

Сестры. *Очерк из жизни Среднего Урала* 3
«Все мы хлеб едим...» *Из жизни на Урале* 124
«В худых душах...» *Рассказ* 175
В горах. *Очерк из уральской жизни* 202
Золотуха. *Очерки приисковой жизни* 311
Переводчица на приисках. *Рассказ* 391
Бойцы. *Очерки весеннего сплава пó реке Чусовой* . . . 449

Примечания 597

Оформление
художника *Б. Никифорова*

Редактор *А. Романов*

Худож. редактор *К. Буров*

Техн. редактор *Г. Архангельская*

Корректоры *В. Брагина* и *Л. Бунчукова*

*

Подписано к печати 8/X 1953 г. А-06910.
Бумага $84 \times 108^1/_{32}$=9,88 бум. л. 32,39 печ. л.
30,66 уч.-изд. л.+1 вклейка=30,71 л.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 806
Цена 12 р.

*

2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Союзполиграфпрома
Главиздата Министерства культуры СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26.